



С.М. Соловьев
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ТОМ ТРЕТИЙ

Annotation



Знаменитый русский историк, ректор Московского университета (1871 - 1877), академик Петербургской АН (с 1872 г.). Основатель яркой литературной династии, к представителям которой следует отнести его детей: Всеволода, Владимира, Михаила и Поликсену (псевдоним - Allegro), а также внука Сергея.

В предлагаемое вниманию читателей трехтомное собрание сочинений великого русского историка С.М.Соловьева (1820-1879) вошли либо не переиздававшиеся после их первого выхода в свет произведения автора, либо те его труды, число переизданий которых за последние сто лет таково, что они все равно остаются неизвестны массовой аудитории.

Подбирая материалы к трехтомнику, составители, прежде всего, стремились как можно более полно (разумеется, с учетом компактности данного издания) представить взгляды С.М.Соловьева на различные проблемы истории России, начиная с эпохи Киевской Руси и заканчивая царствованием императора Александра I. При этом, по возможности, соблюдался хронологический принцип

распределения подобранного материала первого, второго и третьего томов. Исследовательским работам С.М.Соловьева предпосланы его автобиографические записки, позволяющие читателю взглянуть на личность великого историка его собственными глазами. Издание снабжено комментариями и открывается вступительной статьей, содержащей краткую характеристику научного наследия С.М.Соловьева.

- [С. М. Соловьев](#)
 - [Часть первая](#)
 - [I. АЛЕКСАНДР И НАПОЛЕОН](#)
 - [II. ПЕРВЫЙ РАЗРЫВ С НАПОЛЕОНОМ](#)
 - [III. ПЕРВАЯ КОАЛИЦИЯ](#)
 - [IV. ВТОРАЯ КОАЛИЦИЯ](#)
 - [V. ЭРФУРТ И АВСТРИЙСКАЯ ВОЙНА 1809 ГОДА](#)
 - [VI. ПОСЛЕДНЯЯ БОРЬБА](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [I. ПЕРВЫЙ ПАРИЖСКИЙ МИР — ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС](#)
 - [II. СТО ДНЕЙ](#)
 - [III. ВТОРАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ДО АХЕНСКОГО КОНГРЕССА](#)
 - [IV. АХЕН — КАРЛСБАД](#)
 - [V. ТРОПШАУ — ЛАЙБАХ](#)
 - [VI. ГРЕЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ](#)
 - [VII. ПОСЛЕДНИЙ КОНГРЕСС — КОНЕЦ ЭПОХИ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)

- [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
-

С. М. Соловьев
ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I
ПОЛИТИКА, ДИПЛОМАТИЯ

Часть первая
Эпоха коалиций

I. АЛЕКСАНДР И НАПОЛЕОН

Как в отдельных народах сильные движения, перемены и борьбы служат мерилom сил народных, крепости известного государственного строя, как в отдельных народах история этими движениями и борьбами проверяет, постукивает и выслушивает, что в народном организме крепко и что слабо, где болезнь, от которой народ может или не может излечиться, так и в целой группе народов, которые живут общей жизнью, как народы европейские, подобные движения и борьба служат той же цели, указывая силу или слабость каждого члена народной группы, выясняя характер, задачи, историческое значение каждого из них. Поэтому изучение таких великих движений бывает в высокой степени поучительно, и деятельность лиц, стоявших на первом плане во время этих событий, останавливает особенно внимание историка.

Общие великие движения в Европе следуют одно за другим, после того как политический организм ее сложился; они происходят в силу стремления поддержать этот организм, равновесие между органами, поддержать выработанное европейско-христианской жизнью начало — общую жизнь народов или государств при их самостоятельности; такова была продолжительная и упорная борьба Франции с габсбургским домом, в которой сильнейшие государства Европы сдерживали друг друга. Тридцатилетняя война, начавшаяся под религиозным знаменем, кончилась также стремлением сдержать усиление габсбургского дома, что и удалось Франции. Война за испанское наследство произошла из того же стремления — обезопасить Европу от французской гегемонии — и увенчалась успехом; Семилетняя война имела целью сдержать опасное усиление Пруссии. Но все эти борьбы затмились в сравнении со страшной борьбой, которую Европа должна была вести в конце XVIII-го и начале XIX-го века с завоевательными стремлениями Франции.

Причин такой важности и продолжительности последней борьбы, разумеется, надобно искать на той и на другой из борющихся сторон. Со стороны Франции сила завоевательных стремлений условливалась

тем, что войско и его главнокомандующий, способнейший из генералов, явились на первом плане со своими интересами. Последние деятели конвента покончили с революцией, с республикой, когда в борьбе с реакцией призвали на помощь войско генерала. Но это обращение к войску произошло не случайно, не было личным делом, чьим-либо. Революция истребила всех своих крупных деятелей, своих вождей; на ее стороне не было больше способностей; но в это самое время в армии увеличилось число военных способностей вследствие переворота, который дал возможность даровитым людям быстро двигаться снизу вверх; война усилила эту возможность, ускорила развитие военных способностей. Таким образом, на стороне войска не была одна материальная сила. Кроме того, революционное движение оказалось несостоятельным в глазах большинства; идеалы, выставленные двигателями революции, явились недостижимыми; нарушения известных нравственных интересов, кровавые явления и лишения материальные возбуждали отвращение к обманувшему надежды движению, и, как скоро революция истребила последних своих сильных деятелей, оказалась могущественной реакция. Народ требовал прекращения революционного движения, требовал отдыха, восстановления спокойствия, порядка, требовал силы, которая бы разобралась в развалинах, примирила интересы или хотя бы даже задавила борьбу между ними; эту силу можно было найти только в войске. Внутри — обман, разочарование, лишения всякого рода, тоскливая жажда выхода из настоящего положения без средств к этому выходу, ибо при недовольстве настоящим разрыв с прошедшим был так силен, что возвращение к прошедшему для многих и многих не было желательно и возможно; но извне — необыкновенные военные успехи, слава побед и завоеваний. Это была единственно светлая сторона народной жизни; все сочувствие славлюбивого народа должно было обратиться к войску и вождям его, и если один из этих вождей станет выше всех способностями и успехами, то в его руках будет судьба страны. Таким был Наполеон Бонапарт.

Италия давно уже высылала сынов своих, которые отдавали свои способности и деятельность разным государствам Европы. Недостаток государственного единства родной страны рано делал их космополитами, искателями приключений вроде старинных сказочных богатырей, которые служили в семи ордах семи королям, приучая их

применяться к различным народностям и положениям, служить многообразным интересам, оставаясь холодными ко всем этим интересам, кроме собственного, личного. Оторванность от родной почвы без привязанности к стране приютившей ставила их в какое-то междуумочное, нейтральное, международное положение, вследствие чего они преимущественно посвящали себя дипломатической деятельности. Находясь между небом и землей, они были очень способны создавать общие, широкие, смелые планы, в которых частным соображениям давалось мало места; отсюда и в их действиях и замыслах с первого раза странна смесь хитрости, коварства, неразборчивости средств и в то же время широты и величия, смешанного с фанатичностью.

Эти черты даровитых итальянцев, служивших чужим государствам, чужим народностям, черты Мазарини, Альберони, Пиатоли, Люккезини и других находим и в Бонапарте, корсиканце, приемыше Франции. Космополитизм, присущий ему по его положению среди чуждой народности, развился в нем еще сильнее от воспитания, полученного во время революции, проникнутой началом космополитизма, которое особенно усилилось вследствие потрясения начала религиозного: Бонапарт был бы готов стать ренегатом и предводительствовать войсками султана. Вообще революция если не породила, то развила многие основные черты в характере знаменитого корсиканца. Среди страшной ломки, крушения старого государственного здания он привык безбоязненно и равнодушно вращаться среди опасностей, привык к игре случая, к возвышению сегодня, к падению завтра, приобрел магометанскую веру в судьбу; привык в то же время к развалинам и трупам, привык равнодушно располагать и жизнью человеческой, и жизнью династий и государств. Корсиканец не принес в революционную Францию никаких государственных и общественных идеалов и убеждений; он был совершенно чист от них; чуждый происходившему вокруг него, интересам, боровшимся, сокрушавшим друг друга, он привык действовать по инстинкту самосохранения, бить, чтобы не быть убиту, взбираться наверх по трупам, чтобы не быть погребенным под ними. Привычка действовать по инстинкту самосохранения развила в нем хищнические приемы: притаиться, хитрить, плести пестрые речи для того, чтобы обмануть, усыпить жертву и вдруг скакнуть, напасть на

неприготовленных; напасть врасплох, поразить ужасом — было любимым его приемом. Убеждение в необходимости действовать ужасом (террором) основано было на презрении к людям как стаду, лишенному нравственной силы, и в убеждении этом он окреп, действуя в последние времена революции, когда сильные люди были покошены гильотиной и поколение измельчало нравственно, и Бонапарт не находил нужным с ним церемониться. Извне, в сношениях с другими народами, он также имел несчастье встречать постоянно людей мелких нравственно, гибких перед силой и приучался ими к насилию в слове и деле, и редкие исключения не могли сдерживать его, а только раздражали и заставляли еще сильнее высказываться печальные стороны его характера, врожденные и приобретенные.

Будучи чужд Франции, ее прошедшему и очутившись при начале своего поприща в революционной Франции, которая так резко порвала со своим прошедшим, постаралась вырыть такую пропасть между ним и своим настоящим, Бонапарт не мог быть Монком и восстановить старую династию. Окруженный развалинами и не уважая ни новых людей, ни новые учреждения, не питая никакого сочувствия к настоящему как результату общего труда, Бонапарт не мог быть и Вашингтоном Франции. Вся обстановка вела к тому, чтобы он взял верховную власть себе и явился деспотом. Но предстоял страшный вопрос: долго ли может просуществовать военный деспотизм во Франции? Он был допущен усталым большинством, которое требовало прежде всего и во что бы то ни стало внутреннего успокоения, чтобы отдохнуть, разобраться после страшной бури; военный деспотизм был допущен по закону реакции, но надолго ли? Французский народ отличился своей способностью скоро отдышаться, скоро оправляться; но, оправившись, отдохнув, примет ли он военный деспотизм как необходимую, постоянную форму своего нового правления под новой династией? Ответ, естественно, должен был представляться отрицательным, особенно после революции, с которой Бонапарт должен был постоянно считаться, по крайней мере формально; но можно ли было ограничиться только формами? Римские цезари считали нужным считаться с республикой, уважать ее формы; но в их время республика с ее формами была явлением, отживающим свой век, чего нельзя было сказать о началах, провозглашенных во Франции в конце XVIII столетия, и надобно было

дождаться, что, устраненные временно, они появятся с новой силой и предъявят свои права на осуществление. Не в характере Бонапарта была, однако, возможность уступки им; с другой стороны, он не мог не предвидеть, что при необходимом столкновении с ними борьба должна быть страшная и победа вовсе не верная.

Но оставался выход, возможность предупредить борьбу. Право Бонапарта на место, которое он занял во Франции, основывалось на его победах; но на чем основывалось оно, тем должно было и поддерживаться; как только пройдет несколько продолжительное время после побед, память о них будет ослабевать и значение победителя уменьшаться, как бы ни были полезны его внутренние учреждения и распоряжения; как скоро благодаря либеральным формам, которых власть обойти не могла, выскажутся либеральные начала, борьба с ними заставит забыть всякую внутреннюю заслугу. Оставалось одно средство для новой, неосвященной власти сохранять вполне свою силу — это постоянно отвлекать внимание народа от внутреннего к внешнему, постоянно ослеплять славлюбивый народ военной славой, поддерживать нравственное преклонение перед властью постоянными ее триумфами. Но и тут одной нравственной поддержки было недостаточно. Как для борьбы внешней, так и на случай борьбы внутренней необходимо было войско, войско вполне преданное, боготворившее вождя; а эту преданность войска государь вчерашнего дня мог поддерживать только постоянными войнами и победами, усиливая постоянно значение войска в глазах народа, делая войско представителем народа, сосредоточивая в армии дух нации; с другой стороны, питая честолюбие и корыстолюбие вождей второстепенных почестями и выгодами, которые они получали после каждой войны, то есть после каждого завоевания. Таким образом, кроме основного характера своего как предводителя войска, характера, от которого Бонапарт, разумеется, не мог никак отказаться, который долженствовал быть всегда на первом плане и требовать постоянного удовлетворения, по самому положению своему, для поддержания этого положения он должен был вести постоянные войны. Слова «Наполеон, Французская империя» стали для Европы синонимами постоянной войны, постоянных завоеваний, постоянных территориальных изменений, не говоря уже о том, что каждая война, оканчивавшаяся

успехом, завоеванием, породила необходимую новую войну, усиливая обиду, увеличивая число обиженных, раздраженных.

Франция осуждена была на постоянные войны, постоянные победы и завоевания, что необходимо вело ко всемирной монархии. Но основное начало европейской политической жизни состояло в недопущении такой монархии. Наполеон должен был формально уступать этому началу. Как республиканская Франция, вступив в борьбу с монархической Европой, из завоеванных ею стран делала республики, по-видимому, независимые, не сливая их с собою, но только умножая число однородных по формам государств для противовеса государствам с другими формами, так и Наполеон, переименовав правительственную форму во Франции, ставши в ней монархом, переделал эти республики в государства с монархическими формами, устраивая подобные же государства и из дальнейших завоеваний, государства, по-видимому, независимые, посажал на престолы их своих родственников для своей безопасности и удобств, продолжая производить в Европе перевороты только династические. Здесь, повторяем, была уступка господствовавшему в европейской истории началу; Франция и ее император, по-видимому, не хотели всемирной монархии; отдельные народности, по-видимому, были обеспечены. Но это только по-видимому; уступка была только формальная; на самом же деле народности ни в нравственном, ни в материальном отношениях не были обеспечены от тяжкого преобладания французского народа. Их новые правители были вассалами Французской империи, чувствовавшими тяжелую руку своего сюзерена при первой попытке подумать об интересах своих государств не в связи с интересами империи, как они представлялись императору французов. Таким образом, обман в уступке правам народностей оказывался с самого же начала и опасность, грозившая, по-видимому, только старым династиям, грозила одинаково и народностям, вследствие чего в необходимой борьбе против всемирной монархии дело старых династий тесно связалось с делом народностей.

Европа должна была бороться против императорской Франции одним способом, который уже давно употреблялся в подобных случаях: посредством соединения сил остальных держав против державы, стремящейся к преобладанию, посредством так называемой коалиции. Успех борьбы на стороне коалиции считался по опыту и

простоте расчета несомненным, и если борьба была продолжительная и страшная и долгое время Франция победоносно боролась с коалициями, то необходимо предположить кроме чрезвычайного напряжения сил и особенно благоприятных условий на ее стороне также упадок сил и особенные неблагоприятные обстоятельства на стороне противоположной. Мы употребили множественное число: «коалиции», и это уже самое показывает слабость общего действия, перерыв его, недружность стремления, что и давало возможность долгого торжества Наполеону. Правила его политики, которая служила подспорьем его наступательным военным движениям, были, естественно, одинаковые с военными правилами: быстрым, внезапным движением не дать времени неприятельским силам сосредоточиться, разрезывать враждебное войско, бить его по частям; и в то же время переговорами не давать государствам вступать в союзы, расстроивать коалицию, разъединять интересы держав и сокрушать их силы поодиночке. На стороне противника были условия, которые долгое время давали ему возможность употреблять эти средства с блестящим успехом.

Эти условия высказались еще в конце прошлого века при борьбе с революционной Францией. Окруженная слабыми, мелкими, разъединенными государствами итальянскими, немецкими, Швейцарией, Франция могла быстро овладеть ими, равно как и Голландией, которой австрийские Нидерланды по своей отдаленности от главной державы служили плохой защитой. Препятствие она могла встретить в восточных, самых сильных германских державах — старой Австрии и молодой Пруссии, которые должны были защищать Германию. И действительно, первая коалиция, образовавшаяся против революционной Франции, была коалиция австро-прусская. Но могла ли быть крепка коалиция между державами, у которых вовсе еще не остыла ненависть друг к другу, вынесенная из Силезской и Семилетней войн? Каждая из держав с напряженным вниманием следила за всяким движением другой: не имело ли это движение целью приобрести что-нибудь, усилиться; в каждой из них неудача другой возбуждала великую радость, а малейший успех — тревогу и досаду. Обязанные защищать Германию от французов, вступая поневоле в коалицию, Австрия и Пруссия имели прежде всего в виду не Французскую войну, а наблюдение, чтобы одна как-нибудь чего-нибудь

не приобрела больше, чем другая; они загодя уже выговаривали себе плату за войну, которая сама по себе не могла окупиться: Австрия брала себе Баварию взамен невыгодных для нее Нидерландов; Пруссия — польские области по второму разделу. Пруссия, скрепя сердце, соглашалась на эту сделку, ибо долю Австрии считала значительнее своей.

Коалиции и при лучших отношениях между союзниками удаются тогда, когда коалиция, ее цель для них на первом плане; когда все счета по частным интересам они откладывают до времени совершенного достижения этой цели; когда идут прямо к ней, не озираясь на стороны: понятно, что австро-прусская коалиция не удалась. Невольные союзники перессорились из-за дележа добычи. Австрия действовала враждебно против Пруссии при втором разделе Польши; Австрии не хотелось допустить Пруссию немедленно же приобрести польские области, тогда как усиление Австрии через промен Бельгии на Баварию было только еще впереди; потом Пруссия не хотела допустить Австрию к участию в третьем разделе Польши. Коалиция представляла картину постоянной борьбы между союзниками, и, наконец, Пруссия заключила отдельный мир с Францией в Базеле (1795), пожертвовав интересами Германии, причем в Берлине министры высказывались так: «Как можно скорее и с какими бы то ни было жертвоприношениями мы должны заключить отдельный мир с Францией. Хуже всего то, что мы точно так же должны бояться побед наших союзников, как и торжества наших врагов. Каждый успех Австрии против французов есть шаг к нашей пагубе».

Австрия оставалась одна, но оставить ее одну значило отдать на жертву Франции, упрочить торжество и преобладание последней в Европе. Обязанность воспрепятствовать этому, спасти Европу от французской игомнии падала на две другие сильнейшие державы — Россию и Англию. Обе в описываемое время очень хорошо сознавали эту обязанность, разумеется тесно соединенную с самыми существенными их интересами. В Англии могли найтись люди, которые говорили: зачем нам вмешиваться в дела континента, море спасает нас от опасности со стороны тамошних завоевательных стремлений; и в России могли найтись люди, которые говорили и теперь, и после: Франция далеко от нас, нападать на нас не может, из-

за чего же мы будем воевать с нею, вмешиваясь в чужие дела? Но такой близорукий взгляд не мог быть разделяем государственными умами обеих стран, ибо отдаленность и не такая, как отдаленность Франции от России, не спасала народов от нашествия завоевателей, и мудрость политическая состоит в предусмотрении и предотвращении опасности в самом ее зародыше.

В Англии могли радоваться смутам Французской революции в их начале, но когда волнение по самому положению Франции, по ее историческому значению и характеру народа быстро начало выходить из берегов, грозя залить всю Европу, Англия вооружилась и с ничтожным перерывом вела неутомимую борьбу до тех пор, пока французский разлив не вошел в берега. В России Екатерина II оканчивала свое знаменитое царствование с неослабной деятельностью и нетускнеющей ясностью политического взгляда. Екатерина поняла, что ей относительно Франции предстоит тот же образ действий, какой был принят императрицей Елисаветой относительно Пруссии, то есть устанавливать и поддерживать коалиции держав против напора завоевательного движения. Англия, как держава неконтинентальная, по незначительности сухопутных сил не могла принимать непосредственно важного участия в борьбе на материке Европы, она должна была стараться составлять коалиции и поддерживать их преимущественно денежной помощью. Россия по своей отдаленности от Франции также не могла принять непосредственное участие в борьбе, она должна была составлять и поддерживать войском коалицию ближайших к Франции держав, преимущественно Австрии и Пруссии; при этом тесный союз России с Англией подразумевался.

Екатерина, с самого начала следя зорко за всеми фазами революции и ее разливом, выступлением из границ Франции, считала необходимостью поддерживать австро-прусскую коалицию. Будучи занята вначале ближайшими отношениями к Швеции, Турции и Польше, она могла поддерживать борьбу против Франции только деньгами; для прекращения внутреннего революционного движения во Франции она считала единственным средством внутреннее же национальное движение; по ее взгляду, французские принципы могли успеть в своих предприятиях только в том случае, если бы действовали по примеру Генриха IV. Отпадение Пруссии от коалиции,

невозможность оставить одну Австрию без помощи заставили Екатерину заключить союз с Англией и Австрией, причем Россия обязалась выставить корпус войска для поддержания последней. Но смерть Екатерины расстроила дело; Павел I не захотел продолжать его; следствием были разгром Австрии Бонапартом и Кампо-Формийский мир.

В самом конце XVIII века образовалась другая коалиция: из России, Австрии и Англии, но от этой коалиции только на долю России выпала слава суворовских подвигов. Коалиция была неполная, ибо в ней не участвовала Пруссия; у союзников не было ясного, определенного плана действия; не было утверждено, что все частные счета и распределения должны происходить только по достижении общей цели. Россия вела войну по принципу, чему благоприятствовали ее отдаленность, ее независимость от преданий прошлого и от непосредственных отношений к Франции, от которых могли бы родиться частные интересы и счета. Но Австрия жила преданиями, вела с Францией долгую борьбу, длинные счета, и при каждом возобновлении борьбы все принимало в ее глазах практический смысл. В продолжение многих веков она боролась с Францией в Италии, которая по отсутствию государственного единства и проистекавшей отсюда слабости представляла свободную арену для борьбы сильных соседей, была «*res nullius, quae cedit primo occupanti*» (ничья вещь, которая отходит к первому, кто ею завладел. Пер. с лат.; шутл. применение к Италии тех времен одного из положений римского гражданского права: «Ничейная вещь отходит к первому, кто ею завладел».-Примеч. ред.). Практический вопрос для Австрии постоянно состоял в том, усилиться ли самой в Италии или дать усилиться в ней Франции. Достижение цели, поставленной Россией — восстановление престолов и алтарей, — не вело к решению практического вопроса, ибо восстановление мелких итальянских владений, не давая Италии силы и самостоятельности, не прекращало на ее почве борьбы между Австрией и Францией. Практический вопрос решался однажды навсегда объединением Италии, но до этого было еще далеко; пока он решался таким образом: получит успех в борьбе Австрия — Италия или по крайней мере преобладание в ней должно принадлежать Австрии; восторжествует Франция — она и должна господствовать в Италии. При таком различии отношений,

взглядов и стремлений, — различии, не отстраненном вовремя сознанием общей опасности и необходимости прежде всего довести до конца избавление от нее, коалиция не могла быть прочна и продолжительна, даже оставя в стороне влияние характера главных деятелей. Коалиция кончилась разрывом, враждой, которая грозила совершенной переменой системы: Россия вступала в союз с Францией и в войну с Англией. В эту-то решительную для Европы минуту в России произошла перемена: на престол вступает молодой император Александр I.

Прошел ровно век со вступления России в общую жизнь Европы, и ни один еще государь не всходил на русский престол при таком затруднительном положении европейских дел, как Александр I, которому предназначено было принять такое первенствующее участие в выводе Европы из этого положения, так наглядно показать значение вступления России в общую европейскую жизнь. Александр взошел на престол еще очень молодым человеком. Ему было 12 лет, когда началась революция во Франции, и не исполнилось еще 19-ти лет, когда революция, обманувши столько надежд, оканчивалась, выставив новые силы и отношения и оставляя столько вопросов на решение игре этих новых сил и отношений, и в то же время умирает великая бабка, — отнялась от России сильная, искусная, опытная правительственная рука, и началось сильное колебание, качка, повергавшая экипаж корабля все более и более в печальное, болезненное состояние. В это время молодой Александр должен был принять обязанности кормчего. Необыкновенно восприимчивый, впечатлительный по природе, в самый впечатлительный возраст он подвергался впечатлению целого рода явлений, небывалых по своей силе, и, когда оглушительное действие их стало прекращаться, началась эта внутренняя тряска, качка, которые не давали покоя и возможности для сосредоточения мыслей и чувств. Впечатление от этой качки могло бы еще ослабевать, если бы молодому человеку можно было привыкнуть мысленно сосредоточиваться на важных занятиях, входить в подробности дел и через это создавать под собой твердую почву, вращаться среди действительных, близких, осязуемых отношений. Но таких занятий он был лишен; он осужден был относиться ко всему или страдательно, или отрицательно. События, отдаленные по своей силе и значению, действовали могущественно,

захватывали все внимание; явления ближайшие шли поодаль, являлись чуждыми и мелкими. С конца XVIII века начинается новый период в новой русской истории вследствие новой постановки и осложнения европейских отношений.

С начала XVIII века и до последнего его десятилетия отношения России к Западной Европе были просты и спокойны. При сравнительном взгляде на свое и чужое в народе живом и развивающемся являлась сильная потребность, стремление заимствовать как можно скорее и как можно полнее то, что являлось лучшим у опередивших нас в цивилизации народов, и это заимствование казалось легким, ибо на все заимствуемое смотрели как на что-то внешнее, на все нововведения по чужому образцу смотрели как на переодевание в более удобное и красивое платье. Это делалось очень легко, без всякой внутренней, нравственной тяжести, безо всякого нравственного принижения. Напротив того, русский человек высоко поднимал голову, чувствуя свою силу, свое превосходство. Перед ним возвышался небывалый образ исторического деятеля — образ Петра Великого; народная гордость питалась значением европейской деятельности дочери Петра, удачей и блеском планов Екатерины II. Политические отношения к европейским народам, к их государственному устройству были также просты и, так сказать, внешни; различные политические формы производили главное впечатление только по отношению к силе или слабости государства. Польша погибала вследствие своих республиканских форм; в Швеции боялись больше всего усиления королевской власти, ибо это усиление дало бы стране могущество, сделав ее опасной для соседей.

Но события последнего десятилетия XVIII века произвели переворот во взглядах и отношениях: то, о чем прежде читалось только в книгах и могло спокойно, на досуге, по выбору, с переделками и ограничениями, по воле власти, применяться к известному государственному строю, то теперь из теории перешло в практику в самых широких размерах с явным стремлением на деле пересоздать общества на новых началах. Вопросы внутреннего строя народов выдвинулись вперед, овладели вниманием мыслящих людей, стали определять симпатии и антипатии правительств и народов. Такое осложнение отношений не могло остаться без сильного влияния на русских людей, давление западноевропейских явлений удвоилось, и

для многих спокойное отношение к ним исчезло и заменилось более страстным, то есть более страдательным. Таким образом, отношения русских людей к европейской цивилизации в XIX веке явились иные, чем были в XVIII, и поколение, которого император Александр I был представителем, стояло на границе двух веков, на границе двух миров и должно было выдержать первый напор от усиленного влияния Запада, тамошних порывистых движений вперед и соответственно порывистых отступлений назад или реакций. Деспотизм Наполеона сменил революционные бури; наполеоновский гнет над своими и чужими народами усилил симпатии к подавленным этим гнетом формам, которые и ожили вследствие падения Наполеона, и в свою очередь начали грозить усиленным развитием и порождать реакции. Не могли по своему положению быть простым зрителем этих движений при сознании своих средств, дававших возможность могущественного участия и решения, Александр, естественно, признал своей задачей как внешнее, так и внутреннее успокоение народов, примирение борющихся начал. Задача обольстительная; но была ли она легка?

Наконец, затруднительность положения молодого императора увеличивалась отсутствием помощников в первое, самое тяжелое время. Для народного утешения Александр объявил, что будет царствовать по мысли бабки своей Екатерины, и собрал около себя оставшихся деятелей знаменитого царствования. Но это были деятели второстепенные, исполнители, привыкшие ждать внушений и по ним действовать; другие же, более самостоятельные люди не имели тех способностей, которые дают силу совету, мнению, или имели одностороннее направление, или были далеко и не хотели приблизиться. Все это были уже старики, а государственная машина, естественно, нуждалась в новых, молодых работниках, которые, разумеется, вносили в работу новые понятия и стремления. Явились одна подле другой две группы людей, имеющих мало общего друг с другом. Император, по возрасту своему, естественно, более близкий к молодым, должен был соединять старых с молодыми и обыкновенно соединял их попарно в известных кругах деятельности, подле старика ставил молодого, прибирал их по известным отношениям друг к другу, чтобы не было между ними борьбы.

Новый император обещал царствовать по мысли знаменитой бабки; внешние отношения, которые он получил в наследство, были определены вовсе не по мысли Екатерины II, и, несмотря на то, Александр и лучшие люди должны были сознавать, что было бы вовсе не по мысли Екатерины круто и порывисто изменить все эти отношения. Александр наследовал войну с Англией, вражду с Австрией, сближение с Францией и Пруссией и некоторые тяжелые для России обязательства относительно государств второстепенных. Бесцельную и по обстоятельствам больше чем бесцельную войну с Англией надобно было прекратить, пока она еще не началась настоящим образом, но в союзе с Англией и в жертвованиях для этого союза другими отношениями не предстояло еще нужды. По общему ходу дел надобно было прекратить и вражду с Австрией, но эту разгромленную Бонапартом Австрию нельзя было сейчас же сделать авангардом новой коалиции против Франции; относительно же последней нужно было, естественно, принять выжидательное положение: что будет с этой республикой, которой управлял победоносный генерал под именем первого консула. Чего должна ждать от этого генерала Европа: новых ли завоевательных движений, которым должно противопоставить новые коалиции, или Бонапарт обратится к внутреннему устройству потрясенной революцией Франции и этим даст возможность и другим державам разоружиться и заняться внутренними делами; последнее казалось маловероятным, но во всяком случае надобно было ждать.

В инструкции русским министрам при иностранных дворах высказаны были основания политики императора Александра (4 июля 1801 года). Император отказывается от всяких завоевательных замыслов и увеличения своего государства.

«Если я подниму оружие, — говорит он, — то это единственно для обороны от нападения, для защиты моих народов или жертв честолюбия, опасного для спокойствия Европы. Я никогда не приму участия во внутренних раздорах, которые будут волновать другие государства, и, каковы бы ни были правительственные формы, принятые народами по общему желанию, они не нарушат мира между этими народами и моею империей, если только они будут относиться к ней с одинаковым уважением. При восшествии своем на престол я нашел себя связанным политическими обязательствами, из которых

многие были в явном противоречии с государственными интересами, а некоторые не соответствовали географическому положению и взаимным удобствам договаривающихся сторон. Желая, однако, дать слишком редкий пример уважения к публичным обещаниям, я наложил на себя тяжелую обязанность исполнить, по возможности, эти обязательства. Убежденный, что союз великих держав может один восстановить мир и общественный порядок, которого нарушители торжествовали при пагубном разрыве этого союза, я немедленно позаботился о том, чтоб обмануть их надежды, заявивши венскому двору искреннее желание забыть все прошлое. Общий план вознаграждений (государствам, пострадавшим от французских завоеваний) будет главным предметом моих переговоров с венским двором, и, если он хочет искренно содействовать моим благодетельным видам, мы соединим наши усилия для того, чтоб этот план был принят и Пруссией. Большая часть германских владений просят моей помощи. Независимость и безопасность Германии так важны для будущего мира, что я не могу пренебречь этим случаем для сохранения за Россией первенствующего влияния в делах империи. Решившись продолжать переговоры, начатые с Францией, я руководствовался двойным побуждением: упрочить для моей империи мир, необходимый для восстановления порядка в разных частях управления, и, в то же время, по возможности содействовать ускорению окончательного мира, который бы дал Европе время восстановить поколебленное здание социальной системы. Если первый консул сохранение и утверждение своей власти поставит в зависимость от раздоров и смут, волнующих Европу, если он не признает, что власть, основанная на неправде, всегда непрочна, ибо питает ненависть и дает законность возмущению, если он позволит увлечь себя революционному потоку, если, наконец, он вверит себя одному счастью, война может продолжиться, и при таком порядке вещей уполномоченный, которому вверены мои интересы во Франции, должен ограничиться наблюдением хода тамошнего правительства и тянуть время, пока обстоятельства более благоприятные позволят употребление средств более действительных. Но в случае, если первый консул окажется более понимающим собственные интересы и более чувствительным к истинной славе, если захочет излечить раны, нанесенные революцией, и дать своей власти основание более прочное

уважением независимости правительств, то многие чрезвычайно веские соображения могут внушить ему желание искреннего согласия с Россией и заставить принять ряд мер к восстановлению европейского равновесия: в таком случае переговоры, начатые в Париже, могут повести к удовлетворительным результатам. В этом предположении моему уполномоченному велено предложить тюльерийскому кабинету многие статьи, которые могут служить основанием ко всеобщему умиротворению. Легкость, с какой Бонапарт принял большую часть из них, не дает еще мне достаточного ружательства в том, что он разделяет мои виды. Возможно, что он будет охотнее содействовать им, когда лучше узнает их добросовестность и бескорыстие; верно то, что в царствование покойного императора консул имел особенно в виду приобрести помощь моего августейшего родителя против Великобритании, а теперь, быть может, он старается только выиграть время для выведения моей системы, чтоб, по соображению с нею, распорядить и свои политические операции, не обращая внимания на обязательства, заключенные в промежуточное время. От его дальнейшего поведения будет зависеть мое решение, и необходимая осторожность не позволяет мне ускорить этим решением. Я поручил графу Моркову (русский посол в Париже) дать первому консулу самые положительные удостоверения, что в моих сближениях с дворами венским и лондонским не скрывается никакого враждебного намерения против Франции; что ни тот, ни другой не предлагал мне наступательного союза и что я не буду принимать подобных предложений, если французское правительство будет уважать права и независимость моих союзников».

Это изложение политики нового императора прежде всего останавливает внимание заявлением начала невмешательства во внутренние движения и установления правительственных форм в других государствах; правительство Наполеона и всякое другое не могло быть помехой сближению и общему действию России с Францией, если только это французское правительство не будет продолжать завоевательного движения; в противном случае Россия будет служить твердой стеной, на которую обопрется всякая коалиция против нападчика. Коалиции еще нет, сближение с Англией и Австрией не есть наступательный союз с ними; но сближение превратится в такой союз, если Франция начнет наступательное

движение. В этой, по-видимому, столь умеренной и осторожной программе положено было начало борьбы с наполеоновской Францией, могшей кончиться только падением знаменитого корсиканца, ибо твердо и ясно было выставлено начало недопущения преобладания Франции в Европе.

Но эта мирная программа повела прежде всего к ожесточенной борьбе между русским послом в Лондоне графом Семеном Романовичем Воронцовым и управляющим иностранными делами в Петербурге графом Никитою Петровичем Паниным — к борьбе, в которой всего лучше отражаются отношения императора Александра к людям, наследованным им от предшествовавших царствований. Автором или редактором приведенной инструкции был граф Никита Петрович Панин, заведовавший почти исключительно иностранными делами, ибо другой парный министр, князь Александр Борисович Куракин, не принимал участия собственно во внешних сношениях. Панин был унаследован Александром от павловского царствования, был деятелем этого времени. Собственно представителем екатерининского царствования из дипломатов оставался граф Морков, принимавший важное участие в последних его событиях, но Морков был отправлен в Париж вести переговоры с первым консулом и наблюдать за ним.

Были еще два старых дипломата, братья Воронцовы, граф Александр и граф Семен Романовичи; по времени своего служения оба они всецело принадлежали екатерининскому царствованию, но в действительности не были и не хотели быть его представителями по фамильным отношениям. Родные племянники елисаветинского канцлера графа Михаила Иларионовича Воронцова, они всеми своими лучшими воспоминаниями и самыми сильными привязанностями принадлежали царствованию знаменитой «дщери Петровой»; будучи родными братьями Елисаветы Романовны Воронцовой, они не разделяли симпатий и антипатий другой своей сестры, Екатерины Романовны (Дашковой), и враждебно встретили переворот 28 июня. Екатерина II, не умевшая удалить от службы способных людей, не удалила от нее и Воронцовых, но не могла питать к ним и особенного расположения; они никогда не могли надеяться на приближение, чувствовали себя постоянно в почетной опале и потому постоянно находились в оппозиции главным силам и их деятельности. Никита

Иванович Панин, заменивший канцлера Воронцова (графа Михаила Иларионовича) в управлении иностранными делами, не терпел Воронцовых и заставил графа Александра Романовича покинуть дипломатическое поприще, и этим создал себе и своей политической системе непримиримых врагов в графе Александре и брате его Семене, которые по тесной дружбе составляли одного человека, так что граф Семен, перебивший впоследствии военное поприще на дипломатическое, в переписке своей не щадил выходок против Панина и его управления, видел одни ошибки в его политической системе, в прусском союзе и его следствиях.

Граф Александр, перешедши к делам внутреннего управления, с почетом занимал важные должности, был сенатором, президентом Коммерц-коллегии, но стоял в отдалении собственно от двора, и клиенты Потемкина считали его влиятельным членом кружка, враждебного их патрону; последнее время царствования Екатерины и все царствование Павла он провел вдали от дел. Выше его по способностям был граф Семен, занимавший с 1785 года пост русского министра при лондонском дворе до самой кончины Екатерины. Осыпанный сначала милостями при Павле, он вдруг подвергся опале, был отставлен, имение его конфисковано. Александр по восшествии на престол поспешил отнестись к обоим Воронцовым с особенной лаской и уважением; граф Семен восстановлен был на прежнем любимом месте; граф Александр сделан членом Совета. Граф Семен, оставаясь горячим патриотом, с участием следя за всем, что делалось в России, не мог, однако, не подвергнуться влиянию долгого пребывания вне России и в стране, которая ему по разным причинам очень нравилась, приходилась вполне по его природе, не способной гнуться пред людьми и обстоятельствами, по стремлению к независимости. Министр, которому не очень по душе та страна, в которой он служит представителем своего государства, спокойнее, беспристрастнее смотрит на отношения к ней своего отечества, легко мирится и с мыслью о возможности охлаждения между ними, и с мыслью о возможности покинуть свой пост. Но министр, которому очень нравится в стране, где он пребывает, боится столкновения между ней и своим отечеством как имеющего нарушить его привычные отношения и связи, столь дорогие ему, боится мысли быть принужденным совершенно порвать их и удалиться из любимой среды. Упрек,

который делали графу Семену в его пристрастии к Англии, нельзя назвать неосновательным: доказательством служило его неудовольствие на постановление вооруженного нейтралитета, который естественно и необходимо вытекал из национальной русской политики, был на море таким же действием, каким на суше участие России в Семилетней войне и борьба ее с Наполеоном. Но с последнего десятилетия XVIII века положение графа Семена было чрезвычайно выгодно, потому что по необходимости борьбы с Францией тесное сближение России с Англией стояло на очереди, должно было требоваться государственными людьми как необходимость.

Граф Семен Воронцов сначала был хорошо расположен к графу Н. П. Панину; это расположение Панин умел заискать уважением, доверенностью, которые выражались в его письмах к Воронцову. Но граф Александр Воронцов написал брату очень дурной отзыв о характере представителя неприятной фамилии, и этого было довольно, чтобы переменить отношения графа Семена к Панину: с одной стороны, неограниченное доверие к брату, с другой — невольное раздражение старика, принужденного находиться в известном подчинении у молодого человека, — раздражение, которое обыкновенно ищет только предлога, оправдания, чтобы выразиться. Панин еще в царствование императора Павла имел неосторожность высказать в одном из писем к графу Семену основания своей политической системы, эта система состояла в союзе с Англией, Пруссией и Портой Оттоманской.

«По моим принципам, — писал Панин, — надобно обуздывать честолюбие Австрии политикой Екатерины II и сдерживать Швецию союзом с Турцией». Но эта политика очень напоминала политику дяди Панина, знаменитого Никиты Ивановича, вследствие чего племянник в глазах Воронцовых явился таким же пруссаком, как и дядя, а этого наследственного греха простить ему было нельзя, особенно когда приверженец прусского союза не употреблял всех своих усилий для удовлетворения требованиям Англии — необходимых, по мнению приверженца английского союза.

Так, графу Моркову поручено было, между прочим, предложить Бонапарту посредничество России в примирении Франции с Турцией. В Англии сильно встревожились, потому что боялись влияния

Франции в Константинополе. Сам король счел нужным переговорить об этом с Воронцовым. «Император Павел, — говорил Георг III, — во время самой сильной ненависти против нас, сделал это предложение Бонапарту, зная, что мир между этим консулом и Портой будет чрезвычайно вреден и враждебен для Великобритании, а нынешний император, друг Великобритании, делает Франции то же предложение, какое император, его отец, сделал по ненависти. Положим, что император Александр также питает нерасположение к Англии, что, впрочем, кажется невозможным; но зачем же он хочет принести в жертву и Турцию; ибо какую безопасность этим миром она приобретет против интриг Франции, для которой нет ничего священного? Франция снова поведет выгодную торговлю с Левантом, которая даст ей средства продолжать войну с нами. Она заведет консула, вице-консула и других агентов по всем областям Турции, где они сделают то же, что их товарищи сделали в Швейцарии: станут революционировать греков, и меньше чем в три года Европейская Турция представит сцены более страшные, чем те, которые опозорили человечество во Франции в первые годы ее проклятой революции. Я предоставляю его величеству императору обсудить: справедливо ли и выгодно ли для его империи подвергать пожару соседку Турцию. Революция, начавшись в Эпире, Македонии, Боснии, Болгарии, перейдет в Молдавию и Валахию и явится на границах Русской империи. Но прежде всего Порта очутится в неловких отношениях к Англии, которые необходимо поведут к войне. Эта война ускорит гибель Турции, ибо Франция под предлогом сохранения для Порты стран, подверженных нападению английских эскадр, введет туда французские гарнизоны, которых уже больше не выведет и которые сделаются центром для революционирования жителей. Таким образом, если его величество император желает охранить Турцию, которая вовсе для него не опасна, то он должен не советовать ей заключения отдельного мира с Францией, но внушать ей, чтоб она не отставала от Великобритании, которая никогда не покидает своих союзников и не постановит мира с Францией, не включив в него Порты».

Но в Петербурге никак не трогались объяснениями его великобританского величества, что сильно беспокоило и раздражало Воронцова, делая неловким его положение в Англии, где имели право думать, что он или не хочет настаивать при своем дворе

на удовлетворении английским требованиям, или не может этого сделать, не имеет достаточно влияния. В этом раздражении Воронцов обрушивается на Панина: он всему виною, через него одного император ведет иностранные дела, с ним одним советуется; другое дело, если бы иностранные дела проходили через Совет: там брат Александр и его единомышленники. В это время сильного раздражения приходит циркулярная инструкция. Ее написал Панин, мальчик, которому было 13 лет, когда Воронцов оставил Россию, а теперь этот мальчик пишет наставления, и какие наставления! Инструкция представляла в некоторых местах темноту, в некоторых подробностях противоречие, представляла некоторые неудачные выражения. Воронцов решился воспользоваться всем этим, разгромить инструкцию и сделать это в письме к самому императору. Основные положения Воронцова были: иностранные дела должны обсуждаться в Совете пред государем, а не поручаться одному лицу; этим доверенным лицом никак не может быть Панин. Громя инструкцию, Воронцов делал вид, что приписывает ее одному Панину, выделяя совершенно императора, что для последнего могло быть не менее оскорбительно. Но Воронцов сослался на письмо Александра, где тот писал ему: «Я должен вас благодарить за то, что вы сочли меня достойным внимать истине. Жду от вашей верности и от вашего патриотизма, что вы будете продолжать говорить мне с той же прямою».

Александр не отрекся от этих требований своих; он благодарил Воронцова за откровенность, с какой написано его письмо, повторял, что требует от каждого правды, и в доказательство, с каким удовольствием будет он принимать все, что напишет ему человек таких лет, такой опытности и таких заслуг, как Воронцов, император вошел в объяснение по поводу его письма. Он признал пользу обсуждения иностранных дел в Совете и высказывал надежду, что впоследствии будет возможность вносить в Совет дела наиболее важные, но до сих пор он не мог этого сделать, должен был ограничиться работой в кабинете с каждым из министров отдельно, потому что уже нашел такой порядок установленным и не хотел изменять его, не приобретя прежде известной опытности и известного спокойствия, которые могли бы дать средства подумать о перемене полезной. Александр признавал всю справедливость замечаний

Воронцова насчет пользы сближения с Англией, но замечал в свою очередь, что нельзя было вдруг в пользу Англии отказаться от начал вооруженного нейтралитета, пожертвовать выгодами северных держав, Швеции и Дании, которые Россией же были привлечены к союзу против Англии, и нельзя было вдруг удовлетворить всем требованиям Англии; это значило бы обнаружить страх перед ее флотом, который находился в Балтийском море вследствие враждебных отношений к Англии императора Павла.

«Но теперь, — писал Александр, — когда опытность освоила меня с этими предметами, и затруднения, встреченные мной при восшествии на престол, начинают ослабевать, конечно, я не смешиваю интересов России с интересами северных держав. Я особенно постараюсь следовать национальной системе, то есть системе, основанной на выгодах государства, а не на пристрастиях к той или другой державе, как это часто случалось. Я буду хорош с Францией, если сочту это полезным для России, точно так, как теперь эта самая польза заставляет меня поддерживать дружбу с Великобританией». Наконец, император счел нужным упомянуть и о мнении английского короля относительно примирения Турции с Францией, потому что Воронцов сильно настаивал на справедливости этого мнения и требовал его принятия. Александр объявил, что он не признает его основательным. Россия не могла отказать Порте в посредничестве для примирения ее с Францией, тем более что в случае отказа Порта обошлась бы и без русского посредства, обратившись прямо к французскому правительству; кроме того, отказ возбудил бы в турках подозрение относительно видов России, тогда как следует сохранять их доверие. Наконец, принятие посредничества необходимо следует из искреннего желания императора видеть установление всеобщего спокойствия; Россия точно так же предложила свое посредничество и Англии для примирения ее с Францией.

Спокойный тон, который господствовал в письме государя в сравнении с раздражительностью и страстностью, отличавшими письмо подданного, придавал письму Александра особенное величие и объяснениям императора — особенную вескость. Воронцов не мог не почувствовать всей силы урока, который дан был ему, старику, очень молодым государем, несмотря на все уверения последнего в своем уважении и доверии к летам и опытности заслуженного вельможи.

Особенно урок был силен в пункте о национальной политике, которая исключает пристрастие к той или другой державе. Воронцов должен был увидеть, что, преследуя Панина, встретился с борцом более сильным и что сущность инструкции принадлежала не Панину, а самому Александру, готовому защищать ее.

Что же касается графа Панина, то император в этом же письме объявлял Воронцову, что молодой министр сам удалился от дел, недовольный, как говорили, тем, что император недостаточно наградил его в день коронации, и тем, что по поводу жалобы, поданной на него князем Куракиным, император взял сторону последнего. Но торжество Воронцовых зависело не от удаления Панина, а от того, что национальный интерес делал невозможным сближение с Францией и Пруссией, а требовал сближения с Англией и Австрией. Вполне соответственно этому требованию в челе управления иностранными делами явился граф Александр Воронцов, составлявший по своим убеждениям одно существо с братом. Помощником старику Воронцову был придан друг молодости императора польский князь Адам Чарторыйский. Чарторыйский нравился обоим Воронцовым: он, по-видимому, вполне разделял их взгляды, не мог быть приверженцем прусской системы Паниных, которая повела к разделу Польши; какой же был собственный взгляд Чарторыйского — о том он Воронцовым не говорил.

II. ПЕРВЫЙ РАЗРЫВ С НАПОЛЕОНОМ

В начале XIX-го века Европа представляла удивительное на первый взгляд явление, бывшее результатом всей ее истории. Два крайние государства ее на континенте, Россия и Франция, не имевшие, по-видимому, никаких точек соприкосновения, стояли друг перед другом, готовые к борьбе. Что против Франции на первом плане стояла Россия, это самое показывало уже, что дело идет не о частном каком-нибудь интересе. От Франции шло наступательное, завоевательное движение; в ее челе стоял первый полководец времени, задачей которого было ссорить, разъединять, бить поодиночке, поражать страхом, внезапно нападения, силой притягивать к себе чужие народы.

От России, наоборот, шло движение оборонительное, и государь ее в соответствии этому характеру движения отличался не воинственными наклонностями, не искусством бранного вождя, но желанием и умением соединять, примирять, устраивать общее действие, решать европейские дела на общих советах, приводить в исполнение общие решения. Во время борьбы с Наполеоном Александр является составителем и вождем коалиций для отпора завоевательному движению Франции. С окончательным успехом последней коалиции, с низвержением виновника завоевательного французского движения целью Александра является поддержание общеевропейского союза для сохранения мира и общественного порядка, поддержание общего действия, общего управления Европы посредством собраний, советов государей и уполномоченных их, посредством конгрессов. Таким образом, деятельность Александра I-го вследствие личного характера его и вследствие положения Европы и России разделяется 1814 годом на две половины: эпоху коалиций и эпоху конгрессов.

Если император Александр с самого начала своего царствования предвидел, какая деятельность предстояла ему в европейских событиях — деятельность начинателя и главы коалиций против завоевательных стремлений Франции, то Наполеон так же ясно видел, что такая деятельность могла принадлежать только России, ее

государю. Без России никакая коалиция если бы и была возможна, то не была бы ему опасна, и потому главная цель его политики в отношении к России заключалась в том, чтобы разными хитростями и приманками отталкивать Россию по возможности от связи с другими державами, пока не принудит их поодиночке подчиниться своей воле: тогда Россия должна будет отказаться от деятельности, оставшись в одиночестве, и если вздумает противиться, то будет поражена всеевропейской коалицией, направленной против нее под знаменами первого полководца века. Как в прошлом столетии Фридрих II заключил союз с Россией и, обеспечив себя им, не хотел слышать с русской стороны предложений расширить этот союз введением в него ряда других, слабейших держав, ибо это связывало ему руки, так теперь Наполеон не хочет слышать русских предложений вести дела сообща с какой-нибудь другой державой.

Для России нужна прочность отношений между державами, обеспечивающая продолжительный мир, а эта прочность отношений обуславливается союзом большинства значительнейших держав. Александр не хотел исключать из этого союза могущественную Францию, хотел ее присутствием в союзе еще более скрепить его; но человек, управлявший Францией под именем первого консула, вовсе не хотел прочности отношений между державами, ведущей к продолжительному миру. Он смотрел на мир только как на перемирие, дававшее передышку и время устроить некоторые выгодные для будущей войны отношения, потому Наполеон не хотел слышать ни о каком общем деле, общем соглашении, которое бы связывало ему руки. Русский посланник Колычев, отправленный в Париж еще императором Павлом, писал^[1], что первый консул отверг тотчас же статьи предложенного ему с русской стороны договора, в которых заключалось обязательство при общем замирении не допускать для вознаграждений никаких других оснований, кроме установленных Россией, Пруссией и Францией. Французский министр иностранных дел Талейран выразил положительно желание своего правительства войти прямо и просто в соглашение с русским императором относительно предметов, где интересы обоих правительств сойдутся. Талейран при этом внушал Колычеву, что необходимо составить общий план, чтобы воспрепятствовать дворам берлинскому и венскому

воспользоваться настоящими обстоятельствами и приобрести в Германии больше того, на что действительно имеют право.

Эти настоящие обстоятельства заключались в том, что по Люневильскому миру, заключенному (9-го февраля 1801 года) Германской империей с Францией вследствие последнего погрома Австрии, левый берег Рейна отходил к Франции. Германия лишилась 1, 150 квадратных миль; но владельцы не хотели лишиться ничего; им выговорено было вознаграждение, которое они должны были получить посредством так называемой секуляризации, то есть отдачи светским князьям в потомственное владение церковных владений, епископств и аббатств; вольные города также должны были потерять свою вольность для вознаграждения владельцев, лишившихся своих земель на левом берегу Рейна. Казалось бы, что такое чисто германское дело надобно было устроить внутри Германии по соглашению одних ее владетелей. Но если бы это соглашение было возможно, то не было бы и Люневильского мира и уступки Франции левого берега Рейна. Крупные германские государства, Австрия и Пруссия, потеряли свое значение, и мелкие, не имевшие обо что опереться у себя, бросились, как слабые, ко внешней силе, начали преклоняться пред французским правительством, и дело вознаграждения перешло в руки Наполеона, который, желая пока иметь на своей стороне Россию, соглашался уступить известную долю участия в деле русскому императору, но с исключением всякой германской державы.

Почувяв, где сила, где решение дела, уполномоченные германских дворов бросились в Париж и не щадили ничего, ни денег, ни ласкательств, ни унижения, чтобы только сослужить верную службу своим высоким доверителям: это были патриоты и верноподданные своего рода. В Париже производилась торговля епископствами, аббатствами, вольными городами; немецкие посланники с деньгами в руках взапуски ползали перед любовницей Талейрана, перед его секретарем Матьё, перед французским посланником в Регенсбурге Лафорестом. Впечатление, производимое этим явлением на первого консула и создаваемое им французское сановничество, было ужасное, развращающее; оно внушало им полное презрение к слабым, надежду на одну силу, которой все позволено. И легко понять, как для избалованного раболепством главы Французской республики невыносим был представитель какого-нибудь государства, который с

достоинством поддерживал это представительство, который не гнулся пред людьми, привыкшими кричать: «Горе побежденным!» — не гнулся потому, что непризнавал своего государства побежденным.

Колычев был неприятен первому консулу и его министрам именно потому, что вел себя с достоинством: с ним надобно было считаться, говорить иначе, чем с другими послами, что особенно видно из следующего. Весть о кончине императора Павла была для Наполеона громовым ударом; по обычаю, он искал, на ком бы сорвать сердце, и сорвал его в «Монитёре» на англичанах, но, кроме выходки в журнале, другого средства достать англичан не было; легче и приятнее было сорвать сердце на сардинском короле, за которого заступался покойный император Павел, требуя возвращения ему Пьемонта. Теперь, когда заступника уже более не было, Наполеон поспешил дать Пьемонту управление, одинаковое с управлением всех других французских департаментов, причем предписал: если Колычев станет на это жаловаться, то отвечать, что дело еще не решенное, что сардинский король вывел первого консула из терпения своим неуважением к нему; а если бы стал жаловаться прусский посланник Люккезини, то ему отвечать, что французское правительство не обязано рассуждать с прусским королем об итальянских делах.

Колычев действительно протестовал, и протестовал сильно против французских распоряжений в Италии, настаивая на исполнении обещаний, данных императору Павлу, и давая знать гражданину Талейрану, что если эти обещания не будут исполнены, то восстановление дружбы между Россией и Францией не может быть долговременно. Гражданин Талейран жаловался на резкий тон Колычева, который скоро был отозван, но Наполеон и Талейран ничего не выиграли от этой перемены. Преемником Колычеву был назначен граф Морков как более искусный и способный на трудном посту посланника при Французской республике; притом же опальный сановник прошлого царствования возобновлял свою деятельность на блестящем посту внешнем, тогда как возобновление этой деятельности на каком-нибудь внутреннем не очень желалось. Морков отличался самыми изысканными придворными манерами XVIII века, утонченной вежливостью, входил и раскланивался по правилам танцевального искусства, ступал на цыпочках, говорил на ухо — и все остроты. Но этот утонченнейший маркиз превращался во льва, когда надобно было

охранять интересы и честь России; он принадлежал к таким русским деятелям, о которых говорили, что они катеринствуют, — к людям, привыкшим при Екатерине считать Россию первым государством в мире, решительницей судеб других народов.

11-го октября (н. ст.) 1801 года Морков заключил тайную конвенцию между Россией и Францией: обе державы обязались сообща, в полном согласии покончить дело о вознаграждении германских владельцев вследствие Люневильского мира, причем выражено было желание допускать как можно менее перемен в государственном устройстве Германии; сохранять справедливое равновесие между домами австрийским и бранденбургским; соблюдать искреннее согласие и сообщать друг другу свои намерения относительно устройства Италии и светских отношений римского двора для дружеского окончания всех этих дел. Первый консул обязывался при русском посредничестве открыть вскорости мирные переговоры с Оттоманской Портой; сохранить неприкосновенность владений короля Обеих Сицилий и, как скоро судьба Египта будет решена, вывести французские войска из Неаполитанского королевства. Обе державы обещали заняться дружески и доброжелательно интересами короля Сардинского сколько возможно по настоящему положению вещей; независимость республики семи Ионических островов была признана, и постановлено, чтобы в ней не оставалось более иностранных войск; русский император обещал стараться об освобождении французов, находившихся в турецком плену. Обе державы обязались немедленно заняться средствами утвердить на вышесказанных основаниях всеобщий мир, восстановить должное равновесие в различных частях света, обезопасить свободу морей и действовать согласно убеждениями и силой для блага человечества, общего спокойствия и независимости правительств.

Сила, военная удача дали Франции первенствующее положение в Западной Европе, но на востоке Европы было государство, с которым Франция должна была считаться, поделить своим значением, сообща распорядиться европейскими делами, причем Россия прямо выставляет свое начало, свою цель: действовать для блага человечества, общего спокойствия и независимости государств. Нам теперь все это может показаться наивными фразами в конвенции, заключаемой с Наполеоном, но мы видели, что император Александр

именно хотел испытать нового правителя Франции. Не обращая внимания ни на форму, ни на имя, ни на происхождение французского правительства, русский государь задавал вопрос: согласно ли будет это правительство содействовать видам России в установлении всеобщего спокойствия и прочных правильных отношений между государствами Европы: если будет согласно, то, как бы ни назывался правитель Франции, первым консулом или иначе, Россия будет с ним в тесном союзе; если же нет, то следствием будет постоянная вражда. Таким образом, конвенция естественно вытекала из основного взгляда императора Александра на внешние отношения России.

Сильно были недовольны конвенцией в Англии; сильно потому сердился на нее граф Семен Воронцов и не щадил насчет ее резких выражений, причем продолжал толковать о панинских внушениях, выгораживая Моркова как невольное орудие. Отчего же конвенция заслужила такую немилость на другом берегу пролива? Здесь, как и во Франции, вообще не были довольны поведением нового русского государя, несмотря на то что он миролюбиво, дружественно отнесся ко всем. В Англии ждали, что в петербургском кабинете произойдет полная реакция последним направлениям политики предыдущего царствования, что новый император сейчас же порвет с Францией и тесно соединится с Англией. Сколько в Англии надеялись на такой переворот в политике России, столько же во Франции боялись его; успокоились, когда увидели, что его нет, но все же не были довольны миром России с Англией, спокойным, беспристрастным тоном политики нового государя, ее самостоятельностью и независимостью, что все не давало надежды употребить Россию орудием для своих целей, заставляло считаться с нею. Как бы то ни было, положение, которое принял Александр, должно было повести к кратковременному успокоению Европы: Англия и Франция обе были утомлены войной; но скорый мир был бы невозможен, если бы Франция надеялась на русскую помощь, как было при Павле, или если бы по смерти Павла произошла та реакция, какой ожидали в Англии, которая оперлась бы на Россию для получения более выгодных мирных условий. Но спокойное и беспристрастное положение России предоставляло Англии и Франции переводываться одним друг с другом; они устали, нуждались хотя в кратковременной передышке; континентальные успехи одной были уравновешены морскими успехами другой. Россия,

которая могла положить свою тяжесть на ту или другую чашку весов, отстранялась, и воюющие державы приступили к мирным переговорам; Питт, которого имя было неразлучно с представлением о борьбе на жизнь и на смерть между Англией и Францией, — Питт вышел из министерства; преемник его Аддингтон поставил своей задачей заключение и поддержание мира.

1-го октября 1801 года были подписаны в Лондоне прелиминарные статьи мира между Францией и Англией: последняя возвращала Французской республике и ее союзникам все колонии, захваченные у них англичанами во время войны, кроме испанского острова Тринидада в Америке и голландского Цейлона в Азии, которые оставались навсегда за Англией; Египет возвращался Турции, Мальта — ордену Св. Иоанна Иерусалимского; французские войска должны были очистить римские и неаполитанские владения, английские острова и гавани Средиземного и Адриатического морей; обеспечивалась целостность Португалии.

Прелиминарные лондонские статьи и парижская франко-русская конвенция были заключены почти в одно время, вели к одной общей цели, никакого противоречия в себе не заключали, а между тем в Англии сильно были взволнованы и раздражены франко-русской конвенцией: в ней опять затрагивалось чувствительное место. Мы видели, каким раздражением было встречено в Англии русское предложение первому консулу посредничать при заключении мира между Францией и Турцией. Теперь Англия взялась быть посредницей, выговаривая возвращение Египта Турции, и вдруг узнает, что Россия не отказалась от своего посредничества и внесла его в Парижскую конвенцию. В Англии не умели при этом скрыть своего раздражения, не умели скрыть своего стремления отстранить русское влияние в Константинополе, и министр иностранных дел лорд Гоуксбюри объявил графу Воронцову, что король сильно огорчен невниманием императора Александра к его прежним просьбам отказаться от плана отдельного мира между Францией и Турцией, потому что Англия не заключит мира с Францией без включения в него Турции. Морков должен был знать о лондонских прелиминарных статьях и, несмотря на это, все же внес в свою конвенцию условие о посредничестве России между Францией и Турцией.

Англия хотела уничтожить влияние России на Востоке, но до столкновения этих двух держав здесь было еще далеко; Восточный вопрос не становился еще на очередь; отношения на Западе оттягивали все внимание, а здесь человек, управлявший Французской республикой, хотел отнять у Англии всякое влияние на дела континента. Когда после подписания лондонских прелиминарии открылись между Англией и Францией переговоры в Амьене, французский уполномоченный, брат первого консула Иосиф Бонапарт получил внушение, что французское правительство не хочет слышать при переговорах ни о короле Сардинском, ни о внутренних делах Батавии (Голландии), Германии, Швейцарии и республик итальянских; все это совершенно чуждо переговорам между Францией и Англией, и при составлении прелиминарии было об этом говорено очень мало — достаточное доказательство, что теперь вовсе не нужно поднимать об этом вопроса. Кабинет Аддингтона хотел во что бы то ни стало заключить поскорее мир, в этом он поставлял свое значение, свою славу, возможность существования, предполагая сильное желание народа видеть конец войны. При сильном желании уладить что-нибудь обыкновенно смотрят сквозь пальцы на некоторые затруднения, спешат обойти их молчанием, предполагая, что с течением времени все уладится, хотя очень часто с течением времени эти затруднения являются неодолимыми и разрушают желанное дело.

Мир между Англией и Францией был заключен в Амьене 25-го марта 1802 года, и народ в Англии, действительно желавший передышки, встретил его с восторгом. Но когда первое впечатление прошло, когда наступили минуты спокойного обсуждения дела, положения, им созданного, то стало оказываться, что положение это вовсе не выгодно, что против стремления Франции к усилению нет никаких гарантий — континент отдан ей на жертву. Это обсуждение положения, созданного Амьенским миром, началось двумя обычными, открытыми путями: путем парламентских прений и путем печати. В парламенте поднялась оппозиция из приверженцев прежнего Питтова министерства, раздались слова: «Англия похожа на крепость, которая потеряла свои внешние укрепления, Амьенский договор представляет прелиминарии смертного приговора Англии»^[2]. Министры могли отвечать одно: «Необходимость требовала заключить мир: мы

оставлены союзниками, новая коалиция на континенте в эту минуту невозможна».

Печать со своей стороны указывала На невыгоды Амьенского мира, на ошибки, сделанные при его заключении. Английские министры привыкли спокойно относиться к выходкам печати против своих действий, но не привык к этому правитель Франции. Кроме условий, заключавшихся в характере Наполеона и не позволявших ему равнодушно сносить и свободного отзыва о его действиях — не только оскорбления, самое положение его заставляло его быть чрезвычайно чувствительным к публичным, печатным порицаниям. Добиваясь власти и ее утверждения, он был осужден на постоянную борьбу с препятствиями, с людьми, которые не желали его власти, ее утверждения; он не был законный государь, он был только вождь партии, которую надобно постоянно усиливать, делать господствующей. Средством для этого был успех очевидный, признанный; блеск, слава, заставляющие молчать противников; похвала, восторг могущественно действуют на толпу, на большинство, заставляют его преклоняться пред человеком, которому раздаются постоянные похвалы, имя которого произносится с восторгом. Но вот раздаются слова сомнения, порицания — и вождю партии кажется, что уже толпа смущается, делится, обаяние исчезает, кумир без фимиама уже не бог; ему кажется, что число поклонников его уже уменьшается, партия слабеет; поэтому понятно, в какое раздражение приводит его каждый враждебный голос; понятно, как он пользуется своей силой, чтобы заставить молчать своих противников, враждебные партии. На увещания установить свободу печати Наполеон отвечал: «Чего ожидать от этих людей, которые все еще сидят на своей метафизике 1780 года! Свобода печати! Стоит мне только ее восстановить, так сейчас же появится тридцать журналов роялистских, столько же журналов якобинских, и мне придется управлять с меньшинством!»

Во Франции слышится одна хвала человеку силы, вождю господствующей партии; он успокаивается, чувствует под собой твердую почву, цель утверждения власти кажется достигнутой; но смущают его враждебные речи, раздающиеся из стран чужих; хотя и не вдруг, и не без труда, но проникнут они во Францию и могут произвести то же действие, как если бы они раздавались прямо внутри страны. Раздражение и опасение усиливаются тем, что эти враждебные

статьи и сочинения выходят не только из-под пера иностранцев, мнения которых встречают противодействие в патриотическом чувстве, но также из-под пера французов, роялистов, конституционистов, якобинцев, у которых есть соумышленники в самой Франции. Раздражение усиливалось еще тем, что уничтожить эти враждебные сочинения, наказать их авторов было не во власти правителя Франции; враги кололи человека силы и смеялись над его бессильной яростью; обаяние силы уменьшалось. Но сила, развиваясь, отвыкает предполагать для себя препятствия неодолимые, и первый консул требует у английского правительства прекращения выходок английской печати, требует изгнания или наказания французов, нашедших убежище в Англии и пишущих против нового порядка вещей в своем отечестве. Ему отвечают, что по английской конституции печать пользуется полной свободой, что в Англии не потерпят вредных действий французских эмигрантов, но принимать против них меры предварительные несогласно с честью и законом гостеприимства. Наполеон возражал, что английское правительство может позволять печати порицание действий своего внутреннего управления, но есть высшие требования, требования международного права, пред которыми должны молчать законы отдельных государств; что можно терпеть у себя и против себя, того нельзя позволять в отношении к чужим правительствам. Эти новые положения международного права не могли быть признаны английским правительством, и Наполеон стал вести войну против английских газет в своей газете, в «Монитёре», где постоянно появлялись самые грубые выходки против основ английской политической жизни. Любопытны сцены, какие иногда в «Монитёре» сводились между двумя хищничествами, французским и английским; сравнивая французов с англичанами, «Монитёр» однажды воскликнул: «Какое различие между народом, который делает завоевания из любви к славе, и народом торгашей, который становится завоевателем!»

Понятно, что такая газетная война не могла успокоить раздражения; она напоминала обычай первобытных народов — перед началом битвы ругаться, особенно осыпать насмешками и бранью вождей. Обычай сохранился с тем различием, что у народов первобытных бранятся устно перед битвой, а у народов цивилизованных бранятся печатно, в газетах и отдельных сочинениях,

в прозе, а иногда и в стихах; следствие же одно и то же — взаимное раздражение. Но кроме этого раздражения были и другие причины, не допускавшие продолжения мира. Наполеон не хотел признать за Англией никакого права вмешиваться в его распоряжения с соседними слабыми народами; на представления относительно этих распоряжений он отвечал с такой бесцеремонностью, от которой новые европейско-христианские народы давно уже отвыкли. Англия со своей стороны не могла удержаться от искушения удерживать за собой драгоценную Мальту, оправдывая такое нарушение договора его непрочностью вследствие поступков первого консула. Наполеон присоединил к Франции Пьемонт и остров Эльбу и распорядился хозяином в Швейцарии; английское правительство заговорило по этому поводу о политическом равновесии, о Люневильском мире. Наполеон велел отвечать на это угрозами: «Без сомнения, Англия станет искать союзников в Европе; если она их найдет, то этим она только заставит нас завоевать Европу. Первому консулу только 33 года; он сокрушал только до сих пор государства второстепенные! Кто знает, сколько ему понадобится времени, чтобы изменить лицо Европы и восстановить Западную империю?»

Но в Англии думали, что если дать Наполеону свободу распоряжаться на континенте так, как он до сих пор распорядился, то не будет безопасности и для владычицы морей. В парламенте раздавались слова: «Ждать ли, чтоб он овладел всем континентом, и тогда только начать против него действовать? Бонапарт заключил договор с французами: они согласны повиниться ему под условием, что он доставит им владычество над вселенной». Раздражение и без того уже было сильно, когда Наполеон с целью пристращать Англию коснулся главного ее интереса: в начале 1803 года в «Монитёре» появилось донесение Себастиани, отправленного первым консулом на Восток; здесь говорилось о легкости вторичного завоевания Египта Францией; по утверждению Себастиани, для этого достаточно было 6000 французского войска. Нельзя было придумать лучшего средства задеть англичан за живое; раздражение их достигло высшей степени. Аддингтон должен был отказаться от своей системы поддерживать мир во что бы то ни стало. Наполеон слал одну угрозу за другой: он объявил в «Монитёре», что 500000 войска готово защищать республику и мстить за нее. Наполеон, как все люди его характера и

положения, считал только своим правом грозить, пугать и выходил из себя, если угрожаемый становился в боевое положение. Так, когда король Георг III повестил палате общин, что надобно принять меры предосторожности, Бонапарт в сильном волнении подошел к английскому посланнику лорду Уитворту и сказал ему громко: «Итак, вы решились объявить нам войну! Мы воевали десять лет; вы хотите воевать еще 15 лет, вы меня к этому принуждаете». Подле стояли два посла — русский Морков и испанский Азара; Наполеон обратился к ним: «Англичане хотят войны, но если они первые обнажат шпагу, то я последний вложу ее в ножны; они не уважают договоров, которые должно покрыть черным крепом». После этой выходки Наполеон обратился опять к Уитворту: «Зачем вооружение? Против кого меры предосторожности? У меня нет ни одного линейного корабля в моих гаванях! Вы хотите драться, и я буду драться! Вы можете убить Францию, но не испугать!» «Мы бы не хотели ни того, ни другого, хотели бы жить в добром согласии с Францией», — сказал посланник. «Так надобно уважать договоры, — закричал Наполеон. — Горе неуважающим договоры!» Наполеон этими словами намекал на то, что Англия не очищала Мальты, но упрек другим в неуважении договоров звучал очень дико в устах Наполеона. В ответ на выходку первого консула Англия потребовала в виде гарантии Мальту на десять лет и в то же время потребовала, чтобы Франция вывела войска свои из Батавской республики (Голландии), из Швейцарии и дала вознаграждение королю Сардинскому. Подобные требования могли быть сделаны только для того, чтобы выйти из тяжелого нерешительного положения; цель была достигнута: война между Англией и Францией началась снова; французы заняли Ганновер, принадлежавший английскому королю.

А между тем Наполеон не хотел войны с Англией: кроме убытков, верных морских поражений, потери флота, эта война не могла ему ничего обещать; руки были коротки, достать ненавистный остров, несмотря на всю его близость, было нельзя; угроза высадки, несмотря на все приготовления, оставалась только угрозой; занятие Ганновера, принадлежавшего английскому королю, нисколько не трогало англичан. Но и мир с Англией был невозможен, потому что Англия не хотела смотреть равнодушно, как Наполеон распоряжался на континенте. Точно в таком же положении находился Наполеон и к

России: он не хотел войны с ней, а война была неизбежна, потому что Россия не давала ему распорядиться в Европе, порабощать слабейшие государства; с Россией заключены были обязательства — с тем, разумеется, чтобы их не исполнять, но Россия от них не отступалась; надобно было как-нибудь ее занять на время, заставить выпустить из виду общие интересы для частного, соблазнить, указав на какой-нибудь лакомый кусочек.

В 1802 году, когда готовился разрыв Амьенского мира, Морков доносил своему двору, что Бонапарт постоянно заводил разговор о близком распадении Оттоманской империи. Это произвело тревогу в Петербурге. Все внимание сосредоточено было на Западе; Турция, не успевшая еще опомниться после египетского похода Наполеонова, когда страшная опасность стала грозить ей со стороны, откуда она вовсе ее не ожидала, Турция не подавала никакого повода к неудовольствию, и в Петербурге брало верх мнение, что слабая Турция есть самый удобный сосед и трогать ее не следует. Об этом твердил граф Семен Романович Воронцов; следовательно, таково же было убеждение и брата его графа Александра, теперь канцлера, причем Воронцовым было приятно указывать, что политика Екатерины II относительно Турции была ошибочна; здесь они действовали в духе партии, ибо не могли не знать, что обе турецкие войны при Екатерине II были начаты совершенно против воли русского правительства. Взгляд Воронцовых вполне разделял молодой, близкий к императору Александру граф Виктор Павлович Кочубей, бывший посланником в Константинополе и потом короткое время помогавший канцлеру Воронцову в заведовании иностранными делами до Чарторыйского.

Кочубею как знакомому с положением Турции принадлежал теперь первый голос; когда надобно было подумать о восточных делах вследствие донесения Моркова, Кочубей объявил, что при поднятии Восточного вопроса России предстоит выбор: «или приступить к поделу Турции с Францией и Австрией, или стараться отвратить столь вредное положение вещей. Сомнения нет, чтобы последнее не было предпочтительнее, ибо независимо, что Россия в пространстве своем не имеет уже нужды в расширении, нет соседей покойнее турков, и сохранение сих естественных неприятелей наших должно действительно вперед быть коренным правилом нашей политики». Кочубей советовал снестись по этому делу с Англией и предостеречь

Турцию. Мнение было принято, и 24 декабря 1802 года канцлер Воронцов отправил Моркову письмо, в котором уполномочивал его каждый раз отвечать Бонапарту ясно, что император Александр никак не намерен принять участие ни в каком проекте, враждебном Турции.

Удочка закидывалась понапрасну; Россия не пошла на эту приманку. Попробовали другое средство: в доказательство своего уважения к императору Александру Наполеон предложил ему быть не только посредником, но верховным решителем спора между Англией и Францией. Александр отклонил эту опасную честь: война уже началась; согласится ли Англия для ее окончания подчиниться решениям русского государя; если не согласится, то это будет оскорбление и Франция получит право требовать союза России против державы оскорбившей. Но если бы даже Англия и согласилась, то разве легко было беспристрастным решением удовлетворить обе державы? Александр принял более скромную роль посредника и предложил условия: Франции очистить Ганновер, Голландию, Швейцарию, Верхнюю и Нижнюю Италию; Пьемонт останется за ней, но сардинский король получит за него вознаграждение. Александр предлагал занять русскими войсками остров Мальту, с тем чтобы срок этого занятия был определен впоследствии.

Наполеон отвечал, что он может заключить мир с Англией только на амьенских условиях. Без сомнения, он очистит, когда придет время, Голландию, Италию и Швейцарию, но это никак не может войти в условия мира с Англией. Наполеон требовал перемирия и конгресса для решения всех споров. Но условия, предложенные Александром, были так же необходимы и для России, как для Англии. Прежде всего по отношению к Балканскому полуострову нельзя было допустить владычества французов в Италии. Граф Семен Воронцов, руководясь интересом минуты, даже советовал английскому министерству удержать Мальту в видах недопущения французов в турецкие владения; совет был неблагоприятен; графу Семену послали из Петербурга на этот счет внушение и придумали средство прекратить спор и обезопасить свои интересы — занятием Мальты русскими войсками; но ответ Наполеона, что он очистит Италию, Швейцарию, Голландию, когда придет время, показывал всю его неискренность.

Россия по своему положению непосредственно войны начать не могла; она могла стать только во главе коалиции, поддерживать другие

ближайшие к Франции державы; Англия могла поддерживать коалицию деньгами, но без России не могла ничего сделать на континенте, и потому как скоро Россия и Англия видели, что Наполеон не может остановиться на пути захвата, то необходимо сближались для образования и поддержки коалиции. Отсюда перед разрывом Англии с Францией, когда старания России поддержать Амьенский мир оставались тщетными, сближение России с Англией становилось теснее, и русский посол во Франции, естественно, должен был сближаться с послом английским; и после разрыва мира в 1803 году, по удалении лорда Уитворта из Парижа граф Морков должен был вести себя по-прежнему, ибо со стороны французского правительства не видно было ни малейшей склонности удовлетворить русским требованиям. Поведение Моркова, самостоятельное и твердое, сильно раздражало Наполеона; не мог он выносить присутствия человека, в глазах которого читал: «Я за тобой слежу и очень хорошо тебя понимаю, ты меня не обманешь!» Хотя Наполеон не мог не понимать, что охлаждение между Россией и Францией и даже разрыв между ними неизбежен по самому ходу дел, но все же перемена посла представляла некоторую возможность отдалить развязку: быть может, пришлют кого-нибудь менее проницательного, искусного и твердого, чем Морков.

В августе 1803 года Талейран поручил французскому посланнику в Петербурге Гёдувиллю потребовать от русского правительства именем первого консула отозвания Моркова из Франции! Причины приводились следующие, причем не пощажено было ничего, чтобы очернить русского посла в глазах его государя. «Пока мир продолжался (между Францией и Англией), — писал Талейран, — Моркова терпели в Париже, хотя он вел себя как истый англичанин, потому что это не было опасно; но теперь, когда началась война, которой нельзя предвидеть конца, присутствие человека, столь недоброжелательного к Франции, более чем неприятно для первого консула, 18-ть месяцев г. Морковзаставлял известного Фуилью распространять бюллетени, заключающие в себе оскорбления и клеветы. Первый консул не хотел придавать важности такому поведению, потому что г. Морков недавно приехал, мог еще не испробовать почвы, где находился. Но и после восемнадцатимесячного пребывания поведение его не стало более дружественным и более скромным. Он болтает во всех углах Парижа,

и болтает так, что первый консул не может более выносить этой болтовни. Должно сказать, что он не щадит и поступков собственного правительства, не щадит даже особы его величества. Чего не наговорил он об указе относительно народного просвещения, о поощрениях его величества крестьянскому освобождению! Он беспрестанно повторяет фразу: „У императора своя воля, а у русского народа другая“. При настоящих обстоятельствах г. Морков ежедневно предсказывает, что пламя войны обхватит весь континент, и нельзя с ним иметь никакого разговора: он все перетолкует в дурную сторону. Сам лорд Уитворт был поражен яростью, с какой Морков побуждал к войне; изумление его было так сильно, что он сказал гражданину Иосифу Бонапарту, с которым он был в дружбе, что г. Морков играет ненавистную роль».

Бонапарт не расстался с Морковым мирно. Он возненавидел его еще более потому, что оскорбил и не мог удержаться от нападения на ненавистного человека, притом очень нравилось молодому генералу власти новой унижать представителей древних властей; распекать повоенному послов иностранных входило в привычку. В сентябре 1803 года, во время одной из публичных аудиенций, Бонапарт подошел к Моркову с искаженным от злобы лицом, дрожащими губами и стал ему говорить задыхающимся, но громким голосом: «Зачем император покровительствует Дантрегу, французскому уроженцу, который живет в Дрездене и пишет там пасквиль против французского правительства? Если бы я позволял себе такое же поведение относительно русского подданного, поселившегося во Франции, то, конечно, император не был бы доволен». «Дантрег, — отвечал Морков, — давно уже числится в русской службе, и могу уверить, что император ничего не знал о пасквилях его против французского правительства, а если бы узнал, то немедленно заставил бы его прекратить такую деятельность; я также ничего не знал об этом: в первый раз слышу».

Отбитый словами, смысл которых состоял в том, что о таких ничтожных делах, как дело Дантрега, правительства прежде упреков и жалоб из уст главы государства дают знать друг другу через министров, если только находят нужным давать знать, Наполеон бросился в другую сторону, но к такому же, собственно, полицейскому делу, срывая свое сердце в ругательствах против Кристэна. Этот Кристэн был родом швейцарец, находился также в русской службе и получал от

русского двора пенсию. Теперь вдруг французское правительство его схватило и посадило в крепость. Морков протестовал, и за этот-то протест Бонапарт счел нужным теперь дать на него окрик: «Я велел схватить и отвести в крепость Кристэна, потому что он француз и был секретарем принцев (Бурбонских), да и всегда вел себя гадко». «Кристэн, — отвечал Морков, — вовсе не француз, а швейцарец, и я имел достаточное право оказать ему покровительство в случае его невинности». Слыша и тут твердую отповедь. Наполеон оставил Моркова, но, уходя, сказал громко: «Мы не такие бабы, чтоб терпеливо сносить подобные поступки со стороны России, и я буду арестовывать всех, которые станут действовать против интересов Франции».

На другой день Морков поехал к Талейрану и дал ему записку, в которой излагалась вчерашняя сцена. Талейран обратил все это в шутку и стал упрашивать Моркова взять записку назад и не давать делу хода. «Вы, — говорил он, — должны смотреть на эти вещи спокойнее, чем другие, потому что вы больше других получаете предпочтение и уважение, которые вам здесь расточают при всяком случае». Морков, смотря ему пристально в лицо, отвечал: «Эти знаки уважения секрет для меня и для других, тогда как оскорбление было мне нанесено публично, и я вас прошу представить мою записку первому консулу, чтоб впредь мне было обеспечение от подобных выходок». Талейран начал толковать о том уважении, какое Бонапарт всегда оказывает к желаниям императора Александра. «Где это уважение? — отвечал Морков. — Император просит вас уважать нейтралитет государств, ему союзных и таких, которых торговые интересы связаны с интересами его подданных, а вы продолжаете наводнять их войсками. Император, по человеколюбию и с вашего согласия, образовал маленькое государство на Ионических островах, а ваш поверенный в Корфу сеет там раздор и анархию, и сам первый консул позволил себе такой неслыханный поступок, назначив на своем жалованьи коммерческого агента для этой маленькой республики. Я вам подаю рекламации и не получаю никакого ответа». Талейран: «Охотно будем уважать нейтралитет на суше, только заставьте Англию уважать его на море; а на Ионических островах ваше влияние сильнее французского».

В тот же день Талейран прислал свою жену завтракать с дочерью Моркова, ребенком пяти с половиной лет. Другая дама рассказала

русскому послу, что первый консул жалеет о своей живости и что об этом слышала она от самой Жозефины Бонапарт. Для уяснения себе, в каком положении находятся дела, Морков обратился к брату первого консула Луциану, зная, что он хорош с Талейраном. Луциан отвечал, что они с братом Иосифом часто говорили о нем, Моркове, брату Наполеону и тот жаловался на некоторую гордость или резкость характера Моркова, которая его оскорбляет, тем более что все остальные послы преклонялись пред ним. Луциан прибавил, что они с братом Иосифом часто горевали, видя уступчивость императора Александра относительно первого консула. Если бы Наполеон встретил препятствия со стороны русского государя, то, несмотря на бурность своего характера, дух правоты, которым он в то же время обладает (?), остановил бы его относительно многих вещей; но теперь, уверившись, что нечего бояться со стороны далекой России, и низложивши или обольстивши все окружающее, он считает для себя все позволительным и не перестает затевать предприятия, которые рано или поздно могут привести его и родных его к гибели.

Скоро после этого Морков был отозван. Александр дал знать первому консулу, что не усматривает виновности Моркова, ибо все, что донесено на него, противно точной истине (*exacte verite*), но отзывает его вследствие собственной его повторенной просьбы, ибо нельзя оставлять его в таком неприятном положении (17 октября 1803 года). В рескрипте Моркову говорилось, что государь с сожалением лишается его службы на этом посту, что обвинения, на него взведенные, суть клеветы. Преемник Моркову назначен не был; во Франции остался русский поверенный в делах Убри. Испытание, означенное в политической программе Александра, кончилось: Наполеон оказался неспособным уважать независимость держав и содействовать установлению европейского равновесия; сношения с ним не повели к удовлетворительному результату. Для его достижения надобно было обратиться к другому средству — к составлению коалиции; Англия была уже в войне с Францией; надобно было склонить к общему действию Австрию и Пруссию.

Австрия после двух бонапартовских погромов имела нужду в отдыхе и должна была желать, чтобы отдых этот был как можно продолжительнее; но все же борьба с Францией представлялась ей как необходимость, и все усилия направлялись к тому, чтобы встретить эту

необходимость при возможно благоприятных условиях, с лучшим приготовлением. Она чувствовала себя в осадном положении от Франции, которая стояла у ее ворот — и в Германии, и в Италии, преимущественно в последней стране, где в действительности границы французские сходились с австрийскими; и окончательный шаг к слитию Италии с Францией должен был принудить Австрию к отчаянному усилию для воспрепятствования этому шагу. Тяжелый опыт, несчастное окончание двух кампаний убеждали, что Австрия не может вести борьбу с Наполеоном один на один, что на соединение с Пруссией надеяться нечего, что помощи можно ожидать от одной России и гибель стала грозить Австрии, когда при императоре Павле Россия отвернулась от нее, входя в соглашение с Францией и Пруссией.

Чем сильнее было в Вене чувство страшной опасности, тем отраднее была весть о вступлении на престол Александра, объявившего, что будет идти по стопам Екатерины. Не дожидаясь извещения о восшествии на престол нового русского государя, император Франц отправил Александру письмо с выражением сильнейшего желания восстановить между Россией и Австрией старый союз, от чего зависит судьба Европы. Но после этого общего заявления в Вене спешили оговориться, точнее определить отношения, чтобы письмо императора Франца не показалось в Петербурге предложением коалиции, и австрийский министр иностранных дел граф Коллоредо сообщил князю Куракину такой мемуар (27 мая 1801 года): «Император-король, спеша открыть свои самые сокровенные мысли последователю Екатерины II, начинает признанием полного различия в мерах, требуемого совершенным различием между политическими обстоятельствами, в каких оставила Европу эта великая государыня, и теми, какие существуют теперь. Не к составлению враждебной коалиции против Французской республики клонятся желания Австрии. Она чувствует необходимость мира: это первая потребность Европы и особенно первая потребность австрийских владений, ослабленных, истощенных относительно людей и финансовых средств. К поддержанию мира, его возможности, его твердости устремлены все заботы и желания Австрии. Главное средство удержать французское правительство в границах — это восстановление согласия между важнейшими государствами; но дело вознаграждения германских

дворов, выговоренного в Люневильском договоре, препятствует этому согласию. Французы и друзья их стараются воспользоваться этим обстоятельством, чтоб удалить друг от друга императорские дворы, поселя в русском правительстве подозрения насчет намерений Австрии».

В Вене действительно думали, что французы и друзья их (то есть Пруссия) стараются удалить Россию от сближения с Австрией, но основания политики молодого русского императора были так тверды, что никакие перессоривания не могли достигать цели: решено было испытать, способно ли французское правительство к миру, и если не способно, то действовать посредством коалиции, но сильная неуверенность в успехе испытания и необходимость иметь в виду коалицию заставляли самым дружественным образом относиться к Австрии. Ее посланник князь Шварценберг был принят чрезвычайно радушно императором и министрами. Князь Куракин говорил ему о сильнейшем желании императора Александра восстановить дружественные отношения между обоими государствами; Панин говорил, что до сих пор шли по ложной дороге, и эти слова имели для Шварценберга особенный вес именно в устах Панина; другие влиятельнейшие лица также выражали склонность к союзу с Австрией. Вопрос для русского кабинета заключался в том, в какой степени этот союз может быть полезен при тех условиях, в каких находился австрийский двор. В знаменитой инструкции русским министрам при иностранных дворах об австрийских отношениях император Александр говорил: «Так как я убежден, что союз великих держав один в состоянии восстановить мир и общественный порядок, то одним из первых моих дел было заявление венскому двору искреннего желания предать забвению все прошлое. Такое же стремление, основанное на тех же самых побуждениях, заставило римского императора идти навстречу моим желаниям. Не ожидая извещения о моем восшествии на престол, этот государь в собственноручном письме выразил мне самое сильное желание восстановить дружеские отношения. Австрия, поставленная между Францией, к которой питает боязнь и ненависть, между Пруссией, которой не верит, и остальной Германией, которую отчудила от себя своими корыстными замыслами, чувствует необходимость сблизиться с Россией. Этот принцип сближения, превосходный в теории, может оказаться ничтожным в

практике, как скоро будет дурно приложен, а этого надобно опасаться, пока благонамеренность государя и ревность подданных, наиболее преданных доброму делу, будут встречать препятствия в придворных и министерских интригах, в взаимной ненависти и страстях влиятельных лиц. Эти лица суть: императрица, Тугут и эрцгерцог Карл. Около них составлены партии, раздирающие государство. Экс-министр (Тугут, которому приписывались все действия, поведшие к разрыву австро-русской коалиции при императоре Павле) хотя находится в отсутствии, но приводит в движение Коллоредо, а через него имеет влияние на все рассуждения кабинета».

В Петербурге получались донесения из Вены, что императрица Мария-Тереза совершенно владеет императором, не показывает его в публику, не отходит от него и ненавидима народом, который жалеет Франца, предполагая в нем большую доброту. Тугут живет в Пресбурге, но с ним беспрестанно пересылаются курьерами, совещаются; он сохранил свое влияние над императором или, лучше сказать, над императрицей. Народ приписывает Тугуту все бедствия империи. Императрица и Тугут действуют интригами, но у эрцгерцога Карла есть партия, которая его обожает по мере ненависти к его личным врагам — императрице и Тугуту. Писать к императору Александру понудил Франца граф Траутмансдорф, человек благонамеренный.

Сближение с одной Австрией было недостаточно, особенно в видах коалиции; Александру I предстоял тот же страшный труд, который был употреблен понапрасну его бабкой и отцом, — труд склонить Пруссию к общему действию, и тут прежде всего нужно было мирить непримиримые интересы Австрии и Пруссии. По-прежнему эти державы забывали общую опасность, общий интерес, когда поднимался вопрос о добыче, вознаграждении; обе державы, позабывая все, имели в виду только одно: чтобы какая-нибудь из них не получила больше. В конце XVIII века они перессорились, потеряли возможность общего действия из-за польской добычи; теперь, в начале XIX века, они косились из-за вознаграждения, которое германские владельцы должны были получить за левый берег Рейна, отошедший к Франции по Люневильскому миру; Австрия втягивалась в это дело потому, что должна была получить вознаграждение для одного из своих принцев, потерявшего Тоскану, и, главное, хлопотала, чтобы

Пруссия не получила много. В Вене с ужасом видели, что Россия склонна удовлетворить прусским требованиям, хотя в Петербурге и подсмеивались над аптекарским счетом, составленным в Берлине.

Стало праздным место архиепископа Кельнского: Австрия хотела, чтобы выборы последовали немедленно, имея в виду избрание одного из своих принцев; Пруссия требовала, чтобы выборы были отложены до решения вопроса о вознаграждениях;

Россия разделяла мнение Пруссии как соответствующее обстоятельствам. Австрия твердила, что готова согласиться на все в пользу Баварии, Вюртемберга и Бадена, лишь бы только Пруссия не получила ничего лишнего. «Неужели, — говорили в Вене, — в Петербурге так ослеплены, что не видят опасности, какая грозит России от Пруссии? Ни Порты, ни Швеция не могут быть для России такими страшными врагами, как Пруссия». В Петербурге австрийский посланник граф Заурау сказал графу Кочубею: «Россия будет раскаиваться, что содействовала увеличению Пруссии, не обращая никакого внимания на Австрию».

В России действительно не обращали внимания, только не на Австрию, а на ее внушения против Пруссии; здесь были убеждены, что опасность для России и Европы грозит из Франции и для предотвращения этой опасности державам надобно стоять в тесном союзе с оружием в руках и что этот союз будет не полон, если в него не будет входить Пруссия. Склонить ее к этому было чрезвычайно трудно; это значило в государстве самодержавном, что трудно было склонить короля Фридриха-Вильгельма III. Действительно, находили причины прусского бездействия в характере короля, в отсутствии энергии, военных способностей, откуда проистекала робость перед решительным шагом, перед вступлением в борьбу с таким врагом, как Наполеон. Нельзя отрицать в натуре Фридриха-Вильгельма III значительной доли мягкости, которая делала для него трудным решительный шаг; нужно было истории употребить сильные средства, нужны были тяжелые удары судьбы, чтобы заставить его решиться на энергические меры или по крайней мере сочувственно смотреть на их проведение.

Но с другой стороны, нельзя отрицать, что робость, нерешительность Фридриха-Вильгельма происходили также от сознания положения и средств своего государства. Пруссия жила

славой, наследованной от Фридриха II, но при внимательном взгляде можно было усмотреть, что средства внутренние и условия внешние далеко не соответствовали тому значению, какое придавалось ей и какое, разумеется, ей очень хотелось поддержать. Пруссия была обязана своим значением преимущественно личности Великого Фридриха, но, несмотря на все усилия этого государя, Пруссия по его смерти не была великой державой, которая бы представляла вполне независимую силу, особенно когда поднялась Франция при Наполеоне. Пруссия явилась слабой среди сильных: по одну сторону Франция была сильнее ее, по другую Россия была сильнее ее, да и враждебная Австрия превосходила ее внутренними средствами, возможностью вести борьбу и скорее оправляться после поражения. Оказывалось ясно, что Европе предстоит долгая и тяжкая борьба вследствие завоевательных стремлений Франции, главное противодействие которым будет оказываться со стороны России; борьба, следовательно, будет идти между этими главными, столповыми государствами Европы; государства слабейшие, находящиеся посередине, должны по своим интересам и обстоятельствам примыкать к той или другой. Наступательное движение идет явно со стороны Франции, которая не останавливается в своих захватах; политика России охранительная; она представляет защиту, опору коалиции против Франции. Казалось бы поэтому, что самым простым, естественным делом было примкнуть к России, но для прусского короля и его приближенных людей существовали причины, производившие раздумье.

Пруссия не была в таких непосредственных столкновениях с Францией, как Австрия по отношению к Италии. Главной соперницей Пруссии считалась Австрия; на союз с ней в Пруссии смотрели как на противоестественный. Попытка к нему оказалась неудачной в конце прошлого века, Пруссия разорвала противный ей союз, заключила отдельный мир с Францией, и мир не прерывался — это уже было предание. Россия предлагает защиту, опору — все это прекрасно, и в случае нужды надобно иметь в виду эту защиту и опору, но не надобно спешить. Союз с Россией как с государством сильнейшим имел невыгоды: тут нет равенства, а во всяком случае некоторое подчинение; благоразумно ли содействовать усилению России, и без того уже опасной соседки? Даже и в том случае, если бы она не увлеклась своей силой, властолюбием, Россия действует по своим

принципам, имеет в виду поддержание европейского равновесия, и т. п. Ей хорошо, ей нечего расширять своих владений, она и без того велика и сильна, а Пруссии еще нужно расти, нужно еще много расширяться и округляться, чтобы сравняться с Россией и Францией; восторжествует Россия с помощью Пруссии, начнет делить своих союзников по-своему и ненавистной Австрии даст столько же, сколько Пруссии, — для сохранения равновесия! Такой русский дележ Пруссия уже испытала при Екатерине II; нет надобности дожидаться подобного и при внуке, который обещает идти по следам бабки. Но восторжествует ли Россия в борьбе? Ее войска составили себе славу победами над поляками и турками; Суворов бил и французов, да без Бонапарта; теперь у французов Бонапарт; у русских Суворова нет. В случае торжества Франции Россия останется нетронутой, а поплатится Пруссия.

При таких соображениях, из которых истекало печальное убеждение, что слабое государство находится между двумя борющимися друг с другом сильными, находится между двух огней, — при таких соображениях, разумеется, с непреодолимой силой должны были ухватиться за возможность выхода без обжога, с выгодой, но по крайней мере без потерь и с сохранением чести: эту возможность представлял нейтралитет. Россия с Францией непосредственно бороться не может — может бороться только через Австрию и Пруссию; интерес последней состоит в том, чтобы не допустить борьбы, служить посредницей между Россией и Францией — положение почетное! Станут вести войну через Австрию — разнимать, понуждать к миру, в случае нужды и угрозой пристать к той или другой стороне, более податливой на мир или более правой. Важное, почетное значение сохранено, а между тем, пользуясь обстоятельствами, тем, что с разных сторон заискивают, можно приобрести и выгоды, увеличить свою территорию, округлиться, и сделать это без жертвований. Образ действий Фридриха II по обстоятельствам был невозможен; надобно было возобновить политику его предшественников — Фридриха I, Фридриха-Вильгельма I, ловко держаться между воюющими сторонами и при первом удобном случае схватить что-нибудь; да и сам Фридрих II разве не посредничеством между Россией и Австрией приобрел земли по первому разделу Польши даром, без всяких жертвований. Уже давно

Германия делится на две половины — Северную, протестантскую, и Южную, католическую; в последней Австрия и Франция давно уже борются за влияние; если Франция осилит здесь Австрию — не беда, лишь бы Северная Германия осталась нетронутой под защитой Пруссии, которая здесь должна искать себе средств к усилению. И вот Пруссия при затруднительных обстоятельствах в начале XIX века крепко держится системы нейтралитета; в ней видит спасение сам король; по собственному убеждению, или по выгоде быть одного убеждения с королем, или по тому и другому вместе системы нейтралитета держатся люди, близкие к королю, генерал-адъютанты, члены кабинета.

Но против системы нейтралитета слышались веские возражения. Сильные не любят нейтралитета слабых; эта претензия на независимость и самостоятельность раздражает их иногда даже более, чем явная вражда, ибо все явное менее беспокоит, чем неопределенное, тайное; притом желание сохранять нейтралитет обыкновенно предполагает робость, слабость; сильные не уважают слабых и при нужном случае не позадумаются нарушить нейтралитет. При нейтралитете небольшая надежда на приобретение какой-нибудь выгоды; хорошо платят за союз, за действительную помощь; за нейтралитет ничего не дают или дают дешево, и посредничество державы, заподозренной в робости или слабости, не имеет важного значения; угрозы ее не производят большого действия. Пруссия слаба, разбросанна; ей нужно окрепнуть, усилиться, чтобы получить важное значение; для этого робкая политика нейтралитета не годится; надобно прямо вступить в союз с той стороной, которая предлагает большие выгоды. Но это мнение не могло осилить противоположного взгляда у короля и большинства его советников, потому что предлагались меры решительные, энергические, которых боялись, в успех которых мало верили, не видели обеспечения на востоке, со стороны России, при союзе с Францией и не видели обеспечения на западе, со стороны Франции, при союзе с Россией. Обеспечение могло заключаться в сознании своей силы, а этого сознания не было; на востоке видели количество, на западе — количество и качество, у себя не видели ни того, ни другого. Очень хорошо знали, что провозглашение системы нейтралитета и готовность поддержать его при случае вооруженной рукой, принятие на себя посреднической роли для сохранения

спокойствия Европы — все это было только выставка, за которой притаились слабость и робость; видели, что должны сквозь пальцы смотреть на действия правителя Франции, чтобы не вызвать его на борьбу, и в то же время нежничать с Россией, чтобы на всякий случай иметь в ней прибежище; видели неловкость, недостойность таких отношений и тем более сердились на людей, которые возражали против них и этим прямо обвиняли в робости.

Поведение подобных людей раздражало и оскорбляло короля, потому что они, вооружаясь против его системы, не брали на себя ответственности в случае затруднений и бед, легко могших произойти от системы противоположной; вся ответственность падала на короля. Эти люди красовались перед публикой своим патриотизмом, своим стремлением поддержать честь и пользу отечества, но они красовались на счет короля, приобретали популярность на счет его популярности. Тем благосклоннее король относился к людям, которые входили в его виды, признавали их необходимость, не выставляли в противоположность королевской системе своей системы, могшей привлекать большее сочувствие публики, но служили королю верную службу, жертвуя ему своей популярностью, принимая на себя негодование публики, приписывающей неприятный для нее образ действий не королю, а близким к нему людям.

Затруднения начались с возобновлением войны между Францией и Англией. Английскому королю на твердой земле принадлежал Ганновер, который и становился первой добычей Наполеона. Но Ганновер составлял часть Германской империи; Пруссия не должна была равнодушно смотреть на его занятие французами, и в Берлине рождался вопрос: нельзя ли воспользоваться обстоятельствами и приобрести Ганновер, сперва занять его, хотя временно, под благовидным предлогом сохранения его для Германии от чуждого завоевания, а потом без войны, посредством переговоров и сделок закрепить и навсегда за собой? Дело трудное, но возможное; в XVIII веке Пруссия приобретала же владения таким образом; отчего же нельзя этого сделать в XIX? Английский король, курфюрст Ганноверский, разумеется, не скоро на это согласится, но английский народ равнодушен к германским владениям своего короля. Россия, которая так старается привлечь Пруссию на свою сторону и не имеет причины не желать ее усиления ввиду общего действия с нею, не

должна отказаться употребить все свое влияние в Лондоне, чтобы заставить здесь войти в виды Пруссии; Наполеона также можно склонить обещанием союза или некоторыми уступками его видам.

Так, при войне с Англией для Наполеона было важно, чтобы Англия, пользуясь своим господством на морях, не уничтожила французской торговли недопущением к ней нейтральных кораблей; если бы Пруссии удалось склонить Англию признать основания вооруженного нейтралитета, то Наполеон за это мог бы позволить Пруссии занять Ганновер. Лондонскому кабинету было сделано предложение относительно нейтралитета с обещанием за это охранять и защищать Ганновер от французов. Но Англия с обычной своей бесцеремонностью в тоне отвергла прусское предложение, ибо не могла отказаться для Ганновера от средства наносить врагу самый чувствительный удар, да и король Георг III предпочитал занятие Ганновера французами занятию пруссаками, потому что первое было временное, тогда как второе легко могло обратиться в вечное. В Петербурге также поняли настоящие намерения Пруссии, их неблагоприятность и вред от них для общего дела: Австрия была бы раздражена, и Пруссия могла занять Ганновер только с большими уступками Наполеону, что вовсе не могло входить в планы России. Когда король Фридрих-Вильгельм обратился к императору Александру за советом, тот прямо высказал ему свой взгляд на дело: «заботясь о сохранении славы короля», Александр не советовал ему занимать Ганновер. Ганновер был занят французами.

Таким образом, возможность приобретения соблазнительной добычи стала зависеть преимущественно от Франции, и поднимался вопрос о союзе с Наполеоном. Но какие бы ни представлялись выгоды этого союза королю и его министрам, заведовавшим попеременно иностранными делами, графу Гаугвицу и барону Тарденбергу трудно было заглушить в себе сознание непрочности французского союза. Они ясно видели, что Наполеон не позволит Пруссии употребить Францию орудием для своих целей, а, наоборот, союз с ним будет для Пруссии равносильным подчинению. Невозможно было освободиться от мысли, что рано или поздно столкновение с ним необходимо; притом же союз с Францией вел к разрыву с Россией, чего никак не хотели как вследствие прямых невыгод и опасностей разрыва, так и вследствие сознания надобности в России, единственно верной опоре против

наполеоновских захватов, наконец, вследствие влияния, приобретенного императором Александром над королем во время свидания их в Мемеле в июне 1802 года. Такое колебание, выжидание, одинакий страх перед разрывом и с Францией, и с Россией не могли внушить ни той, ни другой большого уважения к Пруссии. Русский посланник в Берлине Алопеус писал канцлеру Воронцову 4 (16) ноября 1803 года о несчастном состоянии Северной Германии «вследствие глубокой апатии прусского короля; о следствиях для России господства, к которому стремится Франция посредством своей коварной политики. Немецкая империя существует только по имени. Австрия, ослабленная последними войнами, вовсе не видит кормила своего правления в руках, способных извлечь выгоды из больших средств, которые еще у нее остались, несмотря на все потери. Пруссия почти не считается в политическом равновесии Европы. Это машина, в движениях которой можно еще видеть, что она вышла из рук Фридриха 11-го, но часть колес этой машины уже сломана».

Под влиянием подобных известий в Петербурге не могли очень любезно относиться к Пруссии. Россия предлагала ей выслать вместе войска к Эльбе, потребовать от Франции, чтобы она очистила Ганновер, и, когда это очищение последует, занять его союзными русско-прусскими войсками, но король никак на это не согласился, предполагая, что Россия затягивает его в войну со страшным Наполеоном. Фридрих-Вильгельм объявил: пока ни один прусский подданный не будет убит на прусской почве, до тех пор он не примет участия ни в какой распре. Но, боясь оскорбить императора Александра отказом, он написал ему в начале 1804 года: «Ваше величество не раз уверяли меня, что при нужде я всегда найду вас готовым на помощь. Теперь я обращаюсь к вам за советом, сильно желая, чтоб мне не пришлось когда-нибудь обратиться к вам за чем-нибудь другим. Выгнать французов из Ганновера было бы предприятием, могущим повести еще к большему несчастью. Но если Бонапарт, обманутый в надежде приковать к себе безусловно прусскую политику, попытается отметить за это Пруссии прямо или косвенно, то насколько последняя в таком случае может рассчитывать на помощь России и ее союзников? Я буду покоен насчет судеб Пруссии, если Россия соединит их с своими».

Александр отвечал (16 марта н. ст.), что «бывают случаи, когда вернейший друг не в состоянии подать совет, когда каждый должен принять сам свое решение». Император предлагал королю самый дружеский совет, но тот счел нужным последовать другим мнениям. Королю принадлежит выбор: на одной стороне — честь, слава, истинный интерес Прусской монархии; на другой — решительная и неизбежная гибель последней при вечном упреке в содействии ко всемирной монархии человека, столь мало ее достойного. Если король вооружится за независимость и благо целой Европы, то немедленно найдет императора подле себя; Пруссия не должна бояться, что Россия покинет ее одну в такой благородной борьбе. В России говорили о необходимости борьбы; в Пруссии отвечали, что борьбу начинать рано, надобно потихоньку приготавливаться. А между тем Наполеон схватил на немецкой независимой почве одного из бурбонских принцев и убил его.

Наполеон готовился сделать последний шаг для утверждения своей власти во Франции; он уже был провозглашен пожизненным первым консулом; оставалось только велеть провозгласить себя наследственным императором, и в такое-то решительное время он был страшно раздражен заговорами приверженцев старой династии. В этом раздражении Наполеону по его природе мало было казнить, разослать верных слуг Бурбонской династии — орудие заговора, ему нужна была жертва более значительная, кто-нибудь из самих Бурбонов. Этой жертвой сделался молодой герцог Ангьенский, внук Конде, который жил в Эттенгейме, в баденских владениях. Неприкосновенность независимых владений должна была служить ему верным ручательством безопасности, но во времена Наполеона этого ручательства не было более. В марте 1804 года французские жандармы являюся ночью в Эттенгейм, схватывают герцога и отвозят во Францию. Судьба его была решена: Наполеону нужно было показать свою силу, поразить врагов ужасом, наругаться над ними, унижить перед толпой древнюю династию казнью одного из видных ее членов, поразить толпу впечатлением, что для ее правителя казнить и принца ничего не значит. Герцог Ангьенский был расстрелян во рву Венсенского замка.

В тот день, как в Петербурге было получено известие о смерти герцога Ангьенского, жена французского посланника мадам Гедувиль с

жившей у нее родственницей поехали вечером к князю Белосельскому, где собралось больше шестидесяти человек. После ледяного приема ее оставили на диване одну с кухней; никто к ним не подошел; долго француженки беседовали друг с другом, наконец отправились домой за час до ужина. «Я вижу, что на нас смотрят здесь, как на зараженных», — сказала мадам Гедувиль, уезжая, 5-го апреля был назначен совет по поводу венсенского события. Большинство членов было за то, чтобы наложить траур и отозвать поверенного в делах Убри, было вообще за энергические меры. Граф Завадовский объявил, что Россия по своим силам и по своему географическому положению безопасна, если бы даже французы перемудрили все соседние государства. Граф Николай Румянцев объявил, что не надобно разрывать с Францией без важных причин и не надобно давать другим государствам увлекаться в войну. Только одни государственные причины могут повести к каким-нибудь решениям, а чувства должны оставаться в стороне, и потому надобно только надеть траур и замолчать. Князь Чарторыйский присоединился к Румянцеву.

Но император был не за молчание; он понимал, что дело идет не о чувствах только, когда правитель одного государства хватает вооруженной рукой в другом независимом государстве неприятного ему человека и расстреливает его. Алопеус давал знать Александру, что венсенское событие произвело сильное впечатление в Берлине; но какие же следствия? Александр написал Фридриху-Вильгельму: «Я уже знаю из письма Алопеуса, что в. в. были сильно оскорблены ужасным поступком, который позволил себе Бонапарт похищением герцога Ангьенского. Но, государь, на нашем месте часто бывает недостаточно только почувствовать справедливое негодование в глубине своего сердца — надобно его выразить. До сих пор Россия и Пруссия обходились с Францией очень кротко — и что выиграли? Надобно переменить обращение. Бонапарт нагнал на все правительства панический страх, который служит главным основанием его могущества. Встретит он твердое сопротивление — и пыл его утихнет».

Но правительства, находящиеся под влиянием панического страха, могут ли оказать твердое сопротивление, могут ли и принять совет о его необходимости? История герцога Ангьенского показала это всего лучше. Дело касалось прежде всего Германской империи:

неприкосновенность ее границ была нарушена самым наглым образом; имперский сейм в Регенсбурге был в самом неприятном положении: и стыдно промолчать, и что и как сказать?

Наполеон! Лучше, безопаснее промолчать, не обратить никакого внимания, дело скоро забудется. Начали успокаиваться, как вдруг неожиданная, непрошенная приходит русская нота в сильных выражениях с требованием протеста, с указанием на опасность, какая произойдет для Европы, если такие насилия будут производиться беспрепятственно, пропускаться без внимания. К русскому протесту присоединился ганноверский посланник, представитель составного члена империи; шведский король Густав IV также прислал протест. У Германии был глава — император; он не мог молчать, когда заговорил император русский. В Вене нехотя промолвили, что можно попросить у французского правительства достаточного успокоительного уяснения дела. Промолвили — и испугались; велели в Париже извиниться: «желалось сохранить глубокое молчание, и до сих пор не произносили ни слова; но царь заставил говорить; французское правительство, которое и без того дало бы разъяснение, конечно, будет довольно, получивши об этом такое умеренное предложение от императора Франца». Хвалились, что вместо жестокого русского требования поставлено умеренное, приличное предложение.

Но в Париже не тронулись этими извинениями, потому что раздражались всяким требованием ответа, когда ответа давать не хотели; в Париже на учтивости австрийского посла отвечали упреками в соглашении Австрии с Россией, австрийскому послу приходилось при этом отрекаться более трех раз. Французский посланник в Вене Шампаньи требовал, чтобы венский двор склонил курфюрста Баденского сообщить в Регенсбург сейму, что он, курфюрст, получил от Франции самые удовлетворительные объяснения и что все произошло с его согласия. Это было уже слишком: требование отклонили. Тогда французское правительство обошлось и без помощи Австрии относительно курфюрста Баденского: он прислал в Регенсбург заявление; тут была и благодарность русскому императору за его чистое намерение и благожелательное участие, и уверенность в дружеских чувствах французского правительства и его высокого главы, и, наконец, настоятельная просьба не давать делу дальнейших последствий. У представителей германских государей на сейме

отлегло от сердца. Пруссия прямо присоединилась к баденскому заявлению; Австрия не возражала; только русский посланник не хотел понять, как таким образом могут быть обеспечены достоинство и самостоятельность Германской империи. Чтобы не иметь больше дела с такой странной непонятливостью, сейм придумал отличное средство: он разъехался до срока.

Но во Франции дело кончилось обратно: оттуда уехал русский поверенный в делах. Когда Убри передал Талейрану ноту с протестом против поступка главы французского правительства с герцогом Ангьенским и с изложением всех недружественных поступков французского правительства относительно русского, Талейран сказал тихонько, как будто про себя: «Мне кажется, что это дело сделано немного легкомысленно». Убри встал с рассерженным видом. Талейран при этом движении сказал с живостью: «Я нахожу везде дух и приемы г. Моркова». «Это мнение императора», — сказал Убри; но Талейран продолжал утверждать, что все это Морков. «Не Морков, — говорил Убри, — но уклонение от обязательств, постановленных в секретном договоре относительно Неаполя, сардинского короля и проч., заставило императора высказать все свое неудовольствие против Франции».

После доклада Бонапарту Талейран отвечал нотой, в которой русское правительство обвинялось в том, что держит в Дрездене и Риме заговорщиков против Франции и стремится нарушить безопасность и независимость наций. Относительно герцога Ангьенского говорилось, что германские государи не протестуют: из чего же Россия хлопочет? «Если, — говорилось в ноте, — настоящая цель его величества состоит в том, чтобы образовать в Европе новую коалицию и возобновить войну, то к чему служат пустые предлоги и почему не действовать открыто? Первый консул не знает на земле никого, кто бы мог испугать Францию, никого, кому бы он позволил вмешиваться во внутренние дела страны». Затем была пущена корсиканская стрела: на Англию взведено обвинение в замыслах против императора Павла с прибавкой, что если бы в России узнали, что злоумышленники находятся недалеко от границы, то, конечно, схватили бы их. Убри потребовал паспортов, Талейран уговаривал его остаться. Тогда Убри для продолжения дипломатических сношений между Россией и Францией потребовал немедленного удовлетворения

по трем пунктам: очищения Неаполя, вознаграждения сардинского короля, очищения Северной Германии. Удовлетворения не было. В августе 1804 года Убри снова потребовал паспортов и на этот раз получил их.

III. ПЕРВАЯ КОАЛИЦИЯ

У первобытных народов существовал обычай при закладке какого-нибудь здания для его прочности приносить человеческую жертву. В основу здания Французской империи положен был труп герцога Ангьенского. Едва покончилась венсенская трагедия, как сенат явился к первому консулу с предложением императорской короны. Но дело об империи еще не было кончено, когда последовал разрыв дипломатических сношений между Россией и Францией: императорский титул Наполеона не был признан Россией; Пруссия поспешила признать его; признал и германский император, выговорив себе признание наследственного императорского титула как государю австрийских земель. Превращению Французской республики в империю даже очень радовались в высших кругах Вены, ибо думали, что дело покончено с революцией; но радость была непродолжительна. То, чем мог довольствоваться первый консул, тем не мог довольствоваться император: новый титул требовал новой, блистательнейшей обстановки; и средства для этой обстановки должна была доставить Европа. Странно было думать, что Наполеон, ставши императором, сделается умереннее; как будто он не должен был заплатить за новую верховную честь новой славой для народа, новыми приобретениями для него; странно было думать, что Наполеон, который не хотел отказаться от Италии, когда был первым консулом, откажется от нее, ставши императором; а здесь-то, в Италии, — и место столкновения между Австрией и Францией. Столкновение было необходимо; к нему надобно было готовиться; в Вене не могли обманывать себя надеждой на нейтралитет, как обманывали себя в Берлине; но точно так же, как и в Берлине, в Вене дрожали при мысли начать борьбу с Наполеоном, а начать ее один на один считали невозможным.

Были союзники. Как только возобновилась война между Англией и Францией, британское правительство начало искать союзников на континенте, хлопотать о коалиции, причем не могло не обратиться к Австрии, старой союзнице своей в борьбе с Францией. Но старые времена прошли; Австрия не была более первенствующей державой

Восточной Европы; в Германии ее постоянно давил кошмар Пруссии, а на востоке была Россия, которая одна могла стать в челе коалиции. И потому на английские предложения в Вене был один ответ: без России ничего сделать нельзя. Этому мнению крепко держался человек, управлявший тогда внешними сношениями Австрии, граф Людвиг Кобенцль, приобретший как дипломат громкую известность в XVIII веке, особенно как австрийский министр при русском дворе, при дворе Екатерины. Кобенцль, подобно Моркову, был полный представитель того доброго старого времени, когда шутя делали важные дела, когда в Эрмитаже за веселым разговором, втыкая иголку в канву, делили царства. Кобенцль славился своим волокитством; несмотря на тяжелую и крайне неприятную наружность, славился умением играть на театре; имея около 60 лет, не переставал брать уроки пения. Курьер прискачет из Вены с важными депешами, а посланник перед зеркалом разучивает роль. Дурные известия, которые получал Кобенцль из Вены во время неудачной борьбы Австрии с республиканской Францией, не мешали ему давать блестящие балы; когда узнавали о победах французов над австрийцами, то говорили: «Прекрасно! В субботу будет бал у Кобенцля». Екатерина говорила: «Вы увидите, что он бережет лучшую пьесу ко дню входа французов в Вену».

Кобенцль выехал из России с убеждением, что Австрия может быть безопасна только в союзе с этой державой; с этимубеждением он принял в свое заведование внешние дела. В Вене не могли не знать, по крайней мере не могли не подозревать, что в Петербурге не придают большого значения союзу с Австрией вследствие военной слабости, обнаруженной ею в последнее время. Такому взгляду в Вене приписывали и старания России привлечь на свою сторону Пруссию, и явную потачку видам последней, как казалось одолеваемой ревностью Австрии. С целью внушить русскому правительству большее уважение к военным силам Австрии летом 1803 года отправился в Петербург брат императора, венгерский палатин; но хотя он привез в Вену успокоительное известие, что и к Пруссии в Петербурге не питают особенного уважения, однако не заметил там и желания сблизиться с Австрией. В Петербурге хотели деятельного союза, а не бесполезного сближения; на первый же была плохая надежда, судя по известиям, приходившим из Вены. По этим известиям, Тугута уже с год ни о чем не спрашивали; влияние эрцгерцога Карла ограничивалось одними

военными делами; императрица не имеет важного влияния — она хохочет с утра до вечера, устраивает фантастические деревенские праздники, строит странные замки. Администрация слабая, хочет делать сама, выводит темных людей и хочет этим показать, что ищет сил во всех классах общества. Французский посланник пользуется в Вене огромным значением; он знает все, потому что посланник испанский, министры итальянский, прусский сообщают ему о всех своих поступках, советуются с ним обо всем, передают ему все известия. Франции терпеть не могут, но страшно боятся. Армия в лучшем положении, чем можно было надеяться, но полководцев нет.

Представителем австрийского двора в Петербурге был граф Филипп Стадион, человек, пользовавшийся по своим личным качествам всеобщим уважением и давно приятный в России. Но Стадиону была задана трудная задача. «Старайтесь, — писал ему Кобенцль, — поставить нас в самые лучшие отношения к России, но чтобы при этом мы не обязаны были вести войны». Кобенцлю давали знать, что из сановников, заведовавших иностранными делами России, князь Чарторыйский разделял воинственный жар императора Александра, но граф Воронцов смотрел на дело спокойнее и систематичнее, и Кобенцль предписывал Стадиону извлечь пользу из миролюбивых склонностей русского канцлера. Но Воронцов не был так миролюбив, как про него насаждали Кобенцлю; Воронцов напоминал Стадиону то доброе старое время — время незабвенной Елисаветы, когда Россия и Австрия были в тесном союзе и следствия этого союза хорошо знал Фридрих II; теперь следствия такого союза должен узнать Наполеон — иначе зачем союз? Война есть бедствие, но избежать ее трудно. Россия может двинуть 90.000 войска, с таким же корпусом удерживать Пруссию; будет стараться в Баварии, Виртемберге и Бадене, чтобы эти владения не примкнули к Франции. «Русские войска, — говорил Воронцов, — могут выступить в поход в 8 дней».

Русские предложения произвели сильное смущение в Вене. Министерство было за условное принятие их; эрцгерцог Карл требовал безусловного отвержения; наконец, отправили (1 апреля 1804 г. н. ст.) в Петербург ответ с чистосердечным признанием жалкого финансового положения Австрии, которая едва могла бы вести войну и оборонительную и уж никак не может решиться на войну

наступательную; при этом старались доказать, что тесная связь России с Австрией одна может удержать Наполеона от дальнейших захватов. Такая уклончивость и поведение венского двора в деле герцога Ангьенского не могли не произвести раздражения в Петербурге. Император Александр не скрывал этого чувства в разговорах с австрийским военным агентом Штуттергеймом. «Вы идете по дороге, которая приведет вас к гибели, — говорил государь. — Вы отдаетесь под покровительство Франции, которая с вами играет, и кто знает, куда вас заведет ваша робость». Раздражение усилилось, когда Австрия признала императорский титул Наполеона.

В Вене одинаково боялись раздражить и Россию, и Францию. Старались представить в Петербурге, что не должно вступать в борьбу ни слишком рано, ни слишком поздно: преждевременный разрыв, без приготовления по меньшей мере равных с неприятелем сил, только закрепит цепи, а не разобьет их. Бедственное существование сардинского короля, опасности, грозящие Неаполю, требуют, конечно, величайшего внимания; но что все это значит в сравнении с соединением Италии с Францией, с этим первым решительным шагом ко всемирной монархии? Для войны требовали от России 150.000 войска, от Англии — больших денежных субсидий. Станным должен был казаться в Петербурге страх перед соединением Италии с Францией на бумаге, когда уже все было к тому приготовлено на деле. В ответ на такую странность император Александр через Штуттергейма не переставал увещевать Австрию, чтобы она вооружалась, иначе погибнет, и ее падение повлечет за собой падение целой Европы: «Нет другого средства сдержать Наполеона, как усилить свое войско; разве австрийский кабинет не видит, что право сильного составляет всю настоящую политику?» Когда в Петербурге узнали, что папа едет в Париж короновать Наполеона, то Александр говорил Штуттергейму: «Вы потеряли дорогое время; папа возложит корону на этого человека, который над вами смеется, закрепляя свое положение. Чтоб привязать к себе французов, надобно их ослепить. Партии против Наполеона, о которых вы говорите, не образуются. Вы дали ему время утвердиться, вы даёте ему еще Досуг, и он кончит тем, что сделается королем итальянским». В последнем трудно было сомневаться; очень вероятно было и то, что Австрия выйдет из своей неподвижности при этом решительном шаге Наполеона ко всемирному

владычеству. В Петербурге не хотели терять дорогого времени, хотели закрепить дело по крайней мере там, где можно было бросить якорь, — в Англии.

Мы видели, что при заведовании внешними сношениями графа Александра Воронцова можно было ожидать только самых приятных отношений России к Англии, что вполне соответствовало обстоятельствам времени, требовавшим тесного союза между обеими странами. Мы видели также, что относительно политических взглядов графа Александра Воронцова нельзя отделить от брата его, посла в Англии графа Семена Романовича, влияние которого на брата очевидно. В 1802 году граф Семен решился покинуть любезную Англию и побывать в Петербурге: конечно, желание уговориться с братом относительно ведения дел, окончательно закрепить свои внушения не могло быть чуждо этой поездке. На возвратном пути граф Семен провел 13 дней в Берлине и Потсдаме и переслал брату любопытные известия о прусском дворе и главных действующих лицах. Мы видели, что у Воронцовых не было недостатка в побуждениях относиться враждебно к Пруссии, а что порассказали теперь графу Семену приятели в Берлине — не могло уменьшить этой враждебности; и так как отзывы графа Семена не могли остаться неизвестными императору Александру и не могли остаться без влияния на определение его взгляда на некоторых прусских деятелей, например графа Гаугвица, то мы не можем не обратить внимания на эти отзывы.

Король, по словам Воронцова, умен от природы, но необразован, неохотник заниматься делами, робок и чрезвычайно скуп, не способен к бесчестному поступку и в частной жизни безупречной нравственности. Кроме военного дела, король не вмешивается ни во что, и отдал все на волю министрам, которых видит редко, и всегда подписывает их доклады; любит уединенную жизнь с женой, братьями и немногими адъютантами, из которых на одного смотрит как на друга и который предан Франции: это Кёкериц. Пруссией управляют три министра: граф Шулембург, Струензе и граф Гаугвиц. Два первых заведывают финансами и внутренней администрацией; это люди искусные, приведшие свои департаменты в такой порядок, какого нет нигде, даже в Англии; люди неутомимые и честные, разумеется, относительно только собственного государя и отечества, ибо где

можно стянуть несколько тысяч талеров или отхватить у соседа землю, то нет коварства, какого бы они себе не позволили; тут, чтобы сильнее действовать на короля, они присоединяются к Гаугвицу, которого, впрочем, презирают по причине его безнравственности. В этой стране все уступает системе захвата. Гаугвиц очень умен и образован, гибок, двоедушен и лжив в высшей степени; по обстоятельствам был то гернгутером, то иллюминатом; когда иллюминаты обманывали покойного короля некромантией, выводя перед ним тени знаменитых людей, живших две тысячи лет тому назад, и когда королю захотелось увидеть ангелов и, наконец, самого Христа, то представить Спасителя поручено было Гаугвицу, который так отлично исполнил поручение, что король никак не мог узнать своего министра. Есть подозрение, что и Гаугвиц так же предан Франции, как и Кёкериц; то же подозрение падает и на Ломбарда, выведенного Гаугвицем и помещенного им при короле в должности тайного секретаря.

Из всего сказанного Воронцов выводит, что Пруссия есть не иное что, как большая французская провинция; из Парижа приходят приказания, как вести дипломатические дела; что министры прусские при всех дворах Европы суть адъютанты министров французских, которым они сообщают все и служат видам Франции или, лучше сказать, ее деспота, Бонапарта. Воронцов не мог произнести имени правителя Франции, чтобы не сделать выходки против него; так и тут он писал брату: «Несчастье, что наш император был вовлечен, не знаю каким образом, в частную переписку не только с прусским королем, но и с самим Бонапартом. Не говоря уже о происхождении корсиканца, его безнравственности, гнусных преступлениях, посредством которых он достиг тирании, никогда не следовало бы иметь с ним частной переписки, да и ни с каким государем в мире. Эта переписка всегда ведет к большому злу и никогда не производит никакого добра. Один из переписывающихся всегда обманут другим. Император так велик и добродетелен, что не захочет обманывать; но другие не имеют его нравственности и возвышенности его духа; таким образом, сам не зная того, со своей чистотой он ведет борьбу против Бонапарта, Галейрана и их орудий, Гаугвица и Ломбарда, которые заставляют короля писать то, что сами ему продиктуют».

Где же та счастливая страна, которая могла помочь народам освободиться от бонапартовского ига? Разумеется, это — Англия. «Эта страна заключает в самой себе все элементы для сохранения своего благоденствия и независимости и для подания помощи другим, если они откроют глаза на опасности, грозящие им от французского деспота, и если они захотят отложить до другого времени свои взаимные ненависти, чтоб соединиться против общего врага, которого честолюбие и деспотизм не знает границ, который грозит всем тронам, всем правительствам, так что тирания Рима над другими странами есть правление отеческое сравнительно с властью Бонапарта в Испании, Италии, Швейцарии, Голландии и Германии».

Доклады графа Александра Воронцова императору относительно средств предохранить Европу от французских «перековеркиваний», как он выражался, были эхом мнений графа Семена. В 1802 году граф Александр писал в докладе: «С самого вступления моего в управление иностранным департаментом изъяснился я пред Вашим Величеством, что направление французской республики ко всемирному владычеству остановить могут только совокупные усилия России, Англии и Австрии; на берлинский двор я и тогда уже не рассчитывал... К чему послужат России все новые учреждения к просвещению, к успехам промышленности и к благосостоянию народному, когда гибель, всем прочим государствам угрожающая, поработив постепенно оные, постигнуть может и ее?»

В 1804 году канцлер прямо советовал обратиться к Англии, причем сильно преувеличивал значение последней, которого она, как держава неконтинентальная, никогда не могла иметь; Воронцов приписывал ей именно то значение, какое имела одна Россия. «Признаться должно, — писал канцлер, — что мы, не выпуская из виду всех опасений, кои Франция не наводит не может могуществом своим, и чувствуя надобность в принятии мер, тому противоборствующих, не вызывались, однако же, к той самой державе, которая, по могуществу морских своих сил, чрезмерным ее денежным оборотам, по коренным своим интересам и, сверх того, будучи в войне с Францией, не оказала бы претительности к составу общей лиги против державы, всю Европу устрашающей. Сию истину трудно не признать, что Англия, так сказать, даст душу и силу коалиции (?), если она составиться еще может. Морские силы Англии держат, так сказать,

морские силы Франции в блокаде, так что и в Средиземном море французские военные корабли, несмотря что почти все порты оногo моря в зависимости ее, показаться там не смеют. Итак, не признать нельзя, что Англия есть та стена, которая охраняет безопасность и независимость Европы и к которой прислоняться могут все те, кои о независимости своей еще помышляют (?). Долго ли она похочет сию обузу на себя брать, не видя ни от кого себе содействия, мне кажется, сей вопрос заслуживает внимание. Но невероятным кажется, чтобы на сем основании лондонский двор похотел долго войну сию продолжать, не видя, так сказать, себе и предмета, тем паче что мерами, принятыми для его собственной обороны, кажется, отвращена уже опасность, которая сначала не невозможной была: высадка французских армий в Англии, коей Бонапарт так хвастался. Англия, получа себе в добычу разные селения французские вне Европы, может легко особенный свой мир с Францией заключить и при возвращении части своих завоеваний выговорить себе некоторые выгоды, служащие к личному ее успокоению. А и Бонапарт, удостоверясь о затруднении в исполнении плана его о высадке армий французских в Англию и в настоящем своем положении достигнув до главного предмета, императорской короны, и не захотя подвергнуть потрясению то состояние, до которого он дошел, может быть, и не несклонен будет с Англией примириться, так как и в народе французском оно и весьма желается. Ничего столь пагубного не было бы для независимости Европы, как таковое событие. Известно по прежним примерам и, можно сказать, по самому роду правления английского, что, примирясь с Францией, не вскоре могут они решиться опять на новые вооружения; следовательно, Бонапарт будет иметь, по крайней мере на некоторое время, совершенную свободу кроить и перековеркивать, как похочет, на твердой земле. Нельзя без примечания оставить, что хотя приуготовление его на десант в Англию и не исполнилось на деле, но собранные по берегам Франции около 200.000 войска могут легко обратиться на другой предмет; ибо тогда, имея от Англии свободные руки, не найдет он препятствия оказать явным образом своего негодования и даже неприятельскими предприятиями на те державы, на кои он злость имеет. Все сии события, может, и упредились бы, если бы главные кабинеты Европы на твердой земле более заботы со своей стороны оказали к высвобождению себя от угрожаемого ига

французского, не теряя времени для соглашения о сем с Англией. А масса сил европейских еще такова, что, при единодушии и с помощью и с соглашением Англии, весьма достаточно учинить преграду властвованию Франции и обеспечить твердую землю Европы на будущие времена».

Воронцов указывает на возможность мира между Англией и Францией, что было бы бедствием для Европы. Эта угроза была сделана в Англии графу Семену Воронцову. Когда Наполеон провозгласил себя императором, в Англии Питт снова вступил в министерство, что означало ожесточенную борьбу с Францией. Но для такой борьбы одного моря было недостаточно — надобно было возбудить континентальную войну, составить коалицию. Попытки к составлению коалиции были неудачны вследствие робости Пруссии и Австрии, и последняя на внушения лондонского двора прямо указывала на Россию, без которой нельзя двинуться; чтобы побудить Россию действовать энергичнее при составлении коалиции, Питт употребил угрозу. «Нет человека в мире, — говорил он графу Семену Воронцову, — нет человека в мире, который бы более моего был противником мира с Францией при том положении, в какомона теперь; но если мы будем продолжать биться одни, то нашему народу это наскучит, а вы знаете хорошо нашу страну, знаете, что когда народ решительно чего захочет, то волей-неволей надобно подчиниться». Граф Семен писал брату в сентябре 1804 г.: «Если ничего не сделаете в течение 1805 г., то Бонапарт так утвердится и усилится, что Австрия еще менее посмеет двинуться. Пруссия еще более офранцузится. Бонапарт не теряет времени и приобретает силы в то время, как другие рассуждают только; и так как здесь уверены, что нечего больше бояться высадки французов, то вероятно, что англичане потребуют мира с страшным криком и мир будет заключен в 1806 году. Итак, если я останусь здесь будущий год и если к концу этого года не будет ничего устроено относительно континентальной коалиции, то я буду просить моего отозвания, ибо предмет, для которого и здесь, и в России уговаривают меня остаться, не будет существовать более».

В то время как старый Воронцов думал, что он необходим в Англии для устройства коалиции, для этого самого дела ехал в Англию один из молодых приближенных к императору людей, товарищ министра юстиции Николай Николаевич Новосильцев, долго живший

в Англии и англоман, подобно Воронцову. Последнему хотели оставить всю официальную сторону дела, переговоры с министерством, заключение договора, но Воронцов казался стар, упрям, узок в своих взглядах и слишком пылок в их проведении. Новосильцев вез целый обширный план действий; обнять его не по силам Воронцову; старик будет спорить то о той, то о другой части плана — лучше обойти старика. Новосильцев явится в Англии под предлогом знакомства с юристами по поводу нового Уложения, составляемого в России, а между тем войдет в сношение с министерством и с главами оппозиции, и, если успеет в том, что министерство примет план, то сам Питт будет предлагать его от себя Воронцову, и тот, разумеется, согласится из уважения к авторитету, а между тем Новосильцев, как будто от себя, будет убеждать старика в разумности содержания плана, что Новосильцеву сделать будет нетрудно по давнему доброму расположению к нему Воронцова.

Что ж это был за план?

Это был план не только уничтожения французского преобладания, но и нового установления отношений в Европе после ее умирения. Уже в прошлом веке в тех случаях, когда России приходилось обнаруживать сильное влияние на европейские дела, можно было заметить различие в ее политических взглядах и взглядах других европейских государств. Составляя особый мир, чуждый религиозных интересов Западной Европы, чуждый и политических интересов главнейших европейских государств, сводя свои счета с государствами, имевшими незначительное влияние на ход дел в Европе, Швецией, преимущественно же Польшей, и, главное, по обширности своей территории не чувствуя побуждений к распространению своих владений, особенно после достижения морских берегов, Россия необходимо в своей европейской деятельности являлась более свободной, чем другие государства, имевшие давние счета друг с другом, давние, исторически выработавшиеся интересы и неудержимое стремление округлиться и распространить свои территории и не дать сделать этого другим.

Такая свобода России породила в ней необходимо стремление играть посредствующую роль, устраивать европейские отношения на общих началах, по общим интересам; России всего легче было предлагать и проводить теорию устройства европейских отношений,

тогда как другие государства руководились практикой и были неподатливы на удовлетворение общим интересам, отстаивая во что бы то ни стало свои частные. Таким образом, теоретические стремления России сталкивались иногда враждебно с практическими стремлениями других государств; кроме того, эти государства, не зная прошедшего России и проистекшего из него ее настоящего существа, не понимали в своих практических стремлениях, не признавали ее стремлений теоретических, видели тут неискренность, прикрытие практических стремлений. Но так как теория имеет свою необходимую сторону в жизни, то и русские планы, хотя в частях, осуществлялись, несмотря на противоборство частных интересов.

Выражением таких теоретических стремлений России был план, привезенный Новосильцевым в Англию в 1804 году; план этот представлял увертюру, где встречались мотивы, которые подробнее были выполнены после, когда обстоятельства позволили разыграть всю оперу. Что Россия по означенным причинам была податлива на политические теории, из этого не следует, чтобы планы необходимо составлялись одними русскими людьми; так и в плане, которым мы теперь занимаемся, оказывались внушения двоих известных политических теоретиков: Пиатоли, учителя Чарторыйского, и Жозефа де-Местра, сардинского министра в Петербурге.

В инструкции императора Александра Новосильцеву, «человеку, пользующемуся неограниченной доверенностью государя и знающему все его мысли», говорилось: «Самое могущественное оружие, которым пользовались до сих пор французы и которым еще угрожают всем странам, состоит в общем мнении, что их дело есть дело свободы и благосостояния народов. Было бы постыдно для человечества, чтоб на такое прекрасное дело смотрели как на цель правительства, ни в каком отношении не заслуживающего быть его защитником. Благо человечества, истинный интерес законных правительств и успех предприятия, которое задумывают две державы (Россия и Англия), требуют отнятия у французов столь страшного оружия и приобретения его себе, чтобы обратить его против самих же французов. Между обоими правительствами, русским и английским, должно состояться соглашение: в странах, которые должно будет освободить от ига Бонапарта, не восстанавливать прежних злоупотреблений и такого положения дел, к которому народы, испытывшие формы

независимости, примениться не могут; напротив, надобно постараться упрочить им свободу, установленную на своих настоящих основаниях». Для приложения этого общего начала требовалось, чтобы сардинский король был восстановлен, владения его должны быть увеличены, но он должен дать своим подданным свободную и мудрую конституцию. Голландии и Швейцарии должно также дать полную свободу устроиться, как хотят. Франции надобно объявить, что союзники сражаются не с ней, а с ее правительством, которое так же угнетает и ее, как остальную Европу, что ей дается свободный выбор формы правления. Выбор короля для Франции — дело второстепенное. По окончании войны и умирения Европы никто не помешает заняться договором, который станет основанием взаимных сношений европейских государств. Здесь дело идет не об осуществлении мечты вечного мира, но будет что-то похожее, если в этом договоре определятся ясные и точные начала народного права. Для упрочения внешнего мира необходимо, чтобы внутренний строй государств был основан на благоразумной свободе, дающей крепость правительствам, сдерживая страсти правителей. В инструкции говорилось уже, что для безопасности государств они должны иметь удобные границы, какими всего лучше могут быть горы и моря; говорилось, что каждое государство должно иметь одноплеменное народонаселение. По указаниям опыта признана необходимость усилить второстепенные государства, чтобы они были в состоянии выдержать первый удар сильнейшего и дожидаться помощи союзников. Средства для этого — присоединение мелких владений к крупнейшим и образование федераций. Так, для сдерживания Франции необходимо распорядиться в Италии и Германии. В последней второстепенные владения можно высвободить из-под влияния Австрии и Пруссии и образовать из них тесный союз.

В инструкции говорилось, что Россия и Англия были единственные державы в Европе, интересам которых негде было сталкиваться, и в той же инструкции указано было место столкновения. Из последующих объяснений Чарторыйского с императором Александром видно, что людей, близких к государю, которым приписывали главное влияние на дела, тяготил упрек, что русское правительство заботится только об общем благе Европы и пренебрегает прямыми русскими интересами. Особенно эти упреки

были чувствительны Чарторыйскому, во-первых, как заведовавшему иностранными делами; во-вторых, как человеку нерусскому, поляку, знавшему за собой вину относительно России — в исключительности помыслов о восстановлении Польши. Поэтому советникам императора, и особенно Чарторыйскому, естественно было поднимать вопросы о средствах удовлетворить этим прямым интересам России, причем, разумеется, восточный вопрос, слабость и варварство турецкого правительства, невозможность равнодушно смотреть на положение христиан в Турции, опасность от французских интриг в этой стране — все это было на первом плане. Присоединение к России Молдавии и Валахии удовлетворяло так называемым прямым интересам России и вознаграждало за то, что могла потерять Россия по планам Чарторыйского относительно Польши. От Молдавии и Валахии, естественно, разговоры доходили до освобождения турецких христиан, до возможности соединения греков и турецких славян с Россией или под одним скипетром с нею, что нисколько не противоречило основным планам Чарторыйского.

По его свидетельству, император Александр отвергал подобные предложения; но, как видно, император не нашел неудобным узнать относительно Турции мысли британского кабинета, и потому Новосильцев должен был предложить английскому правительству согласиться насчет участи Оттоманской Порты. Ее слабость, анархия, возрастающее неудовольствие христианских подданных грозили постоянно спокойствию Европы. Надобно было принять против этого меры, и если бы Турция вошла в союз с Францией или по другим каким-нибудь обстоятельствам дальнейшее существование Турецкой империи в Европе стало невозможным, то союзники должны были распорядиться устройством различных ее частей. Новосильцев должен был коснуться другого больного места: предложил об изменении поведения англичан на морях, нестерпимого для нейтральных держав, негодование которых на Англию было очень выгодно для Франции.

22 ноября 1804 года Новосильцев писал государю: «Граф Воронцов сперва принял меня довольно холодно, но не прошло суток, как прежнее расположение его ко мне возвратилось; потом час от часу лучше и, наконец, он сделался только таким орудием, каковым в настоящих обстоятельствах его иметь нужно. Все будет делаться через него и окончено им». Однако из письма Новосильцева от 24 декабря

видно, что дело было не так легко: «Я не иначе мог успеть заставить здешнее министерство принять все правила в. в-ства во всей их полноте как через непосредственное мое с министрами, а особливо с г. Питтом, сношение. Сколь трудно было до сего достигнуть, не оскорбив честолюбия гр. Воронцова и не вооружив его против себя! Сколь много было мне беспокойств, чтоб удалить его подозрения и успокоить его воображение насчет всех моих сношений, а особливо с принцем Валлийским и с лордом Мойра, а теперь с Фоксом! Труднее, беспокойнее для духа и неприятнее я ничего не встречал. Удалось поддержать хорошие сношения вполне. Система ваша получит нужную прочность и не встретит никакого сопротивления в оппозиции, потому что принц Валлийский обещал мне при лорде Мойра, когда все приходит будет к окончанию, дать свое честное слово, или, как он говорит, *la parole de cavalier* (слово кавалера. — Примеч. ред.), что он, со своей стороны, будет всеми мерами содействовать во всем, что к утверждению оной служить может, и что он по вступлении на великобританский престол будет свято и ненарушимо оную сохранять. Лорд Мойра, тот человек, который при перемене царствования, конечно, более всех будет иметь силы в делах, уверял меня, что он не знает (ничего) соответственное благу человеческому вообще и пользам обоих государств в особенности, почему и берет на себя обет защищать всеми силами сию систему. Фоке также, как слышно, за русскую систему, следовательно, и оппозиция за нее, что важно, ибо она будет наблюдать, чтоб министерство неуклонно ее проводило».

Действительно, в Англии никто не мог быть против русской системы вообще. Питт, разумеется, был совершенно согласен, что надобно составить коалицию, низвергнуть Наполеона и установить во Франции безопасное для Европы правительство; Питт здесь прямо указывал на Бурбонов, впрочем, не настойчиво — дело трудное, да и рано еще об этом думать. Питт был совершенно согласен и с тем, что по свержении Наполеона надобно будет распорядиться и судьбой стран, которые коалиция освободит из-под власти Франции, распорядиться согласно с их безопасностью и безопасностью Европы. На все это легко было согласиться, потому что здесь не затрагивались интересы Англии, но иначе пошло дело относительно тех вопросов, где эти интересы затрагивались. Вопрос о морском кодексе, о свободе

морей был отложен на неопределенное время; здесь Англия была Наполеоном. Другой вопрос, не перестававший подавать повод к неприятным объяснениям, был вопрос Восточный. До какой степени в Англии были чувствительны к этому вопросу и до какой степени Воронцов был чувствителен ко всему, к чему были чувствительны в Англии, лучше всего показывает письмо его к кн. Чарторыйскому (от 10 октября н. ст.). «Не могу не признаться, что депеша ваша, где дело идет о союзе, который Порта хочет возобновить с нами и от которого мы стараемся по возможности уклониться, чрезвычайно меня затрудняет. Принужденный прочесть ее Питту и Гарроуби, я увидел их изумление и признаюсь вам по-дружески, что депеша может быть истолкована, как будто наше правительство имеет тайное желание увеличить свои владения на счет Оттоманской империи, которая разрушается и упадет, если не будет поддержана Россией и Великобританией. Они меня спросили, как я думаю, нет ли у нас мысли взять что-нибудь у турок. Внутренне затрудненный вопросом, ибо смысл вашей депеши возбуждал во мне некоторое подозрение чего-то подобного, я, однако, отвечал, что не вижу в депеше ничего такого, что они видят. Они мне сказали, что предмет так важен и так сложен, что они не могут отвечать, тем более что содержание депеши недостаточно развито; что они пошлют в Турцию войско только с одной целью — изгнания французов или для их предупреждения, когда будет очевидно, что французы намерены туда войти; но сделают это всегда с твердым намерением возратить Порте области, занятые с целью их защиты. Лорд Гарроуби опять мне говорил об этом деле; его сокрушает мысль, нет ли у нас намерения взять что-нибудь у турок. Признаюсь, — оканчивал Воронцов, — что я буду в отчаянии, если у нас существуют планы увеличения территории. Мы уже и так страшно распространились, вследствие чего страна не может быть хорошо управляема. У нас с турками естественная граница — море и Днестр; сохраним их, удержим соседями этих бедных турок: ведь они лучшие соседи, чем шведы, пруссаки и австрийцы».

Несмотря на это письмо Воронцова, Новосильцеву было предписано затронуть Восточный вопрос: в разговоре с Питтом он начал дружеским выговором, что в Англии слишком подозрительны насчет русских намерений относительно Порты. Питт, недовольный возобновлением этого неприятного вопроса, заметил, что бывало

много примеров, как покровительство над страной оканчивалось ее покорением, и когда Новосильцев имел наивность сказать, что если бы даже Россия и действительно имела виды на Турцию, то друзьям России, англичанам, нечего беспокоиться, торговля их еще лучше будет обеспечена, Питт указал, как несвоевременно заниматься теперь планами насчет Турции, когда надобно думать об освобождении европейских держав от насилий Франции. Питт сводил дело к одному: Россия должна устроить коалицию против Наполеона, Англия будет платить союзникам деньги. По известиям Новосильцева, и глава оппозиции Фоке был согласен с русской системой. Может быть, он и был согласен с русской системой, но он расходился с Питтом в том, что министр хотел начинать дело как можно скорее, а глава оппозиции этого не хотел, что видно из позднейшего письма его к Чарторыйскому (от 17 марта 1806 г. н. ст.): «Я имел несчастье не одобрить план прошлого года и не скрыл своего мнения на этот счет. Если бы последние слова мои Новосильцеву, сказанные в присутствии принца Валлийского, произвели большее впечатление! Я сказал: идите по крайней мере тихонько — piano, piano».

Когда в начале 1805 года открылся английский парламент, то в тронной речи говорилось об искренних союзах с континентальными государствами, особенно с Россией, которой монарх дал сильнейшие доказательства своей мудрости, благородных чувств и живого участия в безопасности и независимости Европы. В бюджете стояло 5 миллионов фунтов на пособие континентальным державам. 30 марта (11 апреля) 1805 года был заключен между Россией и Англией договор: обе державы согласились принять самые скорые и действительные меры для образования коалиции, которая выставила бы 500.000 войска с целью побудить французское правительство к миру и восстановлению политического равновесия в Европе; для последнего признано необходимым освобождение Италии, Швейцарии, Голландии, Ганновера и Северной Германии и установление в Европе порядка, который бы обеспечивал на будущее время все государства от насилий. Император Александр хотел было включить в договор, что Мальта будет занята русским гарнизоном, но граф Семен Воронцов писал ему, что, когда он сообщил об этом Питту, тот был поражен этим, как громовым ударом; никогда Воронцов не видал его в таком горе. Наконец он сказал, что парламент и нация

этого не потерпят, ибо это значит отдать Средиземное море, Сицилию, Левант и Египет во власть французов, что Англия для содержания Мальты и постоянной эскадры при ней берет на себя громадные издержки, потому что Франция замышляет раздробление Турецкой империи, завоевание Египта, которое даст францувам возможность выгнать англичан из Индии, а это изгнание разорит Великобританию вконец. Русский гарнизон на Мальте не воспрепятствует францувам господствовать на окружающих водах; должно иметь там постоянно сильную эскадру. Надобно было оставить Мальту англичанам. Относительно субсидий затруднений не было: Англия обязалась помогать коалиции своими сухопутными и морскими силами и платить ежегодно по 1.200.000 фунтов на каждые сто тысяч войска. Какие же державы могли быть членами коалиции?

На Австрию прежде всего можно было рассчитывать, потому что страшный для нее Итальянский вопрос становился на очередь: что сделает новый император французов с Италией? Не может же император оставаться президентом Итальянской республики! За вопросом Итальянским виделся уже во всей своей грозе вопрос Восточный, к которому Австрия менее, чем какая другая держава, могла быть равнодушна. Было очевидно, что война между Францией и Англией возобновилась преимущественно из-за Восточного вопроса; яблоком раздора послужила Мальта, важная станция между Францией и Египтом; англичане не хотели выпускать ее из своих рук, особенно напуганные донесением Себастиани; в России не могли долее оставаться при мысли, что турки — самые покойные соседи, когда увидели, что вместо турок соседями могут быть французы. Вследствие этой перемены взгляда туча прошла между естественными союзницами — Россией и Англией; Австрия не могла быть покойна, ибо дело могло начаться в ее соседстве, затрагивая ее ближайшие интересы.

Эти два вопроса — Итальянский и Восточный — преимущественно первый, ибо гроза второго гремела еще далеко, — эти два вопроса заставили Австрию заключить с Россией конвенцию (6 ноября н. ст. 1804 года): в случае новых покушений Франции на независимость Италии либо на занятие Египта Австрия обязалась выставить 250.000 войска, Россия — 115.000 и, сверх того, корпус войск на границах Австрии и Пруссии на случай враждебности

последней; Англия давала субсидии Австрии. Опираясь на эту конвенцию, Австрия решила в конце 1804 года осведомиться о намерениях императора французов насчет Италии; делу дан был такой оборот, что соединение Италии с Францией противоречило бы условиям Люневильского мира и что Наполеон до сих пор следовал правилу, чтобы между Австрией и Францией находились независимые государства. Какое право, был ответ, имеет Австрия вмешиваться во внутренние дела Итальянской республики? Как независимое государство последняя может избирать какую угодно правительственную форму. Дело идет не о правительственной форме, но о независимости — было замечено с австрийской стороны.

Когда Талейран доложил Наполеону об австрийских внушениях, тот велел ему отвечать: «Скажите графу Кобенцлю^[3], я еще и сам не знаю, какие перемены я произведу в Италии, но я не намерен сделать из нее французскую провинцию. Все слухи об этом ложны». Через несколько дней император Франц получает от Наполеона письмо с извещением о желании императора французов сделать королем Италии своего брата (Иосифа). Тяжело, но все не так: все еще какая-то независимость, даже больше прежней, да и родные братья не всегда дружно живут. Можно согласиться, особенно если что-нибудь дадут за согласие. Но в то время как Австрия собиралась поторговаться, подороже продать свое согласие Наполеону, тот поступил по-своему. Узнавши, что в Австрии делается передвижение войск, Наполеон на приеме в новый 1805 год обратился к австрийскому посланнику со словами: «Император двигает 40.000 войск; угрозами ничего от меня получить нельзя; я двину 80.000; если император вооружается, и я буду вооружаться, что бы из этого ни вышло». Император Франц написал Наполеону, что войско двинуто к итальянским границам не против Франции, а против моровой язвы. Этим объяснением, по-видимому, остались довольны, но об Италии ни полслова, несмотря на все старания австрийского посланника завести речь об этом любопытном предмете; наконец молчание было нарушено извещением, что император французов принял титул короля Италии.

Гром разразился, из Петербурга — увещания, что нельзя более медлить. Но эрцгерцог Карл подает мнение, что надобно медлить, что средства Австрии даже и при русской помощи не в уровень с французскими. Штуттергейм передал мнение эрцгерцога Александру и

получил ответ: «Я начинаю думать, что все останется при одних проектах и ничего серьезного не будет; это мне наскучит. Пруссию никак нельзя вывести из ее апатии; вы, остальные, ничего не делаете, ничего не готовите, ничего ясного не говорите. Все идет дурно, и я утомляюсь». Когда русский посол в Вене граф Разумовский потребовал, чтобы Австрия приступила к договору, заключенному между Россией и Англией, то ему отвечали, что присоединиться к договору значит — обязаться объявить войну Франции; но только весной 1806 года Австрия может начать войну с надеждой на успех. Между тем Наполеон, встревоженный слухом о состоявшейся коалиции, спешил предупредить ее и уяснить для себя дело — заставить врагов высказаться; он написал английскому королю письмо с предложением мира. В Англии поняли, в чем дело, и, чтобы усилить тревогу императора французов, отвечали очень ловко, что английский кабинет ведет переговоры для соглашения с главными державами континента и особенно с русским императором, с которым его связывали отношения самые конфиденциальные. Чтобы усилить впечатление этого ответа, Англия предложила императору Александру принять на себя ведение переговоров с Наполеоном: предложить мирные условия, могшие успокоить Европу, с угрозой коалицией в случае несогласия с французской стороны; эта угроза имела гораздо большее значение в устах России, главного континентального государства, чем Англии.

В то время граф Александр Воронцов по нездоровью и неудовольствию ходом дел внутреннего управления уже не управлял больше внешними сношениями и жил в Москве, сохраняя звание государственного канцлера, но в важных вопросах Чарторыйский по приказанию государя обращался к нему за советами; так случилось и по вопросу о предложении Англии послать в Париж русского уполномоченного. Граф Александр отвечал, что, по его мнению, в английской депеше большая смута в идеях. Видно, что Англия сама не ждет никакого успеха от этой посылки; быть может, она имеет в виду возбудить неудовольствие внутри Франции, если Наполеон отвергнет предложение, а с другой стороны, оправдать и усилить министерскую партию в Англии. Но если англичане ожидают какого-нибудь успеха от этой посылки, тогда как надобно приводить весь континент в движение обширными средствами, то он, Воронцов, не видит

причины, почему лондонский двор не употребил самого простого средства — не поручил своему государственному секретарю вести переписку с французским министром иностранных дел, вместо того чтобы навязывать нам дело, которое может только компрометировать достоинство России, подвергая ее уполномоченного вспышкам и выходкам Бонапарта. Совет старика (который скоро после того умер) не был принят: молодости естественно было не желать уклоняться от деятельности на первом плане, упустить из рук ведение дела, которое имело общеевропейский характер, и тот же Новосильцев, который ездил в Лондон, стал собираться в Париж. Он должен был требовать от Наполеона независимости Швейцарии, Голландии, Италии; для смягчения последнего условия, для нового короля Италии, соглашались на устройство в Северной Италии владения в пользу кого-нибудь из родственников Наполеона. Англия обещала возвратить Франции несколько маленьких островов и Пондишери.

Единственная возможность заставить если не принять эти условия, то начать переговоры на их основании заключалась в угрозе коалицией. Но чем грозить, когда коалиции не было? К венскому двору отправили требование, чтобы австрийский посланник в Париже поддерживал Новосильцева. Последовал отказ: Австрия еще не может вести общего дела с Россией и Англией и говорить угрожающие речи, потому что нападение французов на австрийские владения будет неминуемым следствием этого. Другое дело, если бы была уверенность в приступлении Пруссии к коалиции; но так как этой уверенности нет, то благоразумие требует делать предложения как можно умереннее, чтобы не повели к разрыву; как скоро переговоры начнутся, то можно увеличивать и уменьшать требования, смотря по увеличению и уменьшению надежды на участие Пруссии. Представление Австрии раздражило одинаково и в Лондоне, и в Петербурге.

«Эти господа в Вене, — говорил Питт, — всегда отстают на год, на войско и на идею». Когда Штуттергейм начал представлять императору Александру, что Австрия не признает Наполеона королем Италии, но пусть дадут ей лето для приготовления к войне, то император отвечал: «Ах, господи! Сколько времени вы толкуете о приготовлениях и все еще не готовы!.. Какие пропадают благоприятные минуты!.. Бонапарт усиливается, мир привыкает к его

господству и находит все естественным. У вас нет никакой энергии: это несчастье для ваших союзников». В июне 1805 года император Александр потребовал от венского двора прямого ответа: может ли и хочет ли Австрия принять участие в войне; пусть назначится срок, к которому она надеется быть готовой; от Австрии зависит решение участи Европы, ибо Пруссия волей или неволей должна будет принять участие в войне. Если союзники будут иметь только 365.000 войска (250.000 австрийцев и 115.000 русских), то можно отважиться на борьбу. Французская армия не на военной ноге; союзники Франции дурно к ней расположены; часть войска Наполеон должен оставить на случай высадки англичан, другую часть употребить на охрану Голландии и Бельгии, устьев Эльбы и Везера. Чем долее оставлять Наполеона укрепляться в завоеванных областях, тем менее после можно ожидать помощи от их народонаселения. Теперь самое благоприятное время для войны; Россия выставит 180.000 войска, и, таким образом, у обоих союзников будет 430.000 под ружьем. Император Александр решился принудить Пруссию к участию в войне, а за ней последуют и другие.

С одной стороны, русские заявления отстраняли сомнение, что война будет предпринята не с равными силами; с другой — пришло известие, что Наполеон присоединил Лигурийскую республику (Геную) к Франции, вследствие чего Новосильцев не поехал в Париж. «С нами поступают, как с ребятишками», — писал ему Чарторыйский. В Петербурге раздражились захватом Генуи, как насмешкой, поддразниванием; в Вене смотрели на дело с другой точки: нынче взял Геную, завтра дойдет очередь до Венеции — Наполеон не оставит у Австрии ничего из итальянских земель, оправдает свой титул короля Италии. Слуги Наполеона прямо говорят об этом. Можно ли при такой опасности отвергать союз с Россией, отталкивать ее к Пруссии? Но эрцгерцог Карл, лучший полководец, с успехом боровшийся против французов, опять говорит громко за мир. Действительно, все говорилось только о количестве: «У нас будет много войска, у Наполеона будет меньше, мы его победим»; а не говорили, что против Наполеона, первого полководца времени, мы выставим подобного ему; против его знаменитых генералов, против его воспитанного на победах войска мы выставим таких же генералов, такое же войско. Лучшие полководцы, в том числе (очень небольшом) и эрцгерцог Карл,

понимали всю неправильность этого материалистического взгляда, весь вред этого расчета на одно количество с забвением качества — и отсюда проистекала их осторожность, их неохота меряться с Наполеоном, их система отступления, войны только оборонительной. Другое дело — полная коалиция, соединенное, дружное действие всей Европы против одной Франции: тут никакие усилия первоклассного военного гения не помогут, и эрцгерцог Карл спрашивает: «Будет ли Пруссия участвовать в коалиции?» «Пруссия волей или неволей будет участвовать», — отвечали из России; выражение «неволей» было загадочно, да и во всяком случае это было только еще в будущем.

«Но если ждать, то чего же ждать? — спрашивали с другой стороны. — Какое ручательство против неудержимого стремления Наполеона к захвату? Стоять вооруженными, наготове к защите? Но он и этого не позволит; при известии о сборе войска, о его движении он кричит, грозит нападением и непременно исполнит угрозу. Если что может еще сдержать его, дать надежду на сохранение мира, так это союз Австрии с другими державами. Как скоро Наполеон увидит, что Австрия одинока, то непременно объявит ей войну. Понятно, что и война представляет опасность, но из двух зол надобно выбирать меньшее, и если эрцгерцог указывает на многие неудобства войны, то он не указывает средства, как сохранить мир, когда союзники будут потеряны». Легко понять затруднительное положение императора Франца, когда ему предстояло решить спор двух сторон, вооруженных такими сильными доказательствами в свою пользу, когда брат, лучший полководец, лучший знаток военного положения Австрии, утверждает, что не должно воевать, а министр иностранных дел Кобенцль спрашивает: «Если не воевать, то какие средства сохранить мир?» Наконец император решил спор в пользу министра, и в начале июля курьер поскакал в Петербург к Стадиону с приказанием вступить в переговоры относительно приступления Австрии к англо-русскому коалиционному трактату.

Разумеется, для уничтожения главного возражения противников войны Россия должна была прежде всего стараться о полноте коалиции. Страшно трудно было увлечь Пруссию; легко было это сделать со Швецией, ибо ее король Густав IV так же ненавидел наполеоновское правительство, как отец его Густав III ненавидел революционные движения Франции. Важность шведского союза для

России как главы коалиции была очевидна уже из того, что Наполеон добивался дружбы Густава IV, причем по своему обычаю не щадил приманок, предлагал Швеции Норвегию взамен германских ее владений — Померании: последняя была очень нужна Наполеону и как приманка для Пруссии, и как сдержка для нее и важный пункт относительно России. Но Густав IV не согласился и прежде других стал членом коалиции, хотя в Петербурге и не могли полагать большой надежды на его помощь. Еще в 1803 году русский министр в Стокгольме Алопеус 2-й сообщил своему двору печальные известия об умственном состоянии короля и его поведении. Густав IV постоянно посещал масонские ложи; никогда не видали улыбки на вечно серьезном и суровом лице его; никакое развлечение не допускается во дворце; король мучит солдат бесполезными формальностями; верит в какую-то несчастную звезду; считает себя Карлом XII-м, носит драбантский мундир его времени; народ очень недоволен. Но как бы то ни было, союзом со Швецией заручиться было необходимо хотя бы только по причинам близкого соседства, и этот союз благодаря Померании должен был иметь влияние и на отношения России к Пруссии.

Пруссия продолжала упорно отказываться изменить свои отношения к России и Франции. Тщетно в Петербурге думали, что эттенгеймское происшествие заставит Пруссию тронуться. На известное письмо императора Александра об этом происшествии король Фридрих-Вильгельм отвечал, что заботы и чувства императора достойны его характера и требуют самой живой благодарности... Но — должна иметься в виду великая цель сохранения спокойствия, а Наполеона нельзя принудить дать полное удовлетворение иначе как с оружием в руках. Александр указывал другую великую цель; он писал королю: «Признаюсь, страшная скорбь будет для меня, если я не увижу ваше величество принимающим самое деятельное участие в славе восстановления политического равновесия Европы». Фридрих-Вильгельм в своем упорном желании сохранить мир, не быть принужденным к страшному, по его убеждению, риску, не хотел признать, что уступка Наполеону ведет точно так же, если еще не скорее, к войне, как и сопротивление. Германия уступила ему в эттенгеймском деле — сейчас же пошли другие нарушения международного права.

Наполеон заставил баварский и кассельский дворы выслать находившихся при них английских посланников; наконец, французский отряд ночью на нейтральной гамбургской почве схватил Румбольда, английского посланника при Нижнесаксонском округе. В этом поступке находили еще большее нарушение международного права, чем в поступке с герцогом Ангьенским, потому что Румбольд был посланник, а герцог Ангьенский считался частным человеком. Оскорбление коснулось прямо Пруссии, потому что по тогдашнему германскому устройству прусский король обязан был блюсти за спокойствием и безопасностью Нижнесаксонского округа; наконец, где же была после того неприкосновенность Северной Германии, на чем так сильно настаивал Фридрих-Вильгельм? Посланники русский и английский приступили с требованиями, чтобы Румбольду было оказано покровительство, причем Алопеус напомнил о соглашении между Россией и Пруссией, где нарушение неприкосновенности Северной Германии было определено как причина войны с Францией (*casus foederis* (лат.) — букв.: «договорный случай», то есть случай, который требует исполнения указанного в договоре обязательства; термин международного права. — Примеч. ред.). Король велел требовать у французского правительства удовлетворения за нарушение нейтралитета и освобождения Румбольда.

Но что далее? Что, если Наполеон не выполнит этого требования? В это время граф Гаугвиц, который считал для себя должным и полезным вполне сообразоваться со взглядами короля, был в бессрочном отпуску, и внешними делами заведовал барон Гарденберг, который позволял себе высказывать мнение, что поддержание во что бы то ни стало нейтралитета и мира и постоянная уступчивость Франции будут иметь печальные следствия для Пруссии. Такое мнение Гарденберг высказал и теперь, обратив внимание короля и на то, что крайняя уступчивость его произведет неблагоприятное впечатление на прусскую армию и народ. Королю, разумеется, были очень неприятны подобные представления; он возражал, что нельзя в поступке с Румбольдом видеть непременно оскорбление Пруссии: оскорблена Англия, а не Пруссия. И к чему тут народ, армия? Им до политики дела нет. Вообще у Гарденберга какие-то странные мнения — неудобный министр! Надобно спросить мнение Гаугвица, и король пишет ему: «Я потребовал удовлетворения у Бонапарта за нарушение

нейтралитета и освобождения Румбольда. Но если Бонапарт не согласится, что должна делать Пруссия для поддержания своего достоинства и выполнения своих обязательств как относительно России, так и владений Северной Германии? Многие хотят войны, а я не хочу. Мне кажется, что есть средства выйти из затруднения, не прибегая к такой крайности; мне противно возжигать континентальную войну единственно из-за этого. А я не хочу!»

Разумеется, и Гаугвиц тоже не захотел, а счастье на этот раз помогло. Наполеон, зная, что Россия и Англия стараются составить коалицию против него, хлопотал, чтобы эта коалиция не составила или по крайней мере была бы неполная; для этого ему нужно было удержать Пруссию при себе или по крайней мере нейтральной. Вот почему он исполнил требование Фридриха-Вильгельма, освободив Румбольда, и объявил, что это сделано для прусского короля. Такая уступка утвердила окончательно короля в политике мира и нейтралитета: стоит только что-нибудь потребовать с твердостью — ни в чем не откажут ни с той, ни с другой стороны; никто не тронет Пруссию, чтобы не иметь ее против себя, и она будет наслаждаться миром, да и Европе даст мир, потому что без нас не будут воевать. Король был на седьмом небе: блистательная победа без кровопролития!

Но восторг был непродолжителен. И в Лондон, и в Вену из России давали знать, что Пруссия будет втиснута в коалицию неволей, если не захочет войти в нее добровольно. Мы видели, что Воронцовы питали сильное нерасположение к Пруссии; в последнем мнении своем канцлер, граф Александр, писал: «Считаю долгом заметить, что если надобно будет предложить Пруссии приманку, обещать ей увеличение территории, чтобы склонить ее ко вступлению в коалицию, то интересы России не допускают увеличения прусских владений на севере Германии, у балтийских берегов, но пусть она распространяется во Фландрии, Нидерландах и немецких землях, отошедших к Франции по Люневильскому миру. Увеличение прусского могущества здесь не только нам не опасно, но даже выгодно, сталкивая непосредственно Пруссию с Францией». Дружба Воронцовых с Чарторыйским укреплялась нерасположением к Пруссии. Но Воронцовы руководились русскими интересами, тогда как поляку Чарторыйскому до русских интересов было мало дела. Жозеф де-Местр оставил о

Чарторыйском такую заметку: «Он высокомерен, скрытен, отталкивает от себя; я сомневаюсь, чтоб поляк, имеющий притязание на корону, мог быть хорошим русским».

Чарторыйский ненавидел Пруссию как главную виновницу падения Польши и во враждебном столкновении России с Пруссией видел средство восстановления своего отечества во всей целостности. По его плану жители польских областей, принадлежавших Пруссии, должны были восстать при первом появлении русских войск в прусских пределах; эти области присоединялись к тем, которые отошли к России по трем разделам, и восстановленная таким образом Польша признает своим королем императора Александра. Австрия не будет этому противиться и даже отдаст Галицию, потому что щедро будет вознаграждена Силезией и Баварией. Кроме других очевидных затруднений к осуществлению этого плана первое затруднение заключалось уже в самом императоре Александре. Он мог согласиться на то, чтобы употреблена была угроза, которая бы заставила короля принять мнение людей, желавших вступления Пруссии в коалицию против Франции; но захотел ли бы Александр привести в исполнение угрозу — это было очень сомнительно, тем более что со времен мемельского свидания была личная дружба между ним и Фридрихом-Вильгельмом. Чарторыйский считал это мемельское свидание пагубным событием.

Первое неприятное объяснение между петербургским и берлинским дворами произошло по поводу Швеции. По договору с Англией Густав IV обязался выставить в своей части Померании 25.000 войска для войны с Францией. В Берлине взволновались: театр войны перенесется в Северную Германию — где же после того будет ее нейтралитет, о котором так хлопотала Пруссия? Из Берлина поэтому дали знать Густаву IV, что Пруссия для охранения нейтралитета Северной Германии займет своим войском шведскую Померанию; но из Петербурга присылается в Берлин внушение, что если хоть один прусский солдат войдет в шведскую Померанию, то Россия будет принуждена выполнить свой союзный договор со Швецией и поспешит к ней на помощь. В то же время из Петербурга требовали, чтобы в случае войны России с Францией дан был свободный проход русским войскам через прусские владения, но это, другими словами, требование отказаться от драгоценного нейтралитета.

Около Фридриха-Вильгельма — борьба. Гаугвиц искусно излагает мнения короля, излагая собственные мнения; Гаугвиц за нейтралитет, в котором видит собственную политику Пруссии; последняя не должна отказываться от этой политики и предать себя всем случайностям колеблющейся политики России и Австрии, которые притом же не открывают своих планов Пруссии. Впрочем, и с этими державами не должно резко разрывать. «Нейтралитет — отвечает Гарденберг, — есть могила самостоятельности и чести Прусского государства, а войны все же не избежать, только надобно будет ее вести по воле победителя и для его целей». Гаугвиц ставил на вид, что Россия и Австрия, побуждая Пруссию вступить с ними в коалицию, скрывают, однако, от нее свои намерения. Нельзя было вступить с ними в соглашение, не узнавши прежде их целей. Для этого узнания отправлен был в Петербург генерал-адъютант Застров и привез собственноручную ноту императора Александра.

«Чтоб отвечать с полной откровенностью на желание короля знать все мои политические отношения, надобно прежде знать мне в точности: его величество признает ли необходимость прибегнуть к оружию против Бонапарта в случае, если он не примет мирных предложений? Решится ли король соединить свои войска с войсками России и Австрии, если эти державы прибегнут к сильным мерам для достижения мира? Впрочем, я не колеблюсь объявить теперь же, что мои мирные предложения будут заключать в себе одно необходимое для будущей безопасности и независимости Европы, что Англия сделает все пожертвования, какие только можно разумно надеяться от нее. Если переговоры не поведут ни к чему и надобно будет прибегнуть к силе, то я поведу войну с союзниками, которые, подобно мне, обяжутся не полагать оружия до всеобщего мира; я буду охотно содействовать к доставлению им денежной помощи и к определению вознаграждений за потери. Дело будет идти об утверждении независимости Европы, а не для произведения контрреволюции и не для низвержения Франции с того места, которое принадлежит ей в общей системе. Если король хочет соединиться именно на этих основаниях, я обещаю ему употребить гораздо более 100.000 войска и принять меры к тому, чтоб не подвергать Пруссию опасности со стороны Франции».

Упомянув о мирных предложениях, император Александр имел в виду те, которые Новосильцев должен был сделать в Париже; но мы видели, что Новосильцева возвратили с дороги, и Пруссия потеряла последнюю надежду на мир. Пруссия одной из причин своего колебания приступить к коалиции выставила неуверенность в достаточной энергии Австрии, а та со своей стороны останавливалась колебанием Пруссии. Понятно, что надобно было употребить все средства для уничтожения, по крайней мере на время, соперничества и подозрения между этими державами. Австрия первая предложила забыть о Силезии, забыть старое для нового; выставила убеждение, что ослабление Австрии теперь будет вредно для Пруссии и наоборот; уверяла, что вовсе не думает о приобретении влияния в Германии, а только заботится о сохранении равновесия в Европе и Германской империи; даже в случае счастливой войны не имеет намерения изменить существующий порядок вещей в Баварии или где бы то ни было. Но в Берлине слушали все это одним ухом, и в марте 1805 года Гарденберг сказал австрийскому посланнику по поводу русских требований: «Короля никогда не принудят к мерам, вызывающим войну, и я уверен, что наши два двора думают в этом отношении одинаково по сходству их положения; России нечего бояться войны, а Пруссия и Австрия одинаково могут пострадать». После этого в Вене перестали полагаться на Гарденберга: начали считать его таким же французом, как и Гаугвица.

Сильнейшее искушение для берлинского двора пришло с запада. Наполеону нужно было разбить коалицию, удержать Пруссию при себе, и он решается не щадить ни убеждений, ни приманок, чтобы заставить Фридриха-Вильгельма покинуть систему нейтралитета. «Как только Россия объявит войну Франции, то войска последней сейчас же занимают главный город шведской Померании, ибо Швеция в союзе с Россией: что же станется с прусской системой нейтралитета для Северной Германии? Напротив, союз с Францией представляет для Пруссии выгоды несомненные, многочисленные и непосредственные, опасности же — никакой. Пруссия должна вспомнить, что у нее нет таких средств к усилению себя, какими обладают ее соседи, которые, будучи вместе ее врагами, не дадут ей распространить своих владений. Император французов предлагает прусскому королю Ганновер в вечное владение и обязывается уступку его сделать необходимым

условием мира с Англией, которая основывает все свои надежды на континентальной войне; но Россия и Австрия не начнут войны, если Пруссия выступит как союзница Франции; таким образом, королю достанется слава примирителя Франции с Англией. Уступка Ганновера не представит непреодолимых затруднений: не король Георг будет заключать мир, а народ английский; от Пруссии же Франция требует одного ручательства в сохранении существующего порядка в Италии. Государство, которое не увеличивается, уменьшается».

Это внушение произвело сильное впечатление в Берлине, затрагивая самые нежные струны, совпадая с самыми заветными помышлениями и целями: уже стали мечтать, что приобретения не должны ограничиться одним Ганновером, можно приобрести и Богемию и выменять Саксонию на польские области. Не следует быть злодеем вполнину! Не легко было, по мнению Гарденберга, выставить основания, говорившие в пользу французского союза, с большей жесткостью и оболстительностью, и многие основания были действительно вески: с одной стороны — предложения хотя и не совсем безопасные, но возможные, с выгодой сохранить мир и, если бы это не удалось, с видами на могущественную помощь сильнейшей державы; с другой стороны — известное намерение принудить Пруссию ко вступлению в коалицию, тон русского кабинета, становящийся все грознее и грознее, и еще более угрожающее положение русского войска — никаких выгод, разве отдаленные, которые еще нужно завоевать, приобретения неверные. Но в то же время кто не понимал, что взять что-нибудь у Наполеона значило продать свою душу врагу и дать на нее кровавое рукописание, рабство было необходимым следствием. Короля могла прельстить больше всего надежда на сохранение мира (да еще с Ганновером!), но этой надежде вполне предаваться было нельзя по грозному положению России: еще пока-то французское войско явится на помощь, русское будет уже в прусских владениях, и Пруссия сделается ареной борьбы, исход которой неизвестен.

Для короля, и, конечно, не для одного его, оба союза, французский и русский, представляли только одни невыгоды, и потому, разумеется, он мог решиться на тот или другой только в случае крайности, а до тех пор должен был упорствовать в нейтралитете. Гаугвиц также советует крепко держаться нейтралитета и для его сохранения вооружаться;

яркими красками выставил Гаугвиц неверность французских обещаний и, с другой стороны, опасность разрыва с Россией: точь-в-точь, как думал сам король! Итак, вооруженный нейтралитет! Им всего скорее можно достигнуть желанной цели, сохранения мира: и Наполеон, да и Россия с Англией и Австрией будут податливы и помирятся при прусском посредничестве. Наполеону отвечали, что никакая приманка увеличением территории не может побудить короля к мерам наступательным; нельзя из-за совершенно разоренного Ганновера подвергать бедствиям войны старые, цветущие прусские области. Есть надежда сохранить мир, если император Наполеон по соглашению с Пруссией обеспечит целостность и независимость остальной Италии, республики Батавской и Гельветической и Германской империи, если он даст королю возможность как можно скорее передать слова мира в Петербург и Вену. Императору Александру король писал (5-го сентября 1805 г.), что твердо решился поддерживать нейтралитет свой и своих соседей и вооружается для защиты последних; притом Франция еще ничего не сделала такого, что бы заставляло Пруссию объявить ей войну. Король надеется, что император Александр также не сделает ничего, что бы нарушило покой Северной Германии.

В то время как в Пруссии только еще решали, что надобно вооружаться, чтобы дать больше весу своим мирным предложениям, в Австрии давно уже вооружались и все еще надеялись, что войны можно избежать, по крайней мере что она не начнется в текущем 1805 году. Когда император Александр в июне узнал о присоединении Генуи к Франции, то сказал Штуттергейму: «Этот человек (Наполеон) ненасытим, его честолюбие не знает границ, это бич вселенной! В Вене должны остановиться на этом событии. Я его предвидел, но никак не ожидал, чтоб Генуя была обращена во французскую провинцию в то самое время, когда хотели начать мирные переговоры с этим господином; он над нами смеется, он хочет войны: ну, хорошо, он будет ее иметь, и, чем скорее, тем лучше. Видите: мы медлим, а он этим пользуется». Когда Штуттергейм заметил, что надобно подождать до весны, то Александр сказал: «Я не буду из всех сил спешить, но война неизбежна».

Но «этот человек» был не такой человек, чтобы стал сидеть спокойно, видя, как другие вооружаются. Он велел Талейрану объявить австрийскому посланнику, что лагеря в Тироле и

Штейермарке должны быть сняты, отказ в этом Наполеон примет за объявление войны. В конце августа Австрия отвечала, что она вооружается для поддержки выговоренных трактатами условия, что она готова вступить с французским двором в переговоры о сохранении континентального мира и удостоверяет, что монархи австрийский и русский обязались не вмешиваться во внутренние дела Франции, не нарушать существующего порядка Германской империи и целостности Порты Оттоманской. В Вене произошла в это время перемена: воинственный дипломат Кобенцль восторжествовал над знаменитым, но требующим мира полководцем эрцгерцогом Карлом.

Отчего же произошла такая удивительная перемена? Явился генерал-квартирмейстер Мак, который обещал поставить армию на военную ногу вместо шести месяцев в два месяца и исполнил обещание; но не довольствовались приготовлением армии: тому же Маку поручено было перевести ее за баварскую границу, чтобы предупредить Наполеона. Суворов, Наполеон побеждали стремительностью, умением предупреждать неприятеля, нападать на него врасплох; стоило только принять такой же образ действий, предупредить неприятеля, и Мак становился Суворовым, Наполеоном! Но действительно ли Мак предупреждал Наполеона? В Вене по крайней мере думали, что «театральный монарх», как там величали Наполеона, ничего не знает, ни к чему не готов или бездействует, потеряв голову от стыда и затруднительности положения.

Император Александр был изумлен такой энергией и поспешностью Австрии! Столько времени на его увещания к войне был один ответ: «Не готовы и раньше весны 1806 года готовы быть не можем». Русский государь был в полной уверенности, что раньше этого срока войны не будет, обещал Штуттергейму не торопиться, а теперь принужден был спешить, спешить двумя делами: и отправлением войска на помощь Австрии, и склонением Пруссии ко вступлению в коалицию.

В августе император послал королю письмо, в котором предлагал личное свидание на границах, снова говорил о необходимости приступить к коалиции и требовал согласия на проход своих войск через прусские владения. Король отвечал, что согласен на первое, но никак не может согласиться на последнее, ибо это «непременно погубило бы Европу». Фридрих-Вильгельм спрашивал, каким образом

император Александр, принявший на себя прекрасную роль защитника международного права и особенно права нейтральных государств, может без малейшего предлога нарушить право соседа и союзника, представляющего оплот для безопасности Севера и говорившего всегда языком мира? Сильнейшее впечатление произведено было донесением Алопеуса 7 (19) сентября о разговоре своем с Гарденбергом. Последний передал русскому посланнику слова короля: «Если император, — говорил Фридрих-Вильгельм, — намерен принудить меня действовать против моих правил и нарушить закон, который я сам себе предписал, закон не подвергать моих народов бедствиям войны, то я скорее погибну, чем соглашусь на это. Но неужели возможно, чтоб император, которого я считал своим первым другом, к которому, Бог свидетель, я питал доверие беспредельное, — возможно ли, чтоб он употребил во зло это доверие? Если б он нашелся в опасности, если бы теперь, начавши великую борьбу, он испытал какое-нибудь бедствие, то я полетел бы к нему на помощь. Хотеть заставить меня смотреть на вещи точно так, как он смотрит, — это значит посягать на мою независимость. Но если я потеряю независимость, то как я осмелюсь взглянуть на изображения моих предков, как мне хотя минуту остановиться на мысли, что между ними был Фридрих II, великий курфюрст^[4]. Нет, если мне суждено погибнуть, то погибну со славой; я паду жертвой моего доверия к государю, который умел завоевать мое сердце». Алопеус донес также о словах короля, сказанных генералу Кёкерицу: «Много государей погибло от страсти к войне; а я погибну оттого, что люблю мир».

Император Александр находился в большом затруднении: с одной стороны, такие протесты Фридриха-Вильгельма; с другой — в Вене и Лондоне заявлено, что русский государь заставит Пруссию приступить к коалиции; с третьей стороны, разумеется, Чарторыйский настаивал на вступлении в Пруссию и поднятии поляков. Александр был выведен из затруднительного положения самым главным союзником. Штуттергейм стал делать сильные представления против войны с Пруссией. «Но это значит меня компрометировать, — возражал Александр, — нет, я не могу отступить; если я могу возвратить вам Силезию, то вы можете на меня положиться». Пришли депеши из Вены с такими же отсоветованиями нападать на Пруссию; Штуттергейм усилил свои представления; наконец, Чарторыйский

подался. Этого только, разумеется, и нужно было: русские войска были задержаны на границе впредь до личного свидания государей; да скоро трудно стало думать о войне с Пруссией, когда узнали о быстрых движениях Наполеона.

В то время как в Вене думали, что «театральный император» находится в бездействии, Наполеон с необыкновенной скрытностью и быстротой двигал свои войска на восток. Нет сомнения, что он был очень рад этой континентальной войне, ибо сосредоточение сил на берегах Атлантического океана для преднамеренной будто бы высадки в Англию не достигало цели; Англию нельзя было этой угрозой принудить к миру, а высадку Наполеон не мог не признавать предприятием отчаянным. Теперь континентальная война давала ему отличный предлог покончить с приготовлениями к высадке, которые скоро грозили стать смешными, и нанести Англии удар поражением коалиции, о которой она так хлопотала. Это поражение было верное в глазах Наполеона: коалиция была неполная, Пруссия к ней не приступала, Австрия же сделала страшную ошибку, выдвинув часть своих войск за границу и не дождавшись русской помощи. В конце сентября н. ст. французские войска стояли уже в Швабии и Франконии под начальством самого Наполеона; курфюрсты Баденский, Вюртембергский и ландграф Дармштадтский были за Францию; за нее же была и Бавария, несмотря на австрийские угрозы. Пруссии Наполеон опять предложил союз. «Заключать союз с воюющей державой значит — принять участие в войне», — был ответ. С французской стороны соглашались договориться на основании нейтралитета Пруссии, соглашались дать ей Ганновер под залог, соглашались на ее посредничество — все для того, чтобы выиграть время.

1-го октября (н. ст.) в Шарлоттенбурге в присутствии старого вождя прусских войск герцога Брауншвейгского была конференция, где Гарденберг предлагал не постановлять ничего с Францией до свидания короля с русским императором, ибо последний оскорбится таким постановлением; занятие Ганновера должно произойти с согласия всех сторон. Король против своего обыкновения обнаруживал в конференции нетерпение и неудовольствие: толковали о личном свидании его с русским императором, а он именно не хотел этого свидания, боясь нравственного влияния обаятельного друга более, чем

насильственного перехода русских войск через прусские владения; он предполагал в последнюю минуту под каким-нибудь предлогом отказаться от свидания и послать вместо себя герцога Брауншвейгского. Предлог был уже придуман — болезнь ноги.

Но Наполеон переменял ход дела: по его приказанию французские войска для удобства движения против Австрии нарушили нейтралитет Пруссии, пройдя через ее владения (в Анспахе). Известие об этом произвело страшное впечатление в Берлине. Король был в отчаянии: драгоценный нейтралитет исчез; теперь нельзя было сказать русскому императору, что со стороны Франции не сделано ничего, могущего дать Пруссии право объявить ей войну. В Пруссии давно уже существовала так называемая патриотическая партия, которая видела унижение отечества в равнодушии к захватам Наполеона: сама королева, двоюродный брат короля принц Людвиг думали таким образом. Партия сдерживалась противным образом мыслей короля, но теперь она возвысила голос и увеличилась в числе. Неудовольствие не могло уменьшиться, когда Наполеон, извиняясь в письме к королю в анспахском происшествии, старался дать делу такой вид, как будто это была безделица; когда Талейран написал, что виноват берлинский кабинет, который все толковал о нейтралитете Северной Германии, тогда как прусские владения Анспах и Байреит находятся на юге, следовательно, вне демаркационной линии.

Император Александр решил пользоваться обстоятельствами. Прусского короля долго было дожидаться на границах — император сам поехал к Фридриху-Вильгельму и 25-го октября (н. ст.) прибыл в Берлин, где был принят жителями с необыкновенным восторгом. Надобно было спешить привлечением Пруссии в коалицию и этим помочь Австрии, дела которой шли дурно. Французы перешли Дунай, поразили австрийцев в трех сражениях, заняли Аугсбург и Мюнхен, а Мак, придвинувшись к Ульму из желания предупредить Наполеона, затворился в этом городе и спокойно смотрел, как неприятель окружал его со всех сторон. После победы, одержанной французами под начальством маршала Нея при Эльхингене, Мак был совершенно заперт, завел переговоры и сдался: 23.000 австрийского войска положило оружие, французам досталось 59 пушек.

20-го октября сдался Мак; 21-го английский адмирал Нельсон истребил французско-испанский флот при Трафальгаре и заплатил

жизнью за победу; 25-го приехал Александр в Берлин и начались конференции о том, как поправить континентальные дела. Сначала шли они между Чарторыйским, приехавшим вместе с императором, Гаугвицем и Гарденбергом; 28-го числа присутствовали император, король и герцог Брауншвейгский; 3-го ноября дело было кончено; государи ратифицировали договор, известный под именем Потсдамского: прусский король принимал на себя посредничество между воюющими державами, но посредничество вооруженное, результатом которого должно быть или непосредственное восстановление континентального мира, или в случае непринятия Францией мирных условий действительное участие Пруссии в войне. Мирные условия заключались в том, что за Францией оставалось все, полученное ею по Люневильскому и последующим договорам; уничтожались только те распоряжения Наполеона, которые возбудили против него коалицию: восстанавливалось независимое Сардинское королевство, выговаривалась независимость Юлландии, Швейцарии, Неаполя и Германской империи; королевство Итальянское, которое названо было Ломбардским для избежания слишком широкого смысла, заключавшегося в слове «итальянское», должно было быть независимо от французской короны; наконец, выговаривалась неприкосновенность Турции.

Обстоятельства представляли нечто новое против прежнего: Пруссия принимала решительное положение, и, не согласившись на ее предложения, Наполеону надобно было вести войну против небывалой еще коалиции, что могло заставить его задуматься; но с другой стороны, нельзя было надеяться, чтобы Наполеон принял предложения: это значило бы признаться, что испугался коалиции, уничтожить обаяние, которое он производил над французами, — обаяние силы, не знающей препятствий, и это после того, как народ, находившийся под таким обаянием, провозгласил его императором. И побежденный Наполеон не мог принять потсдамских условий, а теперь он блистательно начал кампанию: на стороне французов бодрость, возбужденная успехом; на стороне противников упадок духа — следствие ульмского позора. Коалиция опасна, но она еще не вполне образовалась: Пруссия еще не объявляла войны, и нет сомнения, что Фридрих-Вильгельм войны не хочет по-прежнему, он подвергся нравственному насилию; Пруссия не вступила прямо в коалицию,

согласилась только на вооруженное посредничество, и здесь уже видна ясно уступка Александра своему другу; здесь слабое место, которым легко воспользоваться; австрийцы — старые знакомые, их бояться нечего; русские — враги новые, но кто ими предводительствует? И притом в соединении два чуждых друг другу войска, два императора — сколько интересов и страстей в столкновении!

Очень важно было то, кто будет прислан к Наполеону с мирными предложениями из Берлина: если это будет человек из патриотической партии, желающей вступления Пруссии в коалицию, то он повернет дело быстро и неприятным для Наполеона образом, предложив вопрос: мир на известных условиях или война? и не входя в дальнейшие объяснения. Но Фридрих-Вильгельм, именно не хотевший крутого поворота дела, не хотевший, боявшийся по-прежнему войны, выбрал человека, в котором был уверен, что не доведет дела до крайности, сумеет воспользоваться обстоятельствами, чтобы выгородить Пруссию с ее интересами; кого же он мог выбрать лучше, как не несравненного графа Гаугвица, полного своего представителя, свой портрет относительно политических воззрений? Странно, что император Александр не настоял на выборе другого лица для посылки к Наполеону, тем более что он, приехавши в Берлин, явно обнаружил свое нерасположение к Гаугвицу и благосклонность к Гарденбергу. В Петербурге были неверно извещены о положении партий в Берлине и считали Гаугвица с Ломбардом главами французской партии; но мы видели, что Гаугвиц если принадлежал к какой-нибудь партии, то к королевской, стоял за нейтралитет, за мир во что бы то ни стало, советовал ни под каким видом не разрывать с Россией, тогда как Гарденберг, ратуя против нейтралитета, вовсе не настаивал на необходимости держаться России. Теперь Гаугвиц ехал к Наполеону для исполнения королевских желаний, но, разумеется, не без горечи против коалиции, потому что был сильно оскорблен холодностью главы ее.

Коалиция была неполная; присоединение Пруссии предполагалось еще в будущем; действия союзников начаты были недружно; Австрия, не дожидаясь русских войск, выдвинула свои в Баварию и потерпела уже страшное поражение. Недостаток полководца, которого можно было бы противопоставить Наполеону, привел императора Александра к мысли о вызове знаменитого

французского генерала Моро, изгнанного Наполеоном в Америку за участие в роялистском заговоре; но Моро не поспел бы во всяком случае; надобно было употребить в дело остатки екатерининских, суворовских времен. Имя первого русского генерала, которое услышал Наполеон, было имя Кутузова. Человек, которому после суждено было проводить завоевателя из России, должен был теперь встретить его в Баварии. При несчастной, непредвиденной поспешности, с какой Австрия начала войну, русское войско должно было не идти, а бежать ей на помощь. Русские прибежали на Инн в ненастье, по грязным дорогам, в очень некрасивом виде, в изношенном платье, босые, — и отовсюду дурные слухи: союзники дали себя разбить, теперь вся тяжесть ударов победителя падет на русские плечи.

Естественно, русские не могли отнестись благоприятно к австрийцам, тем более что память о последнем походе Суворова, о его отношениях к австрийцам была жива. Русские презрительно относились к людям, «привыкшим битыми быть», по выражению Суворова; австрийцы в отместку называли их словом, которое первое попадает на язык западного европейца, когда он недоволен русскими, — называли их варварами, смеялись над недостатком у них военной выправки. Русские должны были отступать, сдерживая и отбиваясь от превосходного числом неприятеля; маршалу Мортье сильно досталось от Кутузова при Дюрренштейне; услышали о давно неслыханном деле, о разбитии французов; сам Наполеон назвал битву резней. Такая же резня произошла при Шёнграбене, где умел отбиться знаменитый суворовец князь Багратион, оставленный, по словам Кутузова, на неминуемую гибель для спасения армии. Багратион не погиб, а армия была спасена отступлением в Моравию, где с ней соединились другие русские войска, только что прибывшие из России, и небольшой австрийский корпус, отступивший от Вены, которая была уже занята французами. Союзники стояли у Ольмюца, куда приехали и оба императора — Александр и Франц; Наполеон занял Брюнн. Союзники решили идти к нему навстречу и 20-го ноября встретились у Аустерлица. Наполеон победил; из рядов русского войска выбыло с лишком 20.000 человек.

В нашу задачу не входит подробное описание и обсуждение военных действий, но всякое явление должно быть уяснено в связи с предыдущим и последующим, должно быть уяснено в той степени, в

какой обнаруживает характеры действующих лиц, их отношения и взгляды, в какой имеет влияние на последующие отношения их и взгляды. Позор поражения после екатерининских войн, после суворовского похода в Италию не мог быть перенесен равнодушно современниками; как обыкновенно бывает в подобных случаях, они должны были с чрезвычайной страстностью искать виноватого, накидываясь на первого встречного, не будучи в состоянии выслушивать оправданий, исследовать дело беспристрастно и спокойно. Разумеется, прежде всего стали виноваты союзники — австрийцы. Мы не станем останавливаться на обвинениях, что австрийцы из вражды к русским открыли Наполеону план сражения и т. п.; но не подлежит сомнению, что австрийцы испортили кампанию в самом начале, выдвинувши свои войска в Баварию, не дожидаясь прихода русских, и если это действие объясняется желанием предупредить Наполеона, то трудно не предположить здесь и другого желанья — заручиться успехом до прихода русских войск, чтобы смыть позор прежних неудач и не дать утвердиться мнению, что успех для Австрии возможен только при чужой помощи.

Мы видим любопытное явление, которое не останется одиноким: против войны был известный своими способностями полководец, заведовавший военной частью в империи, эрцгерцог Карл, тогда как за войну был преимущественно министр иностранных дел Кобенцль, потому что для последнего было невыносимо тяжело невыгодное положение Австрии в политической системе Европы; это при своей должности он должен был чувствовать ежедневно, и война представлялась единственным выходом; Кобенцль поддерживал и превозносил похвалами Мака в его поспешных распоряжениях. Но в России обвиняли не Кобенцля, а русского посла в Вене графа Разумовского: зачем он не доносил своему правительству об ошибках австрийского, зачем не протестовал против перехода австрийских войск через Инн, как будто невоенный человек мог решиться протестовать против военных распоряжений, протестовать против того, к чему Россия постоянно побуждала Австрию. Сильно нарекали на заведовавшего иностранными делами в России кн. Чарторыйского; но его заподозривали вообще, как поляка, в неприязни к России; в печальном же окончании коалиции он виноват не был. Чарторыйский, оскорбленный обвинениями, написал императору Александру длинное

письмо, где, оправдывая себя, главным виновником беды выставил самого императора. По его мнению, Александр был виноват, во-первых, в том, что не послушался его совета и не вторгнулся с войском в Пруссию для восстановления Польши, а во-вторых, в том, что поехал сам к действующей армии, где его пребывание вместо пользы приносило только вред.

На первом обвинении нам останавливаться не нужно: оно показывает пункт помешательства, очень неприятный в русском министре иностранных дел. Но второе обвинение имеет за себя кажущуюся правду. Если бы, по мнению Чарторыйского, главнокомандующий Кутузов был предоставлен самому себе, не стеснялся присутствием государя, то, отличаясь прозорливостью, он стал бы избегать сражения до вступления Пруссии в коалицию. Таково было именно мнение Кутузова. В интересах Бонапарта было не терять времени, в наших интересах — длить время; он имел все причины желать решительного сражения, союзники — все причины избегать его. Надобно было утомлять неприятеля частыми битвами, не вводя в бой главные силы, идти в Венгрию и войти в сношение с нетронутыми австрийскими корпусами.

Итак, Чарторыйский указывает нам человека, по мнению которого не должно было давать сражения под Аустерлицем: этот человек был главнокомандующий Кутузов, и мнение главнокомандующего не было принято! Зачем же он после того оставался главнокомандующим? Сам император Александр оставил нам свидетельство, почему мнение главнокомандующего не было принято: «Я был молод и неопытен; Кутузов говорил мне, что нам надобно было действовать иначе, но ему следовало быть настойчивее». Вина, следовательно, заключалась в Кутузове, который ненастойчиво проводил свое мнение и тем обнаружил недостаток гражданского мужества. Рассказывали, что накануне сражения Кутузов пришел к обер-гофмаршалу графу Толстому и сказал: «Уговорите государя не давать сражения, мы его проиграем». «Мое дело знать соусы да жаркие, — отвечал Толстой. — Война — ваше дело». Этой неискренности под Аустерлицем приписывали последующее нерасположение императора к Кутузову. Но имеем ли мы право предположить у Кутузова в такой степени недостаток гражданского мужества? Действительно ли он настаивал

на своем мнении из нежелания, из страха противоречить государю, желавшему сражения?

Подобно эрцгерцогу Карлу, Кутузов не рассчитывал на успех при встрече с Наполеоном; но как не встретиться? Трудность решения этого вопроса понимал лучше других Кутузов, знавший, что в интересах Наполеона было именно дать сражение, и знавший, как трудно заставить Наполеона отказаться от своего желания в пользу врагов. Уклониться от решительной битвы, когда такой полководец, как Наполеон, ее хочет, трудно, невозможно; надобно отступить, но для этого надобно иметь план отступления, надобно знать, куда отступать, с какими средствами и какие средства можно найти в стране, куда будет направлено отступление. Отступать в Венгрию: но что такое Венгрия? Не надобно забывать, что русский главнокомандующий был в чужой стране, ходил ощупью, впотьмах; начальником штаба был у него австрийский полковник Вейнротер, потому что хорошо знал местность; австрийцы своими искусными распоряжениями уже заморили голодом русское войско в Моравии: лучше ли будет в Венгрии? И главное: хотели ли австрийцы отступления, продления войны? Они этого не хотели; они были утомлены войной во всех отношениях и так или иначе желали ее окончания; выдерживать Австрия не умела, не привыкла, народной войны боялась; в 1797 году в подобном же положении австрийский министр Коллоредо произнес знаменитые слова: «Победоносному врагу зажму я рот одной провинцией, но народ вооружить — значит трон низвергнуть».

Австрийцы желали решительного сражения и надеялись на его успех: действия русских войск при Дюрренштейне и Шёнграбене служили основанием этой надежде. Но теперь легко представить положение императора Александра, русского главнокомандующего и всех русских: австрийцы желают сражения; русские, пришедшие к ним на помощь, русские, знаменитые своей храбростью, вдруг станут уклоняться от битвы, требовать отступления, обнаружат трусость пред Наполеоном! Всякий должен чувствовать, что в таком положении ничего подобного нельзя было требовать от Александра и окружавших его; нельзя было требовать от них ни малейшего сомнения, колебания и здесь, в этом положении пред австрийцами, желающими сражения, основание того воинственного задора, за который так щедро теперь

упрекают императора Александра и его приближенных. Всякий должен чувствовать, что Кутузов также не мог настаивать на уклонении от сражения, на отступлении, ибо видел, что на устах каждого русского готовый ответ: «Да ведь это позор для нас; и войско упадет духом, если заставить его отступить». Наконец, надобно прибавить и сильную физическую причину, заставлявшую спешить сражением: голод. Есть известие, что солдаты по два дня не ели, что на обеде у императора один жареный гусь подавался на 20 человек.

Но писателям историй непременно надобно было найти одного какого-нибудь человека и сложить на него вину Аустерлица. Под руку попался им генерал-адъютант императора Александра князь Петр Петрович Долгорукий, который пред сражением был отправлен к Наполеону для переговоров. Князь Долгорукий обвинен в том, что держал себя гордо пред Наполеоном, раздражал его, отнял всякую возможность к дальнейшим переговорам. Но для Наполеона были горды, раздражали его и Колычев, и Морков; его могли не раздражать только люди, пресмыкавшиеся пред ним, уступавшие всем его требованиям, доступные обаянию его звонких, пестрых речей. Князь Долгорукий не позволил себе ничего более, кроме предложения условий, изменять которые не имел никакого права. Разговор его с Наполеоном для нас важен потому, что в нем обнаружилось все различие во взгляде между соперниками. Наполеон не мог или не хотел понять, чтобы русский государь мог вести войну за независимость держав, за восстановление политического равновесия в Европе, нарушенного захватами Франции; не хотел допустить, чтобы русский государь владел той широтой взгляда, по которой он должен был предупреждать опасность, какую Восточной Европе, России грозило образование империи Карла Великого на Западе Европы. Наполеон привык иметь дело с державами, для которых первый и последний вопрос был: «Что мне тут взять? Что мне за это дадут?» Он предполагал то же самое и в побуждениях Александра.

«Зачем мы ведем войну; какие существуют могущественные причины, заставляющие Францию и Россию драться друг с другом? Я этого не понимаю» — вот слова, которыми Наполеон встретил Долгорукого. «Целый свет знает эти причины, их повторять не нужно», — отвечал Долгорукий.

Наполеон: Нет ничего легче, как восстановить согласие между мной и императором Александром: хочет он Валахии? Стоит ему только об этом вымолвить слово, и дело будет улажено.

Долгорукий: У императора Александра достаточно земель, и он намерен охранять целостность Порты; у него другие цели: восстановление равновесия в Европе, независимость Голландии и Швейцарии.

Наполеон: Разве эти страны не независимы? У меня нет ни одного солдата в Швейцарии; впрочем, все это можно уладить.

Долгорукий: Восстановление короля Сардинского...

Наполеон: Король Сардинский — мой личный враг; я не могу терпеть его в Италии; впрочем, можно согласиться вознаградить его где-нибудь в другом месте.

Долгорукий: Однако ваше величество обещали это в заключенном с Россией договоре?

Наполеон: Но под каким условием это было обещано? Чтоб император Александр помог мне ограничить морское владычество англичан. Россия не сдержала своего слова, и я свободен от своего... Итак, мы будем драться.

Наполеон долго хвалился аустерлицким солнцем, оно сияло ему до самого московского зари. Для Александра с Аустерлица начинается ряд тяжелых испытаний в продолжение почти семи лет.

IV. ВТОРАЯ КОАЛИЦИЯ

Неизвестно, что намеревались делать в австрийском лагере в случае удачи сражения, но очевидно, что в случае неудачи было решено покончить войну на каких бы то ни было условиях. На другой день после Аустерлицкой битвы император Франц послал уже с мирными предложениями к Наполеону, императора Александра он просил позволить ему заключить мир. «Делайте, как хотите, — отвечал Александр. — Только не вмешивайте меня ни под каким видом». На следующий день, 22 ноября, произошло личное свидание между Францем и Наполеоном, которому прежде всего нужно было не только разорвать коалицию в настоящем, но и предупредить возможность ее в будущем: он потребовал, чтобы русское войско вышло немедленно из австрийских владений, причем внушал Францу, что странно было бы для Австрии соединиться с Россией, которая одна может вести войну по прихотям своей фантазии; после поражения русское войско спокойно возвратится в свои степи, а союзник поплатится областями.

Русское войско ушло, Австрия поплатилась. От нее потребовали, чтобы она отдала Франции Венецию и венецианские области на твердой земле, признала Наполеона королем Италии; Тироль, который справедливо сравнивают с громадной естественной крепостью, имеющей великое значение для того, кто ею владеет, — Тироль с Форарльбергом Австрия должна была уступить Баварии, другие владения свои в областях Верхнего Дуная и Рейна должна была уступить Виртембергу и Бадену, должна была, таким образом, заплатить всем этим германским владениям за союз их с Наполеоном против нее, лишилась всего 1.114 квадратных миль и 2.784.000 жителей.

У Австрии, впрочем, был доброжелатель подле Наполеона, составитель широких политических планов, знаменитый французский министр иностранных дел Талейран. После Аустерлица он написал Наполеону: «В воле вашего величества теперь или разбить Австрийскую монархию, или восстановить ее. Существование этой монархии в ее массе (*dans sa masse*) необходимо для будущего благоденствия цивилизованных народов; умоляю ваше величество

перечитать проект, который я имел честь отправить вам из Страсбурга». По этому проекту Австрия должна была лишиться и Венеции, и Тироля, и швабских земель, но должна была получить вознаграждение. Впервые по плану Талейрана Австрия возводилась в дунайское государство — чин, которым ее жалуют и теперь, желая, чтобы она скорее убралась из Германии, и в то же время считая ее необходимой для будущего благоденствия цивилизованных народов. Талейран отдавал Австрии Сербию, Молдавию, Бессарабию и северную часть Болгарии. А почему Талейран считал Австрию как дунайское государство необходимой для будущего благоденствия цивилизованных народов, это вытекало из того, что самая опасная соперница Франции, а следовательно, самый опасный враг цивилизации была Россия, которая рано или поздно должна была завоевать Турцию; поэтому надобно вдвинуть между Россией и Турцией Австрию, которая, таким образом, станет соперницей России, союзницей Франции и обеспечит Порте безопасность и долгое будущее. Англия не найдет более союзников на континенте, а если и найдет, то бесполезных; русские, запертые в своих степях, бросятся на Южную Азию, там столкнутся с англичанами, и вместо настоящего союза произойдет между ними вражда.

Талейран прежде всего желал обеспечения для Франции существующего порядка, столь и для него самого выгодного; поэтому, естественно, он желал, чтобы новая Франция приобрела для себя в Европе друзей, а не врагов только, и самой возможной союзницей по соображениям настоящего и прошедшего казалась ему Австрия, особенно когда отнималось яблоко раздора — Италия. Талейран хотел сказать: довольно будет с нас, пора перестать приобретать, надобно заняться упрочением приобретенного, но говорить это Наполеону значило говорить глухому. Наполеон был человек борьбы и без борьбы существовать не мог; богатырь только что расходился, ему нужны были враги для борьбы, а не друзья, не союзники постоянные. Он старался заключать союзы то с тем, то с другим государством, но для того, чтобы в известное время, перед борьбой, ослабить, разорвав союз, против него направленный, все это было на время только, для удобства борьбы; мысль о чем-нибудь постоянном, прочном, об окончании, успокоении была ему противна; в талейрановских планах и внушениях слышалось ему *memento mori* (помни о смерти. — Примеч.

ред.). Здесь начало разлада между ним и Талейраном, который своими широкими планами становился в его глазах причастным греху непростительному: грех этот Наполеон называл идеологией; другое дело обещать, показать красивую приманку в будущем, чтобы заставить согласиться на требования в настоящем; и Наполеон позволяет Талейрану при переговорах с австрийскими уполномоченными обещать им земли по Нижнему Дунаю, даже земли от Пруссии, которая должна получить Ганновер, если только они заключат как можно скорее мир на требуемых условиях.

Но удочка была закинута понапрасну: у австрийского правительства уже составилось убеждение, что «Турецкая империя во всей своей целостности необходима для будущего благоденствия цивилизованных народов», что надобно всеми силами защищать драгоценное владычество османов на Балканском полуострове от посягновений России, а теперь заставляют саму Австрию посягнуть на целостность владений Порты и навлечь на себя вражду России. Напуганные австрийцы отвечали, что никак не могут на это согласиться, ибо следствием будет разрыв Австрии с Россией. Тщетно Талейран уверял, что опасности никакой нет, что Франция гарантирует будущие нижнедунайские владения Австрии; тщетно заявлял, как он, Талейран, стоит за союз Франции с Австрией, как он говорил Наполеону: мы будем воевать с Австрией, а кончим союзом с ней. «Спешите заключением мира, — говорил Талейран, — у Наполеона приходит аппетит в то время, как он ест». Австрийские уполномоченные не соглашались; они тянули время в надежде на Пруссию, которая своим грозным положением могла бы сдерживать требовательность Наполеона; но когда эта надежда исчезла, австрийцы принуждены были согласиться на все требования с французской стороны и заключить мир в Пресбурге 14(26) декабря 1805 года.

Посылка Гаугвица с мирными условиями и с объявлением войны в случае их непринятия императором французов уже показывала, что в действиях Пруссии не будет ничего решительного. Гаугвиц, верный представитель короля, поехал не затем, чтобы вовлечь немедленно Пруссию в войну с победителем, каким был Наполеон и до Аустерлица; Гаугвицу прежде всего хотелось выждать, как пойдет дело, и по этому ходу располагать свои действия. Фридрих-Вильгельм боялся войны и в случае победы Наполеона, и в случае победы

союзников, которые, приписывая одним себе весь успех дела, возьмут себе львиную часть; Гаугвиц боялся войны в том и другом случае, да еще боялся Фридриха-Вильгельма. От этого страха образ его действий совершенно совпадал с образом действий Наполеона, которому нужно было протянуть время, не доходить с прусским уполномоченным до решительных объяснений, не допустить, таким образом, коалиции до полноты и, пользуясь этой неполнотой, разбить союзников, принудить Австрию к миру и тогда уже легко разделаться с одной Пруссией так или иначе. Гаугвиц не очень торопился сбором в дорогу, не очень торопился и в дороге. В Праге получил он известие о дюрренштейнской резне и поспешил в письме к королю ослабить впечатление, какое это дело могло произвести: «хотя русское войско и отличилось, но все же оно принуждено отступить»; Гаугвиц поддерживал в короле страх перед Наполеоном или, лучше сказать, подлаживался под этот страх; он писал: «Напрасно обвиняют великого полководца, зачем он от Рейна прорвался к границе Венгрии, где предстоит ему опасность быть отрезанным и уничтоженным; он не пойдет в Венгрию, ибо знает трудности похода в этой стране; он идет за врагами в Моравию, и если неприятельское войско отступит, то он вторгнется в Силезию и по течению Одера откроет себе дорогу через прусские владения, где не встретит сопротивления, ибо прусское войско рассеяно на обширном пространстве от Майна до Лузации».

Этим внушением Гаугвиц заранее оправдывал свое намерение не торопиться решительным объяснением с Наполеоном, чтобы не подвергнуть Пруссию опасности в случае победы французов или отступления русских в Венгрию. Король, разумеется, заранее был согласен со своим любимым министром. Тщетно император Александр писал ему с жалобами на медленность Гаугвица; тщетно льстил по поводу стойкости прусского войска: «Мы не недостойны иметь союзником государя, у которого такое знаменитое войско, как ваше», — все напрасно; король отвечал, что занимается собиранием войска в ожидании исхода переговоров графа Гаугвица, который прибыл наконец в Брюнн к Наполеону, употребивши 14 дней на проезд из Берлина в этот город. Разумеется, он предложил посредничество Пруссии, но не заявил ничего решительного; Наполеон отправил его в Вену к Талейрану: тот рассыпался перед ним в учтивостях, и Гаугвиц очень приятно провел время в ожидании, чем кончится дело в

Моравии. Дело кончилось Аустерлицем, и, когда Наполеон возвратился оттуда в Вену, Гаугвиц явился поздравить его с победой. Наполеон принадлежал к тем людям, которых успех не смягчает. У него сильно кипело на сердце, страшно хотелось распечь Гаугвица, то есть правительство прусское: как оно осмелилось оскорбиться нарушением нейтралитета с его стороны; как оно осмелилось стать в отношении к нему в грозное положение, предлагать ему мирные условия; как осмелилось дать увлечь себя так называемым патриотам и под влиянием царя подписать Потсдамский договор. Но с другой стороны, мир с Австрией еще не был заключен, разрыв с Пруссией мог повести к восстановлению тройной коалиции, тогда как теперь представлялся удобный случай уничтожить возможность подобной коалиции на будущее время: Пруссия, испуганная Аустерлицем, не полагаясь более ни на Россию, ни на Австрию, одинокая, согласится на союз с Францией, закабалит себя за Ганновер и останется навсегда в рабстве, ибо за Ганновер перессорится со всеми. Если же и теперь окажется колебание, станет опять толковать о нейтралитете, то надобно раздавить ее как можно скорее, ибо никто за нее не заступится; Австрия, заключивши мир, не начнет вдруг новой войны, у России в свежей памяти Аустерлиц.

В Шёнбруннском дворце, где жил Наполеон, в кабинете знаменитой императрицы-королевы Марии-Терезии, Наполеон принял Гаугвица, принял ласково. Гаугвиц, человек хороший, мягкий, уступчивый, все говорит, что он предан Франции; он еще недавно пострадал за это, получив оскорбительно-холодный прием от императора Александра; какое теперь торжество для него получить совершенно другой прием от аустерлицкого победителя! Но видно было, что Наполеон, лаская Гаугвица, насилу сдерживался, — и вдруг переход к королю: «Почетнее было бы для вашего государя прямо объявить мне войну; он бы этим услужил своим новым союзникам; я бы дважды подумал прежде, чем дать сражение. Но вы хотите быть союзниками целого света — так нельзя: надобно выбирать между ними и мною. Будьте со мной искренни, или я с вами расстанусь. Я предпочитаю открытых врагов ложным друзьям. Я бы мог отметить вам, занять Силезию, поднять Польшу и нанести Пруссии такие удары, от которых она никогда бы не оправилась. Но я хочу забыть прошлое и явиться великодушным; я прощаю за минутное увлечение, но с одним

условием: чтоб Пруссия соединилась с Францией самым тесным и неразрывным союзом и взяла Ганновер». Гаугвиц был смущен этим предложением, зная, что оно не понравится королю; стал отговариваться неимением инструкций, но Наполеон стоял на своем: или союз и Ганновер, или война, — и тут же новые ласки относительно Гаугвица. Ласки не помогли бы, если бы, с другой стороны, не велено было внушать Гаугвицу как будто под величайшим секретом, что уже все готово для прусской кампании, что французские войска двинутся на Силезию.

Но мы видели, что Гаугвиц именно этого и боялся. Он решился подписать союзный договор (15 декабря н. ст.): Франция передавала все свои права на Ганновер Пруссии, которая за то уступала Аншпах в пользу Баварии, а княжество Невшательское — прямо Франции. Король мог не утвердить договора, а между тем время было выиграно. Пруссия была избавлена от внезапного нашествия. Но дело в том, что заключением этого союза между Пруссией и Францией отнята была всякая надежда у Австрии на возможность продолжать войну или получить лучшие условия мира, и если Аустерлицкое сражение имело такие решительные следствия, заставило Австрию заключить такой тяжелый для нее мир и поставило очень скоро Пруссию в еще более тяжелое положение, так виной всему этому, разумеется, была прусская политика, представителем которой был Гаугвиц, верный носитель королевских мыслей и взглядов, — политика, благодаря которой коалиция оказалась неполной, что именно и нужно было для успехов Наполеона. С прусской стороны явились упреки русскому и австрийскому императорам, зачем они решились на битву, не дождавшись срока, назначенного королем Фридрихом-Вильгельмом (именно 15 декабря н. ст.) для движения прусской армии против французов, если бы Наполеон не принял мирных условий, отправленных к нему с Гаугвицем. Но могли ли императоры Александр и Франц рассчитывать на какие-нибудь сроки, видя со стороны Гаугвица медленность и бездействие?

И о событиях после сражения не следовало с прусской стороны высказывать таких заключений: «Положение дел вовсе не было отчаянным. Перемирие могло быть нужным, можно было начать переговоры, причем граф Гаугвиц явился бы посредником; император Александр должен был внушить мужество императору Францу,

удержать короля Фридриха-Вильгельма при трактате 3 ноября, ускорить военные движения Пруссии». Но Австрия именно и длила переговоры затем, чтобы Гаугвиц наконец явился посредником, но он не явился, а заключил союз с Францией, что и заставило Австрию отказаться от мысли о войне. Надобно было вести мирные переговоры; но если первым условием для этого было постановлено удаление русских войск из австрийских владений, то любопытно было бы знать, как император Александр мог внушать мужество императору Францу? Что касается короля Фридриха-Вильгельма, то император Александр после Аустерлица передал в его распоряжение русские войска, находившиеся в Силезии и Северной Германии, и дал обещание помогать ему всеми своими средствами, если король в них нуждается. От императора Франца явился в Берлин генерал Штуттергейм и прямо объявил, что прислан посмотреть, что сделает Пруссия; что его государь протянет мирные переговоры для узнания королевских решений: если король пожелает помочь ему, то он не подчинится слишком тяжелым условиям, но если будут медлить помощью, то это поставит в необходимость заключить мир. Помощь была замедлена, Гаугвиц заключил союз с Францией;

Австрия должна была заключить мир; коалиция рушилась.

На письмо императора Александра, предлагавшего все свои средства в помощь Пруссии, король отвечал, что принимает предложение с благодарностью, потому что имеет великую нужду в помощи при таких трудных и критических обстоятельствах. Гарденберг на конференции с Алопеусом объявил, что король очень рассчитывает на помощь русского войска, но войска этого, находящегося в Силезии и Северной Германии, мало, так что оно не может уравновесить прусские силы с французскими; полагаться же на австрийцев было бы непростительной мечтой после неоднократных опытов: союзник слабый всегда служит не помощью, а бременем, Австрия же представила доказательства своей слабости, чтобы не сказать хуже, сообщивши Бонапарту Потсдамский договор, и генерал Штуттергейм говорил о союзе между Австрией и Францией как о деле возможном. Когда Алопеус спросил: «В случае возобновления войны признает ли прусский король случай союза (*casus foederis*), вытекающий из Потсдамского договора?» — то Гарденберг отвечал, что король не откажется от своих обязательств, основанных на союзе и

совершенном согласии с петербургским двором, но вследствие всего случившегося обязательства Потсдамского договора нуждаются в больших изменениях, о которых с прусской стороны всегда готовы войти в соглашения с величайшим доверием.

Еще только новые соглашения! Но прежде чем эти новые соглашения могли начаться, приехал граф Гаугвиц с подписанным им договором оборонительного и наступательного союза между Пруссией и Францией. Несколько дней совещались о судьбе этого удивительным образом рожденного ребенка; наконец решили усыновить его; король ратифицировал договор только с некоторыми объяснениями и ограничениями: король соглашался на один оборонительный союз, а не наступательный. Потом в объяснительной записке говорилось, что обязательства Пруссии по этому договору начнутся только с той минуты, когда мир с Австрией утвердит уступки этого двора, а мир с Англией утвердит приобретение Ганновера Пруссией, но в ожидании этих миров и утверждений прусский король вступает во владение Ганновером и отвечает Франции за спокойствие Северной Германии. И только когда Ганновер сделается собственностью короля вследствие мира между Францией и Англией, Пруссия немедленно сделает со своей стороны уступки, обозначенные в договоре. Неизменным осталось условие договора, по которому Франция и Пруссия гарантировали независимость и целостность Оттоманской империи, — условие, служившее Наполеону верным средством посорить Пруссию с Россией, у которой уже начинались враждебные отношения к Турции. Гарденберг упрекал своего соперника Гаугвица, зачем он заключил такой невыгодный для Пруссии союзный договор с Францией: уже если хотели вступить в союз с Францией, то, по его мнению, надобно было сделать это посильнее и совершенно предаться этой системе. Но Гаугвиц, которого посылали опять к Наполеону с утвержденным договором и объяснительной запиской, Гаугвиц обещал королю, что он доставит ему еще важные выгоды кроме Ганновера: следствием Пресбургского мира должно быть переустройство Германской империи; Южная Германия с ослаблением Австрии отойдет под заведование Франции; можно на это согласиться, с тем чтобы Северная Германия отошла к Пруссии, чтобы прусский король был провозглашен императором Северной Германии.

Итак, с Францией у Пруссии союз; какие же будут у последней отношения к России, которая продолжает быть в войне с Францией?

Говорили, что император Александр возвратился после Аустерлица более побежденный, чем его армия; он считал себя бесполезным для своего народа, потому что не имел способностей начальствовать войсками, и это его чрезвычайно печалило. Это известие, которого мы не имеем права отвергать по неимению других, более верных, которые бы ему противоречили, это известие показывает нам значение Аустерлица: важно было для императора Александра освободиться от мнения о своих военных способностях, важно было для него и для всех русских освободиться от мнения о возможности легко управиться с Наполеоном — мнения, основанного на том, что он не имел дела с русскими, которые с Суворовым били французов. Для государя и народа важно было освободиться от неправильного мнения о своих средствах и средствах противника, ибо это освобождение даст возможность заняться исканием других средств к борьбе. Долго горевать о прошлом было нельзя, ибо надобно было поскорее думать о будущем, и, к счастью, оказалось, что Александр не был способен долго горевать.

Аустерлиц имел еще то значение, что теперь трудно уже было толковать, что Россия по своему положению может быть безопасна от наполеоновского властолюбия. Австрия, показав свое бессилие, принуждена заключить мир на всей воле победителя и, разумеется, не выйдет из этой воли по крайней мере долго; Пруссия ведет тайком какие-то подозрительные переговоры с Францией. Французское войско стояло недалеко от Польши, и Наполеон уже проговорил роковое слово о ее поднятии. С другой стороны, Наполеон стремится овладеть восточными берегами Адриатического моря, стать соседом Турции. Теперь дело идет уже не о поддержании политического равновесия Европы только — идет дело о непосредственных интересах России, встают вопросы Польский и Восточный. В Совете, собранном с целью определить положение и будущую деятельность России, прямо высказывают убеждение, что Наполеон занимается восстановлением Польши, что ему легко уговорить Пруссию уступить свою долю польских областей за Ганновер и шведскую Померанию и ничего не стоит возмутить Галицию, недовольную австрийским правительством;

кроме того, с уничтожением могущества Австрии Бонапарт должен получить сильное влияние на Порту.

В Петербурге угадывали план Талейрана или знали о нем. По мнению князя А. Б. Куракина, «представлялось предположение, что может Бонапарт для удовлетворения Австрии за области, которые, вероятно, ему пожертвованы будут, захотеть принудить Порту уступить ей некоторую часть ее европейских владений; и как сие не иначе бы совершилось, как с положительным обещанием Австрии ему подвластной пребыть, то сие событие столь же бы мало сообразовалось с пользами России, как вероятная уступка Австрии владимой ее части бывшей Венецианской республики к новому королевству Италийскому; ибо Бонапарт, быв обладателем оногo, получит чрез то способ над Адриатическим морем господствовать и Порту в непресекающемся опасении и страхе содержать». По мнению Куракина, неисчислимы были способы, которыми Франция могла вредить России и весь внутренний состав ее изнурять, и потому он советовал предложить Наполеону союз, с тем чтобы он не позволял себе дальнейшего расширения своих владений, то есть советовал повторить то, что уже оказалось совершенно бесполезным. Другие члены Совета также указывали на опасности от Франции со стороны Польши; третьи обращали особенное внимание на Турцию; одни советовали войти в сношение с Наполеоном, другие считали это недостойным или ненужным. В последнем отношении замечательны слова графа Н. П. Румянцева: «Будучи тверд в правилах, я обязываюсь и при нынешнем случае сказать, что если утверждал, что не было пользы скоропостижно выставлять военные ополчения, то и ныне в скоропостижных исканиях мира пользы я не предвижу. Если мы и при Петре Великом, и при Екатерине II-й умели сносить раны минутных неудач военных, уничтожения никогда и нигде сносить мы не умели».

Чарторыйский из всех этих мнений составил такое заключение или программу действий: 1) Россия не должна опасаться возмущения Польши, особенно по уходу французов из австрийских владений; 2) Франция чрез приобретение Далмации получила средства изменить отношения между Россией и Турцией и привести в исполнение свои виды на Порту; 3) Для противодействия этому надобно держаться союза с Англией, сохранить доверенность Турции и завязать сношения с турецкими славянами и греками; 4) Воспрепятствовать Пруссии

вступить в тесную связь с Францией и в случае надобности предложить помощь Пруссии; 5) Принять меры к разузнанию намерений Наполеона относительно России; 6) Держать наготове сухопутные и морские силы, чтобы можно было употребить их немедленно, особенно в Молдавии и Валахии, в случае движения туда Австрии или в случае войны Франции с Портой.

Система установилась, 12-го февраля 1806 года в рескрипте Разумовскому в Вену император Александр говорил: «Моя система будет состоять преимущественно в защите моих владений и государств, которые потребуют моей помощи или которых существование будет необходимо для моей безопасности». Баварский курфюрст, который согласился на брак своей дочери с пасынком Наполеона Евгением Богарне, прислал, конечно не без ведома Наполеона, просить руки сестры русского императора Екатерины Павловны для своего сына. Чарторыйский объявил секретарю баварского посольства, что независимо от других побуждений, по которым император не может согласиться на этот брак, его величество не хочет стеснять наследника баварского престола: быть может, Бонапарт назначает ему в супруги одну из своих родственниц, как он соединил принцессу Баварскую с Евгением Богарне (6 марта).

Положено было препятствовать Пруссии вступить в тесную связь с Францией. В то время как отправляли Гаугвица в Париж с ратификацией союзного договора при дополнительной записке, люди, стоящие наверху в Пруссии, говорили в один голос, что делом первой важности было сохранение дружественных отношений к России. Герцог Брауншвейгский в разговоре с Гарденбергом высказался, что он не прочь сам отправиться в Петербург. Гарденберг обрадовался и предложил об этом королю, который охотно согласился. Положение герцога как владетельного лица и уважение, которым пользовался старик, делали его способнее всякого другого успеть в деле; притом современник, беспристрастный к герцогу, барон Тарденберг признавал в нем рассудительность, ловкость, красноречие, умение скрасить дело не очень красивое. Но еще до отъезда герцог присутствовал в конференции, где было решено поставить войско на мирное положение и пригласить командующих русскими войсками, отданными в распоряжение короля, возвратиться в отечество: это было сделано на основании заявления французского посланника Лафореста в Берлине,

что, судя по выражениям полученной им депеши от Талейрана, надобно предположить, что прусские дополнительные условия приняты Наполеоном.

Относительно посольства герцога Брауншвейгского Лафорест писал Талейрану: «Герцог имеет двойную задачу — объяснить императору Александру основания системы, принимаемой Пруссией, и склонить его сделать первый шаг к сближению с Францией. Я нахожу его отлично расположенным в этом смысле и отлично инструированным. Если он будет говорить в Петербурге так, как говорил мне здесь, то он может освободить императора Александра и самых здравомыслящих людей его двора от безумных мечт и честолюбивых планов». Лафорест боялся одного — что герцог по чрезвычайной учтивости своей не станет противоречить мнениям других. О нем говорили, что он кажется всегда разделяющим мнение того, кто с ним говорит. Но Лафорест надеялся, что герцог услышит не много возражений, вследствие того что финансы России находятся в печальном положении. Император Александр взял на свою долю очень мало из английских субсидий, данных на коалицию, что страшно обременило русское государственное казначейство. Неаполитанский король пристал к коалиции; для его защиты отправлено было русское войско, которое стоило чрезвычайно дорого, а возвратилось ничего не сделавши вследствие Аустерлица.

Герцог Брауншвейгский отправился в Петербург в полной надежде, что Пруссия, союзница Франции, может остаться и в дружественных отношениях к России, которую помирит с Францией, и все будут довольны и счастливы, кроме Австрии, разумеется, что было необходимо для довольства и счастья Пруссии, 29-го января (н. ст.) 1806 года отправился герцог в Петербург, а от 8 февраля пришла из Парижа громовая депеша Гаугвица: «Наполеон, раздраженный дополнительной запиской к союзному договору, не хочет его знать». Гаугвиц упал с седьмого неба. Мы видели, с какими розовыми мечтами поехал он в Париж: убаюканный ласками Наполеона в Вене, он надеялся встретить те же ласки и в Париже и привезти оттуда своему королю титул императора Северной Германии — и вдруг слышит угрозу, что если не подпишет союзного договора, какой угодно Наполеону, то Франция заключит союз с Австрией. Но этого мало: Гаугвиц видел, что во Франции все готово к войне с Пруссией, тогда

как в последней войска были уже на мирном положении, союзные армии отпущены; Гаугвиц видел, что с Пруссией церемониться не будут по ее одиночеству; России не боятся. а в Англии умер Питт, и преемник его Фоке — за мир с Францией. Ввиду этих обстоятельств Гаугвиц поступил точно так же, как после Аустерлица: чтобы не навлечь на Пруссию немедленной, внезапной войны, дать ей время подготовиться, он заключил новый союзный договор, по которому Пруссия обязалась в одно и то же время уступить известные свои владения Наполеону и взять безусловно в свою полную собственность Ганновер именно в пятый день после обмена ратификацией договора. Король созвал конференцию: все, кроме Гарденберга, были согласны, что при настоящих обстоятельствах, при неготовности к войне необходимо ратифицировать договор; король ратифицировал и написал императору Александру (28 февраля н. ст.): «Герцог Брауншвейгский расскажет вам, как меня обманули и какие были следствия обмана. Все было бы поставлено на карту, если бы я не прибег к крайней мере. Пусть зложелательство или заблуждение клеветают на меня — я признаю только двоих судей: совесть и вас. Первый судья мне говорит, что я должен рассчитывать на второго, и этого убеждения для меня достаточно».

Горькие плоды союза оказались немедленно: по настоянию Наполеона Фридрих-Вильгельм должен был удалить министра Гарденберга, которого император французов считал враждебным себе. Завладение Ганновером повело к войне Пруссии с Англией около ста прусских кораблей было захвачено в английских гаванях, прусские гавани объявлены были в блокаде. Фоке сказал прусскому посланнику в Лондоне ужасные слова: «Пруссия становится соучастницей бонапартовских притеснений. Нельзя смотреть на такие обмены иначе как на воровство. Другое дело завоевать, и другое дело овладеть без сопротивления».

С нетерпением ждали, что скажет один из судей. Герцог Брауншвейгский приехал в Петербург 7(19) февраля и был принят императором чрезвычайно ласково. Еще не было известно, как был принят Гаугвиц в Париже; еще герцог Брауншвейгский передавал убеждение прусского правительства, что Наполеон ратифицирует договор с прусскими ограничениями, а император Александр уже указывал герцогу, что на эту ратификацию нельзя полагаться;

указывал, что французские войска еще не очистили Германии и не видно, чтобы скоро это сделали. «России, — говорил Александр, — не нужно искать мира; если мириться, так надобно, чтоб мир был честный и приличный, а я ни из чего не вижу, чтоб он мог быть таким; у меня нет даже и данных, по которым я мог бы заключить, что Франция хочет со мной сблизиться». При разборе статей франко-прусского договора Александр одобрил статью о гарантии целостности турецких владений, но сказал: «Я сам ее гарантирую; система Екатерины II относительно Востока совершенно оставлена; я друг Порты и хочу ее поддерживать, но я предвижу, что этой статьей Франция хочет поссорить меня с Пруссией». Относительно овладения Ганновером император спросил герцога: «Если Пруссия и Франция увеличивают свои владения, то не находите ли вы, что и России следует также увеличиться?» Когда пришло известие о новом франко-прусском союзном договоре, когда пришло письмо короля с обращением к двоим судьям, один из этих судей не оказался строгим; герцог Брауншвейгский привез королю письмо от императора.

«Самый тесный союз между Россией и Пруссией, — писал Александр, — кажется мне более чем когда-либо необходимым, и это в то же время — самое дорогое желание моего сердца. В минуту опасности ваше величество должны помнить, что имеете во мне друга, готового лететь к вам на помощь». Но в Берлине хотели помощи особого рода: прежде всего хотели, чтобы Россия вела себя как можно тише, как можно бескорыстнее, не делала бы ничего такого, чтобы снова воспламенило войну. Так, русское войско во время последней войны заняло с согласия австрийцев важное место на Адриатическом море, Бокка-ди-Каттаро; Наполеон требовал, чтобы Австрия заставила Россию очистить эту гавань как принадлежавшую к Далмации, уступленной ему по Пресбургскому миру, грозя в противном случае войной; и Пруссия подкрепляет требования Австрии в Петербурге об очищении Бокка-ди-Каттаро. Потом Пруссия требовала, чтобы Россия помирила ее с Англией; из Петербурга отвечают, что это дело возможно, если Пруссия объявит, что взяла Ганновер на время; но Пруссия никак не хочет этого объявить, представляя, что Ганновер для нее необходим, что она не хочет уступить его английскому королю. Как легко было России предлагать английскому правительству уступку Ганновера Пруссии навеки, можно было видеть из донесения

Воронцова императору Александру о своем разговоре с королем Георгом III-м, который приписывал неудачу австро-русской коалиции лживому, двоедушному и неполитичному поведению Пруссии и произнес пророческие слова о последствиях такой политики: «Это двоедушие Пруссии будет наказано, ибо, потерявши всякое уважение, она потеряла и независимость свою и кончит тем, что будет опозорена этим самым Бонапартом: он будет обходиться с ней, как с Баварией, Вюртембергом, Баденом и Голландией».

Во время этих сношений с Пруссией в России произошла важная перемена: Чарторыйский просил уволить его от заведования иностранными делами и получил увольнение. В письмах к императору он жаловался, что Александр хочет все делать сам: жаловался, что император переменял политику, которая должна быть энергическая, решительная. При внимательном изучении русской полигики описываемого времени мы не можем понять этого обвинения, если не предположим, что Чарторыйский не переставал иметь в виду решительности действий России для восстановления Польши; и действительно, он не переставал утверждать, что вся неудача австро-русской коалиции произошла оттого, что Россия не разгромила Пруссии точно так же, как Бонапарт разгромил Австрию. Но мы видели свидетельство Штуттергейма, как сам Чарторыйский помог ему убедить императора не делать этого. Скажут: зачем же верить Штуттергейму, а не верить Чарторыйскому? Но трудно предпочесть свидетельство Чарторыйского, который после своего увольнения писал Гарденбергу: «Со дня моего вступления в министерство я был постоянно одушевлен желанием соединения Пруссии с Россией; в этом союзе, по моему мнению, самое верное средство спасения Европы». Чарторыйский был заменен бароном Будбергом, о котором говорили, что он катеринствует, и этот отзыв показывал, что император, избирая такого человека, намерен вести внешние дела, как требовало достоинство России, как велись они при знаменитой бабке. Прусский посланник в Петербурге Гольц боялся поэтому, что русский двор станет принимать теперь слишком быстрые и смелые решения, но он скоро успокоился и писал, что та же осторожность и умеренность, которые характеризовали министерство князя Чарторыйского, отличают и поведение барона Будберга, взгляды которого в некоторых

отношениях еще более выгодны для Пруссии, чем взгляды его предшественника.

Наконец между Россией и Пруссией заключен был договор при посредничестве Алопеуса и Гарденберга. Последний тайком вел сношения с Россией, потому что здесь не хотели иметь дело с Гаугвицем. Прусский король обязался: 1) что союз Пруссии с Францией не будет вредить союзному прусско-русскому трактату 1800 года; 2) Пруссия не соединится с Францией против России ни в том случае, когда между ними начнется война вследствие столкновения в Турции (если Франция нападет на Турцию или если Россия вооружится против Турции за несоблюдение договоров), ни в том случае, когда Россия вступится за Австрию вследствие нарушения Францией Пресбургского мира; 3) Пруссия гарантирует вместе с Россией независимость и целостность Оттоманской Порты, владения австрийского дома, как они определены Пресбургским договором. Северной Германии и Дании; 4) гарантирует и владения короля Шведского, если русский император склонит его к умеренности; 5) Пруссия употребит все старания, чтобы французские войска вышли из Германии как можно скорее; 6) употребит все влияние для поддержания коммерческих сношений на Севере Германии, как они были до занятия Ганновера; 7) когда споры со Швецией кончатся к удовольствию Пруссии, то последняя займется необходимыми средствами, чтобы выставить свою армию в страшном виде. Эти обязательства или — по крайней мере форма их — не понравилась Будбергу; он сделал замечание Алопеусу, зачем он допустил такие неопределенные выражения, ибо на Пруссию полагаться нельзя. Русские обязательства заключались в следующем: 1) употреблять постоянно большую часть своих сил на защиту Европы и все свои силы на поддержание независимости и целостности государства Прусского; 2) продолжать систему бескорыстия относительно всех государств Европы; 3) сохранять в глубокой тайне обязательства, принятые прусским королем. Император Александр подписал свои обязательства 12-го июля, и Гольц писал Гарденбергу: «Поздравляю короля с принятием решения, которое среди всех противоречий и опасностей настоящего положения дел, скрепляя его отношения с лучшим из союзников и друзей, доставляет ему наперед роль, способную поддержать достоинство, славу и безопасность его короны.

Шаткость, с какой граф Гаугвиц держит прусские интересы, не может долго продержаться; мы уже потеряли доверие наших союзников, пора его восстановить; мы не можем рассчитывать на Францию, она не может быть другом никому, но Россия не требует, чтоб мы разрывали с нею, и в случае неизбежной войны мы будем иметь по крайней мере друга, который нам поможет от всего сердца и души».

Война, которой так не хотели, которой так боялись в Пруссии, произошла из мирных переговоров, которых так желали там. Мы упоминали о смерти Питта; преемник его Фоке уже из одной последовательности своей системе должен был начать мирные переговоры с Францией, будучи изначала поборником мира. Наполеон как на войне, так и в мирных переговорах следовал одному правилу — делить противников, бить их поодиночке на войне и заключать с ними отдельные миры. Понятно, что благоразумие должно было внушить противникам завоевателя правило не разлучаться ни на войне, ни в мирных переговорах, и Фоке объявил, что не станет вести переговоров отдельно от России. Но прежде чем начались серьезные переговоры, Наполеон спешил распорядиться в Германии, Италии, Голландии, чтобы закрепить эти распоряжения в мирном договоре. Бавария и Вюртемберг сделаны королевствами; Баден — великим герцогством; баварский король Макс-Иосиф был пожалован Тиродем, Аншпахом и Аугсбургом и, как уже было упомянуто, выдал дочь свою за пасынка Наполеона Евгения Богарне. Из взятого у Пруссии Клеве и у Баварии Берга сделано великое герцогство для Мюрата, мужа сестры Наполеона Каролины. Батавская республика была приневолена просить себе государя из фамилии императора французов, и этим государем сделан брат Наполеона Людовик с титулом короля Голландского.

Мы видели, что Неаполь пристал к коалиции; вследствие этого на другой день по заключении Пресбургского мира издан был императором французов декрет: «Династия Бурбонов в Неаполе перестала царствовать». Отставленная таким образом династия переселилась в Сицилию, и королем Неаполитанским был назначен брат Наполеона Иосиф. Южная Германия была уже давно в действительной зависимости от Франции, но после Пресбургского мира и прусского союза Наполеон увидел возможность устроить и формальную зависимость ее. Бавария, Вюртемберг, Баден, Дармштадт,

Клеве-Берг, Нассау образовали Рейнский союз, протектором которого был провозглашен император французов; по требованию протектора союз был обязан выставить 63.000 войска. Священная Римско-Германская империя рушилась; по требованию Наполеона император Франц сложил с себя титул императора Германского и из Франца II-го стал Францем I-м, императором Австрийским. Что права протектора не ограничивались правом брать 63.000 войска, что протекторство тяжело чувствовалось внутри Рейнского союза, видно из следующего происшествия: появилась книжка под заглавием «Германия в своем глубочайшем унижении», — книжка, направленная против французского ига. Нюрнбергский книгопродавец Пальм был обвинен в распространении этой книжки и приговорен к смертной казни.

Австрия молчала: ей было не до того. Мы упоминали, что Наполеон, основываясь на Пресбургском договоре, требовал Бокка-ди-Каттаро себе и настаивал, чтобы Австрия каким бы то ни было средством взяла его у России и передала Франции. Грозила война или с Францией, или с Россией. «Конечно, было бы несчастьем для государства, — писал эрцгерцог Карл, — если бы пришлось воевать с тем или другим из обоих колоссов. Многочисленные войска обоих стоят на наших границах; первые неприятельские действия внесут войну в сердце австрийских владений, вследствие чего часть наследственных земель будет опустошена и завоевана, прежде чем мы будем в состоянии собрать в Венгрии армию, да и та будет во всем нуждаться. Впрочем, если уже выбирать из двух зол, то война с Францией представляет бесконечно опаснейшие результаты, чем война с Россией. Новая война с Францией будет смертным приговором для Австрийской монархии, тогда как в случае войны с Россией Галиция была бы немедленно опустошена и помощь Наполеона была бы куплена обременением уже истощенных провинций, да и мир был бы заключен не иначе как под диктатурой Франции. Но русских можно побить, и Австрийская империя не погибнет безвозвратно: потому Россия менее опасна, чем Франция».

В министерстве произошла перемена: вместо Кобенцля заступил Стадион. Новый министр внушал более уважения, доверяя своей серьезностью, но относительно политических взглядов не разнился от своего предместника: то же убеждение в необходимости русского союза, то же убеждение, что союз с Францией будет союзом только по

имени, а на самом деле будет подданством. Весть о мирных переговорах между Россией и Англией с Францией произвела в Вене большую радость, ибо посредством них могло уладиться грозившее такой опасностью дело о Каттаро; мир, хотя был бы перемирием, мог дать передышку, возможность собраться с силами для будущего; наконец, Россия при сближении с Францией могла выговорить некоторые выгодные условия для Австрии.

Для мирных переговоров со стороны России назначен был статский советник Убри, знавший людей и отношения их во Франции. Более значительного человека назначить не могли, ибо это унизило бы достоинство России: переговоры должны были вестись в Париже без всякого предложения со стороны Франции; да и Убри ехал в Париж вовсе не как уполномоченный для ведения мирных переговоров: он должен был сначала отправиться в Вену с поручением к русскому послу там, графу Разумовскому, и уже из Вены ехать в Париж под предлогом переговоров с французским правительством о русских пленных и доставлении им денежной помощи. Из инструкции, данной Убри, мы видим, что в Петербурге в описываемое время главное внимание было обращено на отношения Франции к Турции вследствие приближения французских владений к владениям Порты по Пресбургскому миру и после занятия неаполитанских владений французами. Для России важно было, с одной стороны, как-нибудь воспрепятствовать этому приближению или чрез восстановление неаполитанского короля, или чрез очищение французами Далмации, или чрез образование независимых владений между Италией и Турцией; с другой стороны, важно было удержать за собой какой-нибудь пункт между Италией и Турцией. Поэтому Убри не должен был принимать никаких условий, которые препятствовали бы России содержать гарнизон в Корфу либо давали Франции право ослаблять обязательства, принятые Портой в отношении к России. Убри мог согласиться на признание императорского титула для Наполеона, если бы Франция купила это признание уступкой Сицилии королю Неаполитанскому, очищением всей или части Далмации и согласием на образование отдельных владений между Турцией и Италией. Все прочие распоряжения Бонапарта Убри мог признать только в том случае, если бы Наполеон согласился на восстановление короля

Неаполитанского и образование самостоятельного владения для короля Сардинского.

Мы видели, что Россия не соглашалась хлопотать в Англии за Пруссию, чтобы последней был уступлен Ганновер, и в обязательствах между Россией и Пруссией об этом не было упомянуто. Тем более теперь, чтобы не порозниться с Англией при ведении мирных переговоров, Убри запрещено было подписывать условия, утверждавшие какой-нибудь земельный обмен между Францией и Пруссией во вред курфюрсту Ганноверскому и стеснения торговли Северной Германии, особенно же Дании и Швеции. Убри должен был вести переговоры вместе с английским уполномоченным; отдельный мир он мог заключить только в случае, если бы договор заключал в себе чрезвычайно крупные выгоды для России и вместе мог служить к непосредственному соглашению между Россией, Англией и Францией. Убри отправлялся еще при Чарторыйском; мы не знаем, какие внушения были ему сделаны министром, по крайней мере Убри уверял в Вене, что ему велено обращать постоянное внимание на интересы Австрии.

Сильный протест против мира послышался со стороны человека, который давно уже укрепил в себе основное убеждение, что не может быть мира с корсиканцем. «Великий Боже! — писал граф Семен Воронцов Новосильцеву, — возможно ли, чтоб пример монархий Французской, Испанской, Австрийской и Прусской не производил никакого впечатления на императора (Александра)! Первая разрушена, а другие явно разрушаются: достоверность их падения уже предсказана потерей их независимости, и все это случилось вследствие слабости их государей, их нерешительности, робости, детского страха пред опасностями предполагаемыми, которые успели им внушить интриги дураков и изменников, взявших верх над министрами прозорливыми, честными и твердыми. Разумеется, с армией расстроенной, как теперь наша, с этой армией, уничтоженной Павлом, потерявшею дух и опозоренною при Аустерлице, не должно вести войны, но можно, оставаясь у себя, не позорить себя гнусным миром, который обесславит имя русское и погубит империю. Фоке хочет мира во что бы то ни стало, без всякого нравственного принципа. Поклонник счастья корсиканца и Талейрана, он обрадовался желанию мира, выраженному императором Александром, как предложению

заклучить мир и со своей стороны, пожертвовавши королем Неаполитанским; он не считает своей обязанностью сдержать обещание Питта. Но что может сделать какая-нибудь дрянь, не боящаяся позора, прожившая 57 лет в презрении у честных людей, тому не должен подражать император Русский! Русский император вошел в обязательство с королем Неаполитанским не заключать мира без того, чтобы Неаполь не был ему возвращен. Вследствие этого обязательства король нарушил свой нейтралитет, следовательно, он падет жертвой своей веры в силу и добросовестность императора. Так пусть император вспомнит возвышенное письмо Петра Великого Шафирову о Кантемире; пусть вспомнит, что этот великий государь скорее соглашался уступить Южную Россию до Курска, чем изменить данному слову; Петр был убежден, что у государей нет другой собственности, кроме чести; что отказаться от этой собственности — значит перестать быть монархом. Надобно объявить корсиканцу, что без возвращения Неаполитанского королевства его законному государю не будет никогда не только мира, но и никакого сношения между Россией и Францией; надобно выгнать всех французов из России и запретить все французские товары. Надобно только быть твердыми и хорошо вооруженными у себя дома, не верить Пруссии, быть в хороших отношениях к Швеции и взять твердый и внушительный тон относительно турок, после чего можно спокойно выждать благоприятного времени». Можно думать, что мнение Воронцова не могло не произвести впечатления в Петербурге, ибо слова, написанные Новосильцеву, не могли быть тайной для императора, который был очень чувствителен к указаниям на единственную собственность государей.

Впрочем, Воронцов напрасно беспокоился и насчет английского министра: мир был невозможен, ибо у Наполеона и у Англии трудно было посредством переговоров вырвать из рук что-нибудь, раз захваченное. Талейран предложил английскому уполномоченному лорду Ярмуту три уступки: Ганновер, Мальту и мыс Доброй Надежды. Как француз, Талейран не мог обойтись без риторики и выражал свои предложения так, что Ганновер уступается для чести английской короны, Мальта — для чести морской державы, а мыс — для чести торговой. Но англичанин остался холоден к такой красивой фразе; из всех завоеванных колоний удержать только один мыс Доброй Надежды

было невыгодно. В Европе отдавали Мальту; но эта самая готовность со стороны Франции уступить Мальту, тогда как прежде никак не хотели этого сделать, показывала, что остров потерял свою цену: Франция так устроилась теперь на берегах Адриатического моря, так Приблизилась к владениям Порты для выгодного себе решения Восточного вопроса, что могла позволить Англии владеть мальтийской скалой. Теперь для Англии предметом первой важности было не перепустить Сицилию в руки французов, и Фоке поставил необходимым условием мира удержание этого острова за королем Фердинандом. Франция со своей стороны требовала Сицилию себе как вознаграждение за уступку Ганновера, а для короля Фердинанда предлагала ганзейские города. В Англии на это никак не соглашались; тогда Талейран сделал новое предложение, которое должно было всего более встревожить Англию, не спускавшую глаз с драгоценного Востока: Талейран предложил в вознаграждение короля Фердинанда за Сицилию — Далмацию, Албанию и Рагузу, тогда как Албания принадлежала Турции; с английской стороны предлагали вместо чужой Албании вознаградить короля Фердинанда французскими владениями на берегах Адриатического моря, приобретенными по Пресбургскому миру, но понятно, что это была только дипломатическая игра.

Лорд Ярмут получал из Англии сильнейшие внушения, чтобы действовал заодно с русским уполномоченным, но Убри трудно было сыскать. Если в Англии понимали, что надобно было и дипломатически действовать сообща, и настояли на совместном ведении переговоров, то во Франции, и уступивши этому требованию, хотели все же поставить на своем, разбить союзников, заключить с одним из них отдельный мир и этим принудить и другого быть уступчивее. План кампании удался: напали на слабейшего, на Убри, объявили ему, что не хотят видеть в нем простого русского агента, хотят видеть уполномоченного, озадачивали, утомляли его спорами, продолжавшимися по 14-ти часов сряду, и бороться должен был Убри против дипломатического Наполеона, против Талейрана, которого сменял генерал Кларке; вдвоем утомляли, застращивали одного; но чем же могли застрашивать? Когда лорд Ярмут стал упрекать Убри за его удаление от общих переговоров, укрывательство, тот отвечал: «Я

считаю своей обязанностью так поступать, даже заключить отдельный мир, если этим я могу спасти Австрию от грозящей ей опасности».

Зная, какие обещания надавал Убри в Вене, мы должны придавать этому ответу особенное значение, равно как и другим оправдательным словам его из письма в Петербург: «Если бы я разорвал переговоры, то возобновилась бы война, которую Франция повела бы с большей энергией против государств, вовсе не приготовленных; наоборот, подписывая мирный договор, я давал этим государствам время приготовиться к войне».

Убри 8 (20) июля подписал отдельный договор, статьи которого также прямо указывают, что русский уполномоченный имел в виду исполнить обещания, данные в Вене: Россия уступила Франции Боккади-Каттаро, следовательно, Австрия успокаивалась; в три месяца французские войска должны очистить Германию — успокоение окончательное. Что же касается успокоения России, то обе державы взаимно ручались за независимость и целостность Оттоманской Порты; французские войска очищали Рагузу; должны были очистить и Черногорию, если ее заняли; русское войско на Ионических островах не могло превышать 4.000 человек. Относительно неаполитанского короля странное условие: если он лишится Сицилии, то Россия и Франция обязывались выпросить для его сына Балеарские острова у короля Испанского, вместо отца получал вознаграждение сын из чужого владения, которое нужно было еще выпросить. О короле Сардинском и Ганновере не упоминалось. Кроме внушений, какие мог получить Убри перед отъездом из Петербурга, в Париже он находился под сильным влиянием других внушений: воспитатель императора Александра Лагарп одобрял условия и для успокоения Убри дал ему оправдательное письмо к императору. Основная мысль письма состояла в том, что заключаемый мир есть перемирие, которым надобно воспользоваться для приготовления к новой борьбе, потому что Наполеон остановиться не может, но Лагарп забывал, что перемирие носило название мира и мирный договор утверждал право на то, что было захвачено вопреки прежним договорам; каждый мир освящал новые захваты, новые порабощения, чему нисколько не мешало то, что кому-нибудь угодно было называть мир перемирием.

Что договор Убри был не в пользу России, доказывалось тем, что Наполеон и его приближенные ставили его выше победы, одержанной

на войне, но победа для одной стороны необходимо условливает поражение другой. Наполеон, по обычаю, спешил пользоваться победой, ратифицировал договор через шесть часов после его заключения и немедленно дал знать о нем всюду, куда следовало: пусть русский государь не ратифицирует договор, об этом узнают не скоро, а первое впечатление уже произведено, и прежде всего оно произведено на лорда Ярмута. Генерал Кларке, ведший с ним переговоры, провозглашая отдельный мир с Россией как великую победу, объявил Ярмуту, что после такой победы Наполеон имел бы право увеличить свои требования, но он остался при старых. Фоке на помощь Ярмуту, которого находил слишком уступчивым, отправил еще другого уполномоченного. Шли удивительные, небывалые переговоры: Наполеон торговал областями, вовсе ему не принадлежавшими, уступал, менял, давал в вознаграждение чужие владения — Ганновер, Албанию, Рагузу, ганзейские города, Балеарские острова. Главный спор шел о Сицилии, которой владел бывший неаполитанский король Фердинанд, которую Наполеон не завоевал и никогда после не мог завоевать, но теперь требовал непременно, чтобы укомплектовать владение брата своего Иосифа, то есть чтобы самому владеть всей Италией. Один французский писатель, очень нерасположенный к Наполеону, говорит, что в такой странной торговле по крайней мере было начало умопомешательства. Мы не согласны с почтенным автором уже и потому, что современники начала умопомешательства тут не видали; явление было обыкновенное — сила, не встречая препятствия, развивалась все более и более. История благословляет тех деятелей, которые ставят преграду силе, не допуская ее до насилия.

Странные переговоры, торговля чужим добром не повели ни к чему. Когда Убри привез свой договор в Петербург, то император отдал его на рассмотрение Совета, который единогласно признал невозможность ратифицировать его, и Александр согласился с мнением Совета; а в самом начале сентября умер Фоке, что прекращало попытку к заключению мира Англии с Францией. После Аустерлица непосредственная борьба между Россией и Францией продолжалась на берегах Адриатического моря, в Далмации; вице-адмирал Сенявин, начальствуя флотом и сухопутным отрядом, действовал против французов с помощью славянских жителей страны, особенно черногорцев, Бокка-ди-Каттаро не был сдан ни французам,

ни австрийцам; но скоро Сенявин получил приказание отправиться в Архипелаг.

Мы знаем, что с самого начала вступления России в общую жизнь Европы при необходимых столкновениях в интересах двух сильнейших континентальных держав, России и Франции, и при затруднительности непосредственной борьбы между ними по географическому положению Франция действовала против России, против ее интересов дипломатическими средствами в трех ближайших пунктах, была в три самые чувствительные места для России: в Швеции, Польше и Турции. Во время борьбы с Наполеоном Швеция, по убеждениям ее короля, могла быть только в союзе с Россией против Франции; возобновление Польского вопроса могло еще только ожидаться; оставалась Турция, в которой можно было действовать против России; и Наполеон, разумеется, не упустил этого из виду. Он отправил посланником в Константинополь уже известного нам Себастиани, хорошо знакомого с Востоком; и следствия внушений его скоро оказались. Сановники, стоявшие за дружеские отношения между Россией и Портой, были удалены, и места их заняли люди, доступные внушениям французского посланника. Внушения состояли в том, что Порта не должна терпеть, чтобы ее христианские подданные получали какие-нибудь выгоды от России, привыкали к ее покровительству, почему запрещено было грекам, которые плавали под русским флагом, пользоваться привилегиями русских подданных; уничтожен был, таким образом, обычай, ведшийся издавна. Договорами было утверждено, что господа Молдавский и Валахский не могут быть сменены Диваном ранее семи лет, если только не совершат преступления, доказанного по следствию, произведенному сообще Россией и Портой. Вследствие внушений Себастиани султан сменил обоих господарей до срока без всякой причины, без предварительного исследования. По договору 1805 года русским военным кораблям дозволен был свободный проход и перевоз войска через Босфор и Дарданеллы; теперь Порта объявила, что не намерена больше исполнять этого условия.

Такое нарушение договора объяснялось тем, что Себастиани подал Дивану ноту, в которой требовал, чтобы Босфор был заперт для русских военных судов и транспортов; отказ в этом требовании Франция сочтет для себя враждебным действием со стороны Турции и

получит право двигать свои войска через турецкие владения для борьбы с русским войском на берегах Днестра. В ноте Себастиани говорилось: «Возобновление или продолжение союза Турции с врагами Франции, именно с англичанами и русскими, будет не только явным нарушением нейтралитета, но участием в войне, которую эти народы ведут с Францией». Оказывалось, что турки вовсе не такие спокойные соседи России, как думали недавно некоторые дипломаты. Нарушением договоров они прямо объявляли войну; оставлять долее Порту под диктатурой французского посланника и дожидаться новых враждебных поступков и дерзостей было бы странно; и русские войска получили приказание занять Дунайские княжества. Но русское войско встретилось с французским не на берегах Днестра, а на берегах Немана.

Наполеон во время переговоров с Англией, торгуя чужими владениями, прежде всего бесцеремонно распорядился Ганновером, который по последнему союзному договору с Пруссией принадлежал этой державе, был занят ее войском. Наполеон возвращал Ганновер прежнему курфюрсту, королю Английскому. Пруссия об этом ничего не знала. Наполеон, не любивший церемониться ни с кем, всего менее считал нужным церемониться с Пруссией, которая своим поведением потеряла у человека силы всякое уважение: можно что-нибудь ей дать за Ганновер или обещать, а если будет иметь неблагоразумие обижаться, спорить, то заставить замолчать оружием; это не будет стоить большого труда, когда будет заключен мир с Россией и Англией. Если же мир заключен не будет, то Ганновер останется за Пруссией; во время же переговоров можно и обманывать; и действительно, предлагая Ганновер английскому королю, Наполеон приказывал уверить прусского короля, что он никогда не отступит от обязательств, заключенных с Пруссией относительно Ганновера.

Относительно Ганновера можно было пока обманывать, но относительно образования Рейнского союза, уничтожения прежнего германского строя, в который входила Пруссия, обманывать было нельзя; употребили приманку: Пруссия может поделить Германию с Францией, устроить такой же союз из остальных северогерманских государств под своим протекторатом. Но переговоры с Англией о Ганновере могли огласиться, и тогда приманка протекторатом над Северной Германией могла бы не подействовать, особенно если бы

мир с Россией и Англией не был заключен; в таком случае надобно приготовиться к войне или по крайней мере напугать Пруссию этими приготовлениями, заставить ее проглотить свою обиду, свое негодование; и вот во французской армии — громкие разговоры о предстоящей войне с Пруссией; иначе для чего бы увеличивать число войска и направлять его к прусским границам.

Прусский посланник в Париже Люккезини узнал и донес своему двору, что Наполеон уступает Ганновер английскому королю, что, может быть, потребуют от Пруссии и других земельных уступок, что Наполеон предлагал России прусскую Польшу, что между Наполеоном и Александром существует соглашение восстановить Польшу в пользу вел. кн. Константина Павловича. Насчет русских переговоров могли ходить всевозможные слухи вследствие таинственности, с какой они были ведены, да и с французской стороны были побуждения распускать подобные слухи, чтобы возбудить в Пруссии неудовольствие против России.

Фридрих-Вильгельм решился на борьбу с Францией, и, конечно, историк не станет удивляться этому решению. Желание мира, страх перед борьбой были сильны в душе короля, но по своему характеру и положению он мог предаваться этому желанию и страху только тогда, когда при этом для него существовали известные опоры, когда, с одной стороны, в нейтралитете, в посредствующем положении он думал сохранить почетное положение для Пруссии, а с другой — приобрести выгоды, когда приобретением Ганновера без войны он заставлял молчать приверженцев воинственной или патриотической партии, возобновляя те счастливые времена, когда при его предшественниках ловкой политикой Пруссия даром приобретала области, какие трудно было приобрести и посредством кровопролитных войн. Но теперь человек силы смеется над Пруссией, обходится с ней, как с ничтожным по своей слабости и робости государством, и смеется насмешкой самой злой, отнимая то, за что пожертвовано многим, если не всем. Аншпахским событием рушилась одна опора — нейтралитет, дававший почетное посредствующее положение; но эту опору заменил Ганновер; теперь рушилась и эта самая крепкая опора, и в то же время мнение партии становилось общественным мнением; король безоружным являлся перед обществом, требовавшим перемены политики, ибо старое направление осуждено было своим неуспехом.

Как обыкновенно бывает, общество клеймило позором близких к королю людей, приписывая им вину прежнего направления и требуя их смены; королю была подана просьба об удалении Гаугвица и членов кабинета, о замене последнего ответственным и благонамеренным Государственным советом; просьба была подписана принцами королевского дома, известным своей твердостью и смелостью министром Штейном, двумя генералами, Рюхелем и Фулем.

Король взглянул на эту просьбу как на посягательство против своих прав, сделал непосредственно и посредством строгие внушения подписавшим. Просьба не была исполнена: в ней высказывалось оскорбительное для короля мнение, что дурные советники ввели его в заблуждение и ошибка может быть поправлена только с помощью других советников. Но в характере Фридриха-Вильгельма не было упорства, и он счел необходимым для поддержания своего значения на деле, а не по праву только стать на челе воинственного движения и этим охранить и Гаугвица с товарищами от нареkania: он, король, сначала следовал известному направлению, и люди приближенные исполняли его волю; теперь, убедившись, что прежнее направление более не годится, он переменяет его при помощи тех же старых советников. Действительно, человек, заведовавший иностранными сношениями, Гаугвиц, давно уже в Париже, где Наполеон заставил его подписать второй союзный договор, убедился в необходимости переменить направление, убедился, что на императора французов полагаться нельзя, что от сближения с Францией, кроме опасности и унижения, нечего ожидать более. Мы видели, что Гаугвиц не был предан или продан Франции, а держался одинакового взгляда с королем, и теперь для него, как для короля, и, как видно, прежде чем для короля, рушились опоры его прежнего убеждения; и для него, как для короля, но еще сильнее, чем для короля, явилась необходимость не только уступить восторжествовавшему воинственному направлению, но и стать горячим его приверженцем, и Гаугвиц является сильным противником Франции, проповедником необходимости вооружения.

Но вооружаться против Наполеона значило сближаться с Россией. От 21-го августа (н. ст.) Гольц прислал успокоительное известие, что договор, заключенный Убри в Париже, не ратифицирован в Петербурге. Но вместе с тем со стороны русского министра

иностранных дел барона Будберга начали являться внушения, что Россия в непродолжительном времени должна будет потребовать от Пруссии решительного ответа, на чьей же она стороне — на стороне Франции или России. Мы видели, что борьба с Францией принимала для России новый оборот, затрагивая ее непосредственные интересы и отношения. Франция действовала против России в Константинополе; естественно было ожидать, что она станет действовать против нее в Польше, и действовать непосредственно, проведя свои войска через владения Австрии, которая волей или неволей должна будет согласиться на это. Петербургский кабинет указывал здесь берлинскому предлогу к вооружению, ибо военные действия должны происходить в соседстве с Пруссией. В Петербурге все еще сохраняли прежнее мнение, что Гаугвиц предан Франции, и потому внушали Гольцу, что его необходимо удалить, если король хочет решительно сблизиться с Россией. Граф Штакельберг, заменивший Алопеуса в Берлине, писал Будбергу от 25-го августа (с. ст.): «Освободить короля от его презренного и коварного окружения, конечно, есть цель самая желательная, но вместе и самая трудная для достижения. Власть этих приближенных есть следствие привычки и ловкости. Первая очень важна относительно государя робкого, мало привычного к труду и которого большой, выпуклый талант, вероятно, затмил бы. Надобно было бы иметь под руками двоих незначительных людей, знающих, с одной стороны, ход дел, а с другой — имеющих легкость в работе, чтоб сейчас же заменить ими Бейме и Ломбарда. Граф Гаугвиц есть не иное что, как креатура их обеих. Первый человек действительно влиятельный и глава всей этой шайки, но его искусно руководит Ломбард, в жену которого Бейме влюблен. Последнего не считают таким продажным, как Ломбарда, который весь состоит из безнравственности и пороков». Такой отзыв понятен: русские министры в Берлине смотрели глазами членов воинственной партии, которая вместе была и русской партией, особенно глазами Гарденберга, заведовавшего тайно сношениями с Россией и теперь уже отъявленного врага Гаугвица.

Задача Гаугвица теперь была чрезвычайно трудная — скрыть от Наполеона военные приготовления Пруссии, до последней минуты усыпляя его дружественными уверениями. В этом смысле был дан наказ Люккезини, с той же целью был отправлен к Наполеону генерал

Кнобельсдорф. Во Франции, разумеется, тотчас же узнали о военных приготовлениях в Пруссии. Наполеон не показал никакого раздражения, не сделал Пруссии грозного запроса, зачем она вооружается; он принял Кнобельсдорфа очень ласково, объявил только, что отказ русского императора ратифицировать договор Убри заставляет Францию усилить свои войска в Германии; впрочем, эта мера вовсе не направлена против Северной Германии; все внимание обращено к стороне Италии и Далмации. Вслед за тем между Талейраном и Кнобельсдорфом началась переписка. Талейран указывал на вооружение Пруссии, на необходимость и для Франции также вооружаться; писал, что император Наполеон ни прямо, ни косвенно не подал никакого повода к этой странной ссоре, что война между Францией и Пруссией есть политическое уродство. А между тем Фридрих-Вильгельм читал записку графа Гаугвица, где тот заклинал короля не верить лживым словам Наполеона, вступить в борьбу не ради Пруссии только, но ради всей Европы и начать военные действия, не дожидаясь помощи других держав.

21-го сентября (н. ст.) Фридрих-Вильгельм выехал в Наумбург, чтобы оттуда отправиться к войску; 24-го Наполеон выехал из Парижа в Майнц. 26-го из Наумбурга король отправил к Наполеону длинное письмо, в котором пересчитывал все его захваты, указывал на все свое долготерпение, которому последние действия Наполеона положили конец. Письмо оканчивалось пожеланием, чтобы можно было еще уладить дело на основаниях, которые «сохраняли для Наполеона нетронутой всю его славу, а для других народов сохраняли честь и поканчивали для Европы лихорадочное состояние, производимое страхом и ожиданием, среди которых никто не может рассчитывать на будущее и сообразить свои обязанности». Эти основания, отправленные королем как ультиматум, были: 1) немедленный выход французских войск из Германии; 2) Франция не должна делать ни малейшего препятствия образованию Северо-Германского союза, который должен состояться из всех владений, не обозначенных в фундаментальном акте Рейнского союза; 3) немедленное открытие переговоров с Пруссией для улажения всех споров между ней и Францией; 4) согласие на переговоры с другими государствами. Король назначил 8-е октября сроком для получения ответа на свои требования; 8-го октября французские войска начали наступательное

движение на прусские. Прусской армией начальствовал герцог Брауншвейгский, старик 71 года. 10-го октября при Саальфельде пруссаки потеряли сражение, в котором был убит принц Людвиг-Фердинанд; 14-го октября они потерпели страшное двойное поражение при Иене и Ауерштедте, после чего монархия Фридриха II-го развалилась, как картонный домик. Войско распалось на отряды, которые поодиночке доставались французам; сильные крепости сдавались без выстрела, и 27-го октября Наполеон был уже в Берлине.

Мы видели побуждения, которые заставили Фридриха-Вильгельма переменить свою политику, но все же может показаться странным, как он мог так скоро решиться на борьбу с таким страшным врагом, первым полководцем века, как мог так понадеяться на свое войско, на своих полководцев. Но подобные резкие переходы именно и возможны у людей с природою Фридриха-Вильгельма. Из нежелания войны он был способен натянуть свое положение до крайности, но все через меру натянутое разрывается, а этот разрыв, эта потеря всех средств держаться долее в прежнем положении производит стремление выйти как можно скорее из этого положения, выйти во что бы ни стало. При таком состоянии духа обыкновенно обращаются за поддержкою к таким средствам, против которых прежде выставлялись сильные возражения: прежде в пользу мира и нейтралитета выставлялась слабость Пруссии, недостаточность ее военных средств для борьбы с Наполеоном, но когда средства мира исчезли в сознании короля и Гаугвица с товарищами, схватились за последнее средство, которое до сих пор выставляли поборники войны, стали в нем искать нравственной поддержки для себя и других.

И в самом деле — чего же бояться? Австрийцы разбиты Наполеоном, русские разбиты; но прусская армия, армия, созданная Фридрихом Великим, остается непобежденная и служит предметом удивления для иностранцев: в каких лестных выражениях отзывается о ней русский государь! Что прежде выслушивалось с подозрительною улыбкою, принималось за хвастовство, то теперь выслушивается с удовольствием, и верят тому, чему желают верить. С удовольствием выслушивались песни новых немецких бардов, восклицания: «Теперь предстоит борьба за немецкую национальность, нравы и свободу; нога чужеземца никогда еще не топтала почву древних каттов, херусков и саксов!» С удовольствием выслушивались слова: «Если бы при Упье

и Аустерлице были пруссаки, то дела пошли бы иначе. У нас полководцы, которые войну разумеют, которые смолоду служили; а эти французские генералы, портные и сапожники, поднялись в революцию; они побегут перед нашими генералами!» Генерал Рюхель на параде в Потсдаме сказал королю: «Таких генералов, как г. Бонапарт, в армии вашего величества много». Можно было часть этих отзывов отнести к патриотическим преувеличениям, но оставалось то, что армия, то есть ее представители, одушевлены, имеют о себе высокое мнение, подтверждаемое и свидетельством чужих, а опыт не говорил ничего против, возражать было нельзя, да теперь и приятно стало, что возражать было нечего; нужда заставила приняться за средство непочатое, и успокоительно было слышать, что это средство надежное.

Но чем выше было мнение прусского войска, прусских генералов о самих себе, тем слабее было в них желание получить немедленно помощь, вступить в войну вместе с союзниками. Дождаться прихода союзников значило выказать свою слабость; разделив победу с сильным союзником, надобно было делить с ним и плоды, но мы уже видели, что в Пруссии боялись русского влияния, не сочувствовали русской политике, которая никак не могла помириться с захватом Ганновера: что же ожидать от России, если она получит большое влияние при будущих территориальных распределениях? Притом король сохранял до последней минуты надежду, что Наполеон будет остановлен решительностью Пруссии, вступит в переговоры, сделает уступки: с Наполеоном было легко уговариваться насчет разных приобретений, он это дело понимал; он говорил: «Государство, которое не увеличивается, уменьшается»; а в России этого не понимали, там все какие-то принципы, политическое равновесие. Наконец, аустерлицкий опыт показал, что действовать вместе с союзниками и опасно. Было у всех в свежей памяти, как после Аустерлица приехали в Берлин князь Петр Долгорукий и австриец Штуттергейм и спорили, складывая друг на друга вину поражения; как Штуттергейм дошел до того, что упрекал императора Александра, зачем он оказал такое доверие к начальнику штаба Вейротеру, как будто Вейротер не был дан с австрийской стороны.

Но еще и прежде Аустерлица вожди прусской патриотической партии с неудовольствием слышали о русском союзе, — конечно, в

надежде, что одних херусков, каттов и саксов достаточно для сокрушения Наполеона; в сентябре 1804 года приезжал в Вену прусский принц Людвиг, и когда Кобенцль стал ему говорить о необходимости союза между Австрией, Пруссией и Россией для борьбы с Наполеоном, то принц сказал: «Какая нужда в северном государстве? Союз Австрии и Пруссии вполне достаточно». И когда Кобенцль настаивал на необходимости участия России, принц возразил: «Этим только затянется дело». После же Аустерлица могли слышаться сильные возражения против отсрочки войны для соединения с русским войском, а в случае неудачи или продолжительности войны русская помощь была обеспечена обязательством императора Александра. Относительно австрийского союза король совершенно справедливо думал, что Австрия непременно вступит в союз с Пруссией при успехе последней, но не прежде. С Англией сближаться не хотелось по причине Ганновера.

Таким образом, понятно, почему Пруссия поспешила вступить в войну с Наполеоном, не дожидаясь союзников. Война кончилась небывалым разгромом государства, имевшего такое важное значение в политической системе Европы, — государства, имевшего недавние блестящие военные успехи, обязанного своим важным значением победам, военному искусству своего знаменитого короля-полководца. Но военные таланты Фридриха II-го не были унаследованы его преемниками: государство, получившее важное значение вследствие побед и завоеваний, стало отличаться миролюбивою политикой, стремлением сохранять и приобретать не силою оружия, но ловкостью политическою, умением пользоваться обстоятельствами, стало жить на счет прошедшего, жить славою, памятью прежних побед; Пруссия сохранила вид военного государства, войско стояло на первом плане, но стояло как памятник, как драгоценная археологическая редкость, тщательно сохраняемая, не допускавшая ничего нового, никаких изменений. Поддержка почтенного памятника старины стоила дорого; им хвалились, им грозили, но все же это был только памятник, в сущности что-то мертвое, без движения, что-то оторванное от общей жизни, не входившее живым образом в организм народный.

Но естественно бывает поползновение пренебрегать существенным, когда что-либо делается напоказ, когда преобладает форма и дух ослабевает. В образцовом войске вооружение было

плохое; было множество ненужных вещей, годных только для парада, и между тем у целого полка ружья никуда не годились. Генералы, офицеры были большей частью старики; из семи полных генералов младшие имели 58 и 59 лет, четверо было семидесятилетних и один — восьмидесятилетний; из генерал-лейтенантов младший имел 52 года, девять — по семидесяти и 11 — по шестидесяти лет. Но вред происходил не от преклонных лет, а оттого, что старики вместо живой, непрерывной опытности отличались дряхлостью, отвычкой от деятельности, давно умерли для настоящего, для движения и жили одною стариною. Военные экзерциции состояли из старых штук, и, умея в совершенстве проделывать эти штуки, они считали себя неподражаемыми мастерами тактики. Армия состояла только частью из природных пруссаков, другую же часть составляли по вербовке иностранцы, искатели приключений, бродяги, склонные к бегам. И такая армия стоила дорого не в одном материальном отношении, не потому только, что на нее тратилось много денег; офицеры, особенно в гарнизонных местах, господствовали неограниченно; генерал был деспот, не обращавший внимания ни на какое состояние, ни на какую образованность, ни на какой возраст, ни на какое личное значение вообще, никто не был изъят от оскорбления с его стороны.

Труп, отлично сохранившийся в безвоздушном пространстве, рассыпался при выносе на свежий воздух. Но разумеется, этого не предвидели, думая, что имеют дело вовсе не с трупом, а с чем-то живым и крепким. Тем сильнее было впечатление, произведенное неожиданным разрушением, тем больший упадок духа последовал, когда вместо ожидаемого торжества увидали небывалое позорное поражение. Губернатор Берлина граф Шуленбург издал прокламацию, в которой говорилось, что главная обязанность гражданина есть сохранение спокойствия, и, когда обнаружилось патриотическое движение, когда стали являться охотники вступить в войско, губернатор с неудовольствием отказывал. Министры, чиновники присягнули победителю. Удар оглушил, но на время только; страшное бедствие возбуждало нравственные силы и вело к благотворному, живоносному движению, к излечению больного организма. Но победитель пользовался своим временем. Успех и несчастье — два мерила нравственных сил души человеческой, и теперь это измерение чрезвычайным успехом оказалось к невыгоде Наполеона; он

разнуздан и стал, как дикарь, ругаться над побежденными с забвением всякого приличия. Прусской королеве приписывалось сильное участие в патриотическом, воинственном движении, и Наполеон, победив мужчин, объявил теперь войну женщинам. В бюллетенях королева Луиза выставлялась красотой, погубившей Пруссию, как Елена погубила Троию. В Вюртемберге цензор вычеркнул из газеты, приводившей бюллетень, выходки против королевы Луизы; вюртембергское правительство отставило цензора от должности. Наполеон не ограничивался бюллетенями; принимая прусских сановников, он говорил им: «Ваши жены хотели войны, ну вот, теперь вы видите плоды этого». Повторял, что королева Луиза погубила Пруссию, как Мария-Антуанетта — Францию. Обратившись к турецкому посланнику, сказал: «Вы, османы, правы, что запираете женщин».

Но в то время как Наполеон вел войну против женщин, что делали мужчины? Они вели мирные переговоры с победителем. 30 октября (н. ст.) с французской стороны были предложены следующие основания мира: Пруссия соглашается на приступление Саксонии и всех государств на левом берегу Эльбы к Рейнскому союзу и на все распоряжения, которые император Наполеон сделает относительно этих государств; Пруссия уступит Франции все, чем владеет на левом берегу Эльбы, исключая провинции Магдебургскую и старую Мархию, платит сто миллионов франков военной контрибуции. Фридрих-Вильгельм, который переезжал из одного города в другой, ища безопасности, соглашался на эти основания; но когда французы заняли Познань и проникли до Вислы, когда им сдались Магдебург и Кюстрин, то Наполеон возвысил свои требования, предложил перемирие на тяжелых условиях.

По мнению Штейна и Гарденберга, этих условий принять было нельзя. «Теперь, — писал Штейн Гарденбергу, — мы должны смотреть на себя как на союзников России, на свою страну как на ее страну». «Мы должны, — отвечал Гарденберг, — смотреть на себя как на находящихся под покровительством России, как на простых ее союзников, двигаться исключительно по ее указаниям и отвоевать с нею нашу честь и наше существование или погибнуть подле нее». В Остероде, где находился тогда король, созван был Совет по вопросу, принимать или отвергнуть новые наполеоновские условия перемирия.

Гаугвиц с большинством был за принятие условий; Штейн, другой министр, Фосс, генерал Кёкерлиц и тайный кабинет-советник Бейме — против принятия. Замечают, что оба последние подали свой голос против, зная, что король заранее решил не принимать условий. Когда это королевское решение было объявлено, Гаугвиц стал просить отставки, потому что отказ на требования Наполеона предполагал войну в тесном союзе с Россией, но при явном нерасположении русского двора к нему, Гаугвицу, он не мог оставаться министром иностранных дел. Король, хотя с горестью, должен был согласиться на удаление Гаугвица, считая это необходимым при отношениях своих к русскому императору.

Когда в Петербург достигли слухи о поражениях прусского войска, император Александр написал Фридриху-Вильгельму, возобновляя самое торжественное уверение, что он никогда не изменит известных королю расположении своих. «Будучи вдвойне связан с в. в-ством и узами политического союза, и узами самой нежной дружбы, я не пощажу, — писал Александр, — никаких пожертвований и стараний, чтоб показать всю силу моего подчинения драгоценным обязанностям, налагаемым на меня союзом и дружбою. По характеру чувств моих они могут только удвоиться, если это возможно, вследствие положения, в каком в. в-ство находитесь. Корпус генерала Беннигсена уже в походе; корпус Буксгевдена в числе 60.000 человек будет немедленно готов его поддерживать. Соединимся еще теснее, чем прежде: останемся верны принципам чести и славы и предоставим остальное Провидению, которое не преминет положить конец успехам тиранства, доставив торжество самому справедливому и прекрасному делу».

В разговорах с прусским посланником Юльцем Александр подробнее изложил свои взгляды на события. «Я трепещу, — говорил он, — чтоб Наполеон не сделал вашему государю предложений, которые заставят его вступить в непосредственные переговоры. Я боюсь, что Наполеон сначала будет уступчив и мягок, чтоб тем удобнее впоследствии заставить короля почувствовать всю тяжесть своей опасной дружбы. Он, конечно, не ограничится тем, что возьмет у короля несколько провинций; он постарается впутать его в свои интересы, заставит его гарантировать независимость Порты и таким образом приготовит все предлоги к будущей ссоре с Россиею, и

король, желающий единственно спокойствия, будет по примеру Баварии вовлечен в войны, которые заставят сердце его обливаться кровью и вконец истощат средства его государства. Нет, я не вижу возможности мира честного и удовлетворительного, и если так, то должно продолжать войну, которая при деятельной помощи России представляет возможность благоприятного исхода. Мои интересы тождественны с интересами Пруссии; моя дружба с королем, равно как моя политика и безопасность моей империи, настойчиво требуют, чтоб я удержал Пруссию от падения. Устойчивость короля и моя помощь заставят Австрию высказаться в пользу Пруссии; накануне открытия войны между мною и Портою Австрии остается только это, если она не хочет быть поработана Францией, а пример Австрии увлечет все государства, которые еще отказываются принять прямое участие в войне. На месте короля я бы вот что сделал: я бы стал избегать битвы, сосредоточил бы свое войско за Одером, удерживал бы эту позицию до последней крайности и в случае новых неудач отступил бы дальше для соединения с русскими. Бонапарт начал бы бояться за себя и не решился бы идти дальше, он уступил бы устойчивости то, чего не уступил бы силе оружия. Но я должен вам признаться, что если король заключит мир, то я буду считать все потерянным и интересы моего собственного государства заставят меня переменить систему и взгляды. Если король заключит мир, то ничто не разубедит меня в том, что внутри его государства есть враги общего дела, благоприятели Франции, которые, быть может, охотно довели бы дело до разрыва с нею, будучи заранее уверены, что борьба не будет выдержана, и Пруссия посредством мира будет поставлена в полную зависимость от Франции».

Последние слова прямо относились к Гаугвицу, которого теперь упрекали в том, что он был виновником поспешного разрыва с Францией. Король в следующих выражениях уведомил императора об отставке Гаугвица: «Министр, занимающий первое место в моем кабинете, не внушал в в-ству доверия в той степени, в какой я питаю к нему вследствие его талантов, долгой службы и просвещенного патриотизма. В в-ство знаете, как мне было это тяжело, ибо я был уверен, что если бы вы знали его покороче, то сочли бы его достойным своей высокой благосклонности, которой он так всегда сильно желал. Однако опасение, что его заведование иностранными делами может

хоть сколько-нибудь нарушить доверие, которое теперь более чем когда-либо должно служить основанием наших отношений, заставило меня принять его просьбу об отставке. Признаюсь, я сделал это с сожалением, но в убеждении, что должен был принести жертву этим самым отношениям, — жертву, которая бы снова упрочила всю правду и силу моих несокрушимых чувств». Касательно борьбы, на которую решился король, он писал Александру:

«Примите, государь, торжественное обещание, что я положу оружие против отъявленного врага европейской независимости только тогда, когда ваши интересы, с этих пор неразрывно связанные с моими, заставят вас самих этого желать. Таково мое твердое решение».

В другой раз императоры Александр должен был исполнять свои союзнические обязанности при самых невыгодных условиях, должен был не соединять свои силы со свежими, бодрыми силами союзника, но спешить на помощь к союзнику пораженному, потерявшему материальные и нравственные средства, брать, таким образом, на одно свое войско удары победоносного врага. Как нарочно, Пруссия в 1806 году сделала то же самое, что Австрия в 1805-м: вдруг, не дождавшись русской помощи, выдвинула свое войско под удары Наполеона, дала ему разбить себя в одиночку, и теперь должна была бороться с ним Россия, также в одиночку, что именно и было ему нужно; так что оба раза коалиции в сущности не было, и это объясняет неудачу обеих войн. В приведенном разговоре с Гольцем Александр прямо объяснил побуждения, заставлявшие его спешить на помощь Пруссии и уговаривать ее короля не мириться с Наполеоном: Пруссию необходимо было поднять и привязать к себе, иначе она непременно становилась в руках Наполеона орудием против России относительно самых важных русских интересов, относительно Восточного и Польского вопросов. Остаться равнодушным к судьбе Пруссии значило то же самое, что во время войны дать неприятелю овладеть выгодною местностью или крепостью и обратить ее выгоды против нас, все равно что позволить наш собственный авангард обратить против нашего же войска.

Наполеон не думал, чтобы Александр после Аустерлица решился поддерживать Пруссию в обстоятельствах еще менее выгодных, чем в прошлом году перед Аустерлицем, и потому сделал ошибку, предложивши Пруссии слишком тяжелые условия, поднявши этим

патриотическую партию, которая представляла, что отчаиваться нечего, что в народе сильное одушевление, что при помощи России можно надеяться на успех; и король оперся на этих представлениях. Наполеон увидел свою ошибку. В порыве раздражения он высказал угрозу: «Если русские будут побиты, то не будет больше короля Прусского». «Если»! А если нет или с ними будет не война, а резня, как уже был опыт? Кампания была кончена необыкновенно блестящим образом, войско ждало славного мира, отдыха, а тут новая война с неприятелем, отличающимся упорством, война в неблагоприятной местности, в самое неблагоприятное время года; притом Наполеону не нравилось долгое отсутствие из Франции, могшее дать большую свободу внутренним врагам. Наполеон стал толковать о своей склонности к миру, но мир должен быть общий, твердый, в одно время с Россией и Англией. От этого зависит судьба Пруссии. Фридрих-Вильгельм поколебался от страха и надежды и отправил в Петербург предложение начать мирные переговоры: есть новая важная выгода. Наполеон хочет договариваться в одно время с Россией, Англией и Пруссией, и мирные переговоры не остановят военных действий. Император Александр не отверг предложения, требуя только подробностей насчет оснований мира, а между тем военные действия уже начались. Мы видели, что двинуты были в Пруссию два корпуса под начальством Беннигсена и Буксгевдена, но для единства действия нужен был главнокомандующий, под начальство которого поступил бы и остаток прусского войска. Александр дал знать королю, что назначает главнокомандующим фельдмаршала графа Каменского. «Во всех отношениях, — писал император, — он способен к должности, которую я на него возложил: с обширными военными познаниями он соединяет большую опытность, пользуется доверием войска, народа и моим».

Каменский был старый генерал, приобретший известность в екатерининское время; при Павле он был сделан графом и фельдмаршалом не за военные подвиги, а за то, что был в опале при Екатерине за невыносимый характер и жестокое обращение с подчиненными, но и при Павле он был скоро уволен от службы, после чего десять лет жил в деревне. Слава Каменского выросла от удаления, от опалы, от отсутствия людей, выдающихся военными способностями, от затруднительного положения, в каком находилась

Россия, и Каменский приобрел доверие, о котором говорил император; русская фамилия также способствовала этому доверию у войска и народа. Александр после говорил, что назначил Каменского против своего убеждения, уступая общественному мнению, 69-летний больной старик, давно отвыкший от дела, принял на себя страшную обязанность бороться с Наполеоном. Но мы знаем, что все лучшие генералы считали лучшим средством в борьбе с Наполеоном избегание решительных битв, отступление, затягивание неприятеля; поэтому неудивительно, что, прибывши к войску в Пултуск, найдя его в неудовлетворительном положении и слыша о наступлении Наполеона, Каменский отдал приказание отступить к границам и, зная, что от него вовсе не этого ожидали в России, послал к государю просьбу об увольнении. Беннигсен не исполнил приказания Каменского, встретил и отбил французов у Пултуска (14 декабря) с большим для них уроном. Сражение под Пултуском доставило ему главное начальство над войском.

Начало 1807 года ознаменовалось страшною резнёю: более 50.000 мертвых и раненых покрыли снежные поля под Прейсиш-Эйлау 26 и 27 января; битва была нерешительная. Наполеон, по собственным его словам, потому только признал себя победителем, что русские после битвы первые тронулись от Эйлау к Кенигсбергу. Но впечатление битвы, где Наполеон не разбил неприятеля и где потерял почти половину войска и более десятка орлов, было страшное. Непобеда значила поражение: так Наполеон приучил Францию и Европу смотреть на свои войны. Французское войско упало духом, к чему оно так склонно при неудаче; в Париже ужас, бумаги на бирже упали; Наполеон послал приказание своим сановникам давать балы, чтобы рассеять грустное настроение общества. Действительно, положение Наполеона было крайне неприятное; новая кампания против нового врага только что начиналась, и начиналась неуспешно; одно враждебное государство было побеждено, почти все занято, а на границе новый неприятель, который дерется отчаянно; битва при Эйлау вовсе не похожа на Аустерлицкую. Но нельзя ли следствия ее сделать похожими на следствия Аустерлица? Русские не уйдут, не прекратят войны; но если Пруссия, которая теперь в гораздо худшем положении, чем была Австрия после Аустерлица, согласится на мир?

Фридрих-Вильгельм жил тогда в Мемеле, чтобы быть на всякий случай как можно ближе к России; в Мемель явился к нему французский генерал Бертран с мирными предложениями от Наполеона: «Жалко стало императору французов видеть, как Россия затрудняет заключение мира и Пруссия продолжает страдать от войны; императору хотелось узнать поближе Польшу, и теперь он убедился, что эта страна не должна иметь независимого существования; император поставил себе в славу возвратить королю его владения и его права; ему желательно одному приобрести за это благодарность, без чьего бы то ни было вмешательства. С этой точки зрения легко было бы согласиться на условия, которые дали бы королю возможность снова приобрести силы, необходимые для получения прежнего места среди государей европейских. Вследствие всего этого император ожидает, что король пришлет к нему доверенное лицо для заключения мира, посредством которого он может очень скоро возвратиться в свои замки. Император Наполеон не требует от короля никакого пожертвования относительно союзников и друзей, он дает ему право улаживаться с ними, как он сочтет для себя выгодным, а император сам по себе будет иметь дело с Россией и Англией, и, как скоро между Францией и Пруссией мир будет заключен, французские войска немедленно очистят прусские владения».

Смысл был ясен: мир Франции с Пруссией прекратит войну, французские войска оставят Пруссию; Россия поневоле, не имея, с кем сражаться, уведет свои войска; Наполеон с торжеством возвратится во Францию, как после Аустерлица: он одним ударом сокрушил монархию Фридриха II, гордую своим войском, перед ним русские отступили после резни при Эйлау; Пруссия, счастливая тем, что могла получить мир не столь тяжкий, не скоро опомнится от поражения, не скоро задумает мешать планам йенского победителя; Австрия также; а это изолирует Россию, уничтожит возможность континентальных коалиций. Но первая часть речей, переданных Бертраном, была уже слишком наивна, била совершенно мимо, указывая прямо, что предлагающий находится в неприятном положении и потому принимать эти предложения не следует.

В совещании у короля министр иностранных дел, заменивший Гаугвица, генерал Застров признавал необходимость принять предложения Наполеона; Гарденберг говорил против, и король

согласился с ним. 5 марта (н. ст.) Фридрих-Вильгельм отправил к императору Александру только что полученное письмо Наполеона, причем писал: «Язык его носит печать умеренности, но я вам предоставляю судить, должны ли мы этому верить. Он предлагает также перемирие». «После всего того, что произошло в последнее время, — отвечал Александр, — было бы верхом ослепления надеяться получить прочный и честный мир одиночным соглашением с Францией. Отдельный мир между вашим величеством и Францией будет только средством временным и мнимым, Пруссия увидит себя осужденною остаться под игом Франции. Наши средства еще довольно значительны и дают нам возможность продолжать борьбу с энергией. В то же время умоляю ваше величество подумать, что я должен сделать по обязанностям моим к собственной стране, если я должен остаться один. Гоню от себя эту мысль, и сердце мое говорит мне, что с таким союзником, как вы, подобное опасение невозможно. Если бы Бонапарт хотел искреннего соглашения с вашим величеством, то он сообщил бы вам основания этого соглашения. Он бы обратил внимание на прочность уз, связывающих Пруссию с Россией; он бы сообразил, что ваше величество, изведав по печальному опыту его двоедушие, никогда не согласитесь отделить свои интересы от интересов союзнических, но ему ни до чего дела нет, и самая крайность его бесстыдства является для меня новою причиною причислить и эти коварные предложения к таким хитростям, которые он так любит употреблять и которые так часто служили ему с успехом для того, чтоб ослаблять усилия, против него направленные, и сеять несогласие между противниками. Бонапарт изъявлял также желание мириться с Россией и Англией, но и здесь та же неопределенность, не допускающая никакого доверия. Россия достаточно доказала, что она хочет мира не мнимого, которого выгоды исключительно были бы на стороне Франции, она хочет мира справедливого и прочного; то же должно предполагать и со стороны Англии. Так пусть Бонапарт объяснится точно и прямо об условиях, на которых он хочет мириться с Пруссией, Россией и Англией, и он увидит готовность этих государств уступить все, что совместно с их интересами и достоинством».

2 апреля (н. ст.) приехал в Мемель император Александр. К нему приступили со всех сторон с политическими и военными планами.

Гарденберг, которого император хотел непременно сделать министром иностранных дел вместо Застрова и достиг наконец своей цели, — Гарденберг предлагал употребить все усилия, чтобы поднять Австрию против Наполеона и побудить Англию помогать решительнее. Император Александр, разумеется, был с этим совершенно согласен, но ни Австрия, ни Англия не двигались. Гарденберг предполагал, что Пруссия не в состоянии сопротивляться малейшему удару со стороны Франции, если не сделать ее сильнее увеличением территории, лучшим округлением и лучшими границами: Наполеон, чтобы отвлечь Саксонию от Пруссии, сделал саксонского курфюрста королем; по мнению Гарденберга, хорошо было бы этого нового короля перевести в Польшу, а Пруссию за потерю польских областей вознаградить Саксонией.

И это было принято во внимание, но нельзя было делить шкуру, не убивши медведя. Чтобы убить медведя, предлагались разные планы, но ни одного из них нельзя было принять. Находясь в крайнем затруднении, не находя ни между своими, ни между чужими людей, которых можно было бы выставить против Наполеона, император Александр пришел к мысли заняться самому изучению военного искусства — сначала теоретически, для чего принял в свою службу из прусской генерала Фуля, имевшего известность отличного теоретика, хотя и сомневались в его способности прилагать к делу свои познания.

Любопытный проект военно-политического свойства был представлен князем Радзивиллом: никто не сомневался в намерении Наполеона употребить Польшу орудием для достижения своих целей в Восточной Европе, то есть для подчинения и ее своему влиянию, как подчинялась ему Западная Европа; отсюда у людей, боровшихся с Наполеоном, естественно, должна была явиться мысль идти тем же ходом, употреблять Польшу орудием против Наполеона, но Польшу можно было поднять против кого бы то ни было только обещанием ее восстановления. О чем до сих пор только тайком толковалось в петербургских дворцах между императором Александром и другом его юности князем Чарторыйским, о том теперь явно рассуждалось в совещаниях между государями и их министрами. Мы видели, что Гарденберг предлагал восстановление Польши с чисто прусской точки зрения: отдать Польшу саксонскому королю, а Саксонию присоединить к Пруссии, но это могло случиться, разумеется, только

при сведении счетов после поражения Наполеона. Радзивилл предлагает другое: поляки поднимаются по внушению Наполеона, который манит их независимостью; надобно возбудить между ними восстание противоположное — против Наполеона, обещая им независимость со стороны Пруссии и России. Король Прусский должен был принять титул короля Великой Польши, император Русский — титул короля Литовского, великого герцога Подольского и Волынского; оба государя должны устроить польские легионы и тем отвлечь поляков от Франции; князь Радзивилл хотел сам стать в челе прусско-польских легионов. Король был согласен на проект Радзивилла, который собрался в мае месяце ехать в Вену чрез Галицию, чтобы по дороге переговорить с разными поляками.

Но что же главнокомандующий Беннигсен — какие были его планы? Он о них молчал, и напрасно император Александр предлагал ему произнести суждение о чужих планах или начертать свой. Беннигсен упорно молчал; молчал и человек, пользовавшийся полною его доверенностью, — генерал-квартирмейстер Штейнгейль; и вот образуется мнение: генерал Беннигсен — человек лично храбрый и хладнокровный на поле сражений, но у него нет способностей главнокомандующего, ему чужды великие стратегические замыслы, притом же он человек болезненный. Решение насчет справедливости этого приговора мы предоставляем специалистам, военным историкам. Мы сообщим только результат своих наблюдений. Мы видим, что лучшие генералы в борьбе с Наполеоном имеют один план: они советуют прежде всего не начинать с ним войны; когда же война начата, стараются уклониться от решительных битв, отступают; принужденные принять сражение, даже когда им удавалось сделать исход его нерешительным, они опять отступали, поставляя главным средством успеха завлечь гениального полководца в положение для него новое, крайне затруднительное, воспользоваться особенными условиями места и времени года, наконец, задавить многочисленностью.

План тяжкий для личного и народного самолюбия, но тем более мы должны поставить его в заслугу людям, которые им руководствовались. Мы видели поведение эрцгерцога Карла, поведение нашего Кутузова, его нежелание принять Аустерлицкое сражение. На него пало обвинение, зачем он ненастойчиво высказал

это нежелание, зачем не отступил в Венгрию и т. д. Генерал, которому суждено было иметь главное начальство над русскими войсками во второй борьбе с Наполеоном, хорошо воспользовался опытом прошлого: он избегает наступательных движений; принявши поневоле сражение, выдержавши резню, он отступает, он протягивает время, затягивает неприятеля; Наполеону теперь еще желательнее, чем в 1805 году в Моравии, сразиться с неприятелем, победить его, кончить войну и с торжеством возвратиться во Францию, которую нельзя оставлять на такое долгое время; Беннигсен твердо стоит на том, чтобы не исполнять желание врага, не давать ему битвы. План его ясен; зачем же Беннигсен молчит? Высказаться трудно: он в таком же положении, в каком был Кутузов в Моравии.

Нет ничего затруднительнее, как вести войну в земле союзника, для поддержания, спасения которого война и ведется. Народ потерпел страшное поражение; земля его занята неприятелем самым бесцеремонным образом в отношении к побежденным, но остается надежда избавления: идет союзное войско! Чем сильнее страдания, тем сильнее желание избавиться от этих страданий как можно скорее; все сторают от нетерпения, чтобы союзное войско поспешнее сразилось с неприятелем, побило его, выгнало из страны. В этой болезненной нетерпеливости избавиться от бедствий никто не рассуждает, что борьба идет с первым полководцем века, что первая обязанность его противника быть Фабием в отношении к новому Аннибалу. Медленность в движениях, избегание решительных битв, продолжая бедствия войны, страдания народа, вызывают вопли негодования, проклятия против медленного полководца. Больной в страшных спазмах кричит, чтобы лекарь как можно скорее дал ему чего-нибудь, что бы сейчас же облегчило его страдания, а лекарь говорит, что таких средств нет, что надобно потерпеть, припадок пройдет сам собою, надобно действовать медленно и радикально против причины болезни; естественно, против лекаря раздаются проклятия со стороны больного и людей, к нему близких: что это за лекарь? нет у него средств прекратить немедленно страдания! Такие же вопли раздавались против Беннигсена от болезненно нетерпеливых пруссаков.

А тут еще новые причины к неудовольствиям. Продовольственная часть в русском войске далеко не отличалась правильностью и

бескорыстием людей, ею заведовавших; разделения занятий не было: все зависело от главнокомандующего, который был обременен не свойственными ему занятиями. Если голодные солдаты воспользуются случаем утолить свой голод на счет местных жителей, то отсюда новые вопли: «Союзники вместо помощи разоряют землю! Москвитяне думают об одном — как бы опустошить страну и защитить себя этою пустынею. Если Австрия и Англия нам не помогут, надобно хлопотать о мире. Русские не избавят нас от ига; предположим, что вместо Беннигсена будет другой полководец, который будет после своих побед ходить вперед, а не назад, то мы все же получим от него не страну, а пустыню».

Относительно беспорядков по части продовольственной обвиняли самого главнокомандующего, по крайней мере его жену, будто бы бравшую богатые подарки. Мы не имеем теперь средств ни принять, ни отвергнуть этого обвинения, но легко понять, как подобное мнение вредило Беннигсену, тем более что личные средства защиты были у него слабы: он не мог быть популярен в войске, ибо не только носил иностранную фамилию, что несколько не мешало бы ему быть истым русским и популярным между русскими, но он не владел русским языком, не мог говорить с солдатом. Говорят, что сознание этого бессилия своего, невозможности приобретения популярности заставляло Беннигсена быть слабым относительно нарушения дисциплины, что имело чрезвычайно вредные следствия и не могло ни в ком поднять уважения к главнокомандующему, тем менее в недавних товарищах его, генералах, которые простили бы внезапное возвышение победителю-полководцу, блистательно ведущему кампанию, но не хотели оказывать должного уважения человеку, отступавшему или державшему войско в бездействии, скрытному и — к довершению всего — нерусскому. Вражда генералов к Беннигсену достигла такой степени, что государь принужден был отправить к войску Новосильцева для потушения этих распрей, но этот самый приезд Новосильцева для того, чего Беннигсен сам не мог сделать, не мог поднять значения последнего. Наконец, на Беннигсене лежало пятно участия в мрачном событии, предшествовавшем воцарению императора Александра. Жозеф де-Местр писал по этому случаю: «Внутренний голос говорит мне, что спаситель Европы не должен называться Беннигсеном».

Благодаря всему этому император Александр по приезде своем в Пруссию находился в самом затруднительном, печальном положении. Он вел войну для избавления союзного государства, но союзники не отходили от него с жалобами, что обещанного избавления нет, что война не ведется, что после битвы при Эйлау, произведшей такое сильное впечатление, русская армия почти четыре месяца стоит в бездействии: как смел Беннигсен вызвать императора к армии, чтобы сделать его свидетелем такого позора? Государь обращается к главнокомандующему: какой его план, когда же наконец и куда он двинется? Главнокомандующий молчит, не решается сказать государю, требующему движения вперед, что его план состоит в совершенно противном, что он не считает возможным действовать наступательно против Наполеона, а хочет выжидать, отступать, затягивать. Отсюда отношения, которые не могли повести ни к чему хорошему. Император Александр был подозрителен, не любил людей хитрых, скрытных и сейчас же заподозрил Беннигсена в этих качествах, следовательно, оттолкнулся от него; за подозрением в хитрости, естественно, следовало подозрение в неспособности, которую хотелось скрыть отнекиваниями и отмалчиваниями, и, конечно, не было недостатка в людях, которые утверждали государя в этом мнении; досада была тем сильнее, что надобно было признаться в своей ошибке: император прежде имел высокое мнение о способностях Беннигсена. Но этого было мало. Беннигсен отговаривался от движения, указывая на недостаточность продовольствия, но вокруг государя говорили, что Беннигсен сам виноват в этом. Государь взял у него продовольственную часть и поручил старику Попову, известному своею деятельностью при Потемкине. Это, разумеется, оскорбило Беннигсена; оскорбляло его и то, что государь и по чисто военным делам больше обращался к другим, чем к нему. Беннигсен жаловался, что к нему нет доверия, что ему связывают руки, и прямо объявлял, что будет просить увольнения по причине болезни — болезни действительно тяжкой.

Наконец, к довершению затруднений между русскими и людьми, близкими к государю, приехавшими вместе с ним в Пруссию, образовалась сильная партия, требовавшая мира, с двумя оттенками: одни говорили, что нельзя из-за чужого — прусского — интереса приносить такие жертвы людьми и деньгами; другие признавали, что

война начата в общих европейских, а следовательно, и русских интересах, но теперь нет средств продолжать ее. Главами этой партии были так называемые «неразлучные» (inseparables): Чарторыйский, Новосильцев и Строганов. За войну сильнее всех стоял министр иностранных дел Будберг. Партия мира усилилась с приездом в главную квартиру, по дороге в Вену, князя Александра Бор. Куракина, пользовавшегося особенною доверенностью императрицы Марии Федоровны. И желавшие продолжения войны, и желавшие мира, и Будберг, и Чарторыйский с Новосильцевым обратились к Куракину с просьбою убедить государя возвратиться в Петербург или по крайней мере утвердить свое пребывание в каком-нибудь близком к границам русском городе. Но убеждения были напрасны: кроме живой природы, не допускавшей императора быть зрителем издалека важнейших для него событий; кроме неудовлетворительного хода этих событий, чему государь считал своею обязанностью помогать непосредственно, у императора Александра была еще цель, которую он высказал Куракину: наблюдать за пруссаками.

Потом Чарторыйский и Новосильцев открыли Куракину свои взгляды насчет войны и мира: по их мнению, благоприятная минута для начатия переговоров с Наполеоном была пропущена: это после битвы при Эйлау, когда он не получил еще подкреплений, нуждался в продовольствии и был ошеломлен стойкостью русского войска. Они, Чарторыйский и Новосильцев, представляли тогда об этом императору на словах и на бумаге, но их представления не имели успеха; они сильно желают мира и не ждут ничего хорошего от продолжения войны; они жалеют, что у России такая тесная связь с Пруссией, и боятся, что ответ, ожидаемый из Вены, будет уклончивый, ибо там увидят, что мы находимся под прусским влиянием и наши требования менее служат к удовлетворению наших интересов, чем прусских. Если бы мы ценою всех наших пожертвований достигли восстановления Пруссии по всей целости, то никогда мы не можем положиться на продолжительную преданность Пруссии: как только мир будет заключен, она опять по слабости и привычке подпадет под власть Франции. Чарторыйский и Новосильцев обратились даже к Гарденбергу с представлениями о необходимости мирных переговоров с Наполеоном. Положение Гарденберга было крайне неприятное, потому что император Александр прямо запретил ему говорить о

политике с Новосильцевым, а только с одним Будбергом. Между последним и Чарторыйским была вражда: кроме разницы во взглядах Чарторыйский питал естественное нерасположение к человеку, его заместившему в заведовании иностранными делами, и Будбергу было неприятно, что экс-министр все еще пользуется большим значением. Чарторыйский и Будберг взаимно унижали друг друга перед Гарденбергом; Будберг твердил, что император ни слова не говорит о политике ни с Новосильцевым, ни с Чарторыйским, и прибавлял, что у последнего одно в голове — восстановление Польши.

Во второй половине мая начались значительные военные действия, в которых русские имели явный успех, но в отзывах императора Александра выражалось раздражение против главнокомандующего — мнение, что трудно ожидать от него чего-нибудь важного. Император объявил, что посмотрит, как будет действовать Беннигсен, и если опять остановится, то будет сменен генералом Эссеном 1-м, между тем Куракин писал императрице Марии: «Не перестаю повторять, что, не теряя времени, надобно подумать о мерах, по обстоятельствам необходимых для наших истинных интересов. Здесь одно желание у всех — желание мира. Новосильцев и Чарторыйский продолжают утверждать, что, чем долее будут отлагать, тем менее мир будет выгоден, и я думаю согласно с ними. Пруссия продолжает войну, потому что мы этого хотим и потому что она нас боится. Пруссаки, министры и генералы, дипломаты и военные, единодушно желают мира и кричат, что война опустошает их страну без всякой цели». Сказавши о последних блестящих действиях русских войск, Куракин продолжает: «...по умеренному счету, мы уже потеряли до 30.000 людей, не приобрета никаких важных выгод, и если бы даже мы одержали более решительную победу, то недостаток в продовольствии и трудность его приобрести помешает нам преследовать неприятеля и двигаться далеко вперед. Что я говорю — повторяется всеми, повторяется военными, самыми опытными в своем деле. Как же не желать окончания такой упорной и кровопролитной войны, которая может увеличить затруднения и жертвы всякого рода и вести только к потерям и бедствиям?»

Неожиданный приезд великого князя Константина Павловича еще более усилил это мирное настроение. Между великим князем и Чарторыйским, с одной стороны, и Будбергом — с другой, был

сильный спор: Будберг горячо доказывал необходимость и возможность продолжения войны, говорил, что наша армия еще не разбита, что у нас есть еще большая армия в резерве, что мы можем положиться на верность наших польских провинций и вообще император может рассчитывать на свой народ. Чарторыйский возражал, что Будберг сильно ошибается насчет наших польских подданных, что они поднимутся против России, как только Бонапарт перейдет наши границы; а великий князь прибавил, что нет никакой большой армии в резерве, а только 35.000 человек, что у нас нет ни оружия, ни припасов, ни денег, а что касается народа, то он знаменит храбростью и преданностью государям, но что он должен быть защищаем правильными военными силами, а сам не может сопротивляться победоносной армии, когда та нападет на него.

Между тем Чарторыйский и Новосильцев опять обратились к Гарденбергу, чтобы он склонил императора и короля к открытию мирных переговоров с Наполеоном. Гарденберг отвечал, что каждый день ожидают известия от лондонского и венского дворов и, когда эти известия отнимут всякую надежду на поддержку, тогда только можно будет приступить к мирным переговорам. Гарденберг все ждал, что Австрия объявит себя против Франции. По его словам, у него всегда был в голове план немецкого союза, главами которого с равным вполне интересом были бы Австрия и Пруссия, одинаково сильные, чтобы поддерживать свою независимость и свои права против России и Франции; теперь для оправдания своего плана он ссылаясь и на то, что в русских отношениях большой беспорядок. В начале осени 1806 года, когда Пруссии грозил разрыв с Францией, берлинский двор высказал венскому желание, чтобы австрийские войска были сосредоточены в Богемии и в нужном случае без потери времени соединились с прусским и саксонским войсками, ибо Австрия и Пруссия фактически находятся в тесном соединении и падение одной влечет за собой неминуемо и падение другой.

В Вене, разумеется, естественно рождался вопрос: почему берлинский двор не находил такой тесной связи между обоими государствами, когда недавно Пруссии для поддержания Австрии следовало сделать именно то, чего она теперь желает от Австрии? По мнению Стадиона, только страх заставлял Пруссию сближаться с Австрией; чтобы не нести одной всей тяжести войны и разделить

опасность или совершенно отклонить ее от себя, она желает загородиться Саксонией и Австрией. Решили признать принцип взаимного охранения, но этим и ограничиться; наблюдать осторожность в выражениях, чтобы в них не заключалось ничего более, кроме надежды, чтобы не было ничего похожего на обещание; а император Франц наказывал Стадиону, чтобы содержание депеш, отсылаемых в Берлин, сделать в еще более общих выражениях и менее обязательным. Но в Вене хотели воспользоваться удобным случаем, чтобы начать вооружения, не возбуждая против себя гнев Наполеона: когда он спросит, зачем идут вооружения, отвечать, что хотят составить наблюдательный корпус против Пруссии.

Наполеон по обычаю не хотел драться с двумя врагами вдруг и по обычаю закидал пестрыми речами графа Меттерниха, австрийского посланника в Париже. «Я не хочу, — говорил он, — быть германским императором, я хочу только некоторые земли теснее соединить с Францией, что делали и прежде французские короли и без чего Австрия и Пруссия прикарманили бы себе Германию. Я не хочу от вас ничего более; мы теперь будем жить мирно. Я знаю вашу армию: она так же хороша, как и моя, только деморализована. Мой солдат идет на битву с уверенностью в победе, а у вас — наоборот: вы можете бить пруссаков, русских и турок, но никогда — французов. Поверьте мне, все требует времени, и вы нуждаетесь в покое. Новая коалиция подвергла бы Австрию большим опасностям; две первые имели религиозную цель: то была борьба религии против неверия, монархии против республики. Генуя не была причиною войны; зачем вы ничего не требовали? Хотите знать основания прусских вооружений? Люккезини распространил слух, что я при переговорах с Россией поставил условием восстановление Польши под властью Константина, а герцог Клевский (Мюрат) должен приобрести Вестфалию. И вот прусский король бросает миллионы за окно, а я над этим смеюсь. Константина посадить на польский престол! Мысль об европеизме и здравая политика должны это отвергнуть. К чему тут русские? У меня 200.000 солдат в Германии; Пруссии надобно четыре месяца для окончания своих вооружений: я буду скорее в Берлине. Что прусская армия хочет драться — понятно, потому что она со мною еще не мирилась. Я хочу мира. Когда хотят создать флот, то нельзя драться на суше; тратить 250 миллионов ежегодно на корабли да еще держать

500.000 войска — дело неподходящее. А если бы Англии не было! Господь Бог нашел Францию уже очень красивою и потому посадил ей шишку: эта шишка — Англия!» Талейран предлагал Меттерниху союз между Австрией и Францией, предлагал забыть недавнее прошедшее и помнить, что лучшее время для Франции и Австрии было то, когда они были соединены теснейшим союзом. Но в Вене не хотели союза, то есть полного порабощения; Стадион твердил, что надобно пользоваться обстоятельствами и как можно скорее вооружаться. «Каждый час дорог, — писал он, — и малейшее промедление в такое важное время может потом повести к гибели монархии». Относительно России в Вене было решено поступить точно так же, как и относительно Пруссии; Стадион предписывал австрийскому посланнику в Петербурге говорить так, чтобы не отнимать у России надежду иметь Австрию впоследствии своею союзницей, но быть при этом крайне осторожным, чтобы не высказать чего-нибудь такого, что могло бы быть сочтено за обещание или обязательство.

Хотя в Вене не ожидали и не желали блестящих успехов Пруссии в войне, но весть о совершенном погроме Пруссии после Иены и Ауерштедта страшно перепугала. «Такой же разгром грозит теперь всей Европе», — писал Стадион. Не знали, что делать; император Франц спрашивал у всех мнения. Разумеется, нашлись люди, которые советовали сделать то, что в старину делали жители деревень при первом крике нападающих разбойников, — лечь ничком и не шевелиться, пока разбойники будут всем распоряжаться; нашлись люди, которые советовали принять совершенно пассивную политику и прекратить вооружения. Последнего не исполнили — в Богемии ввели войско, несмотря на запросы с французской стороны, задаваемые вместе с требованиями союза. Так как война затягивалась вследствие участия в ней России, то Наполеону нужно было не только удержать Австрию в нейтралитете, но и вступить с ней в союз, чтобы отнять у коалиции всякую надежду иметь ее когда-либо на своей стороне. Французский посланник в Вене Ларошфуко не требовал от Стадиона, чтобы Австрия соединила свои войска с французскими, а только чтобы был заключен договор, где бы стояло слово «союз»; за это Австрия получит что-нибудь, а в случае отказа придется ей нехорошо: союз будет заключен между Францией и Россией.

Угроза эта для Австрии соединялась с двумя вопросами — Польским и Восточным. В Париже толковали о восстановлении Польши и называли будущим королем ее Иеронима, брата Наполеона. Меттерних писал, что сообщаются статистические сведения по вопросу, будет ли Австрия достаточно вознаграждена Силезией за уступку Галиции. Император Франц боялся восстания поляков в Галиции, боялся, что Наполеон убедит императора Александра сделать противоположное тому, на что Фридрих II-й уговорил Екатерину, — отказаться от Польши и получить за это богатое вознаграждение на счет Турции. Франц не верил также и выходке Наполеона насчет занятия польского престола русским великим князем; боялся, что Наполеон согласится на это, чтобы только Россия не помогала Пруссии. «Вообще, я боюсь, — писал Франц, — что Франция и Россия, наконец, согласятся поделить между собою Европу, что всего опаснее для нас». Разрыв между Россией и Турцией по интригам Франции страшно беспокоил венских государственных людей; боялись успехов России в Турции; боялись, что Наполеон на помощь султану пошлет свои войска чрез австрийские владения. «Пламя войны, зажженное на Востоке, произведет пожар в целой Европе», — писал Стадион. И с русской стороны не скрывали, что готовы на всякие соглашения для изгнания турок из Европы, что если Россия приобретет Молдавию и Валахию, то Австрия может приобрести Сербию, Боснию и турецкую Кроацию.

В Вене чувствовали себя очень неловко, и господствующее мнение было, что Россия покинет Пруссию и воспользуется случаем, чтобы удовлетворительно для себя решить Восточный вопрос, — как вдруг получается известие, что из Петербурга отправлено особое лицо для переговоров с австрийским правительством, — лицо, хорошо известное в Вене: то был Поццо-ди-Борго, корсиканец, один из глав национальной партии на острове, ведший ожесточенную борьбу с французами и их приверженцами, к которым принадлежали Бонапарты. При торжестве национальной партии Бонапарты были изгнаны, но когда французы овладели островом, то пришла очередь Поццо покинуть отечество; он приютился сначала в Англии, потом в 1804 году вступил в русскую службу, удержав из своего прошлого заклятую ненависть к Бонапартам. Легко было догадаться, с какими предложениями мог явиться полковник русской службы Поццо-ди-

Борго в конце 1806 года. Он передал императору Францу письмо от императора Александра: «Как бы ни была велика уверенность русского государя в своих собственных средствах для поддержания своих прав, не может он, однако, при настоящих обстоятельствах надеяться один спасти Европу от удручающих ее зол. У государя Австрийского в распоряжении значительные силы и выгодное положение: судьба мира будет зависеть большею частию от его решения. Война, которую французы ведут в Польше, направлена одинаково и против безопасности австрийских владений. Какой государь более императора Австрийского испытал лживость французских обещаний? Если он теперь решится вступить в войну, то император Всероссийский не положит оружия до тех пор, пока не достигнет всего того, что необходимо для будущей безопасности обоих государств». Хорошо знали, что главным противником войны против Наполеона будет эрцгерцог Карл, и он получил лестное письмо от русского императора: «Одним из самых действительных средств к победе император считает содействие и великие таланты эрцгерцога, который в предстоящей борьбе, конечно, увидит случай приобрести славу, подобную которой не знает история».

Начались переговоры с Поццо; английский посланник, при них присутствовавший, спешил устранить главное препятствие соглашению между Россией и Австрией, поручившись, что Россия, пока находится в союзе с Англией, не приобретет ничего из турецких областей. Несмотря на то, переговоры не повели ни к чему; и письмо к эрцгерцогу Карлу не помогло: по-прежнему высказался он сильно за мирную политику, и решили соблюдать нейтралитет, но ни у Франции, ни у России не отнимать надежды на будущее. «Австрия, — объявил Стадион Поццо, — основывает свою систему не на общих положениях относительно критического состояния Европы, но на точном и хладнокровном расчете своих собственных отношений. Россия сама затруднила решение Австрии в пользу коалиции своим поведением относительно Каттаро и военным движением против Порты; Австрия не может принять предложения императора Александра, не ставя на карту существования монархии».

Отделались и от французского союза. Наполеон предоставил Австрии на выбор — удержать за собою Галицию или променять ее на Силезию. Таким образом, Силезия была такою же приманкою для

Австрии, как Ганновер для Пруссии. Но в Австрии не пошли на удочку; Стадион отвечал, что императору не угодно меняться владениями и что Силезия как страна, еще не завоеванная французами и не уступленная им никаким трактатом, не может быть предметом переговоров.

Но, отделавшись от союза с обеими сторонами, не хотели оставаться в страдательном положении, хотели приобрести даром важное значение посредников, примирителей; принять это значение побуждала и боязнь: а что, если воюющие стороны помирятся и Австрия останется предметом неприязни для обеих? В главную французскую квартиру отправился из Вены генерал Винцент, который в самом конце 1806 года нашел Наполеона в Варшаве и был закидан, по обычаю, пестрыми речами: «Зачем Австрия вооружается? Насчет Польши могут быть покойны в Вене: желания польских ветрогонов исполнены не будут с французской стороны. С Россией надобно покончить и обеспечить независимость Порты, чему Австрия может содействовать, не впутываясь в войну. Что касается Пруссии, то судьба хотела, чтоб император французов уничтожил против своего желания истинную союзницу турок и свою собственную союзницу против России и Австрии. С Австрией он не прочь от союза, и рано или поздно союз будет». Когда Винцент упомянул о посредничестве, то Наполеон отвечал: «Я этого не требую, но и не отвергаю; с Пруссией я уже начал сношения; с Россией я веду войну только из-за Порты; если в России захотят отстать от восточных планов, то я ничего больше не потребую; затем будет следовать мир с Англией, которая также не может смотреть равнодушно на занятие Молдавии русскими». Тут Винцент, не понявши, что Наполеон никак не хочет допустить, чтобы кто-нибудь взял что-нибудь у турок, проговорился очень некстати, что Австрии желательно иметь свою долю в добыче. «Австрийский интерес требует, — сказал он, — не позволять России овладеть Белградом и Оршовой, и если бы Австрия была обеспечена с французской стороны, то заняла бы эти места». Наполеон притворился, что не понял смысла слов Винцента, повернул этот смысл так, что Австрия хочет занять названные города только временно, для турок, и отвечал: «Я ничего против этого не имею, если Австрия согласится наперед с Портою, но во всяком случае австрийцы должны явиться в пределы Порты переодетые турками или сербами.

Придет время, когда я, которого представляют злейшим врагом Австрии, явлюсь пред Веною с 100.000 войска, чтоб защищать Австрию против русских».

Увидавши, какое чувствительное место составляет для Австрии Восточный вопрос, с французской стороны тотчас воспользовались им как ловушкою. Талейран предложил Винценту уладиться насчет восточных дел, и из этого соглашения разовьется союз, основанный на взаимных интересах; только Франция и Австрия могут иметь решительный голос относительно судьбы Порты; Австрия союзом своим с Францией может принудить Россию к миру. Но в Вене упорно отвергали союз, настаивая по-прежнему на посредничестве, тем более что из Петербурга приходили успокоительные известия насчет Турции: Россия соглашалась заключить мир с Портою без всяких приобретений; в Петербурге принимали и мысль Стадиона о всеобщем конгрессе. Россия предлагала не трогать турецких владений, но Наполеон из слов Винцента догадался о желаниях Австрии и предложил заключить договор, тайный или явный — все равно, в котором бы постановлено было делить Турцию или оставить ее в целости. Но и эта приманка не помогла. Стадион говорил императору Францу, что вступить в союз с Францией при настоящих обстоятельствах, отделиться от остальной Европы, вступить в дружбу с Наполеоном и способствовать к собственному вреду укреплению перемен, произведенных с Пресбургского мира в Италии и Германии, принять участие в войне и биться против собственных интересов было бы в его глазах величайшим несчастьем.

В Вене постоянно ставился вопрос: кто опаснее для Австрии: Наполеон или Россия? На этот вопрос Стадион отвечал: «Настоящие отношения Франции к Австрии сокрушают наши государственные силы, отнимают независимость у нашей политики, высасывают все средства администрации; уже и теперь это настоящее порабощение; что же будет, когда военным счастьем такие отношения утвердятся навсегда? Ничего подобного нет в отношениях к России, импонирующей извне своею массою, пред которою мы никогда не будем в равенстве. При военном счастье по географическому положению России ее влияние на Западную Европу никогда не может превратиться в господство, каким пользуется теперь Франция, и Россия всегда будет принуждена делить влияние с нами. Наша

настоящая слабость пред Россией происходит большею частью от гнета, уничтожающего все наши государственные силы, и как скоро мы избавимся от политического ига Франции, то это даст нам в будущем силы выставить надлежащее сопротивление и русскому преобладанию. Нельзя отрицать, что внешние обстоятельства с последнего ноября чрезвычайно выгодны для Австрии. Все, чего мы желали, случилось. Две великие силы Европы борются друг с другом и взаимно себя ослабляют. Война удалась от наших пределов; у нас пятью месяцами более времени для восстановления своих сил. Если мы теперь этим не воспользуемся, то мы пропадем, и по своей вине пропадем».

Как в недавние времена при Кобенце, воинственному министру иностранных дел возражал миролюбивый полководец, тот же эрцгерцог Карл. «Войска собраны, — писал он, — но находятся далеко не в удовлетворительном состоянии, многого недостает, все еще молодо, в зародыше. Новая выставка военных австрийских сил без соглашения с Наполеоном есть объявление войны. Наполеона обмануть нельзя». Голос полководца пересилил голос министра. Стадиону оставалось одно посредничество, и 1-го апреля (н. ст.) Австрия предложила его обеим воюющим сторонам. Наполеон принял предложение с условием шестимесячного перемирия и чтобы прежде всего было упомянуто о целостности Порты. Для каждого было ясно, что Наполеону нужно было побывать во Франции и приготовить громадные средства для борьбы, чтобы решить ее поскорее в свою пользу, и для этого он требовал шестимесячного перемирия. Будберг отвечал, что Россия согласна на австрийское предложение, если венский двор представит с французской стороны основания для мира, могущие успокоить насчет успешного окончания переговоров. В том же смысле был и прусский ответ. Надежда на блестящую роль примирительницы исчезла для Австрии, а между тем приходили страшные вести, что воюющие стороны хотят заключить мир и без нее. В Вене засуетились, начались толки, переговоры о приступлении к коалиции; решили отправить Штуттергейма в русскую главную квартиру, чтобы поддержать сторонников войны, отклонить отдельный мир; а между тем громко раздавался голос австрийской Кассандры, эрцгерцога Карла: «Как только вы вступите в войну с Францией, армия

неприменно потерпит поражение и государство будет разрушено!» В Вене продолжали суетиться, Штуттергейм не уезжал...

Австрия была неисправима в своем отставании — ее нельзя было дожидаться; Англия, в которой прежде так смеялись над отставанием Австрии, последовала ее примеру. Знаменитых соперников — Питта и Фокса — более не было, и шла борьба между их партиями, которая мешала заняться как должно европейскими делами. Коалиция не существовала; император Александр один на развалинах Пруссии должен был вести борьбу с Наполеоном, осаждаемый людьми самыми близкими, которым он привык доверять, и эти люди твердили о необходимости мира, о невозможности продолжать войну; главнокомандующий был того же мнения — если двигался, то двигался поневоле; военные действия возобновились, и с успехом; но после успехов Беннигсен по-прежнему отступает, что раздражает и приводит в отчаяние пруссаков, которые приступают с жалобами к императору. То же самое роковое положение, какое было и перед Аустерлицем! Когда пришла весть, что Беннигсен отступил после удачного для него сражения под Гейльсбергом, Гарденберг приступает к императору с представлениями, что в армии у него интриги в пользу мира, что брат его, цесаревич, во главе мирной партии.

Александр с жаром отвечает, что относительно великого князя все неправда и что все старания помешать достижению цели поведут только к противоположному. В армию отправлен был Попов с полномочием отнять у Беннигсена главное начальство и передать его генералу Эссену, если Беннигсен не двинется вперед. Наконец 2-го июня Александр был выведен из невыносимого положения, хотя лекарство было так же тяжело, как и болезнь: 2-го июня больной Беннигсен потерпел поражение под Фридландом.

Нет сомнения, что император Александр имел в виду мир в случае неблагоприятного исхода решительной битвы и потому немедленно согласился на представление Беннигсена о необходимости перемирия вследствие печального состояния армии, немедленно согласился и на предложение Наполеона начать тотчас же переговоры о мире. Война должна была продолжаться только в том случае, если бы Наполеон потребовал тяжелых условий для России и слишком тяжелых для Пруссии. Война, разумеется, могла продолжаться не иначе как она велась после, в 1812 году: русские войска должны были перейти свои

границы, отступать внутрь страны, не давая битвы и завлекая все далее и далее. Конечно, естественно прийти к мысли, что дело должно было увенчаться успехом, как увенчалось им после, и, следовательно, Европа выиграла бы шесть лет. Но историк не может рассуждать таким образом. Каждое дело постепенно развивается, зреет и достигает полного развития, зрелости тогда только, когда соединяются все благоприятные для того условия.

В 1807 году война велась, во-первых, из-за Пруссии, чтобы не дать этому государству исчезнуть с карты Европы и не сблизить русские границы с границами Наполеоновой империи; во-вторых, вследствие поднятия самых важных для России вопросов — Польского и Восточного — нельзя было позволить Наполеону распорядиться Польшею и хозяйничать в Константинополе. Перенесение войны в русские пределы не имело смысла относительно Пруссии, ибо тогда она подпадала окончательно владычеству Наполеона и Фридрих-Вильгельм должен был бы переехать в Россию; точно так же должно было бы оставить на произвол Наполеона и Польшу; что же касается Турции, то возможно ли было вести войну на Дунае, имея неприятеля во внутренних русских областях?! Наконец, вспомним, что около Александра была сильна партия мира, которая твердила, что нельзя вести такую кровопролитную и разорительную войну из-за чужих государств; что же было бы, если бы оставалась та же видимая причина войны и война эта переносилась в русские пределы?

Таким образом, перенесение войны внутрь России в 1807 году было немыслимо, исключая один случай: если бы Наполеон предложил тяжелые мирные условия. Но понятно, что Наполеон никогда не мог позволить себе предложить подобные условия Александру и затянуть войну в бесконечность переводом ее на русскую почву. Наполеон с восторгом схватился за русское предложение перемирия и потребовал немедленных мирных переговоров. Ему представился теперь желанный случай не только заключить мир, но и союз с Россией. До сих пор при всяком своем захвате, насилии он встречал протест со стороны России, которая служила опорой для всякого, кто был обижен и хотел защищаться от Наполеона; Россия подразумевалась во главе всякой коалиции против Наполеона, всякого сопротивления ему; привлечь Россию на свою сторону значило для Наполеона развязать себе руки относительно

исполнения всех замыслов, всех распоряжений в Европе, сломить всякое сопротивление; ибо кто мог восстать против него без России?

Вот почему Наполеон принял с необыкновенною ласкою и радушием генерала князя Лобанова-Ростовского, отправленного к нему императором Александром для предварительных переговоров. Он продержал его более пяти часов, говоря без умолку с необыкновенною живостью и веселостью; пригласил обедать, пил здоровье императора Александра, превозносил его похвалами, клялся, что всегда его уважал, всегда желал его дружбы, а теперь желает это доказать заключением с ним союза, полезного для обеих империй и необходимого для спокойствия Европы.

Когда Наполеон таким образом выражал свое удовольствие в неумолкаемых речах пред князем Лобановым, Александра удручала мысль, что он первый принужден был обратиться к врагу с мирными предложениями; он старался пред самим собою и пред другими оправдать этот шаг и придумывал, какие могли быть честные условия, на которых следовало помириться. Границы России должны остаться нетронутыми, иначе мир невозможен, но на руках Пруссия; Наполеон в полном праве, как завоеватель, требовать всевозможных уступок с этой стороны, и, чтобы умерить эти требования, надобно ему чем-нибудь заплатить с русской стороны: союзом с ним, разрывом с его врагами; надобно уступить относительно Восточного и Польского вопросов. «Мы потеряли страшное количество офицеров и солдат, — говорил Александр Куракину, — почти все наши генералы, и именно лучшие, ранены или больны; в армии осталось пять-шесть генерал-лейтенантов, не имеющих ни опытности, ни военных талантов. Мне нельзя продолжать войну одному, без союзников; Англия дурно вела себя с самого начала и теперь дает ничего не значащие обещания выставить 10–12.000 человек, не означая срока; субсидий обещает не более 2.000.000 фунтов в год, и эта сумма должна быть разделена между Россией, Пруссией и Австрией: этого слишком мало. Думаю, что Франция не захочет ничего потребовать из русских областей, а для возвращения Пруссии ее владений я предложу занятые нашими войсками Молдавию, Валахию и семь Ионических островов. Наконец, бывают обстоятельства, когда надобно думать преимущественно о самих себе, иметь в виду единственно благо государственное».

Александр думал о мире и его условиях; Наполеон думал о союзе, для которого готов был на уступки, еще более готов был на всевозможные обещания: это ему ничего не стоило, ибо ему ничего не стоило их неисполнение. Но прельстить обещаниями, закидать пестрыми речами, обмануть притворною искренностью, фальшивым добродушием всего легче было при личных сношениях; прельщать таким образом послов уполномоченных не достигало цели: впечатление ослабевало, исчезало при передаче; притом эти люди имели инструкции, были под властью, могущею отвергнуть все ими постановленное; другое дело, если бы можно было войти в сношения с самим самодержцем, с ним обо всем условиться один на один, его прельстить! Все самые сильные побуждения желать свидания с императором Александром были на стороне Наполеона; со стороны русского государя были также сильные побуждения вести дело непосредственно с Наполеоном. При живости своей природы Александр был страстный охотник лично вести переговоры, иметь непосредственные сношения с государями, влиятельными министрами, направлять совещания, уговаривать, улаживать; страсть усиливалась тем, что тут Александр мог твердо положиться на свои способности, мог надеяться выйти с победою; сюда присоединялась недоверчивость к людям: в одном подозревал он недостаток надлежащих способностей; в другом — нравственных качеств; в третьем при отсутствии этих недостатков подозревал какое-нибудь убеждение, не согласовавшееся с его собственным и могшее повредить в данном случае. После Фридланда, имея при себе Будберга, Чарторыйского, Новосильцева, Александр поручил важное дело ведения переговоров князю Лобанову — к общему удивлению, ибо в наружности, приемах и способностях именно к этому делу у Лобанова никто не видал достаточных условий для такого выбора. Но Будберг был горячий сторонник войны, отъявленный враг Наполеона и потому уже не годился для примирения с Наполеоном; что же касается Чарторыйского и Новосильцева, то мы видели, какое поведение позволяли они себе во время войны: они явно шли наперекор желанию императора толками о необходимости мира, о невозможности продолжать войну; как люди приближенные к государю, видные по своим способностям, они своими речами производили сильное

впечатление, смущали, отнимали дух у военных, смущали, раздражали пруссаков.

Конечно, Александр не рассердился бы на них, если бы они ему одному открыли свои мнения, убеждая к миру: он привык с ними рассуждать и спорить обо всем, но они сделали себя главами партии и дали своим действиям характер интриги. И страсть их к миру была новостью, ибо прежде они были за борьбу с Наполеоном; другое дело — князь Куракин, который постоянно, с самого начала был за мир. Здесь, в этом поведении Чарторыйского, Новосильцева и Строганова, заключается причина неудовольствия на них Александра, вследствие чего потом «неразлучные» уже перестали иметь при нем прежнее значение; по неудовольствию на их поведение до Фридланда Александр не сделал их участниками переговоров с Наполеоном после Фридланда, что, разумеется, произвело в них неудовольствие, а непринятие Александром Наполеонова предложения относительно восстановления Польши окончательно отталкивало Чарторыйского и «неразлучных» с ним.

Но неудовольствие на Чарторыйского и Новосильцева, неимение людей, которым можно было бы поручить ведение переговоров при таких важных, решительных обстоятельствах, заставляли императора Александра сильно желать свидания с Наполеоном, лично условиться с ним о мире, союзе; важно было принять к сведению и то, что промелькнет как будто невзначай в потоке пестрых речей. Таким образом, побуждения к личному свиданию были чрезвычайно сильны у обоих императоров, и если один предложил его, то другой должен был сейчас же с радостью согласиться; кто предложил — решить пока нельзя по разногласию свидетельств, но скорее всего предложил Наполеон по характеру и положению своему; первое движение принадлежит нападающему, а напасть хотел Наполеон — Александр должен был защищаться. Как бы то ни было, желанное свидание произошло у Тильзита, на плоту, построенном среди Немана, разделявшего русскую армию от французской; потом это свидание повторилось, и переговоры о мире и союзе кончились между двумя государями; князя Куракин и Лобанов — с русской и Талейран — с французской стороны только формально были уполномочены для ведения переговоров и заключения договора. Этот знаменитый Тильзитский договор был ратифицирован 27-го июня.

Целью Наполеона было заключение не мира только, а союза с Россией; целью Александра было, во-первых, спасти сколько можно больше остатков прусского корабля, потерпевшего страшное крушение, а во-вторых, охранить русские интересы по вопросам Польскому и Восточному. Достижение первой цели было чрезвычайно трудно. Наполеон не мог не понимать значения Пруссии в Германии. Чтобы она не служила более помехою для Франции, необходимо было если оставить ей существование, то самое ничтожное; дать же ей сколько-нибудь значительные средства значило создать в ней для Франции непримиримого врага, который никогда не забудет прежнего значения и употребит данные ему средства для возвращения этого значения в ущерб Франции; особенно было неприятно восстанавливать Пруссию в угоду русскому императору, ибо этим, естественно, поддерживалась и затягивалась тесная связь между Россией и Пруссией.

В интересах Франции было, чтобы в Германии не существовало крупных независимых владений; ей нужно было прусскими землями увеличить германские владения, вполне зависевшие от Франции; на востоке, вблизи России и Австрии, Наполеон хотел создать значительное государство, вполне ему преданное: таким была Саксония. Чтобы иметь в своем распоряжении прусские земли, чтобы император Александр отказался от заступничества за Пруссию, Наполеон предложил ему приманку: взять себе Восточную Пруссию до Вислы; потом еще большую приманку: взять польские области, принадлежавшие Пруссии, и принять титул короля Польского, иначе польские области Пруссии должны быть вместо немецких отданы саксонскому королю, если немецкие останутся за Пруссией. Александр не принял предложения. Для улучшения условий для Пруссии Александр отказался от наследства Екатерины II, княжества Иеверского между Фрисландией и Ольденбургом, в пользу голландского короля; отказался в пользу Франции от Ионических островов и от Бокка-ди-Каттаро. Пруссия, сохранив свой состав от Эльбы до Немана, сохранила драгоценное наследство от Фридриха II — Силезию, которую Наполеон хотел было присоединить вместе с польскими областями к Саксонии и на престол этого значительного государства возвести своего брата Иеронима, а саксонский король должен быть вознагражден Гёссеном и прусскими владениями на

левом берегу Эльбы. Такое соседство Иеронимовых владений с Россией найдено препятствием для сохранения союза между двумя империями, и Наполеон признал за лучшее, чтобы между ними была независимая Пруссия с владениями от Эльбы до Немана. Польские области Пруссии под именем герцогства Варшавского отходили к саксонскому королю, а для Иеронима Бонапарта из прусских владений за Эльбою образовано было новое королевство под именем Вестфальского.

Так покончил император Александр Прусский вопрос, и в первой статье Тильзитского договора говорилось: «Император Наполеон из уважения к императору Всероссийскому и во изъявление своего искреннего желания соединить обе нации узами доверенности и непоколебимой дружбы соглашается возвратить королю Прусскому, союзнику е. в. императора Всероссийского, все завоеванные страны, города и земли, ниже сего означенные». Король Прусский оставался союзником русского императора — так он назван в договоре. Для подкопания этого союза Наполеон настаивал, чтобы Александр присоединил к России кусок прусской земли, действительно очень выгодный, — от устья Немана к границам Курляндии с гаванью Мемелем. Александр не взял, но согласился взять из польских земель, уже из доли короля Саксонского, Белостокскую область. При поднятии Польского вопроса это приобретение могло иметь значение; кроме того, император мог желать заставить молчать тех, которые говорили, что кровопролитная война велась даром, из-за Пруссии.

В связи с Прусским вопросом решился Польский, также удовлетворительнее, чем сколько можно было надеяться по обстоятельствам. Восстановление Польши в интересах Наполеона было задержано, оставлено на первой ступени: часть польских земель получила самостоятельное устройство, но под именем не Польши, а герцогства Варшавского, и должна была находиться под властью не брата Наполеонова, но короля Саксонского, и некоторая часть польских земель отошла к России. Относительно Восточного вопроса было сделано такое соглашение: если Турция не примет французского посредничества для примирения с Россией или, приняв его, не заключит мира в продолжение трех месяцев, то Франция соединится против нее с Россией и обе договаривающиеся стороны согласятся насчет средств избавить от турецкого ига и притеснений все области

Оттоманской империи в Европе, исключая города Константинополя и провинции Румелии.

V. ЭРФУРТ И АВСТРИЙСКАЯ ВОЙНА 1809 ГОДА

Некоторые были в восторге от Тильзитского мира и союза. Князь Куракин писал императрице Марии: «Русский Бог не перестает бодрствовать над нами и распространять на нас свои благословения! Россия выходит из этой войны со славою и счастьем неожиданным; у нее заискивает враждебная держава, имеющая решительный перевес сил на своей стороне и победившая нас. Ничего не потеряв из своих владений, Россия приобретает новые, приобретает для своих польских областей новую военную границу. Россия становится ангелом-хранителем прусского короля, который видит в императоре своего спасителя и получит из его рук большую часть своих владений, которых не умел ни охранять, ни защищать».

Но далеко не все русские люди могли быть в таком восторге от Тильзитского мира. Самое непродолжительное спокойное размышление над явлением достаточно было для перемены взгляда, создавшегося под первым впечатлением. Естественно и необходимо рождался вопрос: для чего были эти заискивания со стороны победоносной силы у державы побежденной? — и ответ был один: для того, чтобы последняя, оставаясь еще достаточно сильной и опасной, не мешала победителю в дальнейших замыслах; и какие это могли быть замыслы? При тильзитских свиданиях у Наполеона вырывались слова искушения: «Разделим мир!» Но искушение должно было исчезнуть опять при первом спокойном размышлении. Дележ мог иметь одно основание: для Франции — Запад, для России — Восток; Франции на Западе оставалось добрать Пиренейский полуостров; России в соответствие следовал Балканский. Но император французов уже и теперь не допускал такого, по-видимому, столь естественного дележа; на Балканском полуострове оба императора должны были действовать вместе и делиться, там была уже указана и местность, на которой начертано: «пес plus ultra». Что же, спрашивается, остается России при дележе мира? Дележ был неравный и вел к новой борьбе по своей чересполосице. Очевидно, Тильзитский мир был только перемирием; выгода его для России состояла только в том, что давала

ей необходимую передышку, время собраться с силами и дать для этого время другим. Наполеону нужно было перемирие, нужен был фальшивый союз с Россией, чтобы осуществить свои планы на Западе; Александру нужно было это перемирие и фальшивый союз с Францией, чтобы иметь известное время свободные руки для действий по вопросам Восточному и Польскому; дальнейший ход их, разумеется, должен был привести к борьбе с Наполеоном, но для этой-то борьбы и нужно было отдохнуть, подготовиться, не спуская глаз с Наполеона: что он еще задумает, как будет далее истощать меру долготерпения народов, где и как споткнется на пути захватов?

Тильзитский мир был необходим, и условия его были выгодны для обеих сторон: для Наполеона — тем, что останавливали помеху его замыслам со стороны России; для Александра — тем, что останавливали вредные для России замыслы Наполеона и относительно Германии — сохранением Пруссии, и относительно Польского вопроса — не восстановлением Польши, а образованием только герцогства Варшавского, следовательно, остановкою на зародыше, и относительно Восточного вопроса — посредничеством Франции вместо враждебного ее действия. Нет никакого основания предполагать, чтобы император Александр смотрел иначе на Тильзитский мир и видел в нем более необходимого перемирия. Он сам не мог быть доволен положением, которое было создано для него Тильзитским миром и союзом с Наполеоном; он, как государь, должен был наложить на себя тяжкую обязанность не выражать этого неудовольствия, но другие, многие и многие, будучи недовольны, громко жаловались и обвиняли того, кто принял на себя всю ответственность, устроивши непосредственно новые отношения. Сознательно и бессознательно в русских людях вкоренилось убеждение, что отношения России к Западной Европе, к Наполеону, как они существовали до сих пор, были самые правильные, согласные с достоинством и значением России; вкоренилось убеждение, что на Западе в лице Наполеона воплотилось хищничество, попрание всех международных прав, порабощение народов и что Россия высказала этому протест, не признала прав силы и насилия, постоянно боролась с насильником, защищая слабых. Аустерлиц произвел тяжелое впечатление, тем более что от неудач военных давно отвыкли, но неудача не переменяла отношений, и после Аустерлица Россия

осталась в том же возвышенном положении, готовая продолжать борьбу, защищать слабых от насилия. Но теперь, после Тильзита, это возвышенное положение было потеряно; русский государь, бывший постоянно верным святому знамени, которым гордилась Россия, теперь бросил его, протянул руку, побратался с тем, кого привыкли называть врагом рода человеческого.

И для чего? Настоящие побуждения, политические соображения были скрыты, и все отнесено к лицу, его чувствам и впечатлениям. Война была ведена дурно, потерпели поражение, испугались и отдались в руки победителю, заключили с ним союз — для чего? Союз с Наполеоном — значит, постоянная война, ибо он постоянно воюет, и Россия будет теперь ходить на войну, куда он захочет, — союз! И прежде всего ссора с Англией, естественной, всегдашней союзницей, прекращение выгодной, необходимой торговли, и за все это Наполеон дал Белостокскую область, отнятую у нашего же союзника, прусского короля. Начавшаяся немедленно Шведская война усилила неприятное впечатление: война с государем, который был нашим постоянным союзником, который стал виноват тем, что остался верен знамени, покинутому нами; вот прямые следствия союза с Наполеоном — война, бесконечная война в угоду врагу рода человеческого! И все приписывалось одному лицу, ибо все сделано им одним: не было никакого Гаугвица, никакого Ломбарда для отвлечения. Вот уже седьмой год — и ни в чем нет удачи!

Если тяжело было положение императора Александра после Аустерлица, то эта тяжесть не значила ничего в сравнении с тяжестью положения настоящего. Он знал все, знал даже в преувеличенном виде благодаря людям, находившим свои выгоды напугать его, представить слова делами или близкими к делу; он знал, как смотрели на Тильзит, и не мог не уважать оснований этого взгляда. Он не переменял системы, не отказывался от борьбы с Наполеоном, не верил его словам и обещаниям, ибо и человек с менее тонким умом, чем у императора Александра, не мог им верить; но не мог не признать, что имелось основание толковать о крутой перемене системы, о слабости, непостоянстве человека, способного к таким переменам, о невозможности полагаться на него; самый снисходительный отзыв мог состоять в том, что он был обольщен Наполеоном. Как страшно должно было страдать самолюбие!

Много было сделано для Пруссии; чувствовалась нравственная необходимость сделать это, потому что было обязательство, Пруссия была отклонена от отдельного мира с Францией в конце 1806 года и потом после Эйлау. В России люди, некогда самые близкие, не принимая во внимание нравственных отношений, упрекали за пожертвования чуждым интересам; но по крайней мере в Пруссии были довольны? Нисколько! Александр делал пожертвования, доказывая, что на него можно положиться, что он не изменяет своим союзникам, не забывает своих обязательств, но в Пруссии именно Александр объявлен был человеком, не способным выдерживать, человеком, бросающим своих союзников в беде, на которого поэтому полагаться нельзя. И этот обвинительный голос слышался из уст человека, который пользовался особенным расположением Александра, который ему был обязан настоящим своим положением, — Гарденберга.

Он стал толковать, что Александр был обойден Наполеоном при тильзитских свиданиях; Александру не следовало здесь вступать в борьбу при таком неравном оружии: Наполеон далеко превосходил его опытностью, лживостью и энергией, да еще опирался на хитрого Талейрана, тогда как от Александра он отстранил всех помощников, говоря: «Государь! Я буду вашим секретарем, а вы — моим». Гарденберг решился говорить, что помощь, оказанная Пруссии Александром при тильзитских переговорах, была не сильнее помощи, оказанной оружием. Наконец, Гарденберг решился сказать королю, что при всем его злополучии считает его счастливее Александра, у которого Наполеон умел отнять честь. Раздражение Гарденберга объясняется общим раздражением в Пруссии. Как во время войны надеялись, что с приходом русских сейчас же победа, изгнание французов и выгодный мир, и, когда надежда не исполнялась, начали кричать против русских, так и теперь, при мирных переговорах, надеялись, что император Александр выговорит для Пруссии самые выгодные условия, и, когда условия не понравились, начался крик против Александра.

До чего доходили несбыточные надежды в Пруссии при открытии мирных переговоров, свидетельствует прусский проект мирного договора. Гарденберг вообразил себя Фридрихом II-м, и не Фридрихом II-м после куннерсдорфского поражения, когда великий король в

отчаянии хотел лишиться себя жизни, что было бы сходно с положением после Фридланда, но Фридрихом II-м в семидесятых годах XVIII-го века, когда он благодаря счастливому выходу из Семилетней войны имел громадный авторитет, громадное влияние на дела Европы. Фридрих II-й в это время воспользовался благоприятными обстоятельствами, нежеланием России вести двойную войну с Турцией и Австрией, уговорил Екатерину II-ю удовольствоваться самыми умеренными приобретениями от Турции и вознаградить себя на счет Польши, причем и Австрия с Пруссией также получили вознаграждение от Польши неизвестно за что. Теперь Гарденберг хотел сделать то же самое, только наоборот: восстановить Польшу и разделить Турцию в пользу Пруссии, и хотел он это сделать после страшного погрома, который потерпела Пруссия, после того как почти все ее владения были заняты неприятелем, следовательно, хотел стать гораздо выше Фридриха II-го.

План состоял в том, что Пруссия уступала свои польские владения (кроме департаментов Познанского, Данцигского и Торнского) для восстановления Польши, которая отдавалась королю Саксонскому, а Саксония с Лужицами отходила к Пруссии. Последняя уступала Франции Вестфалию, но зато брала себе земли по северному берегу Майна, также города Любек и Гамбург; сверх того, приобретала верховную власть над мекленбургскими и саксонскими герцогствами и другими мелкими владениями Северной Германии. Хотели, таким образом, сделать неслыханное чудо: государство, потерпевшее страшное поражение, завоеванное и не сделавшее ничего для своего восстановления, выходило из борьбы более сильным и округленным, чем было прежде; хотели сделать, чтобы известные слова: «Горе побежденным!» — сменились словами: «Счастье побежденным!» Но чтобы Франция, Россия и Австрия не очень удивлялись этому чуду (другой причины не видно), Гарденберг предлагал им заняться войною с Турцией, после которой они получали право разделить между собою европейские владения Порты таким образом: Россия получала Молдавию, Валахию, Бессарабию, Болгарию, Румелию с крепостями на азиатском берегу; Австрия — Далмацию, Боснию, Сербию; Франция — Фессалию, Ливадию, Негропонт, Морею, Кандию и острова Архипелага; в Турции же получали долю: король Фердинанд Неаполитанский получал Албанию и семь Ионических островов

взамен Сицилии, отходившей к Иосифу Бонапарту; король Сардинский получал Македонию. Понятно, что если таковы были надежды, то каково же было раздражение, когда узнали тильзитские условия относительно Пруссии с прибавкою, что ей возвращаются известнее земли только в угоду русскому государю.

Александр, заключая мир и союз в Тильзите, имел в виду Польский и Восточный вопросы, но Наполеон очень хорошо понимал, что эти вопросы могут повести очень рано, раньше, чем ему было нужно, к новым столкновениям и борьбе между Россией и Францией; ему хотелось отвлечь внимание русского государя на другую сторону, с юга и запада на север, в местность поближе к его столице, чем Молдавия и Валахия. Всего выгоднее было бы для Наполеона, если бы у России началась война с Швецией: Россия может легко занять Финляндию, но Швеции трудно будет согласиться уступить ее; война затянется, англичане будут поддерживать шведов, и Александру не будет времени думать ни о турках, ни о поляках, ни о ком-либо другом. Как знаменитый гастроном умеет указать неопытному в чревоугодии собеседнику лакомый кусок, так мастер в деле захвата чужих областей Наполеон указывал в Тильзите Александру на необходимость взять Финляндию у Швеции. «Шведский король, — говорил он, — в каких бы отношениях случайно к вам ни находился, постоянно он ваш неприятель географический. Петербург слишком близко к шведской границе; петербургские красавицы не должны больше из домов своих слышать грома шведских пушек». Этими словами Наполеон намекал на последнюю Шведскую войну при Екатерине II-й.

Мы видим, что для Наполеона важен был не мир с Россией только, но главным образом союз, уничтожение возможности коалиции, отнятие у Англии надежды на возможность бороться с Францией на континенте посредством России — этим Англия принуждалась заключить с Францией выгодный для последней мир; если же мира не будет, то Россия по Тильзитскому договору из союзницы станет врагом Англии. Эта вражда была необходима Наполеону для приведения в исполнение его так называемой континентальной системы, имевшей целью уничтожить сбыт английских товаров в Европе. Чтобы это уничтожение было повсеместным, в Тильзите было выговорено: если Англия не согласится на мир, то Россия и Франция приглашают Данию, Швецию

и Португалию запереть для английских кораблей свои гавани и объявить Англии войну. Если же которая-нибудь из этих держав не примет приглашения, то Россия и Франция объявят ей войну; если окажет упорство Швеция, то они заставят Данию воевать с нею. Александр принял на себя посредничество для примирения Франции с Англией; как основное условие мира Наполеон постановил, чтобы Англия возвратила все захваченные ею колонии французские, испанские и голландские, за что со стороны Франции будет возвращен ей Ганновер; Александр выговорил длинный срок для прекращения дипломатических сношений России с Англией, если последняя не согласится на мир; этот срок был 1-е октября. При заключении Тильзитского мира русским посланником в Лондоне был Алопеус I-й, знакомый нам по Берлину. В это время виги, которые своею медленностью в подании помощи так содействовали Тильзитскому миру, не управляли более делами страны: их сменило торийское министерство Касльри, Персиваля и Каннинга.

Когда Алопеус объявил Каннингу о заключении Тильзитского мира с объяснением причин, заставивших русского государя заключить его: после Эйлау император всю зиму ждал, что Австрия и Англия примут деятельное участие в войне, Англия обещала помощь и не сдержала своих обещаний, — то Каннинг отвечал самым спокойным тоном: «Я нисколько не буду возражать против справедливых ваших слов; сделайте одолжение, прочтите нынешние газеты, вы там найдете мои слова, сказанные в палате общин в оправдание действий России и для указания ошибок английского кабинета». Но, выставляя с удовольствием ошибки предшествовавшего кабинета, новое министерство решило не повторять их, а с удвоенною энергией продолжать борьбу с Наполеоном; для успеха же этой борьбы необходимо было содействие России. В Англии очень хорошо знали, что Тильзитский мир и союз очень непрочны, что союз Англии с Россией, коренившийся на основных условиях времени, был гораздо прочнее, и потому, несмотря на то что посредничество России не повело ни к чему и последовал разрыв между старыми союзниками, вражда Англии к России по своей действительной цене вполне соответствовала дружбе России с Францией.

Но отношения России к Англии были Тильзитским договором тесно связаны с отношениями к Швеции. Император Александр, зная хорошо мнение и правительственных лиц в Швеции, и, можно сказать, всего народа, имел основание думать, что Швеция не станет воевать с Россией и будет следовать одной с нею политике; конечно, надобно было взять в расчет характер короля, который мог поступить по-своему, но тут расчет был труден, ибо нельзя было никак угадать, на чем вдруг остановится Густав IV. Он остановился на том, что остался в союзе с Англией и продолжал одну войну с Францией, которой войска вытеснили его из Померании; несмотря на то, Густав продолжал прежнюю систему, накликав на себя русскую войну.

Таким положением дел воспользовались англичане. В то время как между лучшими людьми, не привыкшими преклоняться пред силою и во всем ее оправдывать, раздавались крики негодования против захватов Наполеона, англичанам захотелось услужить континентальному хищнику, показавши, что на море есть сила, которая ему не уступит и даже еще превзойдет его. В июле месяце 1807 года сильный английский флот явился у берегов Дании и потребовал у ее правительства заключения союза с Англией, выдачи всего флота и введения английских гарнизонов в важнейшие места. «Слабый должен уступать сильному», — отвечали англичане на возражения датчан, и когда последние отказались исполнить их требования, то «сильные» начали бомбардировать Копенгаген, сожгли половину города, истребив 2.000 человек, в том числе женщин и детей, и взяли флот и морской арсенал. Но Наполеон не хотел позволить, чтобы англичане соперничали с ним, изумляя мир подобными поступками; он нашел средство заставить забыть копенгагенское происшествие: он задумал покорение Пиренейского полуострова, свержение Бурбонской династии с испанского престола и замену ее династией Бонапартовскою.

Своею уступчивостью, готовностью к союзу с сильной соседкой испанские Бурбоны уживались до сих пор в мире и с республиканской, и с императорской Францией. Но понятно, что не уступчивость Испании, не союз с ней удерживали Наполеона от захвата. По своей природе, по своему положению и по своим замыслам, которым судьба так благоприятствовала до сих пор, он не мог спокойно смотреть на независимость государств Пиренейского полуострова. Если Людовик

XIV говорил: «Нет более Пиренеев», то Наполеон должен был считать Испанию и Португалию необходимым дополнением создаваемой им империи; Бурбоны изгнаны из Франции, из Неаполя; с какой стати оставаться им в Испании? Что такое будет Западная империя без Пиренейского полуострова? Наполеон мог допустить существование Пруссии, даже ее усиление, если бы она не мешала ему, находилась в постоянном тесном союзе с Францией, если бы не колебалась между ней и Россией; мог легко допустить существование Австрии, если бы не историческое соперничество по поводу Италии, но Испания была ему так же нужна, как Италия, и только постоянное отвлечение на восток, вражда с Россией, составительницей коалиций, препятствовала ему заняться Пиренейским полуостровом.

Но как только борьба с Россией прекращалась союзным договором, как скоро чрез это Наполеон приобретал безопасность на востоке, сейчас же он обращался к Испании. Тильзит и переворот в Испании связаны между собой, как причина со следствием. Ожесточенная борьба с Англией, стремление Наполеона нанести неуловимой противнице чувствительный удар, стремление прекратить повсюду английскую торговлю также имели близкую связь с замыслами против Испании. Португалия, разобщенная от Франции Испанией, находилась в торговой и промышленной зависимости от Англии. Заставить Португалию выйти из этой зависимости можно было только посредством Испании, что было неудобно, затруднительно, да и относительно самой Испании при слабости ее правительства не было уверенности, что меры Наполеона будут приводиться в исполнение. Присоединение Пиренейского полуострова к Французской империи делало Средиземное море французским озером, исключало из него Англию; легкое покорение берегов Северной Африки было необходимым следствием, после чего решался вопрос Восточный, ибо владеть миром было нельзя, не владея Константинополем, по мнению Наполеона. Как должен был решиться Восточный вопрос — низложением России или какою-нибудь сделкою с нею, это было делом будущего.

Но, начав испанское дело завоеванием Португалии, изгнанием ее королевского дома в Бразилию, приготавливая войска для наводнения ими Испании, обдумывая предлог к ссоре, Наполеон не мог не оглядываться на Россию, что там делается: оставит ли его новый

союзник спокойно управляться на Пиренейском полуострове. Наполеону чрезвычайно хотелось, чтобы русский государь немедленно бросился на Швецию и затянулся в долгую войну с нею; Наполеон старался поставить императора Александра в такое же затруднительное положение на Скандинавском полуострове, в какое потом сам попал на Пиренейском! Но к нему пришли тревожные вести, что Александр медлит войною со Швецией, ведет с нею переговоры, а вместо того занимается Восточным вопросом, что было всего хуже для Наполеона. Ему хотелось, чтобы Россия не затрагивала преждевременно Восточного вопроса, заключила перемирие с турками, очистив Молдавию и Валахию, и воевала с Швецией; а там, когда Наполеон управится в Испании, другое дело: тогда он начнет управляться с Турцией.

Но понятно, что Александр должен был спешить приготовить для России успешное решение Восточного вопроса, прежде всего занять выгодную, необходимую позицию, то есть приобрести Молдавию и Валахию, и поддержать сербское движение, которое шло под знаменем Георгия Черного. Для разузнания, что делается в России, как ведет себя новый союзник, Наполеон послал в Петербург одного из самых доверенных людей, генерала Савари, который нашел там нового министра иностранных дел.

Мы видели, что Будберг, сменивший Чарторыйского, уже этим самым приобрел себе в нем врага. Чарторыйский не переставал осаждать императора Александра требованиями смены Будберга и военного министра Вязмитинова, который также ему не нравился. Любопытен письменный ответ ему императора: «Выставив бедствия, грозящие России, вы предлагаете для избавления от них: 1) чтоб я объявил себя королем Польским; 2) сменил министров — военного и иностранных дел. Было бы долго входить в рассуждения по первой статье; что же касается второй, то объявляю, что доволен службою обоих министров; кроме того, я не вижу никого, кто бы мог их заменить. Не генерал ли Сухтелен? Говорю громко, что не нахожу в нем способностей, нужных для военного министра, и предпочитаю Вязмитинова. Точно так же я не вижу никого для иностранных дел. Хотите Паниных, Морковых? ^[5] Надобно, чтоб я уважал тех, с которыми работаю; только при этом условии я могу им доверять. Крики меня мало беспокоят, они обыкновенно бывают порождением

духа партии». Но Тильзитский мир необходимо должен был вести к перемене министра иностранных дел. Будберг был отъявленный враг Наполеона, который, не решаясь прямо потребовать у Александра смены министра, как потребовал у Фридриха-Вильгельма смены Тарденберга, однако, позволял себе в Тильзите выходки против Будберга. Не Будберг вел переговоры, не он подписывался под договором.

При видимой перемене системы нельзя было ему оставаться министром, и на его место был назначен граф Николай Петрович Румянцев, который всегда был против вражды с Францией. Но противники вражды с Наполеоном ставили на вид, что борьба ведется на основании общих начал, из-за чужих интересов, причем пренебрегаются интересы собственные, которые соблюдутся лучше при соглашении с императором французов. Поэтому Румянцеву было необходимо доказать справедливость такого взгляда приобретением действительных выгод от союза с Наполеоном, прежде всего, разумеется, выгодным решением турецкого дела, приобретением Дунайских княжеств, не говоря уже о том, что в глазах своего государя новый министр мог выказать свои способности в самом выгодном свете, ведя это дело вполне согласно с видами и желаниями императора. Вот почему со стороны министра, слышавшего приверженцем французского союза, Савари услышал слова, неприятнее которых не мог бы ему сказать никакой Будберг. «Единственная красивая сторона союза с вами, — говорил ему Румянцев, — которую мы можем представить народу, состоит в приобретении Молдавии и Валахии, а вы хотите отнять у нас эту возможность. Что мы будем отвечать, когда нас спросят, зачем мы не стояли за них крепко и как позволили лишиться себя этой выгоды, когда мы терпим такие потери в войне с Англией? Не говорите о Европе — Европа ничего не скажет. Что такое Европа, где она? Вся Европа в нас с вами». Савари донес Наполеону, что в Петербурге дело нехорошо: сильное неудовольствие против французского союза в обществе, сильное желание удержать Дунайские княжества в правительстве. А между тем испанское дело уже началось, надобно было его кончить. Наполеон решил послать льстивое письмо Александру, как ребенку отвести глаза, показавши вдали блестящую игрушку, убедить завязаться в Шведскую войну, наконец, предложить личное свидание, чтобы до тех пор было

остановлено движение на Дунае. Чем сильнее желал он сам поскорее покончить дело на Пиренейском полуострове, тем сильнее желал, чтобы Александр не начинал дела на Балканском.

2-го февраля (н. ст.) 1808 года Наполеон написал Александру: «Генерал Савари только что приехал. Я провел с ним целые часы, чтоб наговориться о вашем величестве. Все, что он ни говорил, доставляло мне сердечное удовольствие, и я ни на минуту не хочу откладывать изъявления благодарности за все милости, вами ему оказанные. Ваше величество прочли речи, говоренные в английском парламенте, и решение продолжать войну до последней крайности. Только посредством великих и обширных средств можем мы достигнуть мира и утвердить нашу систему. Увеличивайте и усиливайте вашу армию. Вы получите от меня всю помощь, какую я только в состоянии вам дать. У меня нет никакого чувства зависти к России; напротив, я желаю ее славы, благоденствия, распространения. Вашему величеству угодно ли выслушать совет от человека, преданного вам нежно и искренне. Вам нужно удалить шведов от своей столицы; вы должны с этой стороны распространить свои границы как можно дальше. Я готов помочь вам в этом всеми моими средствами. Армия в 50.000 чел., франко-русская, быть может, несколько австрийская, которая направится через Константинополь в Азию, не дойдет еще до Евфрата, как Англия затрепещет и бросится на колени пред континентом. Я твердо стою в Далмации, ваше величество — на Дунае. Через месяц после того, как мы уговоримся, армия может быть на Босфоре. Удар отзовется в Индии, и Англия будет покорна. Я не отказываюсь ни от каких предварительных соглашений, необходимых для достижения столь великой цели. Взаимный интерес наших государств должен быть обсужден и уравновешен. Но это может быть сделано только при личном свидании или после зрелых обсуждений между Румянцевым и Коденкуром^[6] и присылки сюда человека, который был бы крепок в системе^[7]. Толстой^[8] — хороший человек, но наполнен предрассудками, недоверием к Франции и вовсе не в уровень с высотой тильзитских событий и нового положения, в которое поставила вселенную наша тесная дружба с вами. Все может быть решено и подписано 15-го марта. К 1-му мая наши войска могут быть в Азии, и в то же время войско вашего величества может быть в Стокгольме. Тогда англичане, угрожаемые в Индии, прогнанные из

Леванта, будут подавлены под тяжестью событий, которыми будет заряжена атмосфера. Ваше величество и я предпочли бы сладость мира, возможность проводить свою жизнь среди своих обширных империй, оживлять их, доставлять им благоденствие посредством искусств и благодеяний администрации. Все общие враги этого не хотят. Надо быть против воли более великими. Мудрость и политика требуют исполнять требования судьбы — идти туда, куда влечет неодолимый ход событий. Тогда тучи пигмеев, которые не хотят видеть, что настоящие события таковы, каким подобным надобно искать в истории, а не в газетах последнего столетия, преклонятся, последуют движению, данному вашим величеством и мною, и русский народ будет доволен славою, богатством и счастьем, которые будут следствием этих великих событий. Тильзитское дело направит судьбы мира».

Александр отвечал в том же тоне: «Письмо вашего величества перенесло меня во времена Тильзита, воспоминание о которых останется для меня всегда драгоценным. Виды вашего величества являются мне одинаково великими и справедливыми. Такому высшему гению, как ваш, предоставлено создать такой обширный план, — вашему же гению предоставлено и руководить его исполнением». Александр писал, что передал Коленкуру русские требования; если Наполеон согласится на их исполнение, то Александр предлагает армию для индийского похода и другую для Малой Азии, также флот. Если идеи Александра сходятся с идеями Наполеона, то первый согласен на личное свидание, для которого избирает город Эрфурт. «Я уже заранее готовлю себе праздник из этого свидания, — писал Александр. — Я смотрю на это время как на самое прекрасное в моей жизни». Что касается Швеции, то Александр извещал, что русские войска уже занимают все значительные места в Финляндии, идут на Або, бомбардируют Свеаборг.

Пересылая нежный ответ на нежное письмо, Александр очень хорошо знал, что искренний союзник вовсе не думает о походе в Индию, а замышляет что-то другое, о чем тщательно скрывает от своего друга. Но долго скрывать испанских замыслов было нельзя. До сих пор ни один русский посланник не был по душе Наполеону^[9]; граф Толстой разделял участь своих предшественников, Колычева и Моркова; Наполеон прямо требует его отозвания, выставляя его

человеком, не расположенным к Франции; требует присылки человека, который следовал бы противоположной системе, тильзитской системе. Чтобы познакомиться с человеком и узнать причины, почему Толстой так не понравился Наполеону, послушаем разговор, который происходил у императора французов с русским посланником 24-го января (5-го февраля) 1808 года.

Толстой: «В Тильзите не было помина о том, чтоб связать турецкое дело с прусским; мы готовы помочь вам добыть себе часть Турецкой империи, но в Тильзите не говорилось, что за приобретенное Россией в Турции Франция получает себе вознаграждение на счет Пруссии». Наполеон: «Трудно, невозможно теперь осуществить виды на Турецкую империю; я хочу взять Кандию и Морею, но препятствия со стороны англичан, которые овладеют Архипелагом; я не знаю, как удержусь и на Ионических островах. Дать вам Молдавию и Валахию — значит слишком усилить ваше влияние, привести вас в прочную связь с сербами, которые вам преданы, с черногорцами, греками — вашими единоверцами и любящими вас». Толстой: «Все это не причина для вашего величества искать вознаграждения в Пруссии, которая одна отделяет нас от Франции, и замедлять ее очищение; притом Россия не может не беспокоиться, видя, что ваше величество набираете 80.000 войска, когда у вас его уже 800.000; против кого это, если вы в союзе с Россией? Савари и Коленкур донесут вашему величеству, что вы можете положиться на нашего императора». Наполеон: «Чтоб сделать угодное императору Александру, я исполняю все относительно Турции; я не могу не одобрить его желанья иметь Дунайские княжества, потому что они сделают его господином Черного моря, но если вы хотите, чтоб я вам пожертвовал своим союзником, то справедливость требует, чтоб вы пожертвовали мне своим и не противились тому, чтоб я взял у Пруссии Силезию, тем более что она далеко от ваших границ. Силезию я хочу взять ни себе, ни отдать своему родственнику: отдам ее такому государству, которое мне будет благодарно, и ослаблю Пруссию, которой я сделал столько зла, что уже рассчитывать более на нее не могу. Я свято исполню Тильзитский договор, если вы согласитесь очистить турецкие владения или согласитесь на какую-нибудь сделку. Я вам доказал, что у вас нет логики». Толстой: «Я не могу убедиться словами вашего величества и привык судить не по словам, а по делам».

Тут Наполеон взял обеими руками свою шляпу, бросил ее на пол и сказал: «Слушайте, г. Толстой! Не император французов говорит с вами, а простой дивизионный генерал говорит с другим дивизионным генералом: пусть буду я последним из людей, если не исполню самым добросовестным образом Тильзитского договора, если я не очищу от своих войск Пруссии и герцогства Варшавского, но тогда только, когда вы очистите Молдавию и Валахию. Впрочем, в год все уладится между Россией и Францией». Толстой: «Срок очень долог!» Наполеон: «Я считаю от Тильзитского мира, значит, в шесть месяцев. Видно, что вы не дипломат: вы хотите, чтоб дело шло, как войско, галопом. Такие важные дела, каким подобных никогда не бывало в Европе, должны хорошенько созреть, но у вас, кажется, своя система, и отличная от системы вашего двора; вы принадлежите к партии антифранцузской — и отсюда в вас недоверчивость». Толстой: «Эти упреки в принадлежности к партии меня оскорбляют; я русский — и только! не принадлежу ни к английской, ни к французской партиям». Наполеон кончил разговор словами: «Я еще вам не говорю, что я не очищу Пруссии, если даже вы сделаете Дунай своею границею».

Уже и прежде Наполеон говорил Толстому, что Россия может добыть себе земли от Швеции, а 5-го февраля объявил ему решительно, что он согласится на то, чтобы Россия приобрела себе всю Швецию, не исключая и Стокгольма. Тут же он объявил Толстому в первый раз, что готовит войско — против Африки! Объявил, что хочет основать военные колонии по берегам этой части света до самого Египта, хочет запереть Средиземное море для англичан и вознаградить некоторым образом свой народ за потери торговые и колониальные; объявил, что разрушение Варварийских владений входит также в его планы. На все речи Наполеона относительно Дунайских княжеств, Силезии, Швеции с русской стороны был ответ, что император Александр не может допустить никакого отношения между Портою и Пруссией: Тильзитский договор действительно налагал обязанность на Россию вывести войска из княжеств, но в конференциях между двумя императорами Наполеон согласился на словах, чтобы русские войска остались в княжествах, и обещал не препятствовать тому, чтобы при заключении мира Молдавия и Валахия были присоединены к России, что Франция не исполнила своих

обязательств, не очищая до сих пор Пруссию, но Россия исполнила свои, объявив войну Англии и Швеции.

Наполеон говорил Толстому о своих замыслах против Африки, чтобы до последней минуты скрыть движения против Испании. Но долго скрывать было нельзя, и Наполеон не вполне спокойно отправлял свои отряды один за другим в Испанию: как взглянут на испанское дело в Петербурге, останутся ли равнодушны к Пиренейскому полуострову, согласятся ли взять Скандинавский или захотят воспользоваться отвлечением французского войска в Испанию, чтобы уладить свои дела на Балканском? На всякий случай Наполеон велел спросить у Себастиани в Константинополе: «Если русские захотят удержать Молдавию и Валахию, то Порта намерена ли вести войну против России вместе с Францией? Какие у нее военные средства?»

Но прежде всего нужно было покончить с Испанией. Чтобы кончить скорее, надобно было, разумеется, двинуть как можно более войска. Двинуто было 80.000, но и этого Наполеону казалось мало. Перед Толстым он прикрывал движение войск замыслами против Африки; официально они были прикрыты необходимостью защитить полуостров от предполагаемой высадки англичан у Кадикса. Что же испанское правительство? Оно было в таком положении, что привлекало хищника запахом трупа. С крайнею слабостью соединялся страшный скандал: король Карл IV был тенью государя на престоле, и в челе управления стоял фаворит королевы Годой, известный под именем князя Мира, человек, несколько не похожий на Ришелье или Мазарини. При таких отношениях любовь народа, естественно, обращалась к наследнику престола принцу Астурийскому Фердинанду, который был во вражде с Годоем, следовательно, с матерью и отцом, ибо король смотрел на все глазами королевы. Фердинанд пишет Наполеону письмо, представляет свое тяжкое положение, умоляет героя, затмевающего всех героев предшествовавших, оказать ему отеческое покровительство и выдать за него одну из принцесс императорской французской фамилии. Но за Фердинандом наблюдали; все бумаги его, между которыми оказались очень подозрительные, были схвачены, сам принц посажен под арест; король издает к народу манифест против своего наследника и в то же время обращается к

своему другу, императору французов, открывает свое намерение лишить виновного сына наследства, просит помочь мудрым советом.

Потом узнали о сношениях Фердинанда с Наполеоном, испугались, помирились, по-видимому. Между тем французские войска двигались к Мадриду; областные правители по королевскому повелению принимали их самым дружественным образом, а друзья, где только было можно, занимали крепости. Годоем овладел страх, вследствие чего страшно стало королеве и королю. Главнокомандующим французской армией был назначен зять Наполеона Мюрат, герцог Клевебергский. Но Мюрат был недоволен своим маленьким немецким владением и распалил себе воображение престолом Испании и Америки. Годой уговорил короля и королеву бежать в Севилью; в народе и войске начинается волнение, которое 17-го марта (н. ст.) оканчивается возмущением против Годоя. Король, чтобы спасти его, отказывается от престола в пользу сына; народ с восторгом приветствует нового короля Фердинанда VII. Известие об этом перевороте очень неприятно поразило Мюрата, уже подошедшего к Мадриду: свергнуть нового короля, обожаемого народом, и занять его место казалось не так легко, как справиться с Карлом IV. Но скоро искатель престолов ободрился, узнавши, что отрекшийся король обнаруживает сильную ненависть к сыну, приписывая последнему все свое несчастье. Мюрат сделал вид, что отречение Карла IV было невольное, и потому не признал королем Фердинанда VII, а между тем, пользуясь смутю, вступил в Мадрид с войском. В решении не признавать Фердинанда Мюрат вполне сошелся с Наполеоном, который писал ему: «Пока новый король не будет признан мною, вы должны делать вид, как будто бы еще царствовал старый», — и в то же самое время написал брату своему Людовику, королю Голландскому: «Я решил посадить французского принца на испанский престол. Голландский климат для вас вреден. Если я вас назначу испанским королем, будете ли вы согласны?»

Решение Мюрата не признавать Фердинанда поставило в затруднительное положение русского посланника в Мадриде барона Строганова. Он представился новому королю, за это Мюрат сделал ему выговор. «Зачем вы это сделали? — спросил его Мюрат. — Кто вам сказал, что отречение добровольное?» «Сам отрекшийся», — отвечал Строганов. «Вы должны были дожидаться своих кредитивных

грамот», — сказал на это Мюрат. Строганов отвечал: «Это нужно для моих официальных сношений с министрами королевскими, но я не мог не исполнить моих обязанностей в отношении к королю, которого права на корону неоспоримы».

Сам Наполеон явился на испанских границах, но он не хотел ехать в Мадрид улаживать дело; и старый и новый король были уговорены отправиться к нему навстречу в пограничный французский город Байону, и здесь дело было улажено: Фердинанд был принужден возвратить престол отцу, и Карл IV отрекся от него опять — в пользу Наполеона, которому уступил свои права и Фердинанд как наследник испанского престола. Королем в Испании был переведен Иосиф Бонапарт из Неаполя, который достался Мюрату.

Но при этом улажении испанских дел Наполеон счел нужным объяснить пред тильзитским союзником; в письме из Байоны (от 8-го июля н. ст.) он писал императору Александру, что Испания будет независимее от него, чем прежде. Она восстановит свои морские силы. Все в Испании довольны переменой, кроме монахов, которые предвидят уничтожение злоупотреблений, и кроме агентов инквизиции. Скажут, что все заранее придумано и возбуждено им, Наполеоном! Но если бы он имел в виду французские интересы, он завоевал бы что-нибудь в Испании для Франции, ибо узы родства не имеют большого значения в политике, и то уничтожается через 20 лет. Филипп V воевал с дедом Людовиком XIV.

Легко понять, какое впечатление произведено было в Петербурге байонскими событиями и могло ли письмо Наполеона ослабить это впечатление. Отношения испанских Бурбонов к старшей, французской линии в XVIII веке не могли идти в сравнение, ибо известно было, как Наполеон относился к своим братьям и родственникам, посаженным на разные престолы. В самое время байонских событий голландский король Людовик Бонапарт говорил русскому посланнику при своем дворе кн. Долгорукову: «Если Голландия должна погибнуть, то и я должен погибнуть с нею. Брат меня не слушает, и только покровительство императора Александра может спасти меня. Я вовсе не думал быть королем, когда брату захотелось сделать меня им. Я согласился с условием, что мне будут помогать. Я просил, чтоб мне отдали пять миллионов, взятых в долг у Голландии, чтоб с первого же раза не ожесточить самого республиканского народа. Мне не отвечали

на мою просьбу и вместо помощи затрудняют все мои действия. По возвращении в Париж брат мне сказал, что сделал дурно, не присоединивши Голландию к Франции. „Хотите вы сделать это теперь?“ — спросил я его. „Нет, нет, — отвечал он. — Так как вы теперь там, то сидите, но если вы умрете — другое дело“. Вы видите из этих слов, чего я должен ждать. Горько, будучи первым голландским королем, быть в то же время и последним по испытании таких страданий и усилий бесполезных. Министры французские при моем дворе делают мне постоянные неприятности, мне оказывается всякого рода неуважение. Я хочу быть здесь популярен, говорю с народом откровенно, а французские журналы все искажают, передают такие мои слова, каких я никогда не говорил. Здесь если человек чувствует себя лучше, чем прежде, то он любит короля и монархию, а если хуже, то злится на короля и посылает его к черту; здесь мне кланяются с видом покровительства, как будто говорят: „Я вам кланяюсь, потому что вами доволен“. Голландия совершенно разорится от застоя торговли и закрытия гаваней вследствие английской войны». Когда узнали, что Александр и Наполеон должны иметь свидание «для решения участи Европы», по выражению короля Людовика, то последний поручил Долгорукову просить императора Александра заступиться за Голландию, сохранить ей отдельное существование. Людовик не нашел тогда защиты, и немного спустя Голландия была присоединена к Франции.

Указание Людовика на отношения голландцев к королю и к правительственным формам объясняет взгляд Наполеона на Испанию. Избалованный легкостью, с какою принимались его распоряжения в Италии и Голландии, Наполеон думал, что так же легко будет принята династическая перемена и в Испании: будут удовлетворены частные интересы наиболее крупных лиц, и станут новому королю кланяться, а шайки недовольных можно перестрелять и тем задать спасительный, успокаивающий страх. Но император французов жестоко ошибся в своих расчетах. Он не рассчитал, что в Испании он будет впервые иметь дело с большим государством. Говоря о сопротивлении, которое встретил Наполеон в Испании, указывают преимущественно на областную особность в этом государстве, слабость централизации и потому не важное, не решающее значение столицы при возникновении

политических вопросов, вследствие чего Мадрид мог подчиниться Иосифу Бонапарту, но области не следовали его примеру.

Действительно, по природным условиям своей государственной области, по малочисленности народонаселения, ослаблявшегося выселением за океан, выселением не вследствие избытка в числе жителей, а вследствие страсти к приключениям и легкой наживе, по застою, политическому малокровию, отсюда происшедшему, недостатку промышленного и торгового развития — вследствие всех этих причин не было живой циркуляции в государственном организме, откуда и происходила особенность областей, малая зависимость их от столицы, но этим дело не объясняется. Надобно заметить, что значение столиц поднимается не вследствие одной правительственной централизации, а вследствие сосредоточения промышленной и торговой деятельности, вследствие сосредоточения средств жизни, не только материальных, но — что важнее — духовных, вследствие сосредоточения учреждений, развивающих духовную жизнь народа, вследствие сосредоточения талантов ученых и художественных, вследствие сильного движения литературного. Только при этих условиях столица имеет могущественный авторитет, решающий голос. Если же в стране вообще нет сильного развития, то столица не может иметь важного значения только по одному административному сосредоточению, а при смуте, происшедшей по причинам внутренним или внешним, это значение может перенестись в другое место.

Испания от наполеоновского погрома спаслась не особенностью областей, а единством, высшим государственным и народным единством, которое было выработано для нее историей. Несколько веков тому назад Испания была объединена, и это единство окрепло в народном сознании и народном чувстве; отдельные области бились против французов не для того, чтобы каждой получить независимое, самостоятельное положение, — они бились за единую Испанию, за самостоятельность, независимость единой, целой Испании, поруганной самым наглым нарушением народных прав. Другое дело, когда завоеватель покорит народ и переменит правительство: народ уступает свои права, видя собственную несостоятельность при их защите, истощив все средства в борьбе, но тут неслыханным образом чужая сила до покорения распорядилась судьбою страны, переменяла правительство. Большого поругания нельзя, было нанести народу, и

народ поднялся, — народ, который долго спал вследствие означенных причин, но в своем сне сохранил всю свою энергию и чувство своей личности.

Иосиф Бонапарт увидал, что Испания не Неаполь. Когда в Неаполе встретил он сопротивление своей власти в некоторых местностях и частях народонаселения, преданного изгнанному королевскому дому, то получил на этот счет такие внушения от Наполеона: «Никогда не сдерживайся общественным мнением; расстреливай лазарони без милосердия; только спасительным страхом можешь ты приобрести уважение итальянцев. Твое поведение нерешительно; солдаты и генералы должны жить в изобилии; любезностями не выигрывается народная привязанность; в твоих прокламациях не довольно виден государь. Вижу с удовольствием, что возмутившаяся деревушка сожжена». Но Иосиф скоро увидал, что эти правила неприменимы в Испании; французские войска не устояли против всеобщего народного движения, Иосиф должен был оставить Мадрид и писал Наполеону: «Нужно было бы 100.000 постоянных эшафотов для поддержания государя, осужденного царствовать в Испании».

Эта неожиданная неудача должна была заставить Наполеона напрячь все свои силы, чтобы смыть пятно с французского войска, потерявшего славу непобедимости, и задавить мятеж, как он называл восстание испанцев, тем более что англичане, отличавшиеся до сих пор такую медленностью и вялостью, когда дело шло о высадках их войска на помощь континентальным державам, теперь признали ближайший английский интерес, когда Наполеон наложил свою руку на Пиренейский полуостров, и выслали сюда войско. Но для того чтобы направить большие силы в Испанию, надобно было обеспечить себя насчет Востока, где была своего рода Испания — Пруссия, которой было сделано столько зла, что рассчитывать на ее доброе расположение было нельзя: корсиканец понимал это очень хорошо; там же была ненадежная Австрия; там была Россия, к движению которой могли примкнуть и Пруссия, и Австрия. Правда, русский император был друг и союзник, но он действовал не так, как бы хотелось императору французов, добивался Дунайских княжеств, но для них не хотел покинуть Пруссии, позволить отнять у нее Силезию. Надобно было вследствие испанских дел заручиться, что Россия не

двинется, и для этого, делать нечего, придется кое-что уступить ее государю; чтобы уступок не было или было их как можно меньше, чтобы было как можно больше обещаний, слов и меньше дела, надобно было личное свидание, на что уже давно согласился Александр. В сентябре союзники свиделись в Эрфурте.

Наполеону пришлось уступить, и не в словах, а на бумаге. Начали с того, что предположили мирные переговоры с Англией: основанием договора с нею было определено сохранение каждым того, чем владел (*uti possidetis*); таким образом, Россия получила Финляндию, Молдавию и Валахию, действительно занятые ее войсками, а Франция удерживала для Иосифа Бонапарта Испанию, которая не была занята французскими войсками и потому не подходила под *uti possidetis*, но тем легче было на это согласиться со стороны России. Русский император, занимая Молдавию и Валахию, должен был начать один на один переговоры с султаном для приобретения этих областей, без посредничества Франции; если Турция откажется уступить княжества, то в последующей за этим войне Франция не примет участия, но если вмешается в войну Австрия или какая-нибудь другая держава, то Франция помогает России, равно Россия помогает Франции, если Австрия объявит ей войну. Оба императора обязались поддерживать целостность всех других областей турецких.

С Наполеоном приехал в Эрфурт Талейран, который не был более министром иностранных дел, был в почтенном удалении, не поладив с Наполеоном. Мы теперь должны ближе познакомиться с этим лицом. Знатный господин и епископ времен старой монархии, Талейран сбросил с себя церковный сан перед силою революционного движения. «Только сумасшедшие остаются в доме, который горит», — говаривал он. Талейран вовремя успел уйти от гильотины, вовремя возвратился в отечество, когда революционная горячка стала утихать. Почувяв вовремя новую силу на очереди, он стал служить Наполеону, и Европа с этим страшным для нее именем привыкла соединять имя Талейрана, герцога Беневентского: в промежутки великих войн дипломатическая игра, сосредоточиваясь в Париже, шла с необыкновенною силой; после каждой кампании изменялась карта Европы, расстроивались старые союзы, приготавливались новые, и понятно, какое значение имел французский министр иностранных дел, как привык он видеть себя в центре громадной деятельности. Он

привык, чтобы государи и народы заботливо и тоскливо смотрели на его портфель, заключающий в себе решения их участи. Авторитет неподражаемого дипломатического дельца, блестящие манеры, французская представительность, французское умение товар лицом подать, смелость, умение, не стесняясь ничем, озадачивать, свободно, властительно, по-барски обращаться с каждым вопросом, с каждым явлением — все это давало Талейрану средства играть блестящую, видную роль и подле Наполеона, не затмеваться им. И вот эти два человека, которые так подходили друг к другу, разошлись...

С некоторого времени Талейран начал чувствовать, что в великолепном доме, который строил Наполеон, стало пахнуть гарью: пожар! А дом так хорош, удобен для самого Талейрана: нельзя ли принять меры против пожара? Мера одна — остановиться в захватах и заняться упрочением приобретенного для новой династии и ее верных слуг, созданием политической системы извне, основанной на прочных союзах, прочных и добровольных, при равенстве интересов между союзниками, и внутренними распоряжениями, обеспечивающими новый порядок вещей для людей, которым он выгоден, и ведущими к тому, чтобы он был выгоден для большинства. Но при этом необходимое условие — упрочение новой династии, а у Наполеона нет детей; из братьев нет ни одного выдающегося своими способностями, да и какие у них права? Следовательно, необходим развод Наполеона с Жозефиною Богарне и вступление в новый брак.

Наполеон должен развестись с женой и перестать воевать — вот программа Талейрана и его сообщников, между которыми на первом плане знаменитый министр полиции Фуше. Фуше также половил в мутной воде рыбы, причем загрязнил руки, и поэтому мысль о прошлом, о возможности его восстановления была ему неприятна более чем кому-либо другому. Наполеон должен развестись с женой и перестать воевать! Развод был возможен, но на первый раз попытка склонить к нему Наполеона не удалась; прекратить войны, как мы уже видели, было решительно невозможно, и Наполеон почетно удалил обоих, и Талейрана, и Фуше, из слишком обширных и важных сфер деятельности, увидев, что они думают свое и действуют слишком самостоятельно. Талейран увидел, что Наполеона или надобно пересилить, заставить действовать иначе, или низвергнуть; пусть дом горит, надобно только из него выбраться заблаговременно, а дом

сгорит непременно — Франция долго не выдержит завоевательной системы Наполеона, и терпение чужих народов прекратится.

Несмотря, однако, на холодность Наполеона к Талейрану, император взял последнего с собой в Эрфурт: при переговорах и договорах был необходим такой делец; в Эрфурте же находились Толстой и Коленкур. Главная цель поездки Наполеона была — обеспечить себе бездействие Александра на Западе во время окончательного сокрушения испанских затруднений. Беспокоила Австрия: что, если бы удалось поссорить с нею Россию окончательно? Между ними холодность, начавшаяся после Аустерлица, усилилась еще оттого, что Австрия не помогла России и Пруссии в последней войне. Наполеон ехал в Эрфурт, чтобы ссорить Россию с Австрией; Талейран ехал туда же с целью мирить Россию с Австрией, устроить между ними сближение. Коленкур находился совершенно под влиянием Талейрана и способствовал сближению его с графом Толстым, который приехал в Эрфурт в самом враждебном расположении к Наполеону.

Но Талейрану нужно было заявить императору Александру о своих отношениях к Наполеону, Франции, Европе. Он явился к русскому государю с такими словами: «Государь, зачем вы сюда приехали? Ваше дело — спасти Европу, но достигнуть этого вы можете только борьбою с Наполеоном. Французский народ цивилизован, а его государь — варвар; русский государь — человек цивилизованный, а народ его варварский; итак, русский государь должен быть союзником французского народа. Рейн, Альпы, Пиренеи — это завоевания Франции; остальное есть завоевание императора; Франция в этом не нуждается». По возвращении в Париж Талейран говорил австрийскому посланнику графу Меттерниху: «Со времени Аустерлица отношения Александра к Австрии никогда еще не были так благоприятны, как теперь; от вас и от вашего посланника в Петербурге (князя Шварценберга) зависит завязать между Россией и Австрией такие же тесные отношения, какие были до Аустерлица. Коленкур вполне разделяет мой политический взгляд, он будет содействовать князю Шварценбергу». Граф Толстой подтвердил Меттерниху слова Талейрана; поведение Коленкура в Эрфурте не оставило в Толстом никакого сомнения в неограниченной преданности его Талейрану, который толковал Меттерниху: «Интерес самой

Франции требует, чтоб государства, могущие противиться Наполеону, соединились и противопоставили оплот его ненасытному честолюбию. Дело Наполеона не есть более дело Франции; Европа может быть спасена только тесным союзом между Австрией и Россией».

Что такой союз был необходим, против этого никто не спорил, только этот союз был неполный, а главное — преждевременный: Россия, имея на руках две войны, Шведскую и Турецкую, не могла предпринять третью, против Франции; если Наполеон хлопотал отвлечь внимание России от Запада, пока не управится в Испании, то Россия старалась воспользоваться испанскими затруднениями, чтобы тем временем управиться со Швецией и Турцией, обеспечить северозападную границу приобретением Финляндии и занять необходимое положение на Нижнем Дунае приобретением Молдавии и Валахии. В Петербурге очень хорошо знали, что в Вене именно последнего-то и не желают, но это обстоятельство, конечно, не могло быть побуждением для России спешить заключением союза с Австрией против Франции. С другой стороны, для полноты коалиции нужно было подождать Пруссии, которая обнаруживала признаки жизни, и жизни сильной, но была под ножом. Никто лучше Наполеона не чувствовал верности знаменитого изречения: «Ненавижу того, кого я оскорбил». Он ненавидел Пруссию по-корсикански, был убежден, что она платит ему тем же чувством, и потому мог успокоиться только с прекращением ее политического существования. В Тильзите он должен был согласиться на продолжение этого существования, согласиться на то, чтобы Пруссия осталась в союзе с Россией, под охраною последней, и это еще более усиливало его раздражение: нельзя ничего предпринять против Пруссии без протеста со стороны России, а Россия пока нужна. Несмотря на то что Пруссия по Тильзитскому миру потеряла половину своих земель и более чем половину народонаселения, Наполеон хотел отнять у нее Силезию и в случае согласия на это России соглашался на приобретение последней Дунайских княжеств, но Россия не согласилась.

Несмотря, однако, и на заступничество России, Наполеон придумал средство давить Пруссию: он не выводил из нее своих войск и, когда Россия требовала их вывода, отвечал сначала, что и Россия не выводит своих войск из Дунайских княжеств, а потом — что Пруссия не исполняет своих обязательств, не выплачивает контрибуции по

договору. 157.000 французских солдат высасывали Пруссию, они тащили все: лошадей, скот, хлеб, деньги; их начальники задавали балы, праздники, на которые жители должны были поставлять припасы из дальних городов. А между тем торговля упала вследствие разрыва с Англией, вследствие континентальной системы, страна наполнилась фальшивой монетою, цены необходимых вещей страшно возросли; тысячи отставных чиновников и офицеров скитались без хлеба (из одних польских провинций — 7.000 чиновников). Наконец испанские затруднения заставили Наполеона подумать об очищении Пруссии: войско понадобилось на Пиренейском полуострове; а между тем как оставить на свободе озлобленную Пруссию, которой сделано столько зла? И вот какие условия предлагает Наполеон прусскому принцу Вильгельму (брату королевскому), который семь месяцев понапрасну хлопотал в Париже о выводе войск: Пруссия за этот вывод должна была заплатить 194 миллиона франков; оставить в руках французов три приодерские крепости — Штеттин, Кюстрин и Глогау; уменьшить свои войска до 42.000; помогать Франции войском в случае войны ее с Австрией. Принц Вильгельм мог выговорить только уменьшение 194 миллионов до 140 миллионов, да император Александр в Эрфурте склонил Наполеона уступить еще 20 миллионов.

Тяжкие испытания, материальные лишения различно действуют на различные характеры людей. Людей, слабых духом, они унижают до последней степени; все те, которые прежде были против борьбы с Францией во что бы то ни стало, теперь подняли головы под предводительством генералов Застрова и Кёкерица: они торжествовали победу своей мудрости и советовали довести дело до конца, спасти Пруссию совершенным подчинением воле Наполеона, отказом от независимости, вступлением в Рейнский союз, которого Наполеон был протектором. К счастью для Пруссии, эти люди не победили и на первый план выступили другие, которые при тяжелых испытаниях, при материальных лишениях обратились к духу народа, к его нравственным силам и стали содействовать их поднятию. Честь принадлежала королю за то, что он сумел дать место деятельности этих людей не без борьбы с самим собою, с известными предрассудками, слабостями власти; он сумел призвать к деятельности Штейна, которого еще недавно за несогласие изменить свои убеждения относительно преобразования высшего управления называл

«упрямым, непослушным государственным слугою, гордящимся своими талантами, капризным, действующим по страсти, личной ненависти и раздражению».

Штейн был действительно упрям, страстен, властолюбив, но эти недостатки в великие и страшные для государств времена, времена собраний нравственных сил народа, прежде расточенных, становились драгоценными качествами при высоких основах Штейнова характера. На этих-то основах религиозности и нравственности Штейн хотел поднять народную жизнь в Пруссии, хотел в новые формы вложить дух, без которого формы самые лучшие остаются мертвы, не приносят пользы народу. Следствиями деятельности Штейна было уничтожение крепостного права, городское самоуправление, освобождение городов, находившихся в частной зависимости. Несостоятельность войска вызывала военные преобразования, причем выдвинулись на первый план новые люди, новые способности — Шарнгорст, Гнейзенау, — Гнейзенау, который на самом себе испытал неудобства прежнего порядка: несмотря на познания и способности, он в 46 лет был только капитаном; товарищи в насмешку называли его капернаумским капитаном, потому что десять лет понапрасну ждал повышения.

Военная комиссия под председательством Шарнгорста уничтожила сословные преимущества в военной службе, всякий мог дослужиться до высших чинов; право на офицерские чины в мирное время могли давать только познания, в военное — подвиги, уничтожена вербовка за границей. За способность народа воспользоваться новыми формами ручалось нравственное движение, в нем обнаружившееся. Возбудителями и направляющими этого нравственного движения были, разумеется, люди науки: Шлейермахер, в своих «Речах о религии» старавшийся поднять религиозное чувство; Фихтет — в «Речах к немецкому народу», Арндт — в «Духе века», возбуждавшие патриотизм и готовность к борьбе с демонической силой Наполеона.

Слово приносило свой плод — дело. Весною 1808 года в Кенигсберге образовалось небольшое общество; члены постановили устно и письменно содействовать усилению патриотизма, приверженности к государю и государственному устройству, религиозности, любви к науке и искусству, гуманитета и братства. Это общество, известное под названием Союза добродетели (Tugendbund),

было утверждено королем, но в следующем году уничтожено по политическим обстоятельствам вследствие враждебности к нему Франции, вследствие враждебности Австрии, где не хотели иметь дело с Шарнгорстом как с членом тугендбунда, и враждебности своих прусских шикателей на всякое высшее, нравственное движение в народе как опасное: эти господа боялись всего больше, что французы, раздраженные патриотическим движением, придут и возьмут их деньги. Общество исчезло, да и не для чего ему было более существовать, ибо движение, которого оно было плодом, распространялось более широкими волнами в народе.

Это движение не зависело от одного человека, не прекратилось, когда должен был сойти с поприща один из самых главных деятелей, Штейн. Французы перехватили письма его к князю Витгенштейну, где говорилось, что надобно поддерживать неудовольствие против французов в Вестфалии и побуждать Пруссию к союзу с Австрией. Как нарочно, это случилось перед заключением договора с принцем Вильгельмом о выводе французских войск из Пруссии. Наполеон воспользовался этим случаем, чтобы оправдать свое стремление давить Пруссию, оправдать тяжелые условия, предложенные им принцу Вильгельму. Придавая письмам официальный характер. Наполеон объявлял, что Пруссия нарушила Тильзитский мир. «Я с быстротою молнии уничтожу всякое проявление злонамеренности, — говорил он прусскому посланнику. — По письмам одного из ваших министров я знаю, что у вас замышляют, какие возлагают надежды на испанские события. Ошибаются: у Франции такая громадная сила, что она везде может противиться врагам своим. Я знаю все, я знаю образ мыслей ваших министров; меня провести нельзя». В Эрфурте император Александр кроме уступки 20.000.000 не мог ничего сделать для облегчения участи Пруссии, потому что Наполеон выставлял письма Штейна как неопровержимое доказательство враждебности прусского правительства к Франции. Разумеется, самого Штейна Наполеон не мог оставить в покое: он настоял, чтобы король Фридрих-Вильгельм отставил своего министра; в Рейнском союзе Штейн был объявлен изгнанником и лишенным своих имений. Только в России мог он найти безопасное убежище.

Некоторые важные преобразования, замышляемые Штейном, не состоялись после его удаления, но движение в общем характере не

останавливалось. В то время как Наполеон думал сдержать враждебное ему движение в Пруссии занятием сильнейших ее крепостей, прусское правительство заложило в Берлине крепость особого рода: в 1809 году, несмотря на страшные финансовые затруднения, основан был Берлинский университет, который при умном, патриотическом пользовании им, при стремлении сосредоточить в нем лучшие ученые силы Германии приучил молодые поколения ее смотреть на Берлин как на духовную столицу Германии, что необходимо приготавливало к политическому преобладанию Пруссии.

И в Австрии был порыв после погрома 1805 года обновиться внутренне, 1-го февраля 1806 года император Франц издал удивительный манифест, в котором обещал увеличить внутренние государственные силы посредством распространения духовной культуры, оживления национальной промышленности, восстановления общественного кредита: явились попытки заменить чисто полицейское управление более деятельным, более творческим. Движение шло от нового министра иностранных дел графа Филиппа Стадиона. Мы видели, что Стадион, подобно своему предшественнику, был во главе воинственной партии, требовал присоединения Австрии к прусско-русскому союзу. Но дорогое время было пропущено; заключен был Тильзитский мир и союз между Россией и Францией, вследствие чего Австрия нашлась в самом затруднительном положении. По мнению Стадиона, это положение было такое же, как и после Пресбургского мира, то есть судьба Австрии будет зависеть совершенно от произвола Наполеона, от которого надобно ждать требований разных уступок и променов; будет ли Австрия соглашаться на все или выставит сопротивление, во всяком случае она рискует потерять свое существование.

Но Стадион обманулся на этот раз. Наполеону вовсе не нужно было затрагивать Австрию, потому что голова его была занята испанскими замыслами. Он после говорил, что об Испании уже шла речь в Тильзите, и русский император был согласен на его распоряжения. Что в Тильзите шла речь об Испании — это более чем вероятно, но что Александр был согласен на последние распоряжения Наполеона относительно Испании — это опровергается приведенным выше письмом Наполеона к Александру из Байоны. Что Наполеон был

занят в Тильзите Испанией — доказательством служит ласковый прием, сделанный им известному Штуттергейму, который 9 июля (н. ст.) приехал в Тильзит и прямо к Будбергу — испросил аудиенцию у императора Александра, который в этот вечер оставлял Тильзит. Александр не принял его; тогда он к Наполеону, которому прямо сказал: «Я послан был к императору Александру и королю Фридриху-Вильгельму предложить еще раз посредничество Австрии, но, к сожалению, опоздал». «Дело уже уладилось, — отвечал Наполеон. — Я лично обязан вашему императору; мое положение много раз было затруднительно, и было бы для меня очень опасно иметь на шее австрийскую армию; в каком положении ваши финансы?» «В хорошем, — отвечал Штуттергейм. — Венгерцы склонны к пожертвованиям». «Бумажные деньги, — заметил Наполеон, — производят революцию, разрушают дух войска; я советовал императору при личном свидании вырвать зло с корнем. Я ничего не требую, кроме следующего мне по договору; мы уладимся, повторяю еще раз: я обязан императору». Разговор кончился насмешками Наполеона над пруссаками и русскими.

Наполеон ласков: но что это значит? Он что-нибудь задумывает такое, причем также не хочет иметь на шее австрийскую армию; но что это за новый замысел? Об Испании, разумеется, не догадались, был интерес поближе. Наполеон с Александром заключил союз: первым делом новых союзников будет поделить Турцию — страшная опасность для Австрии! Она очутится совершенно в тисках между двух колоссов, если бы даже ей что-нибудь и дали из остатков после львиной трапезы. Чрез несколько дней после Штуттергейма имел разговор с Наполеоном Винцент, который заметил, что ходят слухи, будто при тильзитских свиданиях решена судьба Порты. «Кто это говорит? — спросил сначала Наполеон; потом, подумавши немного, продолжал: — По этому предмету только вошли в соглашение, что я буду посредником мира с Портою, которой будут возвращены потерянные области, да и не вижу я, как этот раздел Турции произойдет; необходимость мне это предписывает, мой вкус и желание влекут меня к этому разделу, но рассудок запрещает». «Мы, — заметил Винцент, — не имеем никакого интереса ускорять разложение большого тела Турции». «Правда, — сказал Наполеон, — но вы не умеете ни за что взяться; вы хотите соглашений насчет отдельных

пунктов, прежде чем последовало соглашение об основаниях». Винцент заметил, что союз с Австрией гораздо более соответствовал бы интересам и видам императора французов, чем русский союз. «Согласен, — отвечал Наполеон, — вы порядочнее, чем русские, и уже из европеизма я бы желал сблизиться с вами, но вы не захотели. Впрочем, наши счета кончены, и я не вижу никакой причины к ссоре между Австрией и Францией».

В Вене мучились Восточным вопросом: разделят Турцию, и, что всего хуже, разделят без Австрии. Надобно заключить союз с Францией. «Союза не заключат, — отвечал австрийский посланник в Париже, знаменитый впоследствии граф Меттерних. — Нам предложат союз только тогда, когда поссорятся с Россией». Но если нельзя быть в союзе, то нужно сделать как-нибудь, чтобы не быть совершенно оставленными в стороне; сохранение Порты — на первом плане между интересами Австрии; но если Франция и Россия станут давить Турцию, то Австрия должна быть в третьих, «чтобы несоразмерным, односторонним увеличением этих государств судьба Австрии не ухудшилась».

И вдруг Талейран, который уже прежде толковал о присоединении к Австрии нижнедунайских земель, спрашивает Меттерниха, согласен ли его двор принять участие в разделе Турции, и указывает на Боснию и Болгарию, которые должны достаться Австрии. По мнению Стадиона, надобно было принять предложение, хотя назначаемая доля и невыгодна; о Сербии не упомянуто; да и вообще чрез это земельное увеличение Австрия не станет сильнее, ибо эти обе провинции, удаленные от центра монархии, населенные беспокойным и малообразованным народом, пограничные вследствие раздела с Россией и Францией, принесут Австрии не выгоды, а только постоянную заботу и большие издержки для сохранения внутреннего спокойствия и внешней безопасности. Но делать нечего: из двух зол надобно избирать меньшее; только нельзя ли иначе определить долю Австрии, отдать ей область Хотинскую, Валахию до устья Димбовицы или Алуты в Дунай, турецкую Кроацию, Боснию, Сербию, Болгарию до устья Дуная и потом связать эти области с Архипелагом линией по реке Вардару до Салоник. Но и на это хотели согласиться только в крайности, и Меттерниху был послан наказ употребить все усилия для уничтожения замыслов Наполеона против Порты, и, главное, чтобы не

было речи об обязательстве Австрии за свои новые приобретения уступить что-нибудь из старых владений, именно прежде всего заботиться о сохранении адриатического побережья.

Когда дело коснулось Восточного вопроса, то и эрцгерцог Карл вышел из своего миролюбивого настроения и подал две записки. «Наполеон, — писал он, — действует быстро; русские уже на берегах Дуная; успеют они занять Оршову и Белград — тогда Австрия потеряет базис своих операций и свободное пользование Дунаем и доля ее при разделе будет зависеть от доброй воли чужих государей; поэтому Австрия должна обеспечить себе эти два города. Прежде всего для безопасности Австрии необходимо, чтоб Россия не владела Молдавией и Валахией и не стала госпожою Дуная, не вошла ни в какое соприкосновение с подданными Австрии и не обхватила последней с юга».

Сам император Франц требовал, чтобы были употреблены все усилия сохранить Турецкую империю как лучшую соседку Австрии, но Меттерних из Парижа и другие министры сообщали самые печальные известия: отказ Англии войти в мирные переговоры ведет к ускорению Восточного вопроса; Наполеон имеет в виду не одну Турцию, но и азиатские владения Англии, хочет склонить Россию к походу в Индию; Константинополь должен остаться нейтральным торговым городом; Россия возьмет левый берег Дуная до самого устья, Болгарию и Румелию как секун-догенитуру для одного из великих князей, Австрии отдадут Сербию и Боснию, Франция возьмет адриатические берега и азиатские земли; уже собираются войска, назначены генералы. И все это был обман: морочили Востоком, чтобы отвести глаза от Запада. В первых числах апреля пришла громовая весть об испанских событиях; всех больше поразила она императора: дело пошло о смене династий; нынче Наполеон свергнул без всякого повода Бурбонов испанских: что помешает ему завтра сделать то же с Габсбургами австрийскими? Австрия ему нужна: через ее владения идет прямая дорога на Восток, относительно которого он питает такие блестящие замыслы.

«Испанская династия, — говорит Стадион, — заслужила свою судьбу: она первая вошла в союз с Францией и служила ей с необыкновенным усердием. Ее гибелью Провидение нас предостерегает. Надобно воспользоваться предостережением и

готовиться к борьбе». Воинственность овладела и эрцгерцогом Карлом. «Планы Наполеона стали ясны, — говорил он. — Нечего спрашивать, чего он хочет: он хочет всего». Стали вооружаться, но было хорошо известно, что малейший шорох оружия поднимал Наполеона; Меттерних должен был выдержать публично его выходку: 15 августа, в день своих именин, на приеме дипломатического корпуса Наполеон громко говорил Меттерниху: «Ваше вооружение во всяком случае неполитично, возбуждая неудовольствие во Франции и России. Более 500 писем первых купцов в Вене говорят о предстоящем разрыве; у вас публично оскорбляют французов и немцев из государств Рейнского союза: я не могу этого спокойно сносить». «Цель наших вооружений экономического свойства, — заметил Меттерних, — и, кроме того, она служит для сохранения равновесия в Европе». «Оставьте эти пустяки, — сказал Наполеон. — Ваши побуждения мне известны; ваш двор хочет вмешаться в турецкие отношения, чтоб противодействовать Франции и России. Но в вашем интересе шадить меня и Россию; обманываетесь, если думаете, что можете противиться нам обоим. Если вы хотите войны, то зачем вы ее не объявили, когда я стоял на Немане; а теперь это была бы глупость, подобная прусской глупости. Я считаю войну неизбежною, и если ее не будет, то благодаря только русскому императору. Ваши вооружения заставляют и меня вооружаться, а это разорит Германию. Я сделаю двойной набор в этом году, и если мне не достанет мужчин, то я выставлю против вас женщин. Вы соберете 400.000, а я соберу 800.000; вы доставите мне финансовые средства. Два раза я был господином ваших владений и отдал их вам назад, а вы не стали умнее. Если вы не разоружитесь, то война неизбежна — война решительная, не на живот, а на смерть: или вы будете в Париже, или я в сердце австрийских владений. Ваши вооружения не нравятся в Петербурге; Александр вам объявит, чтоб вы разоружились, и вы разоружитесь, но тогда я не вам буду благодарен за сохранение спокойствия в Европе, а царю, и я вас не пушу к решению важных, вас касающихся вопросов, я буду вести дело вместе с Россией, а вы будете только смотреть».

Через несколько дней Меттерних явился к Наполеону с известием, что вооружения Австрии прекращаются. «Будемте говорить с вами как частные люди, — отвечал Наполеон. — Никогда я не думал, чтоб Франц, Стадион или Карл хотели войны; вы в дурных отношениях с

Россией, поэтому не можете объявить мне войны; но я боюсь, что вы вовлечетесь в войну со мною по ложным слухам. Вас испугали испанские события; вы ждете, что и с вами то же будет. Но какая разница! Испанией я должен был овладеть для обеспечения моего тыла; Годой, вместо того чтоб увеличивать морские силы, увеличил сухопутные; трон занимали Бурбоны, мои личные враги: они и я — мы не могли одновременно царствовать. Я делаю различие между домами бурбонским и лотарингским». «Угодно заключить с нами союз? Я готов вступить в переговоры», — сказал Меттерних. «Для этого нужны прелиминарии; скажите императору Францу, что я считаю все поконченным».

Предложение союза было вовсе не кстати для Наполеона: он ехал в Эрфурт, и до результатов свидания с русским государем нельзя было входить ни в какие определения отношений. Понятно, какое значение должно было иметь для Австрии эрфуртское свидание, как желали в Вене знать, что там будет происходить, что будет говориться об Австрии между двумя решителями судеб Европы. Талейран советовал самому императору Францу поехать в Прагу и потом неожиданно явиться в Эрфурте. Но приехать незванным-непрошеным — это было бы верх неприличия и забвения своего достоинства. Говорили, что Франц должен упасть среди двух императоров, как бомба, но бомба пугает, тогда как Франц своим появлением никого испугать не мог. Его можно было сравнить не с бомбой, а с резиновым мячом. Не сочли приличным послать и кого-нибудь из эрцгерцогов; хотели, чтобы Меттерних сопровождал Наполеона в Эрфурт: Меттерних обратился к преемнику Талейрана в заведовании иностранными делами Шампаньи и получил отказ. «В Эрфурте, — говорил Шампаньи, — будут уговариваться, какими средствами принудить Англию к миру, Австрия тут ни при чем».

Но надобно кого-нибудь иметь в Эрфурте: отправили Винцента с двумя незначительными письмами Франца к обоим императорам. Винцент привез из Эрфурта статьи договора, заключенного между Александром и Наполеоном, — договора, очень неприятного для Австрии по отношению к Дунайским княжествам и к России в случае войны Австрии с Францией; привез и ответные письма от обоих императоров. Письмо Наполеона было самое дерзкое: «В моей власти было уничтожить Австрийскую монархию; настоящее существование

вашего величества есть следствие моей воли — доказательство, что наши счета сведены, и я ничего более от вас не требую. Но вы не должны поднимать вопроса, решенного пятнадцатилетнею войною, не должны подавать повода к новой войне. Ваше величество должны удержаться от всякого вооружения, которое может меня беспокоить». Письмо Александра отличалось противоположным тоном; в нем была одна фраза, важная для Австрии: русский государь уверял императора Франца, что принимает участие в сохранении целостности Австрийской империи. Винцент объяснил, что это значит: Александр требовал от Наполеона, чтобы целостность Австрии не была нарушена, но Наполеон согласился на это с условием, чтобы Австрия прекратила вооружения. Талейран хвалился перед Меттернихом, что он вместе с Толстым склонили Александра не уступать требованиям Наполеона, враждебным Австрии.

Разумеется, было бы слишком странным предположение, что Талейран и Толстой могли убедить императора Александра в необходимости беречь Австрию от Наполеона. Прежде всего надобно было, чтобы Австрия сама себя берегла и не бросалась одна в войну с Наполеоном, но Австрия спешила сделать то, что Наполеон называл безумием и за что Пруссия так дорого поплатилась. Что же могло побуждать ее к этому? Она рассчитывала, во-первых, на испанские дела, но расчет был неверен, причем надобно заметить, что этим испанским делам вообще приписывают больше значения, чем сколько они имели. Из желания нанести испанскому движению решительный удар Наполеон мог в известное время стараться, чтобы его не отвлекли на Востоке; но Испания не могла поглотить все его силы; Испания могла быть для него тем, чем после Алжир был для Франции, Кавказ — для России, но она не могла помешать ему распоряжаться в остальной Южной и Средней Европе. Во-вторых, Австрия рассчитывала, что как скоро она начнет войну с Наполеоном, то и в Германии произойдет то же самое, что в Испании, — народная война.

Стадион не ошибался в том, что борьба с Наполеоном начала принимать новый характер; что теперь она не была только борьбою правительств, но и борьбою народов. В 1804 году в известном проекте, который Новосильцев возил в Англию, император Александр предлагал убедить народы, что господство Наполеона не принесет им свободы и благоденствия, но теперь народы убедились в этом сами, и

сильная ненависть к Наполеону, к французскому владычеству, сильное поднятие патриотического чувства, особенно в Северной Германии, были следствием наполеоновского гнета. Но и на эти одни народные чувства Австрии рассчитывать было нельзя: чтобы эти чувства высказались, надобно было, чтобы Наполеон потерпел поражение, чтобы он потерял обаяние непобедимой силы, чтобы другая сила стала на германской почве и дала опору движению, иначе все могло ограничиться только отдельными вспышками, бесплодными и скоро потухающими. Стадион мечтал, что Австрия станет во главе этого нового, народного движения против наполеоновского ига, сокрушит всеобщего врага и этим приобретет себе право на первенствующее положение, ибо все государства пойдут за нею, а не она будет ходить за другими, как было до сих пор. Прекрасная мечта, которая делает честь мечтателю-патриоту. Стадион усыпил Австрию, и она видела прекрасный сон. Сон после и сбылся, только не для Австрии.

Третьим побуждением для Австрии к началу войны были донесения Меттерниха из Франции. «Дружба, нейтралитет суть слова, лишённые смысла для Наполеона, — писал Меттерних в конце 1808 года. — Прусская война, казалось, была предпринята для уничтожения приверженцев системы нейтралитета. Низвержение испанской династии, древнейшей, испытаннейшей и бескорыстнейшей союзницы не только Наполеона, но и всех прежних французских правительств (замечание важное, ибо уничтожает династическую враждебность), должно доказать миру, что никакое государство не может спастись дружбою. Нельзя быть ни врагом, ни нейтральным, ни другом; что же остается правительству, которое не может, подобно португальскому, уложить свои чемоданы и океаном отдалить себя от бича, удручающего Европу?» После этого вступления, знакомящего нас с литературными приемами человека, которого потом величали дипломатическим гением, Меттерних переходит к указаниям на возможность Австрии воевать с Наполеоном. Испанская война нанесла Франции большой урон; средства Франции против Австрии уменьшились наполовину, средства Австрии увеличились вдвое. Теперь уже сражается не французский народ; настоящая война не есть даже война французской армии, но чисто наполеоновская. Внутри Франции давно уже существует партия, противная завоевательным видам Наполеона; она сплотилась в молчании; сам Наполеон дал ей силу своим нападением

на Испанию. Ее главы — Талейран и Фуше. «Мы дожили до того времени, — писал Меттерних, — когда союзники представляются нам внутри самой Франции; эти союзники не ничтожные интриганы: люди, имеющие право быть представителями нации, требуют нашей помощи; эта помощь есть наше собственное дело, всецело наше собственное дело, дело потомства!»

Итак, союзники — народ испанский, народ немецкий; союзники в самой Франции — Талейран и Фуше. Но старая союзница Россия будет против! Это останавливало. Меттерних успокаивал и на этот счет: он передавал в Вену убеждения Талейрана, что Наполеон не увлечет Александра против Австрии, что по-прежнему самый тесный союз может быть заключен между Россией и Австрией. Талейран принадлежал к числу тех предсказателей, которые предсказывают верно, не обозначая только срока, когда сбудется предсказание, а в Вене, как обыкновенно бывает, назначили для исполнения самый ближайший срок, потому что этого желали, не обращая внимания на главное, что Россия, не кончивши двух войн, как ей надобно, не может начать третьей. В добром расположении императора Александра к Австрии, в нежелании его отдать ее в жертву Наполеону нельзя было сомневаться: для этого не нужно было особенной проницательности; если в Эрфурте было постановлено, что начатие с Австрией войны обязывает Россию помогать Франции, то не мог же Александр предполагать, что Австрия ринется одна в войну.

Русский министр иностранных дел граф Румянцев, будучи после Эрфурта в Париже, прямо говорил Меттерниху, что придет время, когда тесный союз с Австрией будет необходим для всеобщего избавления. «Не предпринимайте ничего; вы поставите Россию в величайшее затруднение», — говорил Румянцев. 31-го января 1809 года император Александр говорил австрийскому посланнику князю Шварценбергу: «Можно ли начинать такую неравную борьбу после того, как упустили благоприятный случай (в начале 1807 года)? Наполеон и его войска непобедимы; надобно выждать время, не бросаться зря, — придет благоприятный час мщения. Теперь Австрия должна сохранять свои силы только для защиты и не делать ни малейшего вызывательного шага; если Австрия начнет войну, — все пропало. Я гарантирую императору Францу справедливость моих слов; обещаю и относительно Австрии войти в такое же обязательство,

в каком я относительно Франции, то есть всеми моими силами защищать ее от нападения». Но Австрия непременно хотела войны. Тогда Александр сказал Шварценбергу: «Я даю великое доказательство доверия, обещая вам, что сделано будет все человечески возможное, чтоб не нанести вам ударов с нашей стороны; мое положение так странно, что хотя мы с вами стоим на противоположных линиях, однако я не могу не желать вам успеха». Александр обещал медлить по возможности выступлением войск в поход и приказал им избегать по возможности всякого столкновения и враждебных действий с австрийцами. Вследствие этого обещания Шварценберг не передал предписанных ему из Вены угроз, что Австрия будет помогать Порте против России и содействовать восстановлению Польши.

От России обратились к Пруссии, которая очутилась между двух огней: с одной стороны, она находилась под ножом Наполеона, у которого было французского войска между Рейном и Эльбою 70.000, да в его распоряжении были войска польские, саксонские и вестфальские числом до 80.000, а у Пруссии — только 42.000. В два перехода саксонцы могли быть в Пюгау и отрезать Силезию; в три перехода французы и вестфальцы из Магдебурга могли быть в Берлине. Вступить в союз с Австрией против Франции значило идти на верную гибель; понятно, что император Александр должен был отклонять от этого Пруссию всеми силами; если уговаривали Австрию ждать удобнейшего времени, когда все главные силы Европы будут в сборе, то тем более должны были уговаривать Пруссию ждать «часа мщения». Но с другой стороны, самое это положение под ножом было нестерпимо; как отдельные люди, так и целые народы в болезнях и страданиях не могут спокойно относиться к причинам и следствиям этих болезней и страданий и бросаются на первую возможность немедленного облегчения; надежда получить облегчение растет соответственно желанию облегчения, да и во всяком случае кажется, что хуже настоящего положения уже не будет.

Кроме того, представлялась мысль: благоразумно или неблагоразумно поступает Австрия, но она непременно хочет воевать; если не присоединиться к ней и дать ей погибнуть, что станется с Пруссией? Новое торжество, новое усиление Наполеона есть вместе с тем новое бедствие, окончательное падение Пруссии, которую он будет замучивать на медленном огне. Всего печальнее было положение

короля Фридриха-Вильгельма, который видел всю опасность разрыва с Францией, всю справедливость русских внушений: «Австрии король не спасет, а только решит собственную гибель, отнявши у России средства воспрепятствовать ей». И в то же время король должен был сдерживать нетерпение лучших людей, которые требовали войны с Наполеоном, требовали во имя страданий народа, который не хочет более сносить ига и двинется против воли короля.

Фридрих-Вильгельм должен был уступать этим воплям, позволять вести переговоры с Австрией о союзе, но в решительную минуту объявил: «Не могу без России!» Это объявление не успокаивало его; невыносимо тяжело было беспрестанно встречаться с людьми, в глазах которых он читал упрек в слабости, нерешительности, трусости; и король пишет умоляющее письмо императору Александру, чтобы тот разорвал союз с Францией. Из Петербурга ответа нет. Эти требования с австрийской и прусской стороны не могли не производить здесь раздражающего, оскорбительного впечатления. В 1805 г. после долгих отнекиваний Австрия вдруг рванулась на войну, не дождавшись русских войск, — потерпела поражение; Пруссия, несмотря на все настаивания России, не двинулась. Потом и ей пришла охота повторить ошибку Австрии: в следующем году и она вдруг рванулась на войну одна — была разгромлена; Россия пришла к ней на помощь и, сдержав Наполеона, стала уговаривать Австрию войти в союз против него, что должно было иметь решительное значение. Австрия не двинулась; необходимым следствием был Тильзитский мир и со всех сторон крики, упреки Александру в слабости, невыдержливости, изменчивости; а теперь, когда Россия занята двумя войнами, Австрия опять рвется на борьбу и требует русской помощи; того же требует и Пруссия! Это была какая-то насмешка над Россией. Тщетно император Александр говорил Австрии, чтобы подождала более благоприятного времени, что она может быть покойна: ее не тронут, он за это ручается. Ему не верили, верили — Талейрану, который советовал предупредить Наполеона войною. 8 февраля (н. ст.) 1809 года эрцгерцог Карл объявил в Совете: «Я не подавал голоса за войну; ответственность падет на тех, которые ее непременно хотят». В апреле австрийцы начинают войну вторжением в Италию, Баварию, герцогство Варшавское. Старая ошибка — разделение сил, старые следствия: Наполеон занимает Вену, одерживает решительную победу при

Ваграме (8 июля) — австрийцы спешат заключить перемирие (12 июля).

То, что Наполеон называл безумием, было сделано. Наполеон был сердит; сначала он объявил: «Не хочу мира с Австрией, я ее разделю на целый ряд независимых государств, только отречение императора Франца от престола понудит меня вступить в переговоры». В другой раз объявил: «Хотя я не имею никакого доверия к Австрии, однако решаюсь еще раз на мир и даже предложу умеренные условия: если Франц откажется от престола в пользу одного из членов императорской фамилии и если императором будет великий герцог Вюрцбургский, то я оставлю монархию во всей ее целости». Эти грозные речи показывали, что мир может быть куплен только очень дорогой ценой. Во время перемирия образовались две партии — партия войны и партия мира, и первую поднимали требования Наполеона. Брались за разные планы: одни хотели, чтобы при посредстве английского посланника был заключен поскорее мир между Россией и Турцией, вследствие чего можно было бы образовать тройной союз между Австрией, Англией и Турцией; другие возражали, что, наоборот, надобно уговаривать турок к энергическому продолжению войны с Россией, пока последняя будет в союзе с Наполеоном. Меттерних предложил план восстановления Польши под самостоятельным государем, чтобы поднять поляков против Наполеона. Австрия уступала возобновленному государству Западную Галицию, обещала и остальную, если дадут вознаграждение в Италии или Германии; между Австрией, Пруссией, Польшей, Турцией, Англией, Испанией, Португалией, Сицилией и Сардинией должен быть заключен оборонительный и наступательный союз. Громоздкий план (с Португалией, Сицилией и Сардинией!!) был разрушен замечанием Стадиона: какая охота полякам для восстановления своего государства входить в союз с Австрией, когда они могут надеяться достичь этого гораздо легче посредством Франции? Притом Россия, увидавши австрийские замыслы, станет усерднее помогать Наполеону.

Из длинного меттерниховского перечня возможных союзников одна Англия могла бы оказать действительную помощь, но она спешила вследствие британских интересов испортить и теперь дело точно так же, как и в 1807 году. Стадион не напрасно рассчитывал на патриотические движения против французов в Северной Германии:

они обнаружили. Но мы уже заметили, что эти движения могли бы иметь значение только тогда, когда получили бы помощь, опору и единство. Прусский майор Шилль поднял восстание и недалеко от Магдебурга побил французов, но, не видя ниоткуда помощи, заперся в Штральзунде, был там осажден и пал в битве. Герцог Фридрих-Вильгельм Брауншвейгский набрал себе кавалерийский отряд из 2.000 человек («Черный легион мщения»), ворвался в Саксонию, овладел Дрезденом, Мейсеном и Лейпцигом, но опять, не видя ниоткуда помощи, должен был отступить перед превосходными силами вестфальского короля, пробился через всю Северную Германию и спасся на английских кораблях. Эти движения могли иметь успех, распространиться, если бы нашли себе опору; эту опору дало бы им английское войско, если бы высадилось где-нибудь на берегах Северной Германии, но такая отдаленная высадка была не в английских интересах, которые требовали овладения чем-нибудь более выгодным, ближайшим.

Чтобы овладеть Антверпеном и устьями Шельды, 40.000 англичан высадились на остров Валхерен и потерпели полную неудачу. В Испании английское войско под начальством Уеллеслея (после лорда Веллингтона) должно было отступить перед французским маршалом Сультом в Португалию; испанское войско было разбито французами недалеко от Толедо. Эти известия заставили императора Франца принять тяжелые мирные условия и выдать тирольцев, которые геройски дрались за Австрию против французов и баварцев, 14-го октября (н. ст.) был заключен Венский мир, по которому Австрия потеряла 2.000 квадратных миль и три с половиной миллиона жителей; потеряна была Иллирия, которой она так дорожила и которая теперь так важна была для Наполеона по отношению к Балканскому полуострову, как сам Наполеон заявлял во время переговоров. Западная Галиция с Краковом и остальными областями, доставшимися Австрии по третьему разделу Польши, отошли к Варшавскому герцогству, Восточная Галиция — к России; Австрия должна была присоединиться к континентальной системе, заплатить 85 миллионов контрибуции и обязалась не держать более 150.000 войска.

Исчез прекрасный сон, когда Австрии грезилось, что она находится в челе народов, восставших за свободу и независимость. Австрия прокляла коварный сон и поспешила погрузиться в

действительность. Человек, который навел этот сон на Австрию, который вздумал было проповедовать какую-то духовную культуру, Стадион, должен был удалиться, как глава воинственной партии, главный виновник неудавшейся войны. Все пришло в надлежащий порядок: император Франц не имел уже подле себя такого беспокойного, странного нововводителя и мог предаться вполне своей системе — системе освященной. По убеждению Франца, государство была машина; все государственное управление должно было идти, как заведенные часы. Ничто не должно нарушать обычного хода машины: раз заведена — и пусть идет.

Нечего трогать, переменять — только испортишь: Иосиф II-й, как беспокойный, пытливый ребенок, вздумал потрогать машину, переменить колеса — и что же вышло? Только расстроил. Хорошо шла машина прежде, пусть и теперь так же идет. «Держитесь старины, старина — хорошее дело, — говорил Франц профессорам Лайбахского лицея. — Нашим предкам было хорошо при старине; отчего же нам будет дурно? Теперь новые идеи в моде: я их не могу одобрить, никогда не одобряю». Новых идей было много в новых немецких книгах, печатанных в Северной Германии, и потому эти книги были строго запрещены в Австрии. Но при Иосифе II-м и в самой Австрии было напечатано много книг с разными идеями: более 2.500 этих старых иосифовских книг было теперь запрещено в Австрии. В книжной торговле господствовали рыцарские романы. Рыцарские романы можно читать: они не расстраивают головы разными идеями, не препятствуют пищеварению, а это главное; здоровый желудок, хороший стол и хорошая музыка — больше ничего не нужно для народного благосостояния. Есть, пить, наслаждаться музыкой и как можно меньше отягощать себя мыслью — вот главное правило доброго подданного. Музыка очень хорошее искусство: она услаждает и успокаивает, убаюкивает. Франц был большой охотник до музыки и музыкантов; при нем музыкант мог дойти до генерал-адъютантского звания. Франц не любил войны и в мирное время не любил военных упражнений: тут было много движения, шума, блеска; все это способнее было возбуждать, чем успокаивать. Другое дело канцелярия: там все тихо, спокойно и правильно; бумага составляется, прочитывается, докладывается, занумеровывается, подписывается и передается законному, правильному течению; течет тихо, плавно,

спокойно, медленно, величаво, своим появлением в известных местах возбуждает тихое, спокойное движение переписки, отписки; наконец, бумага совершает свой путь и впадает в море-океан бумажный. Течение бумаги окончено — дело сделано. «Какое дело?» — спрашивают. Но такие вопросы могут поднимать только идеологи.

Направлению государя должен был соответствовать первый министр. Кобенцль и Стадион, несмотря на видимое различие, существенно были похожи друг на друга. Разница между ними была такая же, какая между вельможею XVIII-го века с пудрою на голове, в расшитом золотом бархатном французском кафтане и вельможею XIX-го века в черном суконном фраке. Но оба были похожи друг на друга тем, что оба были министры беспокойные, воинственные, оба мечтали дать Австрии важное значение посредством борьбы с преобладающей силой Франции, и Стадион даже придумал какое-то внутреннее, народное движение, поднятие нравственных сил народных, какую-то духовную культуру, союз с народными движениями извне. Что же вышло хорошего?

Следствием политики Кобенцля была несчастная война 1805 года; следствием политики Стадиона — несчастная война 1809 года. Эта политика осуждена своими следствиями; теперь должна быть политика другая, и представителем этой новой политики является новый министр иностранных дел Меттерних.

Мы видели, что Меттерних, будучи послом в Париже, заплатил дань направлению Стадиона; его донесения могущественно содействовали решению австрийского кабинета начать войну; мало того, он писал о необходимости народного возбуждения. «Всякое правительство, — писал он, — всегда найдет в критические минуты великие средства в народе; оно должно возбуждать и особенно употреблять их; один пример силы, хорошо направленный государем и поддержанный его народом, быть может, остановил бы опустошительное движение Наполеона». Кроме того что Меттерних мог считать необходимым подделываться под направление своего монарха, — под направление, становившееся господствующим при дворе, Меттерних находился в Париже под влиянием сильного авторитета Талейрана; наконец, оставя в стороне расчеты и внешние влияния, Меттерних известное время мог смотреть именно так на дело, скользя по его поверхности, ибо только при сосредоточении

полного внимания на предмете и при свободном его обсуждении может образоваться определенный взгляд, в котором окончательно и выскажется личность человека. Это и случилось с Меттернихом, когда он заменил Стадиона, стал министром иностранных дел. В настоящее время он отказался для Австрии от всякого почина в войне; если Австрия и должна была принять участие в войне, то когда другие сделают главные и самые трудные шаги, когда успех будет верен и выгоды несомненны. Такой образ действия признан для Австрии обязательным, и навсегда. Спокойным, свободным от всякого влияния патриотического чувства взглядом взглянул Меттерних на Австрию и нашел, что она слаба, слаба не временно, не относительно только наполеоновской Франции, но слаба вообще, слаба сравнительно с Россией, Францией, Пруссией; слабость заключается в пестроте состава империи, в отсутствии национального единства, что с особенною ясностью выступило именно теперь, когда вопрос народности становился на очередь вследствие наполеоновского гнета.

В Испании, Германии обнаружилось народное движение против поработителей; Стадион и сам Меттерних признавали его необходимым и в Австрии для успеха борьбы, но когда Меттерних в спокойную минуту взглянул поближе на дело, то отчурался навсегда от мысли вызывать народное движение. В Пруссии Движение было национальное, немецкое, оно обхватывало основное, теперь исключительное народонаселение государства и, распространяясь по Германии, служило только к поднятию значения Пруссии. Но в Австрии, составленной из нескольких народностей, национальный вопрос, вопрос о национальной равноправности, о неподчинении одной национальности другой, вел к усобице и разложению монархии. Как скоро страшная опасность была признана, в основу системы было положено отсутствие всякого внутреннего движения, все должно оставаться по-старому и пребывать в полном спокойствии. Но сохранение существующего порядка внутри Австрийской империи чрезвычайно трудно, если около будут происходить опасные движения и перемены. И потому главной задачей внешней политики Австрии должно быть сохранение старины по возможности во всех государствах Европы, преимущественно ближайших. При сознании своей слабости Австрия должна избегать войны, но когда война готова будет возгореться между другими государствами, Австрия не может

осудить себя на страдательное положение; она пользуется случаем показать свое значение, возвысить его, является посредницей, старается захватить в свои руки узел переговоров и направлять их по своим интересам, выжидая благоприятных обстоятельств, пользуясь каждою случайностью, грозя и отступая, опять грозя и отступая.

Это консервативное во что бы то ни стало стремление внутри и вне дало Австрии характер государства дипломатического: внутри, состоя из разных государств, из разных народов, она должна управлять ими дипломатическими средствами, сохраняя равновесие, разделяя и властвуя; извне сознание слабости, страх перед решительными мерами, пред войною заставляет поддерживать и поднимать свое значение также дипломатическими средствами, лавируя между сильными, разделяя их, одиноча сильнейших. Эти черты австрийской политики стали являться постоянными с тех пор, как заведование иностранными делами принял Меттерних, человек системы. Создавши себе раз систему, Меттерних проводил ее неуклонно; и так как основная ее черта, консерватизм, могла быть проведена для Австрии только при помощи проведения ее и в других государствах, то Меттерних является проповедником своей системы; эта система по обстоятельствам времени, как увидим, приобрела сочувствие многих и многих, поэтому австрийский министр, автор системы, является главой школы, начинает играть роль наставника государей, руководителя министров. Ораторский талант, сильная логика давали ему к тому средства. Каждый политический вопрос учитель объяснял, указывал причины и следствия, приводил в связь со своею системой, прилагал к нему ее правила. Меттерних был охотник писать длинные послания, которые отзывались учительским тоном; основные положения он обыкновенно подчеркивал, точно в учебниках, где важнейшее печатается крупным шрифтом, а менее нужные подробности мелким. Меттерних знал все, что делается тайного в разных углах Европы, и готов был служить каждому государю сообщением нужных для последнего сведений, причем сообщал свои взгляды на то, как должно управлять народами для их благоденствия и для благоденствия правительств. Меттерних очень заботился о спокойствии простого рабочего народа, который в его глазах был настоящим народом. Этот народ, по словам Меттерниха, занят положительными и постоянными работами, и недосуг ему кидаться в отвлеченности и в честолюбие; этот народ

желает только одного: сохранения спокойствия; враги настоящего народа — это люди обыкновенно из среднего класса, которых самонадеянность, постоянная спутница полужнания, побуждает стремиться к новому, к переменам. Против этих-то людей Меттерних приглашал правительства составить союз.

Но благодетель настоящего народа забывал о достоинстве и обязанностях настоящего правительства. Настоящее правительство не задерживает свой народ, не видит настоящего народа только в неподвижной массе; оно вызывает из массы лучшие силы и употребляет их на благо народа; оно не боится этих сил, оно в тесном союзе с ними. Чтобы не бояться ничего, правительство должно быть либерально и сильно. Оно должно быть либерально, чтобы поддерживать и развивать в народе жизненные силы, постоянно кропить его живой водой, не допускать в нем застоя, следовательно, гниения, не задерживать его в состоянии младенчества, нравственного бессилия, которое в минуту искушения делает его неспособным отразить удар, встретить твердо и спокойно, как прилично мужам, всякое движение, всякую новизну, критически относиться к каждому явлению. Народу нужно либеральное, широкое воспитание, чтобы ему не колебаться, не мястись при первом порыве ветра, не восторгаться первым громким и красивым словом, не дурачиться и не бить стекло, как дети, которых долго держали взаперти и вдруг выпустили на свободу.

Но либеральное правительство должно быть сильно, и сильно оно тогда, когда привлекает к себе лучшие силы народа, опирается на них; правительство слабое не может проводить либеральных мер спокойно: оно рискует подвергнуть народ тем болезненным припадкам, которые называются революциями, ибо, возбудив, освободив известную силу, надобно и направить ее. Правительство сильное имеет право быть безнаказанно либеральным, и только люди очень близорукие считают нелиберальные правительства сильными, думают, что эту силу они приобрели вследствие нелиберальных мер. Давить и душить — очень легкое дело, особенной силы здесь не требуется. Дайте волю слабому ребенку, и сколько хороших вещей он перепортит, перебьет, переломает! Обращаться с вещами безжизненными очень просто, но другие приемы, потруднее и посложнее, требуются при охране и развитии жизни.

Кроме того, Меттерних сам любил писать послания к государям для внушения им оснований своей системы, он нашел в Вене человека, который с необыкновенным усердием явился глашатаем Меттерниховой системы и прославителем мудрости австрийского министра: то был известный публицист Фридрих Генц. Генц начал свое публицистическое поприще в Берлине; поклонник французской революции вначале, он скоро, подобно многим, оттолкнулся от этого явления, испуганный его темною стороною, и в своем «Историческом журнале» все свое сочувствие обратил к Англии, впрочем небескорыстно: он получал субсидию от английского правительства, равно как и от других держав, когда стал известен как противник и послереволюционного порядка вещей во Франции, противник Наполеона. Деньги были нужны Генцу вследствие страшно беспорядочной жизни: чувственные удовольствия, женщины, игра мгновенно поглощали пенсии, получаемые за авторскую благонамеренность. В Северной Германии, в Берлине, Генцу было неловко: здесь были строже нравственные требования от общественного деятеля, чем и объясняется возрождение Пруссии на нравственной почве после 1806 года. Генц уже давно посматривал на юг, на Вену, как на обетованную землю для людей с его наклонностями и охотно принял предложение графа Кобенцля переселиться в Австрию. При Кобенцле и Стадионе Генц продолжал ратовать против Наполеона; при Меттернихе он совершенно подчинился взглядам этого министра, подчинился тому повороту, какой произошел в австрийской политике после войны 1809 года.

VI. ПОСЛЕДНЯЯ БОРЬБА

В войне 1809 года лежал зародыш войны 1812 года. Наполеон из действий русского вспомогательного отряда увидел ясно, что союз с Россией только формальный; что русский государь преследует свои интересы, не хочет быть слепым орудием в его руках, тогда как Наполеон под именем союзников разумел то же самое, что древние римляне разумели под этим именем, то есть подчиненных владельцев. Кроме того, поражение Австрии, перемена ее политики, обнаружившаяся исканием родственного союза с императором французов, дали Наполеону возможность не церемониться с Россией, освободить себя от крайне неприятных отношений к государю, который заявлял претензию стоять с ним в полном равенстве. Александр должен почувствовать теперь свое полное одиночество и смириться; если же не захочет и сделает то же, что сделала Пруссия в 1806-м и Австрия в 1809-м, то будет так же жестоко наказан за свой поступок.

Александр кончил одну войну — Шведскую. Финляндия была покорена; в марте 1809 года русские войска по льду достигли Аландских островов и оттуда, по льду же, перешли в Швецию, как получено было предложение перемирия и мира. В Швеции произошел переворот. Густав IV послал три гвардейских полка, всего 2.000 человек, высадиться в Финляндии, взять Або и идти на Петербург. Полки, разумеется, возвратились, ничего не сделавши, и за это были наказаны. С этих пор повсюду в войске начались заговоры. Король, подозревая шведов, вызвал для собственной охраны два немецких полка прежнего штральзундского гарнизона. Деньги употреблялись на шпионов, а войска оставались без жалованья. Король наложил чрезвычайную контрибуцию — в пять раз больше той, которая была определена государственными чинами; выплатить ее было нельзя уже потому, что сумма превышала все деньги, находившиеся в обращении в Швеции. Густав начал требовать у Англии больших субсидий, и когда английский министр при его дворе Мерри прочел ему отказ своего правительства, то король выхватил шпагу — и Мерри убежал. Потом Густав опять призвал Мерри, выслушал его спокойно,

повернулся и убежал — верно, для того, чтобы передразнить Мерри. Подполковник Адлерспарре поднял восстание в войске, следствием чего было отречение Густава IV от престола. Королем был провозглашен дядя его Карл, герцог Зюдерманландский, под именем Карла XIII, который и заключил мир с Россией в Фридрихсгаме (сентябрь 1809 г.), уступив ей Финляндию и Аландские острова; Швеция отказалась от союза с Англией и заперла свои гавани для ее кораблей.

Шведский вопрос был решен; но оставались — Турецкий и Польский. Император Александр ввиду неминуемой борьбы с Наполеоном желал как можно скорее кончить Турецкую войну, так же скоро приобрести Дунайские княжества, как приобрел Финляндию; но успех не соответствовал его желаниям: война затянулась. Приступы к Журже и Браилову не удались. Главнокомандующий, старик князь Прозоровский, плакал от отчаяния; находившийся при нем Кутузов утешал его: «Я и Аустерлицкое сражение проиграл, да не плакал». Так как было известно, что турки отлично защищаются в крепостях, то государь требовал, чтобы Прозоровский, не занимаясь их осадой, переходил Дунай и Балканы, угрозой Константинополю побудил Порту заключить скорее мир. Но Прозоровский медлил; он боялся высадки англичан где-нибудь на северном берегу Черного моря, боялся даже австрийцев, тогда как в Петербурге боялись больше всего Наполеона. Военный министр граф Аракчеев писал: «Если падение Австрии совершится, прежде нежели мы окончим войну с турками, то Наполеон вмешается в наши дела и затруднит их, и даже может случиться, что после всех нами сделанных пожертвований мы будем принуждены очистить Молдавию и Валахию. Совсем иное будет, если падение Австрии застанет нас в мире с турками. Тогда Наполеон уже не станет вмешиваться в это дело. Очевидно, как полезно для нас побудить турок к неотлагательному заключению мира». Пророчеству Аракчеева суждено было исполниться с черной его стороны. Прозоровский умер; но преемник его князь Багратион не успел сделать многого, и в конце кампании виднее была неудача русских, которые сняли осаду Силистрии и перешли назад, на левый берег Дуная, тогда как Наполеон торжествовал Венский мир. Ему не нравилось окончание Шведской войны; но он был очень доволен ходом дел на Дунае и говорил в ноябре русскому послу кн. Куракину: «Эти турки умеют

биться только в крепостях и за ретраншементами; итак, вы получите Молдавию и Валахию, как получили Финляндию». Куракин не догадался, что тут была насмешка.

Но кроме турецких дел, в которые боялись вмешательства Наполеона, и боялись совершенно основательно, был еще важный вопрос — Польский. Одним из главных побуждений к Тильзитскому миру и союзу было желание удержать восстановление Польши Наполеоном по крайней мере на первой стадии — образовании герцогства Варшавского под властью саксонского короля. Понятно, что Александр должен был стараться, чтобы дело не переступило на вторую стадию вследствие Австрийской войны. С лет ранней молодости Польский вопрос сильно занимал его, и нельзя думать, что в этом отношении он находился под исключительным влиянием Чарторыйского. Последний, как человек, помешанный на вопросе, мог только наскучить Александру своею неотвязчивостью. В отношениях Александра и Чарторыйского по поводу Польского вопроса мы ясно видим в Чарторыйском человека, страстно относящегося к делу, а в Александре — человека, спокойно обдумывающего его, соображающего все благоприятные и неблагоприятные условия, испытывающего то или другое средство для приведения его к концу, в связи со многими другими вопросами. Решение Польского вопроса, как оно было задумано Александром и после исполнено, проистекало прямо из природы Александра, постоянною целью которого было примирение интересов, улаживание. С лет ранней молодости Александр слышал различные толки о Польском вопросе, о разделах Польши. С одной стороны, русские люди выставляли свое право и свой интерес, против которых возражать было нельзя; с другой стороны, с запада слышались громкие вопли против распоряжений трех держав относительно Польши, и этим воплям подле Александра вторил не один Чарторыйский: были и русские, которые, по каким бы то ни было побуждениям, относились неодобрительно к политике Екатерины относительно Польши, — вспомним Воронцовых, имевших большое влияние.

Александр, поставленный между двух сторон, по своему основному стремлению естественно должен был прийти к мысли примирить эти стороны, согласить интересы восстановлением Польши и вместе соединением ее с Россией под одним скипетром. А между тем

борьба, поднятая Наполеоном и взволновавшая всю Европу, вызывала мысль о Польше и в других сферах, потому что пошла страшная ломка, переделка карты, создавались новые государства, изменялись границы старых; на Польшу не могли не обратить при этом внимания; о новых отношениях к ней толковали и в Берлине, и в Вене, и в Париже; каждое государство хотело воспользоваться ею для своих целей, поднимать ее против врагов, выменивать ее области на другие, более подходящие и т. п. Но понятно, что решение вопроса зависело от двух сильнейших государств, располагавших судьбою Европы, — России и Франции; для них Польша стала местом и причиной борьбы на живот и на смерть. Наполеон уже начал дело восстановления Польши в своих интересах; не допустить дальнейшего хода этого дела было жизненным вопросом для России.

Демонически искусительно было предложение Наполеона Александру в Тильзите — взять себе Польшу и отдать Пруссию на жертву Наполеону. «Единственная собственность государей» — честь — заставила Александра отвергнуть предложение; но Польский вопрос вместе с Восточным уже ставил обоих союзников в положение борцов, не спускающих глаз друг с друга, следящих взаимно за малейшим движением. Во время Австрийской войны 1809 года столкновение последовало при общем действии именно в Галиции, куда вступило русское войско под начальством князя Голицына (Сергея Федоров.), а с другой стороны, вступило польское войско Варшавского герцогства под начальством кн. Понятовского, который стал величать себя «главнокомандующим польской армии». Поляки хотели распоряжаться в польских областях Австрии, как уже в принадлежащих имеющему немедленно восстановиться Польскому королевству, и занимали их именем Наполеона, тогда как император Александр имел в виду одно: чтобы создание Наполеона, Варшавское герцогство, никак не усиливалось приобретением польских областей Австрии; чтобы восстановление Польши в интересах Наполеона не вступило таким образом на вторую стадию, ибо на третьей Варшавское герцогство принимало титул королевства Польского с претензиями на русские земли, принадлежавшие Польше до разделов. Претензии уже обнаружили немедленно: по знаку, данному Наполеоном, типографские станки Варшавского герцогства должны были работать неутомимо, печатая воззвания ко всем полякам — вооружаться для

восстановления отчизны, разорванной преступною стачкою трех держав; поведение России в настоящей войне выставлялось в самом черном виде, как враждебное польским интересам, и, разумеется, прославлялся великий человек, посвятивший свой гений и силы для отмщения за Польшу. Зажигательные листы проникли в Литву, на Волынь, где польский слой народонаселения волновался. В Петербурге знали, что все это происходит по приказанию или по крайней мере с согласия Наполеона. Император Александр говорил Коленкуру: «Я не претендую, чтоб князь Понятовский занимал что-либо в Австрии моим именем; но точно так же я не могу согласиться, чтоб именем императора Наполеона занимали земли, завоеванные моим оружием. Какое намерение Франции? Что, она хочет удержать Галицию за собою? Но я никогда не соглашусь, чтоб на моей границе была французская провинция. Ни народ мой, ни потомство мне этого никогда бы не простили. Сколько пожертвований принесено мною французскому союзу: война с Англиею причинила страшный вред русской торговле; война с Австриею стоит огромных издержек. После таких жертвований я имею полное право удивляться тому, что происходит в Польше: Варшава пылает бешеною ненавистию к русским — только о том и речей, чтоб возбудить восстание в Литве, и неужели это согласно с союзом между Россией и Францией?» Граф Румянцев говорил Коленкуру еще сильнее: «Вы спокойно смотрите, как разгораются политические страсти во всех городах Варшавского герцогства; вы позволяете делать воззвания к жителям прежней Польши; я вам объявляю, г. посол: мы жертвуем последним человеком, мы продадим последние наши рубашки, а не согласимся на восстановление Польши».

После заключения перемирия с Австрией Наполеон написал Александру письмо, в котором предлагал отправить русского уполномоченного для ведения сообща переговоров, или, быть может, Александр согласится быть включенным в договор в качестве союзника Франции. Александр отказался отправить уполномоченного: такие дела он любил вести сам; и действительно, трудно было выбрать человека, на которого можно было бы возложить ответственность за ведение дела при таких натянутых обстоятельствах. «Я, — сказал он Коленкуру, — вручаю интересы моей империи союзнику моему императору Наполеону и совершенно полагаюсь на его решения.

Император Наполеон держит теперь в своих руках судьбу Австрии; мое личное желание, чтоб Франция ограничила военные силы этого государства, а не раздробляла его; впрочем, я ограничиваюсь здесь только выражением моего желания. Я выскажусь прямо относительно одного вопроса, в котором ничто не может меня поколебать: я буду против всякой меры, которая поведет к восстановлению Польши. Я не могу пожертвовать своей привязанности к императору Наполеону интересом и безопасностью своей империи. Пусть император даст мне по этому делу удовлетворительный ответ, и он может на меня положиться. Он говорит, что мир велик, можно уладиться; император Наполеон ошибается, если дело идет о восстановлении Польши: в этом случае мир не так велик, чтоб мы могли уладиться, ибо я ничего не хочу для себя».

Наполеон велел Коленкуру объяснить императору Александру, что Галицию нельзя возвратить Австрии: жители Галиции подняли оружие против Австрии, которая им будет мстить за это. Но Александр отвечал: «Если вы хотите отнять всю Галицию у Австрии, то отдайте ее одному из австрийских эрцгерцогов, который бы не был под вашим влиянием. Хотите разделить ее между мною и герцогством Варшавским — в таком случае герцогство должно получить малую долю, а я — большую, ибо я не могу и не хочу согласиться ни на что, что бы могло дать надежду породить даже идею о восстановлении Польши. Россия действовала сообща с вами, она имеет право рассчитывать на общие выгоды с вами. Затянем союз против Англии и заботливо удалим все, что может нас разъединить, не делая ничего, что бы могло вести к восстановлению Польши. На этом держится мир морской и мир континентальный». Румянцев распространял мысли государя. «Как вы хотите иметь союзников, — говорил он Коленкуру, — внушая им страх за собственную безопасность в то время, как они бьются за вас? Я не вижу ничего, что могло бы нарушить великий союз, соединяющий нас против Англии, если император Наполеон не имеет намерения восстановить Польшу. Если герцогство Варшавское получит небольшое приращение, Россия также удовольствуется малым; но если вы возьмете значительную часть Галиции, то мой государь требует двух третей этой страны и только одну треть уступает герцогству».

Требования были высказаны как нельзя яснее: мир морской и мир континентальный зависели теперь от того, как Наполеон распорядится польскими владениями Австрии: две трети России и треть Варшавскому герцогству. Наполеон распорядился совершенно наоборот: России — Восточную Галицию с 400.000 жителей; герцогству Варшавскому — Западную Галицию и округа Кракова и Замосця с 1.500.000 жителей. Что заставило его это сделать? Во-первых, Польский вопрос нужно было значительно двинуть; он не хотел восстанавливать Польши окончательно, но и не хотел тушить надежду поляков; надобно было, чтобы результат сколько-нибудь соответствовал тому возбуждению, какое он сам произвел в жителях герцогства и в поляках Галиции; и после такого возбуждения отдать Галицию Австрии или России было действительно для него трудно. Во-вторых, он уже не хотел более церемониться с Россией и хотел отомстить ее государю за нарушение, в его глазах, союза, за неусердную помощь в войне; теперь он уже ненавидел Александра, ибо считал себя обманутым; теперь он уже не мог положиться ни в чем на тильзитского союзника, который явился для него не добродушным, мягким, доверчивым человеком, но греком Византийской империи, которого надобно остерегаться, а не считать покорным орудием; мысль, что он сам мог служить орудием для человека, которого считал своим орудием, была невыносима для Наполеона. Наконец, раздражал тон Александра, решительность и ясность требований, угроза важными последствиями неисполнения этих требований. Легко понять чувство Александра, когда он узнал, как союзник распорядился Галицией. Страшное оскорбление увеличивалось еще необходимостью принять долю, назначенную Наполеоном, иначе сам Александр способствовал бы усилению герцогства Варшавского; он должен был взять Восточную Галицию по тем же побуждениям, по каким взял Белостокскую область.

И, несмотря на то, сделана была еще попытка уладить польское дело между Россией и Францией. «Надобно, — говорил Наполеон Куракину, — вконец искоренить в ваших областях польскую горячку. Что касается меня, то я никогда не имел видов на Польшу и никогда не буду иметь их; я желаю только вашего спокойствия. Что я сделал для герцогства Варшавского, то я должен был сделать, чтоб дать ему существование, чтоб его укрепить. Надобно запретить вашим

польским подданным служить и оставаться в Варшавском герцогстве; надобно в этом отношении установить общие правила для всех собственников и строго наблюдать за их исполнением». В письме Шампаньи к графу Румянцеву говорилось, что Наполеон готов согласиться, чтобы слова «Польша», «поляки» исчезли не только из актов, но даже из истории.

Вследствие этих заявлений Россия предложила Наполеону конвенцию для определения будущей судьбы герцогства Варшавского. Наполеон согласился. Коленкур получил полномочие, и конвенция была заключена 23 декабря 1809 года (4 января 1810 г.); она была основана на заявлениях Наполеона и заключала в себе статьи: Польское королевство не будет никогда восстановлено; слова «Польша», «поляки» не будут употребляться в публичных актах; великое герцогство Варшавское не будет более распространяться на счет прежде бывших польских областей. Наполеон отверг соглашение, объявив, что Коленкур превысил полномочие. Наполеон указывал на невозможность утвердить первую статью, то Польша не будет никогда восстановлена. Наполеон предлагал переменить ее так, что Франция обязывается не содействовать ни прямо, ни косвенно восстановлению Польши. «Я не могу, — говорил Наполеон, — предварить решений Провидения и не хочу воевать с другими государствами, которым придет фантазия восстанавливать Польшу». Такая увертка, такое слишком несерьезное толкование в деле столь важном показывали всю неискренность Наполеона. Для всякого было понятно, как кто-нибудь другой мог восстановить Польшу без согласия Наполеона и как он не будет воевать в таком случае. От Наполеона требовали прямо, чтобы обязательством: «Польша никогда не будет восстановлена» — он уничтожил надежды и волнения поляков. Он выдал свою мысль, требуя, чтобы соглашение оставалось тайным, тогда как Россия требовала, напротив, чтобы оно было публично.

Это дело о конвенции насчет Польши, бывшее основною причиною уничтожения тильзитского союза, основною причиною окончательной борьбы между Россией и Францией, объясняется следующим: когда со стороны Наполеона последовали заявления, что он никогда не намерен восстанавливать Польшу и готов изгладить ее имя даже из истории, он разводился со своей женой, Жозефиной Богарне, и предлагал свою руку сестре императора Александра, великой княжне

Анне Павловне, 6-го февраля (н. ст.) Наполеон получил от Коленкура известие о нерешительном ответе или, лучше сказать, об учтивом отказе со стороны императора Александра, и в тот же самый день он велел дать знать русскому двору о своем отказе утвердить соглашение о Польше.

Какое значение имел этот отказ для будущих отношений между Россией и Францией — было видно из слов Александра Коленкуру: «Моя умеренность и справедливость моего дела известны; не я нарушу покой Европы; я не нападу ни на кого; но если на меня нападут, то я буду защищаться». Эти слова не были следствием сильного волнения, беспокойства, страха: они были следствием спокойного обсуждения своего положения и знания, с кем имелось дело. Конвенция служила пробой: если бы Наполеон согласился утвердить конвенцию и опубликовать ее, то можно было успокоиться по крайней мере на некоторое время и заняться внутренними делами. Если же он отказывался, если, не довольствуясь западом Европы, хотел обнаруживать могущественное влияние и на восток ее, употреблять Россию как орудие для своих целей, держать ее в тисках, под ножом, постоянно готовым опуститься, то рушилось равенство между двумя империями, рушилось, следовательно, основание, на котором было создано тильзитское соглашение; Россия не могла признать уничтожения этого равенства, и надобно было вступить в борьбу. Александр предписал Куракину не соглашаться ни на какое изменение конвенции о Польше и объявить Наполеону, что отказ утвердить соглашение он, Александр, считает доказательством решения со стороны императора французов когда-нибудь восстановить Польшу.

Эти решительные требования, этот язык вполне соответствовал цели — поддержать равенство; но мог ли выносить это равенство Наполеон, мог ли на него согласиться? «Что значит этот язык? Россия хочет войны!» — говорил Наполеон. «Я первый не нападу, но если на меня нападут, то буду защищаться», — говорил Александр. Роковое слово — «война» — было произнесено и во Франции, и в России. И здесь и там начались приготовления. 10-го июля 1810 года (н. ст.) Наполеон потребовал от своего военного министра известия: получено ли в Варшаве оружие, которое он туда послал; сколько вообще оружия находится в герцогстве — там должно быть много его, чтобы народонаселение в нужном случае могло быть вооружено, 2-го августа

потребовал он от Коленкура точных сведений о русском войске, которые должны доставляться ежемесячно шифрованные. Через два дня приказ военному министру усилить гарнизоны прусских крепостей; король Саксонский герцог Варшавский должен укрепить Модлин; саксонцам должно быть отправлено оружие; французская армия в Германии должна быть доведена до 200.000 человек и т. д. Россию должно предупредить: нельзя позволить ей захватить Польшу и ввести свое войско в Пруссию, где народонаселение питает страшную ненависть к французам, где все поднимется, получив опору в русском войске, — война будет тогда трудная.

Чтобы с успехом кончить дело, сломить последнее государство, которое хочет быть независимо, держать себя в равенстве, выставлять свои интересы и тем препятствовать интересам Франции; чтобы сломить это государство, последнюю надежду поработанных народов, надобно сделать громадные приготовления, ибо удар должен быть нанесен решительный: надобно навсегда освободиться от этой последней помехи на континенте и вместе нанести решительный удар и Англии; громадные приготовления требуют времени — год, может быть, два, и потому не надобно явно ссориться до тех пор, пока будет все готово. Более двух лет, вооружаясь постоянно, оскорбляя Россию своими распоряжениями, Наполеон закидывал русских посланников пестрыми речами, переплетая откровенные выходки с явным притворством и ложью, выставляя свою правоту, обвиняя императора Александра и в то же время заявляя о своих дружеских чувствах к нему.

Как образчик этих речей приведем разговор Наполеона с князем Куракиным (Алексеем) 7-го августа 1810 года: «Мое внимание обращено исключительно на Англию, Голландию, Испанию, Италию; поэтому нет ничего, что бы могло вести к недоразумениям между нами, кроме польских дел. Они могут возбуждать в вас недоверие; но ведь сами же вы виноваты в событиях, которые повели к этому! Так как в последнюю Австрийскую войну вы не двинулись в самом начале и не заняли тотчас Галиции, то дали время полякам овладеть ею и отняли у себя средство иметь ее теперь, ибо, раз занятая вашими войсками, она должна была бы остаться за вами. При Венском мире мне было нельзя уступить ее вам; не мог я также и возвратить ее прежнему государю: я не мог принести в жертву страну, которая

оказала мне преданность. Я не хочу восстановления Польши, — кажется, я это доказал, потому что я мог это сделать и в Тильзите, и после Венского мира. Если б я имел это в виду, то я бы дал герцогство Варшавское не саксонскому королю — человеку слабому, апатичному, который никогда не двинется. По вине вашего кабинета вы получили в последний раз так мало. Вы всегда прежде, чем начать действовать, заглядываете в последствия событий; но в наш век события идут одно за другим с такою быстротою, что, упустивши раз благоприятную минуту, после уже ее не поймаешь. Правда моего поведения должна вам доказать искренность моих намерений. Государи, поставленные в челе великих империй, не должны действовать иначе; интриги приличны только королю прусскому и мелким князьям германским, которые не умеют и не могут вести себя иначе. Если я буду принужден воевать с вами, то совершенно против моей воли: вести 400.000 войска на север, проливать кровь без всякой цели, не имея в виду никакой выгоды! Что вы получили от своей войны в Италии? Погибло множество народа, единственно чтоб доставить славу Суворову. Я не пойду, как император Павел, чтоб схватиться за Мальтийский орден и сделаться его гроссмейстером. Хочу, чтоб меня поняли и не тревожились словоизвержением праздных людей и газетчиков. Я велел сказать Порте, чтоб не думала о возвращении Молдавии и Валахии. Я должен желать, чтоб эти княжества вам принадлежали, во-первых, потому, что они укрепляют вашу границу на левом берегу Дуная, границу естественную, которую вы должны непременно иметь; потом, это приобретение составляет предмет сильного желания императора Александра; а наконец, — нечего скрывать — это приобретение делает вас навсегда врагами Австрии; скажу вам, что она боится вас столько же, как и меня».

«Хочу, чтоб меня поняли», — говорил Наполеон. Как понимал его император Александр, видно из разговора его с князем Чарторыйским в конце 1809 года, до разрыва по поводу конвенции о Польше. Когда Чарторыйский заметил, как Наполеон успел уверить поляков в своем доброжелательстве к ним, император прервал его: «Э! Что вы мне говорите! Это еще ничего; я знаю наверное, что в то самое время, когда в законодательном корпусе читалось изложение состояния империи, где говорилось, что император никогда не имел в виду восстановления Польши, Наполеон уверял поляков в противном,

старался оживить их надежды всевозможными объяснениями и обещаниями». Когда Чарторыйский упомянул, что ходят слухи о болезни Наполеона, о возможности сумасшествия, император сказал: «Никогда Наполеон не сойдет с ума. Среди самых сильных волнений у него голова всегда спокойна и холодна. Страстные выходки его большею частью обдуманны. Он ничего не делает, не рассчитавши заранее. Самые насильственные и отважные его действия хладнокровно рассчитаны. Его любимая поговорка, что во всяком деле надобно сначала найти методу; что всякая трудность преодолевается, если найдена настоящая метода, как поступать. У Наполеона все средства хороши, лишь бы вели к цели».

Составив себе такое понятие о характере своего противника, Александр готовился к войне, и, разумеется, ничто уже не могло его более удивить в поступках, в новых захватах Наполеона. Со своей стороны он поставил себе правилом: не подавать повода к разрыву, не быть зачинщиком открытой борьбы, но вести себя так, чтобы сохранить полное равенство в отношениях к западному императору, не позволяя ему требовать больше того, что Россия должна была исполнить по точному смыслу договоров, и протестуя, когда Наполеон позволял себе нарушение договоров. По Тильзитскому договору Россия разорвала с Англией и по тому самому примкнула к континентальной системе, не допускала английских кораблей в свои гавани; но в договоре не было условия, что русские гавани должны быть заперты и для нейтральных судов, — и нейтральные корабли допускались. Наполеону давали знать, что на этих нейтральных кораблях, именно американских, провозятся в Россию английские товары; мало того, что даже английские купцы пробираются в Россию под нейтральным флагом. Наполеон страшно раздражался, требовал прекращения этого явления как наносившего сильный вред континентальной системе; ему отвечали, что в договоре нет ничего о торговле нейтральных. Русское правительство издало тариф, облагавший высокою пошлиною произведения французской промышленности. Наполеон взбешен: осмеливаются прямо действовать против интересов Франции! Ему спокойно отвечают, что это внутреннее распоряжение, в которое иностранное государство не имеет права вмешиваться. Для проведения той же континентальной системы, чтобы обеспечить исключение английских товаров на берегах

Балтийского и Немецкого морей, Наполеон захватил ганзейские города и вместе владения герцога Ольденбургского, родственника императора Александра. Среди гробового молчания, произведенного французским игмом во всей Европе, раздался, как по смерти герцога Ангьенского, один протестующий голос России, и легко понять, какое впечатление производил он среди всеобщего молчания: все живое, питавшее, ненависть к чужому игу, обращалось туда, откуда раздавался этот голос, говоривший, что есть страна — непорабощенная. Наполеон опять был взбешен. «Зачем, — говорил он, — император Александр протестовал? Зачем не вошел в соглашение? Герцог Ольденбургский получил бы вознаграждение». Наполеон не понимал или не хотел понять, что протест произошел вследствие нарушения равенства в отношениях между двумя империями; что соглашение должно было предшествовать факту, а не следовать за ним.

Война готовилась. Вооружениям со стороны Франции соответствовали вооружения России. Но императору Александру предстоял для решения труднейший вопрос: встретить ли неприятеля на чужой земле или ждать его на своей. Опыт всей борьбы с Наполеоном приводил необходимо к заключению, что единственное средство побороть его заключалось в том, чтобы избегать решительных битв, отступать, завлекать внутрь страны, отнимать средства продовольствия; в его выгоде постоянно было покончить дело как можно скорее; следовательно, в выгоде противника было — истомить его медленностью. После Аустерлица толковали, зачем было вступать в сражение, надобно было отступать в глубь Венгрии. Но эти толки не помогли: пруссаки выдвинулись — и были разгромлены. Решение старика Каменского отступить, за что он был объявлен сумасшедшим, было проблеском новой, необходимой системы в борьбе; странный на первый взгляд образ ведения войны Беннигсена является для историка необходимым звеном в цепи явлений борьбы, попытку, не удавшейся вследствие указанных выше самых неблагоприятных условий.

Теперь при отстранении этих условий для новой системы естественно наступал черед, тем более что последняя Австрийская война 1809 года нанесла окончательный удар старой системе, а война в Испании давала подкрепление новой, для которой Россия представляла самые благоприятные условия. Конечно, эта система была бы принята

с первого же раза, если б император Александр не останавливался важным обстоятельством. Естественно было ожидать, что Наполеон начнет свои враждебные действия против России провозглашением восстановления Польши, что должно было отразиться в западных русских областях среди тамошнего ополяченного шляхетского слоя и произвести большие затруднения для России. Предупредить Наполеона, восстановить Польшу под скипетром русского государя и встретить французские войска в областях так называемого Варшавского герцогства, опираясь на поляков, а не имея их против себя, было мерою, на которой трудно было не остановиться. Советы восстановить Польшу продолжали подаваться императору.

Князь Сергей Федорович Голицын, начальствовавший русским вспомогательным отрядом в войне 1809 года, писал государю, выставляя усердие галицкого народонаселения к России, что было бы полезно восстановить Польское королевство под скипетром русского государя. Полковник Чернышев, отправленный с письмом Александра к Наполеону, писал из Парижа в самом начале 1811 года: «Наполеон только притворяется миролюбивым; его честолюбию и захватам нет пределов; во Франции всеобщее неудовольствие вследствие несчастной войны Испанской, прекращения торговли, банкротств, деспотизма. Нужно поскорее заключить мир с Турцией, снести с Австрией и Швецией: первой обещать часть Валахии и Сербии, второй — Норвегию; взойти внезапно в герцогство Варшавское, императору провозгласить себя королем польским. Участь поляков (Варшавского герцогства) печальна от налогов и лишений всякого рода; они все это сносят в надежде сделаться нацией, и если император Александр осуществит эту надежду, то поляки предпочтут русского императора французскому».

Все это прекрасно; но главное дело именно и состояло в том, чтобы увериться, можно ли положиться на поляков при восстановлении королевства при вступлении русского войска в герцогство Варшавское. Император велел отвечать кн. Голицыну, чтобы он прежде всего удостоверился вполне: магнаты варшавские и галицкие имеют ли прямое и твердое желание поступить под скипетр императора. Понятно, что кн. Голицын не имел возможности в этом удостовериться. Гораздо больше средств для этого имел кн. Чарторыйский, и Александр в самом конце 1810 года обратился к нему

с вопросами: есть ли у него достаточно верные данные насчет расположения умов жителей Варшавского герцогства; имеет ли он основания думать, что варшавцы с жадностью схватятся за уверенность в восстановлении их отечества, из какого государства ни явилась бы эта уверенность, или он предполагает существование партий, которое воспрепятствует единству решения. «Если, — писал император, — ваш ответ поселит во мне надежду на единомыслие варшавцев, особенно армии, относительно восстановления Польши, откуда бы оно ни пришло, в таком случае успех несомненен с помощью Божией, ибо он основан не на надежде выставить против Наполеона равный военный талант, но единственно на недостатке сил у него, к чему присоединяется общее ожесточение всей Германии».

Ответ Чарторыйского не мог поселить никакой надежды: Наполеон внушил полякам убеждение, что, как скоро последует разрыв между Россией и Францией, Польша будет восстановлена; сюда присоединяется чувство благодарности за то, что Наполеон уже сделал для них, братство по оружию между французами и поляками, идея, что французы — друзья, а русские — враги; конечно, если с русской стороны будут предложены уже очень большие выгоды, то поляки могут и согласиться. В заключение Чарторыйский просил совершенного увольнения из русской службы, а это всего лучше показывало, что поляки ожидают всего с запада, и потому надобно было спешить отделаться от востока.

Несмотря на то, император Александр счел нужным продолжать переписку с Чарторыйским: в своих письмах он давал знать влиятельному польскому магнату, что в предстоящей борьбе нельзя считать русского дела проигранным; что со стороны поляков, следовательно, надобно вести себя осторожно, имея в виду восстановление Польши посредством русского государя. Александр с полною откровенностью описывает свое положение, свои намерения и средства; средства эти, материальные и нравственные, велики, на успех рассчитывать можно: «Пока я не буду иметь уверенности в содействии поляков, я решился не начинать войны. Если это содействие должно осуществиться, то надобно, чтоб я имел тому доказательства несомненные. Разрыв с Францией кажется неизбежным. Цель Наполеона — уничтожить или по крайней мере унижить последнее самостоятельное государство в Европе. Хотя и была

бы возможность продвинуть наши силы до Вислы, даже перейти ее и вступить в Варшаву, однако благоразумнее не основывать своих расчетов на таких выгодных возможностях. Поэтому надобно создать центр действий в собственных областях. Русское войско имеет за собою обширнейшее пространство земли для отступления, причем Наполеон, удаляясь все более и более от своих средств, будет увеличивать свои затруднения. Если война начнется, то у нас решено ее не прекращать. Военные средства приготовлены обширные; общественный дух превосходен и существенно разнится от того, какой был во время первых двух войн; нет более хвастовства, которое заставляло презирать неприятеля. Напротив, оценивают свою силу, думают, что неудачи очень возможны, но, несмотря на то, принято твердое решение поддерживать честь империи до последней крайности. Какое впечатление произвело бы присоединение к нам поляков в таких обстоятельствах! Масса немцев, влекомых силою, конечно, последовала бы их примеру»^[10].

Решение Польского вопроса определяло способ начатия войны; вследствие этого оно же определяло и отношения России к Турции и Австрии. Если бы Чарторыйский дал уверенность, что в Варшавском герцогстве можно получить опору в предстоящей войне, то Александр пошел бы туда навстречу к Наполеону, причем, разумеется, нуждался в поддержке со стороны Пруссии и Австрии. Для приобретения согласия последней на восстановление Польши под скипетром русского государя Александр готов был уступить Австрии Молдавию и Валахию. Но когда Чарторыйский дал ответ неудовлетворительный и когда решено было принять врага на русской почве, то Александр отнесся гораздо равнодушнее к вопросу, на чьей стороне будут Австрия и Пруссия. Если б последняя объявила себя на стороне России, то, конечно, последняя должна была бы для ее защиты двинуть свои войска в ее области, здесь встретить Наполеона, и тогда могли бы повториться все невыгоды войны 1807 года. Приближение «великой катастрофы» ужасало прусского короля. «Мое несчастное положение вам известно, — писал он Александру в конце марта 1811 года. — Взгляд на карту, на расположение французских войск, военные дороги и сообщения покажет, в каком беспримерном положении нахожусь я, с какою осторожностью должен действовать, чтоб не подвергнуть мое государство гибели. Без благоприятной перемены дел я могу найтись в

необходимости пойти такую дорогою, которая наиболее противна моим желаниям и правилам. Война между Францией и Россией будет всегда для Пруссии величайшим бедствием». Для успеха войны Фридрих-Вильгельм советует Александру войти в связь с Австрией, Швецией, восстановить Польшу, давши ей свободный выбор короля; Австрия недовольна Турецкой войной, видами России на Молдавию и Валахию; король внушает, что Австрию надобно успокоить в этом отношении, иначе она может перейти на сторону Наполеона. В этом письме король уже внушает, что он может быть приневолен к союзу с Францией.

К большому отягчению положения Фридриха-Вильгельма взгляды главных советников его расходятся. Шарнгорст стоит за союз с Россией; Гарденберг, принятый снова на службу с позволения Наполеона, получивший место канцлера, предпочитает союз с Францией. «По всей вероятности, — говорит Гарденберг, — Пруссия погибнет, если, заключив теперь союз с Россией, вступит в войну с Францией. Опасность французского союза менее грозна, позднее обнаружится и скорее может быть избегнута». Решено играть в двойную игру: вести переговоры о союзе и с Францией, и с Россией. Король опять пишет императору Александру: «Если Австрия и герцогство Варшавское будут с вами, если ваши войска будут близко от моих границ и в состоянии меня защищать, то я не буду колебаться ни минуты и стану подле вас. В противном случае, как я охраню существование моего государства, не войдя в союз с Францией? От Наполеона зависит уничтожить Пруссию прежде, чем в величество будете в состоянии прийти ко мне на помощь. Вот основание моего сердечного желания, чтоб войны при настоящих обстоятельствах не было». «Вы ускорите войну своими переговорами с Наполеоном, ибо успокоите его насчет ваших намерений, — отвечал Александр. — Я войны не хочу. Мои военные меры суть только меры предосторожности. Политический интерес России требует сохранения Пруссии. Движение Наполеона против Пруссии будет сочтено в России объявлением войны ей самой. В случае войны должно избегать больших сражений; для отступательных движений надобно устроить длинные операционные линии, оканчивающиеся укрепленными лагерями. Эта система доставила Веллингтону победу в Испании, и я решился ей следовать. Наполеон должен начинать войну; я по крайней

мере хочу иметь утешение, что не буду зачинщиком. Движению французских войск через Пруссию я воспрепятствовать не могу, но это движение не будет равнозначуще падению монархии, если будут существовать укрепленные лагеря при Кольберге и Пиллау. Занявши около себя французские войска, они дадут возможность русским двигаться вперед; французы будут принуждены снять осаду, чтоб идти против моих войск: тогда пруссаки станут действовать во фланг и в тыл неприятеля».

Предложение союза с прусской стороны не было принято Наполеоном: приготовления к войне не были еще окончены, союз с Пруссией мог возбудить подозрение в России, заставить ее принять наступательное движение. А между тем французские войска все более и более усиливаются, обхватывают Пруссию со всех сторон. Всеми овладевает мысль, что Наполеон не хочет иметь Пруссию союзницей, хочет ее уничтожить, не доверяя ей. В отчаянии кидаются опять к России: отправляют в Петербург для соглашений Шарнгорста под величайшим секретом; начинают вооружаться; но от Наполеона приходит грозное слово, чтобы вооружения были прекращены. Наполеон видел, однако, что, притесняя таким образом Пруссию, он может заставить ее перейти решительно на сторону России, и потому изъявил согласие на переговоры между Францией и Пруссией о союзе.

Когда начались эти переговоры, приезжает Шарнгорст из Петербурга с заключенною там военной конвенцией, которая состояла в следующем: «Не увеличивать и не сосредоточивать войск, чтоб не внушать Франции опасений и не разрывать с нею. Но если с французской стороны последует движение войск с явною целью вторжения в Пруссию или Россию, или значительное увеличение войск на Эльбе и Одере, или занятие одной из прусских областей под каким бы то предлогом ни было, — то считать это за объявление войны. В таком случае правое крыло русского войска, находящееся под начальством князя Витгенштейна, идет на помощь Пруссии, чтоб вместе с прусскими войсками действовать на Висле и в герцогстве Варшавском; кроме того, корпус русских войск перейдет границу для прикрытия Кенигсберга».

И эта конвенция несколько не успокаивала короля; его могло успокоить только немедленное прибытие сильных русских войск в Пруссию, предупреждавшее французов, ибо в противном случае

каждая минута промедления могла быть гибельна для Пруссии. Было очевидно, что интересы двух государей и государств совершенно разрознились в эту страшную решительную минуту: весь предшествовавший опыт борьбы приводил русского государя к убеждению, что не должно быть зачинщиком войны, не должно выдвигать войско за границу навстречу Наполеону — надобно дать ему вторгнуться в Россию и затянуть его в глубь этой океана-земли. Король Прусский был того убеждения, что ему, обхваченному войсками Наполеона, находящемуся под занесенным ножом, можно было вступить в союз с Россией только тогда, когда последняя станет зачинщицей войны, даст ему помощь прежде нападения французов. Фридрих-Вильгельм находился в положении человека, который настигнут движением большой толпы: броситься в сторону нельзя, он должен бежать вместе с толпою; если же остановится, то будет стоптан, уничтожен. Король писал Гарденбергу: «Только отчаяние и полная невозможность получить от Наполеона сносные условия союза могут нас заставить перейти на сторону России, которая, нехотя и только чтоб удержать нас при себе, отказалась (Шарнгорстовой конвенцией) от первого военного плана; сильной деятельности от русской армии ждать нельзя: она при первой возможности возвратится к этому первому плану».

Утопающему оставалась еще соломина: Шарнгорст отправился в Вену: не будет ли оттуда помощи. Но услышал от Меттерниха, что Австрия не примет сторону Франции, останется нейтральной, и в Берлине могут быть убеждены, что интересы Австрии и Пруссии соединены неразрывно и без трактата. При этом Меттерних не отказал себе в удовольствии сделать выходку против России: «Вызывает для себя оборонительную войну; для Пруссии ничего не делает; против заключения союза между Францией и Пруссией действует только на бумаге, вместо того чтоб протестовать против него высылкою своего войска на Одер». Гарденбергу Меттерних писал: «Что тут будешь делать, если держава, которая постоянно хочет иметь все, кроме средств для достижения цели — и цель эту постоянно переменяет, — если такая сильная держава, как Россия, из всех дорог избирает самую колеблющуюся и потому самую ложную». Прусскому поверенному барону Якоби Меттерних говорил: «Ищите зло там, где оно скрывается: в бесчисленном множестве ложных шагов, ложных

надежд и ложных расчетов державы, которая, если б не ее печальное ослепление, была бы призвана мир спасти и вместо того делает сама себя орудием его гибели». И соломина исчезла в волнах. Пруссия заключила союз с Францией, который совершенно отдавал ее в распоряжение Наполеона в войне его с Россией. Наполеон отверг робкие требования Пруссии некоторой самостоятельности, некоторого облегчения после войны; он не хотел ни насколько приподнять своей железной руки от страны, которую ненавидел, потому что знал ненависть к себе ее народа. Он говорил в это время о Пруссии: «Министр (Тарденберг) благоразумен; король — добрый человек; но народ скверный, я его не люблю, в нем кроется злой умысел. Лучший способ обеспечить себе спокойствие Пруссии — держать ее в невозможности сделать какое-нибудь движение».

Трудно предположить, чтобы союз Пруссии с Францией произвел очень неблагоприятное впечатление на императора Александра. Этот союз развязывал ему руки, позволял вполне следовать военному плану, который, в его убеждении, один только обещал успех. Фридрих-Вильгельм писал императору в марте 1812 года: «Пожалейте обо мне, а не обвиняйте меня. В. величество сами бывали в таком положении, когда рассудок заставлял покоряться тяжким обстоятельствам, когда вы принимали благоразумные решения, стоившие дорого вашему великодушному сердцу (намек на Тильзит). Во всяком случае моя непоколебимая привязанность к особе в. величества останется одинакою. Если начнется война, то мы не повредим друг другу более, чем сколько потребуют строгие правила войны, и не будем забывать, что мы друзья, и придет время, когда будем союзниками». В Петербурге не могли завидовать Наполеону, что он приобрел такого союзника, и потому могли не очень беспокоиться насчет следствий союза.

Более неприятное впечатление произвела весть о союзе Австрии с Францией, о вспоможении, которое первая обязалась доставить второй на случай ее войны с Россией. Поступок Пруссии оправдывался крайностью ее положения; Австрия не находилась в такой крайности и могла остаться нейтральною, как и заявила Пруссии. Могли удивляться поступку Австрии, еще не зная оснований политики человека, начавшего заправлять внешними делами Австрии. Кобенцль и Стадион не сознавали слабости Австрии, слабости коренной, неисцелимой; они

жили еще идеями XVIII века; они не замечали нового начала, становившегося на очередь, — начала народности; они всецело были заняты борьбою с Францией, причем, естественно, признавали необходимость тесного союза с Россией; их беспокоили отношения России к Турции, но все же эти отношения не стояли для них на первом плане. Меттерних, надобно отдать ему честь, первый почувал восход нового начала, начала народности, и, следовательно, почувал полную несостоятельность Австрии в отношении к этому началу. Но сознание своей слабости, сознание, что только искусным лавированием, умением пользоваться обстоятельствами, можно спастись, естественно, возбуждало подозрительность и вражду ко всякой силе, особенно ближайшей, которая имела крепкие основы исторического существования и особенно могла выиграть при новом начале. И до Меттерниха знали в Австрии, что она находится между двумя колоссами — Францией и Россией; но думали, что с последним Австрии можно жить и иметь важное значение в Европе; что гораздо опаснее Франция.

Взгляд Меттерниха был иной: он недаром пожил во Франции, поговорил с Талейраном; он видел, что у французского колосса глиняные ноги; что он есть создание случайности, держится военным гением одного человека: не будет этого человека или изменит ему победа — и колосс рухнет. Гораздо опаснее, следовательно, Россия, потому что основания силы ее постоянные, тогда как ослабление может быть только временное, случайное. В Австрии после Иосифа II-го становилось все сильнее и сильнее убеждение, что для нее выгодно не разрушение, а сохранение Турции. Меттерних, видя главную опасность для Австрии со стороны России; видя, что колоссальная держава волей-неволей стремится к Балканскому полуострову, слил Восточный вопрос с Австрийским, поставил существование Австрийской империи в тесную связь с существованием Турецкой. Главная опасность для Австрии будет настать тогда, когда Россия обхватит ее с двух сторон — со стороны Польши, соединив ее как бы то ни было с собою, и со стороны славян Балканского полуострова: сербские движения для свержения турецкого ига под защиту России являлись уже для австрийского министра началом конца; а это упорство России в приобретении Дунайских княжеств, необходимых ей для соединения со славянами Балканского полуострова? Если

России удастся обхватить Австрию Польшей и славянами Балканского полуострова, западным и южным славянством, то где найдет Австрия защиту? Внутри самой себя? Но там то же западное и южное славянство. В Германии? Но там Пруссия.

Правда, Меттерних толкует, что соперничество между Австрией и Пруссией должно исчезнуть, их интересы одинаковы, они должны стоять вместе против Франции и России; еще прежде Меттерниха начали об этом толковать и в Австрии, и в Пруссии; но в Пруссии толкуют об этом, пока она находится под ножом Наполеона, — оправится Пруссия от случайной беды, то при своей внутренней национальной силе, при своем единении с Германией, при своем союзе с Россией, с которой ей пока нечего делить, легко заговорит другие речи. Итак, главная опасность со стороны России: каждое движение, каждое дело Австрия должна совершать, имея в виду эту опасность. Для ее предотвращения надобно прежде всего сохранить целостность Турции. За Польшей смотрит Наполеон; но Молдавию и Валахию он уступил России, и эта уступка будет иметь силу, пока будет сохраняться согласие между ним и Русским государством; следовательно, нужно подорвать это согласие, которое вообще губительно для Австрии, ибо ставит ее в тиски между двумя колоссами. Страшная опасность: согласие может еще более скрепиться браком Наполеона на сестре русского императора. Надобно помешать этому браку, и Австрия сама предлагает в невесты Наполеону эрцгерцогиню Марию-Луизу, дочь императора Франца. Наполеон обрадовался предложению: его мучила мысль о возможности, вероятности отказа из Петербурга. Он повел сватовство на двух невестах и, как только последовал уклончивый ответ из Петербурга, обручился на Марию-Луизу: 6 февраля был получен ответ из Петербурга — в тот же день Наполеон объявил, что не утверждает конвенции о невосстановлении Польши, а на другой день, 7 февраля, был подписан брачный контракт с австрийской эрцгерцогиней. Австрия опять вошла под влияние благодетельного для нее божества — брака, опять получил значение старый латинский стих: «А ты, счастливая Австрия, заключай браки!» (Tu, felix Austria, nube!)

Конечно, Австрия не могла надеяться получить скорую, непосредственную выгоду от этого брака. Наполеон говорил, что брак не может иметь никакого политического значения, и говорил правду:

он не был такой человек, чтобы из-за прекрасных глаз эрцгерцогини отдал бы хотя какой-нибудь клочок земли. Но во-первых, Австрийская династия успокаивалась: она не будет тронута, ибо вступила в связь с Бонапартовской династией, входила в систему государств, престолы которых были заняты родственниками Наполеона; во-вторых, Россия была удалена, и против нее легче стало действовать, легче было заставить Наполеона содействовать достижению главной цели Австрии — недопущению России усиливаться на счет Турции. Наполеон немедленно начинает получать внушения от родственного двора: «У Европы один страшный враг — это Россия; цивилизации Запада грозит варварство московское; его независимость находится в опасности от этой страшной империи. Император Наполеон один может ее сдержать: от его твердости и высокой предусмотрительности Запад ожидает своего спасения». Спаситель Запада пока молчал, не объявлял, какими средствами будет спасать Запад; он был очень доволен, что Восточный вопрос возбуждает такую ненависть в Австрии против России, и сам не спускал глаз с берегов Дуная. Летом 1810 года он был встревожен удачными движениями русских за Дунаем, взятием Базарджика и Силистрии. В Вене эти успехи приводили в ужас. Меттерних говорил французскому посланнику Отто: «Моего государя очень беспокоят русские успехи, грозящие гибелью Турции; дело важное, требующее мер быстрых, энергичных; пришло время Франции и Австрии соединиться, чтоб не дать Оттоманской империи сделаться добычей России».

Австрию сильно беспокоило объявление Наполеона, что родственный союз не ведет к политическому, и потому она непременно хотела добиться последнего; иначе цель родственного союза не достигалась для Австрии: последняя принесла тяжелую жертву — эрцгерцогиня выдана замуж за императора «революционной милостию», а выгоды никакой — на деле продолжается политический союз Франции с Россией, и последняя, пользуясь этим союзом, бьет турок. Меттерних и сам император Франц выпрашивали союз у Наполеона. Меттерних жаловался Отто на какие-то интриги, которые хотят удалить его двор от Франции и отдать Англии. Франц прямо говорил Отто: «Все интриги кончатся, когда будет подписан союзный договор между Францией и Австрией». Турция также умоляла Наполеона о помощи. Но в 1810 году ему было еще рано разрывать с

Россией, что неминуемо воспоследовало бы, если б он вмешался в турецкие дела, нарушив эрфуртское условие насчет Молдавии и Валахии; рано было поэтому заключать союз и с Австрией, ибо предвиделось главное требование ее — гарантия целостности Турецкой империи. Поэтому Наполеон ограничился заявлением Турции, что сохранить для нее Дунайские княжества он не может — пусть защищает их сама, но что он не позволит России занять правый берег Дуная и провозгласить независимость Сербии. Он заявил это и России в разговоре с Чернышевым; война у него с Россией может произойти в двух случаях: если Россия заключит отдельный мир с Англией и если захочет что-нибудь приобрести на правом берегу Дуная; существование Турции слишком важно для политического равновесия Европы, и он не может согласиться на дальнейшее ее раздробление.

Но позволить России овладеть Молдавией и Валахией, и особенно теперь, когда отношения между нею и Францией день ото дня натягиваются все более и более? Хорошо сказать туркам, чтобы они дрались, не мирились с уступкою Дунайских княжеств; но в состоянии ли они это сделать одни? Франции рано; но что, если б Австрия вмешалась в войну? «Чтоб Молдавия и Валахия не доставались России — для меня это дело второстепенное, а для вас главное, — велел он сказать в Вене. — Так надобно знать, на что вы решитесь: решитесь ли воевать с Россиею?» Австрия, разумеется, на это не решилась. Она попыталась предложить свое посредничество для заключения мира между Россией и Портой с условием, чтобы границей между ними служил Днестр; но предложение ее было отвергнуто Россией.

Война с Францией была несомненна; в ходу был первый план — предупредить Наполеона занятием герцогства Варшавского и восстановлением Польши; но Австрия должна была мешать этому всеми средствами; не будет ли возможно заставить ее согласиться на восстановление Польши под скипетром русского государя предложением уступки со стороны Дуная? Из двух зол Александр избирает, в его глазах, меньшее и в начале 1811 года поручает своему посланнику в Вене графу Штакельбергу предложить венскому кабинету, что в случае войны с Францией, для предупреждения восстановления Польши Наполеоном, Россия займет ее сама, но Австрия за это получает Молдавию и Валахию, по реку Серет. Но Меттерних уклонялся от объяснений по этому предмету: для него одна

мысль о посягновении на целостность Турции была преступной, и успехи русского войска на Дунае под начальством Кутузова опять вызывают крики негодования со стороны австрийского министра. Успехи вели к выгодному для России миру, и Меттерних заявляет, что всякий мир России с Турцией будет невыгоден для Австрии, если Россия что-нибудь приобретет. Между тем Наполеон рассчитал, что в 1812 году может вторгнуться в Россию со всеми средствами к успеху, и потому заключил союз с Австрией [2 (14) марта 1812 г.]: Австрия обязалась участвовать в войне с Россией, выставляя для этого тридцатитысячный корпус; королевство Польское будет восстановлено под гарантией Франции и Австрии, и если для него понадобится Галиция, то Австрия получает взамен ее от Франции иллирийские провинции; Франция и Австрия гарантируют целостность Оттоманской империи, в случае если Порты, порвавши мирные переговоры с Россией, будет продолжать с ней войну.

Успехи Кутузова повели к этим переговорам в Бухаресте. Сборы Наполеона заставляли Россию спешить с заключением мира и не требовать Молдавии и Валахии. Император Александр писал Кутузову: «Величайшую услугу вы окажете России поспешным заключением мира с Портой. Слава вам будет вечная. Если бы невозможно было склонить турецких полномочных подписать трактат по нашему желанию, можете вы сделать необходимую уступку в статье о границе в Азии; в самой же крайности дозволяю вам заключить мир, положив Прут, по впадению его в Дунай, границею. На сию, однако ж, столь важную уступку не иначе повелеваю вам согласиться как постанови союзный трактат с Портою». Переговоры близились к концу, когда Наполеон прислал султану предложение союза: султан должен был выступить против России в челе стотысячного войска, за что Франция не только гарантировала ему целостность настоящих его владений, но и обязывалась возратить Крым и все, что Турция должна была уступить России в последние сорок лет.

Но султану нельзя было думать о новой войне, в которой он должен был принять участие в челе стотысячного войска. От последних поражений оставалось только 15.000 регулярного войска; все, что можно было выжать из народа, было выжато и истрчено; янычары бунтовали, паши стремились к независимости. Англия объявила, что флот ее прорвется чрез Дарданеллы, обратит в пепел

сераль, заморит Константинополь голодом, если Порта осмелится заключить союз с Францией; что император Александр и Наполеон очень не желают войны, и если последует между ними соглашение, то, конечно, на основании раздела Европейской Турции. Султан созвал чрезвычайный Совет: из 54-х членов — 50 подали голоса за мир, и мир был заключен (16-го мая 1812 года) с перенесением русской границы с Днестра к Пруту, согласно воле императора Александра. Но Кутузов не исполнил воли государя относительно союза с Портой.

Для чего понадобился этот, по-видимому, странный союз, видно из письма императора Александра к адмиралу Чичагову, сменившему Кутузова в начальствовании Южной, или Дунайской, армией: «Если этот мир (Бухарестский) будет подписан, то мы приобретем, без сомнения, великие выгоды в настоящем положении дел. Но не должно скрывать от себя, что этот мир представляет также неудобства. Генерал Кутузов пренебрег чрезвычайно важным делом: не предложил наших уступок под условием союза оборонительного и наступательного. Только этот союз мог вы-весть нас из неловкого положения, в какое мир поставил нас в отношении к сербам и другим славянским народам, столь важным для нас, особенно в настоящее время. Если бы представилась возможность добыть союз с Портою и ее содействие, преимущественно посредством сербов и других славянских народов, против Франции и ее союзников, — то не должно ничем пренебрегать в этом отношении. Вы можете предложить Порте вместо вспомогательного войска дать нам сербов, босняков, кроатови другие христианские народы, представив на вид, что это предложение делается с целью щадить мусульманскую кровь».

Ввиду того, что запад Европы ополчался на восток ее всеми своими средствами, ввиду того, что западный император не хотел делиться, хотел утвердить свою власть и на востоке, Александр считал необходимым «принять обширный план действий», противопоставить Наполеону славянский мир; он велел Чичагову внушать турецким славянам о возможности создания Славянской империи. Мысль о славянских средствах, естественно, должна была явиться у Александра при известии о союзе Австрии с Наполеоном. Австрия в это время находилась в крайне затруднительном положении вследствие ссоры с венгерцами; Александр имел в виду усилить это затруднение поднятием австрийских славян, как видно также из письма его к

шведскому наследному принцу. Но когда Россия сделала свои представления в Вене по поводу союза между Австрией и Францией, то Меттерних объявил Штакельбергу, что союз — вынужденный, что вместо 30.000 в австрийском вспомогательном корпусе будет только 26.000 человек, и если Россия будет смотреть на это австрийское обязательство сквозь пальцы, то Австрия готова вступить с нею в тайное соглашение; что на всех других границах обеих империй мир не будет нарушен. То же повторял Штакельбергу сам император Франц. «Если я, — говорил Франц, — принужден был заключить семейный союз для спасения моей империи, то те же побуждения заставили меня заключить и этот новый союз».

Франц выражал желание, чтобы император Александр успокоился на этих объяснениях, иначе Австрия будет принуждена выставить против России 200.000 войска, которое могло бы принести пользу России, служа угрозой для Франции при будущих мирных переговорах. На все эти объяснения Александр отвечал, что поведение России будет зависеть от поведения Австрии.

Известие о союзе между Францией и Австрией получено было в Петербурге из Стокгольма. Если Наполеон спешил заключить союзы с Пруссией и Австрией; если он старался снова поднять против России и полумертвую Турцию, то легко понять, как важно было для него иметь в союзе Швецию, которая могла нанести России гораздо более вреда, чем прусский и австрийский отряды, и могла сделать это охотно вследствие недавней борьбы и потери Финляндии. Новый король Шведский Карл XIII не имел детей, и потому надобно было спешить избранием ему наследника; был избран принц Августенбургский, двоюродный брат датского короля; но весной 1810 года принц был поражен внезапною смертью. Надобно было опять выбирать наследного принца — дело чрезвычайной важности для России, ибо война с Францией была неминуема. И вот приходит известие, что наследным принцем избран один из маршалов Наполеона — Бернадот, князь Понте-Корво. Первою мыслью императора Александра, разумеется, была мысль о полной зависимости Швеции от Франции вследствие этого избрания; в этой тревоге у него вырвались слова: «Я вижу ясно, что Наполеон хочет поставить меня между Варшавою и Стокгольмом». Как в этих словах высказалась историческая связь явлений! В XVI и XVII веках главною заботой русских государей

было, чтобы не стать между Варшавою и Стокгольмом; в XVIII, казалось, Петр и Екатерина удалили опасность; но в XIX страшная враждебная сила стремится снова заключить Россию в старый заколдованный круг турецко-польско-шведских отношений: Наполеон поднимает султана, приготовил восстановление Польши, и французский маршал является наследником шведского престола. Преемник Петра и Екатерины вследствие этого должен бороться на трех пунктах: он ведет войну на Дунае; пытается, нельзя ли самому восстановить Польшу, а теперь новая тяжелая забота со стороны Швеции.

Но именно там, где с первого взгляда опасность казалась очевидной, — явилась помощь. Как обыкновенно бывает в положении Бернадота, главною обязанностью представилась для него — обязанность приобрести популярность в Швеции, явиться здесь не французом, а шведом, имеющим в виду только шведские интересы; а главный, насущный интерес Швеции находился в прямой противоположности с интересом Наполеона: последний требовал от Швеции того же, чего и от России, — подчинения континентальной системе во всей ее строгости, тогда как такое подчинение разрушало в корне благосостояние Швеции. Стало быть, наследный принц уже никак не мог приобрести популярность подчинением главному требованию Наполеона, и здесь уже было сильное столкновение интересов. Столкновения, всякого рода препятствия отстраняются или по крайней мере стараются их отстранить, если внутри человека существуют сильные побуждения к этому; но Бернадот не чувствовал в себе вовсе побуждений угождать Наполеону: Бернадот не принадлежал к числу тех сановников Французской империи, которые всем были обязаны Наполеону. Империя застала его уже заслуженным, знаменитым генералом; он подчинился новой власти, сохраняя нерасположение к товарищу, который сделался государем; самолюбие не позволяло Бернадоту приписывать возвышение Наполеона личным достоинствам последнего: он, как водится в этих случаях, приписывал его счастью, случайности. Наполеон со своей стороны знал эти отношения Бернадота к себе и не любил его. Эти же самые отношения, естественно, вводили Бернадота в круг тех людей, которые разорвали с Наполеоном, убедившись, что его честолюбие, неумение остановиться влечет Францию к гибели, и Бернадот, разрывая с Наполеоном в

качестве наследного принца Шведского, оправдывал себя в своих собственных глазах и в глазах многих в самой Франции, что он разрывает вовсе не с Францией, своим прежним отечеством, а с человеком, который, преследуя интересы своего честолюбия, стал врагом Франции, действует вопреки ее интересам, ведет ее к гибели, — с человеком, которого надобно побороть, низвергнуть в интересах Франции. Другое дело, если б Наполеон, желая привязать к себе Бернадота в его новом положении, сделал уступки этому положению, забыл совершенно прошлое и обходился с Бернадотом, как с другом и товарищем; но Наполеон, наоборот, в своих требованиях обращался с шведским наследным принцем, как с вассалом, причем ясно проглядывало прежнее нерасположение к маршалу Бернадоту. Александр воспользовался ошибкою противника.

Человек входит в незнакомое общество, к которому не принадлежит по своему происхождению; он чувствует неловкость, самолюбие его страдает — как на него взглянут: не будет ли чего-нибудь оскорбительного в приеме, не дадут ли ему чувствовать своего превосходства. И как он будет благодарен тому члену этого общества, который пойдет к нему навстречу с распростертыми объятиями, своим дружеским обращением ободрит, даст развязность, заставит забыть, что есть какая-то неравность. Император Александр поспешил заслужить эту благодарность Бернадота, обратившись к нему с самым любезным письмом; в январе 1811 года русский посланник Сухтелен застал наследного принца в восторге от этого письма. «Из всех писем, какие я когда-либо получал в моей жизни, это самое для меня лестное, — говорил Бернадот. — Не могу выразить, как оно меня тронуло, особенно этот задушевный, дружеский тон письма, который, смею сказать, я заслуживаю своим уважением и преданностью к особе императора». На Бернадоте лежала теперь вся ответственность, ибо за тяжкою болезнью короля он управлял государством. Положение было затруднительное: он был лично нерасположен к Наполеону и рассчитывал на непрочность его могущества; император Александр умел привлечь его к себе. Лично наследный принц Шведский охотно соединился бы с Александром против Наполеона, который не переставал раздражать его; но Бернадота останавливали другие соображения: он должен был прежде всего заботиться о шведских интересах, должен был отблагодарить шведов за свое избрание

блистательными заслугами, утвердить этим свою династию. Союз с Россией или Францией должен был принести Швеции большие выгоды. Россия не могла возвратить Финляндии; она предлагала то, что Петр Великий предлагал Карлу XII-му за уступку Балтийского побережья, — Норвегию, на что Карл XII и соглашался. Мысли великих людей рано или поздно исполняются, и теперь, почти век спустя, Россия предлагает Швеции за союз свое содействие в приобретении Норвегии.

С другой стороны, Наполеон, хотя поздно, хотя поневоле, вследствие нерасположения своего к Бернадоту, предложил союз: Швеция должна напасть на Финляндию с 30.000 войска, за что Наполеон обязывается не мириться с Россией без того, чтобы она не уступила этой страны Швеции. Но оба предложения, и русское и французское, одинаковы по своей неверности: за Финляндию надобно опять воевать, и кто знает, чем кончится война у России с Францией, а всякий знает, как Наполеон исполнял свои обязательства, особенно относительно людей, лично ему неприятных. Бернадот склоняется на сторону России; но потом его берет страшное раздумье насчет следствий нашествия Наполеона на Россию, и он перед самым этим нашествием предлагает Наполеону союз, но с тем, чтобы кроме Финляндии ему досталась и Норвегия. Быть может, он был уверен, что Наполеон не согласится на это, как и действительно случилось, и хотел только очистить себя в своих собственных глазах и глазах тех, которые могли упрекать его за несоблюдение шведских интересов. Во всяком случае двойная игра — такое явление, которое оправдано быть не может, может быть только объяснено. Такие времена, как наполеоновское, времена насилий и захватов, самых бесцеремонных со стороны сильного, бывают очень неблагоприятны для развития международной нравственности, честности, ибо слабые позволяют себе двойную игру, оправдываясь насилием сильного, указывая в нем пример игры в обещания, договоры, указывая на невозможность бороться с ним открыто, чисто. Заявление, сделанное императором Александром в Австрии перед ее войною 1809 года насчет несерьезности вспоможения своего Франции; заявление, сделанное императором Францем России перед войною 1812 года; почти постоянная двойная игра Пруссии с Францией и Россией, двойная игра

наследного принца Шведского — вот явления, которые характеризуют время и падают, разумеется, прежде всего на главного грешника.

Наполеон не согласился на требование Бернадота относительно Норвегии — и Швеция осталась на стороне России. Во время этих сношений между Россией и Швецией любопытны разговоры Бернадота с русским посланником относительно предстоявшей великой войны. Бернадот советовал императору Александру: объявить себя польским королем; заключить как можно скорее мир с Турцией на каких бы то ни было условиях; склонить на свою сторону австрийского эрцгерцога Карла обещанием королевства, хотя бы Баварского; войти в сношения с Испанией. «Я прошу императора, — говорил Бернадот, — не давать генеральных сражений, маневрировать, отступать, длить войну — вот лучший способ действия против французской армии. Если он подойдет к воротам Петербурга, я буду считать его ближе к гибели, чем в том случае, когда бы ваши войска стояли на берегах Рейна. Особенно употребляйте казаков: они дают вам большое преимущество пред французской армией, которая не имеет ничего подобного. Пусть казаки имеют в виду великую задачу — искать случая проникнуть в главную квартиру и схватить, если возможно, самого императора Наполеона. Пусть казаки забирают все у французской армии: французские солдаты дерутся хорошо, но теряют дух при лишениях; не берите пленных, исключая офицеров».

Полуострова Скандинавский и Балканский не вошли в движение, направленное Наполеоном против России; но средства его все же были громадны. До сих пор в борьбе России с Францией Александр становился во главе коалиции; теперь Наполеон вел против Александра страшную коалицию, и те державы, посредством которых обыкновенно Россия действовала против Франции, державы, ближайшие к России, — Австрия и Пруссия — были теперь членами наполеоновской коалиции. Россия была одна и, несмотря на то, принимала борьбу. Александр говорил послу Наполеона: «Я вооружаюсь, потому что вы стали вооружаться. У меня нет таких генералов, какие у вас; сам я не такой генерал и не такой администратор, как Наполеон; но у меня добрые солдаты, у меня преданный народ, и мы помрем все с мечом в руках, а не позволим обходиться с собою, как с голландцами или гамбургцами. Но уверяю вас честью, что я не начну первый войны; я не хочу войны, мой народ

также не хочет войны; но, когда на него нападут, он не отступит». И Александр был силен в это время. Силу давало ему убеждение в необходимости войны, ясное понимание характера Наполеона и вследствие того уверенность, что с таким человеком равенство положения невозможно; силу давал самый характер предстоящей войны, войны оборонительной: сколько бы войска ни навел противник, оно будет поглощено этим сухим океаном, который называется Россиею; план отступления, завлечения противника в глубь этого океана, был установлен, и 22 июня 1812 года Александр писал Бернадоту: «Раз война начата — мое твердое решение не оканчивать ее, хотя бы пришлось сражаться на берегах Волги».

Наполеон сделал громадные приготовления, обеспечил себе всевозможные средства к успеху. Что он сознавал важность, затруднительность войны — это доказывает медленность, обширность самих приготовлений; конечно, он рассчитывал, что успех будет куплен дорого; что русские будут защищаться отчаянно; но, как видно, он не сознавал, что война — небывалая, новая, а средства у него старые, хотя и громадные. И привычки были старые: идти с угрозами, бранью, пугать и не знать меры дерзости на словах и письме. Он говорил австрийскому посланнику: «Вижу, что эти дураки хотят со мною воевать: я выставлю против них 500.000 войска!» Прусскому посланнику говорил: «Эта война будет иметь тяжкие последствия, каких не имела ни одна война; император Александр будет плакать кровавыми слезами». Наконец, отправлено было к противнику дерзкое письмо: «Наступит время, когда в. величество признаетесь, что если бы вы не переменились с 1810 года, если бы вы, желая изменений в Тильзитском договоре, прибегли к прямым, откровенным сношениям, то вам принадлежало бы одно из самых прекрасных царствований в России. У в. величества не достало стойкости, доверия и, позвольте мне это вам сказать, искренности. Вы испортили все свое будущее».

Чаша была выпита до дна, день воскресения приближался. Трудно найти в истории более страшные слова: «Вы испортили все свое будущее». Это было написано в то самое время, когда небывалое могущество человека, написавшего эти слова, приблизилось к своему падению и необыкновенная слава готовилась осенить того, кому грозили порчею всего будущего.

Спустя сто лет после шведского нашествия враг опять вступил в русские пределы. Система отступлений или «ретроградных линий», которая была принята императором Александром, не была тайною еще до начала войны и подвергалась обсуждению в разных местах, с разных точек зрения. Не могли не признать, что она необходима, составляя последний вывод из всей борьбы с Наполеоном; но выставляли на вид, что успех ее не обеспечен для России, которая представляет страну открытую, не имеет сильных крепостей, которые могли бы поддерживать движение или облегчать отступление войска. Другое дело, если б Наполеон боялся за свой тыл и фланги; но ему нечего бояться за них. Самое сильное возражение было одно: войско, которое постоянно отступает, падает духом. Действительно, если мы видели, что система отступлений и затягивания войны была крайне неудобна в стране союзной, как было в 1805 и 1807 годах, то столь же сильные неудобства она встречала и в родной стране. Свое знаменитое решение — не мириться с врагом на русской почве — император Александр мог основывать только на уверенности, что русский народ будет драться или уйдет, но не помирится, не уживется с врагом, будучи не в состоянии терпеть его подле себя. Но в народе есть сознание, что войско, на которое так много жертвуется, существует для защиты родной страны, и если это войско вместо защиты отдает родную землю врагу, отступает, то народ видит тут уклонение войска от самой существенной своей обязанности, начинает скорбеть и роптать, подозревая дурное, не зная и не понимая высших военных соображений. Войсковая масса сознает так же ясно свою обязанность защищать родную страну и не может не раздражаться страшно, чувствуя, как на него смотрят, когда оно отступает без битвы, покидая страну на опустошение врагам. Это отношение войска и народа к системе отступления составляет самую печальную сторону войны 1812 года до самого выхода Наполеона из Москвы. На этом отношении основывалась вражда между генералами, которая, как бывает во всяком деле человеческом, раздувалась личными страстями, прикрывавшимися священным знаменем. Барклай-де-Толли, неудобного по своей иностранной фамилии, сменил Кутузов, в другой раз встретившийся с Наполеоном — только теперь не в австрийских владениях, а между Смоленском и Москвою. Кутузов, быть может, и перед Бородиным об исходе битвы думал точно так же, как перед

Аустерлицем; но должен был дать сражение, чтобы не отдать Москвы без боя. Кутузов не был разбит при Бородине — и отступил, отдал Москву.

Наполеон совершил кампанию с успехом, какого только мог желать. С обычною быстротою он прорвался до центра России и готовился вступить в столицу, старую, коренную русскую столицу. Русские войска отступали перед ним, отступили и после страшной бородинской резни, как после Эйлау. Перед ним последняя, самая дальняя европейская столица, и ее отдают ему, как отдавали Берлин, Вену... И вдруг, что это такое? Войско отступало — это в порядке вещей, Наполеон привык, чтобы неприятельское войско отступало перед ним. Но тут... небывалое, немыслимое дело! Столица отступила, Москва ушла! Громаднейший, яркоцветный город лежит пустой, мертвый во всей своей печальной красе... Скоро показываются дым и пламя: неведомые руки жгут Москву...

Кутузов дал знать государю о Бородинской битве как о победе, а потом уведомил об отступлении и отдаче Москвы. Старое нерасположение Александра к Кутузову, подновленное недавним неисполнением его воли относительно турецкого союза и донесениями о поведении его в Дунайских княжествах, нашло еще подкрепление в этих противоречивых известиях и выразилось в письме императора к наследному принцу Шведскому (19 сентября). Это письмо, впрочем, важно не по началу своему, а по концу: «Случилось то, чего я боялся. Князь Кутузов не сумел воспользоваться прекрасною победою 26 августа. Неприятель, потерпевший страшные потери, в шесть часов после обеда прекратил огонь и отступил за несколько верст, оставляя нам поле битвы. У Кутузова недоставало смелости напасть на него в свою очередь, и он сделал такую же ошибку, какая помрачила для нас день Прейсиш-Эйлау, а для англичан и испанцев дни Талавейры и Бюзакао, когда на другой день последовало отступление; позиция, занимаемая Кутузовым, стала, по его словам, слишком обширна для армии после потерь, которые она понесла в эти три славные дня. Эта непростительная ошибка повлекла за собою потерю Москвы, потому что не найдено было перед этою столицею ни одного удобного положения. Но неприятель получил Москву пустую. Эта потеря жестокая, я согласен, но более в отношении нравственном и политическом, чем военном. По крайней мере она даст мне случай

представить Европе величайшее доказательство моей устойчивости в поддержании борьбы против ее притеснителя, ибо после этой раны все другие суть только царапины. Я повторяю в. Королев. высочеству торжественное уверение, что я и народ, в челе которого я имею честь находиться, тверже, чем когда-либо, решились выдерживать до конца и скорее погребсти себя под развалинами империи, чем войти в соглашение с новым Аттилою».

Наполеон не знал об этом решении. Москва сгорела; красивый город представлял безобразные остовы зданий, и на этом кладбище гробовое молчание, производившее страшное впечатление на человека, привыкшего быть центром самого шумного вращения жизни и теперь находившегося в положении мореплавателя, выброшенного на необитаемый остров. Чего еще дожидаются? Отчего не присылают с мирными предложениями, как водилось везде? И страшная мысль: «А что, если не пришлют варвары?» Наконец не стало более сил дожидаться; улыбнулась мысль: Александр не хочет сделать первый шаг; победитель не унижится, если облегчит побежденному этот шаг, вызовет его на переговоры. 19 сентября Александр написал приведенное письмо к Бернадоту; на другой день, 20-го числа, Наполеон пишет письмо к Александру, и в этих обоих письмах выразилось вполне все различие положения писавших: несмотря на все усилия поддержать тон величия, письмо Наполеона отразило в себе весь гнет окружающих условий, вышло жалким; старинная привычка учить, как бы надобно было сделать, являлась тут совершенно некстати, являлась чем-то совершенно изношенным.

«Красивый, великолепный город Москва не существует; РаSTOPчин ее сжег. 400 зажигателей пойманы на месте преступления; все они объявили, что жгли по приказанию губернатора и полицеймейстера; их расстреляли. Пожар, кажется, прекратился. Три четверти домов сгорело, четверть осталась. Это поступок гнусный и бесцельный. Хотели отнять некоторые средства? Но эти средства были в погребах, которых огонь не коснулся. Впрочем, как решиться уничтожить город, один из самых красивых в мире и произведение веков, для достижения такой ничтожной цели? Так поступали, начиная с Смоленска, и пустили 600.000 семейств по миру. Человеколюбие, интересы в. в-ства и этого обширного города требовали, чтоб он был мне отдан в залог, потому что русская армия не защищала его; надобно

было оставить в нем правительственные учреждения, власть и гражданскую стражу. Так делали в Вене два раза, в Берлине, в Мадриде; так мы сами поступили в Милане пред вступлением туда Суворова. Пожары ведут к грабежу, которому предается солдат, оспаривая добычу у пламени. Если б я предполагал, что подобные вещи могли быть сделаны по приказанию в. в-ства, я бы не писал вам этого письма; но я считаю невозможным, чтоб вы, с своими правилами, с своим сердцем, с верностью своих идей, могли уполномочить на такие крайности, недостойные великого государя и великого народа. Я вел войну с в. в-ством без озлобления: одно письмо от вас прежде или после Бородинской битвы остановило бы мое движение, я бы даже пожертвовал вам выгодою вступления в Москву. Если в. в-ство сохраняете еще ко мне остатки прежних чувств, то вы примите радушно это письмо. Во всяком случае вы не можете на меня сердиться за известия о том, что делается в Москве».

Ответа нет. Препрежнее гробовое молчание; приближается зима; в войске расстройство при недостатках всякого рода; со стороны русской армии наступательное движение; ждать более нечего, надобно уйти — куда и как? К себе, в места известные, в знакомую обстановку; уйти как можно скорее, по дороге известной, какие бы невыгоды она ни представляла, чтобы только избавиться от этой неизвестности, от незнакомых условий, которые не дают почвы под ноги, при которых мысль блуждает, умственная деятельность останавливается, голова идет кругом. Наполеон ушел, но один: громадная армия исчезла.

Великое решение царя и народа достигло своей цели: к концу 1812 года ни одного вооруженного врага не оставалось на Русской земле. Но предстояло другое великое решение — перенести войну за границу, продолжать ее, не давая отдыха войску и народу, и покончить борьбу только решительным низложением нового Аттилы. Остановиться на полдороге было бы величайшей ошибкой, ибо мир с Наполеоном был бы только кратковременным перемирием; Наполеон не мог долго пробыть в неудаче; он держался только успехом, славою, победами, приобретениями: без них он переставал царствовать, терял право на царство. Надобно было спешить, ибо Германия с страстным нетерпением ждала русского войска как опоры для восстания; надобно было спешить пользоваться впечатлением, что человек, считавшийся непобедимым, прибежал один, потерявши громадное войско,

подобного которому качеством уже не будет иметь. Несмотря на эту очевидную необходимость продолжать войну; несмотря на верность успеха, решение не останавливаться на границах представляло великий подвиг, больший, чем решение не прекращать борьбы внутри России, ибо надобно было не усумниться потребовать от народа нового напряжения сил вместо отдыха после страшного погрома; ибо вокруг, начиная от главнокомандующего^[11], шли толки о необходимости остановиться перед своею границей.

Можно было рассчитывать на успех; но его надобно было купить большими жертвами и необыкновенной устойчивостью; надобно было бороться с Наполеоном, который употребит все средства, средства наполеоновские, для защиты своего политического существования; надобно было в то же время бороться с союзниками. Наполеона можно было одолеть только посредством коалиции — и коалиции полной. Поэтому прежде всего, прежде чем Наполеон соберется с силами, надобно было составить коалицию.

Война 1812 года самым наглядным образом показывала расширение исторической сцены, усложнение европейского политического организма. Судьба Европы решалась на отдаленном Востоке, в той стране, которая только сто лет назад открыла себя Европе и приняла участие в ее делах. В небывалом беспокойстве, со страшно напряженным вниманием все мыслящее в Европе обращалось к этой далекой стране, прислушивалось к каждому звуку, ибо вести, приходившие оттуда, были вести о жизни или смерти европейской независимости. Прусский канцлер Гарденберг под гнетом тяжких условий, в какие французское иго поставило Пруссию, в муках ожиданий, чем кончится борьба на Востоке, ищет хотя какого-нибудь успокоения, обращается за мнениями, за советами к Меттерниху. «Гений Наполеона, слабость характера императора Александра, недостаток единства в русских планах и в их исполнении поведут ли быстро к невыгодному миру для России? Или, если Александр будет держаться крепко, если самые победы мало-помалу истощат силы Франции, если ее войска, затянувшиеся в далекие страны в ненастное время года, почувствуют недостаток продовольствия, будут окружены многочисленным народом, для которого война будет национальной, — гений Наполеона не явится ли несостоятельным и громадные полчища,

которыми он располагает, не потерпят ли, наконец, неудачи, не потратятся ли?»

С такими вопросами обращался Гарденберг к венскому оракулу и получил ответ (5 октября 1812 н. ст.): «В недостаточности первого русского плана, в покинутии оборонительной системы, в вынужденном отступлении из самых лучших и богатейших провинций империи, в неслыханном опустошении Москвы я вижу только признаки и доказательства бессвязности и слабости. Государь, который бы взвесил хладнокровно результаты планов, представленных ему министрами; который бы сделал все для предупреждения несчастий или для обращения их против неприятеля, — такой государь представлял бы для меня крепкую точку опоры. Я не нахожу ее в бесплодных жертвах, в разрушении стольких обширных замыслов многих великих предшественников; я тут вижу только потерю европейского существования России и, к несчастью, в этой потере страшное усиление тяжести, давящей нас. Я не рассчитываю ни на какую твердость со стороны императора Александра, ни на какую связность в настоящих и будущих планах его кабинета, ни на какие решительные результаты в его пользу вследствие климата, приближения зимы: я отрицаю возможность, чтоб те же самые люди, которые поставили государство у края гибели, могли вывести его из этого положения». «Итак, нет спасения!» — готов был воскликнуть Гарденберг. «Зачем же так скоро отчаиваться? Австрия спасет Европу! — провещал оракул. — Зимой испанские события чрезвычайной важности, печальное положение России, истощение всех континентальных государств, необходимость мира, чувствуемая и Англией, все это может нам дать мир. Я сделаю попытку в Англии; мы поговорим в этом же смысле с Московским императором^[12]; мы постараемся уяснить, чего надобно ждать с той и другой стороны».

В конце 1812 года в Европе увидели, что спасение ее приходит не из Австрии. Но Меттерних не уступит. В страшной досаде, заставляющей его беспрестанно огрызаться на Россию, он переменяет свои речи относительно результатов войны, но не перестает внушать, что Австрия может спасти Европу миром, хотя Тарденберг никак не может согласиться с этим. Меттерних пишет: «По стольким доказательствам изменчивости и слабости петербургского кабинета можно было рассчитывать, что император Александр после занятия

Москвы вступит в переговоры. Эта надежда была обманута: видно, Россия покидает свои непосредственные интересы вовсе не так легко, как покидает своих союзников».

Но, как бы то ни было, Наполеон потерпел первую страшную неудачу, которая произвела на все европейские народы громадное впечатление. Тем лучше, тем склоннее он будет к миру, и Австрия будет посредницею, возьмет в свои руки судьбы Европы, потому что, кроме нее, ни одна держава не может быть посредницею. Есть препятствие: Австрия в союзе с Францией, обязана помогать последней войском. Как же соединить роль союзницы с ролью посредницы? Поэтому надобно прежде всего высвободить себя из французского союза, повести ловкие переговоры с Наполеоном с целью отклонить его требования помощи в войне; сначала не становиться ни на чью сторону. Разумеется, Россия и Пруссия будут настаивать, чтобы Австрия немедленно вступила с ними в коалицию против Наполеона; но на это нельзя согласиться; пусть Россия начинает, пусть к ней присоединится и Пруссия — Австрия будет выжидать, а между тем сильно вооружится, чтобы при первом удобном случае выступить вооруженною посредницею и таким образом держать в своих руках и Наполеона, и коалицию, против него направленную. Остаться нейтральною невозможно — это значило бы потерять всякое значение, тогда как Австрия должна играть главную, первенствующую роль, для чего именно необходимо вооруженное посредничество. Если Наполеон не согласится на австрийские предложения, обеспечивающие для Австрии территориальные выгоды и важное значение, то Австрия должна примкнуть к России и Пруссии, чтобы принудить Наполеона к миру, вовсе не для того, однако, чтобы вести дело к его окончательному низвержению. Австрия слаба, и потому для поддержания своего значения для нее необходимо поддерживать равновесие между двумя колоссами, Россией и Францией; низложение Наполеона поведет необходимо к преобладанию России, что для Австрии еще опаснее, чем преобладание Наполеона. Для Австрии необходимо, чтобы Россия не восстанавливала Польши и не трогала Турции, не обхватывала Австрию со всех сторон славянщиною; но как этому помешать, если Александр низвергнет окончательно Наполеона и получит преобладание в Европе? Его замыслы относительно Польши и Турции

известны. От Пруссии ждать добра нечего: с нею необходимо соперничество в Германии; увеличивать немецкие владения Пруссии, усиливать ее влияния в Германии никак не следует; никак не следует способствовать объединению Германии под какими бы то ни было формами, восстанавливать империю, ибо это принесет только пользу Пруссии, главной немецкой державе; всего выгоднее установить между германскими государствами связь самую слабую, интересом самостоятельности поддерживать их правительства против Пруссии и на деле, а не по форме дать Австрии возможность иметь на них господствующее влияние. Вот программа Меттерниха. Император Франц был в восторге, что наконец пришло его время: пусть сильные дерутся, истощают друг друга — слабая Австрия предпишет им законы. Узнав, что Наполеон принужден оставить Москву, Франц сказал: «Пришло время, когда я могу доказать императору французов, что я такое!»

Прежде всего императора французов надобно напугать, чтобы был сговорчивее, принял посредничество Австрии, ее условия. Наполеону внушают из Вены: Англия уверена в своих окончательных успехах в Испании; движение народов против французского преобладания всеобщее; о Пруссии говорить нечего, да и в Австрии не лучше: «если император французов не поможет дружественным правительствам мерами, противоположными тем, какие до сих пор служили основанием его политики, то эти правительства наконец увидят себя не в состоянии сдержать народное движение». Для императора французов это не было новостью. Покинув остатки своего войска, Наполеон мчался через Варшаву и Дрезден в Париж, чтобы уничтожить здесь движение недовольных, ободренных неудачей деспота, и принять меры для сдержания враждебных ему народных движений в Германии. В Варшаве он говорил: «Никто не мог предвидеть такого несчастного исхода кампании, начавшейся так славно. Я сделал две ошибки: во-первых, пошел в Москву, а потом оставался там слишком долго. Меня за это будут порицать, и, однако, это была великая и смелая мера; но правда: от высокого до смешного один маленький шаг. До 6-го ноября я был господином в Европе, а теперь уже нет. Знаю, что Германия волнуется; мне надобно спешить в Париж, чтобы оттуда смотреть за Веною и Берлином. В Париж я упаду, как бомба. В Париже и в целой Франции ни о чем не будут больше

говорить, как только о моем возвращении, и забудут все, что случилось. Я соберу армию в 300.000, выступлю с нею весною и уничтожу москвитян». В Дрездене 14-го декабря н. ст. он написал императору Францу и королю Фридриху-Вильгельму письма с требованием усиления вспомогательных войск.

Но скоро узнали, что прежнее вспомогательное прусское войско, бывшее под начальством генерала Йорка, по приглашению русских генералов отделилось от остатков наполеоновой армии и заключило договор с ближайшим русским отрядом. Король был испуган этим слишком быстрым оборотом дела: он был еще окружен французскими войсками, ничего не знал верного относительно намерений России и Австрии. По обычаю, Фридрих-Вильгельм стал играть в двойную игру: перед французами не одобрил соглашения Йорка, послал генерала Клейста сменить его; но императору Александру дал знать, что одобряет поступок Йорка, только явно признать его не может; если император двинет свои войска через Вислу до Одера, то Пруссия готова заключить с ним оборонительный и наступательный союз. 2 (14) января 1813 года князь Сергей Долгорукий доносил фельдмаршалу Кутузову из Кенигсберга о разговоре своем с Йорком. Генерал рассказывал, что король присылал к нему тайно офицера предупредить его о мерах, какие он временно принужден был принять против него: как скоро он узнает об указе генералу Клейсту арестовать его, то отдался бы под покровительство императора Александра и старался держаться недалеко от прусского войска. Долгорукий тут же доносил, что прусское войско и народ волнуются и негодуют на короля за его уклончивое поведение. Некоторые говорили, что было бы хорошо, если бы французы захватили Фридриха-Вильгельма: тогда войско и народ будут иметь возможность обнаружить всю свою энергию. Долгорукий оканчивал свое донесение словами, что надобно бить железо, пока горячо, пользоваться одушевлением пруссаков.

Король стоял твердо на том, чтобы одному не начинать, и употреблял все средства, чтобы подвинуть Австрию начать вместе: отправленный в Вену, полковник Кнезебек должен был говорить там: «Союз Австрии с Пруссией представляет единственное средство бороться против господства Франции и воспрепятствовать, чтоб Россия при дальнейшем своем победоносном движении не приобрела

авторитета в германских и европейских делах, что не может быть выгодно ни для Австрии, ни для Пруссии».

Австрия отклонила союз, выставляя, что не может нарушить союза с Францией; но не хотела исполнять и союзных обязательств в отношении к Наполеону; хотела для этого мира. «Союз наш с Францией, — внушала она Наполеону, — должен быть вечен, как вечны побуждения, к нему поведшие. Не Франции боимся мы, а России; если русские воспротивятся умеренным условиям мира, то не только вспомогательный корпус, все силы нашей монархии обратятся против них. Но всеобщий мир может все исправить и укрепить новую французскую династию. Снова вторгнуться теперь в Россию нельзя, следовательно, война должна вестись во владениях союзников Франции; император Франц обязан перед своими народами не позволять, чтобы она была перенесена на австрийскую почву. Остается Пруссия и герцогство Варшавское: но какая выгода произойдет от совершенного опустошения этих государств? Австрия не даст Франции больше того, что обязана дать по союзному договору». Наполеон спрашивал: «Отчего Австрия не хочет ничего сделать для войны; если денег нет, то я деньги доставлю». «Дело не в деньгах, — отвечали ему, — но в общественном настроении. В в-стве известно, что очень значительная часть Венгрии населена греками (то есть православными славянами), которые по вере склонны к России; а Россия не упускает ничего для извлечения выгоды из этой склонности. Венгерцы смотрят на русского императора как на покровителя их конституции, а в в-стве видят систематическое стремление ее уничтожить». «Ну хорошо, мир так мир!» — сказал Наполеон и предложил условия: он отказывался только от одной Португалии в пользу браганцкого дома и удерживал за собою все остальное; в пользу России он предлагал не объявлять никаких притязаний на области, приобретенные ею по разделам Польши; но из герцогства Варшавского не уступал ни одной деревни и не хотел позволить, чтобы Россия увеличилась на счет своих соседей. Наполеон понимал, как эти условия будут приняты в Вене, и потому требовал, что если они не понравятся, то пусть Австрия остается нейтральной, смотрит спокойно, как он будет разделяться с Россией.

Известие о разрыве Йорка с французскою армией сильно встревожило Наполеона. «Мир казался мне очень возможным прежде

отпадения генерала Йорка, — говорил он. — Теперь я больше о нем не думаю; поступок Йорка вскружит русскому кабинету голову; это великое политическое событие!» Он теперь предвидел тяжелую войну на востоке вследствие возможности для России составить коалицию. Он стал заигрывать с Пруссией, манить ее Вестфалией, Варшавским герцогством. Посланный прусского короля (князь Гатцфельд) уверял Наполеона, что самое сильное желание Фридриха-Вильгельма — сформировать для него новый вспомогательный корпус; но денег нет, и притом главная опасность — это общественное мнение, которое всюду против Франции. Наполеон должен помочь прусскому правительству деньгами и тем избавить его от бича революции, который будет опасен и для Франции по соседству. Наполеон отвечал: «О деньгах я подумаю; что вы мне говорите о народных движениях, то это величайшее для вас несчастье. Что касается меня, то я совершенно покоен относительно Франции: француз болтает, бранится; то хочет он, чтоб я завоевал Китай или Египет, то — чтоб оставался спокойно по его сторону Рейна; все ограничивается словами, а делают все то, что я хочу».

Пруссия пугала народным движением; Австрия — что у нее уже 100.000 войска, лучшее средство для ускорения мира, ибо Россия испугается; и конечно, для того, чтобы испугать Россию, император Франц дал австрийскому корпусу, назначенному действовать против русских, повеление отступить перед ними в Галицию. Наполеон не вытерпел, разразился: «Это противно договору; это первый шаг к отпадению. Французское войско должно теперь очистить Варшаву и уйти за Одер; успешное вооружение поляков будет остановлено. Я принял ваше предложение насчет мира; но вооруженный посредник мне неудобен. Быть может, я отодвину свои войска за Рейн и улажусь с русскими: две великие державы найдут всегда средство соглашения; но вы тогда уже не рассчитывайте на меня». Но по тону это уже не была выходка, подобная прежним выходкам против послов неприятных держав: в настоящих упреках и угрозах слышалась грусть, чувство, что с ним могут теперь так поступать и угрозы его уже недействительны. Удар был нанесен; а между тем Меттерних говорил полковнику Кнезебеку, присланному к нему из Берлина: «Пока Австрия будет ограничиваться словами, пользоваться обстоятельствами; венский двор вовсе не боится сближения с Россией — напротив, желает его, ибо без этого опасно, чтоб Россия не приняла

более деятельного участия в борьбе с Францией». Опасность была и другая: что, если угроза Наполеона исполнится, Россия войдет в соглашение с Францией?

Но в Пруссии не могли ограничиваться словами; народ громко требовал свержения французского ига; Гарденберг объявляет королю, что французы хотят его захватить, и Фридрих-Вильгельм уезжает из Потсдама в Силезию, в Бреславль, чем освобождается от давления французского войска; но предлогом к отъезду все еще было объявлено, что король едет собирать войско для вспомогательного корпуса Наполеону. Первый шаг был сделан, второй — союз с Россией, войска которой приближались, — следовал необходимо. От Австрии можно было получить только отрицательное обещание: «Король может быть уверен, что с австрийской стороны против него никогда враждебных действий не будет; остальное зависит от того, будут ли другие (то есть русские) вести себя разумно». Положительные заявления получал король в письмах от императора Александра, который предлагал ему союз и восстановление Пруссии в прежнем виде. Русские войска уже занимали часть прусских владений, управление которыми император поручил Штейну, бывшему до сих пор в России. Это распоряжение содействовало еще более народному энтузиазму и стремлению к русскому союзу.

Но в каком положении находилась Пруссия, как небезопасны были ее дороги от французов, доказательством служит письмо, отправленное из Бреславля Гарденбергом к Штейну в Кенигсберг; оно было адресовано девице Каролине Гейнзиус и содержало в себе следующее: «Любезная сестра! Спешу известить тебя, что наш добрый отец (король) намерен дяде (императору Александру) переслать по верной оказии брачный контракт (союзный договор); таким образом брак нашей любезной Амалии (Пруссия) должен скоро и наверное состояться. Не говори там нашим ничего об этом: отец хочет, чтоб все осталось в тайне, пока дядя всем не распорядится». В Клодаву, где находился тогда император Александр, отправлен был для заключения союза тот же Кнезебек, который только что перед тем был в Вене. С обеих сторон одинаково желали скорейшего заключения союзного договора; нельзя было тратить времени в рассуждениях о второстепенных предметах; особенно странно было бы входить в подробности о будущих приобретениях, делить шкуру, не убивши

медведя. Но Кнезебек ехал из Вены, пропитанный тамошними внушениями, что прежде всего нельзя допускать восстановления Польши под властью русского государя, и потому при постановлении мирного договора он прежде всего начинает толковать о Польше. Император Александр говорит ему: что до мира не может быть речи о Польше; что нельзя теперь входить в подробности о вознаграждениях, которые Пруссия может получить и в Германии. Но Кнезебек стоял на своем и писал Гарденбергу венские фразы, что нельзя оставить без решения Польского вопроса, иначе французское иго заменится русским. Тогда, чтобы избавиться от Кнезебека, император Александр посылает в Бреславль к королю стат. сов. Анстета с проектом союзного договора: целью союза назначалось восстановление Пруссии. Для борьбы с Францией Россия выставляет 150, Пруссия — 80 тысяч войска. Император обязывается не полагать оружия до тех пор, пока Пруссия не будет восстановлена в объеме и силе, какие она имела до 1806 года; для этого могут служить все северогерманские области, добытые союзниками по договору или оружием, с исключением владений ганноверского дома; император гарантирует королю Восточную Пруссию с участком земли, которая в военном и политическом отношении соединяла бы ее с Силезией. Проект был принят королем, и союз заключен (договор утвержден в Калише 16 февраля 1813 г.).

В этом договоре Пруссия успокоена насчет своего восстановления в прежнем объеме, но о прежних ее польских областях, вошедших в состав герцогства Варшавского, не говорится ни слова. В июне 1812 года Чарторыйский писал императору Александру, что, как поляк, не может более оставаться в русской службе, ибо это запрещено в акте генеральной конфедерации, торжественно провозгласившей восстановление Польши. Но Наполеон, встреченный с восторгом поляками как восстановитель Польши, отделался на этот счет одними обещаниями, и 9 октября Чарторыйский пишет, что нельзя ли будет при мире России с Францией устроить в Польше великого князя Михаила Павловича. Письмо 6 декабря уже начинается словами: «Победа, кажется, решительно увенчивает усилия В. И. В-ства. Если вы вступите победителем в Польшу, то обратитесь ли снова к старым планам относительно этой страны? Покоряя ее, сохраните ли желание покорить также и сердца ее жителей?» В следующем письме он

изъявляет опасение, что континентальные державы будут делать императору внушения против восстановления Польши и люди, окружающие государя, также выскажут свои сомнения.

Чарторыйский думал, что перед страхом новой войны с Наполеоном Александр должен приобретать расположение поляков, чтобы иметь в них союзников; он знал так же хорошо, какое сопротивление выставит Австрия восстановлению Польши при условии вечного соединения с Россией под одною верховною властью, и потому снова говорит о великом князе Михаиле Павловиче, прибавляя, что поляки боятся предполагаемого наследника Александрова цесаревича Константина Павловича; в случае же согласия на избрание Михаила Чарторыйский обещал немедленно все подписать и ручался, что все будет исполнено, чего бы император ни потребовал. Александр отвечал, что успехи не переменили его чувств и намерений относительно Польши; мщение есть чувство ему неизвестное; но поляки раздражали русский народ своим поведением во время последней кампании: пусть заставят забыть это поведением противоположным; кроме того, если теперь же обнаружить намерение восстановить Польшу, то это заставит Австрию и Пруссию броситься в объятия Франции; наконец, что касается до великого князя Михаила, то это немыслимо: никакая логика в мире не может убедить Россию в том, что Литва, Подолия и Волынь могут принадлежать другому государю, а не тому, кто управляет Россией.

Чарторыйский боялся, что приближенные к государю люди будут против восстановления Польши; действительно, находившийся в это время при императоре для иностранных дел граф Нессельроде подал сильную записку: «Проект восстановления Польши может быть рассматриваем только как средство и никогда как цель; ибо какую цель может иметь Россия, отказавшись от трех или четырех лучших своих областей? От этого не выиграет ни ее сила, ни ее спокойствие, ни ее влияние. В голове Наполеона идея восстановления была всегда только средством достижения цели — ослабления России. Герцогство Варшавское так слабо, что не может ни сделать нам вреда, ни принести пользы в борьбе с Наполеоном. В продолжение всей войны Волынь, Подолия и Украина были покойны и послушны нам: для чего же нам от них отказываться? Невыгоды восстановления: из всех европейских народов польский — самый легкомысленный и беспокойный; польская

история есть история долгой анархии заключающей постоянные элементы войн и раздоров между соседями. Если разделение Польши было противно публичному праву и равновесию, то результат был благодетелен. С восстановлением Польши нам нужно будет навсегда отказаться от союза с Австрией, которая не захочет потерять своей части и бросится в объятия Франции; Наполеон не восстановил в последнее время Польши именно потому, что не хотел трогать Австрии. Россия непременно потеряет свои провинции, ибо соединение Польши с Россией под одним скипетром есть состояние переходное: совершенная независимость от России есть задняя мысль всякого поляка. Нравственное состояние этого народа, состоящего из нескольких магнатов, анархической массы мелкой шляхты, жидовского среднего сословия и толпы невольников, униженных до скотства самым жестоким рабством, делает его неспособным к той степени мудрости, умеренности и просвещения, какая необходима для свободы, основанной на общественных правах. Чтоб убедиться в этом, стоит только всмотреться в настоящее состояние герцогства Варшавского: хотя здесь конституция дает большую власть королю, однако царствует полная анархия; администраторы — невежды, взяточники, своевольники; управляемые — несчастны, утеснены, ожесточены; общественное и частное благосостояние уничтожены. На русских императоров возложится трудная задача быть в одно время самодержцами и конституционными королями; только Двина и Днепр будут разделять политические учреждения столь противоречивые; они всячески будут сталкиваться, и рано или поздно одни необходимо должны будут поглотить другие. Третье побуждение — не соглашаться на восстановление Польши — это сопротивление каждого русского; и теперь, после таких подвигов преданности, оскорбить русских восстановлением Польши будет несправедливо и неполитично. Русский народ увидит здесь вознаграждение тем провинциям, которые его всего менее заслужили, увидит награду союзникам Наполеона, которые во время нашествия поступали с русскими жесточе французов». Когда через несколько месяцев появилось снова внушение, чтобы Александр объявил себя королем Польским, Новосильцев (6 августа) подал меморию, что от этого надобно удержаться, потому что прежде всего нужно кончить главное дело в союзе с Австрией и Пруссией, а восстанавливать Польшу — значит

прежде всего вооружить против себя Австрию. Лучше всего занять войсками герцогство Варшавское, императору объявить себя его протектором, приготовить дело восстановления, взять присягу с жителей, послать наместником великого князя Николая или Михаила. Решение Польского вопроса было отложено на все время борьбы с Наполеоном, и легко понять, что главная причина этого заключалась в отношениях к Австрии: нельзя было полагать препятствия движению этой державы в пользу коалиции. Император Александр упорно молчал о Польше, когда король Фридрих-Вильгельм начинал с ним о ней заговаривать.

Мы упомянули о мнении графа Нессельроде, находившегося при государе для иностранных дел. Министра, графа Румянцева, император не взял с собою в поход; тот долго ждал, что его вызовут, наконец написал государю письмо, в котором, жалуясь на забвение, в каком он оставлен, просил отставки. Александр отвечал ему, что не взял его с собою единственно из опасения за его здоровье, и жаловался в свою очередь на письмо Румянцева, какого не ожидал, так как всегда отдавал справедливость Румянцеву за исполнение вверенной ему должности. «Впрочем, — писал государь, — могу вам поручиться, по опыту и по внутреннему убеждению Своему, что дипломатам и negociаторам почти нечего делать в эпоху, в которую мы живем: один меч может и должен решить исход событий! Не желание скрыть что-либо от вас заставляло меня не писать к вам так долго, но неудобство местностей и постоянное движение». В заключение император уговаривал Румянцева оставить свою просьбу об увольнении до возвращения его из похода. Деятельность Румянцева как министра иностранных дел действительно кончилась, и мы должны сказать несколько слов о характере этой деятельности и о том, как император Александр распорядился должностью министра иностранных дел после Румянцева.

При такой страшной борьбе, при таком страшном столкновении народных интересов, какое представляет нам описываемая эпоха, нельзя надеяться, чтобы лицо, занимавшее такое место, какое занимал Румянцев, при таком сильном влиянии на ход событий, даже только предполагавшемся, могло быть пощажено противною партией. Поэтому неудивительно, что Румянцев, управлявший иностранными делами в печальное время после Тильзита, представлялся

поклонником Наполеона, человеком, преданным и даже проданным французскому союзу. Принужденный известными обстоятельствами к заключению Тильзитского мира и союза, имея задачей посредством этого союза обеспечить заблаговременно два важнейшие интереса России — Польский и Восточный, император Александр нашел в Румянцеве человека, который вполне сочувствовал этой задаче. С одной стороны, разделить то, что было сделано Наполеоном относительно Польши; с другой — приобрести важное, необходимое для России положение на Дунае завоеванием Молдавии и Валахии стало основной мыслью Румянцева, и ни от одного из министров французские послы не встречали таких настаиваний, таких резких выходов, как от Румянцева, когда дело доходило до этих двух дорогих для него предметов.

Мы уже имели случаи приводить его разговоры с Савари и Коленкуром. 8 мая (н. ст.) 1811 года Румянцев объявил Коленкуру: «Дело не в Ольденбурге и не в указе 19 декабря 1810 г. (о пошлинах); есть дело поважнее, дело о великом герцогстве Варшавском: это великое герцогство не может оставаться в таком положении, в каком оно теперь». С такую же цепкостью держался Румянцев до конца за Молдавию, за границу по Серету, если уже нельзя стало приобрести Валахию. Вследствие таких стремлений, очень скоро обнаружившихся, Румянцев навлек на себя страшную ненависть Меттерниха. Не хотели обращать внимание на то, что Румянцев прямо высказывался о непрочности тильзитских отношений, уговаривал Австрию подождать — будет время действовать вместе против Наполеона; на Румянцева злобились не за то только, что восстание против Наполеона находил он преждевременным, а главным образом за политику его по польским и турецким отношениям, вследствие которой Австрия могла быть обхвачена славянщиною и с севера, и с юга. Ненависть, разумеется, не разбирала средств, когда нужно было вредить ненавидимому человеку, и Румянцев в Вене явился министром, проданным Наполеону.

Эта клевета страшно раздражала императора Александра, который глубоко уважал своего министра за его образцовое бескорыстие. Император не мог быть равнодушен и к вражде против Румянцева за его политику, которая была политикой государя, вражде, высказывавшейся не в одной Австрии, но и в России. Раздражение

государя выразилось по поводу полученного им известия о распространяемых в Вене клеветах на Румянцева. Кроме постоянно живущих послов Александр обыкновенно отправлял с разными поручениями к особенно интересовавшим его дворам доверенных людей, которые своими наблюдениями дополняли необходимые для него сведения. Один из таких доверенных людей, граф Шувалов, посланный в Вену, сообщил государю (30 декабря 1809 года), что там подозревают канцлера Румянцева в связях с французским правительством, которому Румянцев доносит все. Ответ императора обличает сильное раздражение. Замечая, что Шувалов сам не изъят от недоверия к Румянцеву, Александр писал: «Я это приписываю только вашей малоопытности. Я прежде всего по цвету признал представление, сообщенное вам Поццо-ди-Борго. Это интриган совершенный, пансионер Англии, человек на все средства и готовый перевернуть все, чтоб только заставить нас переменить систему. Мне очень неприятно, что вы вошли в сношения с ним, ибо все, что вы от него узнаете, будет носить его печать. Я вам предписываю не оказывать ему ни малейшего доверия и тщательно избегать малейшего явного сообщения с ним».

Нет сомнения, что Поццо с своей корсиканской ненавистью к Наполеону не мог успокоиться на тильзитской политике России и по своей страстности, южной крикливости выражался резко о политике и министре, ее проводившем; но нельзя думать, чтобы источник клеветы на Румянцева, о которой писал Шувалов, скрывался у Поццо, а не у Меттерниха. Это был не первый и не последний раз, что Александр заступался за Румянцева. В 1812 году английский агент Уильсон, находившийся при русском войске и бывший свидетелем патриотических и непатриотических движений между русскими генералами после очищения Смоленска, приехал в Петербург и объявил государю, что генералы готовы для него на всякие пожертвования, если будут уверены, что император перестанет доверять советникам, которым они не доверяют: разумелся Румянцев. Александр в сильном волнении отвечал: «Армия ошибается насчет Румянцева: он не советовал мне подчиняться Наполеону; я его очень уважаю, потому что он почти один, который ничего не просил у меня для себя, тогда как другие просят почестей, денег то для себя, то для родных. Я не хочу жертвовать им без причины. Ступайте, скажите

армии о моем решении — не полагать оружия, пока хотя один вооруженный француз останется на русской почве; я готов отослать мое семейство внутрь страны, готов на всякое пожертвование, скорее отпущу себе бороду и пойду есть картофель в Сибирь, но я не могу уступить насчет выбора моих министров». Когда в начале 1813 года в Вене узнали, что Румянцев не находится при императоре Александре, то Гёниц писал: «Русский двор, который своею беспокойною, эгоистичною, жадною к завоеваниям и владычеству политикою так долго навлекал на себя справедливое недоверие и ненависть всех своих соседей, кажется, наконец решительно отстал от своей прежней системы. Граф Румянцев, последний отъявленный покровитель этой системы, постоянно в удалении от императора».

Иностранные сношения сосредоточились в Главной Квартире; больной Румянцев почетно и незаметно сошел с поприща, и другого министра иностранных дел не было. По отзыву современников, самых способных дать в этом случае верное свидетельство, отличным министром мог бы быть Поццо-ди-Борго, соединявший в себе все качества государственного человека; но император Александр, как увидим, нашел для Поццо место, где тот мог обнаружить все свои достоинства, принести всю пользу. События начиная с 1813 года заставляли императора Александра принимать самое живое, непосредственное участие во внешних сношениях, что соответствовало вполне и его природным наклонностям, и полученному им значению установителя и охранителя мира Европы. Император Александр стал сам своим министром иностранных дел, избравши двоих помощников, как бы в соответствие двум направлениям — либеральному и консервативному, трудную задачу соединения которых император взял на себя. Об одном из этих помощников мы уже упомянули — это был граф Нессельроде, другой не замедлит появиться на сцену — граф Каподистриа.

Граф Нессельроде стал известен своими способностями как секретарь русского посольства в Париже в то время, когда готовилось падение тильзитской системы. Видя, что разрыв близок, Нессельроде оставил Париж и через Вену отправился в Петербург. В Вене ему хотелось повидаться с Меттернихом, с которым был дружен; но от старого друга он не добился ничего положительного, не получил никаких обещаний. В Петербурге император Александр так определил

его будущую деятельность: «В случае войны мне нужен будет человек молодой (Нессельроде было тогда с небольшим 30 лет), могущий всегда следовать за мною верхом и заведовать моею политическою перепиской. Канцлер граф Румянцев стар, болезнен, на него нельзя возложить этой обязанности. Я решился остановить свой выбор на вас; надеюсь, что вы верно и с должным молчанием будете исполнять это поручение, доказывающее мое к вам доверие». Гёнц, говоря, что знал графа Нессельроде с первой молодости, находился с ним в самых искренних отношениях, изучил его характер вполне, представляет нам его человеком благоразумным, умеренным, без всяких склонностей к честолюбию, интриге, чуждым романтических проектов и другом мира; по мнению Гёнца, влияние графа Нессельроде будет всегда благотельно и безопасно для соседей России. «В этом отношении, более отрицательном, правда, чем положительном, его назначение драгоценно для всех тех, которые интересуются общим спокойствием. Он не будет довольно силен, чтоб всегда предотвращать причины нарушения спокойствия, но по крайней мере он никогда не будет им благоприятствовать».

Здесь замечательно выражение, что граф Нессельроде был чужд романтических проектов, ибо Меттерних смотрел на деятельность императора Александра как на романтическую. Человеком, избранным для внешних сношений в соответствие этой романтической деятельности, в Вене считали графа Каподистрия. Каподистрия, грек из Корфу, был несколькими годами старше Нессельроде. Значительное время своей молодости провел он в Падуанском университете, изучая медицину; потом переехал в Вену, где ему посоветовали отправиться в Петербург. Здесь он вышел скоро на вид, благодаря особенно покровительству Новосильцева, и стал служить по дипломатической части, а приблизился к государю не ранее 1814 года; «величайшее бескорыстие относительно мест и денег, простота и скромность поведения, большая откровенность, очень искусно соединенная с большим подчинением» день ото дня укрепляли, усиливали, по словам Гёнца, кредит Каподистрия у императора Александра. Другие современники, хорошо знавшие Каподистрия, люди не романтического направления, отзывались о нем, что он очень умен, но иногда ему недостает рассудительности; он обладает проницательностью, тонкостью, но не всегда логикою; находили, что у него нет опытности

в людях и делах; что он трудится для мира, составленного из избранных, столь же совершенных, как он сам; его упрекали тем, что он прельщен сочинениями Гизо. Сравнивая его с Поццо, говорили, что у Каподистриа душа чище, чувства благороднее, бескорыстнее, но у него далеко не те средства, как у Поццо, не те познания, особенно нет такого здравого, практического смысла, необходимого для ведения дел в сем дольном мире. Таков был слуга того направления деятельности императора Александра, которое в Вене называли романтическим. Но в минуту, на которой мы остановились, это направление тщательно скрывалось; страшная борьба была еще далека до своего окончания.

Калишский договор ставил Европу, по-видимому, в то же положение, в каком она была в начале 1807 года. Союз между Россией и Пруссией; к нему примыкает Англия со своими субсидиями и Швеция с помощным войском; но если во время коалиции 1807 года от Швеции нельзя было ожидать деятельной помощи вследствие личности короля Густава IV, так и теперь противоположная личность наследного принца не внушала много доверия: до сих пор он оставался явно в выжидательном положении. Помощь Австрии, точно так же как и в 1807 году, была еще впереди. Союзники отбрасывали небольшие отряды французского войска, освободили от них Берлин, вступили в Саксонию, но тут должны были встретить Наполеона с войском более многочисленным, чем у них, и по-прежнему они не могли противопоставить ему ни одного генерала с блестящими военными способностями. Надобно было готовиться к поражениям, отступить, и тут-то император Александр должен был опять собрать все силы своего духа, чтобы устоять, ибо у него на руках был напуганный, больной человек, король Прусский, который приходил в совершенное отчаяние при слове «отступление»; при виде идущего назад войска пораженному воображению его уже представлялись прежние печальные следствия отступления, потеря столицы, государства — все то страшное время, которое он пережил после Иены. Как только неудача, отступление, затягивание войны — сейчас уже ропот пруссаков, что союзники, русские, вместо помощи содействуют только опустошению страны, хотя вначале русские полки встречаемы были, как освободители, с неописанным восторгом; а тут заискивания Наполеона, предложения отдельного, выгодного для России мира...

Но испытание было непродолжительно. Условия первой половины 1813 года только по видимому были сходны с условиями кампании 1806–1807 годов: разница была существенная. Она состояла в том, что прошел 1812 год, давший другое нравственное настроение не одним русским. До 1812 года был один непобедимый полководец — Наполеон и благодаря ему один непобедимый народ — французский, одна непобедимая армия — французская. Но теперь явилась страна, одоление которой оказалось невозможным; страна, которая поглотила непобедимую французскую армию; страна, из которой непобедимый полководец убежал сам-третей, повторяя, что от великого до смешного один только шаг, — и страна эта континентальная, по-видимому, легко досягаемая. Страна эта была постоянною помехою для поработителя Европы своими стремлениями к равенству положения с его империей, требованиями уважения к своим интересам, надеждою, какую полагали на нее все недовольные в Европе. Для уничтожения этой помехи и предпринят был поход, с небывалой обстановкой, которая должна была дать ему верный, блестящий успех, — и вместо успеха небывалая неудача, небывалое поражение. По-видимому, что еще за беда для Наполеона? Он мог сделать неосторожность: какой же человек ее не делал? какой знаменитый деятель не терпел поражений, не бывал в отчаянном положении? Петр Великий, Фридрих II! Войско он наберет, необыкновенное военное искусство при нем, следовательно, и победа будет при нем. Но та помеха, которая была прежде, от которой покоя не было, которую нужно было уничтожить во что бы то ни стало, теперь существует в усиленном виде; надежда, которую полагали на нее все недовольные, выросла; претензии России увеличились; движение обхватывает Германию; Пруссия явно в союзе с Россией; Австрия переменила тон; Швеция выступит при первой уверенности в успехе; в Испании дела идут дурно. По меньшей мере борьбу надобно начинать снова: один год уничтожил десять или больше лет блестящих успехов. Борьбу надобно начинать снова — а где средства? Франция истощена; чтобы остановить движение новой коалиции, выжат был последний сок из страны, создана новая большая армия; но эта армия далеко не прежняя, которая погибла в России; с новою армией, с этими сравнительно слабыми детьми, нельзя было того сделать, что со старой, закаленной в боях, в победах, армией; предания были порваны, дух был не тот.

Лучшей проверкой перемены положения, значения 1812 года служило поведение Австрии; она хочет мирить, но для мира требует уступок — от Наполеона. Сначала Наполеон не хочет мира, потому что не хочет делать уступок; мысль о малейшем шаге назад на своем поприще для него ужасна, нестерпима; уступить — значит признать свое поражение, признать значение 1812 г. Весть об отпадении Пруссии заставляет его задуматься; он решается войти в переговоры, но по-своему, по-старому: бить по частям, сманить Австрию разделом Пруссии. Он делает следующее предложение: у Пруссии теперь 5 миллионов душ; эти пять миллионов разделить на три доли: миллион оставить Пруссии на правом берегу Вислы; два миллиона — Австрии и два миллиона — Саксонии и Вестфалии. Лучшая доля достанется Австрии — Силезия! Мало того: если Австрия согласится войти в теснейший союз с Францией, то получит назад иллирийские провинции. Но Австрию обольстить было нельзя этими приманками: ей нужно было прежде всего освободиться от давления железной руки Наполеона, ибо тогда только и приобретения могли быть прочными; взять же Силезию и Иллирию за содействие утверждению французского ига в Европе был не расчет: все эти приобретения могли быть скоро отняты. Притом, чтобы делить Пруссию, надобно было победить ее и русское войско, которое поддерживалось народным энтузиазмом в Германии, возбужденным русско-прусскими либеральными провозглашениями; эти провозглашения приводили в отчаяние Меттерниха: надобно было непременно сдержать Александра и Фридриха-Вильгельма влиянием Австрии — иначе, по мнению Меттерниха, они устроят в Германии революционные комитеты. Наконец, союз с Францией был невозможен и по страшному ожесточению, которое господствовало против французов в самой Австрии.

Победа может переменить все, и Наполеон спешит в Саксонию навстречу союзникам. Встреча последовала при Люцене; страшная резня, битва нерешительная, но союзники отступили, и Наполеон провозгласил себя победителем. Благоприятная минута для мирных предложений! Союзники побеждены, отступили, увидели, что Наполеон все тот же, и потому будут умереннее в своих требованиях. Наполеон также должен быть умереннее: битва не похожа на Аустерлицкую или Иенскую — еще несколько таких побед, и армия

его погибла. Меттерних предлагает условия: уничтожение Рейнского союза, возвращение Австрии иллирийских провинций, свобода ганзейских городов, разрушение Варшавского герцогства, восстановление Прусской монархии. Предложение страшно раздражило Наполеона, и действительно, отношения явились странные, небывалые: Наполеон стоял с войском в Саксонии; он победил, враги отступили, и от него требуют, чтобы он отказался от приобретений, купленных двумя предпоследними войнами, — отношения совершенно извращенные! — от победителя требуют уступок! А между тем внутренний голос говорит Наполеону, что в сущности тут никакого извращения нет, что был 1812 год! Австрия получала возможность делать ему такие предложения, ибо соединение ее войска с русско-прусским давало коалиции численное превосходство, что должно было нанести окончательный удар его последнему войску. Но этот внутренний голос, разумеется, не уменьшал раздражения. Особенно раздражало его то, что Австрия предписывает ему законы, — Австрия, которая обязана помогать ему в войне, — Австрия, которая не сделала ничего, что бы дало ей право играть первую роль. Наполеон велит отвечать на австрийские предложения, что он прощает Австрии все прошлое, хочет мира и может заключить его на условии, чтобы все оставалось, как было до войны (*statu quo ante bellum*). Если бы он захотел, то уладился бы с императором Александром, предложив ему Польшу; посылка в Главную русскую Квартуру разделила бы мир пополам.

Эта угроза давно была бы исполнена, если б только было можно. Но в Вене очень хорошо знали, что император Александр не войдет в отдельное соглашение с Наполеоном, разве только Австрия своею медленностию пристать к союзу принудит его к этому; но Австрия прежде всего не хотела повторения тильзитских отношений; опыт прошлого пошел впрок; Меттерних не хотел повторять ни ошибки Пруссии перед Аустерлицем, ни ошибки Австрии перед Фридландом. Наполеон уже освобождал Австрию от союзных обязательств, требовал только нейтралитета невооруженного, но Австрия непременно хотела быть в вооруженном нейтралитете, с тем чтобы взять сторону союзников, если Наполеон не согласится на ее мирные условия.

Стадион, находившийся в Главной Квартире союзников, ободрял Велу своими донесениями, что, несмотря на отступление союзников после Люцена, дух войска их нисколько не упал; напротив — военный жар все более и более усиливается, подкрепления подходят ежедневно, кавалерия и артиллерия превосходные. В начале мая в Дрезден к Наполеону явился посланный австрийского императора граф Бубна, который объявил, что австрийские мирные условия очень умеренны; что союзники требуют гораздо большего и император Франц очень рад, что Наполеон побил их: станут поскромнее; в противном случае Австрия знает, что делать: вместо 30.000 она отдаст в распоряжение Наполеона 200.000; но надобно заключить перемирие и завести переговоры. Наполеон не мог принять австрийских условий, не мог возвратиться во Францию побежденным, принужденным к уступкам; но с другой стороны, он видел страшную опасность в случае присоединения 200.000 войска к союзникам. Император Франц имел удовольствие унизить Наполеона, выжать из железной груди болезненный вопль, мог теперь говорить: «Я показал императору французов, что я такое». Наполеон решился написать тестю письмо, какого еще никогда не писывал: «Если в. в-ство принимаете какое-нибудь участие в моем счастье, то позаботьтесь о моей чести! Я скорее умру в челе последних великодушных людей Франции, чем соглашусь быть посмешищем для англичан и причиною триумфа врагов моих!» В ответ французский посланник в Вене доносил: «Конечно, Австрия желает как можно скорее объявить нам войну при первом благоприятном случае; она бешено вооружается, и нет никакой надежды иметь ее союзницею».

Надобно сделать последнюю попытку. Коленкур посылается к императору Александру с предложениями: «Одер будет границею германской конфедерации; проведется линия от Глогау до Богемии; Вестфалия получит 1.500.000 душ; за то Пруссия получит великое герцогство Варшавское, с городом и округом Данцига; Пруссия приобретет таким образом 4 или 5 миллионов жителей; с своей стороны Россия приобретет вторую границу, ее прикрывающую, ибо Пруссия, имея свою столицу подле нее, будет находиться в ее системе. Франция и Россия будут удалены друг от друга на 300 лье расстояния, будут разделены государством в 200 лье пространства». Но Коленкуру было наказано: «Главное — разговориться. Соглашение будет легко,

если мы узнаем виды императора Александра. Мое намерение постлать ему золотой мост, чтобы избавить его от интриг Меттерниха. Если уж надобно сделать пожертвования, то лучше их сделать в пользу императора Александра, который вел добрую войну, и короля Прусского, которым он интересуется, чем в пользу Австрии, которая изменила союзу и теперь, под титулом посредницы, присваивает себе право располагать всем, взявши себе долю, какую ей нужно».

Император Александр отказался принять Коленкура, объявив, что все переговоры должны идти через посредство Австрии, и этот отказ последовал на другой день после битвы при Бауцене, где Наполеон опять одержал победу; но эта победа стоила ему до 25.000 человек, выбывших из строя; союзники дрались отлично и отступили твердою ногою, не разрываясь; из 180.000 солдат, приведенных Наполеоном в Саксонию, оставалось 120.000. Австрия была тут с предложением перемирия и конгресса; Наполеон принял и то, и другое. Во время этого перемирия союзники заключили договоры с Англией и Австрией; определено было количество войска, которое выставлял каждый из них, количество субсидий, выплачиваемых Англией; Австрия обязалась перейти на сторону союзников, если к 10-му августа н. ст. Наполеон не примет ее мирных условий. Сам Меттерних отправился к Наполеону в Дрезден для убеждения его принять мирные условия, ибо для Австрии важнее всего было остановить борьбу, удержать равновесие между Россией и Францией и овладеть навсегда посредствующим положением между ними. В пылу раздражающих речей Наполеон высказал знаменитые слова, которые должны были бы убедить «дипломатического гения», какое заблуждение думать, что Наполеон согласится на долгий мир, когда у него вытребуют уступки, заставят признаться побежденным: «Ваши государи, рожденные на престоле, не могут понимать моих чувств: побежденные, возвращаются они в свои столицы и царствуют спокойно, как прежде; но я солдат — мне нужны честь и слава; я не могу показаться своему народу в унижении, я должен оставаться велик и славен».

Но если Меттерних ошибался насчет возможности мира с Наполеоном и уравновешения его могуществом могущества России, то и Наполеон жестоко ошибался, все еще надеясь сблизиться с Россией и отменить Австрии отнятием у нее всякого влияния. В наказе Коленкуру, отправленному на конгресс, назначенный в Праге,

говорилось: «Намерение императора Наполеона состоит в том, чтобы заключить с Россиею мир, славный для этой державы, — мир, который отнимет у Австрии все ее влияние в Европе и этим накажет ее за вероломство и за ошибку, какую она сделала, нарушив союз 1812 года, чем сблизила Францию с Россией. Император намерен установить такой порядок вещей, который отстранит всякие столкновения между ним и Россией. Если Россия получит выгодный мир, то она его купит опустошением своих областей, потерей своей столицы и двумя годами страшной войны, бедствия которой будет долго чувствовать. Австрия, напротив, не принесла никакой жертвы, ничего не заслужила. Если она извлечет какую-нибудь пользу из своих интриг, то она заведет другие, для получения новых выгод. Предметы ее требований от Франции бесконечны. Раз сделанная ей уступка ободрит ее к требованию новых. Итак, в интересе Франции, чтобы Австрия не приобрела ни одной деревни». Но сближение с Россией по-прежнему было невозможно; Пражский конгресс кончился ничем, и Австрия присоединилась к союзникам; а между тем англичане вступили во Францию под предводительством Веллингтона.

19 июля из Петервальдау император Александр писал Румянцеву, что на его плечах громадный труд; с апреля месяца в его распоряжении не было не только одного дня, даже одной ночи; с начала апреля он оставался на одном месте только два дня в Дрездене, а после этого находился в постоянном движении. Цель трудов была достигнута: давно признанная необходимою, но до сих пор не могшая образоваться тройная коалиция между Россией, Пруссией и Австрией наконец составила; Наполеон, потерявший громадную армию в России, увидал и теперь против себя превосходное числом войско союзников и проиграл Лейпцигскую битву, «великую битву народов». Германия была очищена, союзники перешли Рейн, вступили на французскую почву; Наполеон отбивался отчаянно, истощая все средства своего необыкновенного военного искусства. В это самое время соперник его, император Александр, вел тяжелую и неутомимую борьбу особого рода, уговаривая, улаживая союзников, чтобы действовали дружно, не теряли времени в отступлениях и бесполезных переговорах. Австрия вошла в коалицию не с тем, чтобы окончательно освободить Европу от Наполеона, как хотел император Александр и король Фридрих-Вильгельм или по крайней мере лучшие люди Пруссии: Австрия

старалась при первом удобном случае остановиться, завести переговоры с Наполеоном, помириться с ним, удержать его на французском престоле, все — с целью посредством него не дать преобладания России и сохранить важное положение для себя, быть, в-третьих, с равным значением.

Но Австрия была побеждена в своих стремлениях, уступив торжество Александру; в своих расчетах она не обратила внимания на положение Наполеона, не вникла в смысл слов его, сказанных Меттерниху в Дрездене, что он не может возвратиться во Францию побежденный и продолжать царствовать. Александр восторжествовал, потому что он знал человека, с которым имел дело; знал, что с Наполеоном не может быть мира, а только кратковременное перемирие. Наполеон хотел отметить Австрии, заключивши мир с Александром; но Александр, отвергая отдельный мир, заставил Наполеона отметить Австрии другим образом — клонением от общего мира и собственной гибелью, ибо Австрия ничего так не желала, как мира и сохранения Наполеона на французском престоле. Наполеон, разрушая расчет Австрии, продолжая борьбу, давал торжество, главное, великое значение Александру — значение вождя, ведущего коалицию неуклонно вперед до самых ворот Парижа, тогда как Австрия в своих стремлениях к миру, остановке, прекращению дела естественно становилась на самый задний план, взявши на себя жалкую роль державы отступающей, оттягивающей дело, трусливой. В то время как Россия и Пруссия торжествовали победу, доведши до конца великое дело, Австрия, их союзница, являлась побежденною, ибо известно было, как она не хотела этой победы, как полагала всевозможные препятствия, чтобы великое дело не было доведено до конца. Благодаря Австрии коалиция уже делилась: на одной стороне — император Александр, стремившийся довести дело до конца, мириться с Францией, а не с Наполеоном, с которым мир невозможен; прусский король не отступал от русского государя; на другой стороне — император Франц с своим главнокомандующим Шварценбергом и с своим канцлером Меттернихом; последнему удалось своими внушениями произвести сильное впечатление на английского уполномоченного при коалиции лорда Касльри.

Взявши на себя незавидную, низменную роль, естественно, стремились свести с высоты человека, который избрал роль

противоположную, и Меттерних объяснял стремление Александра покончить дело тщеславным желанием непременно войти в Париж в челе войск коалиции! Легко понять, какая досада овладела Меттернихом, когда все его расчеты расстроились, когда Александр восторжествовал и этим торжеством упрочил для себя и страны своей первенствующее положение, а на долю Австрии остались осадки того положения, которое она сама выбрала; легко понять, с каким негодованием должен был Меттерних отзываться о Наполеоне, человеке, который расстроил все его расчеты, отвергнув по непонятному упорству руку помощи, погубил сам себя и поставил в печальное положение желавшую ему добра Австрию.

Когда при неудачах — а они не могли быть редки в борьбе с Наполеоном — Меттерних и Касльри начинали толковать о мире, император Александр объявлял: «Положение дела необходимо требует, чтоб мы продолжали войну: всякие переговоры, неизбежно связанные с потерей времени, дадут неприятелю возможность усилиться. Я уверен в счастливом окончании войны, если союзники будут единомышленны». Когда союзники в конференциях настаивали на мире, Александр говорил: «Это будет не мир, а перемирие, которое вам позволит разоружиться лишь на минуту. Я не могу каждый раз поспевать к вам на помощь за 400 лье. Не заключу мира, пока Наполеон будет оставаться на престоле». И Наполеон спешил доказать, как прав был его соперник: говоря о мирных условиях, предлагаемых союзниками, которые требовали, чтобы Франция осталась при старых своих границах до 1792 года. Наполеон писал брату Иосифу: «Если бы я подписал такой договор, то через два года я поднял бы оружие, объявив нации, что то был не мир, а капитуляция».

Действительно, Наполеон, и потерявший все свои завоевания и даже завоевания республики, мог бы оставаться некоторое время безопасно на престоле, ибо Франция была совершенно истомлена и ничего более не желала, как мира; но эта страна оправляется быстро, и Наполеон опять должен был бы воевать — для поддержания себя на престоле. 1 января 1814 года он сказал членам законодательного собрания, позволившим себе ропот на внутренние беспорядки и требовавшим законов, которые бы обеспечили французам свободу, безопасность, собственность: «Вы хотите овладеть властью; но что вы с нею сделаете? Франции нужна теперь не палата, нужны не ораторы,

а генерал. Между вами есть ли генерал? И где ваше полномочие? Франция меня знает, а вас знает ли? Трон — это несколько досок, обитых бархатом; трон — это человек, это я с моею волею, с моим характером, с моею славою». Через два года, а конечно, еще скорее Наполеон должен был бы сказать, что Франции нужна не палата, не ораторы, нужен генерал для возвращения славы и приобретений, для уничтожения следствий капитуляции. Но Наполеону невозможно было заключить такую капитуляцию, невозможно было не только двух лет — двух дней пробыть после нее, потерявши в собственном сознании все права на власть: он должен был биться до конца и по истощении всех средств отречься от престола.

Часть вторая
Эпоха конгрессов

I. ПЕРВЫЙ ПАРИЖСКИЙ МИР — ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС

Впервые знаменитая столица Франции, считавшая себя столицей цивилизованного мира, проводила такую страшную ночь, как ночь с 18-го на 19-е марта 1814 года: на другой день в нее должны были вступить союзные государи Европы с своими войсками! Париж пережил Варфоломеевскую ночь, пережил кровавые ужасы революции, но никогда еще победоносный враг не вступал в него, неся решение его участи. Недавно, во время революции, когда Франция казалась совершенно беззащитною, враждебные войска вступили на ее почву с надеждою проникнуть до Парижа и поддержать здесь падающий престол, но со стыдом должны были оставить Францию. А теперь, после неслыханной в истории военной славы, после небывалого в новой, христианской Европе господства, Франция должна признать себя покоренною и принять условия победителей, какие они предпишут ей в Париже! Никогда история не видала таких событий, такого изумительного движения, такого прилива и отлива счастья и величия, как в первые 15 лет XIX века. Никогда Европа не жила такою общею жизнью, никогда все части ее не участвовали в таком общем движении. Это движение пошло из Франции: по воле ее императора народы высылали свои полки, из которых составилось огромное ополчение, устремившееся на восток, в Россию. Цель похода была достигнута: отдаленная восточная столица России была занята; но здесь обнаружился страшный обман: столица оказалась пустая и скоро сгорела от руки таинственных поджигателей; мечты завоевателя исчезли, он обнял призрак. Начался отлив: войсковые массы потянулись назад с востока на запад, и, как прежде войска разных народов примыкали к легионам Наполеона, так теперь примыкают к полкам русским и останавливаются не прежде как у ворот Парижа.

Народы истомились этим приливом и отливом — этими движениями, которые напоминали начало средних веков и были не к лицу цивилизованной Европе XIX века. Движение исходило из Франции и в последнее время условливалось положением и характером одного человека. Наполеона. Европа хотела покончить с

движением и поэтому должна была покончить с Наполеоном. Но что же Франция? Что же Париж, давно уже втянувший в себя ум и волю Франции? Опустел ли он, как Москва, перед приближением соединенных войск Европы? Готовится ли к пожару? Поднятием Наполеона оправдались пророческие слова Адриана Дюпора, сказанные в разгаре революции: «Надобно поспешить, чтобы воспрепятствовать окончательному расстройству государственному; не нужно стеснять свободы и равенства, но нужно обхватить их правительством справедливым и сильным. Если этого нельзя сделать, то конституция погибнет и государство будет растерзано партиями. Потом, после долгих и тяжелых опытов, знаете ли, кому будет принадлежать государство? Деспотизму, в котором станут искать убежища все души истомленные, истощенные».

Но сын революции, Наполеон, поступил подобно своей матери: он в свою очередь истомил, истощил души, искавшие убежища в его власти. Франция и Париж истощены, расслаблены физически и нравственно и более других жаждут прекращения движения. И без того страшного истощения сил, которому подвергалась Франция при Наполеоне, неудачи наступательной войны служат дурным приготовлением к войне оборонительной: при потерях материальных дух падает в войске и народе, особенно когда нет убеждения в правде начатой войны; не может быть той свежести и твердости в отпоре, с каким защищается народ, подвергшийся сначала нападению в своей стране. Сюда присоединялась непрочность отношений Наполеона к Франции, недавность власти, которой право основывалось на военной деятельности, военной славе. Как ни чувствителен французский народ к военной славе, но односторонняя деятельность всегда утомляет; и деспотизм может приготовить народ только к неправильным революционным движениям, к деятельности отрицательной, а не к твердой защите существующего. Многие могли чувствовать сильную горечь в сердце при виде нашествия врагов на родную землю; но трудно было с ожесточением отнестись к врагу, пришедшему не по своей вине, пришедшему с требованием мира и устранения человека, при котором мир был невозможен; негодование при виде врагов на родной земле, естественно, отвлекалось от этих врагов и падало на человека, который поднял врагов и не успел защитить от них Францию. Могли вооружиться люди из низших слоев

народонаселения, не рассуждая о причинах и следствиях, видя только врагов перед собою; но для этих людей нужны были вожди, а вожди могли явиться из людей того общества, где соображают причины и следствия.

При таких-то невыгодных для себя обстоятельствах Наполеон из Фонтенебло отправил Коленкура к императору Александру с мирными предложениями. Император принял посланного чрезвычайно ласково; но тем безотраднее зазвучал спокойный ответ, что союзники не хотят знать Наполеона и ждут, как распорядится Франция насчет своего будущего правительства.

Итак, Франция должна решить свою судьбу; но как она это сделает и способна ли это сделать? Дважды истомленная нравственно, революцией и военным деспотизмом империи, она не имела средств энергически высказаться в пользу той или другой правительственной формы, в пользу того или другого человека. Партия республиканская, пораженная нравственно, потерявшая кредит вследствие неудач революции, была придавлена материально при Наполеоне, и теперь не время было ей подавать свой слабый голос в присутствии соединенных государей Европы. Правительственная форма, существовавшая до сих пор во время империи, терпелась только благодаря личности императора и падала вместе с ним; следовательно, ограниченная монархия была единственной формой, стоявшей на очереди. Но кто будет конституционным монархом Франции? Кандидатство малолетнего сына Наполеона, при регентстве матери, имело большую невыгоду в отсутствии силы и самостоятельности, имело и выгоду, удовлетворяя войско и отнимая у старого Наполеона право беспокоить Францию и Европу. Это кандидатство могло бы пройти, если б было поддержано могущественной партией; но наполеоновская партия была слаба, как побежденная: против империи естественно и необходимо шла сильная реакция; против нее, как обыкновенно бывает, раздавались страшные слова: «Горе побежденным!» — и сталкивали наполеоновскую династию с очереди; войско не принималось в расчет, ибо его победы были забыты, когда неприятель стоял под Парижем. Кто же мог быть кандидатом? Старый маршал Франции, теперь наследный принц шведский Бернадот? Но кроме того положения, случайным образом приобретенного, у Бернадота не было никаких других прав против его товарищей.

Выбор был крайне трудный, и потому легко было напомнить о себе забытым людям — Бурбонам, старший из которых носил титул французского короля под именем Людовика XVIII. Надежды этого короля оживали при каждом возобновлении борьбы с Наполеоном; и так как борьба давно велась собственно между Францией и Россией, то Людовик XVIII постоянно обращался к русскому императору с просьбою вспомнить о его правах и поднять его знамя, способное помочь России и Европе в борьбе с похитителем французского престола. Но мы видели, что император Александр несколько не разделял взглядов и надежд представителя старой французской династии и думал, что ее знамя способно не помочь, но повредить России и ее союзникам в борьбе с императором французов. В 1805 году, когда император Александр становился во главе коалиции против Наполеона, Людовик XVIII напомнил о себе письмом от 20 февраля (4-го марта) из Митавы. Король вызвался быть при войске, которое должно было действовать против Франции; писал, что надобно вызвать средство, которое одно может дать успех коалиции, средство нравственное, мнение (*l'opinion*), ибо до сих пор в борьбе с революционной Францией «никогда не противопоставляли право преступлению, наследника 30-ти королей эфемерным тиранам, легитимность (*legitimite*) революции».

8-го (20) октября 1806 г. новое письмо: «Личное и деятельное участие (в войне) короля Французского есть единственное оружие, которым можно низложить похитителя и похищение. Зло, опасность для Европы состоит не в честолюбии и личных средствах одного человека, а в самой революции. Если захотят предписать новые законы Франции, то возмутят ее; если объявят, что она вольна сама создать себе правительство, какое хочет, то этим предложится ей анархия. Между двумя означенными опасностями есть верная дорога — противопоставить право насилию, законного государя похищению, более даже, чем похитителю». Людовик обращался в своих письмах к императору Александру: «*Monsieur, mon Frere et Cousin!*» Император отвечал ему: «*Monsieur, le Comte!*^[13] Обстоятельства предписывают подождать развязки, прежде чем решиться на средство, упомянутое в вашем письме». Дождавшись развязки, Людовик опять написал императору 22-го октября (3-го ноября): «Король Прусский потерпел поражение, Берлин во власти Бонапарта. Чем сильнее опасность, тем

нужнее принять против нее средства. Чтоб извлечь из деятельного вмешательства короля (то есть Людовика XVIII) всю пользу, надобно провести меня во Францию, на берега моего отечества, с войском, достаточным для обеспечения высадки и для поставления опоры моим верным подданным». Александр отвечал: «Несмотря на мое убеждение, что предложенная вами мера могла бы иметь хороший успех, она неудобноисполнима в настоящую минуту по причине позднего времени года и долговременных приготовлений, необходимых для подобной экспедиции». В 1807 году племянник короля герцог Ангулемский просился волонтером в русскую армию: просьба не была принята.

Тильзитский мир заставил Людовика XVIII оставить русские владения и искать убежища в Англии. Наступил 1812 год, наступила решительная для всей Европы борьба между Россией и Францией; Бурбоны опять напомнили о себе. 23-го июля герцог Ангулемский опять прислал императору Александру письмо с просьбою о вступлении волонтером в русскую армию.

Император отвечал (9-го октября): «Я бы принял ваше предложение, если бы замышлял высадку на французские берега; но из Англии это сделать удобнее». Армия Наполеона исчезла в России, Александр перешел за границу для окончания борьбы; Людовик XVIII возобновил свои домогательства под благовидным предлогом, 14-го февраля 1813 года он написал императору Александру из Гартуэля: «Жребий войны отдал в руки вашего императорского величества более 150.000 пленных; большая часть их французы. Мне нет нужды до того, под какими знаменами они шли: они несчастны, и я вижу в них только детей моих; поручаю их щедротам нашего императорского величества». После этого нежного введения король приступает к делу, просит императора объявить себя за Бурбонскую династию во Франции и предлагает высадку в Нормандию, 26-го марта (7-го апреля) другое письмо, в котором король просит позволения герцогу Ангулемскому приехать в русскую армию. Ответ прежний (от 24-го апреля): «С великим бы удовольствием увидел я герцога Ангулемского на континенте; но думаю, что настоящая минута еще неблагоприятна».

Прогремела «битва народов»; Наполеон должен был уйти за Рейн, и вслед за ним союзники готовились вступить во Францию; в челе союза стоял русский император, и Людовик XVIII снова обращается к

неумолимому; письмо из Бата от 15-го ноября: «Похититель не может защитить несправедливых завоеваний; но он старается встревожить французов насчет намерения государей, вооружившихся против его нападения. Единственное средство вырвать у него последнее оружие — это указать Франции верную гарантию ее независимости и счастья в восстановлении отеческой и законной власти. Я не могу спокойно видеть чужую армию на границах моих владений, тогда как намерения союзников неизвестны, мои права не признаны и моя законная власть не провозглашена. Я никогда не желал сохранить завоевания, столь же гибельные для спокойствия Франции, сколько несовместные с безопасностью других правительств; но я боюсь честолюбивых видов, которые встревожат французов, заставят их защищать власть ненавистную. Меня уверяют, что генерал Сульт, тайный враг Бонапарта, очень расположен служить моему делу и что если ваше императорское величество изволите гарантировать обещание, которое мне предложили ему сделать, то он скоро обратит свое оружие против тирана».

Но император Александр продолжал считать лучшим средством успокоить Францию — это дать ей свободу устроить самой свое правительство; он не считал поэтому себя вправе мешать Бурбонам, если сама Франция их призовет; но не хотел делать ни одного шага, произносить ни одного слова в их пользу: одинаково сдержанно относился он и к Бурбонам, и к союзникам, и к самим французам. Уже во Франции, при вступлении императора Александра в Труа, некоторые из жителей этого города просили его о восстановлении Бурбонов. «Прежде чем думать о Бурбонах, надобно победить Наполеона», — отвечал Александр. В Лангре роялисты вызывались набирать волонтеров на службу старой династии; Александр согласился, но с тем, чтобы этот набор не имел никакого отношения к движениям союзников и производился в областях, ими еще не занятых.

Иначе относилось к делу английское правительство, у которого Людовик нашел приют и сочувствие. Мы видели, что еще в 1804 году Питт указывал Новосильцеву на пользу восстановления Бурбонов. Во сколько здесь действовало убеждение, что Франция при Бурбонах не будет сильна и опасна Англии, — мы не знаем; по крайней мере в начале 1814 года английский принц-регент высказался пред русским посланником, что он считает нужным дать французам свободу

распорядиться насчет своего будущего правительства, но думает, что было бы бесполезно напомнить им о существовании их законной династии. Но тут же принц-регент предоставлял это дело русскому императору, «вождю бессмертной коалиции, к которому обращены все надежды». Вождь бессмертной коалиции, не высказываясь насчет будущего государя Франции, дошел до ее столицы. Людовик XVIII считал нужным сделать последний шаг и предложить приманку, чтобы заставить русского императора высказаться за него в решительную минуту, — и к русскому посланнику в Лондоне является любимец Людовика, Блака, с изъявлением чувств благодарности своего государя к императору Александру как спасителю Франции и Бурбонов. «Король, — говорил Блака, — чувствует, сколько он еще может надеяться вперед для счастья своей страны и для утверждения своего трона от могущественного покровительства его императорского величества. Чем более король сознает благодеяния императора и долг благодарности за них, тем более желает скрепить самыми тесными узами связь между двумя государствами, которая обеспечивала бы его подданным постоянное расположение их покровителя». Блака от имени королевского предложил брак между сестрою императора Александра и племянником Людовика XVIII, герцогом Беррийским, причем, однако, сделал намек, что будущая королева Французская должна быть римско-католического исповедания, и приводил в пример русскую княжну Анну Ярославну, бывшую за французским королем Генрихом I-м. Император Александр велел отвечать, что он готов содействовать браку сестры с герцогом Беррийским, но решение зависит от императрицы Марии Федоровны; притом, если перемена исповедания есть непременно условие брака, то он невозможен.

Помощь русского императора нельзя было приобрести никаким средством; но он не будет препятствовать Бурбонам занять французский престол, если сама Франция этого захочет. Истощенная материально и нравственно, Франция не в состоянии возвысить замирающий на устах голос, да и не знает, какое слово, чье имя произнести. При таком положении страны первый влиятельный человек, который решительно и громко скажет свое слово, произнесет известное имя, будет иметь на верное успех уже по тому самому, что будет говорить при всеобщем молчании, и это молчание примется за знак всеобщего согласия. Бурбонам, следовательно, нужно было найти

такого человека, который бы произнес их забытое имя, и они нашли такого человека: это был Талейран.

Мы уже хорошо познакомились с Талейраном; мы видели, как давно почувствовал он, что дом затлел, и не хотел в нем оставаться; мы видели, с какими речами явился он к Александру в Эрфурт. На третий год, 15 сентября 1810, Талейран писал императору Александру, что расположение, оказанное ему русским государем в дни печали, стало утехой и гордостью всей его жизни. Жалуясь на целую систему упреков, стеснений, внутренних мучений, какую он претерпевает со времени эрфуртского свидания, систему, расстроившую его дела, Талейран просил у императора полтора миллиона франков. Александр отказал в этой просьбе, отвечая, что ее исполнение может повредить самому Талейрану и противно тем чистым и простым правилам, которыми император руководится в сношениях с иностранными государями и с теми, которые им служат. Теперь, в 1814 году, император Александр встретился с Талейраном как с чародеем, который дорого просит за свои предсказания, но предсказывает верно. И теперь Талейран занимался каким-то таинственным делом. Дом сгорел; куда же перебраться? Наполеон — император, герой ста битв, завоеватель — низвержен; война должна прекратиться, но с прекращением войны должна начать действовать дипломатия: пришел, следовательно, черед дипломатическому Наполеону — и Талейран готов. Он в Париже, мудрец, прошедший огонь и воду, знающий все и всех. Глаза всех обращены на него: на кого он укажет? Около Талейрана давно уже собирались люди, недовольные правительством Наполеона, давно произносилось и имя Бурбонов. Роялисты, возвратившиеся во Францию при Наполеоне, служили императору и молчали, пока он был в силе; но теперь, когда на империю рассчитывать было нельзя более, они естественно обратились к законной династии и начали действовать в пользу ее; действовать становилось все легче и легче, ибо соперничества не было; другие партии, пораженные бессилием, безмолвствовали. Талейран молчал, прислушиваясь и приглядываясь, и наконец решил, что одни Бурбоны возможны.

В четверг 19 (31) марта союзники торжественно вступили в Париж. Император Александр ехал между прусским королем и фельдмаршалом Шварценбергом; император Франц не хотел

участвовать в торжестве, которое было ему очень не по душе. В такие великие минуты дух главного исторического деятеля, каким был Александр, переполнялся впечатлениями настоящего и прошлого в их тесной, необходимой связи; Александр имел нужду высказаться, освободиться от этой тяжести впечатлений, и, разумеется, он выскажет то, что для него в эти минуты представляет главное, существенное, что всего больше занимает его дух. Он высказывается невольно; чрез несколько времени, успокоившись от волнения, придя, так сказать, в себя, он бы не сказал этого не только другим, он бы и самого себя постарался убедить, что не то должно быть для него на первом плане, не то должно преимущественно занимать его. В описываемые минуты Александру представилось его прошлое со дня вступления на престол, когда он явился провозгласителем великой идеи успокоения Европы от революционных бурь и войн, идеи восстановления равновесия между государствами, правды в их отношениях, при удовлетворении новым потребностям народов, при сохранении новых форм, явившихся вследствие этих потребностей.

В этой Европе, пережившей страшную, неслыханную бурю, следы которой наводили столько раздумья, в этой Европе перед государем Божиею милостью, пред внуком Екатерины II-й, выдавался вперед образ человека нового, человека вчерашнего дня, который во время революционной бури личными средствами стал главою могущественного народа. Воспитанник швейцарца Лагарпа демократически, без предубеждений, протянул руку новому человеку, приглашая его вместе работать над водворением в Европе нового, лучшего порядка вещей. Но сын революции не принял предложения либерального самодержца; у него были другие замыслы, другое положение: он хотел основать династию, хотел быть новым Карлом Великим, а для этого нужно было образовать империю Карла Великого. Завоевательные стремления Наполеона, необходимо соединенные с насилиями, с подавлением народных личностей, дали в нем Александру страшного врага и освободили от опасного соперника. Александр стал против гениального главы французского народа представителем нравственных начал, нравственных средств, без колебаний вступил в страшную борьбу, опираясь на эти начала и средства, убежденный в великом значении своего дела, во всеобщем сочувствии к нему. Но борьба шла неудачно; неудача за неудачей,

унижение за унижением; чувствовались, слышались внутри и вне страшные для самолюбия отзывы: «Он не в уровень своему положению; где ему бороться с великаном! Он слаб, невыдержлив, на него полагаться нельзя». Во сколько тут было несправедливого, во сколько тут было горечи обманутых надежд, желания сложить свою вину на другого — это было в стороне; толпа судила по видимости, оскорбительные отзывы повторялись и крепили, становились общим мнением, утвержденным приговором.

Прошло шесть лет тяжелых испытаний. Наконец, во время страшной бури, засветился луч надежды. Одним подвигом твердости — не мириться с завоевателем — завоеватель был изгнан с позором, с потерю всего войска; другим подвигом твердости — докончить борьбу низложением Наполеона — освобождена была Европы и русский государь получал небывалую в истории славу. Чувство этой славы, в данную минуту еще ничем не отравленное, в противоположность с недавним горьким чувством унижения переполнило душу Александра и вылилось в словах, сказанных им Ермолову: «Ну что, Алексей Петрович, теперь скажут в Петербурге? Ведь было время, когда у нас, величая Наполеона, меня считали простячком». «Слова, которые я удостоился слышать от в. в-ства, никогда еще не были сказаны монархом своему подданному», — отвечал Ермолов. Но когда, какой монарх находился в положении, подобном положению Александра?

Еще одно чувство переполняло душу Александра в описываемую минуту. При окончании подвига сильнее чувствуется главная трудность, встретившаяся при его совершении; но мы знаем, что главная трудность Александра при достижении цели великой коалиции заключалась в противодействии австрийской политике, причем император, употребляя все средства, чтобы уговорить Шварценберга не останавливаться, иногда должен был забывать свое высокое положение: Александр помнил, как ему приходилось ночью с фонарем отправляться в ставку Шварценберга и убеждать его к движению вперед. И это воспоминание вылилось при входе в Париж; Александр сказал тому же Ермолову, указывая на Шварценберга: «По милости этого толстяка не раз у меня ворочалась под головою подушка».

Такие чувства переполняли душу Александра. Что же чувствовали парижане, глядя на знаменитого царя?

Париж в этом случае верно представил Францию: народ толпился и молчал в нравственном бессилии при отсутствии ясного понимания и определенного чувства своего положения. На свободе могли волноваться роялисты с своими криками, с своим белым знаменем. Но французы при своей впечатлительности не могут долго сдерживаться: тут было лицо, производившее сильное впечатление своим значением, пред которым поникало значение Наполеона, и лицо чрезвычайно симпатичное — то был русский государь, который вызвал громкие приветствия со стороны не одних роялистов. На Елисейских полях остановились союзники, чтобы сделать смотр своим войскам; но что делать после смотра, с чего начать, что сказать Парижу, Франции? От кого узнать о состоянии умов в Париже, Франции? Больше не от кого, как от Талейрана, и статс-секретарь русского императора Нессельроде едет в улицу С.-Флорантэн, где жил Талейран. Во время разговора дипломатов о состоянии Франции Нессельроде получает записку от императора, в которой говорится, что во время смотра войск дано знать, будто под Елисейский дворец, где намеревался остановиться император Александр, подведены мины. Талейран пользуется случаем и предлагает императору свой дом как совершенно безопасный и удобный. Император соглашается, и в тот же день между хозяином и высоким гостем происходит совещание о будущем Франции. «Республика — невозможность; Мария-Луиза правительницею или Бернадот на престоле — интрига; одни Бурбоны — принцип», — говорит Талейран и решает дело. Вследствие этого решения прокламация союзных государей объявила Франции, что они не вступят в переговоры ни с Наполеоном, ни с кем-либо из членов его фамилии; что они уважают целостность прежней Франции, как она была при королях законных; что признают и гарантируют конституцию, какую французский народ себе даст, и приглашают сенат назначить временное правительство. Временное правительство назначает Талейран, под своим председательством, из пяти людей, к себе близких.

Дипломат, ушедший вовремя из горящего дома, господствует; в ином положении находится другой наполеоновский дипломат, который в глазах Талейрана был сумасшедшим, потому что не хотел оставить горящего дома и употреблял отчаянные усилия затушить пожар, спасти хозяина. Коленкур ездит по знатным людям, обязанным всем

Наполеону, умоляет их действовать в пользу императора, но — говорит глухим. Сенат произносит низвержение Наполеона на том основании, что он нарушил законы, в силу которых призван был царствовать, попрал свободу частную и общественную. Император Александр убеждает Коленкура не тратить понапрасну времени в Париже, ехать в Фонтенебло и уговаривать Наполеона отречься от престола, причем предложено было падшему императору убежище в России, где он найдет блистательное и радушное гостеприимство. Но Наполеон не хочет еще уступить без боя; он думает напасть на союзников, электризует солдат, но в высших слоях войск, между генералами и офицерами, рассудительность берет верх над чувством, здесь не питают никакой надежды на успешное продолжение борьбы. Маршалы — Удино, Ней, Макдональд — намекают на необходимость отречения в пользу сына. Наполеон говорит им, что это не поведет ни к чему: жена и сын его не удержатся, и чрез 15 дней на их месте будут Бурбоны. Он соглашается завести переговоры с союзниками насчет отречения в пользу сына только для того, чтобы выиграть время, обмануть союзников и нечаянно напасть на них. Для переговоров отправляются в Париж Коленкур, Ней и Макдональд; на дороге присоединился к ним и маршал Мармон, который уже завел переговоры с союзниками, обещаясь с своим корпусом отступить от Наполеона и покинуть важное положение при реке Ессоне, прикрывавшее Фонтенебло. Прибывши в Париж, маршалы целую ночь провели в переговорах с императором Александром, настаивая на регентстве Марии-Луизы во время малолетства Наполеона II-го. В передних комнатах они столкнулись с роялистами, перебранились с ними и подняли шум; Талейран должен был напомнить им, что они в квартире русского императора.

Между тем Наполеон, все думая о том, как напасть на союзников, послал в корпус Мармона за начальствовавшим там в отсутствие маршала генералом Сугамом; тот испугался, объявил товарищам, что, должно быть, Наполеон узнал об их переговорах с союзниками и требует его для расстреляния; чтобы избавиться от беды, генералы решили перейти немедленно же к союзникам и привели в исполнение свое решение. Вследствие этого в Париже произошла любопытная сцена: когда император Александр вместе с королем Прусским и министрами коалиции принял в другой раз маршалов, то они опять

начали говорить в пользу Наполеона II-го и регентства Марии-Луизы, выставляя на вид, что у Наполеона I-го еще много войска, ему преданного, а потому доводить его до крайности нельзя. Но в то время, когда речи маршалов начинали производить сильное впечатление, входит русский адъютант и тихонько что-то говорит своему императору. Коленкур, понимавший немного по-русски вследствие своего пребывания в Петербурге, услышав слова «шестой корпус», сейчас догадался, в чем дело, особенно когда император, наклонившись к адъютанту, спросил: «Целый корпус?» Немедленно после этого разговора Александр удалился для совещаний с королем Прусским и министрами, а Коленкур объявил своим, что все кончено. Действительно, император, выйдя опять к маршалам, объявил твердым тоном, что одни Бурбоны пригодны для Франции и для Европы; что армия, во имя которой говорили маршалы, по крайней мере разделена: целый корпус перешел к союзникам. Маршалам нечего было отвечать, и Наполеону в Фонтенебло нечего было думать о продолжении борьбы; он отрекся от престола безусловно. Он сохранил титул императора и получил во владение остров Эльбу. Это местопребывание обещал ему император Александр в разговоре с Коленкуром и потом настоял на исполнении обещания, хотя другие союзники сильно возражали, представляя близость острова к Италии и Франции.

Только что пронеслась весть об отречении, как толпа, жаждущая наругаться над падшим величием, начала свое дело. У героя ста битв, перед которым недавно все преклонялось, нет другого названия, как «людоед корсиканский». Наполеон должен готовиться к отъезду на Эльбу и жалуется, что ему придется проезжать через южные провинции, что народ убьет его там. Еще в России, во время несчастного отступления, на другой день после битвы при Малоярославце, когда казаки чуть было не взяли его в плен, Наполеон велел своему доктору приготовить сильный прием опиума на случай плена. Яд остался у него, и теперь, ночью 11 апреля, он его принял; но дело кончилось одной рвотой, и после крепкого сна Наполеон не заблагорассудил повторить прием. Он выехал из Фонтенебло на юг в сопровождении комиссаров от каждой из союзных держав. Опасения его сбылись: в Оранже раздались крики «Смерть тирану!», в Авиньоне требовали корсиканца, чтобы разорвать его или утопить. Наполеон для

предосторожности переоделся в иностранный мундир. В Оргоне народ явился с виселицей и бросился к карете; но графу Шувалову, комиссару с русской стороны, который один мог объясняться легко по-французски, удалось утишить толпу. Среди этих сцен Наполеон однажды не выдержал — и заплакал.

Когда оканчивали с Наполеоном, нужно было начинать с Бурбонами. Из них первый, с которым парижане познакомились (трудно сказать, чтобы возобновили знакомство), был граф Артуа, брат короля Людовика и наследник престола; Артуа въехал торжественно в Париж в мундире национальной гвардии, но с белой кокардой и поместился в Тюльери. Переступая порог этого старого жилища французских королей, принц так был взволнован, что его нужно было поддержать. Сначала были довольны этим представителем восстановленной династии: Артуа был живее, обходительнее, симпатичнее обоих старших братьев, в нем было более французского, национального, и теперь он находился в особенно хорошем настроении, был со всеми ласков, всем жал руки, давал на все стороны обещания, говорил без умолку и заговорился до того, что совершенно забыл о старшем брате, короле; только уже после, надававши обещаний, закричал: «А брат! Мы о нем не подумали: что он скажет?»

Мы видели, как произошла перемена династии, как высказался французский народ: при всеобщем молчании, при затворенных дверях адвокаты обеих династий, старой и новой, защищали своих клиентов пред русским императором, в котором признавали верховного судью и решителя дела; адвокаты Бурбонов по обстоятельствам взяли верх, вследствие чего Наполеон отрекся безусловно, и Людовик XVIII был провозглашен законным королем Франции. Но теперь предстоял вопрос: как должен царствовать новый король? Решение этого вопроса взял на себя наполеоновский сенат, не пользовавшийся сочувствием как раболопное орудие павшего властителя и желавший теперь прежде всего удержать за своими членами важное и выгодное положение. Сенат определяет, что Людовик призывается на престол свободной волей народа, причем сенат превращается в палату наследственных пэров и новые пэры могут быть назначены королем только на вакантные места, — условие, поставленное для того, чтобы король не ввел в палату эмигрантов; наполеоновский законодательный корпус должен составить нижнюю палату впредь до возобновления ее новыми

выборами. Понятно, что эмигранты должны были взволноваться такими условиями; но император Александр за условия; он велел внушить советникам графа Артуа, что Бурбоны обязаны всем сенату и, как бы ни нападали на него, все же он заключает в себе лучших людей; не с эмигрантами, не знающими Франции, Европы и века, можно управлять страшным французским народом. Эти внушения раздражают людей, которые считали лучшими себя, верных слуг законной династии, а не сенаторов, рабов похитителя; около Артуа начали уже раздаваться крики, оскорбительные для императора Александра. Кричать было можно, но противиться воле Агамемнона союза было поздно, и Артуа объявляет сенату, что хотя он и не получал от брата полномочия принять конституцию, но уверен, что король примет ее основания.

Король прежде торжественного въезда в Париж торжественно въехал в Лондон и сказал принцу-регенту: «После Провидения я буду всегда приписывать восстановление мое на троне предков советам вашего королевского высочества, вашей славной стране и доверию ее жителей». В этих словах была доля правды; хотелось также польстить Англии, сблизиться с нею, найти в ней опору в будущем, хотелось и уколоть русского императора; но вышло, что эти слова больше всего оскорбили французов, которые мечтали, что свободно призывают Бурбонов, а, по признанию самого короля, им жаловала их Англия. Переехавши во Францию, Людовик остановился в Компьене, и здесь-то должен был решиться вопрос о конституции. Еще прежде Александр отправил к нему Поццо-ди-Борго с письмом, где говорилось: «Ваше величество покорите все сердца, если обнаружите либеральные идеи, клонящиеся к поддержанию и утверждению органических уставов Франции». Совет был принят холодно. Император Александр, по своей привычке к личному действию, не удержался и тут, поехал в Компьен уговаривать Людовика принять условия сената. Король принял его величаво, как старик принимает молодого человека, выслушивал спокойно, ничего не отверг, ничего не уступил; соблюдая строго старинный этикет, удерживал за собою первое место, что не могло не оскорбить высокого гостя, а этот гость низверг Наполеона! Торопливость законодательного корпуса уничтожила все впечатление, какое могло быть произведено на Людовика представлениями русского императора: прежде чем было

решено дело о конституции, депутаты законодательного корпуса явились в Компьен поклониться своему новому государю. Таким образом, Людовик был признан безусловно и в качестве законного короля, а не короля по призыванию пожаловал конституционную хартию. 3 мая он въехал в Париж; 30-го был заключен Парижский мир. Франция вошла в границы 1790 года с ничтожными прибавками: наполеонская добыча — произведения искусства разных стран остались в Париже: о них умолчали. Франция должна была уступить Англии свою старую колонию Иль-де-Франс; за Англией остался также мыс Доброй Надежды.

Но Парижским миром, определявшим границы Франции, не могла быть успокоена Европа, взволнованная революцией и Наполеоном, перемешавшим старые грани и старые отношения. Для того чтобы разобраться в развалинах, причиненных страшною бурей, надобен был конгресс. Новая христианская Европа привыкла к действиям, в которых принимают участие несколько государств; привыкла к войнам, которые велись целыми союзами государств; привыкла и к общим мирным переговорам, для которых уполномоченные разных государей составляли съезды или конгрессы. Знаменит был в XVII веке конгресс Вестфальский, кончивший Тридцатилетнюю войну; но конгресс, к которому теперь готовилась Европа, был гораздо важнее, ибо он должен был установить отношения после небывалой борьбы, в которой все европейские державы принимали участие. Конгресс был назначен в Вене на осень 1814 года. В ожидании великого конгресса государи и министры их разъехались из Парижа по своим странам, где ждали их приветствия торжествующих, освобожденных народов. Но с какими чувствами съедутся союзники в Вену? Союз их в прежней ли силе?

Цель союза была достигнута в Париже. Страшный враг пал пред его усилиями; но мы видели, что, когда еще союз был только в зародыше, союзники начали осматривать друг друга и определять отношения между собою и началось опасное действие — дележ добычи, дележ влияния. С самого начала наступательных движений со стороны Франции, в конце XVIII века, уже обозначалось, что она встретит себе главное препятствие в России, и действительно, борьба до самого ее окончания шла преимущественно между двумя сильнейшими государствами континентальной Европы — между

Францией и Россией, столкновения Франции с другими государствами являлись только поводами к борьбе ее с Россией, которая создала необходимость постоянно поддерживать слабых. Государства, находившиеся между Францией и Россией, не могли иметь самостоятельности и подчинялись влиянию той или другой. Это всего лучше обозначилось в 1812 и 1813 годах, когда сначала вся Европа пошла с Францией против России, а потом пошла с Россией против Франции. Император французов пал окончательно в этой борьбе и своим падением очищал первое место императору русскому, «вождю бессмертной коалиции, стяжавшему славу умиротворителя вселенной».

Но так величать Александра могли англичане, и то в первые минуты восторга от падения Наполеона, потому что в Англии это падение было самым желанным делом. Мы видели, что Австрия не хотела падения Наполеона именно потому, что хотела его силою уравновешивать силу России, а самой при этом играть роль посредствующей державы, быть третьей европейской силой. Страшно досадовали, что эти желания не исполнились; страшно досадовали на Наполеона, который был сам причиною своего падения, вел себя так, что помочь ему не было никакой возможности. Но одною досадою не ограничивались. Потерпев неудачу в стремлении удержать для русского государя одного могущественного соперника, начали стараться поднять многих, хотя и менее сильных, сдержать Александра коалицией. Летом 1814 года всюду слышались толки о властолюбивых замыслах русского императора. Поццо-ди-Борго, назначенный русским посланником в Париже, писал своему государю: «Меттерних закутался в свои собственные интриги, и Австрия стремится к огромным завоеваниям — с тоном великого уничтожения».

Что распространялось в это время из Вены, видно из одного письма Генца: «Искреннее желание австрийского кабинета было примириться с Наполеоном, ограничить его могущество, обеспечить его соседей от замыслов его беспокойного честолюбия, но сохранить его и его семейство на троне французском. Меттерних был убежден в своей мудрости, что восстановление Бурбонов гораздо больше послужит частному интересу России и Англии, чем Австрии или общему интересу Европы; что Франция, истощенная до последней степени всем тем, что претерпела она в последние двадцать лет, впадет

под слабым скипетром Бурбонов в состояние бессилия и совершенного ничтожества, которое долго не позволит ей поддерживать политическое равновесие. И следовательно, Россия, гордая своими успехами, своею славою, влиянием своим в Германии, тесно и постоянно связанная с Англией, не боящаяся более Швеции и мало сдерживаемая, особенно в первые годы, Пруссией, получит свободное и обширное поле для своих честолюбивых предприятий, снова будет грозить Порте, будет держать Австрию в постоянном беспокойстве и достигнет перевеса, опасного для соседей и для всей Европы».

Толковали о замыслах Александра относительно Польши. Что он признавал преждевременным в 1813 году, то считал возможным в 1814-м, когда его провозглашали вождем бессмертной коалиции, умиротворителем вселенной; а восстановление Польши разве не относилось прямо к этому умиротворению? Главное затруднение со стороны Пруссии было улажено. Мы видели, как давно Пруссия была готова отказаться от польских областей, если бы получила за них вознаграждение в Германии, причем имелась постоянно в виду Саксония. Теперь это могло устроиться: саксонский король вследствие преданности своей Наполеону находился в плену у союзников и считался у германских патриотов изменником народному делу, потерявшим поэтому право на корону.

Россия и Пруссия были согласны; но легко понять, как должна была смотреть на это соглашение Австрия, подле которой, с одной стороны, поднималось страшное могущество русского императора и вместе короля Польского, с другой — не менее страшное могущество Пруссии. «Расширение русских границ, — писал Генц, — уже само по себе есть событие, достаточно невыгодное и беспокойное для соседей; а сюда присоединяется еще восстановление Польши, то есть центра волнений, движений и политических интриг!» Легко понять, как испугались второстепенные германские государи, наполеоновские короли, видя, что саксонского короля за союз с Наполеоном хотят лишиться владений и отдать их Пруссии, чем положится начало объединению Германии. Сильнее всех заметалась Бавария. Но не в Баварии пока было дело: что скажет четвертый великий член союза, Англия? Из Парижа «вождь бессмертной коалиции» отправился в Лондон и был принят там с восторгом необыкновенным. Но туда же отправился и Меттерних. «И вот, — пишет Гёцц, — в то время как

толпа приходила в экстаз от героев севера, английский кабинет мудро взвешивал великие интересы Европы и все более и более сближался с Австрией. Судя по результатам, поведение кн. Меттерниха в Лондоне было верхом совершенства». Но, судя по результатам, английский кабинет не вполне поддался внушениям Меттерниха, ибо Меттерних, конечно, не стал бы делать внушений в пользу Пруссии. Англия поставила вопрос между прошедшим и будущим: прошедшее показало, как опасно для Европы усиление Франции, как необходимо, следовательно, поставить оплот этому усилению; но Франция, по крайней мере на время, была ослаблена, а в ближайшем будущем грозно было могущество России, поднявшееся на развалинах французского могущества. Следовательно, в средней Европе должны существовать сильные государства, которые могли бы сдерживать и натиск с Запада, со стороны Франции, и натиск с Востока, со стороны России, эти государства — Австрия и Пруссия, и потому Англия была согласна на усиление Пруссии чрез присоединение Саксонии, но никак не хотела согласиться на усиление России чрез присоединение к ней восстановленного Польского королевства.

Только два союзника были вполне согласны, третий был против, четвертый был против наполовину; но легко было предвидеть, что когда дело пойдет на что-нибудь решительное, то Англия примкнет совершенно к Австрии. Итак, между союзниками ссора при дележе: двое надвое. Кто же будет больше всех рад этому? Разумеется, та держава, против которой был составлен союз, — Франция. Несмотря на провозглашение союзников, что они воюют с Наполеоном, а не с Францией, по свержении Наполеона, по восстановлении Бурбонов Франция была державой опальной: ее обрезаляли, против нее строили плотины — из соединения Голландии с Бельгией образовывали Нидерландское королевство, усиливали королевство Сардинское присоединением к нему геноуэзских владений, хлопотали об усилении Германии. Слова явно не ладили с делом: все эти предосторожности были направлены не против эльбского императора, а прямо против Франции. Положение нового короля Людовика XVIII было тяжело и унижительно, ибо его восшествие на престол не избавило Францию от унижения и враждебности со стороны остальной Европы. Надобно было, следовательно, для приобретения популярности среди славянолюбивого народа поднять значение Франции, дать ей место среди

великих держав. Несогласия между союзниками представляли лучшее к тому средство: в Вене, среди столкновений дипломатических между четырьмя державами, ловкий представитель Франции легко найдет возможность занять почетное место, заставить себя выслушивать; рассорившиеся союзники, естественно, будут стараться привлечь французского уполномоченного каждый на свою сторону; положение его будет чрезвычайно выгодное, потому что Франция при этом столкновении интересов, подобно Англии, ничего не будет требовать для себя и потому получит значение бескорыстной, беспристрастной решительницы споров. А если эти споры поведут к войне между союзниками, Франция примкнет к одной из сторон, и новому правительству Франции представится случай восстановить военное значение своего народа, воспользоваться победами для изменения условий последнего мира, новой славой ослабить воспоминание старой наполеоновской славы и вместе дать упражнению беспокойным силам, оставшимся от императорских времен и столь опасным для восстановленной династии.

Заранее можно было угадать, к какой стороне примкнет Франция: Людовик XVIII был оскорблен равнодушием русского императора к его интересам; притом старания Александра о том, чтобы реставрация получила наиболее либеральные формы, никак не могли содействовать примирению его с Бурбонами старой линии и их безусловными приверженцами. Но, чем более чувствовали побуждений удалиться от России, тем более хлопотали о теснейшем сближении с Англией. Мы видели, что Людовик уже признал торжественно Англию виновницею своего восстановления. Заискивания Франции приводили в затруднение английское министерство, лорд Касльри считал неприличным чрез сближение с Францией преждевременно порвать союз; притом же сближение с Францией было непопулярно в Англии. Но Людовик XVIII и его министр иностранных дел Талейран не отчаивались: у них в Париже остался герцог Веллингтон, которого Талейран скоро успел убедить в необходимости англо-французского союза; Веллингтон писал к Касльри: «Положение дел таково, что Англии и Франции будет естественно принадлежать решение всех вопросов на конгрессе, если только они поймут друг друга, и это понимание может сохранить общий мир». Веллингтон считал нужным, чтобы Касльри на дороге в Вену заехал в Париж для соглашения с

Талейраном, хотя это и произведет неприятное впечатление на союзников. Герцог Беррийский был отправлен в Лондон с объявлением, что король, его дядя, считает тождественными интересы обоих государств.

После этих приготовлений Талейран отправился в Вену быть представителем Франции на конгрессе. Он повез с собою следующие инструкции, им самим написанные: «Конгресс должен быть общий, и все государства, принимавшие участие в войне, должны прислать на него своих уполномоченных, не исключая самых малых. Самые малые государства, которые можно было бы исключить по их слабости, все или почти все находятся в Германии. Германия должна образовать конфедерацию, которой они будут членами; следовательно, организация ее интересует их в высшей степени; ее нельзя сделать без них, не нарушая их естественной независимости, признанной VI параграфом трактата 30 мая; организация будет сделана на конгрессе — следовательно, несправедливо исключать их из участия в конгрессе. Кроме справедливости присутствия уполномоченных от мелких государств требует и польза Франции. Интересы мелких государств тесно связаны с ее интересами. Все они захотят сохранить свое существование: Франция должна желать этого сохранения. Некоторые из них могут желать распространения своих пределов: Франции выгодно это распространение, во сколько оно препятствует распространению больших государств. Политика Франции должна состоять в покровительстве мелким державам; но это надобно делать так, чтобы не возбудить подозрения. Покровительствовать им будет неудобно, если уполномоченные их не будут присутствовать на конгрессе, когда придется предъявлять за них требования, вместо того чтобы только поддерживать требования, заявленные их уполномоченными. С другой стороны, нужда, которую они будут чувствовать в помощи Франции, даст последней влияние на них.

Публичное право имеет два основные положения: власть над государством не может быть приобретена простым фактом завоевания, ни перейти к завоевателю, если государь не уступит ему ее; никакое право на власть не имеет силы для других государств, пока они не признали его. Государь, которого владения завоеваны, не переставая быть государем (если только сам не уступил или не отказался от своих прав), сохраняет право послать своего уполномоченного на конгресс.

Таким образом, саксонский король может прислать своего уполномоченного на конгресс, и не только может, но это необходимо, потому что в случае, когда станут распоряжаться его владениями, всеми или частью, этого нельзя сделать законно без уступки или отказа с его стороны и надобно, чтобы кто-нибудь, им уполномоченный, мог уступить или отказаться его именем. И так как третье положение публичного европейского права говорит, что уступка или отказ недействительны, если они сделаны не свободно самим государем, не находящимся на свободе, то посланники французские должны стараться, чтобы кто-нибудь на конгрессе потребовал освобождения саксонского короля, и должны поддерживать это требование; в случае же нужды должны сами сделать его.

В Италии надобно препятствовать господству Австрии, противопоставляя ее влиянию влияния противные; в Германии надобно противодействовать Пруссии. Физическая конституция Прусской монархии делает для нее честолюбие необходимостью. Всякий предлог для нее хорош. Никакое внушение совести ее не останавливает. Таким образом в 1763 году она увеличила свое народонаселение от 4 до 10 миллионов и образовала кадры громадной монархии, захватывая здесь и там отдельные области, которые старается соединить, подбирая и области междулежащие. Страшное падение, навлеченное ее честолюбием, не исправило ее. В эту минуту ее эмиссары и приверженцы волнуют Германию — толкуют, что Франция снова готова напасть на нее и что одна Пруссия в состоянии защитить ее; кричат, что для сохранения Германии нужно отдать ее Пруссии. Пруссия хочет иметь Бельгию и все пространство земель между нынешними границами Франции, Маасом и Рейном. Она хочет и Люксембурга. Все потеряно, если ей не дадут Майнца; нет для нее безопасности, если она не владеет Саксонией. Говорят, союзники обязались восстановить Пруссию в прежнем ее могуществе, то есть с 10.000.000 подданных. Пусть дадут ей волю: скоро у нее будет 20 миллионов, и Германия целиком будет в ее руках. Итак, необходимо положить преграду ее честолюбию, ограничивая, по возможности, ее владения в Германии и потом ограничивая ее влияние федеральной организацией. Распространение ее владений будет ограничено сохранением всех мелких государств и увеличением средних. Все мелкие государства должны быть сохранены, потому что они

существуют. Но если мелкие государства должны быть сохранены, то тем более королевство Саксонское. Король Саксонский сорок лет управлял своими подданными как отец, подавая пример добродетелей частного человека и государя. Застигнутый бурей в возраст, долженствующий быть возрастом покоя, и восстановленный тою же самою рукой, которая низложила его, если он и оказался виновным, то разве в законной боязни и в том чувстве, которое всегда почтенно, кто бы ни был предметом этого чувства. Те, которые его упрекают, виноваты гораздо более его, не имея тех извинений, какие имеет он. Что было ему дано — было дано без его просьбы, без его желания, даже без его ведома. Он перенес счастье с умеренностью и теперь переносит бедствия с достоинством. К этим побуждениям, которые одни могли заставить короля не покидать короля Саксонского, присоединяются узы родства, их соединяющие, и необходимость воспрепятствовать, чтобы Саксония не досталась Пруссии, которая этим приобретением сделает решительный шаг к безусловному владычеству над Германией.

Если короля Саксонии захотят переместить на другой престол, то и в таком случае Саксония должна оставаться независимым королевством; пусть ее отдадут герцогской линии, что будет особенно приятно русскому императору, ибо наследником Саксонии будет тогда его зять, наследник Веймарский. Если нельзя отдать Саксонию пруссакам, то нельзя отдать и Майнца, нельзя отдать ни клочка земли на левом берегу Мозеля. Пусть с этой стороны распространит свои границы Голландия; пусть увеличивают свои владения Бавария, Гёссен, Брауншвейг и особенно Ганновер, чтобы доля Пруссии была как можно меньше.

Восстановление королевства Польского было бы благом — и великим благом, но только под тремя условиями: 1) чтоб оно было независимо; 2) чтобы получило крепкую конституцию; 3) чтобы не нужно было вознаграждать Австрию и Пруссию за те польские области, которыми они владели по разделам; но эти условия все невозможны, и второе более, чем другие. Прежде всего Россия не хочет восстановления Польши с условием потери приобретенного для себя; она хочет этого восстановления с тем, чтобы приобрести и то, чем не владеет. Но восстановить Польшу, с тем чтобы всецело отдать ее России и увеличить народонаселение последней в Европе до 44

миллионов и границы ее распространить до Одера, — это значит создать для Европы опасность столь великую и столь близкую, что хотя следует все сделать для сохранения мира, но если исполнение такого плана может быть остановлено только силою оружия, не должно колебаться ни минуты для объявления войны. Тщетная надежда, что Польша, таким образом соединенная с Россиею, отложится от нее сама собою. Неизвестно еще, чтоб она этого захотела; еще менее верно, чтоб она могла это сделать; но несомненно одно, что если б она хотела и могла бы сделать это в известное время, то освободится от ига только с тем, чтобы снова подпасть под него, ибо Польша, получив независимость, вместе с этим будет предана на жертву анархии. Величина страны исключает собственно так называемую аристократию, а монархия не может существовать там, где народ не имеет гражданской свободы, где шляхта имеет свободу политическую, или независимость, и где царствует анархия. Разум говорит это, история целой Европы подтверждает.

Каким образом, восстанавливая Польшу, отнять политическую свободу у шляхты или дать гражданскую свободу народу? Последняя не может быть дана манифестом, законом. Гражданская свобода будет пустым словом, если народ, которому ее дают, не имеет независимых средств к существованию, собственности, промышленности, искусств, и этого всего ни манифест, ни закон создать не могут: все это может создать только время. Польша могла выйти из анархии только с помощью самодержавия; и так как в ней самой не было элементов самодержавия, то оно пришло извне, то есть Польша была покорена. Она была покорена, как скоро соседи этого захотели, и это покорение было для нее счастьем: доказательством служит прогресс тех ее частей, которые достались на долю народов более цивилизованных. Пусть дадут Польше независимость, пусть дадут ей короля, не избирательного, а наследственного; пусть присоединят к тому все возможные учреждения; чем менее эти учреждения будут свободны, тем противнее они будут духу, привычкам, воспоминаниям шляхты, которую надобно будет подчинять силою, — а где взять эту силу?

С другой стороны, чем свободнее будут эти учреждения, тем скорее Польша опять впадет в анархию, которая окончится по-прежнему завоеванием. В Польше два народа, для которых нужны две конституции, исключаящие друг друга. Не имея возможности слить

эти два народа, ни создать единую власть, могущую примирить все; не имея возможности, с другой стороны, без явной опасности для Европы отдать всю Польшу России, — всего лучше оставить Польшу так, как она была после третьего раздела. Это тем важнее, что положит конец притязаниям Пруссии на Саксонию, потому что Пруссия осмеливается требовать Саксонии только в предположении восстановления Польши. Австрия, вероятно, также потребует вознаграждения за потерю 5 миллионов подданных в двух Галициях; или если она этого не потребует, то станет тем сильнее во всех итальянских вопросах. Если вопреки всякому вероятно русский император согласится отдать то, чем он владеет по разделам Польши; если захотят сделать опыт, то король не станет этому противодействовать, хотя и не ждет никаких счастливых результатов. В таком случае желательно было бы, чтобы король Саксонский был и королем польским. Но если Польша не может быть восстановлена с полною независимостью, то пусть все остается, как было по третьему разделу. Оставаясь разделенною, Польша не будет навсегда уничтожена. Не образуя более политического тела, поляки всегда будут составлять одно семейство. У них не будет одного общего отечества, но у них останется один общий язык — следовательно, между ними останется самая крепкая и самая долговечная связь. Под чуждым владычеством они достигнут зрелого возраста, до которого не могли достигнуть в десять веков независимости, и момент, в который они созреют, не будет далеко от момента их освобождения и сосредоточения около одного центра.

Англия, завоевательница вне Европы, в делах европейских руководится охранительным началом. Это, может быть, зависит исключительно от ее островного положения и от ее относительной слабости, не позволяющей ей сохранять завоевания на континенте. Но все равно, необходимость это или добродетель, Англия действует в охранительном духе даже относительно Франции, своей соперницы: так она действовала при Генрихе VIII, Елизавете, Анне и, быть может, так же в эпоху к нам ближайшую. Франция, приносящая на конгресс виды вполне охранительные, имеет право надеяться, что Англия поможет ей, если только она сама удовлетворит самым сильным желанием Англии, которая ничего так не желает, как уничтожения торгового «неграми».

В заключение инструкции пересчитываются четыре пункта, на которых должен был настаивать Талейран: «1) не оставлять Австрии никакой возможности посадить на сардинский престол принца из своего дома; 2) Неаполь должен быть отнят у Мюрата и отдан Бурбонам; 3) Польша во всей своей целости не должна быть отдана России; 4) Пруссия не должна приобрести ни Саксонии, по крайней мере в целости, ни Майнца».

Таким образом, уполномоченные Франции и Англии являлись на конгресс с охранительными видами; вследствие этих самых видов к ним необходимо должна была пристать Австрия, союз, естественно, разрушался, три державы с охранительными видами становились против двух держав с видами революционными. Конгресс должен был кончиться или войной Австрии, Англии и Франции против России и Пруссии, или уступкою со стороны двух последних охранительному началу, выставленному тремя первыми. Во всяком случае победа останется за Францией, за Талейраном, за этим представителем побежденной, опальной державы, которого из милости пригласили на конгресс, которого сначала в Вене не хотели допускать до участия в обсуждении вопросов по земельным разделам в Германии, Италии и Польше.

28-го сентября Талейран получил от Меттерниха коротенький пригласительный билет на конференцию, имеющую быть на другой день: Меттерних приглашал к себе Талейрана присутствовать (*assister*) при конференции, в которой найдет собранными (*reunis*) уполномоченных Англии, России и Пруссии. Такой же пригласительный билет получил и уполномоченный испанский Лабрадор.

В назначенный час конференция собралась: за зеленым столом сидели Касльри (на председательском месте), Меттерних, Нессельроде и уполномоченные прусские, Гарденберг и Вильгельм Гумбольдт; знаменитый публицист Гёнц вел протокол; для французского уполномоченного оставлено было место между президентом и Меттернихом. Входит Талейран и представляет собранию Лабрадора: уполномоченный младшей линии Бурбонов под крылом уполномоченного старшей. Приступают к делу. «Цель нынешней конференции, — говорит председатель, обращаясь к Талейрану, — познакомить вас с тем, что четыре двора уже сделали со времени

своего прибытия сюда... У вас протокол?» — продолжал он, обращаясь к Меттерниху. Тот подал Талейрану бумагу, скрепленную пятью подписями. Первое, что остановило Талейрана в протоколе, — это слово союзники, как еще продолжали называть себя четыре державы. «Союзники! — сказал Талейран. — Позвольте спросить: где мы? В Шомоне или Лаоне? Разве мир не заключен? Разве идет еще война? И против кого?» Ему отвечали, что слово «союзники» нисколько не противоречит существующим отношениям и что оно употреблено только для краткости. «Для краткости, — возразил Талейран, — нельзя жертвовать точностью выражения». Талейран начал опять читать протокол и через несколько минут проговорил: «Не понимаю». Опять углубился в чтение, и опять восклицание: «Все же ничего не понимаю!» Комедия кончилась, и Талейран объявил прямо, что для него существуют две даты, между которыми нет ничего: 30-е мая, когда было решено созвание конгресса, и 1-е октября, когда должен конгресс открыться; все, что сделано в промежуток времени между этими двумя числами, для него чуждо, не существует. Собрались на конгресс для того, чтобы удовлетворить правам всех, и было бы большое несчастье, если бы начали нарушением этих прав; мысль — покончить все, прежде чем конгресс собрался, — для него нова; он думал, что надобно начать с того, чем теперь хотят кончить. После долгих разговоров разъехались, ничего не решив. Искусный полководец сбил врагов с позиции, заставил их ретироваться в беспорядке. Гёнц записал в своем дневнике: «Вмешательство Талейрана и Лабрадора страшно расстроило и разорвало наши планы; они протестовали против формы, какую мы приняли; они нас отлично отделявали целые два часа; я никогда не забуду этой сцены».

Через день, 1-го октября, другая сцена. Талейран был приглашен к императору Александру. Мы видели, какие образовались отношения между императором Александром и новым правительством Франции. Талейран, чтобы удержать портфель иностранных дел при Людовике XVIII, должен был сообразоваться со взглядами последнего, то есть удаляться от России и приближаться к Англии. Император Александр уехал из Парижа, не простившись с Талейраном, которого это очень обеспокоило; он был дальновиднее своего короля; гнев могущественного императора русского мог быть опасен, и Талейран написал письмо Александру (13-го июня 1814 г.): «Я не видал ваше

величество перед вашим отъездом и осмеливаюсь сделать за это упрек в почтительной искренности самой нежной привязанности. Государь, давно уже важные сношения открыли вам мои сокровенные чувства, ваше уважение было следствием этого; оно меня утешало в продолжение многих лет и помогало мне сносить тяжкие искушения. Я предугадывал вашу судьбу; я чувствовал, что придет время, когда я, оставаясь французом, буду иметь право присоединиться к вашим проектам, ибо они не изменили бы своего великодушного характера. Вы совершенно исполнили это прекрасное предназначение; если я следовал за вами в вашей благородной карьере, то не лишайте меня моей награды; я этого прошу у героя моего воображения и, смею прибавить, у героя моего сердца».

Теперь в Вене Талейран опять увиделся с героем своего воображения и сердца, который считал необходимым склонить французского уполномоченного к тому, чтобы он не мешал польско-саксонскому проекту. В донесении своем королю Людовику XVIII Талейран подробно описал свое свидание с русским императором. Мы оставляем подробности, ибо не знаем, какие жертвы французский дипломат принес точности повествования; существенное заключалось в том, что император высказал решительно свою волю относительно присоединения к России герцогства Варшавского под именем Польши и присоединения Саксонии к Пруссии; высказался, что для исполнения этого он не остановится и перед войною, а Талейран противопоставлял желанию императора права других и обычное великодушие самого Александра.

Объяснение не повело ни к чему, разве к большему охлаждению между объяснившимися. Благодаря Талейрану открытие конгресса замедлилось и было отсрочено до 1-го ноября. Французский уполномоченный, верный своим инструкциям, настаивал, чтобы представители всех держав приняли живое участие в конгрессе. Это ему не удалось, но удалось внести в объявление об отсрочке конгресса до 1-го ноября выражение, что конгресс будет руководствоваться началами народного права. По поводу этого выражения был сильный спор: Гарденберг настаивал, что выражение лишнее; само собою разумеется, что конгресс будет поступать на основании народного права. «Это будет, разумеется, гораздо лучше, если будет точно выражено», — отвечал Талейран. «Какое значение имеет здесь

публичное право?» — спросил Гумбольдт. «Благодаря публичному праву вы здесь», — отвечал Талейран.

Так действовал представитель Франции на конференциях, где теперь кроме представителей России, Англии, Австрии, Пруссии, Франции, Испании присутствовали представители Португалии и Швеции. Вне конференций Талейран сближался с представителями второстепенных держав, жаловался им на конгресс, на легкомыслие представителей великих держав, на неприготовленность к решению ни одного важного вопроса, причем выставял бескорыстие Франции, охранительницы права, защитницы всех угнетенных: «Франция не желает для себя ничего, ни одной деревни, — она желает только справедливости для всех; если не будут меня слушать, я выйду из конгресса, я подам протест». В Париже шли дальше: здесь Веллингтон в сношениях с любимцем королевским Блака утверждал, что присоединение Саксонии к Пруссии нисколько не противоречит здоровой политике; Блака возражал, что Людовик XVIII никогда не согласится на это присоединение, и внушал, что Саксония — это единственный пункт, через который Англия и Франция могут проводить свое влияние на Север Европы. Когда Веллингтон указывал на возможность войны и на опасность, какую эта война могла грозить Бурбонской династии, Блака отвечал: если Англия не будет против Франции, то нет никакой опасности, и в известных обстоятельствах мир опаснее самой несчастной войны.

Открытие конгресса было отсрочено до 1-го ноября именно для того, чтобы дать важнейшим вопросам время созреть для решения. Важнейшим вопросом был вопрос Польский. После личного свидания с императором Александром, которое не повело ни к чему, Касльри 12-го октября обратился к нему с письменными объяснениями по Польскому вопросу: «Так как я сопровождал ваше величество во время трудной и нерешительной борьбы, то считаю себя вправе особенно сильно желать, чтобы конец дела соответствовал его общему характеру, чтобы ваше величество употребили свое влияние и свой пример для внушения европейским кабинетам, при настоящих великих отношениях, духа примирения, умеренности и великодушия; этот дух один может упрочить Европе спокойствие, для которого ваше величество сражались, а вашему величеству — славу, которая должна окружать ваше имя. Умоляю ваше величество не верить, что я буду

смотреть без удовольствия на значительное расширение ваших границ со стороны Польши. Мои возражения касаются только пространства и формы этого расширения. Ваше величество можете получить очень значительный залог благодарности Европы, не требуя от своих союзников и соседей распоряжения, несовместного с их политической независимостью. Я могу, если нужно, обратиться к прошедшему для доказательства, что я и мое правительство чужды политике, враждебной способу воззрения и интересам России. Мы только что расстались с тяжкою политикой относительно Норвегии; мы долго обрекали себя на эту политику по настояниям вашего величества, чтоб обеспечить вам поддержку Швеции во время войны, чтоб укрепить за вами Финляндию, доставив Швеции в Норвегии соответственное вознаграждение с другой стороны. Руководимые тем же дружественным чувством своего правительства к вашему величеству, наши министры при Порте Оттоманской содействовали заключению мира между Россией и Турцией, который доставил вашей империи обширную область. Мир с Персией, доставивший вам важные и обширные приобретения, был заключен вследствие деятельного посредничества английского посланника.

Если я упоминаю об этом, то единственно из опасения, чтобы вашему величеству не истолковали дурно моих побуждений в настоящее время, когда я из чувства моих общественных обязанностей к Европе, и особенно к вашему величеству, должен настаивать на изменении, а не на отказе от ваших требований. Дух, с каким ваше величество отнесется к вопросу об увеличении вашего государства, исключительно решит, должен ли настоящий конгресс составить счастье вселенной или представить только сцену раздоров, интриг и несдержанной борьбы для приобретения власти насчет принципов. Положение, занимаемое вашим величеством теперь в Европе, позволяет вам сделать все для общего блага, если вы оснуете свое посредничество на справедливых началах, пред которыми преклонится Европа. Есть путь, на котором ваше величество можете соединить наши благодетельные намерения относительно польских подданных ваших с тем, чего требуют ваши союзники и целая Европа. Они не желают, чтобы поляки были унижены, лишены административной системы, кроткой, примирительной, сообразной с их потребностями. Они не желают, чтобы ваше величество заключили такие условия,

которые стесняли бы вашу верховную власть над вашими собственными областями. Они желают только, чтобы для сохранения мира ваше величество шествовали постепенно к улучшению административной системы в Польше; чтобы вы (если только не решились на полное восстановление и совершенную независимость Польши) избежали меры, которая, при громком титуле короля, распространит беспокойство в России и странах соседних и которая, льстя честолюбию малого числа людей из знатных фамилий, в сущности даст менее свободы и настоящего благоденствия, чем более умеренное и скромное изменение в административной системе страны».

К этому письму был приложен меморандум: здесь Касльри указывает, что Россия, Австрия и Пруссия связаны договорами 1813 года, в которых утверждено, что эти три державы разделят между собою герцогство Варшавское, распорядятся им полюбовно. План русского императора — присоединить герцогство Варшавское к русским областям, доставшимся России по трем разделам, и сделать из них отдельную монархию под властью русского императора как польского короля, — этот план распространил волнение и ужас при дворах австрийском и прусском, наполнил страхом все государства Европы. Россия, уже увеличенная Финляндией, Бессарабией, землями персидскими, устремляется на Запад, в сердце Германии, не имеющей с этой стороны оборонительной линии; Россия приглашает поляков соединиться около русского знамени для восстановления их королевства; Россия возбуждает легкомысленный и беспокойный народ к тем внутренним и внешним борьбам, которыми поляки ознаменовали себя в истории. План русского императора противоречит не только букве, но и духу договоров 1813 года; можно ли предположить, чтобы император Австрийский и король Прусский, уговорившись разделить герцогство Варшавское с Россией, согласились теперь отдать его все России, разрушая собственные границы и оставляя столицы свои беззащитными? Проект русского императора не может быть рассматриваем и как нравственный долг. Если нравственный долг требует, чтобы положение поляков было улучшено таким решительным способом, как восстановление их монархии, то пусть эти дела совершатся по принципу широкому и либеральному; пусть восстанавливается нация независимая, а не

делается из нее страшное военное орудие в руках одного государства. Такая либеральная мера будет принята с восторгом всей Европой. Правда, это была бы жертва со стороны России по обыкновенным государственным расчетам; но если император русский не готов к такой жертве по отношению к собственной империи, то он не имеет никакого нравственного права делать подобные опыты насчет своих союзников и соседей. Русский император не может надеяться, чтобы уполномоченные Австрии и Пруссии по собственному побуждению, перед глазами Европы предложили покинуть своих военных границ как меру благоразумную и почетную. Уполномоченные Великобритании, Франции, Испании и, вероятно, других государств, больших и малых, имеют одинаковый взгляд насчет этого проекта. В каком же печальном положении очутится Европа, если его императорское величество не захочет отказаться от своего проекта и решится овладеть герцогством Варшавским против общего мнения?

Письмо и меморандум Касльри, быть может без ясного сознания автора, имели способность произвести сильное раздражение. В ответном письме своем (30-го октября) император Александр, естественно, обратился к исчислению заслуг Англии в пользу расширения русских пределов и восстановил настоящее значение этих заслуг: «Мы приступаем к рассуждению о будущем, и для этого естественно объяснить насчет прошедшего. Все приобретения, мною сделанные, имеют только оборонительное значение. Если бы во время борьбы на жизнь и на смерть, какую я вел в сердце моих владений, я не был спокоен со стороны турок, то мог ли бы я употребить для продолжения войны все великие средства, которые я ей посвятил, и Европа была ли бы освобождена? Вы говорите, что Англия согласилась на присоединение Норвегии к Швеции только для того, чтоб обеспечить меня насчет обладания Финляндией. Что касается до меня, то я отправлялся от принципа более великодушного: уговаривая Англию гарантировать Швеции обладание Норвегией, я хотел присоединить Швецию к нашему союзу. Я не мог потерять из виду великие морские выгоды, которые Норвегия доставляла Швеции против меня. Впрочем, моя столица становилась неприступною, а Швеции, более сосредоточенной, нечего было больше бояться. Таким образом, с обеих сторон выигрывали относительно безопасности и все причины распрей и опасений были отстранены. Если уже тут не

соблюдены правила равновесия, то не знаю, где их больше после того искать.

Вы видите, милорд, что я очень хорошо понимаю настоящий смысл, в котором вы привели несколько действий вашей политики, и я вовсе не намерен уменьшать достоинство этих действий. Без сомнения, от исхода настоящего конгресса зависит будущая судьба европейских государств, и все мои старания, все мои жертвования имеют ту цель, чтобы члены нашего союза приобрели размеры, способные поддержать общее равновесие. Я не понимаю, каким образом при таких принципах конгресс может сделаться сценою интриг, вражды и беззаконных усилий для приобретения могущества. Пусть целый мир, который видел мои принципы со времени перехода через Вислу до перехода через Сену, решит, может ли желание приобрести лишний миллион душ или упрочить за собою какой-нибудь перевес одушевлять меня и руководить моими поступками. Чистота моих намерений даст мне силу. Если я стою за порядок вещей, который я хотел бы установить в Польше, так это вследствие убеждения, что его установление послужит к общей пользе. Такая нравственная политика, какой бы оттенок вы ей ни давали, быть может, найдет ценителей у народов, которым нравится все, что бескорыстно и благодушно».

К письму был присоединен меморандум, написанный Чарторыйским; здесь объяснялось, что договоры 1813 года насчет герцогства Варшавского в настоящее время не могут иметь никакого значения, ибо они состоялись в то время, когда Австрия и Пруссия не могли иметь в виду огромных владений, какие достаются им теперь; при этих условиях и Россия получает право требовать большие вознаграждения. В первом договоре 1813 г. говорится о разделе герцогства Варшавского между тремя союзными державами, а во втором уже говорится только о полюбовном распоряжении их насчет будущей судьбы герцогства. Условия последнего договора выполнены. Пруссия получила Данциг с округом, Австрия — Галицию, соляные копи Велички, предместье и уезд Краковский. Страна, которую получит Пруссия для связи между своими древними провинциями, — одна из самых населенных и самых богатых в герцогстве, самая цивилизованная, самая цветущая земледелием и промыслами, наполненная мануфактурами, которых нет в остальных частях.

Выходит, что Австрия возвращает себе кроме трех миллионов гульденов чистого дохода участок, богатый каменноугольными копями и серою, уезд, без которого Краков не значит ничего; следовательно, Россия отказывается в герцогстве от четвертой доли народонаселения и от третьей доли богатств и доходов, приобретает таким образом 2.200.000 душ и около 8 миллионов гульденов дохода.

Можно ли после этого еще более ограничивать русский участок? Можно ли это приобретение назвать громадным, как оно величается в английском меморандуме? Может ли он быть назван значительным и равным в сравнении с участками Австрии и Пруссии, расположенными в странах, наиболее благодетельствованных природой, обильных источниками промышленности и богатства? Если к этому автор меморандума прибавит картину внутреннего состояния герцогства, разоренного войною, голодом, заразительными болезнями, выселениями, то что останется от его горячих выходок против громадности этого приобретения? Напрасно автор меморандума вопиет, что с присоединением герцогства к России страшная опасность станет грозить беззащитным столицам Австрии и Пруссии. Достаточно бросить взгляд на карту для убеждения, что эти опасности существуют только в воображении. Защита естественная находится на стороне Австрии, искусственная, посредством крепостей, — на стороне Пруссии, а герцогство, выдающееся между этими двумя государствами, всегда может быть схвачено их армиями. Национальность, которая должна быть возвращена полякам, не представляет никакой опасности; напротив: здесь будет верное средство утишить беспокойство, в котором упрекают поляков, и примирить все интересы. Император носит в себе это убеждение; время и события докажут, что оно основательно.

То обстоятельство, что меморандум был написан Чарторыйским, внушило Касльри мысль, что он может бесцеремонно отвечать на него, не нарушая уважения к особе императора. Ответному меморандуму (от 4 ноября) Касльри представил извинительное письмо к императору: «Я нахожу большое облегчение в мысли, что меморандум, с которым имею дело, не выражает собственных идей вашего императорского величества. Мои замечания написаны с полною свободой спора, с целью представить пред вашим трибуналом, государь, начала, в которых я не согласен с автором меморандума».

Касльри утверждает, что договоры 1813 года, Рейхенбахский и Теплицкий, сохраняют всю свою силу: разве император Австрийский согласился в силу расширения своих владений в Италии отказаться от права быть защищенным со стороны Польши? Разве различные государства, принявшие участие в Парижском мире, назначая По границу Австрии в Италии, думали, что они этим самым уничтожают военную границу между Россией и Австрией со стороны Польши? Касльри настаивает, что нельзя ничего доказывать на основании характера императора: каковы бы ни были добродетели государя, не на личной доверенности, не на жизни одного человека должны основываться свобода и безопасность государств. Потом Касльри указывает на ложные показания, которые позволил себе Чарторыйский: число жителей Варшавского герцогства уменьшено более чем на миллион; доход ее соляных копей для Австрии вместо 300.000 показан в 3 миллиона. «Мы бы не кончили, — говорит Касльри, — если бы захотели означить все неточности, которых множество на каждой странице меморандума». В заключение Касльри сильно упрекает Чарторыйского за выставленный в меморандуме принцип, что военные издержки могут быть вознаграждаемы земельными приобретениями: великие военные державы, восторжествовавшие в борьбе, должны вспомнить, что они боролись за собственную свободу и свободу Европы, а не для расширения своих владений.

21-го ноября Касльри получил ответный русский меморандум (написанный Каподистрия). Обращаясь к договорам 1813 года, меморандум говорит, что история дипломатии предоставляет несколько примеров, когда одна из договаривающихся сторон не считала более обязательными для себя договоры по причине совершенной перемены обстоятельств. Сама Англия, основываясь на этом принципе, не сочла себя обязанною исполнять Амьенский договор. Неизменное правило справедливости требует, чтобы выгоды, приобретаемые каждым из союзников при торжестве общего дела, были пропорциональны его усилиям и величине пожертвований. Необходимость политического равновесия предписывает с своей стороны давать каждому государству силу, способную содержать гарантию политических интересов в собственных средствах, какие она имеет, для того, чтобы заставить уважать их. Сообразуясь неизменно с

этими двумя принципами, император решился вести войну, вначале один, и продолжать ее посредством коалиции до тех пор, пока общее умиротворение Европы могло опереться на прочные, несокрушимые основания независимости народов и священные права наций.

Когда Одер был перейден, Россия сражалась только за своих союзников: для увеличения могущества Пруссии и Австрии, для освобождения Германии, для спасения Франции от бешенств деспотизма. Если бы император основал свою политику на расчетах частного интереса, то заключил бы мир с Францией в то время, когда армия Наполеона, собранная на иждивение целой Европы, нашла себе могилу в России. Но император воспользовался великодушным порывом своего народа, чтобы сражаться за дело, с которым связаны судьбы всего человечества. Россия давно могла бы дать силу своим правам над страной, завоеванной ее оружием без всякого постороннего содействия; но она постоянно удерживалась от всякого произвольного поступка и отсрочила проект законного увеличения своих владений до того времени, когда все европейские государства, получившие полную независимость, придут рассуждать о своих интересах и способствовать соглашению интересов союзников. Это время наступило, и союзники, получившие значительное приращение своего могущества, не вправе оспаривать у России того, что она требует не в видах усиления своих средств, но для равновесия Европы.

Могущество Великобритании обхватывает весь земной шар: она господствует на океане, распространяется на всех морских берегах, властвует в Индии, предписывает законы Американскому континенту, разрабатывает неистощимый рудник Леванта, держит в своих руках ключи Средиземного моря; нет соперников ее могуществу, морскому и торговому, а ее отношения к Голландии и возвращение курфюршества Ганноверского дают ей прямое и сильное влияние на дела континента.

Австрия распространяет свой скипетр и свое влияние на лучшую половину Германии, покрытой развалинами своих древних учреждений; она обладает прекрасными областями Италии, которые были покорены соединенными усилиями великого союза под самыми стенами Парижа; она присоединила к своим обширным владениям провинции иллирийские, которые доставляют ей господство на Адриатическом море и обеспечивают первенствующее влияние в Европейской Турции; по своему настоящему положению в Италии она

способна предписывать законы королевствам Неаполитанскому и Сардинскому, могущественно влиять на Швейцарию и охранять против Франции границу альпийскую.

Пруссия берет на себя северную часть великого наследства Германской империи и упрочивает свою власть на Висле, Эльбе и Рейне. Германия получает политическую крепость, какой прежде никогда не имела. Франция, обрезанная вследствие крайностей колоссального честолюбия, без флота и торговли, может надеяться только на мудрость своего правительства. Пиренейский полуостров, истощенный и занятый гибельною борьбой с собственными колониями, не представляет никакой точки опоры.

Остается Россия. Что это за увеличения ее владений, которые грозят спокойствию Европы? Неужели приобретение Финляндии и Бессарабии может подать повод к таким опасениям? Нельзя ли спросить наоборот: неужели Германия или Италия могут обеспечить Россию против враждебных замыслов какой-нибудь державы, которая захочет воспользоваться своими новыми выгодами? Россия может ли льстить себя совершенною безопасностью внутри, если не получит хорошей военной границы и особенно если покинет жителей герцогства Варшавского на жертву отчаянию и прельщению с разных сторон? Для России предмет первой важности — положить конец всем беспокойствам поляков. Затушенные теперь, эти беспокойства вспыхнут когда-нибудь под иностранным влиянием, и эта вспышка взволнует необходимо Россию и весь Север.

Этому второму меморандуму предпослано было письмо императора Александра к Касльри в нескольких строках, где император выражает надежду, что частная корреспонденция этим и окончится, и просит лорда на будущее время представлять свои бумаги обыкновенным порядком.

Бесполезная полемика кончилась, дела пошли обыкновенным порядком. Касльри настаивал, как мы видели, что договоры 1813 года имеют силу по тому самому, что другие союзники не могут желать уничтожения их обязательной силы. В подтверждение этого 2-го ноября Меттерних по приказанию своего государя обратился к прусскому канцлеру Гарденбергу с следующей нотой: «Прусскому министерству неизвестно, сколько виды русского двора относительно герцогства Варшавского, — виды, совершенно

противные смыслу трактатов, заключенных союзными государями против Франции, воспрепятствовали соглашению государств между собою относительно своих интересов и ходу конгресса. Его императорское величество (австрийское) сочтет неисполнением своих обязанностей относительно счастья и спокойствия своих народов, если не будет настаивать самым решительным образом на исполнении трактатов, которые должны обеспечить как Австрии, так и Пруссии военную границу, необходимую для безопасности и спокойствия обеих монархий. Его императорское величество обращается к его величеству прусскому с просьбою напомнить его величеству императору всероссийскому об их общих правах». К ноте был присоединен меморандум насчет устройства будущей судьбы герцогства Варшавского: 1) Одушевляемая принципами самыми либеральными и наиболее соответствующими установлению системы европейского равновесия, противодействуя с 1772 года всем проектам раздела Польши^[14], Австрия готова согласиться на восстановление этого королевства, свободного и независимого от всякого иностранного влияния, в границах до первого раздела. 2) Допуская, что мало вероятности в принятии подобного проекта русским двором, Австрия согласна на восстановление свободной и независимой Польши в пределах 1791 года. 3) Если император русский не примет и этого предложения, Австрия готова согласиться на расширение русских границ до правого берега Вислы: Россия удержит Варшаву с уездом, Пруссия — Торн; Висла должна остаться свободною для владельцев обоих берегов. 4) Австрия, постоянно далекая от вмешательства во внутренние дела своих соседей, предоставит императору Всероссийскому попечение дать своим польским провинциям такую форму управления, какую он сочтет полезною и приличною. Австрия будет согласна и на то, чтобы император Всероссийский назвал свои новые владения, порознь или вместе с старыми польскими провинциями, королевством Польским Северным или Восточным; но в таком случае его императорское величество (австрийское) предоставляет себе право соединить свои польские провинции под названием королевства Польского Южного; такое же право должно быть предоставлено и его величеству прусскому.

Гарденберг поспешил исполнить желание венского двора, имел с императором Александром длинный разговор, который описал в

секретном меморандуме лорду Касльри (от 7-го ноября): «Длинный разговор, который я, в присутствии короля, имел с русским императором, не привел ни к чему. Его императорское величество продолжал жаловаться на упорство, с каким противятся его намерениям, тогда как великие услуги, которые он оказал общему делу, дали Австрии, Пруссии и другим государям не только возможность войти в прежние пределы, но и увеличить свои владения. Считая себя вправе требовать того же и для себя, император ограничился такою мерой, которая обеспечивает спокойствие Европы, успокаивая окончательно нацию недовольную и волнующуюся, поставляя ее под управление кабинета, который сумеет ее сдержать. Союзники, вместо того чтобы считать эту меру опасною, должны, напротив, поддерживать ее, тем более что император готов дать всевозможные гарантии: он присоединит к новому королевству все русские провинции, бывшие прежде польскими; даст конституцию, которая отделит его от России; выведет из него все русские войска. На мои представления о наступательной линии, которую даст Польше обладание Торном, Калишем, Ченстоховом и Краковом, император объявил, что он готов обязаться никогда не укреплять Кракова. Я кончил разговор сильными настаиваниями, чтоб император согласился на какую-нибудь сделку, причем я прибавил, что, по моему мнению, ему уступят относительно политического вопроса, если он что-нибудь уступит относительно границ.

По верным известиям, даже и князь Чарторыйский хлопочет теперь, чтоб император уладился насчет границ. По моему мнению, надобно употребить все усилия, чтобы достигнуть в этом отношении приличного соглашения. Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что мы должны уступить насчет политического вопроса, потому что я здесь вижу гораздо большие выгоды, чем опасности для спокойствия Европы вообще и для соседей России в особенности. Сила России скорее ослабеет, чем увеличится, от этого нового Польского королевства, под скипетром одного с нею государя находящегося. Собственная Россия потеряет области очень значительные и плодоносные. Соединенные с герцогством Варшавским, они получают конституцию, совершенно отличную и гораздо более либеральную, чем конституция империи. Поляки будут пользоваться привилегиями, каких нет у русских. Скоро дух двух

наций станет в совершенной оппозиции; зависть между ними помешает единству, родятся всякого рода затруднения, император русский и вместе король польский будет гораздо менее страшен, чем государь империи Российской, присоединяющей к России большую часть Польши, которую у него не оспаривают как провинцию. Я вовсе не боюсь, чтобы польские подданные Австрии и Пруссии, стремясь соединиться с своими соотечественниками, производили бы смуты. Управление мудрое и отеческое легко устранит опасения подобного рода. Одним словом, в моем уме образовалось самое глубокое убеждение, что, препятствуя императору восстанавливать королевство Польское под своим скипетром, мы работаем против нашего собственного интереса.

Признаюсь также, что, размышляя об устройении трех польских королевств, я тут вижу большие неудобства без всякой существенной выгоды. Разве этим мы не будем питать стремления к соединению, чего так боимся? Притом же прусская доля особенно, каковы бы ни были уступки, которые удастся получить от императора Александра, будет всегда так незначительна, что не стоит давать ей титул королевства. Так решим без дальнейших проволочек объявить императору, что, отказываясь от секретного параграфа договора 15-го (29-го) января 1797 года, мы согласимся на восстановление королевства Польского, отдельного от империи Российской, к которому он присоединит все русские провинции, прежде бывшие польскими, и даст особенную конституцию, если только он согласится на такое земельное распределение, которое нас удовлетворит, и если он нам гарантирует наши польские владения. Насчет этих владений я останусь при прежних требованиях; Австрия уже несколько раз заявляла, что она удовольствуется Краковом со страной до реки Ниды и округом Замойским; Пруссия требовала Торна и линию Варты. Требовать теперь линию Вислы и на левом берегу уступать только Варшаву с уездом — значит еще более раздражать и удаляться от нашей цели».

Мнение Гарденберга было принято; основание соглашений, которые он был уполномочен сделать императору Александру, были следующие: Пруссия получает Торн и линию Варты; Австрия — уезд Замойский и Краков, и границею здесь будет река Нида. Если император примет эти условия, то Австрия и Пруссия готовы

согласиться на его политические виды относительно Польши с гарантиями, которые будут определены с общего согласия. Контрпроект, сообщенный с русской стороны, предлагал Торн и Краков сделать вольными городами и пограничную линию провести между Краковом и Сендомиром через Калиш на западе и Вислу на юге; но так как эту линию представляют опасной для союзников, то император соглашался отнять у нее этот характер с условием *sine qua non*, чтобы Саксония вся была присоединена к Пруссии, а Майнц сделан был имперской крепостью.

Но тут Меттерних объявляет Гарденбергу, что Пруссия должна ограничить свои требования относительно Саксонии, и Касльри становится на сторону Австрии. Дело объясняется тем, что второстепенные державы Германии, особенно Бавария, с ожесточением восстали против плана присоединения Саксонии к Пруссии и, разумеется, нашли точку опоры в Талейране. Меттерних, который прежде не имел духа прямо противиться требованиям Пруссии и обещал Гарденбергу свое согласие на присоединение целой Саксонии, теперь, найдя сильную поддержку, выступает прямо против такого присоединения. «Австрия, — говорит он, — становится в челе держав, которые противятся присоединению Саксонии к Пруссии; Австрия делает это прежде всего для того, чтобы не уступить этой роли Франции». Касльри же стал уклоняться от своего прежнего намерения, потому что король Саксонский нашел сильных приверженцев в Англии и сам принц-регент был за него.

В прусском лагере забили сильную тревогу, 16-го декабря Гарденберг подал императору Александру ноту. «Объявление князя Меттерниха, — писал Гарденберг, — диаметрально противоположно всем объяснениям, письменным и словесным, которые до сих пор происходили между кабинетами прусским и австрийским, особенно письму князя Меттерниха от 22-го октября, в котором Австрия соглашается под известными условиями на всецелое присоединение Саксонии к Пруссии, и письму от того же числа к лорду Касльри, содержащему объявления совершенно в том же смысле. Самые сильные причины противятся раздроблению Саксонии: народное благо и народное желание, громко заявляющее себя каждый день; слово, данное его величеством императором Всероссийским; интерес Пруссии, интерес, наконец, Европы. Пруссия должна быть сильна для

поддержания равновесия и спокойствия Европы; она должна быть устроена так, чтобы могла защищаться; ее нельзя заставлять стремиться к дальнейшему распространению своих пределов для приобретения средств, необходимых для ее защиты. Его величество король докажет свои права пред союзниками, но особенно он полагается на дружбу его величества императора Всероссийского, которой следствия он уже часто испытывал».

Саксонский вопрос стал на первый план и возбудил страшное ожесточение. Представители второстепенных германских держав толковали о войне, которая должна окончиться падением Пруссии. Пруссия не переставала требовать всей Саксонии и в свою очередь грозила войной. Талейран умел воспользоваться обстоятельствами, и, по его мысли, 3-го января 1815 г. был заключен секретно-оборонительный союз между Австрией, Англией и Францией, которые «сочли необходимым, — как сказано в договоре, — по причине претензий, недавно обнаруженных, искать средств к отражению всякого нападения на свои владения». Договаривающиеся стороны обязываются: если вследствие предложений, которые они будут делать и поддерживать вместе, владения одной из них подвергнутся нападению, то все три державы будут считать себя подвергнувшимися нападению и станут защищаться сообща; каждая держава выставляет для этого 150.000 войска, которое выступает в поход не позднее шести недель по востребованию. Англия имеет право при этом выставить наемное иностранное войско или платить по 20 фунтов стерлингов за каждого пехотного солдата и по 30 — за кавалериста; договаривающиеся державы могут приглашать другие государства присоединиться к договору и приглашают к тому немедленно королей баварского, ганноверского и нидерландского.

Талейран был в восторге: он дал знать Людовику XVIII, что разорвал коалицию и дал Франции такую систему союзов, какую едва ли могли бы приготовить пятьдесят лет переговоров. Утверждая, что Россия и Пруссия не решатся на войну, Талейран требовал, однако, у своего правительства на всякий случай, чтобы прислан был к нему генерал Рикар, отлично знавший Польшу, и убедил новых союзников в случае надобности пригласить Порту к нападению на Россию. Бавария с Гёссен-Дармштадтом, Ганновер и Нидерланды приступили к союзу. Но война не открылась. Больше всех боялся ее Касльри: боялся он дать

Франции возможность поправить свое положение и предъявить новые требования; боялся ввести французские войска туда, откуда с такими усилиями их вытеснили. Ответственный министр боялся больше всего расположения умов в Англии, знал, что там ждут от конгресса полного умиротворения, а не войны; знал, что война в союзе с Францией должна быть менее всего популярна в Англии, особенно война против Пруссии. На третий день по заключении договора Касльри в разговоре с императором Александром уже старался убедить его, что если отдать Пруссии всю Саксонию, то саксонского короля придется переместить на левый берег Рейна, где он непременно будет союзником Франции; надобно оставить часть Саксонии старому королю, и все бы легко уладилось, если б император согласился уступить еще кое-что в Польше. Император отвечал, что польское дело кончено; что же касается Саксонии, то он согласится на разделение, если прусский король объявит себя удовлетворенным, в противном случае — нет. Вести, получаемые из Франции о затруднениях тамошнего правительства, из Италии — о народном здесь неудовольствии на Австрию, должны были еще более убедить Касльри и Меттерниха в необходимости покончить конгресс мирным образом, дать Пруссии значительную часть Саксонии, а за остальную вознаграждать в других местах. Пруссия пошла на эту сделку; сам император Александр советовал Гарденбергу согласиться наперед с лордом Касльри насчет плана раздела, прежде нежели начнутся рассуждения об этом в конференциях. Дела останавливались за тем, что Пруссии не хотелось отказаться от Лейпцига, который вместе с Дрезденом хотели возвратить старому королю: император Александр предложил Пруссии взамен Лейпцига Торн, отказываясь от прежнего намерения сделать его вольным городом. Таким образом устранены были все препятствия, и два важнейшие вопроса, Польский и Саксонский, грозившие повести ко всеобщей войне, были порешены.

Но кто же при этом решении имел право быть довольнее всех? Перечтем инструкции Талейрана и получим ответ. Блистательная дипломатическая кампания была совершена французским уполномоченным. Наполеону как будто стало завидно, и он поспешил прекратить торжество своего старого министра и непримиримого врага. Наполеон ушел с Эльбы и явился во Франции.

II. СТО ДНЕЙ

Бурбонам с эмигрантами трудно было управлять страшным французским народом, по выражению императора Александра. Действительно, французский народ был страшен; действительно, этот народ давно уже играл главную роль в Западной континентальной Европе. Представим себе общество, составленное из людей с различными характерами: один человек очень умный, деятельный и деловой; он постоянно и исключительно занят своими ближайшими интересами, отлично обделал свои дела, разбогател страшно; но он при этом необщителен, держит себя в стороне, неуклюж, не представитель, не возбуждает к себе сочувствия в других, принимает участие в общих делах только тогда, когда тут замешаны его собственные выгоды, да и в таком случае не любит действовать непосредственно, но заставляет действовать за себя других, давая им деньги, как разбогатевший мещанин нанимает вместо себя рекрута. Таков англичанин, таков английский народ. Другой человек — очень почтенный, но односторонне развившийся, ученый, сильно работающий головой, но не могший, по обстоятельствам, укрепить свое тело и потому не способный к сильной физической деятельности, без средств отбивать нападение сильных, без средств поддержать свое значение, заставить уважать свою неприкосновенность при борьбе сильных: это — немецкий народ. Третий человек, подобно второму, не мог, по обстоятельствам, укрепить свое тело, но южная, живая, страстная натура кроме занятий наукою и особенно искусством требовала практической деятельности. Не имея способов удовлетворить этой потребности у себя дома, он часто уходит к чужим людям, предлагает им свои услуги, и нередко имя его блещит на чужбине славными подвигами, обширную, смелою деятельностью: таков итальянский народ. Четвертый человек смотрит истомленным; но, как видно, он крепкого телосложения, способный к сильной деятельности; и действительно, он вел долгую, ожесточенную борьбу за известные интересы, и никто в это время не считался храбрее и искуснее его. Борьба, в которую он страстно ушел весь, истощила его физические силы, а между тем интересы, за которые он боролся,

ослабели, сменились другими для остальных людей; но он не выработал себе других интересов, не привык ни к каким другим занятиям; истомленный и праздный, он погрузился в долгий покой, судорожно по временам обнаруживая свое существование, беспокойно прислушиваясь к призывам нового и в то же время оттягиваясь закоренелыми привычками к старому: этот народ испанский.

Но больше всех этих четверых членов нашего общества обращает на себя внимание пятый, ибо никто не одарен такими средствами и никто не употребляет таких усилий для возбуждения к себе всеобщего внимания, как он. Энергичный, страстный, быстро воспламеняющийся, способный к скорым переходам от одной крайности в другую, он употребил всю свою энергию на то, чтобы играть видную роль в обществе, приковывать к себе взоры всех. Никто больше и лучше его не говорит; он выработал себе такой легкий, такой удобный язык, что все принялись усваивать его себе как язык преимущественно общественный. У него такая представительная наружность, он так прекрасно одет, у него такие изящные манеры, что все невольно смотрят на него, перенимают у него и платье, и прическу, и обращение. Он весь ушел во внешность; дома ему не живется; долго, внимательно заниматься своими домашними делами он не в состоянии; начнет их улаживать — наделает множество промахов, побурлит, побушует, как выпущенный на свободу ребенок, устанет, потеряет из виду цель, к которой начал стремиться, и, как ребенок, даст себя вести кому-нибудь. Но зато никто так чутко не прислушивается, так зорко не приглядывается ко всему, что делается в обществе, у других. Чуть где шум, движение — он уже тут; поднимется где какое-нибудь знамя — он первый несет это знамя; выскажется какая-нибудь идея — он первый усвоит ее, обобщит и понесет всюду, приглашая всех усвоить ее; впереди других в общем деле, в общем движении, передовой, застрельщик и в крестовом походе, и в революции, опора католицизма и неверия, увлекающийся и увлекающий, легкомысленный, непостоянный, часто отвратительный в своих увлечениях, способный возбуждать к себе сильную любовь и сильную ненависть, страшный народ французский!

Среди угловатого и занятого постоянно только своим делом англичанина; ученого, трудолюбивого, но слабого и вовсе не изящного немца; живого, но неряшливого и разбросавшегося итальянца;

молчаливого, полусонного испанца — француз движется неумолимо, говорит без умолку, говорит громко и хорошо, толкает, будит, никому не дает покоя. Другие начнут борьбу нехотя, по нужде, француз бросается в борьбу из любви к борьбе, из любви к славе. Все соседи его боятся, все с напряженным вниманием следят, что он делает: иногда кажется, что он утомился, истомленный внешней борьбой, занялся своими домашними делами; но эти домашние занятия кончатся или революцией, которая возбудит движение по всему соседству, или военным деспотизмом, который, чтобы дать занятие и славу народу, не оставит в покое Европы.

В конце средних веков первым делом объединенной Франции было броситься на Италию. Испания, могущество Габсбургов могли только сдерживать страшный французский народ в его властолюбивых стремлениях: но и тут Франции удалось расширить свои владения на счет Германии. Слабость последних Валуа дала протестантизму усилиться во Франции, дала страшному народу возможность самому порешить религиозный вопрос; он порешил его после ожесточенной усобицы, где католики и протестанты «с французскою яростью» (*fugia francese*) терзали друг друга, варварски истребляя женщин и детей. Занявшись этим домашним делом, французы оставили в покое Европу на известное время; но когда религиозная усобица прекратилась, Франция сейчас же принимает грозное положение относительно соседей. Смерть помешала Генриху IV осуществить его планы; смуты, происходившие в начале царствования Людовика XIII, опять заняли французов дома; но когда Ришелье успокоил эти смуты, Франция снова является на первом плане, решительницею судеб Европы по время Тридцатилетней войны. После Детской игры (Фронды), одного из характеристичнейших эпизодов французской истории, Людовик XIV, самый представительный, следовательно, самый французский из французских королей, солнце-король, великий король для Франции, дает своему народу обширную внешнюю деятельность и великую славу; Франция достигает цели своих постоянных стремлений: она первенствующее государство в Европе; ее великий король служит недостижимым образцом для государей; он распоряжается в соседних странах как хочет: коалиции против него не удаются; но когда Людовик XIV сказал, что «нет более Пиренеев», образуется сильная коалиция, пред которою великий король должен смириться.

Истомленная царствованием Людовика XIV, Франция, по-видимому, приутихла надолго, и Европа стала поуспокаиваться на ее счет; относительно было тихо и внутри, даже и во Фронду не играли. А между тем страшный народ был занят сильной работой умственной, кипела деятельность литературная; французские писатели с «*fugia francese*» ринулись на прошедшее и настоящее, допрашивая их: что сделано и делается для человека и человечества? Подле запросов законных, подле выводов разумных тут было много фрондерства, много школьничества; тут высказались следствия того умственного, литературного рабства, в котором древний мир, с эпохи Возрождения, держал европейское человечество, несмотря на видимое процветание литератур национальных. В наше время классическое образование сообщает человеку, его получившему, полноту знания жизни человечества, делаю человека живым, непосредственным соучастником жизни юного человечества; оно освежает его, возвращает ему силы, как сельская жизнь летом, соединение с безыскусственной и потому великой художницей природой, освежает, восстанавливает силы человека, истомленного городской деятельностью. В наше время классическое образование лишено своего одностороннего, вредного влияния благодаря тому, что мы относимся свободно к древнему миру, благодаря успехам истории, науки, человеческого и народного самопознания, благодаря усиленному изучению истории и другого, европейско-христианского, мира, благодаря изучению своего, народного.

В Англии и в века предшествовавшие влияние классического образования умерялось практической деятельностью классически образованных людей, которая беспрестанно обращала их к своему, заставляла изучать его, заставляла с любовью и уважением относиться к своей старой Англии. Не так было во Франции, где впечатления, полученные в школе от изучения явлений древнего мира, оставались во всей своей силе. Древний мир был поднят высоко, явления греческой и римской истории являлись образцовыми, исключительно достойными подражания; свое было унижено, считалось варварским; с презрением и даже ненавистью отзывались о средних веках. И здесь мы не должны упускать из виду народного характера французов, которые, не изучая внимательно подробностей, особенно увлекались блестящею, картинною деятельностью Греции и Рима, увлекались

сценической постановкой деятелей; а известно, какие охотники французы до этой сценической постановки. Жизнь древних республик являлась великолепным театральным представлением, и как сильно хотелось участвовать в подобном же представлении, действовать на такой широкой сцене.

Это влияние одностороннего изучения древнего мира обнаруживалось более или менее повсюду, резко выразилось в сочинении, которое более всех других пришлось по настроению французского общества во второй половине XVIII века и в свою очередь наиболее содействовало этому настроению, — в сочинении, которое имело самое сильное влияние на ход революционных явлений: я говорю о «Contrat social» Ж.-Ж. Руссо. Ясно видно, что, когда автор писал это сочинение, он постоянно имел пред глазами Грецию и Рим, формы их политической жизни; отсюда так понятна знаменитая выходка его против представительной формы: «Идея представительства есть идея новая; мы ее получили от феодального правительства, от этого несправедливого и нелепого правительства, в котором человечество унижено, в котором самое имя человека употреблялось в унижительном значении. В древних республиках, и даже в древних монархиях, никогда народ не имел представителей».

В то время, когда французское общество теоретически разделялось со своим прошедшим и настоящим, объявило им непримиримую войну, правительство отказалось от своей направительной деятельности; отчуждив себя совершенно от жизни общества, не зная, не понимая, что в нем делалось и сделалось, оно, разумеется, потеряло все средства править, давать направление, — и следствием была страшная революция. Французская республика перешла в империю; император дал французскому народу неслыханную славу; но, возбудив против себя всю Европу, должен был променять громадную монархию на остров Эльбу. Франция вошла в прежние границы и получила старую династию с новыми правительственными формами. Но мог ли успокоиться страшный народ?

Дело неслыханное в истории, чтобы какой-нибудь народ, потрясенный революционным движением, вдруг успокаивался; тем менее мог успокоиться народ французский по своему характеру и по условиям своей революции. В XVII веке была революция в Англии, по

некоторым признакам сходная с французскою; но в сущности разница между обоими явлениями была громадная. В то время как сильное религиозное движение потрясло Англию, династия Тюдоров прекращается и восходит на престол новая, чужая, Шотландская династия. Кто повнимательнее взглянет в фигуры Стюартов, как они очертились в истории, для того судьба знаменитой ошибками и несчастьями фамилии будет ясна: это были люди чужие, случайно попавшие в непривычную среду; они не знали начал английской жизни, английских преданий; у них были свои предания, свои привычки; эти предания и привычки столкнулись с преданиями и привычками английскими; Стюарты начали действовать по-шотландски, как шотландские короли, — и следствием была революция. В основе движения была борьба за английскую старину, против нового, чужого, шотландского, стюартовского. Религиозное движение давало только особую окраску явлению, поддавало более горючего материала. Для огромного большинства революция была печальным явлением, несчастьем; военный деспотизм Кромвеля, преобладание людей, которых Кромвель по убеждению и расчету был представителем, еще более возбудили нерасположение большинства к революции, и народ с искренним, сознательным восторгом приветствовал возвращение Карла II, приветствуя возвращение желанной старины, старого, привычного хода дел, и только совершенная неспособность Стюартов переделаться из шотландских королей в английские вынудила вторую революцию.

Совершенно другое было во Франции. Здесь революционное движение пошло вследствие стремительного желания оторваться от старины и создать новый, лучший мир отношений для себя и для целого человечества, ибо для француза мало устроить что-нибудь для себя, ему нужна широкая, всемирная сцена; он пропагатор по природе: ему нужно, чтобы все народы слушали его, принимали волей или неволей его учение. Крайности движения, неприложимость выработанных теоретических начал оттолкнули многих от революции. Но на главный, существенный вопрос были разные ответы для англичанина и для француза. Англичанин спрашивал: какую выгоду принесла ему его революция, кроме защиты английской старины от шотландских притязаний Стюартов? Ответ был, что выгоды нет и защита старины стоила слишком дорого, можно было бы подешевле.

Получивши такой ответ, англичанин отворачивался от своей революции. Но для француза был другой ответ: если революция не принесла блаженства на земле, как ожидали люди со слишком разгоряченным воображением; если она сопровождалась явлениями очень непривлекательными; если, наконец, она показала свою несостоятельность, бросивши истомленную Францию в добычу военному деспотизму, то, с другой стороны, она уничтожила такие явления, которые были ненавистны, создала ряд новых, лучших для большинства отношений. Карл II Стюарт возвращался на английский престол с условием восстановления старины, восстановления того порядка вещей, который был при его предшественниках и который был нарушен революцией. Людовик XVIII настаивал и настоял, что он добровольно даст новое политическое устройство Франции; но это было плохое прикрытие: тем самым, что он признавал необходимость царствовать не так, как царствовали его предшественники, он осуждал старое правление и оправдывал революцию.

В Англии огромное большинство было за полное восстановление старины при восстановлении Стюартов; во Франции за полное восстановление старины было незначительное меньшинство, незначительная партия. Эта партия преимущественно состояла из эмигрантов, людей, которые оставили Францию вместе с Бурбонами; теперь возвратились вместе с ними и нашли: свои имения — в чужих руках; должности, которые принадлежали им по старинному праву, замещенными новыми людьми, детьми революции. Но каким образом возвратились они теперь, в 1814 году? По милости правительства? Но эту милость предлагал им и Наполеон, и они не приняли ее. Они возвратились теперь вследствие торжества своего начала, которому они оставались до конца верными. Следовательно, они возвратились торжествующими, победителями? Но где же следствия торжества, победы? Где награды, где почет за верность тому началу, которое теперь торжествовало; где раскаяние со стороны людей, не признававших этого начала и теперь принужденных признать его? Эмигрантам бросали в глаза упрек, что они ничему не научились, ничего не забыли; от них требовали сделки между старым и новым; но благоразумно ли требовать невозможного? Сделка предполагает взаимные уступки; но какую уступку сделали представители новой Франции представителям старой — ту, что признали старую династию

единственно законной? Но какую награду получили люди, которые постоянно признавали это; что было уступлено в пользу старых слуг и приверженцев этой старой династии?

Ничего! Новая Франция не хотела ничего уступить старой. Новая Франция нашла для себя полезным возвратить из изгнания старую династию, возвратить ей прежнее значение; но не считала для себя выгодным возвратить прежнее значение, прежние материальные средства верным слугам этой династии, от которых требовалось, чтобы они забыли прошлое. Но как они могли забыть прошлое, когда в памяти о нем и заключалось все их значение, все их достоинство, все их права? Как они могли забыть его именно теперь, когда и новая Франция вспомнила о нем и восстанавливала его? Новая Франция помнила прошлое, насколько это было для нее выгодно, и забывала все то, что могло нанести ущерб ее новым выгодам; от старой Франции требовалось, наоборот, чтобы она забыла для себя прошлое и научилась жертвовать всем для новой Франции, когда последняя не хотела ничем для нее пожертвовать. К требованию неблагоприятному, к требованию невозможного присоединилось требование не очень нравственное: требовалось, чтобы Бурбоны из-за выгоды быть на троне новой Франции забыли об интересах старых верных слуг своих, страдавших за эту верность к ним.

Таким образом, возвращение Бурбонов условливалось необходимо продолжение революционного движения во Франции, ибо старая и новая Франция были сопоставлены без всякой сделки, без взаимных уступок, следовательно, были сопоставлены для борьбы. Кроме того, существовали условия, благоприятствовавшие усилению борьбы и ее продолжению. Король Людовик XVIII был человек умный, но старый, болезненный, во время своего долгого царствования только по имени не могший получить привычки к правительственной деятельности, не могший потому дать должную силу своему правительству, особенно среди такого народа, как французский, правитель которого, чтобы быть сильным и популярным, должен энергически заявлять свое существование, свою деятельность.

Людовик XVIII был бы очень хороший король в государстве, где конституционный порядок уже окреп; но был мало способен содействовать его укреплению во Франции, где этот порядок только что начался. Не имея собственной семьи и прикрепленный болезнью к

креслам, Людовик нуждался всегда в любимце, в человеке, который двигался за него, смотрел и слушал за него; король, по-видимому, сильно привязывался к такому человеку; но старый эгоист скоро утешался, если обстоятельства заставляли его удалить от себя любимца, и спешил заменить его другим. По своей холодной натуре, по отсутствию сильных убеждений, религиозных и политических, Людовик XVIII, казалось, был способен кое-что забыть и кое-чему научиться, то есть был способен забывать об интересах людей, тесно связанных с династией, способен обращать внимание на интересы новой Франции; но эта способность не повела ни к чему при отсутствии ясного, определенного взгляда на свое положение и положение Франции и, главное, при отсутствии энергии. Революционное движение во Франции могло быть сдержано только правителем, сильным по своим личным средствам, как взволнованная религиозной борьбой Франция была успокоена Генрихом IV, который стал ходить к обедне в угоду католическому большинству и издал Нантский эдикт для протестантского меньшинства; но при этом все чувствовало силу правительства, король не царствовал только, но управлял, направлял народные силы, народную деятельность.

Но предпоследний Бурбон был похож не на первого Бурбона, а на последних Валуа. Как последние Валуа по слабости своей выпустили из рук направление народного движения, дали католикам и протестантам самим переведываться друг с другом и выбирать себе вождей, которые заслоняли собой королей, и последним оставалось одно — перебегать от одной партии к другой, так и Людовик XVIII, не имея бесстыдной откровенности Екатерины Медичи, действовал, однако, совершенно в ее духе: готов был, смотря по обстоятельствам, нынче идти к обедне, а завтра к проповеди; не умея направлять движения, он дал усилиться и разнуздаться партиям и погубил свою династию. Скажут: положение Людовика XVIII было совершенно иное, чем, например, положение Генриха IV; Франция при Людовике XVIII получила либеральную конституцию, для утверждения которой личность короля не должна была сильно выдаваться вперед. Но не должно забывать, что Франция только что начинала свою новую, конституционную жизнь, и начинала ее при обстоятельствах неблагоприятных; слабость новорожденного строя была очевидна при каждом движении машины; король с ясным, определенным

политическим взглядом и с сильной волей должен был тут явиться на помощь и отстранить неблагоприятные условия, мешавшие укреплению нового устройства; это новое устройство было монархическое; его судьба тесно была соединена с судьбою восстановленной Бурбонской династии в виду двоих врагов — республики и бонапартизма. Для низложения этих врагов, для утверждения конституционной монархии личность первого конституционного монарха должна была сильно выдаваться вперед, особенно среди французского народа, который по природе доступнее другим обаянию сильной личности. Сравнение с Генрихом IV является не случайно: поведение первого Бурбона относительно большинства и меньшинства должно было служить образцом для восстановленного Бурбона; большинство и меньшинство должно было удовлетворить немедленно и потом сильной рукой удерживать их от возобновления борьбы; сильной рукой сдерживать людей, которые бы стали провозглашать, что удовлетворение недостаточно.

Несостоятельность первого короля восстановленной династии была главным неблагоприятным условием для его утверждения, для прекращения революционного движения. Вторым условием было разделение в доме королевском. Наследником бездетного Людовика XVIII был брат его, граф Артуа, человек, уступавший ему в уме и образованности, но имевший цельную натуру, не способный изменять своим убеждениям, своим привязанностям; он явился в новую Францию полным представителем старой, и потому, разумеется, все те, которые сочувствовали старой Франции, сосредоточились около него. Король не мог иметь влияния на брата, не умел заставить его сообразоваться со своими взглядами, потому что эти взгляды не были ясно определены; не умел заставить приверженцев старой Франции подчиниться своей воле, потому что эта воля была слаба, и, таким образом, передал их брату, делал из своего наследника главу партии. Имея главу в наследнике престола, имея, следовательно, за себя будущее, эта партия действовала мимо короля, на которого, как на слабого старика, не могшего долго жить, она мало обращала внимания. Ее претензии, не могшие, разумеется, уменьшиться вследствие такого положения, раздражали приверженцев новой Франции, которые, видя, что наследник престола не будет за них, враждебно относились к старшей линии Бурбонов. Граф Артуа был уже старик, но и сыновья

его давали мало обеспечения для новой Франции: старший, герцог Ангулемский, не отличался ни дарованиями, ни привлекательным характером; он был женат на двоюродной сестре своей, дочери Людовика XVI; бездетная, без привязанностей, которые бы могли смягчить ее душу, сделать ее доступною радостям настоящего и надеждам в будущем, герцогиня Ангулемская жила прошедшим, из которого вынесла непримиримую ненависть к новой Франции и не скрывала этой ненависти. Бездетность герцога Ангулемского сосредоточивала надежды приверженцев династии на втором сыне графа Артуа, герцоге Беррийском, отличавшемся чрезвычайно неприятным характером, резкими, раздражающими манерами.

Подле старшей линии Бурбонов, обещавшей так мало для будущей новой Франции, существовала младшая, Орлеанская линия, представитель которой Людовик-Филипп уже давно не мог скрыть наследственных честолюбивых стремлений. Его ментор, знаменитый Дюмурье, еще в 1795 году писал к предводителю Вандейского восстания Шаретту, что Франция нуждается в монархии, только не в монархии Людовика XIV; что нужен король, который третьему сословию дал бы то, что Бурбоны могли бы дать только дворянству и духовенству; что единственною возможною связью между республикой и монархией служит молодой герцог Орлеанский. Ученик усвоил себе вполне взгляд учителя. Вот в каких выражениях давали знать в Россию о его деятельности в Англии в 1804 году: «Он молод, но не вдается ни в какие развлечения, свойственные молодости. Хитрый, интриган, честолюбивый чрез меру, он проводит свои досуги за ландкартами, всюду поддерживает корреспонденцию, даже во Франции. Какой-то Монжуа, который принимает иногда немецкую фамилию Фроберг, его поверенный, беспрестанно разъезжает из Англии на континент по поручениям своего принца. Принц, по видимому, помирился с Людовиком XVIII, но не перестает добиваться французского престола, и если Бонапарт будет свержен, то друзья герцога Орлеанского представят, что от законного монарха не будет никакой безопасности для людей, вотировавших смерть Людовика XVI, также для приобретших имения эмигрантов и духовенства, тогда как герцог Орлеанский, так сильно впутанный в революцию, не будет никому мстить и не будет покровительствовать эмигрантам».

Герцог готов был принять предложение шведского короля Густава IV служить под шведскими знаменами против наполеоновской Франции; готов был принять начальство над английской экспедицией в Мексику или Буэнос-Айрес, или на Ионические острова. В 1808 году он явился в Гибралтаре, чтобы принять участие в испанском восстании против французов, но не был допущен до этого англичанами по представлениям Людовика XVIII. В 1814 году, когда возник вопрос о том, кому занять праздный престол французский, то мысли об удобствах младшей линии Бурбонов перед старшею необходимо пошли в ход; их разделял и император Александр; но существовало сильное возражение: старшая линия имела преимущество пред всеми другими соискателями по законности, легитимности; как скоро начала этой законности нарушались и выставлялись выборы, то герцог Орлеанский не имел преимущества пред другими соискателями: почему, например, его должно было предпочесть Бернадоту? Людовику-Филиппу оставалось продолжать заявлять свое сочувствие к новой Франции, заявлять свой либеральный образ мыслей, чем он приобретал расположение русского государя; так, он принял поручение императора Александра внушить королю Обеих Сицилий о необходимости переменить прежнее поведение на более либеральное. Советы, подкрепленные именем могущественного императора, решителя судеб Европы, подействовали: палермский кабинет поспешил засвидетельствовать, что король постарается мудрым управлением уничтожить невыгодное впечатление, произведенное на императора Александра его прежним поведением; что дурной советник, именно духовник королевский, потеряет прежнее значение и не будет вмешиваться ни во что. Между тем Людовику-Филиппу оставалось дожидаться, пока старшая линия будет низвержена вследствие своей слабости, и он принял это выжидательное положение — положение ворона над умирающим.

Но Людовик-Филипп, предвидя низвержение старшей линии, не понимал ясно главной причины этого низвержения: не понимал, что для Франции нужно правительство сильное, король, сильный своими достоинствами, энергический, способный стоять наглядно в челе народа, способный давать чувствовать, что сильная рука правит, направляет и умеряет движение. Употребляя самые легкие средства для обращения на себя внимания недовольных старшей линией,

либеральничая и популярничая, усиливая болезнь, которую страдала Франция, потому что эта болезнь была ему выгодна, Людовик-Филипп вовсе не обладал средствами по достижении своей цели остановить развитие болезни. Он страдательно дал себя в распоряжение обстоятельствам; это страдательное положение, бывшее следствием слабой природы человека, в свою очередь, разумеется, не могло развить в нем силы, энергии. Таким образом, и младшая линия Бурбонов в своем представителе оказывалась несостоятельной. Восстановленные Бурбоны думали, что они возвращаются владеть отцовским достоянием, и не понимали, что они должны завоевать Францию, как завоевал ее Генрих IV; Франция 1814 года была похожа на сказочную богатырку, соглашавшуюся отдать свою руку только тому богатырю, который прежде победит ее в бою; между Бурбонами обеих линий не было ни одного такого богатыря.

К этим неблагоприятным условиям, заключавшимся в личных свойствах членов восстановленной династии и в их взаимных отношениях, присоединялось неблагоприятное отношение массы французского народа к этой династии. Масса была равнодушна к Бурбонам. Оставляя уже в стороне характер французского народа, легкость, с какою он забывает старое и бросается на новое, не надобно упускать из внимания того, какие события пережил этот народ: в какие-нибудь двадцать лет он видел столько внутренних перемен, столько движения, подвигов, славы, что это короткое время, равнявшееся векам по богатству событий, могло отбить у него память о прошлом. В крайнем изнеможении, с равнодушием, от этого изнеможения проистекавшим, Франция приняла Бурбонов. Восстановленная династия не пользовалась этим временным изнеможением Франции, чтобы завоевать ее, пустить в ее почву глубокие корни, и потому, как скоро изнеможение исчезло, исчезли и Бурбоны, не способные совладать с восстановленными силами и направить их. Реставрация, произведенная наспех в Париже, в известном кружке заставила Францию вспомнить о Бурбонах; но вместе с тем она помнила хорошо и недавно прожитое ею после старой монархии, она помнила хорошо республику и империю.

Таким образом, история создавала для Франции три партии: бурбонскую, или роялистскую, республиканскую и императорскую, или бонапартистскую; трудность для Бурбонов старшей линии

уладиться с новой Францией создавала еще четвертую партию — орлеанскую. В 1814 году три последние партии — республиканская, императорская и орлеанская — были слабы: республиканская не могла собрать своих сил при Наполеоне; императорская пала вследствие несчастий империи; орлеанская была в зародыше. Роялистская партия была сильнее других; но не должно забывать, что она усилилась не собственными средствами; не она своими силами, средствами, добытыми ею внутри Франции, низвергла Наполеона и произвела реставрацию; наоборот — реставрация, произведенная падением Наполеона пред усилиями коалиции, подняла роялистскую партию. События французской истории с 1814 года, как ближайшие следствия этой истории с 1789 года, представляют нам борьбу названных партий. Борьба эта, разумеется, не могла ограничиться одной парламентской сферой; каждая партия имела целью перемену династии или перемену образа правления: отсюда ошибки и ослабление одной партии, ведущие к усилению других, вели в то же время к революции, которой пользовалась наиболее по обстоятельствам усилившаяся партия. Условия такого хода борьбы, такого хода истории заключаются: в силе первого переворота, направленного к совершенному уничтожению старого, и в трудности поэтому установить что-нибудь прочное, ибо исчезли предания, исчезло уважение к существующему на факте как к чему-то освященному, веками нерушимому; в привычке отсюда решать каждое столкновение переворотом как средством самым легким; в большом количестве партий, богатом наследстве революции и ее следствий; в несостоятельности королей восстановленной династии, давших своею слабостью простор партиям; наконец, в характере народа, жадного к борьбе внутренней и внешней, жадного и привычного к борьбе партий и к решению ее уличным боем в Париже, ибо, изучая историю Франции в XIX веке, не должно забывать Лиги и Фронды.

С первых же дней пребывания восстановленных Бурбонов в Тюльери обозначились все те отмели и подводные камни, между которыми им нужно было проводить свой старый, поврежденный бурей корабль. Немедленно же Бурбоны явились перед глазами новой Франции, окруженные привидениями, выходцами с того света; но эти выходцы спешили показать, что у них есть плоть и кровь. Старинное высшее дворянство, получившее придворные должности, стремилось

занять и должности правительственные, но тут оно встретило соперников, людей империи, похитителей в его глазах, как похитителем был сам император в глазах законного короля: если восстановлена власть законная, то справедливо ли верных слуг этой законной власти отстранять в пользу слуг власти незаконной? Старинное дворянство второстепенное требовало возвращения имений и мест, занятых другими, новыми людьми, также слугами власти незаконной. Людовик XVIII думал, что, сопоставивши старых и новых людей при страшном взаимном ожесточении, он примиряет старую и новую Францию! Понятно, что представители старой Франции называли короля якобинцем и сосредоточились около наследника престола графа Артуа, который был последовательнее брата. «Захотели, — говорил он, — конституционного правления; попробуем его: если через год или через два дело не пойдет на лад, то возвратятся к естественному порядку вещей». Роялистским депутатам юга он сказал: «Будем пользоваться настоящим, господа, а за будущее я вам ручаюсь». Это ручательство за будущее заставляло людей новой Франции искать взорами другого человека, который бы поручился им в другом смысле за будущее; их взоры встречались с герцогом Орлеанским, который своей приветливой улыбкой говорил им: «Все, что только вам угодно, господа, — все в будущем».

Борьба начала немедленно разыгрываться; призыв к ней послышался с церковных кафедр. К борьбе политических партий присоединялась борьба религиозная.

Христианство заявляет свою вечность тем, что ставит наивысшее требование для нравственного человеческого совершенствования, и тем, что отрешается от всех временных, преходящих форм и, имея дело с внутренним миром человека, с его нравственным совершенствованием, посредством этого совершенствования действует и на улучшение общественных форм. Отсюда понятно, что христианство сильно, когда свободно от примеси вещей мира сего, и слабеет по мере приобщения к нему чуждых начал. Так, оно ослабело в католицизме, который запутал религию в политические отношения, сделал «царство не от мира сего» царством мира сего и возбудил противодействие, выразившееся в протестантизме XVI-го и неверии XVIII-го века. Но попытка XVIII-го века без помощи религии, во имя разума человеческого создать новое, лучшее общество не удалась;

отчаянные борцы за царство разума должны были после ужасов французской революции воскликнуть, подобно Юлиану: «Ты победил. Галилеянин!» После этого естественно и необходимо должно было начаться обращение к религии, к христианству. Жозеф де-Местр имел полное право говорить людям, жаловавшимся на революцию: «На что вы жалуетесь? Скажите, пожалуйста! Разве вы не сказали формально Богу: „Мы Тебя не хотим, выходи из наших законов, из наших учреждений, из нашего воспитания!“ Что же сделал Бог? Он вышел и сказал вам: „Делайте как знаете!“ Результат — милое царствование Робеспьера. Ваша революция — это великая и страшная проповедь, произнесенная Провидением человечеству; проповедь состоит из двух частей; первая: злоупотребления порождают революцию — эта часть относится к государям; вторая часть: злоупотребления все же лучше революции — относится к народам».

Но в страшной проповеди была еще третья часть, которую не расслушали люди с направлением Жозефа де-Местра. Третья часть состояла в том, что не должно чистое смешивать с нечистым; что не должно папою и иезуитами отпугивать народы от христианства; что христианство могло быть усилено, восстановлено только теми средствами, какими оно было первоначально распространено; что правительство может содействовать распространению в народе христианства одним способом — когда оно само проникнуто христианским духом, действует, постоянно сообразуясь с правилами христианской нравственности. Но когда вместо духовных средств правительство станет действовать средствами внешними, материальными, предписаниями, принуждениями, приманками, то нанесет только страшный вред религии, породит, с одной стороны, толпу лицемеров и ханжей, с другой — толпу ожесточенных врагов религии, ибо нельзя к чистому прикасаться нечистыми руками.

В описываемое время можно было с успехом действовать для распространения религиозности во Франции, если бы французское духовенство умело приблизиться к чистоте голубиной и мудрости змеиной; если бы было способно действовать духовными, апостольскими средствами. Но французское духовенство не имело среди себя людей, сильных личными средствами, которые бы производили могущественное впечатление своею мудростью и чистотою. На самом верху оно представляло одни посредственности,

не способные понять свое положение, его выгоды и невыгоды, не способные сдерживать и направлять меньших собратий своих. И духовенство взглянуло на реставрацию, как взглянули на нее эмигранты, то есть как на восстановление старины, нарушенной революцией, причем всякая сделка с последней была в их глазах беззаконием, грехом. И духовенство, подобно эмигрантам, прежде всего ухватилось за самый сильный материальный интерес, разделявший старую и новую Францию: во время революции имения эмигрантов и духовенства были распроданы; в покупщиках этих имений новая Франция приобрела самых сильных приверженцев, старая — самых злых врагов, боявшихся, что старые владельцы потребуют назад свои имения. Хартия Людовика XVIII обеспечивала новых владельцев; но старые не обращали внимания на хартию и продолжали возбуждать опасение новых; тщетно последние опирались на хартию; роялистские журналы отвечали на это, что закон мог обеспечить материальную сторону продаж, но он не мог сообщить им нравственности, не мог сделать, чтобы дело безнравственное превратилось в дело честное пред общественной совестью.

В эту борьбу между старыми и новыми светскими землевладельцами вмешалось французское духовенство, соединив свое дело с делом старых землевладельцев, и стало ратовать за материальный интерес средствами, вовсе не для этой цели назначенными, чем произвело соблазн и унизило свой нравственный характер ввиду многочисленных врагов, порожденных XVIII-м веком и революцией: с церковных кафедр раздались возгласы против продажи церковных и эмигрантских имений, священники не давали причастия покупщикам этих имений. В Париже был случай, который показывал, что духовенство хотело оставаться вполне верным своим старым взглядам и обычаям: оно отказалось хоронить актрису Рокур.

Духовенство жило одними воспоминаниями старины и тем возбуждало против себя новую Францию. Правительство своей неловкостью увеличивало раздражение. Оно верило, что можно восстановить и усилить религиозность во французском народе внешними мерами, правительственными распоряжениями. Король и брат его думали, что правительственным предписанием можно легко, вдруг ввести во Франции такое же строгое соблюдение воскресных дней, какое они видели в Англии, не обратив внимания ни на характер

французского народа, ни на привычки, приобретенные им со времени революции. По настоянию короля главный директор полиции, не посоветовавшись с министрами, издал приказание не работать в воскресные и праздничные дни, купцам не торговать, не отпирать своих лавок и магазинов; кофейные и другие заведения подобного рода не могли быть отперты в продолжение церковной службы; другим предписанием восстанавливались церковные церемонии во всей Франции, причем во время процессии с Телом Христовым предписано было украшать все дома. Предписания возбудили сильные волнения, особенно между людьми, которых материальные интересы были ими нарушены, между лавочниками, чернорабочими и т. п. Протестанты кричали, что нарушается свобода вероисповедания, выговоренная хартией, потому что протестанта принуждают украшать свой дом для церемонии, в которой он видит выражение суеверия; детей реформации, которых было немного, поддерживали своими криками дети революции, или так называемые философы, которых было очень много. Правительство обнаружило при этом удобном случае свою неспособность и слабость; перепуганные министры стали требовать, чтобы директор полиции подал в отставку и тем утишил бурю. Самый резкий, самый скорый на жесткое слово и вместе с тем, как обыкновенно бывает, не самый твердый и храбрый из членов королевского дома, герцог Беррийский накинулся на несчастного директора полиции. «Мне хорошо во Франции, — говорил герцог, — я не хочу возвращаться туда, откуда мы приехали, а это непременно случится, если мы дадим волю ханжам».

Здесь был необдуманый поступок, невнимание к свойствам среды, в которой правительство должно было действовать. Но были случаи, где Бурбоны без нарушения своего царственного и человеческого достоинства не могли уклониться от столкновения с новой Францией. Торжественная заупокойная служба по Людовику XVI и его семейству в присутствии королевской фамилии была торжественным упреком для многих и многих; эта служба была тяжела и для тех, к которым мог относиться упрек в страшном деле или в сочувствии к нему, и для тех, которые в этих воспоминаниях видели торжество представителей старой Франции; многие готовы были жалеть и раскаиваться; но тяжело было унижение, в которое людей новой Франции ставило это раскаяние перед людьми старой Франции,

не имевшими в чем раскаиваться. И последние не сдержались при этом случае; не скажем — не хотели сдержаться, потому что нам, спокойно смотрящим на дело, представляется необходимо вопрос: могли ли они сдержаться? Всякое торжество есть следствие потребности выразить известное чувство и в свою очередь служить к возбуждению, усилению этого чувства. Обратим внимание и на характер народа, с которым имеем дело, и не удивимся, что представители старой Франции по поводу этих печальных торжеств сильно высказали свои чувства; что в печати явились жестокие выходки против революции и ее следствий, против идей, ею порожденных. Эти выходки, разумеется, сильно раздражили приверженцев новой Франции и не сочувствовавших революционным увлечениям, и раздражение было тем сильнее, что нельзя еще было вполне его высказать.

Перчатка была брошена, вызов на смертельный бой между старой и новой Францией сделан, — вызов, необходимый уже вследствие самого появления среди новой Франции представителей старой Франции; вызов, необходимый среди народа, страстного к борьбе, мало способного к сделкам, и при отсутствии сильной руки, которая бы развела людей, готовых броситься друг на друга, и дала другой выход их возбужденным силам. Но как ни необходима была борьба, как ни сильны были побуждения к ней вследствие ошибок слабого правительства, все же эта борьба не могла вдруг повести к перевороту, к свержению этого слабого правительства: Франция была слаба, истощена; ей нужно было собраться с силами; партиям надобно было резче обозначиться; Франция была застигнута врасплох падением империи и реставрацией — ей нужно было несколько времени, чтобы осмотреться в своем новом положении. Но, прежде чем она осмотрелась, переворот совершился; как будто по театральному свистку, декорации переменились: Бурбоны исчезли из Тюльери, где опять явился император. Этот внезапный переворот совершился вследствие отношений войска к Бурбонам.

«Империя» и «войско» были понятия, немыслимые друг без друга; империя пала вследствие того, что императорское войско было не в состоянии бороться с войсками целой Европы вследствие того, что победа оставила его знамена. У войска отняли полководца, водившего его к победам, давшего ему такое великое значение, такое выгодное положение. Все, что было враждебно императору, было

враждебно и войску — орудии силы и власти императора; и все это, враждебное императору, теперь торжествовало, и реставрация была следствием этого торжества: каково же было положение войска, его отношение к Бурбонам? Войско было императорское; победы, возбуждавшие к нему сильное сочувствие в воинственном народе, были победы императора, это нестерпимо кололо глаза представителям старой Франции, раздражало, возбуждало их неприязнь к войску, которое платило им тою же монетою. Императорское войско было побеждено, унижено войсками союзных государей; представители старой Франции превозносили как благодетелей врагов, помрачивших военную славу новой Франции. Правительство Бурбонов было без войска; но войско существовало — и было против правительства. Для утверждения восстановленной династии ей нужно было создать свое войско; но этого было мало: нужен был новому войску знаменитый полководец из Бурбонов или из их ревностных приверженцев, который был бы способен победить старое императорское войско или своими победами мог заставить войско забыть о победах императора. И то и другое было невозможно, а других средств привязать к себе императорское войско не было у Бурбонов.

При первом вступлении Бурбонов в Тюильри вражда их к императорскому войску, страх их перед ним обнаружился самым резким образом: они никак не могли решиться провести ночь под охраной наполеоновских гвардейцев, и гренадеры императорской гвардии были отосланы с дворцовых караулов. Этим первым действием восстановленной династии вполне обозначилось отношение ее к войску. Войско, оттолкнутое таким образом от правительства, составило необходимо народ в народе со своими особыми интересами; оттолкнутое новым государем страны, оно продолжало жить памятью о старом императоре; но это не была одна только память. Бурбоны, как было естественно в их положении, поспешили создать себе свое войско: восстановлена была королевская гвардия (*maison militaire du roi*); собрано было 10.000 дворян, старых и молодых, и дано им содержание, равнявшееся содержанию 50.000 простого войска (именно 20.000.000). Явилось королевское, бурбонское войско; а другое, старое — войско было чье? Оно, разумеется, осталось войском императора Наполеона, не могло на себя смотреть иначе, ибо само правительство, все смотрели на него так; поэтому неудивительно, что в казармах

беспрестанно раздавались клики: «Да здравствует император!» Войсковая масса, как вообще народные массы, не может действовать во имя отвлеченных принципов, она приковывается к известной личности, к известному имени, и легко приводит ее в движение этим лицом, этим именем. От сильного усердия и уважения до суеверного поклонения переход легок. А тут делалось все, чтобы привязать войско еще сильнее к имени Наполеона: армию сокращали; до 16.000 императорских офицеров были отпущены на половинном жалованье; и это в то самое время, когда набрана была королевская гвардия; когда в армию и флот помещали старых роялистов; когда морским офицерам-эмигрантам, вступившим теперь в королевский флот, зачиталось время службы их иностранным державам; трехцветная кокарда новой Франции была отнята у войска и заменена белой кокардой старой Франции. Много старых наполеоновских солдат возвратилось во Францию из плена, из гарнизонов иностранных крепостей, сданных союзникам только в последнее время; у этих старых солдат не могли отнять трехцветной кокарды; они объясняли реставрацию тем, что в их отсутствие иностранцы по заговору дворян и попов вошли во Францию и учредили новое правительство.

Таким образом, во Франции стояло лагерем враждебное правительству войско, не обнаруживавшее явно вражды только по отсутствию полководца, ожидавшее его возвращения, и правительство не имело другого своего войска противопоставить этой враждебной вооруженной силе: оно не имело ни войска, ни полководца. Бурбоны старались привлечь к себе наполеоновских маршалов; но только правительства сильные могут надеяться крепко привязать к себе людей, перешедших по силе обстоятельств и по слабости убеждений из враждебного лагеря. Люди подобного рода служат усердно только сильному правительству; как же скоро правительство обнаруживает слабость, непрочность; как скоро подле правительства образуются другие силы, то эти люди обыкновенно позволяют себе получать выгодные места, брать награды у правительства и в то же время заискивать у других сил, показывать пред ними, что они служат правительству только так, вовсе не из усердия; показывать свое недовольство правительством, позволять себе злословить его, насмехаться над ним.

Только правительству сильному выгодно подкупать способных людей; правительство слабое напрасно истрачивается на это — пример несчастного Людовика XVI служит тому доказательством. Притом же слабость восстановленных Бурбонов высказывалась всего яснее у них во дворце: король не имел твердости и силы заставить окружающих сообразоваться со своей волей. Если он ласкал наполеоновских маршалов, желал привязать их к себе, желал слить старую знать с новой, то придворные его не хотели этого слияния, и особенно женщины давали полную свободу своим чувствам: жена маршала Вея была оскорблена пренебрежением, оказанным ей придворными дамами. Но и мужчины были не очень осторожны: восторг придворных пред герцогом Веллингтоном, победителем войск императорских, конечно, не мог быть приятен маршалам императорским.

Партия бонапартистская была сильна тем, что за нее была вооруженная сила; кроме того, она могла рассчитывать на большинство сельского народонаселения, которое, будучи чуждо конституционным вопросам, позабыв о Бурбонах в революционное время, по характеру своему находилось под обаянием личности императора как олицетворения силы и славы, тогда как восстановленные Бурбоны, бесцветные, безличные, были приведены иностранцами. Кроме сельского народонаселения бонапартистская партия могла рассчитывать и на низшее городское народонаселение; наконец, эта партия была сильна тем, что имела ясно определенную цель. Не в таком выгодном положении находилась либеральная, или конституционная, партия, хотя и многочисленная в высших гражданских сферах. Ее положение было затруднительно по отношению к правительству, которое хотя уступило стране либеральную конституцию, но представляло мало ручательства, что эта конституция будет поддержана на будущее время. Другое затруднение этой партии состояло в том, что конституционный вопрос во Франции был спорный, решался теоретически на непрочной почве, взрытой революцией; разнородные мнения и взгляды перекрещивали друг друга — отсюда темнота, неопределенность, легкое и бесплодное отрицание. По всему было видно, что здание конституционной монархии во Франции не было готово, как только была дана хартия; что его нужно было долго и долго отстраивать; а легко ли было это

сделать на колеблющейся почве, при смутных отношениях правительственных, при борьбе партий, при известном характере народа, способного и привычного к разрушению старого, способного проповедовать новое, но невыдержливого, мало способного на тяжелый, усидчивый труд созидания?

Слабость либеральной партии во Франции, слабость, с которой она до сих пор страдает, высказалась в описываемое время в органе этой партии, «Цензоре», издававшемся двумя молодыми адвокатами — Контом и Дюнуайе. Несмотря на то что в хартии была обещана свобода печати, правительство сочло нужным по обстоятельствам времени удержать цензуру для сочинений, имевших менее 30-ти печатных листов, вследствие чего либеральные журналы, чтобы избавиться от цензурных сдержек, выходили большими томами. Страстный поклонник свободы, равенства, справедливости, демократии, «Цензор» громил крайности революции, военный деспотизм, не был против Бурбонов, но отвергал принцип божественного освящения королевской власти, отвергал аристократию, влияние духовенства. Мало ясности, определенности мог сообщить «Цензор» своим читателям при обсуждении важнейших вопросов и мог усиливать только вредную привычку к бесплодному либеральничанью, — привычку легко обходиться, легко порешать с серьезными явлениями политической жизни народов, пробавляться громкими словами и фразами. Положительная сторона журнала относилась к вопросам торговым, промышленным, политико-экономическим; но эта сторона не могла удовлетворять общество, не успокоенное насчет решения важнейших вопросов.

«Цензор» не допускал никакой сделки между старой и новой Францией; он был органом того мещанского направления, которое, усиливаясь все более и более, стремилось к господству и достигло его. Примирить старую Францию с новой задумал первый талант времени, Шатобриан. Мало французских деятелей представляло в такой чистоте кельтическую натуру, живую, страстную, восприимчивую, способную бросаться из одной стороны в другую, честолюбивую, тщеславную, созданную для борьбы, ведущую борьбу для самой борьбы. Бретонский дворянин Шатобриан был воспитан в старом, уединенном замке, в фамилии, бедной настоящим, которая жила одною памятью о прошлом; гордый своим происхождением отец, набожная мать,

восторженная сестра — вот первое окружение будущего знаменитого писателя. Лишенный твердой, здоровой, школьной, научной пищи, он подчинился безраздельному господству фантазии. С таким-то приготовлением молодой Шатобриан перекинулся из своей провинции в Париж, где готовилась революция. Первая оргия революции, взоткнутые на пики головы произвели такое сильное впечатление на Шатобриана, что он тогда же решил эмигрировать. Но политическая буря уже расшевелила его: поднялось честолюбие, страшное желание играть роль; но какую избрать роль при том страшном хаосе, без ясного понимания, в чем дело? Вдруг приходит ему в голову мысль открыть северный путь из Европы в Азию — и без приготовления, без средств он отправляется в Америку.

Возвратясь оттуда, ничего не сделавши, он узнает, что родные его гибнут на гильотине, и пристает к эмигрантам; но здесь отталкивают его односторонность, мелкость интересов у людей, мелких по натуре: Шатобриан удаляется в Англию и принимается за перо. В первом его произведении — «Исторический опыт о революции» — ярко выразились столкновения двух впечатлений, вынесенных автором: одно — из революционной Франции, другое — из эмигрантского лагеря. Он нападает на революцию, но объявляет ее неизбежной; нападает на абсолютизм, но республику в развращенное время считает невозможной; в теории признает суверенитет народа, на практике — смотрит на него с отвращением; отрицает всякую гражданскую свободу и допускает только личную; кто не хочет зависеть от людей, тот должен обратиться к жизни диких. О Христе говорит как о человеческом явлении; папство, реформацию, всю историю христианства представляет в черном свете, дает христианству только два года жизни и ждет новой религии; господство закона называет отвратительным тиранством, появление законов и правительств — величайшим несчастьем. Впоследствии сам Шатобриан называл свой «Опыт» противоречивой, отвратительной и смешной книгой; но книга эта имеет свое значение: в ней вполне отразился весь ход понятий, явившийся в последние годы XVIII-го века вследствие революции; весь этот хаос удобно прошел через горячую голову молодого кельта, который в детстве питался мечтами в феодальном замке, встретился с жизнью в революционном Париже и потом в эмигрантском лагере и в промежутки побывал в Америке и прочел кое-что. У Шатобриана

сильно высказалось и это отчаяние, которое овладело тогда людьми, видевшими, что революция не обновила мира; отчаявшись в возможности этого обновления человеческими средствами, они стали ждать помощи свыше; но, рассорясь с прошедшим и настоящим, они стали ждать новой религии.

Но уже это самое ожидание новой религии предвещало скорое обращение к христианству, религии нестареющей, всегда способной обновлять человека и общество. Два года прошло, новая религия не являлась, обращение к христианству становилось все сильнее и сильнее, и Шатобриан является глашатаем и пособником этого обращения. После сильного извержения непереваренных впечатлений и понятий в «Опыте о революции» поворот в другую сторону совершился быстро в горячей натуре Шатобриана. В то время, когда Бонапарт, удовлетворяя требованию большинства французского народа, заключил конкордат с папою; в тот самый день, когда в Нотр-Даме было восстановлено богослужение, в «Монитёрте» было объявлено с похвалою о новой книге Шатобриана «Дух христианства», заключающей в себе поэтическое оправдание обстановки христианства, как она образовалась в Западной католической Европе. Успех книги был чрезвычайный; автор хвастался, что он своей книгой убил влияние Вольтера, спас дело, которое Рим не мог поддержать, окончил революцию и начал новую литературную эпоху. Люди, не сочувствовавшие книге, говорили в насмешку, что Шатобриан доказал, что христианство дает больше материалов для оперы, чем другие религии. Автор преувеличивал достоинство своей книги; но зато и насмешники против воли своей указывали на важное ее значение для большинства. Вольтер сильно повредил религии, действуя могущественным средством для большинства, особенно во Франции, действуя насмешкою, он бил не в сущность дела — бил во внешнее, накладное, но производил сильное впечатление на большинство, которое обыкновенно не способно проникнуть в сущность дела, ограничивается одним внешним, накладным. Книга серьезная, философско-богословского содержания, и потому доступная немногим, не могла бы с успехом противодействовать вольтерианизму; надобно было подействовать на большинство доступным для него образом; надобно было показать, что то, над чем смеялись, не смешно, а прекрасно. Многие и многие, желавшие обратиться к христианству,

но удерживаемые страхом моды, насмешки, теперь благодаря Шатобриану освободились от этого страха: то, что было поругано, явилось теперь в привлекательном свете. Если до сих пор древний греко-римский мир производил сильное впечатление красотой своей обстановки и если Шатобриан доказал, что христианство своей обстановкой выше других религий, больше дает человеку человеческой пищи, то понятно, как его книга должна была содействовать перемене взгляда, как должен был выиграть тот мир, в котором образовалась обстановка христианства.

Бонапарт принял хорошо книгу Шатобриана как соответствовавшую целям правительства; автор вступил в службу этого правительства, но скоро оставил ее: убийство герцога Ангиенского произвело на него такое же сильное впечатление, как и головы на пиках революционеров. Прошло десять лет. Политическое низвержение Наполеона совершилось; толпа, жадная на поругание падшего величия, стаскивала статую императора с Аустерлицкой колонны; но этих низвержений было мало, понадобилось низвержение нравственное, и Шатобриан был тут со своей громовой брошюрой, в которой приписывалось Наполеону все безнравственное; Людовик XVIII был очень доволен услугою, оказанной ему Шатобрианом: действительно, на первых порах и при благоприятных обстоятельствах впечатление было сильное; но скоро оказалось, что унижение противника не могло восполнить недостаток величия в представителе Бурбонов, и Наполеон вырос снова.

Теперь Шатобриан выступает с новой брошюрой, написанной в ином, примирительном духе («Политические размышления о некоторых новейших сочинениях и об интересах всех французов»). Мы часто встречаем добрых людей, которые говорят: «И N.N. прекрасный человек, и M.M. прекрасный человек; и как жаль, что такие прекрасные люди не терпят друг друга, — что бы им помириться? они оба рождены, чтобы любить друг друга!» Иногда добрые люди стараются помирить прекрасных людей и, к крайнему удивлению и огорчению своему, убеждаются, что примирение невозможно. Шатобриан в своем сочинении старается уверить, что старая Франция, старое управление были прекрасны; что падение их должно быть вечным предметом сожаления; но и новая Франция также прекрасна — у нее есть хартия, которая не представляет что-нибудь

совершенно новое: свобода была в старой Франции, как во всех других европейских государствах; французская конституция не есть подражание английской, потому что английский парламент есть не иное что, как усовершенствованное подражание французским генеральным чинам, так что французы, по-видимому, только подражают своим соседям, а на самом деле возвращаются к учреждениям своих отцов. Новые французы не так легкомысленны, как старые; более естественны, более просты, более отличаются народным характером; молодежь новой Франции, воспитанная в лагере или уединении, более серьезна и своебытна; религиозность новых французов не есть дело привычки, но результат убеждений; нравственность не есть плод домашнего воспитания, но следствие просвещенного разума. Высшие интересы заняли внимание: целый мир прошел перед нами. Когда приходится защищать свою жизнь; когда перед глазами падают и возвышаются троны, то человек становится серьезнее, чем в то время, когда единственным предметом разговора служит придворная интрига, прогулка в Булонском лесу. Французы очень возмужали против того, как они были тридцать или сорок лет тому назад.

Людовик XVIII был очень доволен и этой брошюрой Шатобриана. «Начала, в ней развитые, должны быть усвоены всеми французами», — сказал король. Действительно, как было бы прекрасно, если б все французы вдруг помирились; как было бы, приятно и спокойно, особенно старику в его креслах. И было много французов, которые готовы были помириться; но все затруднение состояло в том: как, на чем помириться? Шатобриан восхитительно доказал, что старая и новая Франция, будучи обе прекрасны, должны помириться; но как? этого нельзя было, к сожалению, отыскать в его брошюре. И нашлись упрямцы между представителями и старой и новой Франции, которые не соглашались с знаменитым писателем: одни — насчет красот новой, другие — насчет красот старой Франции. В самом деле, если старая Франция была так прекрасна, то как же случилось, что ее вдруг сдали в архив? Вдруг явились люди, которые начали разрушать прекрасное здание; а другие, из преступной слабости или злонамеренности, спокойно смотрели на это, признавали законными всякую силу, всякий совершившийся факт, — и теперь эти люди правы, им должны уступить люди, которые, признавая, подобно

Шатобриану, прекрасное прекрасным, протестовали и протестуют против его разрушения, — люди, которые одни вели себя, как прилично мужам!

Приверженцы старой Франции объявили, что они не хотят в угоду Шатобриану смешивать людей самых добродетельных и самых честных с людьми самыми преступными; что им мало дела до равенства, свободы, прогресса, равновесия властей, происхождения и выгод представительного правления. И разумеется, они были совершенно правы, объявивши, что вполне довольны тою Францией, которая, по словам Шатобриана, была так восхитительна. Но всего более должно было оскорбить их то, что человек, выступивший защитником старой Франции, взявшийся вечно оплакивать падение прежнего управления, поступил изменнически, опозорил старую Францию, сказавши, что она занималась только придворными интригами да прогулками в Булонском лесу; что высшие интересы вызваны новой Францией. Демократы со своей стороны были очень недовольны похвалами старой Франции, которая была им ненавистна, и насмеялись они над декламаторскою галиматьею автора, над его энтузиазмом к средним векам. Удивительное дело! Кажется, расхвалил и тех, и других — и те, и другие рассердились.

Мириться было трудно, ссориться легко; легко было становиться на сторону старой или новой Франции. Четыре журнала ратовали в пользу первой (*Debats, Gazette de France, Quotidienne, Journal Royal*). Цензура мешала им прямо высказываться против хартии, но не мешала им вооружаться против конституционных начал, смеяться над их защитниками, позорить революцию, империю, восхвалять старую Францию, восхвалять испанского короля Фердинанда VII, восстановлявшего всецело старую Испанию. Странно было бы требовать, чтобы цензура запрещала им все это; а между тем выход подобных статей с позволения цензуры заставлял думать, что правительство руководит их направлением, потому что похвалы Наполеону или деятелям революции не позволялись. Для этого нужно было хитрить, что делал бонапартистский журнал «Желтый Карло». Журнал «искусств и литературы» «Желтый Карло» ратовал за классицизм, против романтизма как проистекавшего из стремлений обратиться к старине, к этим ненавистным средним векам. Тут цензура не могла ничего запрещать: это было дело невинное, литературное; где

же дело касалось политики, там «Желтый Карло» с благоговением отзывался о короле, о Людовике Желанном, порицал честолюбие Наполеона, его нелиберальное направление. Но при этом хитрый и злой «Карло» вооружился страшным, особенно во Франции, оружием — насмешкой, которою преследовал защитников реставрации: изобрел орден Гасильника, в кавалеры которого жаловал людей, известных своим обращением к старине; изобрел другой орден Флюгера — для тех, которые, быв прежде ревностными слугами и хвалителями империи, теперь стали пламенными роялистами; создан был тип провинциального дворянина, воздыхающего о возвращении феодализма; под Волтижерами Людовика XIV были осмеяны старые офицеры-эмигранты, явившиеся вместе с Бурбонами во Францию в старых костюмах, с требованием восстановления полной старины. Цель была достигнута: на что нельзя было явно нападать, то было подкопано насмешкой.

Таким образом, пригретые слабостью правительства, партии оживали одна за другой и расправляли свои силы. Шум, происшедший от этого действия оживающих партий, испугал английское правительство, которое вызвало из Парижа своего представителя, герцога Веллингтона, боясь, чтобы при вспышке революции знаменитый ее полководец не был задержан.

Представитель русского императора Поццо-ди-Борго смотрел иначе на дело: он видел слабость Бурбонов, неумение править, видел оживление партий, но не считал революцию близкой. По его мнению, правительственная машина шла плохо: король решает дело с одним министром, другие ничего не знают, как случилось по поводу распоряжения о соблюдении воскресных дней: один министр распорядился, все другие объявили, что ничего не знают. Маршалы принимают все от двора и не имеют деликатности признать себя довольными; у них недостает великодушия говорить с генералами и офицерами откровенно, что предписывает им закон чести вследствие новых обязательств их перед королем; будучи такими же придворными, как и другие, они не признаются, однако, что им хорошо при дворе, и даже выставляют противное. Нация далеко еще не уверена в утверждении Бурбонов на троне; некоторые рассчитывают на возвращение Бонапарта; другие — не потеряли из виду герцога Орлеанского. О Наполеоне серьезно не жалеет никто из тех, которые

хотят иметь и признавать отечество; но значительное число людей, которым выгоднее смута, желают иметь такого вождя, как он. В случае если бы обнаружилась серьезная реакция против короля, то корона будет предложена герцогу Орлеанскому.

В июне 1814 года Поццо-ди-Борго отправился к любимцу королевскому графу Блака, чтобы прочесть ему наставление, как должен поступать конституционный король: когда существует в стране народное правительство, то министерство должно быть королевским советом. При настоящих обстоятельствах надобно окружить палаты уважением, определить участь армии, оставить под ружьем такое число людей, которым можно правильно уплачивать жалованье, остальных отослать: они перестанут быть опасными, как скоро перестанут составлять корпус; устроить дела ордена Почетного легиона как можно деликатнее, чтобы не оскорбить кавалеров, и, главное, надобно рассуждать и решать все дела в Совете министров. Поццо-ди-Борго не скрыл от Блака те опасения, которые были возбуждены усилением его собственного влияния на короля.

До сентября 1814 года тянулось еще дело о браке великой княжны Анны Павловны с герцогом Беррийским, — дело, начатое еще по предложению Людовика XVIII из Англии. Этого брака сильно желали люди, которые хотели посредством влияния императора Александра оттянуть Бурбонов от старой Франции к новой; но различие исповеданий служило неодолимым препятствием. Император Александр требовал, чтобы его сестра имела свою православную церковь во дворце, и соглашался на одно — чтобы она присутствовала публично при всех католических церемониях. Король объявил препятствие неодолимым, но прибавил, что, не принимая русских условий, он и не отвергает их окончательно, а предоставляет императору и себе время подумать и найти какое-нибудь новое средство соглашения. Блака предложил Поццо-ди-Борго следующее: католический Могилевский митрополит, поговорив с великою княжною, даст знать министру королевского двора, что ее высочество показывает явное расположение к католицизму и что брак может окончательно побудить ее к публичному его принятию. Блака протестовал, что он не имеет инструкции от короля, но надеется, что король примет эту теологическую турнюру для отстранения всех препятствий и позволит великой княжне иметь греческую церковь,

предоставляя чудесам благодати подействовать со временем; кардинал Тонзальви предложил уговорить папу согласиться на теологическую турнюру. Но император Александр отвечал, что предложение Блака нельзя принять; Поццо-ди-Борго должен замолчать, дожидаясь, что придумает король, потому что он обещал думать. Так же окончилось дело и по испанскому предложению о заключении брака между великою княжною Анной Павловной и королем Фердинандом VII. Здесь королевские министры внушали русскому послу Татищеву, что брак великой княжны с герцогом Беррийским представляет очень отдаленную перспективу, тогда как брак ее с Фердинандом VII сделает ее тотчас королевой прекрасной страны. Что же касается до беспокойства, возбуждаемого в России относительно влияния монахов при испанском дворе, то власть их над королем вовсе не такова, чтобы могла быть опасной для великой княжны. Герцог Сан-Карлос умолял Татищева уверить императора, что великая княжна, ставши испанской королевой, будет одна управлять и мужем, и государством. Но император Александр велел отвечать решительным отказом вследствие религиозного препятствия.

Брак герцога Беррийского с русскою великою княжною не состоялся; влияние России, которого так желали умеренные либералы-роялисты, не усилилось; напротив, Людовик XVIII и министр его Талейран рассчитывали поднять славу реставрации, занять войско, отвлечь внимание войнолюбивого народа от внутренних дел войною против России и Пруссии в союзе с Англией и Австрией; но эти надежды были обмануты уступчивостью России и Пруссии в деле польском и саксонском, и французское войско скоро нашло себе занятие.

Мы видели, что благодаря слабости Бурбонов партии оживали во Франции, расправляли свои силы; но ни одна из них не усилилась до такой степени, чтобы могла произвести революцию. Переворот произошел не изнутри, а извне, когда среди войска, недовольного реставрацией, сохранившего вполне сочувствие к империи, явился знаменитый император с трехцветным знаменем. Положение, созданное наспех союзниками для Наполеона, было положение невозможное: все понимали, что человеку, который недавно предписывал законы Европе, будет тесна Эльбская империя; отсюда естественный страх перед его замыслами, естественное, нескрываемое

желание видеть его где-нибудь гораздо подальше от Европы. Это самое внушало страх Наполеону, заставляло его предупредить враждебные против него намерения, ибо ему давали знать, что ему назначают другую империю — на Азорских островах. Прежде чем стать императором на Азорских островах, нельзя ли попытаться стать опять императором французов? Успех очень вероятен: из Франции в начале 1815 года были верные известия, что Бурбонами недовольны, войско живет памятью об императоре; союзники разъедутся из Вены 20 февраля, сильно охлажденные относительно друг друга: раз прекратилось общее действие, возобновить его будет уже трудно. Уже не говоря об Азорских островах, и на Эльбе жизнь невыносима: император привык к деятельности, начал строиться — нет средств; из Франции не присылают положенных двух миллионов франков в год; и сильное раздражение вследствие этого, и сильное оправдание: в неисполнении условий — разрешение начать враждебные действия.

1 марта 1815 года корабль, несущий Цезаря, пристал к берегам Франции, и Франция, обыкновенно такая чуткая ко всякому шороху, остается покойною в виду события, долженствующего решить ее судьбу. Власти официально заявляют непоколебимую преданность Франции к потомству Генриха IV; либеральные писатели провозглашают, что Франция не хочет деспота, останется верна королю, давшему хартию; Франция слушает все это и остается неподвижною. Дело должно быть решено оружием; но войско принадлежит императору. Бурбоны должны выбирать одно из двух: выслать войско против Наполеона, то есть отдать ему его в руки, или сосредоточить войско около себя, то есть предать Наполеону беззащитную страну. Решаются выставить войско; но при первой встрече с императором солдаты, бледные как смерть, не стреляют, и Наполеон уже говорит, что через десять дней будет в Тюльери. В потемках начинают действовать нечистые силы; а во Франции были тогда потемки, смута.

Общество, расшатанное революцией, крайне ослабело нравственно, и в таком расслаблении общество позволяет выходить на первый план нечистым силам, нечистым людям. Является Фу-ше — Фуше, обрызгавший себя кровью во время революции, министр полиции во время империи; Фуше, вместе с Талейраном вынесший из бурной эпохи то убеждение, что только глупец остается в доме,

который горит. Когда в 1814 году французское общество, не имевшее ни сил, ни желания поддерживать падавшую империю и в то же время не знавшее, кем заменить императора, должно было, однако, волей-неволей заняться решением вопроса, предложенного союзными государями, должно было выбрать из кандидатов, к которым было одинаково равнодушно, тогда в этой смуте и нерешительности явился на первом плане Талейран и обделал дело в пользу восстановления Бурбонов. Фуше, отправленный Наполеоном к неаполитанскому королю Мюрату, страшно досадовал, что его не было в Париже при падении империи; что все сделал Талейран, восстановив старшую Бурбонскую линию, которая не могла дать значения цареубийце Фуше. Но теперь пришло его время: империя поднимается; общество, равнодушное к Наполеону, в то же время не имеет ни силы, ни желания поддерживать Бурбонов. При такой смуте, нерешительности, отнимавшей в свою очередь последние нравственные силы у общества, выдвигается Фуше. Изнеможенное нравственно, общество позволяет ему действовать, позволяет действовать всякому, кто сохранил способность к действию. Видя слабость, затруднительное положение Бурбонов, Фуше еще до высадки Наполеона стал расправлять свои силы в полной надежде, что скоро придет его время, как вдруг является Наполеон. Это сначала расстроило Фуше; но он скоро понял, что и Наполеон так же слаб, как Бурбоны, ибо если войско даст ему несомненное торжество, то это войско по-прежнему не в состоянии бороться с целой Европой, а истощенная Франция не может дать новых средств к борьбе; всего скорее произойдет сделка между империей и Европой: на французском престоле будет малютка Наполеон II с регентством матери Марии-Луизы, а слабое женское правление всего выгоднее для Фуше. «Это страшилище опять несет к нам деспотизм и войну, — говорил прежний министр о своем прежнем государе. — Делать нечего, надобно ему помочь; а там увидим, что делать: вероятно, он найдется в таком же затруднительном положении, как и мы».

В Тюльери держатся за последнего человека, могущего своею славою, своим влиянием в войске спасти Бурбонов от «страшилища»: в Тюльери ласкают маршала Нея. Маршал, человек, развитый односторонне, выдержливый в битве, не выдержал придворной ласки и лести, подумал, что он и в самом деле ровня Наполеону, и, как

обыкновенно поступают в таких обстоятельствах люди, подобные ему, стал хвастаться и обещать, что привезет Наполеона в клетке. Ней отправился к войску — и тут другого рода внушения, чем в Тюльери: ему привозят письма от наполеоновского гофмаршала Бертрана, представляют ему дело так, что все давно было улажено между Эльбой, Парижем и Веной, что Наполеон действует по согласию со своим тестем, императором Австрийским; что английские корабли нарочно удалились, чтобы пропустить маленькую флотилию императора, плывшую к берегам Франции. Ней не имел в себе средств устоять и против этих внушений. Итак, Бурбоны воспользовались его простотою, неведением, и обошли; страшная досада, раздражение, что дал себя так обмануть и поставить в такое положение: войска не пойдут против императора, притом за него Австрия и Англия; какая же охота принести все в жертву проигранному делу? А тут и оправдание: Бурбоны теперь ласкали потому, что имели нужду, а прежде, как при их дворе обошлись с женой маршала? Ней собрал солдат и объявил им, что дело Бурбонов навсегда проиграно, Наполеон должен царствовать. Восторженные крики были ответом. Войско вместе с полководцем перешло на сторону своего императора, и Ней написал жене: «Мой друг, ты не будешь больше плакать, уезжая из Тюльери».

Ней не привозит Наполеона в клетке: Ней изменил. Бурбоны в отчаянии обратились к Фуше за советом и помощью, как слабый человек в беде обращается к колдунам и гадалщицам. Фуше отвечал, что теперь поздно; что единственное средство спасения — уехать; если бы прежде к нему обратились, то он бы спас; пусть не дивятся, если через несколько дней он будет министром Наполеона; он примет его министерство для избежания его тиранства и для ускорения его гибели; а избавившись от этого опасного безумца, он, Фуше, быть может, и сделает для Бурбонов то, чего теперь сделать не может. Получивши такой ответ, велели схватить Фуше, но он убежал через сад в дом бывшей королевы Голландской Гортензии, 19-го марта Бурбоны выехали из Парижа и могли остановиться только в Генте; 20-го Наполеон вступил в Тюльери — и Фуше стал при нем министром полиции. «Смерть Бурбонам! Долой роялистов! Долой попов!» — кричала толпа.

Но крики толпы не могли обмануть Наполеона. Когда цель еще была впереди, тогда все внимание было обращено на средства к ее

достижению; когда цель была достигнута, тогда затруднения и опасности положения стали обозначаться все яснее и яснее. Наполеон был прежний в том смысле, что способности, энергия его не уменьшились; но вместе с тем в нем произошла и большая перемена. При постоянном успехе слабеет сознание возможности неудачи: отсюда смелость и быстрота, необращение большого внимания на препятствия, на условия неуспеха; после неудачи человек становится осторожнее, боязливее, то есть он обращает больше внимания на препятствия, условия неуспеха яснее для него выставляются. Такая перемена произошла и в Наполеоне после падения. Прежде всего он сознавал, что он уже не тот для других; что очарование непобедимости, неодолимой силы исчезло; что на него смотрят уже другими глазами — гораздо смелее; и на сколько убыло у него, на столько прибыло у других. Это мучительное сознание уменьшения своих нравственных средств невольно заставляет человека приникать, уравниваться с другими, заискивать в них, переменять тон, что мешает его прежней свободе, прежней развязности!

1-го января 1814 года, желая затушить первое проявление самостоятельности законодательного корпуса. Наполеон говорил ему: «Вы хотите овладеть властью; но что вы с нею сделаете? Франции нужна теперь не палата, не ораторы, а генерал. Между вами есть ли генерал? И где ваше полномочие? Франция меня знает, а вас знает ли? Трон — это несколько досок, обитых бархатом; трон — это человек, и человек этот — я, с моею волею, с моим характером, с моею славой. Знайте, что меня можно убить, но нельзя оскорблять». В январе 1814 года Наполеону можно было так говорить, но в марте 1815-го нельзя: генерал не спас Франции от вражьего нашествия, и Франция отреклась от своего уполномоченного; воля, характер, слава не спасли его; он остался жив, но оскорбленный, и как оскорбленный! Он возвратился слишком скоро; в ушах французов еще раздавались самые оскорбительные отзывы о нем, самые бранные эпитеты; очарование публично неприкосновенного имени исчезло: Наполеон возвращался уже не прежним Наполеоном.

Тяжело было Бурбонам утвердиться на французском престоле: между ними и новой Францией стояла империя, эпоха могущества и славы. Бурбоны, не будучи в состоянии дать Франции такого могущества и славы, предложили вместо того хартию. Теперь в том же

положении находился Наполеон: между ним и старой империей прошли Бурбоны; о самих Бурбонах не жалели, их не защищали, но жалели о порядке вещей, который волей-неволей принесли с собою Бурбоны; хотели удержать этот порядок — и Наполеона встречают требованием, чтобы он не был тем, чем был прежде; чтобы не было прежнего честолюбия, прежнего деспотизма. И Наполеон не говорил в ответ того, что сказал он законодательному корпусу 1-го января 1814 года; напротив, сулит мир, свободу, обещает быть другим человеком, чем прежде. Он знает, что хотя войско привело его в Париж, но войско не удержит его на престоле, если Франция останется равнодушной перед войсками враждебной ему Европы, и он заискивает перед Францией, входит с нею в соглашения, наддает перед Бурбонами; старается показать, что он лучше Бурбонов; что Франции выгоднее иметь его государем, чем Бурбонов. Нет, Наполеон далеко не прежний Наполеон, и сам он говорит на все стороны, что он уже не тот: «Я пробыл год на Эльбе, и там, как в гробу, я мог слышать голос потомства; я знаю, чего должно избегать; знаю, чего должно хотеть. Спасти дело революции, упрочить нашу независимость политикою или победою и потом приготовить конституционный трон сыну — вот единственная слава, которой я добиваюсь. Завтра же мы дадим свободу печати. Чего мне ее бояться? После того, что было написано в продолжение года, ей нечего больше сказать обо мне; но у нее еще остается сказать кое-что о моих противниках. Прошлый год говорили, что я восстановил Бурбонов; этот год они меня восстанавливают: мы квиты. Я умею исправиться, не то что Бурбоны, которые в 25 лет ничему не научились, ничего не забыли».

Уяснилось, в чем дело: два соперника борются за престол; ошибки одного поднимают другого; Франции, равнодушной к обоим, предоставляется право выбирать того, кто даст больше выгод; все внимание обращено на то, чтобы уронить противника. Наполеон наивно выражается насчет свободы печати; он вовсе не смотрит на нее с конституционной точки зрения, а только как на средство борьбы с Бурбонами: «Мне она не опасна, про меня уже сказано все дурное; пусть поговорит теперь о Бурбонах: это произведет сильное впечатление, потому что печать не будет направляться правительством, цензурою». Молодой советник при королевском дворе, знаменитый впоследствии Деказ, отказался подписать поздравительный адрес

императору; ему выставляли на вид быстрый успех Наполеона, свидетельствующий привязанность к нему Франции: в двадцать дней он прошел всю Францию, не встречая нигде препятствия. «Я не знал, — отвечал Деказ, — что престол Франции служит беговым призом». Ни один порядочный француз не должен был знать этого, но, к несчастью для Франции, так было действительно. Реставрация империи застигла Францию так же второпях, застигла ее такой же усталой и равнодушной, как и реставрация Бурбонов. И Наполеон скоро это понял: когда старые приверженцы поздравляли его с чудесным возвращением, с торжественным приемом, какой он встретил в народе, то Наполеон перебивал их словами: «Время комплиментов прошло! Они меня встретили точно так же, как проводили тех (то есть Бурбонов)». В руки императору попались адреса к Людовику XVIII, написанные по поводу высадки Наполеона, — адреса, наполненные выходками против «корсиканского людоеда», уверениями в преданности к Бурбонам; по приезде в Париж Наполеон получил адреса из тех же мест, подписанные теми же лицами: они заключали в себе выходки против Бурбонов, уверения в преданности к императору. Наполеон выиграл беговой приз; но торжество не было окончательное: затруднения и опасности только что начинались. «Народ, солдаты, суб-лейтенанты сделали все: им, одним им я всем обязан», — говорил Наполеон. Войско все сделало, войско все и сделает; но тяжелый опыт говорил другое. Когда нужно было защищать империю от целой Европы, тогда войско ничего не сделало, и народ не тронулся; соединенные государи обратились не к народу, не к войску. И Наполеон, для обеспечения себя на случай неудачи, заискивает в якобинцах, в ненавистных идеологах. Он уже объявил себя раскаивающимся грешником; произнес роковое: «Не буду, не буду ни завоевателем, ни деспотом». Произнося эти слова. Наполеон думал, что усиливается, берет верх над соперниками: видимо, было так, но, с другой стороны, исчезло очарование силы и величия; отношения переменились. Люди несомненной преданности к империи, опальные за это при Бурбонах, отказывались принимать должности, предлагаемые теперь императором; другие, принявшие должности, обращались к императору вовсе не с прежним благоговением; дисциплина ослабела; полубог явился простым смертным, признавшимся в своих ошибках, обещавшим, что вперед не

будет так делать, как прежде. И военный успех не был верен: едва ли Наполеон удержится на престоле, не отбиться ему и теперь от целой Европы, как не отбился в прошлом году! И Наполеон, сам далеко не уверенный в успехе, видел ясно, как и другие в нем не уверены, как со страхом смотрят вперед, озираются на все стороны, ища другой опоры, другого обеспечения. Наполеон испытал страшное для человека с его характером и привычками чувство: чувство слабости, чувство, невыносимое для человека сильного, и только сильный человек может испытывать это чувство.

Император прежде всего должен был обратиться к так называемым якобинцам — людям, сильно замешанным в революции: они больше всех желали низвержения Бурбонов, которые не мирились с ними, держали в опале. Карно, Фуше были призваны в министерство; но Наполеон знал, что это не бонапартисты; что у этих людей своя вера, свои предания; что они могут поддерживать его только случайно, на время, в виду общего врага. Наполеон не доверял им и не пустил других якобинских кандидатов в министерство, что раздражило партию. Еще на дороге к Парижу Наполеон объявил обе палаты распущенными и повестил, чтобы в течение мая месяца избирательные коллегии департаментов собрались в Париже под именем чрезвычайного собрания Майского поля для принятия мер к исправлению и изменению конституции согласно с интересами и волей народа. Надобно было, следовательно, как можно скорее приготовить эту исправленную и измененную конституцию. Но кто же возьмется за это трудное дело? Накануне приезда Наполеона в Париж, 19 марта, в «Journal des D?bats» появилась яростная статья против возвращающегося императора. «Со стороны короля, — говорилось в статье, — конституционная свобода, безопасность, мир; со стороны Бонапарта — рабство, анархия и война; при нем нам угрожает мамелюкское управление. Это Аттила, это Чингис-хан, более страшный, более ненавистный, ибо в его руках средства цивилизации. Он является снова, этот человек, покрытый нашею кровью, преследуемый недавно всеобщими проклятиями. Мы будем презреннейшим из народов, если протянем к нему руки. Мы станем посмешищем Европы, бывши прежде ее ужасом. Наше рабство не будет иметь извинения, наше унижение не будет иметь границ». Статья была подписана Бенжамен-Констаном, который из республиканца

сделался роялистом. Автор так говорил о себе в приведенной статье: «Я желал свободы под всеми формами; я увидел, что она возможна при монархии; я вижу, как король соединяется с народом; я не буду презренным перебежчиком, не стану волочиться от одной власти к другой и прикрывать бесчестие софизмом». «Вот человек, на которого можно положиться, — говорили роялисты. — Он сам поставил между собою и Наполеоном неодолимую преграду».

Но Наполеон лучше знал людей, в видимой силе и стремительности умел угадывать признаки слабости: и Ней обещал Бурбонам привезти его в клетке. Наполеон призвал к себе Бенжамен-Констана, чтобы поручить ему дело составления новой конституции. Наполеон любил поговорить, особенно с людьми замечательными, на которых он хотел произвести сильное впечатление, которые могли передать это впечатление другим; он встретил длинным монологом представителя либералов, идеологов: «Франция отдохнула и хочет или думает, что хочет, иметь трибуну, палаты. Она не всегда их хотела; она бросилась к моим ногам, когда я достиг власти. Вы должны хорошо помнить то время; вы тогда попробовали было стать в оппозицию, но где вы нашли подпору, силу? Нигде! Я взял меньше власти, чем сколько мне давали. Теперь все переменялось. Правительство слабое, противное национальным интересам дало этим интересам привычку стоять настороже и задирать власть. Вкус к конституциям, прениям, речам, кажется, возвратился. Однако не обманывайте себя: ведь только меньшинство этого хочет. Народ хочет только меня. Говорят, что я только солдатский император, — неправда: я император крестьян, плебеев, Франции! Между нами симпатия, не то что между мною и привилегированными. Я вышел из народных рядов: народ отзывается на мой голос. У меня и у него одна натура. Народ смотрит на меня как на свою защиту, на своего избавителя от благородных. Мне стоит только сделать знак или отвернуть только голову, как все благородные будут перерезаны во всех провинциях. Но я не хочу быть королем жакерии. Если есть средства управлять с конституциею — в добрый час! Я человек из народа: если народ хочет свободы, я обязан ему дать ее. Я признал его господство, я должен сообразоваться с его волею, даже с его капризами. Я не враг свободы; я ее отстранял, когда она загоразивала мне дорогу, но я ее понимаю, я был воспитан в ней. Я хочу мира и могу получить его только посредством побед. Я предвижу

долгую войну; в этой войне нация должна меня поддержать; в вознаграждение за эту поддержку она, думаю, потребует свободы — и получит ее. Я старею; спокойствие конституционного государя может быть по мне; по всей вероятности, оно будет еще больше по моему сыну».

Не нужно было иметь много проницательности, чтобы понять суть этого монолога, этой смеси угроз своею силою и признания в своей слабости: «Я возвратился по народной воле; но для утверждения моего на престоле я должен вести долгие войны, одерживать победы. Франция должна меня поддержать; за эту поддержку она требует свободы — я ее дам. Я обязан дать конституцию, если народ ее хочет, потому что я признаю господство народа. Но если народ ее не хочет?.. Да он и действительно ее не хочет, хочет ее только меньшинство; народ хочет одного меня, и, смотрите, мне стоит только отвернуть голову — и народ вас всех перережет».

В словах Наполеона заключался тот же смысл, что и в словах графа Артуа: «Захотели конституционного правления: попробуем его; если через год или через два дело не пойдет на лад, то возвратятся к естественному порядку вещей». «Если есть средства управлять с конституциею — в добрый час», — говорил Наполеон. Разница состояла в том, что в словах Наполеона было еще меньше речительства за будущность конституционной Франции. Несмотря на то, Бенжамен-Констан, назначенный государственным советником, принял поручение составить новую конституцию и быстро исполнил его; думать много было нечего: стоило переписать английскую конституцию. Наполеон сделал возражения против наследственного прерства, но согласился допустить его: ему было мало дела до того, во сколько новая конституция пригодна для Франции и будет ли долговечна; он смотрел на новую конституцию как на временное постановление, соответствующее известным условиям его положения, и обнародовал ее под именем «Дополнительного акта к постановлениям империи». Упрекая Бурбонов за то, что они не хотели забыть своего прошедшего, он не хотел забывать своего, выставляя на вид славу этого прошедшего. Когда Бенжамен-Констан настаивал, чтобы в новой конституции не было помину о первой империи. Наполеон отвечал ему: «Вы у меня отнимаете мое прошедшее, а я хочу сохранить его. Что вы хотите сделать из одиннадцати лет моего

царствования? Думаю, что у меня есть кое-какие права. И вся конституция должна быть связана с прежнею; она чрез это получит освящение многих лет славы и успеха».

Никак не согласился император также и на тот параграф новой конституции, которым отменялась конфискация имуществ. Этот параграф был в конституции, данной Людовиком XVIII; но Наполеон упрекал Бурбонов в непростительной слабости, и, когда члены комитета, составленного из председателей отделений Государственного совета для рассмотрения проекта новой конституции, настаивали на принятии параграфа, Наполеон в сильном раздражении, задыхающимся голосом, с конвульсивными движениями в руке сказал им: «Меня толкают не на мою дорогу: меня ослабляют, меня связывают. Франция меня ищет и не находит более. Франция спрашивает, что случилось с рукою прежнего императора, — с рукою, которая нужна ей для победы над Европою? Что мне толкуют о благодати, об отвлеченном правосудии, о естественных законах? Первый закон — закон необходимости, первое требование справедливости есть требование спасения государства. Хотят, чтоб люди, которых я осыпал богатством, пользовались этим богатством для составления заговоров против меня за границею. Этого быть не может, этого не будет; когда будет заключен мир, тогда посмотрим. Каждому дню его забота, каждому обстоятельству его закон, каждому его натура. Моя натура не ангельская; повторяю, надобно, чтоб почувствовали руку старого императора».

Старый император обнаруживал изумительную деятельность: писал по 150 писем в день, а между тем руки старого императора не чувствовалось. Никто не был уверен, чтобы этой руки было достаточно, и не был уверен в этом сам Наполеон. Сначала он рассчитывал, что быстротою успеха своего он смутит государей уже разъединенных, и они согласятся оставить его спокойно царствовать во Франции; он надеялся, что Австрия, больше всех напуганная поднятием значения России, поспешит уравновесить это значение поддержкой императорской Франции. На дороге к Парижу, созывая чрезвычайное собрание Майского поля, Наполеон целью этого собрания кроме изменения конституции поставил еще присутствие при коронации императрицы Марии-Луизы и короля Римского, и некоторые были обмануты этим торжественным объявлением —

думали, что действительно Австрия на стороне Наполеона и что император Франц поспешит прислать дочь и внука во Францию. Но долго обманываться и обманывать было нельзя.

Известие о возвращении Наполеона во Францию действительно поразило сильно венских гостей и хозяев. Прежде всего излили свою горечь в упреках императору Александру, зачем он настоял на отсылке Наполеона на остров Эльбу, в такое близкое соседство с Италией и Францией; но потом, по инстинкту самосохранения, должны были подчиниться влиянию русского императора, превосходившего всех других государей личными средствами. Наполеон опять оказывал ему услугу: Польско-Саксонский вопрос расстроил союз между четырьмя сильнейшими государствами Европы, ослабил значение императора Александра, бывшего главою этого союза, дал возможность и французскому правительству высказать свои враждебные отношения к России, условленные личными отношениями Людовика XVIII к русскому императору. Но теперь опасность, снова начавшая грозить всем от Наполеона, восстанавливала союз, восстанавливала значение императора Александра, его первенство между союзными государями. Вместе с тем изменялись и отношения Франции к России. Император Александр, имевший столько причин к неудовольствию на Талейрана и не скрывавший этого неудовольствия, теперь переменял свое обращение с министром Людовика XVIII, выразив всю готовность помочь королю в борьбе с похитителем. Талейран писал королю, что если иностранная помощь необходима, то надобно, чтобы при подании этой помощи Россия играла главную роль, потому что она одна не может думать об увеличении своих владений на счет Франции.

13-го марта представители восьми государств подписали декларацию, составленную Талейраном. В декларации говорилось, что Наполеон Бонапарт, уничтоживши конвенцию, по которой он был утвержден владетелем острова Эльбы, и вторгнувшись во Францию с целью произвести смуту и переворот, тем самым потерял право на покровительство законов и показал пред лицом вселенной, что с ним нельзя иметь ни мира, ни перемирия. Вследствие чего государства объявляют, что Наполеон Бонапарт поставил себя вне всяких отношений, гражданских и общественных, и как враг и нарушитель общего спокойствия предал себя общественному мщению. Государства употребят все средства и соединят все усилия для обеспечения Европы

от всякой попытки, которая будет грозить народам возобновлением революционных беспорядков и бедствий. Все государи Европы уверены, что Франция станет крепко при своем законном короле и уничтожит безумную и бессильную попытку; но если, против чаяния, из этого события произойдет какая-нибудь серьезная опасность, то они готовы подать французскому королю и народу и всякому другому правительству, подвергнувшемуся нападению, необходимую помощь, как только она будет потребована.

Мы не будем рассуждать о том, имели ли союзные государи право объявлять Наполеона вне отношений гражданских и общественных за то, что он в качестве независимого государя напал на другого государя; мы заметим только, что эта декларация составляет один из самых важных актов европейской истории, показывая, до каких результатов могло прийти общее союзное действие государей и до каких результатов можно было прийти впоследствии, если б союзное действие, по обстоятельствам, продолжилось.

В декларации 13 марта государи еще говорили об уверенности своей, что безумная попытка Наполеона не удастся. Скоро они должны были разувериться; но, чем быстрее были успехи Наполеона, тем сильнее становилась ревность императора Александра поддержать союз и заставить его действовать так, как говорилось в декларации. 25 марта подписан был договор между Россией, Пруссией, Австрией и Англией, в котором союзники обязывались соединить все свои силы для поддержания Парижского договора 30 мая 1814 года и решений Венского конгресса. Россия, Австрия и Пруссия обязались выставить немедленно по 150.000 войска, Англия — платить 5 милл. фунт. субсидий. Знаменитейший из генералов союза герцог Веллингтон отправился в Нидерланды для организации средств к защите против наступательного движения Наполеона. Надеялись еще, что Людовик XVIII и члены его фамилии удержатся в каком-нибудь углу Франции; но и эта надежда скоро исчезла. Король не мог остаться в Лилле при виде враждебного расположения к себе гарнизона и удалился в Нидерланды, где остался жить в Генте. Перед отъездом из Лилля он сказал герцогу Орлеанскому: «Вы можете делать все, что вам угодно». Герцог объявил, что отправляется в Англию, куда уже отослал свое семейство. «Это всего лучше», — отвечал король.

Людовик-Филипп написал маршалу Мортье прощальное письмо, в котором находились следующие выражения: «Отдаю вам вполне команду, которую имел счастье разделять с вами... Будучи добрым французом, я не могу жертвовать интересами Франции, потому что новые несчастья принуждают меня ее покинуть; уезжаю, чтоб погребсти себя в уединение и забвение». Король и принцы были очень недовольны этими выражениями. Рассказывали, что при прощании с маршалом Мортье герцог показал ему маленькую трехцветную кокарду и сказал: «Она меня никогда не покидала; не правда ли, что тяжело быть принужденным покинуть Францию, не будучи в состоянии опять надеть эту кокарду?»

Роялистские движения в разных углах Франции были остановлены; вся Франция признала восстановленную империю; но это нисколько не подействовало на перемену отношений Европы к Наполеону. Напрасно старался он войти в сношения с разными дворами, уверяя в своем миролюбии; напрасно переслал императору Александру договор, заключенный между Австрией, Англией и Францией против России и Пруссии: все письма его были складываемы на столе конгресса и читаемы в общем присутствии; агентов его останавливали. В Германии обнаружилось страшное ожесточение против Франции, органом которого явился преимущественно журнал «Рейнский Меркурий»: здесь говорилось, что с французами нельзя обходиться как с обыкновенными врагами, но как с бешеными собаками — бить! Надобно вести войну с Наполеоном, но еще больше с французским народом, который 25 лет мучит Европу; нужно его разбить на несколько отдельных народностей: бургундов, шампанцев, овернцев, бретонов, дав каждой особого короля; Эльзас, Лотарингию и Фландрию присоединить к Германии, которую усилить единством, давши императора.

Но союзные государи и теперь, как в 1814 году, спешили отделить дело Наполеона от дела Франции, объявить, что они ведут войну только с Наполеоном. В то же время союзники отстраняли и вопрос о возвращении Бурбонов. В английском парламенте слышались сильные возражения против войны за Бурбонов, против вмешательства во внутренние дела Франции. Вследствие этого министерство, хотя и желавшее больше всего восстановления Бурбонов, сочло нужным объявить союзникам, что его британское величество не считает себя

обязанным вести войну с целью навязать Франции какое-нибудь правительство. Когда пошла речь о манифесте союзников, в котором бы говорилось, что Европа принимается за оружие для сокрушения могущества Наполеона, то представитель Англии в Вене лорд Кланкарти объявил, что манифест не скажет всего, что должен сказать; нельзя довольствоваться низвержением Бонапарта; не должно отворять двери якобинцам, которые хуже Бонапарта. Император Александр заметил на это, что якобинцы опасны только как союзники Наполеона, и потому их надобно отвлечь от него; в случае его падения они ему не наследники. Надобно отложить всякую декларацию до того времени, когда союзные войска приблизятся к Франции. Но надобно согласиться, что делать, когда Бонапарт будет низвергнут; надобно сообразить последствия, принять меры для успокоения Европы, которая не может быть покойна, если во Франции будут происходить волнения; а волнения не прекратятся, пока не установится в ней правительство, удовлетворяющее всем. Лорд Кланкарти сказал на это, что Франция была счастлива под скипетром короля, имевшего за себя голос нации. Император заметил, что Людовик XVIII имел за себя страдательную часть народа, которая умеет только вздыхать о бедствиях революции, а не умеет ей препятствовать; но другая часть народа, которая действует, выдается на первый план, владеет страной, — эта часть подчинится ли правительству, которому изменила, будет ли ему верна? Можно ли навязать его ей насильно войной истребительной и, может быть, бесконечной?

Кланкарти сказал на это, что обязанность оканчивается там, где начинается невозможность; но, пока возможно, государства обязаны поддерживать права законного государя и не потрясать их возбуждением вопроса о том, нужно ли их покинуть. «Мы прежде всего, — возразил император, — имеем обязанности в отношении друг к другу и к нашим народам. Если мы не уверены в прочности королевского правительства, то, восстанавливая его (как бы ни легко было восстановление), мы приготовим только для Франции и для Европы новые катастрофы. В случае нового переворота будем ли мы в соединении, как теперь? Будет ли у нас миллион солдат? Какая вероятность, что с теми же элементами правительство Людовика XVIII будет более прочно? Восстановление короля, которого мы все желаем, и я особенно, может встретить препятствия неодолимые: надобно их

сообразить, приготовиться. Прошлый год можно было бы установить регентство; мне казалось, что оно может согласить все интересы; но Мария-Луиза, с которою я говорил, не хочет ни под каким видом возвратиться во Францию — хочет, чтоб сын ее остался в Австрии. Австрия также не хочет регентства, не думает о нем. Притом обстоятельства уже не те. Я думаю, что для общего соглашения всего удобнее герцог Орлеанский, француз, Бурбон, муж принцессы из дома бурбонского; он имеет сыновей, он служил конституционному делу, носил три цвета, которых никогда не должно было бы покидать, — я это часто говорил в Париже. Он соединил бы все партии. Как вы об этом думаете? Каково будет об этом мнение в Англии?»

Лорд Кланкарти отвечал, что он не может угадать мнения своего двора о предмете совершенно новом; но, по его мнению, опасно покидать законность для какого бы то ни было похищения. Меттерних, узнавши об этом разговоре, объявил, что не время еще поднимать подобные вопросы, а надобно дожидаться событий; но во французской газете, которая, как было известно, издавалась под русским влиянием, появилась статья, где говорилось, что государства твердо решились низвергнуть Наполеона, но не хотят вмешиваться во внутренние дела Франции, которая будет вольна избрать себе правительство, какое захочет.

Таким образом, если не был решен вопрос о Бурбонах, то вопрос о Наполеоне был решен окончательно, и это решение отнимало руки у него и у его приверженцев. Видели изнеможение Франции, недостаточность ее средств, видели невозможность успеха в борьбе с целой Европой — и тем более раздражались против человека, который требовал бесплодных усилий народных, который своим появлением поставил страну в такое опасное положение, который служит единственным препятствием для восстановления мира, для восстановления истощенных сил. И даже в случае успеха какая выгода? Ясно видно, что «Дополнительный акт» только временная мера, и победоносный император не будет долго обращать на него внимания. Положение Наполеона было тяжело: для своего поддержания, для получения средств к борьбе он постоянно должен был принимать меры, которые не соответствовали его характеру, его привычкам, связывали ему руки, унижали его в собственных глазах. Он должен был уступить идеологам, которых так не любил, над

которыми прежде так смеялся; должен был дать им «Дополнительный акт», который, однако, удовлетворил очень немногих. Но его ждало еще новое унижение: он должен был дозволить демократическое движение, заискивать у черни.

24 апреля толпа жителей из департаментов, составлявших старинную Бретань, сошлась в Ренне и подписала акт, которым обязывалась поддерживать национальное дело, вооружиться для защиты свободы и императора. Наполеон сильно рассердился сначала на эту незваную и непрошеную бретонскую федерацию; но брат его Луциан, Карно и Фуше уговорили его признать ее и воспользоваться ее силами для борьбы с Европой. Движение, признанное правительством, быстро распространилось повсюду. В Париже пошли в федералы преимущественно рабочие из предместий, получивших кровавую известность во время революционных ужасов; Наполеон счел нужным заискать у них, поехал к ним, называл храбрыми патриотами, обещал им 40.000 ружей, сделал им смотр; федералы кричали: «Да здравствует император!» — но чаще и сильнее кричали: «Да здравствует нация! Да здравствует свобода!» Это возобновление революционных сцен и криков навело ужас на достаточные классы и увеличило их отвращение к правительству, вызвавшему эти сцены и крики. В провинциях движение было еще сильнее, крики еще яростнее; раздавались угрозы духовенству, дворянам, богатым. Марсельский гимн, смолкнувший двадцать лет назад, раздавался повсюду. Наполеон, раздраженный этими явлениями и еще более раздраженный сознанием собственной слабости, собственного унижения, складывал всю вину на Бурбонов, которые, по его словам, сдали ему Францию сильно избалованной. Говорят, будто он признавался, что если бы мог предвидеть, до какой степени он должен будет заискивать у демократической партии, то никогда бы не оставил Эльбы.

Напрасно также Наполеон надеялся, что освобожденная печать не будет ему опасна, что она бросится на Бурбонов, а его оставит в покое, потому что все дурное о нем уже сказано. Роялистские писатели открыто защищали Бурбонов и требовали их возвращения как единственного средства спасти Францию. Другие говорили, что так как союзники не хотят входить в сношение с императором, то будущая палата представителей должна отправить к ним депутацию и предложить им войти в сношение с нацией; мало того: в печати

явились прямые вызовы к убийству Наполеона. В новую палату депутатов было выбрано очень мало бонапартистов. Между адресами к императору от избирательных коллегий, собранных к Майскому полю, многие отличались большою смелостью, сильно вооружались против деспотизма и непрерывных войн первой империи; объявляли, что «Дополнительный акт» недостаточен; что нация ожидает полной либеральной конституции. Биржевой барометр падал низко: при известии о высадке Наполеона курс ренты понизился от 77 до 60 франков, 20 марта поднялся до 73 франков, но потом постепенно понизился до 55; банковые акции упали с 1.200 до 800.

Это падение биржевого барометра предвещало приближение войны. В «Венской газете» явился доклад комиссии, составленной из представителей восьми государств, где помещены были возражения насчет того, что иностранные государства не имеют права вмешиваться во внутренние дела Франции и низвергать государя, принятого нацией. «Государства знают очень хорошо правила, которыми должны руководствоваться в отношениях своих к стране независимой, и не станут вмешиваться в ее внутренние дела, назначать ей форму правления, давать ей государей согласно с интересами или со страстями ее соседей. Но они знают также, что свобода нации — переменять свою систему правления — должна иметь пределы, и если иностранные государства не имеют права предписывать употребление, какое она может сделать из этой свободы, то они имеют право протестовать против злоупотребления, какое она может позволить себе на их счет. Государства не считают себя вправе навязывать Франции правительство; но они никогда не откажутся от права препятствовать тому, чтоб под видом правительства во Франции не образовался источник беспорядка и разрушения для других государств. Уничтожение правительства, которое хотят теперь восстановить, было основным условием мира с Францией. Вступая в Париж, государи объявили, что никогда не вступят в мирные переговоры с Бонапартом. Это объявление, с восторгом принятое Францией и Европою, повело к отречению Наполеона и конвенции 11 апреля».

Комиссия выставляла на вид, что французы, если бы даже при восстановлении Наполеона они действовали свободно и единодушно, этим восстановлением уничтожали Парижский договор и объявляли войну союзникам, возобновляя те самые отношения, какие

существовали до вступления союзников в Париж. Против этого существовало возражение: между положением союзников и Франции в 1814 и в 1815 годах большая разница: в 1814 году Наполеон не предлагал мира на тех условиях, на каких был заключен мир Парижский; теперь, в 1815 году, Наполеон предлагает точно такой же мир: на каком основании союзники отвергают его? Только из оскорбленного самолюбия, зачем Франция восстановила то правительство, с которым они прежде не хотели вступать в мирные соглашения?

На этот вопрос комиссия отвечала очень нелестным изображением Наполеона для показания, что с таким человеком нельзя никогда входить в мирные соглашения: «Человек, который пожертвовал миллионами людей и счастьем целого поколения системе завоеваний, причем кратковременные перемирия делали систему еще тягостнее и ненавистнее; который, утомивши счастье безрассудными предприятиями, вооруживши против себя целую Европу и истощивши все средства Франции, был принужден наконец оставить свои проекты и отречься от власти; который в то время, когда европейские народы предавались надежде продолжительного спокойствия, замышлял новые перевороты и овладел покинутым тронem, овладел посредством двойного воровства в отношении к государствам, слишком великодушно его пощадившим, и в отношении к правительству, низвергнутому самою черною изменою, — такой человек не представляет Европе другого ручательства, кроме своего слова. После пятнадцатилетнего жестокого опыта, кто будет иметь смелость принять это ручательство? Мир с правительством, находящимся в таких руках, будет состоянием неизвестности, беспокойства и опасности. Государства должны будут постоянно держать войска свои наготове; народы не воспользуются никакою выгодою настоящего мира, они будут подавлены налогами всякого рода; доверенность не установится нигде; промышленность и торговля будут находиться в самом печальном положении; не будет ничего постоянного в отношениях политических: чувство недовольства овладеет всеми, и каждый день Европа в тревоге будет ждать взрыва. Открытая война, разумеется, предпочтительнее такого положения».

Указывалось, что теперь отношения между Францией и Европой такие же, какие были в прошлом году до вступления союзников в

Париж: и люди, близкие и приверженные к Наполеону, не могли не признать верности этого указания относительно средств борьбы для Европы и для Франции. Невозможность борьбы представлялась ясно уму каждого, и вслед за тем представлялось как единственное средство избежать борьбы то же средство, какое было употреблено и в 1814 году, — отречение Наполеона, которого Европа так же не хочет и теперь, как тогда не хотела, — мысль, тем более доступная для приверженцев империи, что являлась возможность отречения Наполеона в пользу сына, ибо союзники продолжали не настаивать на возвращении Бурбонов. Вследствие исчезновения прежнего благоговения к непобедимому герою близкие люди обращались теперь свободно с Наполеоном и решились говорить ему о необходимости отречения, которое успокоит Францию и утвердит его династию. Но странно было бы ожидать, чтобы герой ста битв решился на вторичное отречение, не испытавши военного счастья; отречение не уйдет и после поражения. «Так вы хотите австрийку регентшею? — отвечал он предлагавшим отречение. — Я не соглашусь на это никогда ни как отец, ни как муж, ни как гражданин. По мне лучше Бурбоны. Моя жена будет игрушкой всех партий, мой сын будет несчастен, Франция будет унижена под иностранным влиянием. Есть фамильные причины, которых я не могу сказать». Но об отречении сильно толковали уже враждебные журналы; «Цензор» говорил: «Если Наполеон отрекся в 1814 году для предотвращения междоусобной войны и прекращения войны внешней, то зачем он не отрекается в 1815 году, когда междоусобная война готова вспыхнуть и Франции грозит нашествие всех народов Европы? Разве отечество менее дорого ему в нынешнем году, чем в прошлом, и неужели отречение в пользу Бурбонов предпочитает он отречению в пользу собственного сына?»

Армии союзников со всех сторон приближались к французским границам. Было решено, что император встретит их на чужой почве. Но прежде отъезда к армии 1-е июня назначено было днем Майского поля, или торжества принятия новой конституции, то есть «Дополнительного акта». На Марсовом поле собралось 30.000 национальных гвардейцев из Парижа и департаментов, 20.000 императорской гвардии и линейных войск, члены избирательных коллегий, делегации сухопутного и морского войска, новоизбранные члены палаты депутатов. Наполеон приехал в мантии, усеянной

пчелами, в токе с перьями, в атласных башмаках. Архиканцлер провозгласил результаты подачи голосов в пользу и против «Дополнительного акта»: 1.288.357 голосов оказались в пользу; 4.207 — против. Герольдмейстер именем императора провозгласил, что «Дополнительный акт» принят народом. Наполеон говорил речь: «Император, консул, солдат — я все получил от народа. В частии, бедствии, на поле бранном, в Совете, на троне, в изгнании Франция была постоянным предметом моих мыслей и действий. Негодование при виде попранных прав, священных прав, приобретенных двадцатью годами побед, вопль поруганной французской чести, мольбы нации снова призвали меня на этот трон. Если бы я не видел, что стремления врагов направлены против отечества, я отдал бы им это существование, против которого они высказывают такое ожесточение. Французы, имеющие возвратиться в свои департаменты, скажите согражданам, что, пока они будут питать ко мне чувства любви, ярость врагов наших будет бессильна. Французы! Моя воля есть воля народа, мои права — права народа; моя честь, моя слава, мое счастье — суть честь, слава, счастье Франции».

Но восторженные клики слышались только в рядах войска, при виде которого у многих сжималось сердце; тяжелое предчувствие владело большинством, и Майское поле не произвело ожидаемого действия. Было обещано, что в этот день будет коронация императрицы и короля Римского: но где жена, где сын? Наполеон явился одинок, обманутый и обманувший. Некоторые спешили на Марсово поле в ожидании, что здесь произойдет отречение Наполеона от престола. Во время самого торжества Фуше сказал тихонько королеве Гортензии: «Император упустил прекрасный случай отречением завершить свою славу и упрочить престол за сыном; я ему это советовал, но он не хочет слушать советов». Все возвратились неудовлетворенные, и Майское поле явилось представлением старой, наскучившей пьесы с обветшалыми декорациями и костюмами.

Собралась новая палата депутатов; император хотел, чтобы президентом палаты был избран брат его Луциан или по крайней мере один из государственных министров, именно — граф Мер-лэн-де-Дуэ. Палата знала желание императора и выбрала прежнего сенатора Ланжюине, высказавшего свою враждебность к империи в 1814 году; даже ни один бонапартист не попал и в вице-президенты, которых

было четыре. Состав палаты представлял хаос; партии, из которых ни одна не могла обещать себе большинства, беспорядочно сталкивались друг с другом (*discordia semina regum!*); но менее всего можно было видеть в этой странной палате желание поддержать империю. Наполеон сердился, грозил: «Я не Людовик XVI; я не позволю предписывать себе законы адвокатам или отрубить себе голову бунтовщикам! За все уступки меня оскорбляют; ну, хорошо! Я распущу палату и апеллирую к Франции, которая знает одного меня». Занялись составлением палаты пэров, и многие отказались от опасной чести быть наполеоновскими пэрами; особенно огорчил Наполеона отказ маршала Макдональда.

Но победа может все поправить и превратить мятежников в льстецов... 12-го июня Наполеон отправился к армии. Через 12 дней курс на бирже поднялся — будет скоро мир: получено было известие о поражении Наполеона при Ватерлоо англо-прусской армией.

III. ВТОРАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ДО АХЕНСКОГО КОНГРЕССА

Великий полководец поставил на одну битву всю свою будущность — и битва была проиграна. В Лане остановился на несколько часов побежденный император, чтобы хотя сколько-нибудь собраться с силами и с мыслями. Зашумели мнения: надобно возвратиться в Париж немедленно, обратиться к палатам за помощью, ободрить патриотов своим присутствием, напугать противные партии. Въехать императору в Париж в настоящую минуту — значит погубить себя, говорили другие; палаты, не видя его более в челе армии, пожертвуют им для своего спасения. Наполеон хотел было сначала предпочесть второе мнение, засесть в Лане и собирать остатки разбитой армии; но огромное большинство было против этого решения, а Наполеон уже потерял веру в самого себя и привычку брать все на свою ответственность: в таком положении голос большинства дает человеку ту опору, которую он потерял внутри самого себя, хотя ум и протестует против этого голоса. «Я уверен, — говорил Наполеон, садясь в карету, — что меня заставляют сделать глупость: мое настоящее место здесь».

Возвратиться в Париж без победы, без мира, требовать крайних усилий у людей истощенных, жаждущих покоя! Наполеон и окружавшие его должны были помнить, в каком положении они оставили Париж: глубокое молчание царствовало повсюду, печаль была написана на всех лицах; знакомые избегали встречи друг с другом, боялись промолвить слово, потому что везде сновали шпионы; места публичных прогулок, сам Палерояль, превратились в пустыню; торговля остановилась; купцы, издерживавшие по 50 и 60 франков в день, не продавали и на 6 франков в неделю. Только мир мог прекратить это невыносимое положение, а Наполеон шел в Париж предлагать ожесточенную войну.

Ночью с 20 на 21 июня сильное движение в Елисейском дворце: приехал император. Задышающимся от усталости и волнения голосом, в отрывочных фразах рассказывал Наполеон Коленкуру о страшном поражении, складывая вину на панический страх, овладевший

войском, на маршала Нея. «А что палаты?» «Плохо, — отвечал Коленкур. — Желают отречения, у всех дурное расположение духа». «Я это предвидел, — говорит Наполеон. — Я был уверен, что будет разделение и потеряют последние средства, которые у нас еще остаются. Бедствие велико, но в соединении мы могли бы поправиться, разделенные — мы добыча иностранцев». На другой день братья Наполеона и министры собрались во дворец для совещания: надобно принять решительные меры, объявить отечество в опасности, призвать всех к оружию, защищаться до последней крайности; но это все пустые слова без решения главного вопроса: что палаты? Одни говорят, что на них нельзя положиться; другие утверждают противное; одни говорят, что если палата депутатов откажется помогать императору, то он должен распустить ее и овладеть диктатурой для спасения страны; другие предлагают, что не нужно распускать палату, а только прекратить на время ее заседания.

В Елисейском дворце рассуждали о том, что сделать с палатою; в палате рассуждали о том, что делать с Наполеоном. Если во дворце естественно и необходимо рождался вопрос об отстранении палаты, о диктатуре, то между членами палаты естественно и необходимо являлась прежде всего мысль, что во дворце будет поставлен вопрос об ее отстранении, а натура Наполеона, его положение заставляли думать, что вопрос будет решен не в пользу палаты. Фуше и тут действует на первом плане, пользуется своим временем. Дом горит, надобно из него бежать, надобно как можно скорее отделаться от Наполеона для собственной безопасности; Фуше уже прежде пугал членов палаты: «Он возвратился как бешеный, предложит чрезвычайные меры, и если вы не согласитесь, то распустит палаты».

Когда он возвратился, то Фуше прямо давал знать, что в Елисейском дворце уже решено распушено палаты. И палата действует по инстинкту самосохранения, спешит отстоять себя, причем, разумеется, действует под влиянием сильного раздражения, видит в Наполеоне врага своего, которого существование несовместимо с ее существованием. Но кто же первый начнет действовать в палате, кто первый подаст голос? Подает его человек, передовой в революции, имевший право некоторое время считать себя главной силой во Франции, забытый потом, но теперь дождавшийся своего времени. В палате говорит Лафайет: «В первый раз после

двадцати пяти лет я поднимаю голос, который, конечно, узнают старые друзья свободы: я чувствую призвание говорить вам об опасностях отечества, которое вы одни теперь можете спасти. Зловещие слухи, к несчастью, подтвердились. Наступило время собраться около старого трехцветного знамени, знамени 89 года, — знамени свободы, равенства и общественного порядка; это знамя мы должны теперь защищать против иностранных притязаний и против внутренних попыток сломить его. Позвольте ветерану этого священного дела, всегда чуждому духа партий, сделать вам несколько предложений». Предложения состояли в следующем: «Палата объявляет, что независимость нации в опасности. Палата объявляет себя постоянною; всякая попытка распустить ее есть измена; виновный в подобной попытке будет провозглашен изменником отечества и немедленно судим как таковой. Министры военный, иностранных дел, полиции и внутренних дел приглашаются немедленно явиться в палату».

Не было толков о том, что эти предложения были революционные, не конституционные; что палата незаконно захватывала в свои руки всю власть, незаконно отнимала у власти исполнительной право распустить палату, грозя этой исполнительной власти обвинением в измене отечеству. Палата по призыву знаменитого революционера открыто устремилась по революционной дороге, действуя по инстинкту самосохранения, поставивши прямо вопрос: или я, или он? Предложения Лафайета были приняты с восторгом; когда один из депутатов спросил Лафайета, можно ли надеяться без Наполеона сладить с врагами внутренними и внешними, тот отвечал ему: «Будьте покойны; когда мы избавимся от него, то все уладится». Палата перов последовала примеру палаты депутатов.

В Елисейском дворце тотчас же узнали о решениях палат, и началась агония власти: то вдруг выскажется чувство своей силы, память о прошлом значении; то вдруг ясный ум представит все трудности положения, отсутствие средств к борьбе, и наступает убеждение в необходимости прекратить борьбу, отказаться от деятельности: «Перед 500.000 врагов я все, другие ничто; пошлю отряд гвардии и разгоню дерзкую палату: армия будет в восторге, народ не тронется; приму диктатуру и спасу Францию!» Но где эта армия, которая будет в восторге; где средства спасти Францию? Одного человека недостаточно, хотя бы этот человек и назывался

Наполеоном; притом же очарование имени исчезло, ибо к нему нельзя было больше прибавить эпитет «непобедимый». «Если Франция во мне больше не нуждается, то я отрекись». Потом опять гнев и угроза бросить в Сену депутатов. С императором брат его Луциан, человек смелый, решительный, но без средств распознавать знамения времени; Луциан не мог понять различия 1815 года от 1799-го, когда он помог низвергнуть директорию. «Смелей, смелей!» — говорит он теперь Наполеону. «Увы! — отвечал тот. — Я был слишком смел. Я разгоню депутатов, но они поднимут против меня провинции, и я останусь императором якобинцев».

В палате продолжается волнение. Фуше лжет, но Наполеон лишил себя права жаловаться на ложь, солгавши сам: когда он явился во Францию с Эльбы, то обманул народ ложью, что Австрия за него; теперь Фуше выдает за верное, что Наполеон — единственное препятствие к миру; что коалиция согласна дать Франции Наполеона II. Как не верить Фуше? Он знает все! Люди, враждебные Бурбонам, спокойны насчет будущего и с нетерпением ждут второго отречения. Министры повинуются решению палаты, несут ей свои отчеты, с ними идет и Луциан Бонапарт как комиссар императора; Луциан еще надеется убедить палату в необходимости удержать Наполеона на престоле: он представляет возможность борьбы, стыд для Франции — принять Наполеона как освободителя и через 25 дней, испугавшись одной потерянной битвы, угрозы иностранцев, объявлять того же Наполеона причиной всех зол, гнать его с престола: какое непостоянство!

Но Лафайет спешит изгладить впечатление, произведенное словами Луциана. «Князь! — говорит он. — Вы клеветаете на народ; потомство обвинит Францию не за то, что она покинула вашего брата, но за то, что слишком долго за ним следовала — в Италию, в Египет, в Испанию, в Германию, в Россию; 600.000 французов полегло на берегах Эбро и Таго; можете вы счесть, сколько лежит на Дунае, на Эльбе, Немане и Москве? Если бы Франция не была так постоянна, то она сохранила бы 2.000.000 своих сынов, избавила бы вашего брата, вашу фамилию, нас всех от той пропасти, в которую мы теперь ввергаемся». Луциан был уничтожен этими громовыми словами, и не один Луциан: палата решает отправить к союзным государям депутацию для переговоров, не от имени Наполеона, но от имени

палат. Наполеон отрёкся от престола в пользу сына. Биржевой барометр поднялся еще выше, но, чтобы не дать ему упасть, нужно было устранить признание Наполеона II императором, что и было сделано.

Образовалось временное правительство (исполнительная комиссия) из пяти членов: троих — Карно, Фуше и Гренье — выбрала палата депутатов, двоих — Коленкура и Кинетта — назначила палата пэров. Всеобщее расслабление, желание выхода из тяжкого, неутешительного положения какими бы то ни было средствами, жажда покоя заставили отдать судьбу Франции в нечистые руки Фуше, который стал президентом исполнительной комиссии. Без соблюдения народного достоинства отступились от Людовика XVIII и приняли Наполеона; без соблюдения народного достоинства отступились от побежденного Наполеона, не чувствовали в себе сил с честью выйти из критического положения, видели впереди унижение и пошли к нему навстречу под предводительством Фуше, который был преклоненным знаменем побежденной Франции, побежденной материально и нравственно. Были суеверные люди, которые думали, что Фуше свергнул Наполеона; что Фуше может отдать корону Франции кому хочет; что могущественный волшебник может заклясть бурю. Волшебник сам этого не думал; он старался только угадать, на чьей стороне сила, чтобы предложить этой стороне свои услуги, а между тем с каждым держал особую речь: революционерам он говорил, что в настоящем положении дел, кроме Бурбонов, не должно исключать никого решительно; что неблагоприятно связывать себя в каком бы то ни было смысле, пусть идет свободно вопрос о Наполеоне II, герцоге Орлеанском, о каком-нибудь иностранном принце, даже о республике; что, оставаясь в нерешительном положении, можно содействовать разделению в коалиции. Людям робким он говорил: зачем высказываться заранее, даже против Бурбонов? Не должно лишать себя возможности трактовать и с ними в случае, если неодолимая сила снова введет их во Францию. Бонапартистам Фуше обещал, что вместе с Меттернихом устроит регентство для Наполеона II.

Но для Фуше было ясно, что у Франции нет возможности решить вопрос своими внутренними средствами, независимо от постороннего вмешательства; как в прошлом году, так и теперь иностранцы должны были дать Франции правительство, несмотря на то что, по-видимому,

союзные государи отклоняли от себя это дело. На ком же остановится их выбор? Еще в апреле месяце отправленный императором Александром в Гёнт, Поццо-ди-Борго писал лорду Касльри: «Несмотря на таланты и бешенство людей, овладевших властью во Франции, народ находится еще в состоянии нерешительности и волнения: если мы пойдем сплоченными рядами, то проникнем повсюду. В этом случае переход французов на нашу сторону очень вероятен, особенно если мы выставим французский интерес, к которому можно будет примкнуть. Я не перестаю думать, что единственный человек, которого мы должны призвать и выставить вперед, — это король Людовик XVIII; если мы отступим от этого правила, то не будем знать, где остановиться. Всякое другое правительство, даже из Бурбонской династии, будет договором с якобинцами, и новый государь, каков бы ни был его титул, будет только орудием в их руках. Неполитично давать повод думать, что мы можем легко склониться к подобной мере; если мы можем только одного короля Людовика XVIII представить Франции как средство установить прочно наши отношения к ней, то было бы крайне неблагоприятно уменьшать интерес, который он может внушить нации, равнодушием, какое мы будем ему оказывать совершенно некстати. Я знаю, что его обвиняют в неуменье управлять; он сделал большую ошибку тем, что не имел инициативы; но отдельные акты его администрации вообще безукоризненны, и не должно забывать, что еще никогда человек не находился в таком трудном положении. Мы его поставили лицом к лицу со всеми демонами революции, мы сложили на его плечи все ошибки, его и свои. Тут является Бонапарт; войско низвергает трон, который оно было обязано поддерживать; народ остается изумленным и бессмысленным зрителем; он больше будет аплодировать пьесе противоположной, когда мы, как надеюсь, дадим ему этот праздник; но мы не должны удовлетворяться комплиментами, нас ожидающими. Если мы хотим спокойствия, то надобно дать королю Людовику XVIII средства распустить старое французское войско, создать новое и очистить Францию от пятидесяти великих преступников, которых существование несовместимо с миром. Французы должны взять на себя исполнение, а союзники должны дать им возможность это сделать. Мы обязаны своим спасением единству; но единство наше

есть преимущественно следствие счастливых обстоятельств, которые нелегко возобновляются».

Таким образом, еще в апреле была начертана программа будущего поведения союзников относительно французского правительства и вместе программа действий этого правительства. Англия была совершенно согласна с программой; другие союзники согласны или равнодушны; но они не были равнодушны к другому вопросу: что сделать с Францией, оставить ли ее в прежних границах или раздробить, урезать, чтобы отнять у страшного народа средства беспокоить Европу на будущее время? Мы видели, как в Германии обнаружилось сильное движение в пользу второго решения вопроса. Самые видные государственные люди этой страны, печать были за него; за него был и знаменитейший из полководцев германских — Блюхер, получивший вместе с герцогом Веллингтоном особенное значение по событиям последней кампании и могущий скорее всех быть с войском у Парижа.

После победы оба полководца сильно порознились в своих взглядах относительно судьбы побежденного. Временное французское правительство послало к Веллингтону генерала Номмелэна ходатайствовать, чтобы отрекшемуся императору позволено было отправиться в Америку. Веллингтон отвечал, что он не имеет никакого права ни позволять, ни не позволять этого. Но иначе смотрел на дело Блюхер: он дал знать Веллингтону, что намерен захватить Наполеона и убить его. Веллингтон отвечал, что он никак не может согласиться на это; что судьба Наполеона должна быть решена по общему соглашению всех союзных правительств и во всяком случае если государи пожелают казнить Наполеона, то пусть назначат палача, а он, Веллингтон, этим палачом не будет. Временное правительство прислало также к Веллингтону пятерых депутатов просить о прекращении военных действий, потому что человек, против которого вооружилась Европа, не был уже более императором французов. На это герцог отвечал, что отречение Наполеона не представляет еще для союзников такого ручательства, которое могло бы побудить его к немедленному прекращению военных действий; он сделает это в том случае, когда Наполеон будет выдан союзным государям; когда авангарды союзных войск вступят в Париж и когда во Франции установится правительство, которое будет пользоваться доверием не

только Франции, но и всей Европы. Депутаты спросили герцога, что он хочет сказать последними словами. Веллингтон отвечал, что он не имеет пра, ва распространяться об этом; но если они хотят знать его мнение как частного человека, то он думает, что Франция должна призвать Людовика XVIII без всяких условий; что честь Франции требует сделать это как можно скорее, прежде чем могло бы явиться предположение, что король возвращен по настоянию союзников. Депутаты согласились с мнением герцога и хотя объявили, что в конституции должны быть сделаны некоторые изменения, однако признали за лучшее не делать этой перемены условием королевского возвращения.

Итак, Людовик XVIII должен был возвратиться, Франция примет его без условий, но что такое Франция? Где слышится егоголос? Все молчит, все недвижимо. Наполеон уехал из Парижа; он живет в Мальмезоне вместе с падчерицей своей, бывшей голландскою королевой Гортензией; он не идет к западным берегам Франции, чтобы оттуда отправиться в Америку; он все еще чего-то ждет, нетерпеливо прислушивается, не раздастся ли где голос, призывающий его остаться; новсе тихо. Вместо Наполеона во главе французского правительства Фуше; но и Фуше нечего делать при этом всеобщем бездействии; если не с кем бороться, нечего улаживать, ему остается одно — обманывать людей, которые незнакомы с положением дел во Франции и которые, видя Фуше наверху, думают, что он силен, может все сделать. И Фуше обманывает Людовика XVIII, всю Европу; король думает, что если Франция примет его, и примет хорошо, то по милости Фуше; колдуну отлично удался обман: бури вовсе нет и не от чего ей быть, а все думают, что она заклята чародейною силой. Фуше — сила, с которой надобно считаться: он держит в своих руках корону.

Но есть еще другая сила вне Франции: это Талейран. Фуше уверяет, что он возвращает Бурбонов и должен удержать за это при них первенствующее значение. Талейран также хочет иметь первенствующее значение: он в прошлом году настоял на возвращении Бурбонов; он в Вене поднял значение Франции, без него Людовик XVIII со своим любимцем Блака, со своими эмигрантами наделал множество ошибок и потерял престол; он, Талейран, устроил новую коалицию против Наполеона, он поддерживал Бурбонов; Людовик XVIII возвратится теперь снова по его милости и, чтобы удержаться на

престоле, должен подчиниться вполне его руководству, чтобы не было при дворе никакого другого влияния. На другой день после Ватерлооской битвы Талейран приехал в Брюссель, возвращаясь из Вены; он остановился здесь, не поехал к королю в Гёнт, явился особою, самостоятельной силой, с которой Людовик XVIII должен был договариваться. Талейран сейчас же стал разглашать условия договора: катастрофа 20 марта была прямым результатом ошибок некоторых министров, особенно Блака, прямым результатом действия эмигрантов, которыми окружил себя граф Артуа; Блака должен быть удален; министры должны действовать заодно и отвечать друг за друга; должно быть провозглашено всепрощение; людям и интересам революции должна быть дана полная безопасность. Талейран говорил, что королю нельзя возвратиться в Париж прямой дорогой чрез северные департаменты, вслед за иностранными войсками; что ему надобно явиться в южных областях, где народонаселение более предано Бурбонам, здесь окружить себя французами и, таким образом, заставить иностранцев уважать в себе независимую силу.

Но Веллингтон дал знать королю, что ему выгодно приблизиться к северной французской границе, 22-го июня Людовик XVIII оставил Тент и приехал в Монц в одно время с Талейраном; но последний и тут не поспешил представиться королю, занял дом на противоположном конце города, начал принимать посетителей и говорить с ними без всякой сдержанности о текущих событиях. Король не приглашал Талейрана, а между тем главное условие его было исполнено: Блака удален, потому что против любимца были и либералы, и эмигранты; первые требовали удаления человека, который, по их мнению, оттягивал короля к старой Франции; эмигрантам Блака мешал своей самостоятельностью: они надеялись без него совершенно овладеть слабым королем; со всех сторон кричали, что Блака страшно непопулярен во Франции; что с ним нельзя возвратиться. Блака подал в отставку и назначен был посланником в Неаполь. Людовик XVIII плакал на расставании со своим другом, который очень хорошо понимал старика. «Первые дни, — говорил Блака, — он обо мне потоскует, но скоро привыкнет без меня обходиться, скоро привыкнет к другому».

У Людовика XVIII не достало твердости удержать Блака; но у него достало твердости не послать за Талейраном, а Талейран не знал, в чем

король слаб и в чем тверд. Составлялось новое министерство, а за Талейраном не посылали. Поццо-ди-Борго, Шатобриан и другие, считавшие в это время нужным иметь Талейрана в министерстве и его влиянием уравновешивать влияние графа Артуа с эмигрантами, уговаривали Талейрана ехать к королю: «Если вы не поедете, то он не станет вас дожидаться, уедет из Монса». Талейран улыбался. Это было вечером, а ночью ему дают знать, что король велел приготовить лошадей к четырем часам утра. Тут лицо знаменитого дипломата приняло другое выражение, улыбка исчезла; Талейран спешит одеться и скорее к королю. Тот принял его как победитель, и, быть может, ни один полководец так не торжествовал своей победы, решавшей судьбу царств, как Людовик XVIII торжествовал победу над Талейраном; он дал вполне почувствовать побежденному всю тяжесть поражения. Чтобы поправиться, сломить гордость победителя, Талейран грозит покинуть службу, просит позволения ехать в Карлсбад. «Карлсбадские воды превосходны, — отвечает король, — они вам очень помогут, до свидания!» Король уехал.

Выдержал, а Талейран все же остался министром, остался точно таким же образом, как Блака был удален: и свои, а главное, чужие, Поццо-ди-Борго, Веллингтон, представили необходимость удержать Талейрана, который и получил приказание вместе с другими министрами, остававшимися в Монсе, приехать к королю. Письмо от Веллингтона: советует ехать; и Талейран едет, в Камбрэ представляется королю и принимается благосклонно; ни слова о том, что было в Монсе. Но теперь пришла очередь Талейрану трубить победу: он убеждает министров, что королю при вступлении во Францию необходимо издать прокламацию, где он должен сознаться в своих ошибках и дать обещание исправиться. Прокламация написана; ее читают в Совете, где присутствуют принцы. Граф Артуа жалуется на унижение, которому хотят подвергнуть короля, заставляя его просить прощения в прошлых ошибках и обещать, что впредь не повторит их.

В прокламации говорится, что король был увлечен своими привязанностями. «Не хотят ли здесь указать на меня?» — спрашивает граф Артуа. «Да, — отвечает Талейран. — Вы сделали много зла». «Князь Талейран забывается», — говорит граф Артуа. «Быть может, я и забываюсь, но правда выше всего», — отвечает Талейран. «Только

присутствие короля меня сдерживает, — кричит герцог Беррийский. — Иначе я не позволил бы никому так обращаться с моим отцом». Король спешит утишить бурю: объявляет, что ему одному принадлежит право судить о том, что говорится в его присутствии; что он не может одобрить ни прокламации, ни спора, который произошел по ее поводу; что надобно изменить ее. Составили новую прокламацию, которую король одобрил; но и в ней король признавал, что, может быть, сделаны ошибки, потому что бывают трудные времена, когда самые чистые намерения не могут направить на путь истинный; один опыт может научить, и он не будет потерян.

Король обещал, что отныне министры будут действовать заодно; уверял владельцев национальных имуществ (прежних церковных и эмигрантских), что приобретенная ими собственность неприкосновенна; обещал прощение тем французам, которые были увлечены другими к измене, но исключал из прощения главных виновников преступления. Партия графа Артуа была недовольна прокламацией: программа Талейрана была в ней слишком явна; не были довольны и те, которых именно хотелось удовлетворить, не были довольны исключениями из амнистии. Не прокламация прокладывала дорогу Бурбонам ко вторичному возвращению: как в прошлом году, так и теперь прокладывали им дорогу иностранные войска, которых государи считали возвращение Бурбонов простейшим разрешением трудного вопроса; и чем далее входили иностранные войска во внутренность Франции, тем биржевой барометр поднимался все более и более, и Париж оживился по-прежнему — самый верный знак, что Людовик XVIII поселится опять в Тюльери. Остатки императорских войск пошумели было против Бурбонов, представив на вид палатам, что войско было оскорблено Бурбонами, что ему нельзя с ними ужиться. На это не палаты, а само войско должно было отвечать, отвечать не словом, а делом, должно было победить иностранные армии; но так как никто не мог надеяться на эту победу, то обращение войска к палатам с просьбой о защите от Бурбонов было странно и бесплодно.

Исход дела был ясен для Фуше, и он завел сношения с Людовиком XVIII; роялисты ободрились и с разных сторон начали приезжать к королю. Но до какой степени господствовала смута, до какой степени все ходили в потемках, не могли различать предметов и создавали себе

небывалые страхи, — доказательством служит то, что роялисты, приезжавшие к королю, говорили о могуществе Фуше, без которого ничего нельзя сделать; настаивали, что королю надобно сблизиться с ним во что бы то ни стало; граф Артуа со своими настаивал на то же самое; необходимость сближения с Фуше выставлял и Веллингтон. Впоследствии Шатобриан верно представил этот хаос, благодаря которому Фуше получил такое значение, верно представил, как все противоположное перемешалось, соединилось, чтобы превознести могущество колдуна, «религия и нечестие, добродетель и порок, роялист и революционер, иностранец и француз»; 6 июля Людовик XVIII, находившийся в С.-Дени, дал знать Веллингтону и Талейрану, что готов принять Фуше и назначить его министром полиции. На другой день Талейран ввел с торжеством Фуше в кабинет королевский: Бурбоны преклонились пред революцией, царубийца сделался министром брата Людовика XVI. «Я знаю услуги, вами мне оказанные, — сказал король Фуше. — Герцог Веллингтон уведомил меня о них. Я назначил вас министром полиции; надеюсь, что в этом звании вы мне окажете новые услуги». Когда новый министр откланялся, король сказал: «Нынче я потерял свое девство».

На другой день, 7 июля, пруссаки и англичане вошли в Париж и расставили пушки на всех мостах; прусский офицер вошел в залу, где заседала исполнительная комиссия, и положил на бюро бумагу, подписанную Блюхером: в бумаге требовалось 100 миллионов военной контрибуции. Члены комиссии исчезли при виде магической бумаги, оставив ее в наследство Людовику XVIII; палаты разошлись; вместо трехцветного знамени на Тюльери поднялось белое, и 8 июля Людовик XVIII вторично вступил в Париж. Вечером Веллингтон и Касльри были приглашены в Тюльери и нашли короля в сильном волнении и восторге от приема, сделанного ему парижанами; по его мнению, он был принят еще радушнее, чем в прошлом году. И теперь, вечером, почти невозможно было разговаривать с королем: так оглушительны были крики народа, наполнявшего Тюльерийский сад, несмотря на темноту. На расставании король подвел Веллингтона и Касльри к открытому окну; свечи были поданы и дали возможность народу видеть короля вместе с герцогом; народ сбегался на это зрелище со всех концов сада, образовал огромную, густую массу и наполнил воздух восклицаниями.

Веллингтон ввел короля в Париж; но что скажут соседние государи? Зачем до них и без них произведена была вторая реставрация? Разумеется, всего опаснее могло быть неудовольствие русского императора; поэтому Касльри и Веллингтон почли за нужное отправить Поццо-ди-Борго навстречу к императору Александру с объяснением, почему надобно было спешить со второй реставрацией. Другой, большей заботой Веллингтона и Касльри было сдерживание Блюхера и его пруссаков: кроме огромной контрибуции, наложенной ими на Париж, они обнаружили твердое намерение взорвать Иенский мост, чтобы не было в Париже ненавистного памятника их бесславия. Веллингтон требовал, чтобы они удержались по крайней мере до приезда государей. Государи приехали 10 июля; Людовик XVIII бросился к императору Александру с мольбою о защите — и Блюхер был сдержан: контрибуция уменьшена до 8 миллионов и мост Иенский спасен от разрушения. Обнаружилось ясно могущество русского императора; ясно было, что при решении вопроса о будущем положении Франции относительно соседей в нем одна Франция могла найти защитника. За это ручался характер императора, известная его любовь к французскому народу и, наконец, расчет политический: Франция была опасна России менее, чем какой-нибудь другой державе европейской; для России выгодно было сблизиться с Францией и уничтожить возможность возобновления талейрановского тройного союза между Францией, Англией и Австрией против России и Пруссии; союз Англии и Австрии не был опасен для тройного союза России, Франции и Пруссии.

Если в 1814 году, во время Венского конгресса, Талейран хлопотал о союзе бурбонской Франции с Англией и Австрией против России и Пруссии, то после 20 марта приверженцы Наполеона хлопотали о подобном же союзе бонапартовской Франции с Англией и Австрией против России и Пруссии, старались отвести Англию от союза с Россией, возбуждая опасение англичан насчет могущества императора Александра. Знаменитая Стааль, сделавшаяся из непримиримого врага Наполеона его защитницей, когда он стал играть в конституцию и сблизился с ее приятелем Бенжамен-Констаном, — Стааль писала в Англию в апреле 1815 года: «О, да будет принц-регент велик, великодушен! Пусть он станет посредником; пусть скажет народам: я хочу мира, и вы останетесь в мире! Чрез это Англия может

быть владычицею мира, тогда как во время войны она будет только частью целого, уже разделенного. Принц-регент не может начальствовать английскими войсками; он может владычествовать народами, только предписывая им всем мир. Если они устремятся на войну, то владыкою их станет император русский, Агамемнон, царь царей! Принцу-регенту дается на выбор: или быть богом мира, или позволить русскому императору стать царем этой войны».

В Англии и без внушений Стааль очень хорошо понимали, что русский император будет снова Агамемноном союза, и очень хорошо понимали также, что с русским императором возможен мир, а с Наполеоном он не возможен, и потому прежде всего хотели покончить с бонапартовской Францией, для чего общее действие с Россией было необходимо. Император Александр со своей стороны делал все возможное, чтобы не возбуждать подозрительности и зависти Англии, сохранить с нею доброе согласие. В мае 1815-го в Вене, разговаривая с лордом Каткартом о движениях русских войск, он сказал: «Надеюсь, пришло время, когда увидят, что могущество России может быть только полезно для Европы, а не опасно для нее». Теперь в Париже император выразил лорду Касльри свое желание действовать сообща с принцем-регентом для упрочения европейского мира и спросил его прямо, не питает ли принц-регент какого-нибудь неудовольствия против него за его поведение в Лондоне в прошлом году^[15]. Сообщая об этом вопросе лорду Ливерпулю, Касльри прибавил, что император Александр оказывает необыкновенное внимание герцогу Веллингтону и английскому войску. Через несколько дней Касльри получил ответ: принц-регент поручал ему передать русскому императору, что он совершенно удовлетворен заявлением, что, если что-нибудь было, то было совершенно ненамеренно и что он, принц, не может питать к его императорскому величеству других чувств, кроме чувства искренней дружбы.

Таким образом спешили устранить все препятствия к дружному действию при решении предстоящего вопроса: на каких условиях заключать новый мир с Францией; какие обеспечения нужны для того, чтобы страшный народ не нарушил снова мира Европы? Благодаря преимущественно Англии последовало и второе «восстановление» Бурбонов; но именно потому, что Англия была главной виновницей дела, она больше всех и должна была беспокоиться насчет его

последствий. 10 июля лорд Ливерпуль писал Касльри тревожное письмо: «Очевидно, что у короля нет партии; геркулесова работа — дать вещественную силу этому правительству; что это за король, который не поддерживается общественным мнением, войском или сильною национальною партией? Я рад, что он принял в службу Фуше. Фуше может изменить королю, но он может понять, что ему выгодно, и спасти его. При отчаянном положении дел мы должны употреблять и отчаянные средства. Чем более я рассматриваю настоящее внутреннее состояние Франции, чем менее нахожу обеспечения для безопасности Европы в характере и силе французского правительства, тем более мы должны искать безопасности на границах в материальном ослаблении могущества Франции. Это мнение быстро распространилось у нас».

Таким образом, взгляд английского министерства, руководимого общественным мнением страны, совпадал со взглядом немецких патриотов. Но немецкие патриоты не впадали в противоречия: они были равнодушны к вопросу, кто будет царствовать во Франции, — лишь бы Франция была ослаблена и не грозила более Германии. Англия же хлопотала об утверждении Бурбонов, видела слабость короля, от этой слабости заключала к необходимости ослабить Францию и тем сильнее наносила удар восстановленной династии, отнимая у нее популярность, возбуждая против нее упрек, что иностранцы, ее союзники, ее восстановители, обрезали, унизили Францию. Положение императора Александра было самое выгодное: он не настаивал на возвращении Бурбонов, но он во всяком случае за Францию, и потому все французы, которым дорога честь и сила родной страны, должны обратиться к нему как единственному своему покровителю, и прежде всех должен обратиться к нему король.

Ливерпуль в письмах своих к Касльри твердил свое, что слабость французского правительства очевидна; что уступки, которые оно делает, суть следствия слабости, а не милосердия. Король распустил армию, но какую надежду можно возложить на новую армию, составленную из старого материала? Да если бы можно было создать и совершенно новое войско, то какая опасность будет грозить от 40.000 отставных офицеров, людей без средств к жизни и между тем обладающих значительною долей талантов и энергии. Строгое наказание заговорщиков, вызвавших Бонапарта с Эльбы, могло бы

послужить спасительным примером; но его трудно ожидать теперь, когда король принужден дать правительственные места членам якобинской партии. При таком положении дел надобно принять иные меры безопасности, и союзники сделают непростительную ошибку, если оставят Францию, не устроивши границы, достаточной для защиты соседних государств. В Англии господствующая мысль, что союзники имеют полное право воспользоваться настоящим случаем и взять у Франции назад главные приобретения Людовика XIV. Все равно Франция никогда не забудет унижения, которому уже подверглась, и воспользуется первым удобным случаем для восстановления своей военной славы; следовательно, союзники обязаны воспользоваться настоящим временем и предупредить вредные последствия собственных успехов; в прошлом году союзники были великодушны — и какие оказались результаты этого великодушия? Теперь надобно промыслить самим о себе. Понятно, что русский император пожелает принять роль покровителя французского народа; но это расположение его императорского величества должно быть сдержано в разумных пределах; он не должен забывать о соседних с Францией державах; он, как посредник, естественно, должен сдерживать чрезмерные и неразумные претензии некоторых из союзников; но он не должен безопасность союзников приносить в жертву претензиям французского народа, «Мы не должны забывать, — писал Ливерпуль лорду Касльри, — что Австрия и Пруссия во всем этом вопросе имеют с нами гораздо более общих интересов, чем Россия».

Так смотрели на дело англичане, находившиеся в Англии; несколько иначе должны были смотреть на него англичане, находившиеся во Франции. «Я совершенно согласен с вашим заключением, — отвечал Касльри Ливерпулю, — что основные интересы Великобритании в настоящее время тождественнее с интересами Австрии и Пруссии, чем России; но в то же самое время я должен заметить, что за этими обоими дворами надобно внимательно смотреть, как они преследуют свои частные цели, чтоб нам не впутаться в такую политику, с которою Великобритания не имеет ничего общего. Ни Австрия, ни Пруссия и ни одна из меньших держав не имеют искреннего желания поскорее окончить настоящее положение дел, потому что оно доставляет им возможность кормить,

одевать и платить жалованье своему войску на счет Франции, откладывая при этом себе в карманы английские субсидии. Австрийцы ввели целую армию в Прованс, чтоб кормить ее на счет этой бедной и верной королю страны. Пруссаки кормят на счет Франции 200.000 войска. Баварцы, чтоб не потерять удобного случая покормиться на чужой счет, поспешили перевезти на телегах свое войско от Мюнхена на берега Луары, когда в их помощи уже не было более никакой нужды, и перевозка, разумеется, поставлена на счет Франции. Теперь во Франции союзных войск не менее 900.000, содержание которых стоит ежедневно стране 112.000 фунтов стерлингов.

Безупречно в этом отношении ведет себя русский император: он согласился со мною, что треть контрибуции, которую возьмут союзники с Франции, должна идти на пограничные укрепления: если взять в расчет отдаленный интерес России в этом деле, то это очень бескорыстно со стороны его императорского величества. Он привел в движение свою вторую армию без всяких уговоров с нами насчет субсидий, прежде чем получил малейшее уверение в помощи; он остановил свои войска, велел им возвратиться назад в Россию, как только я представил ему, что в них нет более нужды. Теперь он торопит нас, чтобы как можно скорее оканчивали с Франциею в собственных наших интересах, ибо мир освободит нас от обязанности платить субсидии, причем император желает отправить свои войска назад».

26 июля граф Каподистриа, уполномоченный императора Александра в конференциях между министрами союзных государей, представил мемуар, в котором заявлялось, что целью союза было: освобождение Франции от Бонапарта и революционной системы; восстановление для нее внутренних и внешних отношений, установленных Парижским договором; обеспечение для нее и для всей Европы постановлений этого договора и Венского конгресса. Так как поддержание Парижского договора было выставлено причиной войны, то для прекращения войны нельзя требовать его изменения. Притом если посягнуть на целость французской территории, то надобно будет все снова переделать, переменить и венские постановления, служащие основой европейского равновесия. Союзники, восстановившие Людовика XVIII на троне, должны по справедливости и в собственных интересах утвердить его власть, помочь ему основать нравственную

силу его правительства на общем и национальном интересе. Принудить короля к уступкам, которые будут в глазах французов доказательством неуверенности союзных держав в прочности их собственного дела, — значит нанести смертельный удар реставрации. Соглашаясь в недостаточности одних нравственных обеспечений, Каподистриа предлагал, чтобы союзники объявили Наполеона Бонапарта и его фамилию лишенными права когда-либо царствовать во Франции; чтобы они с согласия Людовика XVIII приняли во Франции военное положение и сохраняли его до тех пор, пока новое правительство не утвердится во Франции и пока союзные государства не успеют усилить свою оборонительную систему; наконец, взять с Франции контрибуцию, которая пойдет на покрытие военных издержек и на устройство новых укреплений, которые союзные государства выставят против громадной линии французских крепостей. Каподистриа объявил, что пора прервать грозное молчание союзников относительно Франции; что надобно войти в прямые, откровенные объяснения с народом в высшей степени гордым и самолюбивым, способным еще обнаружить сильную энергию, — с народом, которого нельзя доводить до отчаяния.

Мемуар Каподистриа встретил сильные возражения со стороны немецких дипломатов и генералов: Гарденберг, Вильгельм Гумбольдт, генерал Кнезебек, Меттерних, фон-Гагерн подали мемуары, в которых старались доказать необходимость изменить границы Франции. Франция, говорилось в немецких мемуарах, перешла свои естественные границы, отнявши со времен Людовика XIV естественные границы у своих соседей. Чтобы получить теперь мир продолжительный и прочный, надобно, чтобы Франция отдала своим соседям их оборонительную линию, которую она у них отняла, то есть Эльзас и крепости нидерландские, крепости Мааса, Мозеля и Сарры: тогда только и Франция получит свою настоящую оборонительную линию, то есть Вогезские горы и двойную линию крепостей от Мааса до моря. На основании этих мемуаров Франция должна была лишиться почти всей Фландрии, северной части Шампаньи и Лотарингии, всего Эльзаса и значительной части Франш-Конте и Бургундии; должна была потерять не менее трех миллионов народонаселения. Немцы, разумеется, настаивали на том, что союзники имеют полное право отнять все это у Франции: смешно было бы думать, говорили они, что

последняя война велась против одного Наполеона; что французы в ней не участвовали.

Английское министерство также вооружилось против мемуара Каподистрия; в замечаниях на этот мемуар, пересланных Ливерпулем лорду Касльри, говорилось: «Если бы французский народ отозвался на призыв, сделанный в декларациях союзников из Вены в марте и мае месяцах, и материально содействовал низвержению Бонапарта, то союзные державы могли бы считать себя связанными Парижским трактатом и не могли бы претендовать на вечные уступки земель со стороны Франции по праву завоевания. Но если обратить внимание, как велики были пожертвования союзников кровью и деньгами в последнюю войну; если обратить внимание на то, что король Людовик XVIII был восстановлен союзными войсками; что крепости французские сопротивлялись до тех пор, пока оставалась хотя малейшая надежда на помощь, и что занятие союзными армиями страны к северу от Луары есть действительно занятие вследствие завоевания, то не может быть сомнения, что союзники имеют право на плоды завоевания, на приобретения, которые, по их мнению, необходимы для их собственной безопасности». Несмотря на такой взгляд, английское министерство заявляло, что союзники должны были получить себе обеспечение уменьшением наступательных средств французского народа; но это уменьшение могло произойти или посредством территориальных приобретений, или посредством временного занятия французских областей союзными войсками.

Относительно права союзников требовать обеспечения от Франции, не стесняясь Парижским договором 1814 года, Англия соглашалась с немцами; относительно же того, в чем должно было заключаться это обеспечение, она не решала вопроса, допуская возможность и того средства, какое предлагала Россия, то есть временного занятия некоторых частей Франции союзными войсками. Но английское министерство скоро должно было принять русское предложение, потому что за него высказались и герцог Веллингтон, и лорд Касльри. Последний писал Ливерпулю, что он не может не признать справедливости мнения герцога Веллингтона, который предпочитает временное занятие французских областей совершенному их отторжению от Франции, потому что это отторжение соединит всех французов против Англии или скорее против того государства, которое

возьмет себе отторженные области; по всем вероятностям, король Нидерландский первый подвергнется нападению со стороны Франции, и потому надобно хорошенько подумать об этом. Временное же занятие, напротив, не представляет никакой опасности: известно, что Людовик XVIII и его министры желают, чтобы иностранные войска остались во Франции; если дело уладится с обращением внимания на чувства и на интересы французского народа, то король, его правительство и роялистская партия будут на стороне союзников. Король, поддержанный ими, будет иметь возможность постепенно утвердить свою власть, что важнее для союзников всех других обеспечении. Если он падет, то союзники будут свободны от упрека, что ускорили его падение, и будут иметь время принять все нужные предосторожности. Если же, наоборот, союзники будут вести дело до крайности, то они оттолкнут от себя короля, который будет принужден или вести народ свой на войну, или уступить престол более смелому и предприимчивому сопернику. Этот взгляд основывается на убеждении, что дело королевское во Франции вовсе не безнадежно, если будет хорошо ведено, и европейский союз может поддержать его, если при взятии обеспечении не будут действовать враждебно к Франции.

23 августа Ливерпуль отвечал Касльри, что лондонский кабинет согласен с мнением герцога Веллингтона. Франция должна была сделать несколько земельных уступок, но ничтожных в сравнении с немецкими требованиями^[16]; но она должна была заплатить союзникам 600 миллионов контрибуции да 200 миллионов на постройку крепостей, долженствующих охранять соседние государства от Франции; наконец, 150.000 иностранного войска, содержимого Францией в продолжение семи лет, должно было занимать 18 крепостей. Но при том значении, какое имел Париж, самым тяжелым и оскорбительным следствием вторичного занятия иностранными войсками столицы Франции была отдача по принадлежности произведений искусств, забранных Наполеоном в разных странах и сосредоточенных в Лувре. Еще 15 июля лорд Ливерпуль писал Касльри: «Принц-регент поручил мне обратить внимание на собрание статуй и картин, которые французы захватили в Италии, Германии и Нидерландах. Решат ли возвратить их по принадлежности или разделить их между союзниками, — во всяком случае союзные войска имеют относительно их то же право завоевания, какое имели

французы, овладевая ими. Желательно удалить их из Франции с политической точки зрения, ибо, находясь в ней, они будут необходимо поддерживать воинственный дух и тщеславие народа». Французское правительство, соглашаясь на все другие условия, не согласилось на это; картины и статуи были взяты насильно немецкими и английскими солдатами; герцог Веллингтон принял деятельное участие в этом деле и навлек на себя сильную ненависть французов; тем еще сильнее стала популярность русского императора.

Занятие союзными войсками французских крепостей считалось необходимым для укрепления правительства Бурбонов; но кто же мог мешать этому укреплению? Наполеон, упустив благоприятное время для отправления в Америку, отдался англичанам и был отправлен на остров Св. Елены. Если Наполеон по возвращении с Эльбы говорил, что Бурбоны своими ошибками восстановили его, то теперь Бурбоны в свою очередь имели право говорить, что Наполеон своим стодневным царствованием оказал им большую услугу. Им страшна была слава знаменитого императора, страшно было сожаление о нем в народе: император надолго помрачил свою славу при Ватерлоо. Им страшно было императорское войско, жившее воспоминаниями о своем непобедимом вожде: этот вождь явился, и под его предводительством войско потерпело сильное, окончательное поражение. Наполеон истощил все средства своей партии, которая была так грозна во время первой реставрации. С падением Бонапарта Бурбонам нечего было бояться других партий: республиканская была слишком слаба, орлеанская — только в зародыше. Отсюда кроме истощения народа, жаждущего отдыха, мира, причиной страдательного положения Франции было отсутствие знамен, около которых можно было бы сосредоточиться для действия. Одно только знамя было поднято — знамя Бурбонов, поднято было иностранцами, без ведома и сочувствия народного большинства — нет нужды! Все же это было единственное поднятое знамя, которому других противопоставить было нельзя; кто хотел действовать, шел под это знамя; кто не сочувствовал знамени, тот осуждал себя на страдательное положение, не имея на что опереться. Бурбонская партия была так бессильна, что не могла собственными средствами восстановить короля; она поднялась чужими средствами — именно когда союзники ввели Людовика XVIII в Париж, но все же поднялась и могла действовать на просторе, без

помехи со стороны других партий, была во времени — и воспользовалась своим временем.

Во всяком обществе есть люди, которые хотят дать волю страстям своим, разнуздать их, побушевать. В спокойное время, при правильном общественном движении, эти люди связаны, и если позволяют себе что-нибудь, то испытывают очень неприятные для себя последствия; но когда происходит в обществе неправильное революционное движение, эти люди тут и предлагают свои услуги сильнейшей партии, знаменем которой прикрываются. Партии обыкновенно имеют неосторожность принимать услуги подобных людей, набирать из них себе войско и таким образом брать на себя ответственность за их действия, брать на себя обязанность оправдывать эти действия, как бы они ни были возмутительны. Так было и теперь во Франции, когда бурбонская партия хотела воспользоваться своим временем: на юге, где народонаселение склонно к страстной борьбе партий, обнаружилось движение против бонапартистов и вообще людей, не сочувствующих Бурбонам; их сотнями запирали в тюрьмы не по судебному решению, а вследствие народной воли; убийства и пожары распространились по деревням: в Ниме в продолжение трех дней толпы убийц бегали по улицам, врываясь в дома бонапартистов или тех, кому захотели дать это имя. Так начался «белый террор юга», который обнаруживался в разных местах в продолжение нескольких месяцев.

Приверженцы Бурбонов считали необходимым, чтобы некоторые лица были исключены из амнистии, дарованной королем при его возвращении во Францию; английское министерство и английские журналы высказывали то же требование; 57 имен внесено было в этот список исключенных, и два имени стояли впереди: Ней и Лабедуайер — оба были расстреляны. Господство бурбонской партии, исключительно действовавшей на юге белым террором, естественно, произвело то, что новая палата наполнилась роялистами; возраст депутата, определенный хартией в 40 лет, теперь был понижен до 25; возраст избирателя в 30 был понижен до 21 года; число депутатов вместо прежнего 258 было увеличено до 402. Исключением людей, замешанных в перевороте 20 марта, и назначением новых членов в палате пэров также перевесил роялистский элемент; звание пэра объявлено наследственным.

Чем более прежде при дворе боялись сопротивления Бурбонам и соглашались на разные сделки и уступки для его ослабления, тем более теперь раскаивались в этих уступках и стыдились их, когда видели, что сопротивления нет, что были обмануты, напуганы ложными страхами. Человек, в приближении которого к королю была сделана самая тяжелая уступка, который обманул фальшивой важностью своего значения, которым понапрасну напугали, — этот человек должен был скоро поплатиться за обман. Как скоро увидели, что бури нет, то Фуше, могущественный чародей, призванный заклинать бурю, превратился в ловкого обманщика — не больше, и судьба его была решена. Относительно Фуше при дворе чувствовали такое же раздражение, какое чувствует знатный барин, когда по ошибке протянул руку простолыдину и обошелся с ним, как с равным себе. Как только исчез первый страх и началась роялистская реакция, так начались нападки на Фуше: в одной из роялистских брошюр упрекали Людовика XVIII за презрение, оказанное им французскому народу тем, что он сделал своим министром Фуше, «чудовище, запятнанное всеми преступлениями». Не будучи в состоянии плыть против течения, желая показаться усердным, Фуше представляет длинный список лиц, которых должно исключить из амнистии; роялисты недовольны, что не все тут, которых надобно; побежденные партии озлоблены тем, что Фуше выдает людей, которых был сам недавно соумышленником, товарищем. Академик Арно поутру завтракал вместе с Фуше, который не сказал ему ничего, а вечером узнал, что осужден на изгнание; он бежит к Фуше с вопросом, что это значит. Тот отвечает ему: «Что же делать! Проливной дождь: надобно спрятаться под большое дерево, быть может, ваше изгнание послужит некогда для вас правом на почести и благосклонность».

Колдун опять принялся за предсказания будущего, но теперь эти предсказания не спасут его. Напрасно он прибегает к своим обычным средствам, напрасно пугает, напрасно читает в Совете министров в присутствии короля мемуар, что поведение союзных войск довело народ до крайнего раздражения, вследствие которого самые противоположные партии сливаются, и готовится всеобщее восстание, страшная резня, причем король снова должен будет удалиться. Напрасно читает другой мемуар, в котором доказывает, что роялисты сильны только в 10 департаментах, что в 15 уравниваются другими

партиями, а в других департаментах составляют только ничтожное меньшинство; что Франция не снесет от Бурбонов того, что сносила от Наполеона, опиравшегося на свои победы и унижение Европы; что короля любят и уважают, но боятся его наследников; что равенство и свобода пустили такие глубокие корни, что нельзя безнаказанно до них дотрагиваться. Все это напрасно: прежде верили ложным страхам, теперь не верят и тому, что было справедливого в указаниях Фуше. Наконец, палата депутатов, с преобладанием людей, которых Фуше впервые назвал крайними (*ultras*), не допускала никакой возможности оставаться ему долее министром. Фуше все еще упорствовал, говорил, что палатой надобно управлять посредством мятежей, но никто из его товарищей, министров, не соглашался помогать ему устраивать эти мятежи.

Одинаковая участь грозила и Талейрану: и его оставили министром иностранных дел и даже сделали председателем Совета министров по настоянию герцога Веллингтона из страха перед сильными препятствиями, которые встретятся при вторичном утверждении Бурбонов на французском престоле, в надежде, что Талейран поможет преодолеть эти препятствия, особенно в отношении к союзникам. Но скоро увидели, что Талейран вместо помощи служит только препятствием: между союзными государями единственным доброжелателем Франции, единственным ее защитником являлся император Александр, которому король и должен был поэтому предаться вполне. Но император Александр очень хорошо помнил поведение Талейрана в Вене и оказывал к нему совершенную холодность. Таким образом, Талейран становился между Францией и Россией, и потому его надобно было отстранить. Людовику XVIII тем легче было это сделать, что ему навязали насильно Талейрана, властительных манер которого он не мог выносить. Ультрароялисты со своей стороны преследовали Талейрана как человека, более других напоминавшего революцию и империю; ультрароялисты преследовали его наравне с Фуше, преследовали как «отступника, чуждого всякой религии, всякой нравственности, всякого стыда».

Талейран и Фуше были удалены. Кто же мог заменить Талейрана на трудном месте министра иностранных дел? Выбран был человек, совершенно ему противоположный, безупречный в нравственном отношении, — герцог Ришелье. Внук знаменитого маршала, герцог

покинул Францию в начале революции и вступил в русскую службу; при императоре Александре он был правителем Новороссийского края, где оставил по себе добрую память. Император очень любил его и уважал; Людовик XVIII, желая угодить покровителю Франции, назначил было Ришелье министром двора на место любимца своего Блака, но герцог отклонил предложение, не желая быть товарищем Фуше. Теперь, когда Фуше не было более между министрами, император и король настояли, чтобы Ришелье принял место Талейрана. Назначение министром иностранных дел человека, имевшего, можно сказать, два отечества, Францию и Россию, с одинаковыми обязанностями к обеим, было ясным знаком преобладающего влияния русского императора на дела Франции и тесного союза ее с Россией. Разумеется, многим и многим это сильно не понравилось; но делать было нечего, и Касльри в письмах к Ливерпулю старается успокоить министерство именно тем, что делать нечего и нет еще большой беды от преобладающего влияния русского императора; он писал: «Связь герцога Ришелье с русским императором и вмешательство Поццо во все дела, естественно, дает новому правительству сильный русский цвет, и на него уже нападают за это. Но, несмотря на тон покровительства, употребляемый императором, я не нахожу причины жаловаться на поведение его императорского величества. И он спокойно смотрит на нашу работу в Лувре^[17]. Зависть к преобладающему влиянию России, по моему мнению, не должна побуждать нас к ослаблению правительства герцога Ришелье. Главная наша цель — поддерживать на престоле Людовика XVIII; система умеренности, по моему мнению, есть самое лучшее к тому средство, и я не думаю, чтобы герцог вдался в крайности. У герцога много здравого смысла, и он мог бы быть отличным министром в честной стране; но публичная жизнь его ограничивается крымским губернаторством. Он мне сказал, что не знает в лицо ни одного из своих товарищей и что не был во Франции с 1790 года: можете представить себе трудности, которые он должен встретить».

Этот упрек Ришелье, что он знает лучше Россию, чем Францию, был в устах всех тех, которым не нравилось его новое назначение, начиная с Талейрана. «Это француз, который лучше всего знает Крым», — сказал свергнувший министр о своем преемнике, и острое слово с наслаждением повторялось противниками русского влияния.

Это влияние сильно давало себя чувствовать, и Франция увидела ясно, как выгодно ей иметь министром иностранных дел человека, лучше всего знающего Крым: Франция удержала пять крепостей из числа тех, которые должна была уступить по прежнему плану; сумма контрибуции уменьшалась на сто миллионов; союзные войска должны были оставаться во Франции не семь, а пять лет.

Талейран и по выходе из министерства остался в Париже — ждать своего времени; знаменитый оракул не утратил своего авторитета, своих поклонников; дом его был открыт для всех, недовольных настоящим положением дел, для всех, недовольных влиянием России. Не то было с Фуше, которого деятельность была всегда мелка в сравнении с деятельностью Талейрана; ненависть ультрароялистов налегла со всею силою на жертву, которую никто не решался защищать. Фуше отправился в почетную ссылку — министром к саксонскому двору, а в следующем году почетная ссылка была заменена действительною. Понапрасну обращался Фуше к Касльри и Веллингтону; в длинном письме к последнему он наговорил много прекрасных вещей. «Разврат и неспособность губят государства, — писал он. — Добродетель и талант восстанавливают их. Если господствует партия, то обязательства частные являются сильнее обязательств общих; теперь не союзные государи торжествуют над Францией — партия торжествует над народом; междоусобная война только переменяла место; ультрароялисты победители, а все остальные французы — побежденные. Какую выгоду можно извлечь из господства партии? Конец ее близок, самый террор ее не поддержит, потому что террор исчезает при первом проблеске безопасности. Придет черед господству другой партии. Что станет с Францией, что станет с Европой, если нас будут терзать очередные и скоропреходящие торжества партий? При таком порядке вещей, где найти нацию? Нет более общих интересов; все пружины, все связи общественного существования сокрушены; сердце государства поражено; остается только тень отечества. В делах человеческих часто приходят к самым печальным крайностям, увлекаясь словами, которые их освящают. Не дай Бог, чтоб слово легитимность стоило нам так же дорого, как и слово равенство! Зло происходит почти всегда под священными предлогами. К счастью, заблуждение не бессмертно, как истина. Я не жалею и не удивляюсь, что изгнан из Франции теми,

которым я протянул руку, чтоб помочь им войти во Францию. Я знаю пороки сердца человеческого; я привык к капризам судьбы. В моем положении утешаюсь мыслию, что никто не может изменить природы вещей: ложь не может стать истиною. Правосудие и голос веков произнесут: в событиях, навлекших бедствие отечеству своему, виноваты или нет все стороны и на которой стороне самая большая вина». Фуше апеллировал к правосудию и голосу веков, но он произнес страшные для себя слова: «Ложь не может стать истиною».

Министром полиции вместо Фуше назначен был уже известный нам Деказ. Будучи самым младшим членом королевского парижского суда, Деказ обратил на себя внимание смелостью, с какою отказался подписать адрес и присягнуть на верность Наполеону после 20 марта. Этот поступок не мог быть забыт по возвращении Бурбонов, и Деказ был сделан префектом полиции под начальством Фуше. Подозрительность, какую питали к Фуше, заставила выдвинуть Деказа и ввести его в непосредственные сношения с королем. Префект полиции был тогда 35-ти лет; приятная наружность, талант, живость ума, быстрота, ловкость, неутомимость в исполнении, испытанная верность и в то же время отсутствие крайности в направлении обратили на него внимание Людовика XVIII; по удалении Фуше Деказ сделался министром полиции, и скоро увидели, что место Блака при старом короле замещается: Деказ становился любимцем.

Союзные государи оставили Париж; но посланники их здесь образовали постоянную конференцию, которая собиралась каждую неделю, чтобы рассуждать: о состоянии страны, о мерах, какие нужно было принимать со стороны союзных государей; о советах, какие должны были подавать их посланники французскому министерству. Главную роль между дипломатами играл русский посланник Поццоди-Борго; но Александр не вполне на него полагался по страстности, порывистости его характера и потому оставил в Париже Каподистриа. Английским посланником был кавалер Стюарт, брат лорда Касльри, человек, не выдававшийся вперед своими личными достоинствами и, кроме того, уступавший первое место герцогу Веллингтону, который жил в Париже как главный начальник союзных войск, оставленных во Франции.

Положение Веллингтона было незавидное, потому что поведение Англии в последнее время возбудило сильную ненависть в французах;

особенно не могли простить Веллингтону его деятельного участия в опустошении Лувра; при дворе не могли простить ему того, что не нашли в нем ожидаемой поддержки. Видя всеобщее ожесточение, видя холодность при дворе, тогда как он привык находить там одни восторженные приемы, герцог сердился и не старался сдерживаться в выражениях своего гнева. Он удалился из роялистского общества, где имели неосторожность показать к нему презрение, и начал посещать общества; отличавшиеся противоположными политическими мнениями; особенно часто стали видеть его у госпожи Гамелэн, которая у роялистов пользовалась дурной репутацией; о которой шла молва, что она сильно интриговала в пользу Бонапарта перед его возвращением с Эльбы. Поццо-ди-Борго обеспокоило такое поведение герцога; он боялся, что противные правительству партии станут пользоваться его неудовольствием. Разговор со Стюартом еще более усилил его опасения: английский посланник стал открыто жаловаться на короля и окружавших его; объявил, что негодование Веллингтона достигло высшей степени, и прибавил, что если с Бурбонами случится новое несчастье, то народное негодование в Англии воспрепятствует министерству вооружиться за них. Спустя несколько времени сам Веллингтон, разговаривая с Поццо-ди-Борго в том же смысле, кончил словами: «Неужели мы должны еще обнажить шпагу и драться за них?»

Поццо после совещания с графом Каподистриа и герцогом Ришелье предложил королю и графу Артуа приласкать Веллингтона. Граф Артуа поехал к нему, и герцог остался доволен посещением и разговором наследника престола. Спустя несколько времени герцог поехал к королю и был обласкан; при прощании король подал ему руку; герцог нагнулся было, чтобы ее поцеловать, но король сказал ему: «Позвольте мне поступить по французскому обычаю» — и поцеловал его. На другой день Ришелье имел разговор с Веллингтоном и остался очень доволен; когда он намекнул, что заговорщики в своих движениях против Бурбонов рассчитывают на его равнодушие, то Веллингтон сказал: «Пусть попробуют: узнают меня!» Между тем пруссаки предложили Ришелье, что в случае новых волнений прусская нижнерейнская армия будет готова вступить во Францию. Но король не хотел принимать никаких предложений ни от кого без ведома русского императора. По мнению Поццо, французское правительство

должно было гнать от себя мысль об иностранной помощи или вмешательстве; если Франция, к своему несчастью, снова принуждена будет просить помощи у иностранцев, то гибель ее будет неминуема; ее внутреннее спокойствие должно поддерживаться собственными средствами, и Поццо изъявлял полную уверенность, что эти средства можно найти.

Средства действительно были, опасности для Бурбонов сильно преувеличивались. Главная опасность заключалась в них самих, в слабости короля, который не умел сдержать своих, который дал приверженцам Бурбонов разделиться на две партии — ультрароялистов и приверженцев конституционной монархии; позволил им вступить в ожесточенную борьбу друг с другом, благодаря которой противные партии поднялись и окрепли. Представители иностранных держав, видя, что ультрароялистская партия не имеет глубоких корней во французской почве, боясь новых переворотов, какие могли произойти от неблагоприятных ее стремлений, внушали королю и его министерству, чтобы они не следовали увлечениям графа Артуа и окружающих его, соблюдали умеренность, давали своему правлению либеральное направление и таким образом привлекали к себе сочувствие большинства. Но советовать слабому умеренность и либеральность — значит побуждать его к послаблению и либеральничанью, точно так как советовать ему твердость — значит побуждать его к жестокости и к задерживанию живых сил народа, к погашению в обществе света, необходимого для правильной его деятельности.

Осенью 1815 года бурбонская реакция была в полном ходу и отразилась на выборах в новую палату депутатов (*chambre introuvable*, по выражению Людовика XVIII); надежды ультрароялистов сначала были возбуждены и тем, что министерство было Очищено от людей, представляющих новую Францию, Талейрана и Фуше; члены палаты пэров Полиньяк и Лабурдоннэ прямо отказались присягать в соблюдении хартии. В палате депутатов прошли строгие законы против лиц, которые бы вздумали устно или письменно возбуждать народ против правительства, хотя бы их поступки не имели следствий и не были связаны ни с каким заговором; учрежден был в каждом департаменте превопальный (военный) суд; в палате слышались слова: «Время положить конец милосердию». Между ультрароялистскими

депутатами обозначился человек, которому суждено было играть важную роль в истории реставрации: то был Виллель. Обиженный природой, которая дала ему вовсе не видную наружность и неприятное произношение, Виллель привлекал внимание верностью, практичностью своих замечаний. Его административная деятельность началась далеко, на острове Бурбоне, где он укрылся от революционных бурь; во время империи он возвратился во Францию, купил землю подле Тулузы и занимался сельским хозяйством. При отправлении административных должностей в провинции он выказал те же способности, как и на острове Бурбоне, и теперь принес в палату свой здравый смысл, свой практический, но часто узкий взгляд, следствие прежней узкой сферы деятельности и недостатка научного образования. Сочинение его, написанное против конституционного правления, определяло его место и значение в палате.

В то время, когда в палате строгими мерами хотели сдерживать всякое публичное выражение несочувствия к бурбонскому правительству, хотели также очистить администрацию от людей, заявлявших прежде каким бы то ни было образом свое несочувствие к нему, и здесь не ограничились людьми, занимавшими важные должности, но коснулись людей самых мелких, отыскивая в прежнем их поведении, в увлечениях молодости во время революции причины к удалению. Все эти люди, которые при сильном правительстве, умеющем дать направление деятельности своих служителей, спокойно подчинились бы этому направлению и остались полезными работниками, теперь, удаленные и лишенные средств к жизни, явились в первых рядах недовольных. Но этим очищением администрации дело не ограничивалось: по поводу правительственного предложения об амнистии в палате был составлен проект закона, который грозил смертью, тюремным заключением, изгнанием огромному числу лиц (не менее тысячи). Страстные крики членов господствующей партии в палате и в салонах напоминали страстные крики революционеров девяностых годов, и теперь, как тогда, женщины превосходили мужчин. «Неужели думают, — говорила одна знатная дама, — что мы удовольствуемся двумя головами (Нея и Лабедуайера) за 20-е марта?»

Между господствующей партией и министерством произошел явный разрыв, потому что министерство не разделяло крайних стремлений партий. Против министерства была господствующая

партия, с одной стороны, с другой — работал против него Талейран, окруженный интриганами всякого рода. Не имея возможности действовать в Париже, они перенесли свою сцену действия в Лондон, установили политическую корреспонденцию, которую публиковали посредством журналов. Здесь король и королевская фамилия подвергались постоянным нападкам; Талейран представлялся гонимым мудрецом, удаление которого из министерства было причиной всей смуты; подкапывались под русское влияние, порицая зависимость королевского правительства от с. — петербургского двора. Герцог Орлеанский, находившийся в Англии, под рукою ободрял эту тактику, и его сторонники в Париже приняли в ней участие. Английский посланник в Париже Стюарт, человек ограниченный и мелочный, раздраженный тем, что не мог играть при французском дворе первенствующей роли, поддерживал интригу покровительством, какое оказывал корреспонденции, зная очень хорошо ее содержание.

Подвергаясь нападениям с разных сторон, министерство Ришелье не находило опоры в короле, слабость которого оказывалась для всех самым очевидным образом, ибо направление господствующего движения перешло к графу Артуа, к партии павильона Марсан, как тогда выражались (потому что граф Артуа жил в части Тюльерийского дворца, носившей это название). Слабость короля послужила предлогом новой интриги, направленной против министерства Ришелье. Партия павильона Марсан и партия Талейрана подали друг другу руку; с обеих сторон пошло предложение возвратить бывшего любимца Блака; на конференцию представителей иностранных держав действовали тем, что призывали Блака есть единственное средство вывести короля из бездейственного положения. Сопротивление Ришелье, поддержанного Поццо, расстроило интригу.

Так кончился 1815 год. 1 января 1816 года депутация второй палаты обратилась к королю с такою краткою речью: «Государь! Ваши верноподданные палаты депутатов желают и приготавливают вам более счастливый год!» На другой же день в палате начались жаркие прения об амнистии. Послышались речи против «новой филантропии, этой революционной выдумки, которая покрыла Европу преступлениями, кровью и слезами»; слышались горькие упреки нерешительному поведению министров, которые хотят возобновить слабую политику 1814 года, рискуя навлечь на Францию те же самые бедствия. Главные

ораторы умеренной партии — Роайе-Коллар, Пакье, де-Серр произнесли также сильные речи в пользу амнистии как акта политической необходимости. Большинство палаты отвергло ту обширную проскрипцию, на которой настаивали ультрароялисты; но приняло исключение из амнистии для людей, участвовавших в осуждении Людовика XVI: им определено изгнание, и король согласился с решением палаты.

В провинциях перестала литься кровь; но сцены насилия и грабежа продолжались по деревням. Во многих местах протестантское богослужение было прервано; администраторы и суды или по духу партии, или по слабости, из страха пред мятежными толпами, не могли обеспечить полного правосудия протестантам и людям, считавшимся бонапартистами. Большая часть людей, виновных в убийствах, оставались нетронутыми; те из них, которых притягивали к суду, были торжественно оправдываемы, потому что никто не смел против них свидетельствовать. В Тарасконе, в департаменте Устье-Роны, два человека были отданы под суд за участие в народных волнениях: мятежная толпа освободила их из тюрьмы с криками: «Долой бонапартистов! Долой богачей!» — и принудила суд произнести приговор об освобождении обвиненных. В палате, если кто-нибудь из депутатов был так смел, что указывал на такие явления, то голос его был заглушаем. Очищения администрации продолжались; очищено было и учебное ведомство, или так называемый Университет: больше трети ректоров академий и целая толпа инспекторов, профессоров и учителей были отставлены; вакантные кафедры были замещены духовными лицами; многие высшие школы были закрыты из экономии. Закрыта была и Политехническая школа, подозрительная по своему духу; но обратили внимание на первоначальное народное обучение: первоначальные школы были вверены надзору комитетов, учрежденных в каждом кантоне под председательством священника. Верховная комиссия народного просвещения должна была постановить правила и указать методы преподавания; ежегодно назначалось 50.000 франков на издание нужных книг, на учреждение образцовых школ и на награды отличным учителям. Религиозные и благотворительные общества были допущены к учреждению и ведению школ с условием, чтобы их правила и методы были одобрены комиссией народного просвещения и чтобы школы их подвергались

общему установленному надзору. Епископы, объезжая епархии, имели право осведомляться о преподавании Закона Божия в школах; префекты, супрефекты и мэры сохраняли свой прежний административный надзор. Этим регламентом и некоторыми другими постановлениями, благоприятными для народного образования, Франция была преимущественно обязана деятельности председателя верховной комиссии народного просвещения Роайе-Коллару.

Роайе-Коллар принадлежал к небольшому кружку людей, которые в палате выставляли открытое сопротивление «крайним». Эта борьба между двумя роялистскими партиями — крайней и умеренной — очень важна, потому что объясняет многое в положении Франции. «Крайние» стремились к восстановлению старого порядка вещей, как было до революции; но, видя министерство против себя и в то же время видя свое выгодное положение в палате, пользовались парламентскою формою для достижения своих целей и временно стояли за эту реформу, прикрывались ею; уважение к конституции было у них условною фразою; но иногда они проговаривались не в палате, а в салонах; так, однажды один из «крайних», Бувиль, сказал: «Говорят, что я не люблю хартии; я на ней сижу верхом, но стану гнать лошадь до тех пор, пока она издохнет». Монморанси сказал одному из политических противников: «Да, вы любите короля точно так же, как мы любим хартию». В палате они стояли горой за конституцию; а умеренные, или приверженцы конституционной монархии, наоборот, настаивали на усилении королевской власти, королевского значения; утверждали, что французская конституция не должна быть совершенно похожа на английскую.

Во время сильных прений по вопросу, должна ли палата возобновляться по частям, как постановлено было в хартии, или всецело, как хотели «крайние», Роайе-Коллар говорил: «В Англии инициатива, высшая администрация и большая часть правительства находятся у палаты общин; у нас правительство всецело находится в руках короля, который нуждается в содействии палаты, только когда надобен новый закон и для бюджета. Как только правительство перейдет к большинству палаты, как скоро палата получит возможность низвергать министров короля и навязывать ему других, так будет покончено не только с хартией, но и с независимою королевскою властью — у нас будет республика. Если вместо

французской хартии вы дадите нам британское правление, то дайте нам все физические и нравственные условия Англии; сделайте, чтоб английская история была нашею; дайте нам сильную аристократию, неразрывно связанную с короною; сделайте еще более: вместе с теориею, на которой зиждется ее политическая система, дайте нам злоупотребления Англии, злоупотребления столь могущественные, что самая теория находится под их охраною. У нас нет еще аристократии, мы должны получить ее с течением времени. Аристократия, созданная хартией, есть еще только фикция; она получит действительное существование только тогда, когда будет верным выражением превосходства, действительно существующего и всеми признанного. До тех пор не думайте, что если королевская власть будет ослаблена, то палата пэров будет в состоянии прийти к ней на помощь и поднять ее. Раз униженная, королевская власть поднимается только посредством революции и бурь. Учение о представительстве страны есть предрассудок, и депутаты вовсе не уполномоченные народа. Палата у нас есть власть, а не представительство; она существует только благодаря хартии; она выражает только собственное свое мнение, а не мнение народа. Где существует народное представительство, там в нем сосредоточены все силы: перед ним остаются только власти подчиненные или враждебные, осужденные повиноваться или исчезнуть. Революция есть не иное что, как учение о народном представительстве, приведенное в действие». «Англия не монархия, — говорил де-Серр. — Хартия французская не похожа на хартию британскую; в Англии существуют партии, давно образовавшиеся, тесно связанные с конституцией), следовательно, не опасные; король обязан избирать министров между их вождями; присоединяя к их влиянию влияние двора, он легко получает перевес и овладевает на факте, хотя не прямо, инициативою в законодательстве. Во Франции, наоборот, не должно быть партий, и, если они есть, король должен возвышаться над всеми; королевская власть во Франции не должна быть бездейственною, неподвижною, но деятельною; ей не следует скрываться под покрывалом, но являться постоянно, сиять пред глазами всех».

В прениях о бюджете «крайние» обнаружили ясно свое намерение низвергнуть министерство Ришелье. Посланники четырех союзных держав пришли в сильное волнение: если министерство будет

свергнуто, то произойдет страшная смута. Представителей Англии, Австрии и Пруссии особенно беспокоило то, что во время этой смуты нельзя будет получить с Франции денег, которые она обязалась платить по последнему договору. Посланники пригласили в конференцию герцога Веллингтона и упросили его написать письмо к королю, представить печальное положение дел и выразить надежду, что его величество побудит свой двор содействовать интересам правительства. Веллингтон написал письмо: «Вашему величеству известны начала, на которых союзные державы основали систему временного занятия части ваших владений, инструкции, ими мне данные, и ответственность, ими на меня возложенную. Хотя я смотрю на это занятие как на средство для поддержания мира, однако я могу быть принужден опять поставить всю Европу под ружье; моя обязанность предупредить ваше величество, когда обстоятельства будут клониться к такому кризису. Известно, что фамилия вашего величества, лица, принадлежащие к вашему двору и к двору принцев, действуют в палате наперекор министрам. В настоящее время необходимость требует, чтоб ваше величество высказались с твердостью и поддержали свое министерство всем влиянием двора, который до сих пор имел только вредное влияние на дело».

Отославши письмо к королю, Веллингтон спустя несколько времени отправился к графу Артуа с теми же представлениями — переменить вредное влияние на полезное. Артуа отвечал, что ни он, ни сыновья его не вмешиваются ни во что и не имеют никакого влияния на дела: а между тем в павильоне Марсан было положено отправить Полиньяка к Веллингтону выведать, как союзные державы примут низвержение министерства Ришелье. Веллингтон отвечал ему, что примут очень дурно.

Посланники дожидались, какое впечатление произведет на короля письмо Веллингтона. Впечатление было неблагоприятное: король рассердился; ему не понравилось, что его хотели учить. Но резко высказать свой гнев было нельзя, чрез несколько недель он сказал герцогу: «Действия правительства должны были вам показать, что на ваши советы обращено внимание». Герцог и тут опять повторил свои советы. Поццо-ди-Борго со своей стороны сделал подобные же представления, и ему отвечали также уклончиво, а граф Артуа решился сказать, что император Александр получил неверные

известия о положении дел во Франции, тогда как эти известия мог сообщить ему не кто другой, как Поццо. С посланником императора Александра стали обходиться с холодной учтивостью при дворе; но против герцога Веллингтона и англичан вообще ожесточение «крайних» дошло до высшей степени; уже начали поговаривать, что Бурбоны могут сделаться популярны только посредством войны.

Заседания палаты прекратились. Депутаты, наиболее потрудившиеся в деле реакции, были с торжеством приняты в своих провинциях; в Тулузе в честь Виллеля устроили триумфальную арку; народ отпряг его карету и повез ее на себе; вечером город был освещен; в театрах пели куплеты в честь ему. По-видимому, торжество «крайних» было полное: такое сочувствие народа! Хотели пользоваться своим временем, упрочить торжество: 15 депутатов большинства, жившие в Париже, образовали под покровительством графа Артуа комитет, который сносился с депутатами, жившими в департаментах, передавал им, как нужно действовать. Неудовлетворительное состояние здоровья Людовика XVIII, ожидание скорой перемены на престоле усиливали также партию «крайних», в челе которых находился наследник престола: честолюбцы со всех сторон примыкали к партии, за которой было скорое будущее. Но для людей, смотревших беспристрастно на состояние Франции, все более и более оказывалось ясным, что «крайние» составляют незначительное меньшинство; что большинство раздражено и волнуется, волнуется бессильно, потому что нет пока вождей и знамен, но в некоторых местах прорываются восстания, рассчитанные на сильное раздражение в народе.

Видя, что во Франции играют в опасную игру, император Александр не хотел оставаться спокойным зрителем этой игры. В июне месяце Поццо-ди-Борго по приказанию императора прочел Людовику XVIII мемуар, в котором указывалось несоответствие действий французского правительства видам союзных держав, какие они имели при восстановлении Бурбонов, несоответствие поступков французского правительства советам императора Александра. Король оправдывался как мог. И другие союзные державы, как их ни тяготило то, что Россия делает первый шаг в этом деле, должны были признать необходимость поддерживать представления русского правительства. Но одних представлений было мало: надобно было указать средства,

как унять «крайних». Необходимое следствие слабости — употребление сильных крайних средств. Король, по слабости своей, не умел взять в руки своих ярких приверженцев, сдержать и направить их деятельность; позволил брату стать в их челе. Они наделали вреда своею ревностью не по разуму; король, потеряв над ними всякую власть, не был в состоянии их остановить, и потому нужно было прибегнуть к крайним средствам, к распусшению палаты, которую король называл «бесподобною» (introuvable), которая состояла из его ревностных приверженцев!

Бессмыслица, и бессмыслица страшно вредная по своим последствиям; но другого средства нельзя было придумать. Поццо начал настаивать на распусшении палаты и на избрании нового порядком, определенным в хартии. Чтобы побудить короля к принятию этой меры, он представил ему, что император Александр очень желает уменьшить тягость военного занятия французских областей; но что помощь, которую император может оказать в этом случае, зависит совершенно от мудрости и твердости королевского правления. Король отвечал: «Уверьте императора, что я останусь конституционным государем». Но Поццо-ди-Борго, зная, что здесь надежда на будущую свою твердость только прикрывает настоящую слабость, начал представлять, что его величество, желая теперь пощадить себя от тяжелого усилия воли, увидит себя принужденным сделать еще большее усилие впоследствии, среди смятения и скандала прений, придворных интриг и шума парижских салонов. Король отвечал, что министры занимаются этим вопросом в Совете; что он сам думает о нем беспрестанно и подвергнет его обсуждению после самого серьезного исследования.

Ришелье был совершенно согласен с Поццо, что против «крайних» нет другого средства, кроме распусшения палаты. Но ни Поццо, ни Ришелье не могли бы достигнуть своей цели без помощи любимца королевского, министра полиции Деказа, который мало-помалу умел привести Людовика XVIII к убеждению в необходимости распусстить палату. Он представлял ему донесения главных полицейских агентов о состоянии страны; а в донесениях ярко изображалось всеобщее неудовольствие в стране на «крайних», ужас от их речей и предложений во время заседаний палаты. Когда король подчинился влиянию этих донесений, то Деказ поставил вопрос: хочет

ли он быть королем партии или королем Франции? Было употреблено и другое сильное средство: донесено, как оскорбительно отзываются «крайние» о короле; какую радость изъявляют они каждый раз, как пойдут слухи о плохом состоянии его здоровья. Надобно распустить палату — и страшно: как распустить? Король колеблется, и Ришелье колеблется; Деказ настаивает: надобно уничтожить палату, которая постоянно мешает правительству, ослабляет его авторитет, похищает его власть, стремится унижить его, поднимаясь выше трона, ставя свою волю выше воли королевской, приучая народ к мысли, что настоящая верховная власть находится у собрания депутатов, им избранных. Надобно уничтожить палату, которая обнаружила свою несовместимость со всякой мыслью о примирении; которая оскорбляла и раздражала армию, оскорбляла народ во всех его чувствах; тревожила все интересы, подрывала публичный кредит и, поддерживая беспокойство и неудовольствие в народе, отнимала у правительства возможность установить спокойствие внутреннее и приобрести независимость внешнюю. Бюджет невозможен с палатою, которая ввела в честь банкротство; которая объявила войну всякому, кто даст правительству деньги взаймы; которая не побоялась возвести в принцип, что никакой контракт не обязателен для казны, если депутатам угодно освободить ее от него. Идея о чем-нибудь прочном не может укорениться в делах народа, когда члены большинства палаты при каждом удобном случае обнаруживают свою ненависть к хартии и надежду на восстановление старого порядка.

5 сентября (н. ст.) 1816 года подписан был знаменитый ордонанс о распущении бесподобной (*introuvable*) палаты, подписан был тайком от графа Артуа. Поведение Людовика XVIII в этом случае всего лучше показывает характер его. Считали неприличным не уведомить наследника престола об ордонансе прежде, чем узнает о нем публика, и в то же время король хотел избежать сцены с братом. Для этого он велел Ришелье в двенадцатом часу ночи уведомить графа Артуа об ордонансе, в то время как сам уже заперся в спальне, чтобы лечь в постель. Артуа, узнавши от Ришелье, в чем дело, закричал, что это невозможно и что он сейчас же пойдет уговаривать короля переменить решение; но Ришелье, хотя с трудом, удержал его, уверивши, что король уже лег и не велел никого впускать к себе. Видя, что делать нечего, Артуа ничего не говорил потом брату; но герцогиня

Ангулемская не выдержала; не выдержал и король, которого ничем нельзя было так раздражить, как знаками внешнего неуважения и неповиновения. «Если бы вы не были дочерью Людовика XVI, — сказал он племяннице, — то не испытали бы крайнего снисхождения, с каким я на этот раз обхожусь с вами». Раздражение «крайних» не знало пределов; в салонах С.-Жерменского предместья гремели проклятья Деказу, которого считали главным виновником ордонанса 5 сентября; не щадили и короля; рассказывали, что одна знатная дама велела вынести бюст Людовика XVIII на чердак. Огорчению «крайних» соответствовала радость в других кружках: целовались на улицах, рассказывая друг другу радостную весть, и превозносили до небес Деказа. Толпу ликующих, разумеется, увеличивали и некоторые из тех, которые недавно готовы были впрягаться в карету Виллеля: ветер переменялся, сила оказалась на другой стороне. Перемену ветра на хорошую погоду показывало то, что биржевой барометр поднялся сильно.

Барометр говорил правду только на завтрашний день, а в отдалении собиралась буря. Распущение «бесподобной» палаты было событием, показывавшим лучше всего ложное положение правительства: самые ревностные приверженцы династии становились самыми злыми врагами правительства, которое поэтому необходимо отталкивалось в противоположную сторону. Как далеко оно могло пойти в этом направлении — определить было нельзя. Разумеется, сначала хотели опереться на умеренных роялистов, в которых видели большинство; но переход от умеренных роялистов к разным либеральным и нелиберальным партиям был незаметен, потому что их связывала приверженность к интересам новой Франции и вражда к старой; переход был незаметен и потому, что вначале члены разных партий, чтобы подняться на ноги, являлись умеренными роялистами. Если б правительство было сильно и имело за себя будущность, то и члены разных партий легко бы сделались умеренными роялистами, то есть искренними приверженцами правительства. Но какое обеспечение мог представить им трон, занимаемый слабым, болезненным стариком, которого смерть была недалеко, а после него вступит на престол предводитель «крайних», предводитель приверженцев старой Франции!

Понятно, что члены партий воспользовались только ссорой правительства с «крайними», чтобы подняться на ноги и поднять свои знамена; понятно, что и умеренные роялисты, не видя никакого ручательства за свое будущее в старшей линии Бурбонов, имели побуждение переходить под эти знамена, и именно под ближайшее — Орлеанское. Сначала и «крайние», и правительство, сдерживаясь страхом пред враждебными династии партиями, хотели действовать осторожно; но с течением времени вражда между ними разгорелась до такой степени, что «крайние» не стали разбирать средств, лишь бы только повредить ненавистному министерству. В их глазах члены враждебных династии партий были предпочтительнее членов партии министерской: такое поведение «крайних» заставляло и министерство все более и более сближаться с либеральными людьми разных оттенков, заискивать в них, делать свою программу все либеральнее и таким образом содействовать оживлению и усилению врагов династии.

Наступали выборы в новую палату депутатов: кто придет? — вопрос первой важности для министерства. Ришелье писал Деказу: «Употребите все усилия, чтобы между депутатами не было настоящих якобинцев; крайние роялисты все лучше революционеров; так называемые либералы, умеренные „Ста дней“ — якобинцы; нам нужны умеренные, но чистые, ни *ultra*, ни *citra*». Комиссары правительства разъезжали по департаментам, чтобы делать внушения относительно выборов; агенты партии графа Артуа разъезжали также с этими целями; а в то же время между обеими сторонами происходила печатная борьба: Шатобриан издал сочинение «Конституционная монархия» (*La monarchie selon la Charte*), где требовал для палаты депутатов всех прав английской палаты общин; требовал, чтобы министерство исходило из большинства палаты, разделяло его мнения; в то же самое время требовал, чтобы церковь содержалась доходами со своей собственности, а не была на жалованье у правительства; чтобы церкви были возвращены ее судебные привилегии, чтобы ей принадлежало направление народного просвещения. Признавая, что надобно уважать материальные интересы революции, Шатобриан утверждал, что не должно давать никакой пощады ее нравственным интересам. Самое сильное раздражение высказывалось в сочинении против Деказа, ведомство которого называлось министерством,

рожденным в революционной грязи от сочетания деспотизма с анархией.

Кроме министерских журналов Шатобриану отвечал Гизо в особом сочинении: «О представительном правлении и настоящем состоянии Франции». Гизо повторил утверждение умеренных роялистов, что нельзя вдруг перенести английские учреждения на французскую почву: для этого нужна привычка к авторитету и восстановление крепких нравственных верований. Гизо отверг различие, сделанное Шатобрианом между материальными и нравственными интересами революции, утверждая, что хартия считалась одинаково с обоими. Шатобриан требовал английской конституции; но были другие сочинения членов «крайней» партии, которые подбрасывались тайком; в них требовалось, чтобы французы взяли пример с испанцев и уничтожением хартии завоевали себе короля.

«Крайние» были побеждены на выборах: правительство получило большинство. Хотя Виллель и человека четыре главных ораторов ультрароялистской партии и были избраны вновь, однако много других имен рьяных членов этой партии недосчитывалось в списках, недосчитывалось много людей древних фамилий, придворных, провинциальных дворян, которые составляли основу большинства в «бесподобной» палате; вместо них теперь явились в новую палату купцы и чиновники. Иностранцы дипломаты, желавшие перемены 5 сентября и содействовавшие ей, поздравляли себя с успехом: они с удовольствием указывали, что ревностные роялисты прежней палаты сделались демагогами, называли их придворными якобинцами за то, что в своей ярости против министерства они поддерживали принцип неограниченной свободы печати; с удовольствием указывали они на то, что люди, упрекаемые прежде в якобинстве, явившись теперь в большинстве, обнаруживают умеренность, уважение к желаниям короля и к предложениям министров. Вследствие этого число иностранного войска, находившегося во Франции, было уменьшено на 30.000.

Это облегчение, разумеется, было очень выгодно для министерства, ибо и здесь главную роль играла Россия, поддерживавшая герцога Ришелье. С другой стороны, французские изгнанники, столпившиеся преимущественно в Нидерландах,

обманулись в своих надеждах относительно России. Интригуя против Бурбонов, они обратились к наследному принцу Нидерландскому, женившемуся на сестре русского императора, открывая ему виды на французскую корону. «Нация не хочет Бурбонов, — говорили они ему, — и потому ей остается на выбор: или взять герцога Орлеанского, покровительствуемого Англиею, или маленького Наполеона, поддерживаемого Австрией, или ваше высочество, на стороне которого будет наиболее голосов, ибо Орлеанский не любим старыми военными, которые думают, что в нем нет мужества, что он слишком обленился, а остальные французы будут недовольны, видя, что его поддерживают англичане, ненавидимые больше всех иностранцев. Маленький Наполеон, если б имел 20 лет вместо 5-ти, имел бы за себя большинство; но он мал, и потому боятся долгого регентства и влияния Австрии. К вашему же высочеству все партии будут расположены одинаково хорошо, как к иностранцу; кроме того, вы принесете союз с Россиею, самый желанный для французов, ибо самый естественный для Франции. Старики военные склонны к вам; тотчас после отречения Наполеона в армии уже говорили, что надобно завести сношения с вами; ваша религия не может служить препятствием, напротив — представляет ручательство для протестантов, угнетаемых правительством, да и католики будут рады, потому что они освободятся от пагубного влияния своих попов».

Но твердое решение императора Александра поддерживать старшую линию Бурбонов отнимало у французских изгнанников надежду употребить наследного принца Нидерландского орудием для достижения своих целей. Им оставалось держаться герцога Орлеанского; его агентом в Брюсселе был один английский лорд, который тайно раздавал деньги жившим здесь в изгнании французским офицерам. Говорили, что герцог Орлеанский предлагал жезл коннетабля Франции принцу Евгению Богарне, в случае если ему удастся получить французский престол.

Но главным союзником Людовика-Филиппа во Франции был граф Артуа, который своим поведением уничтожал все надежды умеренных и заставлял их поневоле обращать взоры к младшей линии Бурбонов. Герцог Веллингтон по совету Поццо опять решился обратиться к наследнику престола с представлениями, чтобы он перестал находиться в постоянной и ожесточенной оппозиции правительству.

Артуа встретил эти представления с «невозмутимую неисправимостью»; он отвечал герцогу, что во всем виноваты министры; что Ришелье честный человек, но его водят другие; впрочем, он, Артуа, не прочь войти в соглашение с Ришелье. Веллингтон спросил: какие условия соглашения? Ответ: удалить дурных министров, перестать давать должности врагам законной монархии и управлять посредством честных людей. Веллингтон возразил, что таким поведением Ришелье погубит короля и свою репутацию. Артуа отвечал, что в таком случае он останется верен своей партии и своей системе.

Веллингтон: Я думал, что говорю с наследником престола, а не с вождем партии.

Артуа: Я прежде всего человек и хочу действовать по чести и совести.

Веллингтон: Честь и обязанность предписывают вам быть в соединении с интересами и чувствами народа, которым вы будете управлять, а не возбуждать разделения, которые вам могут быть гибельны.

Артуа: Я не знаю расположения народа; большинство разделит мои мнения, если правительство захочет дать власть людям, которые имеют одинакие со мною принципы.

Веллингтон: Вы принимаете меня за глупца, полагая, что я не знаю состояния Франции.

Артуа: Вы, иностранцы, не знаете людей; я знаю дело лучше — моя партия, конечно, самая сильная.

«Невозмутимая неисправимость» графа Артуа, основанная на сознании, что его партия самая сильная, неумолимая вражда «крайних» к министерству, естественно, заставляли последнее усиливать свою партию, все более и более сближаться с так называемыми либералами разных оттенков. Герцог Ришелье сознавал опасность этого сближения; он упирался при каждом новом шаге, который правительство хотело сделать в этом направлении; но он не имел ни достаточной силы воли, ни достаточной силы разума и невольно увлекался роковою силою обязательств. Несмотря на первенство Ришелье, сильнее его в министерстве был Деказ, сильнее по своей живости и энергии и по своим отношениям к королю; но Деказ, на которого преимущественно исключительно была направлена

ненависть «крайних», имел все побуждения к тому, чтобы удариться в противоположную сторону. Он делал это и по инстинкту самосохранения, ибо как человеку совершенно новому ему не было примирения ни с чем старым; он делал это и по самолюбию, потому что он считался главным виновником дела 5-го сентября; ему трудно было возвращаться назад, разделять собственное дело. Он провозгласил, что в сближении с новой Францией правительство должно себя популяризировать и национализировать.

Действительно, правительство должно было это делать; но у Деказа не доставало ни личных средств, ни средств положения, чтобы делать это с успехом. Тон составляет музыку; в обществе ясно различается тон правительственной музыки; управляемые чувствуют инстинктивно твердость или слабость правительства, способность или неспособность направлять движение; так, в стремлении Деказа популяризировать правительство сейчас же почувствовалась слабость, старание заискивать популярность, и сейчас же выросли силы, независимые от правительства, и начали смотреть на правительство как на средство для достижения своих целей. Желая ослабить оппозицию ультрароялистскую, подали руку либералам; либералы оперлись на поданную им руку; но вместо одной ультрароялистской оппозиции приготовилась другая, либеральная, — и слабое правительство стало между двух огней.

И мадам де-Стааль была независимая и опасная сила со своею литературною знаменитостью, со своим неизмеримым самолюбием и со своим бесцельным либерализмом, служащим для приятного препровождения времени и украшения салона наравне с картинами, статуями и цветами. И старый министр иностранных дел, Талейран, был независимая и опасная сила: около оракула собирались поклонники и с благоговением внимали гневным выходкам и злым насмешкам мстительного бога, направленным против каждого действия правительства, против каждого министерства, потому что бог был согнан с Олимпа и теперь занимался подведением подкопов под священную гору. Независимою и опасною силою был и банкир Лафитт: заискивания и ласкательство правительства вздули и без того страшное тщеславие человека, который не умел ни о чем серьезно подумать, но умел обо всем красно поговорить и прослыть поэтому человеком очень способным. Лафитт не хотел служить слабому

правительству; он стремился быть самостоятельной силой; денежный царек бросал деньги направо и налево и составлял себе обширный круг поклонников, подданных из остатков бонапартистской партии, из адвокатов, революционных писателей, из мелких торговцев парижских. Независимую и опасную силой был и Лафайет, *perpetuum mobile* революции. И много других независимых и опасных сил было вызвано слабостью правительства.

Стремление министерства популяризировать и национализировать правительство высказалось сильно в войсковых преобразованиях, совершенных новым военным министром маршалом Гувьоном С.-Сиром: люди из партии «крайних» были им заменены людьми более способными, но неизвестными своею преданностью династии Бурбонов; многие из военных времен империи, находившиеся в опале последние два года, были приняты снова на службу. Меры очень хорошие, если бы Бурбонская династия могла привязать к себе войско, могла заставить его забыть недавнее прошедшее; если бы «крайние» яростными воплями против военного министра не напоминали войску, что ждет его в скором будущем. Недолго министерство могло предаваться обольщению, что либералы будут поддерживать его против ультрароялистов; против правой стороны (ультрароялистов) в палате образовалась левая, которая чрез возобновление пятой части палаты становилась все сильнее в ущерб правой стороне, но не в пользу министерства: в некоторых вопросах и правая и левая стороны соединялись против министерства. Борьба партий, ставших теперь на ноги, отразилась в литературе. Если «крайние» печатали, что французская революция была злом, возведенным на высшую степень своего могущества; что людей должно собирать только в церковь да под ружье, потому что тут они не рассуждают, а только слушают и повинуются, то либералы в своих сочинениях оправдывали революцию, называли конвент по преимуществу французским собранием, пытались даже извинять казнь Людовика XVI. Либералы спешили отомстить за недавнее унижение и гонение, за белый террор 1815 года: не было конца их рассказам об этом времени, их жалобам на злодеяния реакционеров. Если в сочинениях либералов еще не было прямого нападения на короля и на монархию, то крайние демократические стремления высказывались ясно, дворянство и духовенство преследовались со страшною ненавистью. Чтобы

противодействовать нечестию детей Вольтера, миссионеры рассеялись по провинциям, возбуждая религиозное чувство горячей проповедью и благочестивыми упражнениями; но в своей деятельности они руководились часто одною ревностью не по разуму: не отличаясь образованностью, они редко обращали внимание на свойства той среды, в которой должны были действовать, и их неловкое поведение служило богатым содержанием для выходок и насмешек детей Вольтера, которые указывали на явное возвращение к средним векам. Появление иезуитов особенно было вредно для дела религии, потому что заставляло и людей религиозных присоединяться к так называемым философам. Славолубивая нация, особенно молодежь, с жадностью бросилась на приманку, выставленную бонапартистами и вообще врагами Бурбонской династии, с жадностью бросилась на рассказы о недавней славе Франции, о временах, столь противоположных настоящему унижительному положению отечества; одни песни Беранже сколько наделали вреда Бурбонам! В водевилях редко не вставлялся куплетец в честь храбрым, потому что он непременно возбуждал сильные рукоплескания.

Эти явления причиняли сильное беспокойство иностранным дипломатам. В мае 1818 года герцог Веллингтон так высказался насчет состояния Франции: «Французское правительство в последние 8 — 10 месяцев вело себя неблагоразумно, не принимая в расчет истинных интересов Франции, особенно монархических принципов, на которых это государство должно быть управляемо. Желание популяризировать, национализировать (как выражаются министры) правительство привело их на ложную дорогу. Они обратили внимание на публичные крики, не на крики партии самой многочисленной, самой разумной, роялистов (я отличаю здесь „крайних“, которые хотят восстановления дореволюционного порядка вещей), — они обратили внимание на крики партии, которая кричала всех громче, на крики либералов, бонапартистов, якобинцев. Избирательный закон дает все влияние мелким землевладельцам, которые во время революции приобрели национальные имущества. Им выгодно поддерживать принципы, которым они обязаны своим богатством. Закон о рекрутском наборе и повышениях в армии есть мера, которую я громко порицаю, потому что он подрывает французскую монархию, отнимает у короля всю власть, всякое влияние на войско и делает из армии королевской,

какою она должна быть, армию национальную. Общественный дух во Франции обнаруживает пагубное влияние на правительство. Первая забота мудрой администрации состоит в том, чтобы овладеть общественным мнением, предвидеть заранее все то, что может его волновать, и вовремя брать инициативу, чтобы дать ему надлежащее направление; но французские министры, будучи слишком слабы для того, чтоб стать в челе общества, вздумали популяризировать себя, идя вслед за обществом. Они ошиблись относительно выбора. Они сочли демагогов органами большинства нации. Они испугались их крика. Какое английское министерство осмелилось бы без потери общего уважения и власти слушаться ярых декламации лондонских демагогов! А таких-то именно людей французское правительство ласкает; истинных же защитников трона оно отталкивает и отнимает у них дух. Якобинцы, бонапартисты в таком поведении французского министерства почерпают себе ободрение и смелость. Они громко проповедуют свои принципы. Несчастье Франции состоит в том, что аристократический класс, на счет которого мелкие землевладельцы обогатились, не имеет ни богатства, ни кредита для обнаружения влияния, необходимого для безопасности трона. Я считаю герцога Ришелье честнейшим человеком в мире, но он слаб. Самый сильный человек, Деказ, тщеславен, легкомыслен, не способен выказать силу, необходимую в настоящем положении правительства. По моему мнению, во Франции нет ни одного человека, способного энергически вести дело. На все мои замечания у короля один ответ — что необходимо популяризировать его правительство. Франции грозят волнения и смуты. Она не вышла из состояния революции, и с 1815 года она пошла назад в своей реставрации».

Но тот же Веллингтон объявил, что как ни неправилен ход правительства во Франции, сколько элементов смуты ни представляет столкновение партий, однако нельзя еще опасаться серьезного волнения: союз держав в состоянии сдержать все партии. Итак, можно ли вывести союзные войска из Франции и в каком отношении должны были стать к ней союзные державы — вот вопросы, которые предстояло решить на конгрессе, назначенном в Ахене осенью 1818 года.

IV. АХЕН — КАРЛСБАД

Если мы внимательно взглянемся в движения, происходившие на памяти истории в человеческих обществах, то главную причину этих движений найдем в стремлении определить отношения личности к обществу. Природа человека требует жизни в обществе; но, входя в общество, человек должен отказаться от известной доли своей самостоятельности и свободы в пользу других, в пользу общества. «От известной доли» — но именно от какой?.. Вот вопрос, который и решается в продолжение всей истории человечества, ибо для успехов человеческой, то есть общественной, жизни личность должна сохранять известную и значительную долю самостоятельности и свободы. Для охранения своей самостоятельности и свободы личность имеет прежде всего свою внутреннюю, духовную природу, посредством которой сносятся с высшим миром, где находит высшую поверку всем действиям и отношениям. Понятно, как верование в загробную жизнь, в вечное существование каждой отдельной личности способствует тому, чтобы дать последней свободное и независимое положение; понятно, какие средства дает ей это верование в борьбе с материальною силою и случайностями.

Кроме религии, кроме верования в вечное самостоятельное существование личности, последняя, для своей охраны, имеет еще семейство и собственность, которые дают ей возможность устраивать в обществе свой особый и самостоятельный мир. Таким образом, религия, семейство и собственность составляют три крепости, посредством которых личность отстаивает свою свободу и самостоятельность; и общество, для правильного установления своих отношений к личности, не должно касаться этих твердынь ее. Когда же они подкапываются разными способами, когда личность выманивается из них обещанием большей свободы и независимости, которыми прикрывается стремление к порабощению личности, то происходит смута, могущая прекратиться только с восстановлением твердынь, охраняющих личность.

На поприще более обширном мы видим движение, столкновение народных личностей. Очевидно, что благородная натура европейско-

христианских народов влечет их к жизни сообща, вследствие чего международные отношения сильно изменились, особенно в течение последних веков. По единству интересов, по возможности наблюдать за жизнью друг друга не раз являлись у народов общие действия, общие распоряжения; народная личность почувствовала со стороны общества народов посягновения на свои права, на свободу и независимость действий. Народ объявляет другому войну; но несколько других народов вмешивается и требует прекращения войны, выставляя общий интерес, сохранение политического равновесия и т. п. Свобода народной личности явно ограничивается обществом народов, интересами этого общества. Но этого мало, что свобода ограничивается действиями известной народной личности по отношению к другой личности; один народ вмешивается во внутренние дела другого народа, например, протестантские государи считают своим правом и обязанностью поддерживать протестантских подданных других держав против их правительств. Наконец, государства на основании общей пользы и безопасности, на основании политического равновесия начали считать себя вправе с общего согласия делить владения известного государства, как, например, разделены были владения Испании.

Разумеется, что при таком движении международной европейской жизни народная личность должна была протестовать, и необходимо поднимался вопрос о вмешательстве и невмешательстве чужих держав в дела известного государства, вопрос — насколько народная личность должна отказаться от своих прав в пользу общей международной жизни, где должны быть поставлены границы вмешательству. Разумеется, решения таких вопросов нельзя ожидать в скором времени. События конца XVIII и начала XIX века преимущественно содействовали поднятию вопроса о вмешательстве: революционная пропаганда, войны Французской республики и особенно завоевательные стремления империи повели к образованию коалиций, из которых последняя, самая обширная, победив Французскую империю, естественно, сочла себя вправе распорядиться так, чтобы бедствия, испытанные европейскими народами от Франции, больше не повторялись. Таким образом, насилия, какие позволил себе один сильный народ против других, повели к тесному и продолжительному союзу между последними. Общая опасность от Франции

поддерживала союз, вела к общим мерам; представители союзных держав в Париже составляли постоянные конференции, совещались о мерах, какие нужно предложить французскому правительству для внутреннего успокоения страны; войска союзников занимали французские крепости: никогда еще Европа не видала подобного явления, подобного вмешательства. Но это вмешательство должно было окончиться; признано было нужным освободить от него Францию, чтобы дать большую силу ее правительству, и теперь рождался вопрос: должен ли вместе с этим кончиться союз, уже шестой год соединявший сильнейшие европейские державы?

Вопрос решался различно этими державами. Еще в 1805 г., предлагая Англии союз для положения пределов усилению военной Французской империи, русский император предлагал вместе с тем после мира заняться трактатом, «который ляжет в основание взаимных отношений европейских государств; здесь дело идет не об осуществлении мечты вечного мира, однако будет что-то похожее, если в этом трактате определятся ясные и точные начала народного права». Не в 1805, а в 1815 году императору Александру удалось осуществить первую часть своего плана — избавить Европу от Наполеона. Но он не забыл и второй части плана и спешил положить начало ее осуществлению в Священном союзе между Россией, Австрией и Пруссией, государи которых соединились «узами неразрывного братства, обязывались оказывать друг другу во всяком случае, во всяком месте взаимную помощь и доброжелательство; подданных же своих считать как бы членами одного семейства и управлять ими в том же духе братства, для охранения веры, правды и мира».

Но русский император не хотел ограничиваться союзом между тремя державами: он хотел призвать к нему все европейские державы и таким образом осуществить то, что в 1805-м было осторожно названо «чем-то похожим на вечный мир». Со стороны короля Прусского, безгранично преданного императору Александру, нельзя было ожидать сопротивления этому плану; но и в Пруссии уже начала высказываться неприязнь к России: в самом начале 1816 года в Петербурге знали, что знаменитый генерал Гнейзенау толковал об опасности, которая грозит Пруссии со стороны России, и о необходимости вовремя принять меры к предотвращению этой опасности. «Прусский кабинет, — писал Гёнц, — к счастью, убедился,

что для него нет спасения, кроме тесного союза с Австриею, — союза, который даст этим двум государствам средства сообща располагать силами остальной Германии. Эта система восторжествовала над системою русского союза, который основывался только на временных нуждах и обстоятельствах. Русский союз не имел теперь ни одного приверженца в Пруссии; сам король, хотя лично преданный императору Александру, кажется, оттолкнулся от русского союза безвозвратно».

Гораздо громче толковали в Вене об опасности, которая грозит Австрии от России, ибо в Вене понимали, что пестрая Австрийская монархия вся состоит из слабых мест, и страх был господствующим чувством венского кабинета, особенно страх пред Россией по пламенной связи ее с многочисленными славянскими подданными Австрии. Несмотря на то что император Франц был членом Священного союза, опытные и внимательные дипломаты подмечали в 1816 году, что австрийское правительство ведет с Россией подземную войну. Австрия старалась быть со всеми правительствами в сношениях дружественных или даже очень дружественных. Говорили, что князь Меттерних имел искусство устроить себе из дипломатического корпуса в Вене настоящий мужской сераль; и горе тому дипломату, который не хотел обожать венского Далай-ламу. В этой совершенно физической стране, в этом царстве желудка, как уже тогда отзывались об Австрии, нравственные правила и побуждения считались старомодным явлением, и дипломат, хотевший поддержать свое значение, должен был прежде всего запастись хорошим поваром. Но хорошие обеды не могли заглушить опасений насчет различных народностей, смотрящих в разные стороны: Иллирии был дан титул королевства из страха пред Россией, пред сочувствием к ней славян; католицизм явился готовым и надежным орудием для ослабления этого сочувствия, и началось сильное движение против православия. Много было также хлопот и с итальянцами, которых надобно было онемечить. Недовольные говорили, что в итальянских владениях Австрии надобно было не только жить, но и умирать по-немецки, от немецкой руки, потому что Ломбардия была наводнена медиками, высланными туда из немецких владений Австрии.

Опасаясь более всего России, видя в ее императоре второго Наполеона, только под другими формами, венский кабинет

подозрительно смотрел на все планы Александра: в его либеральных стремлениях он видел искание средств приобрести расположение детей революции, людей, ей сочувствующих; в его желании — ввести в Священный союз все, и второстепенные, государства — венский кабинет видел желание приобрести в этих мелких государствах послушные орудия для господства, для управления делами Европы, — желание, тем более опасное для венского кабинета, что эти мелкие державы были самые податливые на либеральные перемены, посредством которых могло усиливаться революционное движение, столь страшное для рухлого здания Австрийской империи. Страх сменялся в Вене надеждою, основанною на характере Александра и других благоприятных обстоятельствах.

«Там, где неограниченная власть одного человека решает все, — писал Гёнц, — и где, к довершению затруднений, характер этого человека составляет загадку, расчеты и предположения не имеют твердого основания. Император Александр, несмотря на ревность и энтузиазм, какие он всегда показывал к Великому союзу, из всех государей может всего легче обойтись без него. Он не имеет нужды ни в чьей помощи; если существуют для него опасности, то они по крайней мере не вне его империи, тогда как вся Европа страшится его могущества, и страшится основательно. Великий союз для него только орудие, посредством которого он проводит свое влияние в общих европейских делах, что составляет предмет его честолюбия, — орудие удобное и спокойное, которым он владеет с большою ловкостью; но он ломает его в ту же минуту, когда найдет возможность заменить его чем-нибудь более непосредственным и действительным. Его интерес в сохранении этой системы не похож на интерес Австрии, Пруссии, Англии, интерес необходимости или страха; для него это свободный и рассчитанный интерес, от которого он может отказаться тотчас, как скоро другая система представит ему большие выгоды. Русский император есть единственный государь, который в состоянии осуществить самые обширные предприятия. Он в челе единственной в Европе армии, которою можно располагать. Ничто не устоит перед первым ударом этой армии. Никакие препятствия, останавливающие других государей, для него не существуют, как, например, конституционные формы, общественное мнение и проч. Задуманное нынче он может осуществить завтра. Говорят, что он непроницаем, и,

однако, все позволяют себе судить о его намерениях. Он чрезвычайно дорожит добрым о себе мнением, быть может, более, чем собственно так называемою славою. Названия умиротворителя, покровителя слабых, восстановителя своей империи имеют для него более прелести, чем название завоевателя. Религиозное чувство, в котором нет никакого притворства, с некоторого времени сильно владеет его душою и подчиняет себе все другие чувства. Государь, в котором добро и зло перемешаны таким удивительным образом, должен необходимо подавать повод к большим подозрениям, и безрассудно было бы утверждать, как он поступит в том или другом случае. Но когда я его вижу в отношениях данных и положительных, то, мне кажется, не будет безрассудным предположить, что он сделает и чего не сделает. Он смотрит на себя как на основателя европейской федерации и хотел бы, чтобы на него смотрели как на ее вождя. В продолжение двух лет он не написал ни одного мемуара, ни одной дипломатической бумаги, где бы эта система не была представлена славою века и спасением мира. Возможно ли, чтоб после того пред общественным мнением, которое он уважает и боится, пред религиею, которую он чтит, он бросился в предприятия несправедливые для разрушения дела, от которого он ждет себе бессмертия! Если многие думают, что все это с его стороны комедия, то я попрошу доказательств. Но положим, что в идеях и чувствах императора произойдет внезапная перемена: будет ли он в состоянии осуществить свои честолюбивые планы? Россия страдает общею всем европейским государствам болезнию — финансовым расстройством. Пока Австрия и Пруссия в союзе, Россия не может предаться одиночным предприятиям. Вначале она не встретит больших препятствий; но мало-помалу противодействие организуется, вся Германия подвигнется на помощь Австрии и Пруссии, и равновесие в силах установится, не считая содействия Англии. России останется союз с Францией, союз возможный и самый страшный; но оба эти государства не в состоянии причинить вред, пока не будет разорвана срединная линия, состоящая из государств, которые желают мира».

В виду конгресса, на котором должен был решиться вопрос о характере союза между европейскими державами, Меттерних построил свою систему, которая состояла в следующем: «Наполеон поставил свой трон на революции, не сокрушивши ее. Когда этот трон

разрушился, революция снова появилась; с знаменитой эпохи „Ста дней“ начинается расширение революционных принципов, более или менее распространенных в каждом государстве. Явится ли новый владыка, которого призовут для удержания этого зла? Нет, прежде всего возможность этой роли не находится в характере и принципах ни одного из царствующих государей, настолько сильных, чтобы принять ее на себя. Состояние Европы требует власти: при Наполеоне эта власть была деспотическая. Если не хотят, чтобы она стала демократической, то она должна быть сохранена и поддержана четырьмя великими державами, поставленными в челе европейской системы; с течением времени к ним можно присоединить пятую державу — Францию. Пусть зависть называет эту систему аристократической: слова не значат ничего, лишь бы достигались благие цели и зло было сдержано; впрочем, для того чтоб эта система продолжалась и имела влияние, которое одно может сделать ее полезною, необходимосогласие в принципах и доктринах, отречение от частных видов и соперничеств и согласие относительно исполнения». Последними словами Меттерних намекал на русского императора, которого принципы рознились от принципов венского кабинета. Зато последний был согласен с охранительною политикой торийского кабинета в Англии.

Конгресс собрался в Ахене осенью 1818 года. Различие в принципах немедленно обнаружилось на конференциях: Англия и Австрия настаивали на необходимости продолжения четверного союза (Россия, Англия, Австрия и Пруссия); Россия настаивала на союзе общем, европейском, или Великом союзе, братском и христианском. Обнаружилась тесная связь между кабинетами лондонским и венским; главною причиной этой связи была ревность, страх, возбужденный колоссальным величием России, внимательством ее кабинета во все европейские отношения. Было замечено с русской стороны, что Англия и Австрия стремились: во-первых, чтобы держать Францию в продолжительном несовершеннолетии; во-вторых, следовать той же политике и относительно Испании; в-третьих, держать Нидерланды и Португалию в зависимости от Англии; в-четвертых, государства итальянские держать в такой же зависимости от Австрии; в-пятых, вооружить германскую конфедерацию для удержания России в завоевательных замыслах; в-шестых, установить прямые отношения

между Германией и Оттоманской Портой с целью действовать на Россию, не нарушая, по-видимому, четверного союза; в-седьмых, вмешиваться в отношения северных государств; в-восьмых, вмешиваться также в отношения России к Персии и Турции. Австрийский и английский уполномоченные Меттерних и Касльри со своей стороны внимательно следили на конгрессе за императором Александром. Результаты наблюдений оказались успокоительного свойства, и Касльри писал Ливерпулю: «Мне кажется, русский император думает, что между Великобританией и Австриею существует тайное соглашение; но, несмотря на все эти идеи, действующие на его несколько подозрительный ум, я убежден, что он намерен преследовать мирную политику; он стремится к власти, но у него нет желания переменить союзников или дать революционному духу в Европе более движения; напротив, он расположен наблюдать за ним». Даже подозрительность Меттерниха успокоилась насчет властолюбивых замыслов самого императора Александра; но так как Россия и завоевательная политика были понятия нераздельные в уме знаменитого придворного и государственного канцлера, то он направил свою подозрительность на действия русских агентов; он объявил Касльри, что личный характер императора представляет для Европы единственную гарантию против опасности от русского могущества.

Генц загремел восторженными похвалами императору Александру: «Все беспокойства исчезли... Император Александр изложил свои чувства и свои политические виды с удивительною искренностью, ясностью и точностью. Узнали, что он не имел никогда ни малейшего расположения сблизиться с Францией насчет своих тесных сношений с союзниками; что он считает преступлением, изменою против Европы одну мысль о разрушении четверного союза; что он желает сохранения мира, договоров, поддержания системы, которой три года следуют великие державы. Эти речи, подкрепляемые выражениями самого благородного энтузиазма к общему благу, нравственности, религии, чести, ко всему, что есть самого возвышенного в делах человеческих, произвели впечатление самое быстрое и могущественное. Исчезли боязнь и недоумение. Поздравляли себя с тем, что не отказались от конгресса, который приносил величайшую пользу Европе уже тем одним, что повел к этим

объяснениям. Император Александр остался верен своим заявлениям. Его поведение во время конференции отличалось мудростью, добросовестностью, умеренностью. История Ахенского конгресса сосредоточивается около его августейшей особы; он был его двигателем, направителем, героем».

Главное дело, для которого собрался Ахенский конгресс, — решение вопроса об отношении союзных держав к Франции — кончилось согласно желанию русского императора: Франция была освобождена от опеки четырех держав и ее государственная область была очищена от иностранных войск. Россия домогалась этого как средства усилить нравственно королевскую власть во Франции, усилить министерство Ришелье, сделать его популярным, ибо старанию герцога, его влиянию на русского императора должны были приписать освобождение Франции из-под опеки; с поднятием значения Ришелье, естественно, усиливалась связь Франции с Россией; не говорим уже о личном расположении императора Александра к французскому народу, о желании приобрести благодарность и привязанность любимого народа. Со стороны Англии не могло быть противодействия: вмешательство во внутренние дела Франции скрепляло неприятный для Англии союз континентальных держав, который император русский старался все более и более распространить и усилить и в котором преобладание России было ощутительно; очень было важно ослабить этот союз отстранением главной причины общего действия; укрепление же русского влияния во Франции, при тамошних отношениях и движениях, не обещавших прочности кабинету, еще не могло считаться верным. Меттерних представлял на вид рановременность очищения Франции от союзных войск при усилении революционного духа; но его одиночное сопротивление не могло помешать делу; Пруссия держалась России.

Но кроме дела об очищении Франции от иностранных войск были еще два другие важнейшие вопроса: о продолжении союза и общего действия держав и об отношениях Франции к этому союзу и общему действию. Россия настаивала на укреплении и расширении союза и общего действия и на безусловном участии в них Франции; но встретила противодействие со стороны Англии, за спиною у которой стояла Австрия и действовала в том же духе. Чтобы дать укрепиться, пустить поглубже корни общему действию, общему управлению

делами Европы, Россия требовала, чтобы конгрессы, съезды государей или министров их происходили периодически, собирались в известное определенное время, в известных местностях. Лорд Касльри, пообжившийся на континенте, очень полюбил конгрессы, очень понравилось ему это участие, и благодаря значению Англии сильное участие в улаживании европейских дел, блестящая роль в собрании государей, на которое были обращены глаза всех. Касльри писал с Ахенского конгресса Ливерпулю: «Вообще дела идут как нельзя лучше, и нам остается только поощрять чувства привязанности, которые государи расточают друг перед другом и которые, думаю, в эту минуту искренни. Я вполне убежден, что привычка к общему действию, общая слава и эти случайные съезды служат для Европы лучшими обеспечениями в продолжительности мира».

В другом письме Касльри говорит: «Приятно замечать, как мало замешательства и как много прочного добра проистекает от этих собраний, которые издали кажутся такими страшными».

Конгресс представляется мне новым изобретением в европейском правительстве, уничтожающим паутину, которою дипломатия затемняет горизонт, представляющим всю систему в настоящем свете и дающим советам великих держав действительность и почти простоту одного государства». Но этих взглядов на конгресс не разделяли люди, смотревшие на него издали. По поводу вопроса о периодических конгрессах Каннинг заявил в кабинете мнение, что система таких периодических собраний представителей четырех великих держав для обсуждения общих европейских дел — новость, польза которой подлежит большому сомнению; что она глубоко втянет Англию в политику континента, тогда как настоящая английская политика состоит в том, чтобы не вмешиваться в дела континента, исключая случаев нудящей необходимости. Все другие государства должны протестовать против такого покушения поработить их; конгрессы могут сделаться сценами кабал и интриг; в английском народе возбудится опасение насчет его свободы, если английский двор согласится участвовать в съездах с неограниченными монархами, рассуждать, в какой степени революционный дух может вредить общественной безопасности и требовать вмешательства союза для его подавления. Другие члены кабинета, не соглашаясь вполне с Каннингом, прежде всего, однако, имели в виду свои отношения к

парламенту, прежде всего задавали себе вопрос: какое впечатление произведет на парламент решение насчет периодических конгрессов? Задавали вопрос: что, если многие из членов парламента посмотрят на дело так, как взглянул на него Каннинг? Что, если оппозиция станет развивать в парламенте те же мысли, какие Каннинг развивал в кабинете? Из-за чего подвергать министерство такой опасности? Лорд Батурст писал Касльри: «Зачем преждевременно представлять новому, сомнительного характера парламенту систему, которая, если бы действительно была хороша, должна установиться сама собою таким образом, чтоб каждый конгресс обуславливал следующий при видимой пользе, обнаруживающейся при каждом съезде; а так как всякая политическая система имеет свое время, то конец этой системы будет менее заметен, если периодические конгрессы не будут заранее установлены».

Также несочувственно принята была английским кабинетом и мысль о включении Франции в союз, и также причиною отстранения ее была выставлена ответственность кабинета перед парламентом. Лорд Ливерпуль писал Касльри по этому случаю: «Прежде всего здесь не практический вопрос — это более спор о словах, чем о деле. Мы все довольны нашими существующими обязательствами. Взгляды русского императора не могут быть допущены. Мы должны сказать одно, что мы остаемся верными нашим существующим трактатам и обязательствам и что, если когда-нибудь государи или министры их будут иметь случай совещаться сообща о каких-нибудь делах, имеющих возникнуть из условий последнего мира, французское правительство будет приглашено к участию в совещаниях. Если сочтут полезным, ввиду удержания Франции в порядке, назначить время, когда государи опять соберутся, то мы не видим препятствия к этому; но часто бывает так же неблагоприятно смотреть слишком далеко в будущее, как и суживать границы нашего кругозора. Мы должны сами помнить и нашим союзникам дать почувствовать, что все эти вопросы отзовутся в британском парламенте; что у нас будет новый, сомнительного характера парламент, не привыкший смотреть на вопросы внешней политики, как прежние парламены, находившиеся под давлением великой опасности извне. Дайте понять русским, что у нас — парламент и публика, перед которыми мы ответственны, и что

мы не можем вовлечься в виды политики, которая совершенно не соответствует духу нашего правительства».

Оба вопроса были решены соответственно взглядам лондонского кабинета. В протоколе конференции 16 ноября было объявлено, что дворы, подписавшие протокол: во 1) Твердо решились ни в отношении друг к другу, ни в отношении к другим государствам не отступить от принципа тесного союза, принципа, господствовавшего до сих пор в их сношениях и общих интересах; союз этот стал крепче и неразрывнее вследствие уз христианского братства, которыми связали себя государи. 2) Союз этот, заимствующий свою действительность и прочность оттого, что держится не на каком-нибудь отдельном интересе, не на каких-нибудь временных, случайных соображениях, имеет одну цель — поддержание всеобщего мира, основанное на религиозном уважении к обязательствам, внесенным в трактаты, и ко всем правам, отсюда проистекающим. 3) Франция, присоединенная к другим державам вследствие восстановления монархической власти, законной и конституционной, обязывается содействовать с этих пор поддержанию и утверждению системы, которая дала мир Европе и одна может обусловить его продолжение. 4) Если, для лучшего достижения означенной цели, державы найдут необходимым установить особые собрания или между самими государями, или между министрами и уполномоченными для рассуждения сообща об их собственных интересах, то время и место этих собраний будут заблаговременно определены посредством дипломатических сообщений; и если эти собрания будут иметь предметом дела, связанные с интересами других держав европейских, то они будут иметь место не иначе как по формальному приглашению со стороны этих держав, причем необходимо, чтобы последние участвовали в них или прямо, или посредством уполномоченных.

Таким образом, на Ахенском конгрессе было остановлено развитие общего управления европейскими делами посредством конгрессов. Небывалое прежде общее действие государей с 1813 года естественно и необходимо вело к общему управлению посредством конгрессов; предстояло сделать новый шаг — узаконить это общее-правление и его форму постановлением, что конгрессы должны быть периодическими. Но сильный протест из Лондона — и предложение о периодических конгрессах взято назад. Роль Англии в этом случае

замечательна в двух отношениях: по самому островному положению своему Англия — отрезанный ломоть от континентальной Европы; ни в каком случае ее интересы не могут быть так тесно связаны с интересами континентальных держав, как связаны интересы последних между собою; отсюда у Англии всегда своя особая политика, крайне осторожная относительно вмешательства, допускаемого только в крайних случаях, когда столкновения интересов на континенте прямо грозят интересам Британии.

С конца XVIII века интересы континентальных государств тесно связаны вследствие революционного движения, причем революционное движение Франции служит источником и поддержкою революционного движения повсюду. Но Англия и тут в стороне; формы ее политической жизни установились гораздо прежде, независимо от континентальных движений; и хотя демократические движения континента и находят отголоски в Англии; хотя эти отголоски могут становиться все сильнее и сильнее и очень озабочивать английских государственных людей охранительного направления, однако дело вовсе не так близко касается Англии, как держав континентальных. Таким образом, Англия по своему географическому положению и по своей истории способнее всех других стран поддерживать принцип невмешательства. Но при поддержании этого принципа Англия выставила вопрос чрезвычайной важности, именно — вопрос об отношении конституций различных держав к этому общему управлению делами Европы на конгрессах. Русский император требовал, чтобы все европейские государства вошли в великий союз и улаживали свои отношения на конгрессах; но спрашивалось: государи неограниченные и министры их, не отвечающие за свои решения ни перед кем, будут ли одинаково поставлены на конгрессах с государями конституционными и министрами их, имеющими известные отношения к своему народному представительству? Таким образом, большее развитие известных народных личностей, различие в формах политической жизни у разных европейских народов становились помехою для утверждения общего управления делами Европы.

Мысль о периодических конгрессах не была осуществлена, положено собирать конгрессы по требованию обстоятельств. Обстоятельства требовали конгрессов.

Германия, сильно развитая в умственном отношении к концу XVIII века, была задерживаема в развитии политическом разделением своим на с лишком триста владений. Конвульсивное движение пробежало по этому странному средневековому телу, когда слышались первые восторженные клики французской революции. Но мечты, возбужденные этими кликами, были жестоко обмануты: люди, провозгласившие себя освободителями народов, явились за Рейном страшными их утеснителями; на словах от потомков Бренна слышалось: «Свобода угнетенным, война дворцам, мир хижинам!» — а на деле выходило старинное: «Горе побежденным!» Ни один европейский народ не испытал такой полной чаши стыда, унижения и материальных лишений, как немцы от революционной и императорской Франции.

Но эта чаша выпита была на здоровье: Пруссия заявила свою жизненность, свое первенство в Германии необыкновенно быстрым восстановлением нравственных и материальных сил после необыкновенно быстрого падения; Германия приготовилась к великим событиям 1812 и 13 годов, к участию в борьбе народов. Борьба кончилась в 1815 году; но возбужденные ею силы не могли вдруг успокоиться; в продолжение последних двадцати пяти лет было так много передумано и перечувствовано в Германии! Возбуждение сил выразилось прежде всего в широком научном движении, как и следовало ожидать, ибо и прежде, за отсутствием политического развития, германский народ развивался преимущественно в этом направлении, следовательно, почва была приготовлена. Если во Франции неудачи опытов революции, неудачи в построении государственного здания на общих теоретических началах без исторического фундамента заставили обратиться к внимательному изучению своей непосредственной старины, заставили обратиться к изучению этих варварских средних веков, столь долго пренебрегаемых, то в Германии сильное возбуждение народного чувства вследствие борьбы за народную независимость, за народное значение необходимо заставило обратиться к своему, к своей старине, в ней искать разрешения важных вопросов настоящего для ума, в ней искать оживления и укрепления своего народного чувства.

Отсюда великое научное движение; отсюда ясное сознание великого значения исторической науки; отсюда господство

исторического метода; отсюда стремление к изучению народности — изучению самому подробному, микроскопическому; отсюда признание односторонности стремлений XVIII века, стремления к общечеловеческому с отстранением народного; отсюда движение народного духа, заявление прав народностей всюду, где не иссякли родники народной жизни; отсюда освобождение европейской мысли, европейской науки от преобладающего влияния классической древности. Исчезла в этом отношении односторонность, исчезло рабство, и немедленно явились благие следствия свободных отношений: изучение классической древности не ослабело, напротив — усилилось и, получив должное место в расширившемся кругу исторического знания, внесло новые, неиссякаемые средства к пониманию полноты жизни человечества, ее органического развития. Разумеется, каждое человеческое дело имеет свою темную сторону, каждое направление имеет крайности, увлечения: так и при означенном великом движении XIX века мы видим крайности и увлечения в романтизме и в этом чрезмерном прославлении германской народности, которым страдает западная историческая наука.

Но, возбужденные великою борьбою, силы в Германии не могли найти себе упражнения в одной умственной, научной деятельности; они были возбуждены для практической деятельности, для решения великого вопроса о свободе, самостоятельности и значении отечества. Прусский король, призывая подданных к оружию, обещал восстановление единой свободной империи. Действительно, во время французского преобладания немцы испытали очень хорошо вредные следствия разделения и бессилия своего отечества и поняли, что самое верное средство не испытывать вперед подобных бедствий состояло в объединении Германии. Патриоты ждали этого объединения от Венского конгресса, который должен был начертать новую карту Европы; но конгресс собрался для того, чтобы успокоить Европу после революции и ее следствий, а не возмутить Европу новой страшной революцией, какой потребовало бы объединение Германии. Старая Священная Римско-Германская империя была разрушена окончательно; новой создать было нельзя, и вот создался Германский союз, то есть целый ряд самостоятельных государств прикрыли названием союза, которое служило, с одной стороны, связью с

прошедшим, с другой — приготовлением к будущему, по крайней мере указанием на него.

Но германским патриотам хотелось невозможного, хотелось вдруг так или иначе достигнуть объединения Германии. И недовольные патриоты волновались. Но был еще другой, сильно волнующий вопрос о свободных учреждениях. В прокламации прусского короля эти учреждения были обещаны, что сильно беспокоило Австрию. Когда надобно было приступить к исполнению обещания, то сочли естественным и достаточным обратиться к той форме представительности, которая существовала искони в германских землях и исчезла в XVII веке пред усилившимся монархическим началом, — к земским чинам. При установлении Германского союза в 13-м параграфе союзного акта обещаны были земские чины всем государствам, вошедшим в союз; но обещание сделано в общих выражениях, без изложения принципов, способов приведения в исполнение и времени, к которому правительства обязаны были ввести это учреждение. Некоторые государства Южной и Средней Германии ввели у себя представительство в форме земских чинов на более или менее либеральных основах; но в двух самых сильных государствах, Австрии и Пруссии, оказывалось решительное нерасположение правительства двигаться по новой дороге. Пруссия, которая после иенского погрома обнаружила такие сильные признаки жизненности; которая благодаря Штейну с товарищами так быстро пошла по дороге преобразований; которая в 1813 году так высоко подняла знамя свободы и независимости Германии: Пруссия после 1815 года ограничилась провинциальными совещательными чинами без гласности. Король, тяжелый на всякое движение, на всякий выход из привычных форм, только неминуемой бедой принужденный дать волю преобразователю Штейну с товарищами, — теперь, когда борьба кончилась, когда все, по-видимому, вошло в прежнюю колею, спешил удовлетворить требованиям своей природы и предаться спокойствию, гоня от себя тяжкую мысль о всяком новом движении, о всякой перемене, снова отворачиваясь от людей движения, которые, в его глазах, были революционерами, республиканцами.

Это отчуждение прусского правительства от людей, самых популярных в Германии по своей деятельности в последнее время, усиливало неудовольствие людей, обманувшихся в своих ожиданиях, а

толпу, жаждущую продолжения движений и волнений, прельщало мыслью, что ее дело есть дело лучших людей. Так как в Германии описываемого времени научный интерес был сильнее других; так как жизнь особенно прилиwała к школьным университетским кругам, то понятно, что наибольшее участие в волнениях по поводу недовольства настоящим положением страны принимала университетская молодежь. В раздражающих явлениях не было недостатка. На Западе, во Франции, — сильное движение по поводу конституционных вопросов; на Востоке — русский император дает либеральную конституцию Польше. Австрия действует систематически и открыто: император Франц и канцлер князь Меттерних прямо провозглашают, что революция не кончилась; что обязанность всех правительств дружно, всеми средствами ей противоборствовать, охраняя существующие формы; Австрия действует явно и наступательно против либерального движения. У прусского короля нет системы, он не любит движения по природе своей. Вследствие этой же природы короля прусское правительство отвернулось от двигателей, не благоприятствует движению, но и не действует против него наступательно, обнаруживает ту терпимость, к которой никогда нет сочувствия от людей, ею пользующихся, за которую никогда не благодарят; а между тем в некоторых второстепенных государствах правительства поддерживают либеральное движение, ища популярности.

Новое направление, обращение к народной старине, искание для всего исторической основы также употреблено было недовольными согласно с их целями. В 1817 году в протестантской Германии с великим торжеством праздновали трехсотлетие реформации. 18-го октября студенты и некоторые профессора собрались близ Эйзенаха, в историческом замке Вартбурге: говорились зажигательные речи, пелись зажигательные песни, и дело кончилось тем, что по примеру Лютера, сжегшего папскую буллу, сожжены были сочинения, написанные в консервативном духе, направленные против либерального движения. Суд и приговор был произнесен над сочинениями — один только шаг к исполнению приговора и над сочинителями. Много ненависти скопилось над головою Августа Коцебу, известного драматического писателя и журналиста. Коцебу был ревностный консерватор, но не это одно возбуждало против него ненависть: никто так беспощадно не осмеивал странность немецкого

либерального движения, этого разброда чувств и ума в новом деле, к которому было так мало приготовления; ничто так не раздражает, как ловкая насмешка, попадающая в цель, и раздражение против Коцебу было страшное. Коцебу был в русской службе, имел русский чин, имел поручение сообщать русскому правительству о всех политических сочинениях, выходящих в Германии. Либералы догадывались, в каком тоне Коцебу делал свои сообщения. «Коцебу — русский шпион, Коцебу — изменник отечества!» Вот суд, произнесенный людьми, считавшими себя представителями свободной Германии, и между распаленными студентами нашелся человек, который решился казнить такого страшного преступника, изменника отечеству, в устрашение других подобных. В марте 1819 года в Мангейме студент Занд заколол Коцебу.

Известное направление может быть терпимо в обществе сознательно или бессознательно, по расчету или по слабости, но может быть терпимо только до тех пор, пока не принимает наступательного движения. Поступок Занда известил об опасности, о враге. Принимаются средства к обороне, которая, естественно, в подобных случаях переходит в наступление. Прежнее нерадение, отсутствие разумного сдерживания и направления заставляют спешить мерами обороны, усиливать их, и к этому усилению побуждает еще неизвестность о средствах врага. Уже давно знали, что все немецкие университеты обхвачены тайным обществом, носящим название Тевтония; говорили, что общество имело целью превратить всю Германию в республику единую и нераздельную, свергнуть государей и вместо них установить военную демократию. Теперь эта таинственная «Тевтония» высказалась; чрез несколько недель после убийства Коцебу было произведено покушение на жизнь Ибелля, министра герцога Нассауского; преступником оказался также студент; сочувствие, обнаруженное молодежью к этим явлениям, заставляло предполагать соумышленничество, систему. В таких обстоятельствах особенное внимание заслужил голос тех людей, которых нельзя было упрекнуть в нерадении и недальновидности, которые предвидели, предсказывали, предостерегали. В челе этих людей был канцлер Австрии; безумие Занда выставило в ярком свете мудрость Меттерниха и приготовило ему важную роль; при страшной тревоге

должны были необходимо обратиться к человеку, который оказался мудрее других, довериться его руководству.

Тревога была сильная. Штейн, которого прусский король называл республиканцем, — Штейн писал великому герцогу Веймарскому, как его печалит усиление дурного направления в Германии; он просил великого герцога обратить особенное внимание на брошюру под заглавием «Книжка вопросов и ответов»^[18], на которую Штейн смотрел как на катехизис немецкого якобинства, заключающий в себе почти все принципы бывшего тогда в ходу либерального учения, но приспособленные к понятиям простого народа и подтверждаемые местами Св. Писания; в основании был выставлен принцип полновластия народа; после сильной выходки против германских государей высказывалось, что все беды Германии происходят оттого, что она не едина. Невозмутимый и сильно дороживший своим спокойствием Гёте был также встревожен состоянием умов в Германии. По его мнению, неустановленность и волнения, господствующие здесь, не позволяют рассчитывать на следствия мер, которые хотят принять; не позволяют предугадывать, какие меры поведут к добру и какие ко злу. Убийство Коцебу внезапным впечатлением, какое оно произвело, и сильными мерами, к каким должно повести, может породить благоприятное для общественного порядка направление, если правительство сумеет принять меры разумные и согласные с общественным настроением.

Для принятия сильных мер положено было министрам главных германских дворов собраться летом в Карлсбаде; должны были приехать министры иностранных дел — австрийский, прусский, баварский, саксонский, ганноверский, виртембергский, баденский, мекленбургский и нассауский. Но прежде начатия дела в Карлсбаде Меттерних свиделся с прусским королем в Теплице, где между двумя главными германскими государствами было улажено насчет мер, которые должно было предложить в Карлсбаде. 7-го августа начались конференции в Карлсбаде и окончены были в двадцать дней. Меттерних с особенным искусством, отличавшим его, изложил, в чем дело; указал на необходимость принять быстрые и действительные меры для предохранения германской конфедерации вообще и каждого государства, ее составляющего, в особенности от опасностей, которыми грозят революционные движения и демагогические

общества. Члены союза, обязанные взаимною защитой и помощью, имеют полное право принимать общие меры для поддержания внутреннего спокойствия в Германии. Это спокойствие может быть нарушено не одним материальным движением кого-нибудь из членов союза против другого: оно может быть нарушено и нравственным действием одного правительства на другое, также движением партии, которая найдет терпимость и покровительство в одном или многих государствах союза. В этом случае спокойствие самой конфедерации подвергается опасности, и государь, который будет терпеть подобные беспорядки, явится виновным в измене против союза. Печать в Германии стала исключительным достоянием партии, враждебной всякому общественному порядку, всякому существующему учреждению, и столь могущественна, что могла заставить молчать всех благонамеренных писателей. Общность языка и другие многообразные отношения держав союза не позволяют ни одной из них оцепить свои границы от заразы, которая началась в других государствах; ясно, следовательно, что если одно государство, даже самое малое, откажется содействовать общепринятым мерам для прекращения зла, то от него будет зависеть заразить всю конфедерацию.

Такой порядок вещей невозможен; конфедерация имеет право принять оборонительные меры против злоупотреблений печати и принудить всех своих членов сообразоваться с ними; параграф союзного акта, обещающий Германии общий устав о свободе печати, должен быть понимаем в этом смысле. Для достижения этого однообразия нужно или уничтожить цензуру и там, где она существует, или восстановить ее в тех государствах, где ее уничтожили. Первое из этих средств неисполнимо: государства, сохранившие цензуру, — самые многочисленные и самые значительные; остается достигнуть обещанного однообразия восстановлением цензуры там, где она уже не существует, тем более что правительства, поспешившие уничтожить цензуру, превысили свою власть, ибо сейму принадлежит власть изъяснять и приводить в исполнение параграфы союзного договора.

В союзном акте существовал еще параграф 13-й, обещавший введение конституции с земскими чинами. Меттерних счел нужным распространиться и насчет этого параграфа. По его мнению,

выражение: конституция с земскими чинами — было употреблено в противоположность выражению: конституция представительная. Первая из этих правительственных форм была более сродна древним обычаям германским, более национальна, чем другая форма, пришедшая из-за границы, созданная революциями. Первая форма состоит в праве членов или депутатов существующих корпораций участвовать в законодательной деятельности; а в конституциях представительных лица, призванные к прямому участию в законодательстве и важнейших делах правительственных, не обязаны защищать исключительно интересы известных сословий или корпораций, но представляют целый народ. Конституция с земскими чинами, защищая все права и вольности, оставляет неприкосновенными существенные прерогативы государей. Но конституция представительная основана на ложном начале народного полновластия: она постоянно стремится призраком мнимой национальной свободы, то есть общенародной воли, поставить на место общественного порядка и подчиненности и химеру общего равенства перед законом — на место различия состояний и прав, различия, установленного самим Богом.

Внушения Меттерниха производили тем большее впечатление, что министры, собравшиеся в Карлсбаде, не могли чувствовать себя очень спокойно и удобно. Ни один из них, не исключая и самого Меттерниха, не мог найти в своем департаменте или в своей стране человека, на убеждения которого можно было бы положиться и которому можно было бы доверить тайны совещаний, так что сами министры должны были исполнить должность секретарей, вести протоколы и переписку со своими дворами. Революционная партия в Германии, чувствуя, что ей готовится беда в Карлсбаде, действовала устрашением: министр герцога Нассауского получил эстафету от редактора Рейнского листка, который извещал, что отказывается от редакции журнала и просит для себя охраны, чтобы быть безопасен от страшных угроз, которые он слышит в собственном семействе и получает в анонимных письмах. Революционная партия грозила ему за то, что он аристократ, а между тем в Австрии его журнал был запрещен как слишком либеральный.

Все это помогло Меттерниху провести пять предложений, которыми ограничивалось полновластие отдельных держав союза и

усиливалось значение сейма, ограничивалась свобода печати на пять лет, устанавливался надзор над университетами, учреждалась в Майнце следственная комиссия с целью открытия демагогических заговоров. 20 сентября эти предложения были переданы Франкфуртскому сейму, и сейм утвердил их. В ноябре назначены были конференции в Вене для пересмотра и уяснения параграфов союзного акта. Некоторые германские правительства были недовольны карлсбадскими и франкфуртскими решениями и спешили заявить на деле свое несогласие с принципами, провозглашенными Меттернихом; но это не помешало реакции.

Государственные люди, сочувствовавшие движению, должны были поплатиться за его крайности, за то, что не умели и не могли направить дело, должны были отказаться от общественной деятельности и уступить место другим, которых убеждения или отсутствие убеждений приходились теперь ко времени. Профессора, пасторы, известные привычкою подмешивать политику в лекции и проповеди, были отставлены или отданы под строгий надзор; школы гимнастики были закрыты, потому что здесь был главный притон революционного духа; в приведенной выше книжке «Вопросов и ответов» говорилось: «В мирное время солдат не нужно; каждый смолоду должен упражняться в военном деле». Отсюда — особенное значение, какое получили в это время в Германии гимнастические школы. Схвачен был профессор Ян, пользовавшийся особенною популярностью между университетскою молодежью, один из передовых людей в патриотическом движении 1813 года; в Берлине, Бонне, Гессене захвачены были студенты, военные, горожане, известные крайностью своих мнений. Этими мерами прекращена была немецкая Фронда, движение школьной молодежи, разыгравшейся с 1813 года в политику и патриотизм.

Меттерних достигал своей цели. Немецкие правительства под влиянием страха прижимались друг к другу и готовы были слушаться опытного вождя, которого мудрая предусмотрительность была оправдана событиями; благодаря влиянию Меттерниха усилилось и влияние Австрии на дела Германского союза. Но кроме этого союза существовал еще другой союз, и что скажет главный член его, император Русский? Прежде его взгляд сильно разнился от взгляда австрийского канцлера; останется ли он и теперь при этом взгляде и

своим могущественным влиянием остановит реакцию, которая пошла так успешно? Этот вопрос сильно беспокоил Меттерниха. Германские волнения, поступок Занда огорчали императора Александра более, чем кого-либо. Он надеялся, что революционное движение прекратится всеобщим миром и дарованием новых либеральных начал для народной жизни. Тяжело было обманываться в этой надежде; тяжело было привыкать к мысли, что направление, освященное его именем, начинает слыхать несостоятельным; тяжело обмануться, еще более тяжело считаться обманувшимся — и высота положения усиливает эту тяжесть.

В июне 1819 года русские министры при германских дворах получили следующее наставление: «Если таковы результаты учений, преподаваемых в германских университетах; если осмеливаются употреблять во зло религию, благодетельницу человечества; если такова, наконец, цель, указываемая свободе: то не настает ли нужда задуть зло при его рождении? Не надлежит ли общими мерами утвердить господство принципов, которых государи и народы не могут забывать безнаказанно? Во время своего пребывания в Веймаре император обратил внимание великого герцога на эти великие и спасительные истины. Продолжайте эти внушения, поддерживайте вашим кредитом меры, которые Австрия предложит в этом отношении, сообщая с другими нашими союзниками, но не берите на себя инициативы в вопросе, который относится преимущественно к германской конфедерации».

Эта сдержанность не могла нравиться Меттерниху. Ему нужно было, чтобы император Александр, считавшийся главной опорой либерального направления, объявил торжественно народам Европы, что он отступает от этого направления, одобряет меры, принимаемые германскими правительствами под руководством Австрии: тогда либеральное направление, лишенное покровительства могущественнейшего из государей, получило бы самый тяжелый удар. В Карлсбаде, когда приняты были меры, им предложенные, Меттерних в разговоре с одним из русских дипломатов выразил желание, чтобы император Александр высказал публично при первом удобном случае свое сочувствие принятым мерам: «Демагоги в Баварии и Бадене часто употребляли во зло августейшее имя императора, бесстыдно проповедуя, что конституция, дарованная им Польше, есть самая

либеральная, какую только можно придумать. Я думаю, когда немцы узнают из газет, что император торжественно высказался о мудрости принятых теперь нами мер, то у революционеров отнимется предлог употреблять его имя для поддержания своего дела».

Но на это предложение не было обращено внимания; в начале октября императорские министры при германских дворах получили новое наставление: 1) удерживаться от всякого участия во внутренних делах Германии; 2) отзываться самым благосклонным, искренним и честным образом о тех внутренних делах, которые надеются уладить чрезвычайными мерами, и не отдавать предпочтения никакой системе; 3) что касается самих этих чрезвычайных мер и вопросов, с ними связанных, то не высказывать никакого мнения, пока не будут спрошены, и в последнем случае высказывать мнение, основанное на принципах права, достоинства государей и благосостояния народов. Истинное благосостояние народов истекает исключительно из нравственной силы правительств.

Немецкие министры, собравшиеся в конце 1819 года в Вене, были в отчаянии от этого поведения русского кабинета, тем более что последний высказывал явное неодобрение диктаторской власти, какую они хотели облечь сейм. Немецкие министры приписывали это не личному взгляду императора, но взгляду его министра Каподистрия, что видно из письма прусского канцлера Гарденберга лорду Касльри в декабре 1819 года: «Г. Каподистрия, которого софизмы мы все знаем и который наделал нам столько хлопот в Ахене, взял себе в голову, что мы хотим изменить акт германской федерации, гарантированный державами; что Австрия и Пруссия хотят посягнуть на свободу и полновластие малых или меньших государств германских; он боится уменьшения русского влияния и почерпает свои известия и свои доказательства из газет революционной партии — французской и нидерландской, наполненных ложью. Говорить неблагосклонно о мерах, принятых в Карлсбаде; питать этим неудовольствие, которое Бавария и Виртемберг с самого Венского конгресса не перестают поддерживать в видах своего честолюбия, давать инструкции русским министрам за границу в духе, противном видам, которые мы разделяем с Австриею и с большею частию государств германских; видам, вполне чистым и согласным с договорами и обстоятельствами, — такое поведение может быть только вредно для

общего блага». Другие немецкие министры толковали, что цель России — произвести всеобщую смуту и что спокойствие Европы не может быть обеспечено, пока у России такая громадная армия, готовая двинуться по первому мановению. Английские дипломатические агенты доносили своему кабинету, что главная цель русских министров при германских дворах состоит в уничтожении влияния Австрии и Англии, в замене этого влияния влиянием России.

Но немецкие министры жестоко ошиблись в своих расчетах насчет Англии! Лорд Касльри ясно высказал взгляд своего правительства относительно вмешательства по внутренним вопросам: «Мы должны симпатизировать друг другу в усилиях, как симпатизируем в опасностях, ибо нет сомнения, что революционеры всех стран подают друг другу руки и действуют сообща. Их успехи или неудачи в одной стране будут необходимо иметь влияние на их движения во всех других. Эта общая опасность, без сомнения, объединяет интересы всех правительств; но она не должна объединять их действия: действие должно оставаться в совершенной особенности и быть национальным. Нам опасно казаться в союзе, потому что это будет союз правительств против народов, и с этих пор падение первых будет неизбежно. Вследствие этого наше собственное благо предписывает нам оставаться совершенно нейтральными и чуждыми мер, принятых германскими государствами для своей безопасности, и британское правительство особенно должно удерживаться даже в произнесении своего приговора насчет их, ибо в этом оно должно будет отдать отчет своему парламенту. Самое спокойствие Германии требует, чтоб всякий спор об этом предмете был удален от парламента, чтоб отнять у немецкой революционной партии это средство публичности, ибо другие средства у нее отняты франкфуртскими постановлениями. Мы со своей стороны решились бороться с нашим домашним злом со всею требуемою энергиею и думаем, что этою борьбою деятельно служим общему делу; но для успеха здесь никакая чуждая опора, влияние или даже совет не должны находить к нам доступа».

Тот же лорд Касльри в письме к графу Ливену приглашал русский императорский кабинет к совершенному безучастию в делах Германии с явную целью, чтобы Россия не противодействовала австрийскому влиянию: «Из мнений его величества императора Русского принц-

регент с живейшим удовольствием увидал согласие в видах и принципах дворов лондонского и петербургского относительно дел германских. Оба двора одинаково избегают всякого вмешательства в эти дела, — вмешательства, на которое можно было бы смотреть как на нарушение прав и независимости германской конфедерации. Этот принцип определил поведение с. — джемского кабинета, когда дворы венский и берлинский дали ему знать о сущности мер, принятых в Карлсбаде и Франкфурте. Хотя эти сообщения могли оправдать и даже вызвать публичное заявление чувств принца-регента, однако его королевское высочество не счел приличным ни в собственных нотах означенным дворам, ни в инструкциях дипломатическим агентам за границу выразить свое мнение о постановлениях Германского сейма. Принц-регент взглянул на них как на акты иностранных, независимых правительств, изданные для установления их частных дел и внутреннего управления. Этот принцип невмешательства, руководивший принцем-регентом, не исключает всякой мысли о возможности вмешательства; очень может быть, что раздоры между государствами, составляющими германскую конфедерацию, примут характер, столь опасный для их собственного спокойствия, а следовательно, и для спокойствия Европы, что будет законно со стороны дружественных и союзных держав (особенно если они будут призваны господствующим мнением в Германии) сделать несколько осторожных шагов в видах примирения. Но таких явлений теперь вовсе нет, и если мы обратим внимание на то, сколько раз одного ожидания иностранного вмешательства было достаточно для замедления переговоров самых важных и даже для воспрепятствования окончательному решению дел, то ваше сиятельство позволит мне представить ему чрезвычайную важность, какую наш двор полагает в том, чтоб употреблять такой язык, который уничтожал бы в Германии всякое подозрение в возможности подобного вмешательства».

Англия старалась более всего об устранении вмешательства, причем в описываемое время вмешательство представлялось для нее всегда русским вмешательством; но Австрия, которую она поддерживала в стремлении играть первенствующую роль в Германии и поднять свое значение в Европе, Австрия не думала ограничиваться видами английской политики. Австрия желала вмешательства России,

но с тем, чтобы русский император при этом вмешательстве изменил свое прежнее направление. Меттерних не терял надежды произвести это изменение даже и относительно Германии, состояние которой он описывал таким образом: «Наблюдая с некоторым вниманием внутреннее состояние Германии, открываем и здесь, как в большей части других государств европейских, те же элементы разрушения, которые гложут связи общественного тела, ту же слабость верховной власти, ту же игру партий; наконец, ту же тупость в массах. Единственная особенность, но резко выдающаяся, представляемая федерацией, состоит в том, что только в Германии находим мы монархические правительства, которых вся деятельность направлена на поддержание либерализма, которые покровительствуют политическим сектам, спекулируют на произведении нравственного обольщения и ведут себя так, как будто результаты такого порочного поведения не окажут своего губительного влияния на их собственную судьбу. Эти маленькие государства чувствуют себя сильными вследствие покровительства, которым они пользуются, в силу федеральных гарантий и под эгидою консервативного начала, служащего основанием политики Великого союза. Беспокойный дух маленького двора, освобожденного от важной ответственности политической, заставляет его искать ложной популярности. Покровительствуя революционным учениям, он воображает, что играет в верную игру и обеспечивает себе успех во всяком случае — восторжествует ли монархическое начало, или партия либеральная возьмет верх. Первое революционное движение началось в Прусской монархии. Это движение, которое между 1812 и 1815 годами сообщилось и некоторым другим соседним государствам, с течением времени до такой степени ослабело в Пруссии, что это государство можно теперь считать одним из самых обеспеченных относительно будущих волнений. Великое герцогство Веймарское из всех малых государств было первое, которое послужило очагом самому резкому радикализму. Опыт способствовал его потухению. Убийство Коцебу открыло глаза покровителям горячки немецкого юношества, и карлсбадские конференции положили конец важной роли, которую играла Иена. Бавария, вводя к себе представительную систему, смешивая форму преимущественно немецкую провинциальных чинов с порядком вещей, существенно чуждым германской почве и духу ее

народов, причинила зло. Гибельный пример, поданный Баварию, скоро увлек дворы баденский и гессенский. Карлсбадский съезд, обнародование его решений во Франкфурте, особенно же установление центральной следственной комиссии в Майнце нанесли решительный удар деятельности сект, университетским заговорам и усилиям либерализма вводить всюду представительную систему. Новая эра началась для Германии с осени 1819 года. Нравственное содействие императора Всероссийского окончательно даст средства небольшому числу германских дворов возвратиться с ложной дороги, по которой они до сих пор следовали.

Обязанность членов Великого союза — указать им правый путь; это указание станет легко с того дня, когда министры союзников заговорят одним языком о важных вопросах, обозначенных в настоящем мемуаре. Учреждение следственной комиссии оказало существенные услуги Германии, устрашая, сбивая с дороги заговорщиков, обрывая нити множества скрытых во мраке проектов, которые, созревши, могли бы иметь самые гибельные последствия. Новый устав университетской полиции уничтожил тайные общества, в которые вовлечена была разгоряченная молодежь, восстановил порядок и спокойствие, насколько можно было это сделать в такое бурное время; но нельзя сказать того же о законах, которые должны были обуздать злоупотребления печати. Закон 1819 года, возлагая на германские правительства обязанность восстановить мудрую и умеренную цензуру, обеспечивал им то, что всего лучше могло содействовать их безопасности и спокойствию. Некоторые из германских правительств, не испытавшие до сих пор революционных потрясений, задремали среди обманчивой безопасности. Между этими правительствами должно прежде всех поименовать правительство саксонское. Непонятное нерадение, с которым это правительство вопреки многочисленным представлениям, получаемым от других дворов, смотрело на вопиющие злоупотребления печати, было тем более вредно, что Саксония принадлежит к тем германским странам, где больше всего пишут и печатают, и что Лейпциг служит главным складочным местом для книжной немецкой торговли. Зло, причиненное саксонским правительством в этом отношении, частью, как кажется, вследствие денежных расчетов, слишком мелких в подобном вопросе, — это зло усилилось тем, что послужило примером

и предлогом для мелких государств, окружающих королевскую Саксонию. Другие правительства, и особенно те, которые ввели у себя конституцию, руководились относительно печати внушениями страха. Эти правительства думали, что, стесняя слишком свободу писателей, они подвергнутся крикам, упрекам, быть может, протестам, чего они боялись гораздо больше, чем законов бессильного сейма и неудовольствия государей, соблюдающих эти законы. Впрочем, существует замечательное различие в поведении дворов, находящихся в этой категории. Баварский двор, если не всегда владеет необходимой энергией, чтоб действовать согласно со своим убеждением, по крайней мере отличается честностью и благонамеренностью. Так, журналы и брошюры баварские, хотя издаются, нельзя сказать чтоб в хорошем духе, сохраняют, однако, умеренность, которую надобно приписать единственно личным чувствам министра, управляющего политикой Баварии. Действие цензуры благонамеренной, хотя боязливой и часто слабой, оказывается даже на редакции знаменитой „Аугсбургской газеты“. Преданная вообще либерализму, хотя и не отвергая сообщений, делаемых в противоположном смысле, эта газета, странная смесь статей всякого направления и цвета, должна была по крайней мере поддерживать этот характер ложного нейтралитета, которому обязана отчасти своей репутацией; но репутацию эту она не заслужила ни чистотой принципов, ни достоверностью своих известий. Идя почти одной дорогой с баварским правительством, правительство баденское дает еще менее поводов к жалобам. Но в великом герцогстве Гессенском цензура существовала только по имени. Эта страна наводнена зажигательными памфлетами, и „Майнцкая газета“ каждый день обличает в ничтожестве или злонамеренности правительство, ее терпящее. Наконец, в Германии есть правительство, по принципу враждебное всякой мере, клонящейся к удержанию потока своеволия. В других странах немецких неутомимые враги мира и общественного порядка только терпимы: в Виртемберге они пользуются покровительством, их ласкают и явно поддерживают. Главным арсеналом для них служит газета, издающаяся в Штутгарте под именем „Неккарской газеты“».

Таким образом, Меттерних был доволен или по крайней мере объявлял себя довольным результатами майнцской следственной комиссии и уставом университетской полиции; не был доволен только

слабостью цензуры и считал нужным обратить на это внимание русского императора, взывая к его нравственному содействию для обращения германских дворов на правый путь. Следовательно, в то время как Англия хлопотала, чтобы отклонить императора Александра от вмешательства в германские дела, Меттерних хлопотал о том, чтобы затянуть его в это вмешательство, воспользоваться его могущественным влиянием для сдержания и подавления революционных движений, неизбежных спутников представительных учреждений. Причины этого различия во взглядах лондонского и венского кабинетов ясны: несмотря на всю консервативность тогдашнего торийского министерства Англии, на его отвращение, страх пред революционными движениями и полное оттого сочувствие австрийской политике, островное государство все же смотрело издали и холодно на внутренние континентальные движения, следствия которых хотя и могли оказать свое влияние за проливом, но не скоро и не в такой степени. Глядеть же напряженно вперед считалось в английской политике так же неразумным, как и вовсе ничего не предусматривать. Но понятно, что это отвращение от соображения дальних последствий известных движений, это стремление руководиться осязательным фактом происходило в английской политике от островной разобщенности, от отсутствия непосредственных соприкосновений с континентальной жизнью, от происходящей отсюда узкости сферы.

Если ближайшее государство увеличивает свои военные силы, то сейчас же забить тревогу и спешить усилением средств защиты своего острова — это по-английски, потому что тут дело ясное; но соображать возможные следствия каких-нибудь внутренних континентальных движений и по этим соображениям составлять планы, входить в союзы, связывать себе руки на будущее, подвергаясь риску повредить какому-нибудь ближайшему своему интересу, — на это лондонский кабинет не согласится, тем более что все это нужно будет объяснять в парламенте и выдержать бурю. Так и в описываемое время английский кабинет обращал преимущественное внимание на внешнее, близкое и очевидное, оставляя внутреннее, не находящееся в непосредственной связи с английскими интересами; внешнее, близкое и очевидное было могущественное влияние России; следовательно, все

усилия должны быть направлены на то, чтобы ослаблять это влияние, вытеснять его отовсюду, не давать пускаться корней.

Задача очень простая; ее решению чрезвычайно помогает теория невмешательства, хотя нет правила без исключений: где интересы Англии потребуют — там можно и вмешаться. Резкое различие в положении Англии и Австрии условливало различие взглядов, несмотря на симпатию их кабинетов по некоторым вопросам. Австрия — держава континентальная, нераздельная часть европейского политического организма, подверженная непосредственному влиянию внешних и внутренних движений; притом Австрия, несмотря на свои видимые крупные размеры, была держава крайне слабая по своему внутреннему пестрому составу. Сознание этой слабости должно было изощрять внимание австрийских государственных людей относительно всех движений, внешних и внутренних: движение, которое могло только поколебать, взволновать временно другое, более сильное государство, могло разрушить Австрию. Внешняя опасность прекратилась, по крайней мере чрезвычайно ослабела с падением Наполеона; но немедленно явилась другая опасность, внутренняя, — революционные движения, которые, если заразят Австрию, могут сглодать ее слабое тело скорее, чем всякое другое. Отсюда главная забота Меттерниха противодействовать этому революционному движению всюду, преимущественно в странах ближайших.

Так, естественно, должны были порозниться стремления Англии и Австрии, из которых первая преследовала преимущественно внешнее, вторая — внутреннее. Отсюда же и различие отношений их к России. Австрии точно так же противно было могущественное влияние России: она имела еще больше причин, чем Англия, бояться России, особенно по отношению к своему славянскому народонаселению. Но вопрос внешней безопасности стоял теперь для нее на заднем плане, а для удовлетворительного решения внутреннего необходимо было содействие могущественной России. Господствующее стремление Австрии как державы слабой было стремление употреблять чужие силы для своих целей, для своего поддержания. Меттерних не боялся усилить влияние России на дела Европы, если это влияние будет служить его целям, если он успеет направить его против революционных движений; притом сила России и не будет опасна, когда ее правительство будет занято каким-нибудь внутренним

европейским вопросом и, противодействуя революционному движению, явится со строго охранительным характером: Австрия будет безопасна и будет играть важную роль как разумная сила, направляющая силы материальные для охранения спокойствия и общественного порядка; инициатива дела у нее, а всякое дело мастера боится.

Цель, разумеется, не могла быть достигнута вдруг; она достигалась исподволь, при содействии обстоятельств. Волнения немецкой школьной молодежи, скоро успокоенные, и либеральные статьи «Неккарской газеты» не могли иметь важного влияния на направление русской политики; но конституционное дело идет дурно в Польше, не по мысли государя, давшего конституцию; Франция сильно волнуется, скоро взволнуются Испания, Италия...

Мы оставили Францию в опасном положении, когда слабое правительство, не сумев сдержать своих естественных защитников, разорвало с ними и стало опираться на либералов. Но за либералами, которые были рады поддерживать конституционный трон Бурбонов, стояли люди из других лагерей — республиканцы, бонапартисты, которые сначала все смешались в общей оппозиции крайним роялистам, все одинаково приветствовали правительство, разорвавшее с последними; все казались одинаково ему преданными. Но потом, когда поднялись и стали на ноги, опираясь на руку, протянутую им правительством, то распустили свои знамена и стали действовать против правительства, которое, стремясь себя популяризовать и национализировать, разнуздывало их все более и более. Сюда присоединялась новость конституционного дела во Франции и страсть французов к игре в оппозицию; сюда присоединялось и то, что либеральные приверженцы Бурбонов ослаблялись тревогой относительно скорого будущего, когда трон должен будет перейти к принцу, явно стоявшему в челе крайних роялистов. Думали, что решение Ахенского конгресса, очищение Франции от иностранных войск, освобождение ее от опеки союзников — послужат средством к популяризованию и национализированию правительства, особенно к популяризованию герцога Ришелье, которому, после императора Александра, Франция преимущественно была обязана за ахенские решения. Но вышло иначе, и Ришелье недолго пробыл министром по возвращении из Ахена.

Ришелье понимал опасность шага, какой сделало правительство, разрывая с ультрароялистами и сближаясь с либералами; видел и следствия этого шага — усиленное движение в рядах врагов династии, жаловался, протестовал, требовал, чтобы не очень отдалялись от правой стороны, не очень враждебно относились к ней и не очень потворствовали левой. Но все это были слова, а не дело, для которого, как в высшей степени трудного, у Ришелье не было средств; большими способностями к делу, большей энергией отличался министр полиции Деказ, который владел полной доверенностью и волей короля; но мы уже видели, по какой дороге пошел Деказ. Ришелье не нравилась эта дорога, и, чувствуя разлад между собственными взглядами и взглядами товарищей, Ришелье тяготился своим положением и желал выйти в отставку по окончании того дела, которое считал своим призванием, — дела очищения Франции от иностранного войска; но император Александр уговорил его остаться, причем опирался также и на желание короля Людовика XVIII.

В Ахене Ришелье еще более был обеспокоен насчет ложного пути, которым следовало правительство, ибо государи и министры их в один голос указывали ему на опасное положение Франции. Под влиянием этих внушений Ришелье писал из Ахена в Париж сильные письма, возбуждая товарищей к наступательному движению против ультралибералов: «Время либеральных уступок прошло; мы сделали их довольно, и все понапрасну: обратили ли мы хотя одного из этих негодяев? Схватимся наконец с нашими настоящими врагами! Мы побили правое крыло, теперь соединим наши силы против левого крыла, гораздо более страшного по сильным резервам, которые сзади него».

Но Деказ не разделял воинственного настроения главы кабинета: с правым крылом он покончил безвозвратно, а левое бить боялся, чтобы не остаться совершенно без помощи. Что нам приятно и легко, то обыкновенно кажется разумным и необходимым; так и Деказу единственно разумным и необходимым казалось популяризировать и национализировать правительство посредством сближения с либералами — это была его система; самолюбие требовало ее поддержания, и на воинственные выходки старого Ришелье молодой Деказ отвечает представлениями о необходимости действовать обдуманно, осторожно, не пугаясь, не торопясь, — советы, которые,

смотря по человеку, иногда обличают опытность и мудрость, а иногда — бессилие, робость, неспособность к мерам решительным. По возвращении Ришелье из Ахена глава кабинета все более и более расходился с министром полиции: Ришелье настаивал на необходимости сближения с правой стороной, Деказ держался крепко стороны популярной, остальные министры делились между ними. С таким раздвоением кабинет существовать не мог. Беспокойство овладело всеми, ибо все интересы были затронуты; биржевой барометр то опускался, то поднимался в самое короткое время. Ришелье, больной нервами от страшного беспокойства, лишившийся сна, подал в отставку; упрямый королем не покидать его, угрожаемый, что в случае выхода его из министерства король должен призвать на его место Талейрана, он соглашался на одном непременном условии, чтобы Деказ вышел из министерства.

Людовик XVIII расплакался, но решился принести эту жертву. Ришелье начал составлять новый кабинет и никак не мог сладить с этим делом; тут он представил королю невозможность для себя оставаться долее министром; но вместе с тем представил, что нет никакой необходимости призывать и Талейрана. Начали искать, кого бы назначить главой кабинета, — и нашли генерала Дессоля, человека не без способностей, уживчивого, монархиста и либерала, лично известного и приятного императору Александру; последнее обстоятельство было очень важно, ибо знали, как дурно будет принято в Петербурге известие о выходе герцога Ришелье из министерства. Дессоль принял предложение без всякого затруднения и со своей стороны предложил Деказу остаться в министерстве; тот объявил, что никак на это не согласится, если король не прикажет; король, разумеется, приказал. Деказ стал членом нового кабинета с портфелем внутренних дел вместо полиции; 30-го декабря 1818 года публика узнала о новом кабинете, в котором самым видным членом был не президент Дессоль, но министр внутренних дел — Деказ.

Выход Ришелье, стремившегося к сближению с правой стороной, и образование нового министерства с Деказом, стремившимся к популяризации и национализации правительства, были торжеством либеральной партии. Но это торжество, это упрочение системы, против которой высказались четыре главные державы, не могло не встревожить их представителей в Париже; из них один только

был рад перемене — английский посланник Стюарт, который в выходе Ришелье из министерства видел конец русскому влиянию. Стюарт не умел скрыть своего восторга и бросился к новому министерству с распростертыми объятиями, надеясь получить при нем то же значение, какое Поццо-ди-Борго имел во время министерства Ришелье. Русский, австрийский и прусский посланники имели причину тревожиться: военное министерство осталось за маршалом Гувьоном С.-Сиром, который находился под явным влиянием бонапартистов и демократов. Хранитель печати (министр юстиции) Десерр, человек с блестящими талантами, но увлекающийся и страстный, сильно тянулся к левой стороне — и вследствие недавней ожесточенной борьбы своей с правою, и вследствие особенной дружбы своей с учеными представителями либеральной партии, или так называемыми доктринерами. Глава кабинета маркиз Дессоль, по-видимому, такой умеренный, уживчивый со всеми, не имел ясного сознания своего положения и положения страны, не был самостоятелен и постепенно подчинялся влиянию людей, более сильных нравственными средствами; общество наполеоновских генералов, которым он был всегда окружен, также не оставалось без влияния на его образ мыслей.

Три континентальные союзные державы — Россия, Австрия и Пруссия — сочли нужным прибегнуть к вмешательству; предлагалось возобновить прежние конференции посланников четырех союзных дворов в Париже, как то было до Ахенского конгресса, представить французскому правительству о необходимости уволить военного министра С.-Сира или вообще сделать коллективное предложение французскому правительству о необходимости переменить систему. Но Англия и тут выставила неодолимое сопротивление. Лорд Касльри объявил австрийскому посланнику в Лондоне Эстергази, что государство не имеет никакого права наблюдать за ходом внутренних дел в другом государстве; революционеры воспользуются этим, чтобы начать еще сильнее кричать против правительства и даже предпринять что-нибудь поважнее. Касльри высказал при этом, что даже изгнание Бурбонов он не считает поводом к вмешательству и четверной союз против Франции применителен только к следующим предположениям: 1) нападение со стороны Франции; 2) неминуемая опасность для Европы вследствие внутреннего состояния Франции; 3) возвращение Наполеона.

Английскому посланнику в Вене Касльри писал: «Министры принца-регента видят ясно ошибки французского правительства; видят ясно опасности, которые могут рано или поздно проистечь для Европы от внутренних волнений этой страны и от опасных замыслов, питаемых здесь некоторыми партиями; но английский кабинет всегда сомневался и теперь сомневается: может ли вмешательство со стороны союзников служить к предотвращению опасности? Если бы король Французский или министры его среди запутанностей и затруднений, с которыми беспрестанно борются, могли по своему произволу направлять ход дел, тогда лондонский кабинет согласился бы с петербургским, что торжественное заявление серьезных тревог, которыми объаты союзные дворы, могло быть полезно; но нам всегда казалось, что препятствия, которые во Франции встречает установление мудрого и твердого правительства, происходят от других причин, а не от отсутствия добрых намерений или частных расположении королевских министров. Эти препятствия британское правительство находит более в продолжительных следствиях революции, в настоящем составе законодательной власти, в новости для Франции представительной системы. Трудность при таких условиях вести дела посредством министра, посредством партии какой-нибудь или посредством слияния партий, — эта трудность недостаточно признается и оценивается; наконец, эти препятствия заключаются большей частью в избирательном и рекрутском законах, бывших следствием уступки желаниям армии и народа. Законы эти изданы, без сомнения, с самыми чистыми намерениями, но они не перестают явственным образом обессиливать власть короля, и, к несчастью, их гораздо легче было издать, чем теперь изменить. Министры принца-регента убеждены, что вмешательство иностранных держав только усилит опасности положения».

Русскому посланнику Касльри говорил: «Франция заключает в себе гораздо более семян демократии, чем Англия. Последние выборы дали тому доказательство. Это расположение сделает ее жадной ко всякому предлогу мятежа; ее первые усилия будут направлены к тому, чтоб уничтожить трон, который мы хотим защищать, и первый предлог к тому — влияние иностранных правительств на французское. Политическая система Европы изменилась сильно с 1815 года. Введение конституции в Германии и Бельгии, общее либеральное

стремление возбудили в соседних странах сильное сочувствие к Франции; подданные теперь не пойдут за правительствами против нее. Правительства не водят более народы на войну, не сказав им наперед, за что они будут биться. Только причина законная и очевидная может теперь оправдать призыв к оружию».

Таким образом, и по французским делам, как и по германским, вопрос о вмешательстве был решен отрицательно. Но скоро поднимутся бури с юга, и опять будет поставлен роковой вопрос.

V. ТРОШПАУ — ЛАЙБАХ

Революционное брожение, видимо, обходило Европу; затихало движение в Германии — начиналось на южных полуостровах и здесь шло в известном порядке: сначала обнаружилось на Пиренейском, потом на Апеннинском, наконец — на Балканском.

С 1820 года Испания вступает в свой революционный период, период долгий и тяжелый по условиям государственной и общественной жизни страны, по условиям исторического воспитания, полученного народом. В середине века главное явление исторической жизни народов Пиренейского полуострова заключалось в борьбе, которую они вели с магометанскими завоевателями, аравитянами. Борьба эта поглощала все другие интересы жизни, народ запечатлелся рыцарским характером, он жил в постоянном крестовом походе, религиозный интерес в борьбе с неверными стоял на первом плане. К концу средних веков жители Пиренейского полуострова составили из себя население преимущественно с военным и духовным характером: это был народ рыцарей, дворян, борцов за христианство, против неверных и — народ монахов. В этом постоянном крестовом походе, увенчавшемся к концу XV века блестящим успехом, развились силы, требовавшие выхода. Португальцы и испанцы бросились на открытия; но деятельность их в новооткрытых странах была продолжением того же крестового похода против неверных: целью подвигов и завоеваний было распространение христианства.

Скоро для испанцев и в Европе нашлась деятельность по ним: поход под религиозным знаменем, борьба с протестантизмом. Главные герои Испании в этой борьбе — Лойола и Филипп II-й. В 1521 году, когда на Вормсском сейме немецкий монах Лютер решительно объявил, что не отречется от своих мнений относительно Римской церкви, молодой испанец Лойола, лечившийся от ран, полученных в войне с французами, воспламенялся житиями святых, подвигами героев христианства. Лойола основал знаменитый орден, в котором католицизм получил превосходное войско для наступательного движения — людей, отлично подготовленных для нравственной ловли других людей; все способности иезуита были изощрены именно для

захвата добычи. Но одной нравственной ловлей дело не ограничивалось: Испания дала Римской церкви не одного Лойолу — она дала ей Филиппа II и герцога Альбу. Испания начала блестящую роль в Европе с того времени, когда ее король Карл I сделался императором Карлом V-м; но Карл V-й не был представителем испанского народа в Европе. Знаменитый император, которого деятельность обхватывала всю Европу, которого присутствие нужно было и в Германии, и в Италии, и в Нидерландах, оставался иностранцем для Испании. Только при конце жизни испанские наклонности как будто пробудились во внуке Фердинанда и Изабеллы: он удалился в Испанию и умер в монастыре. Карл V не был цельным испанцем: он принадлежал к двум или трем национальностям, и уже по одному этому взгляд его был шире, деятельность свободнее; эта широта и свобода развились при его обширной многосторонней деятельности; притом Карл воспитался в эпоху сильного движения, сильного недовольствия против Римской церкви, и этим объясняются отношения его к протестантизму, возможность интерима, возможность сделок.

Но Филипп II принадлежал уже другому времени — тому времени, когда крайности и рознь в протестантизме оттолкнули от него религиозных людей, заставили их искать более твердой почвы, чрез что была вызвана католическая реакция: представителем этой реакции и был Филипп II. Притом по природе и воспитанию своему Филипп был соотечественник Лойолы, был цельный испанец. Зная предшествовавшую историю Испании; зная, какое значение имела здесь религия, церковь, — мы поймем, почему Испания должна была играть главную роль при католической реакции, почему она выставила Лойолу и Филиппа II. И тот, и другой в разных положениях задали себе одну задачу: восстановить господство единой Римской церкви, уничтожить ересь. Филипп не разъезжал по Европе, подобно отцу своему, не предпринимал и походов в Африку: он вел неподвижную жизнь в Испании; от этого горизонт его необходимо суживался; вокруг — однообразие и мертвая тишина, и тем сильнее и сильнее овладевает королем одна мысль, не допускающая ни малейшего уклонения, никакой сделки. Филипп не чувствует разнообразия, он не поймет, не признает никогда прав его. Филипп неподвижен в своем кабинете, но тем сильнее работает голова человека с энергической природой; он

хочет все знать, всем управлять. Борясь неуклонно, неумолимо с ересью за единство церкви, Филипп продолжает народную религиозную борьбу, которой знаменуется история Испании, народ видит в нем своего. Филипп II уничтожил начатки протестантизма, показавшиеся было в Испании; запылали костры, и «лютеранская язва» исчезла из католической страны.

Отличаясь особенной ревностью в истреблении «лютеранской язвы» и в борьбе с мусульманами в Северной Африке и на Средиземном море, испанцы, понятно, не могли уживаться в ладу с маврами, остававшимися среди них по уничтожении мусульманского государства на юге Испании. Кроме вражды религиозной испанцы считали мавров своими заклятыми врагами, врагами домашними и тем более опасными, особенно опасными в то время, когда турецкое могущество висело грозной тучей над Европой. Испания не могла переварить этого отдельного и враждебного народа среди своего народа, «народа в народе», — и мавры были изгнаны. Испания покончила с маврами у себя; в Европе она являлась первенствующей державой; глаза всех католиков были постоянно обращены на нее как на главную защитницу Церкви; протестанты боялись Испании больше всего, и нельзя было не бояться первого по своей храбрости и искусству войска в Европе, которым постоянно предводительствовали знаменитейшие полководцы. Славолюбие рыцарского народа было удовлетворено, роль его обозначилась и в том, что испанские моды господствовали при дворах европейских.

Знаменитой роли соответствовало сильное литературное движение, самостоятельное, передовое, которым воспользовались народы, так сильно враждовавшие с Испанией, — англичане и французы. Сильно развивалась испанская жизнь, но развивалась односторонне. Народ воинов, рыцарей мог бы в древности покорить многие народы, основать всемирную монархию; но в новой Европе он должен был вести войны с сильными народами, с сильными союзами государств, должен был истощать свои силы в продолжительной, далекой, славной, но бесполезной для могущества страны борьбе, в борьбе преимущественно за принцип, за католицизм, против ереси. И когда религиозное движение в Европе затихло, Испания по необходимости отыграла свою роль, сошла с исторической сцены, ибо ей нечего было больше делать в Европе, не за что бороться, а между

тем в других условиях, которые поддержали бы ее историческую жизнь, оказался сильный недочет: развитие было одностороннее; испанцы были народ воинов и монахов; промышленность, торговля были занятиями не национальными, были в упадке; материальные средства истощились в долгой борьбе, истощились финансы, истощилось народонаселение — много его погибло в войнах по разным концам Европы, еще больше ушло в Новый Свет; маврики изгнаны. Вследствие этих условий испанцы явились неготовыми к продолжению деятельной исторической жизни. Старое, чем так долго жилось, оказалось несостоятельным, ненужным и потому странным и смешным, как все старомодное; знаменитейшее произведение испанской литературы — «Дон Кихот» представлял насмешку над рыцарством, насмешку над основным явлением испанской национальной жизни: стало быть, это явление изжилося. Старое изжилося, а нового не было наготове, и народ не знал, что делать, погрузился в продолжительный сон — естественное состояние после долгой и изнурительной деятельности, изнурительной потому, что односторонней, ибо только разнообразие занятий, широта сферы поддерживают силы и отдельного человека, и целых народов; однообразие же справедливо носит постоянное название мертвенного.

Война за наследство испанского престола пробудила народный дух, народные силы, и с этого времени в Испании начинается движение, выражавшееся в преобразовательных попытках, которые нельзя приписывать только перемене династии и деятельности министров из иностранцев. С иезуитами поступлено было точно так же, как прежде с мавриками: 5.000 членов ордена были схвачены и вывезены из Испании; вместо них вызваны были немецкие колонисты-протестанты: это уже указывало общее направление преобразований. Но, по известному закону, всякая новизна встречает сопротивление в старом. Сила этого сопротивления зависит от того, как глубоко старина пустила свои корни; тронуты или не тронуты еще они в глубине народного духа; изменились ли и в какой степени изменились условия, укоренившие старый порядок вещей; наконец, преобразователи имеют ли достаточно личных средств для успешного ведения своего дела.

Старина в Испании была укоренена долгим застоем, отсутствием правильного, постепенного и самостоятельного движения; старина была свое, освященное; новизна была чужое, извне пришедшее;

борьба — и борьба продолжительная, упорная — была необходима, тем более что знамена были подняты, а вождей искусных, опытных и сильных не доставало. На севере от Пиренеев — страшная революция, смененная могущественной империей, — опасное соседство для Испании, носившей по-прежнему все признаки государственного истощения. В 1808 году гроза разразилась; но свержение старого королевского дома и возведение нового короля, по воле чужого деспота, пробудили силы испанского народа. Страна была очищена от незваных гостей; но это движение, это пробуждение народных сил не могло остаться бесследным. По-видимому, все части испанского народонаселения действовали дружно в борьбе с французами, имели одну цель — восстановление независимости и самостоятельности родной страны; несмотря на то, тут были два знамени: масса билась за свое, привычное, против нового и чужого; а народные представители, взявши старое название кортесов, провозглашали в Кадиксе в 1812 г. новую, крайне либеральную конституцию, составленную по чужому образцу и своими крайностями доказывавшую незрелость своих виновников и приверженцев. По окончании общего дела различие знамен ясно обозначилось и возвестило продолжение борьбы между старым и новым, — борьбы, начавшейся во второй половине XVIII века.

Возвращенный из французского плена король Фердинанд VII стал под старое знамя без всякой сделки с новым — до того, что с уничтожением новой, либеральной конституции восстановлена была старая инквизиция. Гонение постигло не только всех офранцузенных (*afrancesados*), то есть приверженцев короля Иосифа Бонапарта, занимавших при нем какие-нибудь должности, но и вожаков и приверженцев кортесов, людей, получивших знаменитость в войне за освобождение, но не хотевших восстановления старого порядка. Гонения сдавали на время приверженцев нового, но не уничтожили их, не уничтожили духа и направления, уже принявшегося в Испании в XVIII веке и развившегося с 1808 года, — направления незрелого, выражавшегося порывисто и странно, скачками, как обыкновенно бывает при условиях новизны и незрелости, но тем не менее направления принявшегося; это была уже не «лютеранская язва» XVI века, для которой почва Испании была так мало приготовлена и с которой потому легко было бороться. Сжатое правительственной

силой и силой большинства, новое, преобразовательное направление притаилось на время и начало подземную работу посредством тайных масонских обществ, посредством заговоров, а у правительства, кроме внешней материальной силы, не было другого средства к борьбе: неспособный король был окружен людьми неспособными; он беспрестанно менял министров; но смена одной бездарности другой не поправляла дела; государственная машина была в полном расстройстве, и тем давалось оправдание людям, стремившимся к преобразованиям. В 1820 году эти люди нашли и материальную поддержку, возможность действовать посредством войска.

Мы видели, что в Германии революционное движение приливалось преимущественно к университетам, потому что при сильном развитии образования и при отсутствии политической деятельности это было самое чувствительное место. Но на южных полуостровах Европы, Пиренейском и Апеннинском, университеты далеко не могли иметь такого значения, какое они имели в Германии, и здесь революционное движение, созревая в тайных обществах, начало приливать к вооруженной силе, к войску. К 1820 году в Испании войско было собрано в Кадиксе, откуда должно было отправиться в Америку для подавления восстания в колониях. Отдаленность экспедиции и мысль, что надобно будет сражаться со своими, возбуждали сильное неудовольствие в войске, которое находилось и без того уже в опасном бездействии по недостатку денег и средств к перевозке, — и все это на революционной почве Кадикса. Вдруг узнают, что командующий войском генерал Одоннелль открыл большой заговор, арестовал много офицеров, обезоружил и удалил тысячи солдат. Вслед за тем другой слух, что сам Одоннелль был главным двигателем заговора, что он отставлен; но войско все стоит у Кадикса.

1-го января 1820 года в нем вспыхивает восстание; предводители — полковник Квируга и подполковник Риуго — провозглашают конституцию 1812 года. Войска, высланные правительством против восставших, действуют медленно, ибо предводители боятся дурного духа между солдатами. Уже другой месяц идет борьба; по Европе распространяются противоречивые слухи: то мятежники доведены до крайности, то торжествуют. И то и другое — правда; в то время как восстание слабеет на юге, оно вспыхивает на севере: в Коронье, в Галиции, генерал-капитан свергнут и учреждается юнта, которая

провозглашает конституцию 1812 года. Движение распространяется по всей Галиции; в Наварре за революцию действует знаменитый партизанский вождь Мина, скрывавшийся до сих пор во Франции. Арагония, Каталония сильно волнуются. В Мадриде ужас. Экстраординарный Государственный совет несколько дней рассуждает о мерах, какие надобно принять в таких затруднительных обстоятельствах; но несостоятельность правительства резко обнаруживается в ужасе, в бесплодных совещаниях, в полумерах и колебаниях. Главный вопрос: кого назначить начальником войска для усмирения восстания? Нет человека! Король, известный своей подозрительностью, поручает спасти свою власть человеку, которого незадолго перед тем, как подозрительного, отрешили от начальства над войском, — Одоннеллю! 3-го марта Одоннелль выступил из Мадрида и на другой же день перешел на сторону революционеров и провозгласил конституцию. При известии, что правительство уже не может рассчитывать на войска, Мадрид начинает волноваться, и 7-го марта король объявляет о немедленном созвании кортесов, обещает делать все, что требует интерес государства и благо народов, представлявших ему столько доказательств верности. Но вожаки революции не хотят дожидаться кортесов, хотят пользоваться благоприятной минутой, и толпы народа кричат перед дворцом, требуют конституции 1812 года. Правительство уступает, и Фердинанд VII клянется быть верным конституции 1812 года. Инквизиция упраздняется, объявляется свобода печати, амнистия за все политические преступления, и общественные должности переходят в руки либералов, гонимых с 1814 года.

Как же взглянули на этот переворот европейские кабинеты, уже напуганные революционными движениями в Германии и все более и более беспокоиваемые насчет Франции? В Вене боялись уже давно, привыкли бояться, привыкли предусматривать, пророчить страшные события, предостерегать других и принимать меры предосторожности: потому в Вене относились спокойнее к революционным движениям, как к давно ожидаемым. Но в Берлине испугались недавно и потому не могли еще прийти в себя от страха, били сильную тревогу, тем более что держава, за которую привыкли держаться, как ребенок держится за платье матери, Россия, не входила, как желалось, в виды берлинского кабинета относительно революционных страхов: в половине с графом

Нессельроде иностранными делами при императоре Александре заведовал человек, которого при германских дворах величали корифеем либерализма, — Каподистрия. Его влиянию приписывали то, что относительно германских распоряжений император Александр говорил языком неопределенным, иногда темным, и отвращение следствий этой неопределенности приписывали только объявлению английского кабинета, что не должно вмешиваться в германские дела как внутренние. «Каподистрия, — писал Гёнци, — со своим обширным умом, с почтенными принципами, с любовью к добру в полном смысле слова, давно уже впал в гибельное заблуждение, что две противоположные системы, борьба которых виной всех несчастий времени, могут быть примирены в какой-то химерической среде и что поддержание порядка совместно с господством либеральных идей. С сердцем нежным и любящим, этот министр подвержен слабостям, происходящим от продолжительных страданий физических. Он щекотлив, подозрителен, склонен видеть везде дурную сторону; меланхолия доводит его до мизантропии. Он не любит венского кабинета, особенно не любит князя Меттерниха, не любит также Пруссии, немного помирился с английскими министрами, не уважает государственных людей Франции — коротко сказать: не желая зла никому, он во вражде с целым светом». Стремление к примирению противоположных систем приписывалось Каподистрии!

При дворах, испуганных испанской революцией, прежде всего досталось Фердинанду VII-му: «Все эти ужасные события могли быть в Испании предупреждены гораздо легче, чем во всякой другой стране, если бы король, постоянно окруженный дурными советниками, в продолжение шести лет не делал ошибки за ошибкой как во внутреннем управлении, так и во всех внешних сношениях. И теперь все эти ошибки увенчаны самой громадной: лучше бы ему было подвергнуться всевозможным бедствиям, чем принять безусловно такую безумную конституцию. В ожидании выборов новых кортесов король будет совершенно в руках военных вождей революции. Армия потребует вознаграждения за услуги, оказанные ею отечеству; не удовлетворится тем, что кортесы будут в состоянии и захотят для нее сделать. Он восстанет против кортесов, которые, найдя в своей среде все семена раздоров, предадут Испанию в жертву анархии и военного деспотизма». В России, кажется, будут смотреть удовлетворительно на

дело; но что скажет Англия со своим принципом невмешательства? Гарденберг обращается к Касльри: «События, происшедшие в Испании, могут быть крайне опасны для спокойствия Европы. Пример армии, производящей революцию, — гибельный. Петербургский двор, не зная еще окончательных следствий восстания, счел необходимым согласиться сообща в мерах, какие должны быть приняты относительно Испании, и пригласить к общему совещанию Францию, которая тут вдвойне заинтересована. Петербургский двор предлагает воспользоваться для этого парижскими конференциями, открытыми для посредничества между Испанией и Португалией. Я считаю эту идею чрезвычайно благоразумной. Мы готовы согласиться на всякую полезную меру. Мы все надеемся, что французские дела примут благоприятный оборот, если только не подействует вредно пример Испании. Людовик XIV говорил: „Нет более Пиренеев!“ Как было бы хорошо, если бы теперь эти горы стали границей непроходимой!»

Новый страх: разнесся слух, что английское посольство в Мадриде принимало участие в производстве революции. Слух впоследствии оказался неосновательным; тем не менее Англия и по поводу испанских дел высказалась так же резко в пользу невмешательства. На вызов со стороны французского двора лорд Касльри отвечал, что, по его мнению, державы должны ограничиться простым наблюдением и что Франция и Англия, как наиболее заинтересованные в деле, могут впоследствии войти в соглашения, если обстоятельства заставят их принять роль более деятельную. При других дворах английское министерство повторяло, что вмешательство во внутренние дела чужой страны может быть оправдано только прямой опасностью, которой эти внутренние дела грозят вмешивающемуся государству; но такая опасность не грозит никому со стороны Испании; притом самый характер испанского народа неудобен для вмешательства, которое будет одинаково опасно и для державы вмешавшейся, и для короля, в пользу которого она вмешается. Английское министерство тем более должно было настаивать на невмешательстве, что известие об испанской революции было принято с восторгом в Англии.

Австрия и Пруссия, видя отпор со стороны Англии, успокоились; одна Россия считала нужным, чтобы Европа высказалась насчет события и этим дала нравственную опору умеренно-либеральной

партии в Испании против революционеров и солдат. Фердинанд VII, по обычаю, известил все дворы о перемене, происшедшей в форме испанского правительства. Приверженцам этой перемены в Испании очень важно было знать мнение о ней могущественнейшего из государей Европы, они надеялись получить опору в одобрении русского императора. Зеа Бермудес, испанский посланник в Петербурге, знал, что здесь недовольны и крайностями конституции 1812 года, и способом, как она вытребована у короля, и потому придумал средство вынудить у петербургского двора одобрение конституции, показав ему, что иначе он впадет в противоречие. К королевскому письму Зеа присоединил ноту, в которой изъявлял желание узнать взгляд императора на событие, совершившееся в Испании, причем делал намек, что в 1812 году, при заключении союза между Россией и восставшей против Наполеона Испанией, император прямо одобрил конституцию, составленную кортесами в Кадиксе, — ту самую конституцию, которая теперь восстановлена в Мадриде.

Зеа получил ответ, что император с глубоким прискорбием узнал о происшедшем в Мадриде; если даже в этом происшествии видеть только плачевные следствия ошибок, которые с 1813 года предсказывали катастрофу на полуострове, то и тогда нельзя оправдать покушение, которое предает отечество на жертву случайностям насильственного кризиса. Будущее Испании представляется снова в мрачном виде; в целой Европе возбуждены справедливые опасения; но чем важнее обстоятельства, чем более возможно то, что они будут гибельны для общего спокойствия, тем менее права у государств, поручившихся за общее спокойствие, высказывать отдельно и поспешно свое окончательное суждение. Без сомнения, вся Европа единогласно будет говорить с испанским правительством языком правды, языком откровенной дружбы. Свергая чуждое иго, наложенное французской революцией, Испания приобрела вечное право на уважение и благодарность всех держав европейских. Россия выразила ей эти чувства в союзном договоре 1812 года, продолжала оказывать ей сочувствие и после всеобщего замирения. Император не раз высказывал желание, чтобы власть королевская утвердилась и в Старом и в Новом Свете с помощью прочных учреждений, особенно прочных правильностью способа их установления. Исходя от трона, учреждения получают характер охранительный; исходя из среды

мятежа, они порождают хаос: опыт всех времен это доказывает. Испанскому правительству принадлежит судить, могут ли учреждения, данные насильственным, революционным образом, осуществить благодеяния, которых Испания и Америка ожидали от мудрости короля и от патриотизма его советников. Пути, которые Испания изберет для достижения этой цели; средства, которыми она постарается уничтожить впечатление, произведенное в Европе мартовскими событиями, определяют характер отношений императора к мадридскому кабинету.

Объявляя об этом сообщении дворам венскому, лондонскому, берлинскому, парижскому, с. — петербургский кабинет высказался против солдатской революции, произведенной в Мадриде, которая навряд может держаться. Кортесы могли бы еще ее умерить, но для этого они должны быть поддержаны нравственно великими союзными державами. Представители этих держав в Париже должны сообща объявить испанскому уполномоченному, что их дворы с прискорбием узнали о мартовской революции и что на кортесах лежит обязанность смыть это пятно с Испании: устанавливая благоразумно-либеральное правление, они должны в то же время издать новые строгие законы против восстаний и бунтов; только в таком случае союзные державы могут сохранить с Испанией дружественные сношения, основанные на доверенности. Но лондонский кабинет снова восстал против вмешательства; кабинет парижский предложил другую форму нравственного вмешательства: он объявил, что вмешательство прямое и открытое раздражит испанских патриотов, и потому предложил отправить к представителям пяти великих держав в Мадриде одинаковые инструкции; когда все посланники вследствие этого заговорят одним языком с испанским правительством, то это должно произвести сильное впечатление на испанцев и удержать их от крайностей. В случае если король не будет более находиться в безопасности или если опасность будет угрожать соседним державам, то пять посольств выскажут формальное неодобрение такому порядку вещей, могут даже оставить Мадрид, и тогда державы будут совещаться, что делать. Но лондонский кабинет отверг и это средство, потому что если допустить подобное вмешательство в чужие дела, то надобно допустить его и в свои; впрочем, лондонский кабинет допускал возможность вмешательства в двух случаях: 1. Если Испания

нападет на Португалию и лиссабонский кабинет на основании договора потребует помощи у Англии; 2. Если жизнь Фердинанда VII будет действительно в опасности.

В то время, когда происходили эти сношения по делам испанским, Италия уже горела революционным пожаром. Как в Испании, так и здесь тайные общества взрыли вулканическую почву; самое многочисленное и влиятельное из них носило название карбонари, которые делились на пять степеней: ученики, магистры, великие магистры, просветленные и высокопросветленные; во главе их находился патриарх. Карбонари для своих целей разделили Италию на одиннадцать областей, в которых главные города были: Рим, Неаполь, Козенца, Матера, Флоренция, Болонья, Генуя, Венеция, Милан, Турин и Анкона. Правление состояло из пяти сенаторов, находившихся в Риме; в других главных городах находился трибунал из семи трибунов; в городах менее значительных, находившихся в округах главных городов, — трибуналы из пяти трибунов; последние сносились с трибуналами главных городов, а те — с сенаторами. Сенаторы избирались трибунами главных городов; последние назначались сенаторами; трибуны менее значительных городов — трибунами городов главных. Обязанность трибунов была направлять дух низших членов общества, которые не должны знать высших властей. Цель общества — восстановление независимости Италии.

Кроме карбонари были еще другие тайные общества: гвельфы, имевшие целью итальянскую независимость и введение конституционного образа правления; консистиориалы, имевшие целью освобождение Италии от немцев и разделение ее потом на три равные части: между папой, Сардинией и Моденой. Менее значительные общества были: общество со знаком смерти, члены которого были обязаны истреблять всякого, кто покусится на итальянскую корону; реформированные иллюминаты, хотевшие соединения Италии под одну власть; адельфы — в Пьемонте, действовавшие в пользу принца Кариньянского, которому приписывались либеральные стремления.

Революционное движение обнаружилось не там, где так сильно было неудовольствие на чужеземное иго, не в итальянских областях, принадлежавших Австрии; не там, где так сильно тяготились злоупотреблениями клерикального управления и где находился карбонарский сенат, не в Риме: восстание вспыхнуло в Неаполе, где

меньше всего могло быть неудовольствия на правительственный гнет, ибо король Фердинанд благодаря, как мы видели, внушениям императора Александра правил очень кротко, и страна процветала относительно материального благосостояния. Явление понятное: трудно найти другую страну, где народ был бы так слаб, так младенчески мягок, как в бывшем королевстве Обеих Сицилий. Кто не завоевывал его! Во время борьбы Испании с Францией Неаполь переходил от одной державы к другой, как мяч в руках играющих им детей; так же легко перешел он потом от Австрии опять к Испании, так же легко был захвачен Французской республикой и так же легко был отнят у нее; необыкновенно быстро вспыхивает здесь революция, с такой же быстротой и потухает; народ обнаруживает полное нравственное бессилие пред всякой силой; слабый ребенок или разбитый параличом старик — с кем его сравнить? — недоумевает историк.

2 июля 1820 года кавалерийский офицер Морелли и священник Микини, оба из общества карбонари, вышли из города Нолы с эскадром и отрядом национальной гвардии при криках: «Бог, король и конституция!» Они направлялись к Авеллино, главному городу провинции, и были встречены здесь такими же криками; из Неаполя пришел к ним целый полк под начальством генерала Пепе — также карбонари, которому и передано было главное начальство. Войска, высланные против Пепе правительством, обнаруживали явное сочувствие к восставшим; революция распространялась по провинциям самым отдаленным; даже в Неаполе правительство потеряло всякую способность к действию — и тем сильнее действовали карбонари. В ночь с 5 на 6-е июля пять человек карбонари явились во дворец и от имени войска, граждан и тайных обществ потребовали конституции, давая королю только два часа сроку. Король согласился, но какая же будет конституция? С начала года глаза всех были обращены на Испанию, где революция торжествовала; там провозгласили конституцию 1812 года; должно быть, хорошая конституция, и в Неаполе провозглашают испанскую конституцию 1812 года. Говорят, когда стали осведомляться, что это за конституция 1812 года, то ни одного экземпляра ее не могли найти в Неаполе.

«Одна из самых странных революций! — писал английский резидент из Неаполя. — Королевство в высшей степени цветущее и

счастливого, находившееся под самым кротким правлением, вовсе неотягченное податями, падает пред шайкой инсургентов, которую полбатальона хороших солдат уничтожили бы в минуту! Такова сила дурного примера и слова, не понимаемого половиной тех, которые его употребляют. Каждый офицер теперь хочет быть Квирогою, и слово „конституция“ производит на всех чародейственное влияние. Мы не должны себя обманывать: дело не в конституции, а в торжестве якобинства, то есть войны бедности против собственности; низшие классы выучились сознавать свою силу. Такого отеческого и либерального правления никогда еще не было в этой стране. С большей строгостью и с большим недоверием можно было бы достигнуть других результатов; но судьба хотела, чтоб крайность либерализма повела здесь совершенно к такому же концу, к какому в Испании повела крайность почти противоположного направления. Тайные общества и неслыханная измена войска, хорошо одетого, получающего хорошее жалованье, ни в чем не нуждающегося, низвергли правительство, популярное в большей части народа, о котором будут долго и сильно жалеть; и надобно заметить, что эти тайные общества обязаны своим существованием самому правительству, низвержению которого они так много теперь содействовали. Они были изобретены и поощряемы, как машина, способная подкопать могущество французов, владевших тогда страной».

Как бы то ни было, неаполитанская революция должна была встревожить европейские кабинеты гораздо сильнее, чем испанская. Последняя объяснялась ошибками правительства и могла оказать вредное влияние на одну Францию; но королевство Обеих Сицилий не было отделено от других государств чем-нибудь вроде Пиренеев; революционный пожар мог быстро обхватить всю Италию благодаря карбонари, а на севере Италии — австрийские владения. Сама Англия, настаивая на невмешательстве, исключала, однако, тот случай, когда внутренние волнения в одной стране будут грозить опасностью соседним державам. Австрия немедленно усилила свои войска в Ломбардо-Венецианском королевстве, и в то же время император Франц пригласил русского императора и короля Прусского на свидание в Пест для совещания о мерах против революции. Меттерних переслал кабинетам с. — петербургскому, берлинскому, лондонскому и

парижскому плану действия: австрийская армия двинется на Неаполь для потушения революции; пять великих держав не будут признавать ни одного акта правительства, созданного революцией, не будут принимать от него никаких объяснений; их посланники в Вене составят постоянную конференцию с австрийским министром иностранных дел, для того чтобы объединить виды пяти дворов и употреблять один язык. В другом мемуаре, адресованном к дворам итальянским, австрийский кабинет, выставляя себя естественным покровителем полуострова, объявлял, что приложит попечение о средствах восстановить на нем порядок, и отстранял мысль, что можно предотвратить новые волнения уступками конституционным идеям, причем ясно высказывалось намерение восстановить и в Неаполе старый порядок вещей.

Так хотела действовать Австрия в виду ближайшей опасности, действовать твердо во имя известного начала, не позволять себе никакой сделки с началом противоположным. Но что скажут другие державы? Разумеется, Пруссия будет согласна на такой образ действия; но конституционные державы, Франция и Англия, согласятся ли действовать для поддержания старого порядка вещей в Италии; а главное — согласится ли на это русский император, сильно высказавшийся против революции, но не отрекшийся от своего прежнего либерального взгляда? Франция, основываясь на ахенских решениях, потребовала конгресса и пригласила другие дворы объявить предварительно, что они уважают независимость и права государств, но не могут причислить к этим правам право ниспровергать учреждения страны посредством восстания войска; что они не могут признать конституции королевства Обеих Сицилий законной, пока король и народ, освобожденные от ига партий, свободно дадут себе законы, по их мнению, лучшие, и если для этого освобождения короля и народа необходимо употребить силу, то австрийские войска двинутся к Неаполю и будут в случае надобности поддержаны войсками всех союзников с согласия государей итальянских. Если Франция требовала конгресса, то понятно, что Австрия должна была ждать такого же требования и от России, ибо конгресс был любимой формой русского государя для решения европейских дел.

Император Александр отклонил съезд в Песте и потребовал другого места свидания, потребовал конгресса именно в Троппау, без

согласия которого австрийская армия не могла перейти границы неаполитанских владений; притом император Александр не требовал полного восстановления старого порядка вещей в Неаполе, как хотелось Австрии, но установления нового порядка на законных основаниях, как хотелось Франции. В письме к австрийскому императору Александр указывал, что еще по поводу испанской революции он предлагал общее совещание о мерах для сдержания дальнейших революционных движений; но тогда его предложение не было принято, а теперь он видит с удовольствием, что державы возвращаются к предложенному им средству.

Австрии очень не нравился конгресс: протянется время в совещаниях, тогда как пожар надобно тушить как можно скорее; надобно будет подчиниться решениям конгресса, а нет надежды, чтобы конгресс согласился на полное восстановление старого порядка в Неаполе; ясно, что Россия и, Франция будут заодно против этого. Меттерних отправил австрийского посланника при петербургском дворе Лебцельтерна в Варшаву, где тогда находился император Александр, уговаривать последнего согласиться на немедленное движение австрийских войск к Неаполю. Лебцельтерн представлял против конгресса, что Англия, вероятно, откажется в нем участвовать, но получил ответ, что делать нечего, можно обойтись и без содействия Англии в вопросе чисто континентальном.

Англия действительно была против конгресса, и основания этому лорд Касльри высказал в длинном письме к английскому уполномоченному при венском дворе лорду Стюарту (Stewart): «Если бы опасность произошла от нарушения наших договоров, то чрезвычайное собрание государей и министров их было бы лучшим средством для поправления дела; но когда опасность проистекает от внутренних волнений в независимых государствах, в таком случае политичность подобного шага подлежит сомнению: вспомним, как вредны были в начале войны с революционной Францией конференции в Пильнице и манифест герцога Брауншвейгского; какое раздражение произвел он во Франции. Впрочем, я надеюсь, что русский император не выведет тропауского свидания из тех благоразумных границ, которые предложены союзником его, императором Австрийским; что министерские конференции здесь могут быть рассматриваемы только как дополнение к нашим другим

мерам конфиденциального объяснения и что все будет постановлено относительно только частного случая, без общих провозглашений. Рассуждения об отвлеченных принципах не имеют никакого действия в настоящее время. Принять предложение Австрии относительно плана действий против Неаполя — значит со стороны пяти держав составить союз, враждебный существующему на факте неаполитанскому правительству. Британское правительство не может вступить в такой союз по следующим причинам: 1) Союз заставит его принять на себя такие обязательства, которых оно не может оправдать перед парламентом. 2) Союз может каждую минуту привести британское правительство к необходимости употребить силу: ибо ясно, что существующее на факте неаполитанское правительство может, по обыкновенным международным законам, без всяких дальнейших объяснений наложить секвестр на британскую собственность в Неаполе и закрыть свои гавани для британских торговых кораблей, причем продолжительность Союза будет зависеть от общего решения всех держав, его составляющих. 3) Союз противоречит нейтралитету, который британское правительство объявило посредством своего посланника в Неаполе в видах безопасности королевской фамилии. 4) Союз наложит на британское правительство нравственную и парламентскую ответственность за все его последствия, ответственность за действия Австрии, которая двинет свои войска в неаполитанские владения, — действия, которые британское правительство не имеет возможности контролировать в подробностях, а только такой контроль мог бы оправдать принятие на себя подобной ответственности. 5) Прежде чем Австрия получит право действовать против Неаполя, все меры должны быть постановлены с общего согласия; таким образом, австрийский главнокомандующий должен действовать по указанию Совета союзных министров, пребывающих в Главной Квартире, что неудобноисполнимо и неприлично. 6) Союз наверное не будет одобрен нашим парламентом; но и в противном случае каждое действие австрийской армии в Неаполитанском королевстве будет подлежать непосредственному ведению и суду британского парламента точно так, как если бы это было действие британского войска, британского главнокомандующего.

Изложивши все препятствия к Союзу, я постараюсь указать на более естественный ход дела. Неаполитанская революция хотя,

собственно, не подходит под условия и предположения Союза, однако по своей важности, по своему нравственному влиянию на социальную и политическую систему Европы необходимо должна обратить на себя самое серьезное внимание союзников; они согласно смотрят на событие как заключающее в себе опасность и дурной пример, потому что произведено бунтующим войском и тайным обществом, цель которого — уничтожить все существующие в Италии правительства и создать из нее единое государство. Эта опасность, однако, касается в такой различной степени членов Союза, что каждый из них в отношении к ней должен принимать совершенно различные меры. Возьмем две державы, именно Великобританию и Австрию. Последняя держава может чувствовать, что ей никак нельзя медлить принятием непосредственных и действительных мер против опасности. Англия же понимает, что опасность для нее вовсе не такова, чтоб можно было оправдать ее вмешательство в неаполитанские дела согласно с учением о вооруженном вмешательстве во внутренние дела другой державы, — учением, которое до сих пор поддерживалось в британском парламенте. Если таково положение этих двух держав, то они никак не могут быть вместе в одном союзе, который имеет целью употребление силы и возлагает общую и равную ответственность. То же самое, более или менее, прилагается и ко всем другим союзным державам. Из этого естественно следует, что Австрия должна принять на себя исполнение предложенной меры; она может по предварительному и конфиденциальному сношению узнать образ мыслей своих союзников; удостовериться, что она не навлечет на себя их неодобрения; но она должна вести войну под своей собственной ответственностью, от своего имени, а не от имени пяти держав. И прежде чем Австрия получит согласие или одобрение от союзников насчет своих действий, она должна удостоверить союзников, что предпринимает войну против Неаполя не в видах расширения своих владений, не с целью получить в Италии преобладание, несогласное с существующими договорами, — коротко сказать, что она не имеет никаких корыстных целей, но что ее планы ограничиваются самосохранением. Князь Меттерних, без сомнения, так и думает ограничить свои виды; но для внушения необходимой доверенности и ограждения себя от зависти других держав он должен высказаться точнее, чем как он это сделал в

своем мемуаре. Если это будет сделано, то ни одна держава не сочтет себя вправе затруднить Австрию в ее действиях, необходимых для ее собственной безопасности.

Мы желаем, чтоб никто не мешал Австрии действовать как она хочет; но мы должны требовать и для самих себя такой же свободы действий. В интересах Австрии мы должны сохранять такое положение. Оно дает нам возможность в парламенте смотреть на ее меры и уважать их как действия независимого государства; а этого нам нельзя будет делать, если мы сами будем участвовать в деле. Австрия должна быть довольна, если назначенные конференции облегчат ей достижение ее целей; но она не должна посредством этих конференций вовлекать другие державы в совершенную общность интересов и ответственности; результатом последнего будет то, что она свяжет собственную свободу действия».

Когда русский посланник высказал лорду Касльри взгляд своего государя на итальянское дело как на дело общее, которое поэтому нужно решить сообща, объявить Европе общую мысль и бороться со злом общими силами, то Касльри отвечал: «Нельзя не благоговеть пред императором, высказывающим подобные принципы, принципы консервативные, обеспечивающие безопасность всех государств. Но быть может, приложение их в настоящих обстоятельствах встретит важные возражения. Эти возражения могут быть встречены со стороны всех государств вообще и со стороны Англии в особенности. Все государства могут возразить против впечатления, какое произведет на мнение нашего века коллегия государей, располагающая жребием народов; ибо такова точка зрения, с какой смотрят на конгрессы недовольные всех стран и даже масса вообще. Что же касается до Англии в особенности, то ее нравственное положение препятствует ей даже принимать какое-либо участие в советах, назначаемых для обсуждения подобных вопросов, и ее содействие здесь может сделаться источником большого вреда, не принося ни малейшей пользы».

Таким образом, один из членов союза — Англия отказалась от участия в конгрессе, указывая как на главное препятствие к этому участию на свою парламентскую форму правления. Она не прислала своего уполномоченного в Троппау — ни лорда Касльри, ни герцога Веллингтона, которого желал император Александр: в Троппау

приехал английский посланник при венском дворе лорд Стюарт (Stewart) под тем предлогом, что посланник должен быть там, где государь, при котором он аккредитован; ему запретили подписывать протоколы конгресса. Положение лорда Стюарта было очень затруднительно, и он не умел избежать непоследовательности в своем поведении: то являлся как простой зритель, то как представитель страны, участвующей в переговорах, спохватываясь и в решительные минуты уезжал в Вену под предлогом свидания с молодой женой. Франция, как держава конституционная, сочла своей обязанностью подражать Англии: она также не послала особого уполномоченного на конгресс; но в Троппау приехали два французские дипломата — маркиз Караман, посланник при венском дворе, и граф Ла-Ферроннэ, посланник при дворе петербургском, — оба на том же основании, на каком явился и лорд Стюарт.

20 октября, в один и тот же день, приехали в Троппау императоры Русский и Австрийский; король Прусский по нездоровью мог приехать не ранее 5 ноября, но он прислал наследного принца; с императором Францем приехал князь Меттерних; с императором Александром — графы Каподистриа и Нессельроде; с прусской стороны явились старый канцлер князь Гарденберг и министр иностранных дел Бернсторф.

Конгресс открылся 23 октября под председательством Меттерниха. Председатель представил уполномоченным мемуар, в котором изложил виды своего двора. В этом мемуаре развивалась мысль, что каждое правительство имеет право вмешиваться по поводу политических изменений, происшедших в чужом государстве, если эти изменения грозят его интересам, грозят основам его существования. Выставлены были опасности, которыми неаполитанская революция грозит Австрии и всей Италии. Император Австрийский собрал силы, достаточные для действия против Неаполя, и надеется на нравственную поддержку союзников. Если по восстановлении законной власти нужно будет оставить оккупационную армию, то император Франц готов и на это; король Неаполитанский, получивши свободу, может устроить свое государство как ему угодно, соображаясь, впрочем, с секретной статьей договора, заключенного им с Австрией в июне 1815 года: в статье говорилось, что король Фердинанд не допустит в своем государстве никакой перемены,

которая была бы противна древним монархическим учреждениям и принципам, принятым Австрией во внутреннем управлении своими итальянскими провинциями. Эта статья была тайной для дипломатов, и Меттерних объявил ее преждевременно. Разумеется, он не мог ждать возражений со стороны Пруссии, также и со стороны Англии, которой все равно, какие правительственные формы существуют на континенте, сходны они с ее формами или нет, лишь бы ее ближайшие интересы были охранены.

Но другое дело — Франция: пропаганда — в духе ее народа, которому непременно надобно защищать и распространять всюду известные начала, у него господствующие. Находившийся в Троппау французский посланник при петербургском дворе Ла-Ферроннэ заговорил первый против австрийского мемуара: как француз, приверженец конституционного порядка, он вооружился против секретной статьи; как француз, он также не мог помириться с мыслью, что Австрия будет распоряжаться в Италии, господствовать в ней, утверждая всюду свои правительственные формы, свою правительственную систему. Император Франц, увидавши его в первый раз в Троппау, сказал ему прямо: «Неизменяемость моей системы составляет всю ее силу; я буду проводить ее до конца моей жизни». Зная эту систему, убедившись из Меттернихова мемуара, из знаменитой секретной статьи, как система резко проводится, Ла-Ферроннэ начал говорить всем собравшимся в Троппау дипломатам, не исключая и самого Меттерниха, что в австрийском мемуаре с действиями Австрии против неаполитанской революции связаны такие принципы, которые делают невозможным содействие конституционных государств. Идеи сокрушаются нравственной силой, а не силой оружия. Если прибегнуть к военному действию, то надобно потребовать больших денежных пожертвований от страны, в дело которой хотят вмешаться, и оставить в ней оккупационную армию. Это прямое неудобство. Но еще больше неудобства в требовании исполнения секретной статьи договора 1815 года: из нее видно решительное намерение Австрии противиться всюду, где только ей возможно, установлению свободных учреждений; это значит — возбуждать народы к мятежам, приводя их в отчаяние. Ненависть итальянцев к Австрии питает более всего революционный дух; движение австрийских войск к Неаполю усилит эту ненависть и

ускорит взрыв революции; очень может статься, что в Северной Италии вспыхнет мятеж в то самое время, как австрийцы будут заняты на юге.

Легко можно понять, как должно было раздражать австрийского императора и Меттерниха указание на ненависть итальянцев к Австрии. Меттерних отвечал, что во всех революционных движениях народное большинство не участвует; что не должно принимать желания нескольких честолюбцев за выражение народного мнения и потребности времени; что если будут иметь неблагоразумие уступить революционерам, то последние воспользуются этими уступками для того, чтобы низвергнуть сделавших уступки; что революция в Италии имеет единственным основанием владычество секты, партии, армии над народными массами; что должно идти уничтожить в Неаполе это владычество и освободить народ. Вследствие этого спора Ла-Ферроннэ с Меттернихом в Троппау мнения разделились: Каподистрия был согласен с Ла-Ферроннэ; Нессельроде склонялся к Меттерниху; Пруссия была за австрийское предложение; Англия не высказывалась; наконец Меттерних выиграл тем, что Караман не разделял мнения Ла-Ферроннэ.

Эти два француза представляли две разные Франции, по выражению Меттерниха, и когда Ла-Ферроннэ написал мемуар, в котором высказался против вооруженного вмешательства в неаполитанские дела, Караман объявил, что здесь высказано не его мнение и не мнение французского правительства, а только личное мнение Ла-Ферроннэ. Опасность от французского мемуара исчезала или по крайней мере очень уменьшалась для Меттерниха, и главный вопрос заключался в том, что скажет русский мемуар. Каподистрия был на стороне Ла-Ферроннэ!

Наконец Каподистрия сообщил Меттерниху страшный мемуар: в нем говорилось, что, прежде чем прибегнуть к силе, надобно предложить неаполитанскому правительству отречься от принципа восстания, снова покориться королю, истребить революционные общества, согласиться на установление такого порядка вещей, который соответствовал бы настоящему народному желанию, законно выраженному. Только в случае отказа австрийская армия, действуя в значении армии европейской, должна двинуться к Неаполю, освободить короля и народ, которые по взаимному соглашению

установят свободные учреждения. Мемуар очень не понравился Меттерниху; но все старания его убедить императора Александра отказаться от него или изменить его остались тщетными, 7-го ноября мемуар был прочтен в конференции; Меттерних должен был согласиться, чтобы прежде похода приняты были увещательные меры; согласился не настаивать на исполнении секретной статьи договора 1815 года; но зато настоял, чтобы королю Фердинанду дана была полная свобода действовать по своему усмотрению, не обязывать его непременно дать конституцию, что выходило одно и то же, ибо Меттерних знал, что король добровольно не даст конституции. Наконец, Меттерних предложил пригласить Фердинанда на конгресс. «Если король приедет, — говорил Меттерних, — то мы заставим его играть роль, исполненную благородства и приличия; мы сделаем его посредником между конгрессом и народом неаполитанским. Если его не пустят, то мы засвидетельствуем, что он лишен свободы, и тогда нам ничего не останется делать, как идти освобождать его». При этом Меттерних предложил переменить место конгресса: вместо Троппау назначить ближайший к Италии Лайбах, чтобы не заставлял старика Фердинанда ехать так далеко на север.

Россия и Пруссия приняли охотно предложение пригласить Фердинанда на конгресс; Ла-Ферроннэ согласился на приезд неаполитанского короля в Лайбах, но утверждал, что недопущение Фердинанда к отъезду со стороны народа нисколько не должно давать права на объявление войны против Неаполя. Каподистриа высказывался в том же смысле. «Я скорее соглашусь, — говорил он, — отрубить себе руки, чем подписать объявление несправедливой войны; а что может быть несправедливее войны, которую начинают, не истощивши прежде всех средств к соглашению».

Английского посланника лорда Стюарта не было в это время в Троппау; его заменял секретарь посольства Гордон, который согласно с основным взглядом своего правительства твердил одно, что не нужно конгресса, не нужно вмешательства целой Европы в неаполитанские дела; надобно предоставить все одной Австрии, которой интересы непосредственно замешаны в итальянском движении: «Зачем конгресс при решении вопроса, который касается одной Австрии? Дело идет не о принципах, а о факте. У венского двора был договор с Неаполем; договор нарушен, гроза собралась против Австрии и Италии, и

Австрии не останется ничего больше, как двинуть войско против Неаполя. Какая нужда Европе вмешиваться в это дело?» До сих пор англичане боялись больше всего преобладающего влияния России; но теперь они увидели еще другую опасность: ненавистная Франция оправляется, начинает принимать деятельное участие в делах Европы, и Гордон открыто говорит в Троппау: «Мы не можем сносить, чтобы Франция играла роль, приобретала опять влияние».

Таким образом, Англия прямо поддерживала Меттерниха; но он имел возможность извлечь из этой поддержки пользу для себя в другом смысле. Англия упорно противилась вмешательству во внутренние дела государств целой Европы сообща, упорно противилась общему управлению европейскими делами посредством конгрессов, во-первых, потому, что эта форма давала возможность высказываться преобладанию сильнейшего из континентальных государств — России; во-вторых, потому, что эта форма была неудобна для Англии как государства конституционного; Франция — также государство конституционное — волей-неволей должна была оттягиваться на сторону Англии; и чрез это пять великих держав необходимо делились на две группы: три государства с неограниченным правлением и два — конституционных. Император Александр, для которого форма конгресса была любимой формой, видя явное сопротивление Англии и уклонение Франции, должен был ограничиться совокупным действием с Австрией и Пруссией. Австрийский министр пользовался этими отношениями и, подделываясь под взгляды русского государя, твердил о необходимости скрепления Священного союза как оплота против революционных движений, повсюду обнаруживающихся; твердил, что Священный союз возможен только между тремя неограниченными государями; что Франция — очаг революции — не может быть членом Союза; старался, таким образом, отдалить императора Александра от Франции, подорвать прежнее расположение его к ее народу.

Разделение между великими державами обозначилось в Троппау тем, что уполномоченные только трех государств — России, Пруссии и Австрии — подписали следующий протокол 19-го ноября, в четвертой конференции: «Государства, входящие в европейский Союз, подвергшись изменению своих правительственных форм посредством мятежа, изменению, которое будет грозить опасными последствиями

для других государств, перестают чрез это самое быть членами Союза и остаются исключенными из него до тех пор, пока их внутреннее состояние не представит ручательств за порядок и прочность. Союзные государства не ограничатся провозглашением этого исключения, но обязываются друг пред другом не признавать перемен, совершенных незаконным путем. Когда государства, где совершились подобные перемены, будут грозить соседним странам явной опасностью и когда союзные державы могут оказать на них действительное и благодетельное влияние, в таком случае они употребляют для возвращения первых в недра Союза сначала дружеские увещания, а потом и принудительные меры, если употребление силы окажется необходимо». В приложении этих общих постановлений к частному случаю, именно к Неаполитанскому вопросу, Россия, Австрия и Пруссия постановляли употребить свое вмешательство для возвращения свободы королю и его народу, оставить в стране оккупационную армию, образовав под председательством Австрии конференцию для приведения в исполнение означенных распоряжений, а прежде всего три двора постановили пригласить короля Обеих Сицилий приехать в Лайбах для совещаний с союзными государствами. Дворы парижский и лондонский приглашаются объявить свое мнение насчет содержания протокола и со своей стороны постараться убедить неаполитанского короля приехать в Лайбах.

Представители Франции и Англии были очень удивлены протоколом, который им не показывали до 19-го ноября; им сообщили его прямо для пересылки к своим державам. Лорд Стюарт и Ла-Ферроннэ высказались на этот раз согласно против отдельных совещаний и соглашений между уполномоченными трех держав. «Кто нам поручится, — говорил лорд Стюарт, — что вы не займетесь вопросами и странами, совершенно чуждыми настоящему предмету, для которого мы собрались?» «Обратите внимание, — говорил Ла-Ферроннэ, — на неудобство положения, в какое вы ставите мое правительство: оно принуждено или принять, или отвергнуть акт такой важности, и мы при этом не можем ему объяснить побуждения, которыми вы руководствовались в приготовлении этого акта». Меттерних в ответ представлял необходимость спешить делом; лучшим ответом был бы вопрос: в каком отношении представители

Англии и Франции находятся к конгрессу? Такие ли они уполномоченные, как Меттерних, Каподистрия или Гарденберг? Соглашался ли лорд Стюарт подписывать протоколы и где он был, когда дело шло о приглашении неаполитанского короля на конгресс? Ла-Ферроннэ просил Меттерниха высказаться, как три двора намерены были поступить, в случае если королю Неаполитанскому не будет возможности приехать на конгресс. Меттерних отвечал, что если неаполитанцы воспрепятствуют отъезду короля, то надобно будет прибегнуть к крупным средствам; а если отказ будет получен лично от короля, то в самых причинах отказа, выставленных королем, будут искать побуждения продолжать переговоры или начать новые. Граф Каподистрия прибавил: «Без сомнения, никто из нас не подумает употребить военные средства, прежде нежели исчезнет всякая надежда успеть посредством переговоров». Было решено приостановить конференцию до получения от неаполитанского короля ответа на приглашительные письма троих государей: императоров Русского, Австрийского и короля Прусского. Письма были написаны 20-го ноября.

Если лорд Стюарт сильно высказался против протокола в Троппау, то еще сильнее высказался против него лорд Касльри в Лондоне, в разговоре с французским посланником: «Неслыханное дело! Три двора, без сообщения, без предварительного соглашения с двумя другими дворами, которых содействия они искали, позволяют себе постановить окончательно кодекс международной полиции. Это — всемирная монархия, провозглашенная и осуществленная тремя державами, теми самыми, которые некогда сговорились разделить Польшу. Если английский король подпишет протокол, то этим самым подпишет свое отречение. Если государи неограниченные действуют таким образом, то правительства конституционные должны соединиться для противодействия». Положение французского правительства было самое затруднительное: с одной стороны, как правительство конституционное, оно тянуло к Англии и разделяло ее взгляд на знаменитый троппауский протокол 19-го ноября; с другой стороны, оно хорошо понимало, что из всех европейских правительств Франция может полагаться только на русское, ибо все другие ей враждебны, и потому нужно было сохранять доброе расположение императора Александра и не дать торжества Австрии, старавшейся

поссорить его с Францией; наконец, Франции, как государству континентальному, нельзя было принять уединенного положения на континенте, не принимать участия в общих делах.

Как обыкновенно бывает в подобных положениях, хотели выйти из затруднений средней дорогой — удовлетворить и той и другой стороне. Людовик XVIII написал письмо королю Неаполитанскому с приглашением исполнить желание союзных государей — приехать на конгресс. В письме говорилось, что короля Фердинанда ожидает самая чистая слава, что он будет содействовать утверждению в Европе основ общественного порядка, предохранит свой народ от грозящих ему бед и обеспечит его благоденствие сочетанием власти со свободой. В то же время Караман и Ла-Ферроннэ объявили в Троппау, что Франция будет действовать сообща с союзными державами для умиротворения Европы; и если в случае войны Англия откажется принимать участие в совещаниях союзников, Франция не последует ее примеру и будет участвовать в совещаниях, чтобы умерить бедствия войны. Представители Франции настаивали при этом, что, прежде чем решиться на войну, надобно истощить все средства соглашения и что вместо оккупационной армии надобно установить в Неаполе твердое правительство, которое удовлетворяло бы всем интересам, то есть правительство конституционное.

Император Александр был очень доволен поступком Людовика XVIII и объявлением его посланников. «Это все, чего я желал, и даже больше, чем сколько я надеялся», — сказал он Ла-Ферроннэ, причем поздравил его с решением, которое освобождало Францию от некоторого рода зависимости от правительства английского, не хотевшего объяснить союзникам, чего оно хочет. Император прибавил, что с помощью Франции он надеется избежать войны, уничтожая в то же время революцию. Но это удовольствие, которое доставило русскому государю поведение французского правительства, было непродолжительно: знаменитый протокол 19-го ноября был опубликован; Франция должна была высказаться на его счет. В депеше французского министра иностранных дел, которую Караман и Ла-Ферроннэ должны были сообщить конгрессу, французское правительство, хотя в очень осторожных выражениях, однако довольно ясно, высказало свое несочувствие к протоколу. В депеше было сказано, что король не имеет средств высказаться насчет принципов, к

рассуждению о которых его посланники не были допущены и которые не получили в протоколе полного развития; король считает неизменным правилом для своего поведения постановления Ахенского конгресса. Хотя эти постановления и не налагают на него положительных обязанностей, однако он, сообразуясь с ними, считает своим долгом содействовать утверждению порядка, установленного в Европе договорами; король всегда расположен в интересах своих союзников делать все то, чего не запрещает решительно его личное положение.

И этот отзыв французского правительства о протоколе уже никак не мог понравиться; но Караман, подпавший в Вене влиянию Меттерниха и вполне ему доверявший, имел неосторожность показать австрийскому министру другую депешу, где французское правительство высказалось откровенно против протокола, — депешу, которая вовсе не назначалась для сообщения кому-либо из иностранных министров. Меттерних, которому хотелось ссорить Россию с Францией, уговорил Карамана показать депешу и графу Каподистрия; цель была достигнута: император Александр высказал сильное неудовольствие против французского двора, какого прежде никогда не высказывал. Что касается английского правительства, то лорд Стюарт прочел конгрессу мемуар лорда Касльри, в котором повторялось то же самое, что уже было высказано в приведенной выше депеше Касльри Стюарту: устанавливать систему общего вмешательства неудобноисполнимо и опасно; в случае существенной, явной необходимости каждое государство имеет право вмешательства для защиты собственных интересов. Но этот случай не может сделаться *a priori* предметом союза между великими державами Европы; если подобного рода союз и был заключен в 1815 году против Франции, то он был основан на завоевательном характере, который приняла французская революция, и этот пример не может быть приложен ко всем революциям. Поведение английского правительства, не нравившееся в Троппау, возбудило сильное сочувствие во второстепенных государствах Европы, боявшихся, чтобы аристократическая, по выражению Меттерниха, форма господства нескольких сильнейших держав не заменила монархическую форму наполеоновского господства. Нидерландский король сказал британскому посланнику при своем дворе, что все второстепенные

государства для сохранения своей независимости должны соединиться около Англии, заслужившей их доверие своей политикой. В Мюнхене, Штутгарте и Карлсруэ некоторое время думали о конгрессе в Вюрцбурге, который хотели противопоставить конгрессу великих держав. Но в это время в Германии только думали, и воображаемый Вюрцбургский конгресс нисколько не был опасен действительным конгрессам Троппаускому и Лайбахскому.

5-го декабря в Неаполе в Совете министров наследник престола герцог Калабрийский объявил, что король, отец его, получил от союзных государей пригласительные письма на конгресс в Лайбахе. В Совете было решено, что король должен принять приглашение. На третий день министры известили от имени короля об этом решении парламент, которому Фердинанд объявлял, что употребит все усилия для обеспечения своему народу благоразумной и либеральной конституции, и изъявлял желание, чтобы в его отсутствие до окончания переговоров парламент не предлагал никаких нововведений и ограничил свои занятия устройством армии; герцог Калабрийский останется правителем королевства. Для обсуждения этого объявления парламент нарядил особую комиссию. Между тем карбонари сильно волновались. Боясь в одинаковой степени и восстановления прежней формы правления, и установления правильной конституционной формы, при которой они также потеряли бы всякое значение, карбонари стали поднимать провинции; созваны были венты, или частные собрания; общее собрание объявило себя постоянным и отправило увещание к членам парламента, чтобы они оставались верными конституции. Вооруженные шайки бегали по городу с криком: «Испанская конституция или смерть!»

Во дворце царствовал ужас, члены парламента были не в меньшем страхе, 8-го декабря, перед тем как идти в парламент, многие из них написали завещания, другие исповедались и приобщились; они должны были проходить через толпы карбонари, грозивших кинжалами тем, кто вздумал бы изменить испанской конституции. Парламент постановил отвечать королю, что не может согласиться на отъезд его величества, если это путешествие не будет иметь целью поддержание настоящей конституции. Король Фердинанд, испуганный народным волнением, считал свою жизнь в опасности и, желая как можно скорее убежать от этой опасности, согласился на все. 10-го

декабря он объявил, что его пребывание в Лайбахе будет иметь единственной целью поддержать конституцию и отклонить войну; 12-го числа парламент согласился на отъезд Фердинанда и объявил регентом герцога Калабрийского; 16-го числа король отплыл на английском корабле в Ливорно; на платье его виднелись карбонарские знаки. Но 19-го числа, когда он прибыл в Ливорно, этих знаков уже на нем не было. В присутствии английского посланника он объявил, что вырвался от убийц и едет в Лайбах для того, чтобы броситься в объятия союзников и отдать в их распоряжение свое государство и свою собственную особу.

Он тотчас же отправил к союзным государям письмо, в котором отрекался от всего сделанного им в Неаполе по принуждению. Узнав об этом поведении Фердинанда, Касльри писал Стюарту: «Если бы я был Меттернихом, то не согласился бы впутывать своего дела в эту паутину двоедушия и неискренности, которыми изобилует жизнь короля Фердинанда. Я остаюсь при мнении, что Меттерних существенно ослабил свое положение, сделавши из Австрийского вопроса — Европейский. Он скорее привлек бы на свою сторону общественное мнение (особенно у нас), если б просто настаивал на опасном характере карбонарского правительства для каждого итальянского государства, чем спустивши свой корабль в безграничный океан. Но наш друг Меттерних при всех своих достоинствах предпочитает сложную негоциацию смелому и быстрому удару»: Из Ливорно король Фердинанд отправился во Флоренцию и отсюда медленно ехал в Лайбах, чтобы дать собраться в этот город государям и министрам, 4-го января 1821 г. приехал в Лайбах император Франц, 7-го — император Александр, король Прусский не приехал. Министры в Лайбахе были те же, что и в Троппау; только с французской стороны к Караману и Ла-Ферроннэ был присоединен Блака, могший иметь большое значение по своим отношениям к Людовику XVIII, по твердости своего характера и по обширным сведениям, какие он имел об итальянских делах. Итальянские государи: папа, король Сардинский, великий герцог Тосканский и герцог Моденский — прислали своих министров; герцог Моденский приехал и сам. 8-го января приехал в Лайбах король Неаполитанский и с самого начала разразился в жалобах на то, что с ним случилось в Неаполе; прямо высказал желание, чтобы все было восстановлено

здесь по-старому, для чего необходимо употребить силу. Фердинанд нашел совет и поддержку в князе Руффо, посланнике своем в Вене, который находился совершенно под влиянием меттерниховских идей. Каподистриа, который и в Лайбахе продолжал с Меттернихом борьбу, начатую еще в Ахене, решился сказать Руффо, что его влияние пагубно для его отечества; что он больше австриец, чем неаполитанец. Но борьба с Меттернихом в Лайбахе была трудна: его поддерживал король Фердинанд и князь Руффо; его поддерживали министры всех итальянских государств; герцог Моденский прямо говорил: «Если дадут конституцию Неаполю, то мне не останется ничего больше, как продать мои владения с аукциона и выехать из Италии».

Наконец Меттерних нашел себе опору там, где никак не надеялся найти ее: он нашел ее в Поццо-ди-Борго, который еще в Троппау, куда был вызван из Парижа, высказался резко насчет итальянских событий, представил, что неаполитанцы, да и все итальянцы по своей общественной неразвитости и врожденным недостаткам не способны к либеральной форме правления. Знаменитый корсиканец пользовался большим авторитетом; суждение итальянца об Италии производило сильное впечатление, которое увеличивалось еще тем, что Поццо был человек независимый, нисколько не находившийся под влиянием австрийского министра, — напротив, боровшийся с ним. Когда в Лайбахе Ла-Ферроннэ в разговоре с императором Александром выразил опасение, что справедливое негодование на революции испанскую и неаполитанскую может охладить императора к конституционным учреждениям, которых он был до сих пор ревностным покровителем, то Александр отвечал: «Чем я был, тем остаюсь теперь и останусь навсегда. Я люблю конституционные учреждения и думаю, что всякий порядочный человек должен их любить; но можно ли вводить их без различия у всех народов? Не все народы в равной степени готовы к их принятию; ясное дело, что свобода и права, которыми может пользоваться такая просвещенная нация, как ваша, нейдут к отсталым и невежественным народам обоих полуостровов». В этих словах нельзя не признать близкой связи со словами Поццо-ди-Борго. И теперь, когда император Александр все еще выражал надежду, что дело может кончиться мирными соглашениями, Поццо настаивал, чтобы не входить в сношения с бунтовщиками; он говорил: «Как скоро король возвратится и порядок

будет восстановлен, тогда можно будет видеть, что сделать, но во всяком случае не должно учреждать в Неаполе ничего такого, что не может быть учреждено и в Милане».

16 января конгресс сообщил князю Руффо официальное свое решение: не признавать неаполитанскую революцию и положить ей конец или мирными средствами, если возможно, или силой, если будет необходимо. По уничтожении нового правительства и по восстановлении спокойствия в стране у государей будет одно желание, чтобы король, окружив себя людьми самыми мудрыми и честными, изгладил самую память о печальной революционной эпохе установлением такого порядка вещей, который в самом себе носил бы ручательство за свою прочность; который соответствовал бы истинным интересам народа и был способен успокоить соседние государства насчет их безопасности. 19 января Руффо отвечал от имени королевского, что Фердинанд, видя неизменное решение великих держав, подчиняется необходимости и, чтобы избавить своих подданных от бедствий войны, даст знать герцогу Калабрийскому о состоянии дела.

Письмо старого короля к сыну, одобренное конгрессом, заключалось в следующем: «Государи решительно высказались против порядка вещей, который, по их мнению, нарушает спокойствие Италии; они даже определяли уничтожить его оружием, если увещательные средства не помогут. Если в Неаполе откажутся от него добровольно, то дальнейшие распоряжения будут сделаны при моем посредничестве; но и в этом случае дворы требуют ручательств, необходимых для безопасности соседних держав. Не стесняя свободы моих действий, союзники, однако, указали мне общую точку зрения, с какой они смотрят на систему, долженствующую сменить нынешний порядок вещей в Неаполе: они желают, чтобы я, окруженный самыми честными и самыми мудрыми людьми в королевстве, согласил постоянные интересы моего народа с сохранением общей безопасности». К этому письму, которое герцог Калабрийский должен был опубликовать, приложено было еще письмо конфиденциальное, в котором король объяснил, что должно разуметь под гарантиями, которых требовали союзники: должно было разуметь временное пребывание в Неаполитанском королевстве корпуса австрийских войск, которые, впрочем, будут находиться под начальством герцога

Калабрийского. Против этого тщетно спорили французские уполномоченные: король Фердинанд и Руффо объявили, что они без австрийского войска ни под каким видом не возвратятся в Неаполь.

В ожидании ответа из Неаполя на королевское письмо австрийские войска перешли р. По 5 февраля и вступили в Папские владения, а конгресс занялся обсуждением вопроса о будущем устройстве Неаполитанского королевства, что подало повод к сильным спорам.

Меттерних хотел, чтобы король Фердинанд сделал в Лайбахе какое-нибудь решение, разумеется согласное с видами Австрии, и оставался ему верен в Неаполе. Представители Франции требовали, чтобы предоставить королю полную свободу решать дела в Неаполе: в Лайбахе, говорили они, в стране чужой, у него только один советник, князь Руффо, тогда как в Неаполе он будет окружен самыми сведущими людьми в целом королевстве. Меттерних выразился на этот счет очень откровенно: «Но если король по возвращении в Неаполь примет вашу хартию?» Блака отвечал ему с такой же откровенностью: «В этом случае мы будем поддерживать волю сицилийского величества». Каподистриа, как обыкновенно, был против Меттерниха. Когда он однажды произнес слово «конституция», Меттерних не вытерпел и сказал, что это слово не должно быть произносимо в конгрессе; Австрия не потерпит, чтобы в Неаполе была конституция. «Но если сам король ее даст?» — спросил Каподистриа. «В таком случае, — отвечал Меттерних, — мы объявим войну королю, чтоб заставить его отказаться от конституции, ибо для нас она всегда опасна, как бы ни явилась; и это решение не одной Австрии, но всех государей итальянских».

Впрочем, Меттерних видел, что надобно идти на сделку; он заявил Блака, что он вовсе не враг благоразумной свободы, понимает необходимость благоразумных реформ, и жаловался, что никак не может убедить Руффо в выгоде серьезного совещательного собрания. «Если он не образумится, — прибавил Меттерних, — то мы отошлем его в Вену и обделаем дело без него». 14-го февраля Руффо и Меттерних представили конференции два проекта, сходные в основе: Большой государственный совет для целого королевства; две консульты: одна — в Неаполе из 20 членов, для твердой земли, другая — в Палермо из 12 членов, для Сицилии, составленные из самых

богатых собственников, подают свои голоса по всем вопросам администрации, по всем проектам, поступающим в Государственный совет, и специально рассматривают бюджеты для обеих частей монархии. В каждой провинции — Совет, члены которого избираются королем из знатнейших собственников; обязанность Совета состоит в разложении податей и в распоряжении другими предметами местного интереса; для той же цели муниципальные советы в каждой общине. По проекту Меттерниха, более либеральному, каждая консульта сама избирала своего президента; провинциальные советы имели участие в выборе членов консулты, которые отправляли свою должность в продолжение трех лет и не могли снова быть избраны.

Конференция поручила князю Руффо соединить общие черты обоих проектов в одну редакцию, предоставляя королю впоследствии определить подробности, 21-го февраля представители итальянских государств объявили, что основания, изложенные в проекте, могут содействовать утверждению спокойствия в Италии; но сардинский министр прибавил условие, чтобы совещательный корпус был организован в монархических формах; а министр моденский потребовал — избегать всякого вида соглашения с революционной партией. Уполномоченные России, Австрии и Пруссии изъявили желание, чтобы проект оказал благоприятное влияние на страну и был счастливо и совершенно приведен в исполнение. Французские министры, отказываясь выразить свое мнение, объявили, однако, что король их узнает с удовольствием о решении короля Неаполитанского — окружить себя самыми верными подданными для установления учреждений, которые должны обеспечить счастье его подданных и спокойствие Италии. Лорд Стюарт говорил в том же смысле. По этому смыслу выходило, что король Фердинанд окружит себя верными подданными, — это главное; но что выйдет вследствие такого окружения? Ла-Ферроннэ, обратившись к Меттерниху, спросил его: как смотреть на труд, представленный князем Руффо, — смотреть ли на него, как на простой проект, который король Фердинанд может впоследствии изменить, или это обязательство с его стороны. Меттерних смутился неожиданным вопросом и, помолчавши несколько времени, отвечал, что это — обязательство. «Значит, если король, возвратясь в свои владения, захотел бы изменить проект, то он не властен этого сделать?» — спросил опять Ла-Ферроннэ.

«Конечно, — отвечал Меттерних. — Итальянские государства не могут смотреть иначе на дело, не могут потерпеть учреждений, несовместимых с их спокойствием». «Благодарю вас, князь, — сказал Ла-Ферроннэ, — мне это только и нужно было знать».

Две противоположные системы олицетворялись в это время в двух деятелях — Меттернихе и Каподистриа; конгресс представлялся боем между этими соперниками; могущественный русский государь стоял между бойцами, и на чью сторону он склонится, та и получит торжество. Держится русский император либерального направления — значит, влияние Каподистриа сильно; уклоняется от этого направления — значит, влияние Меттерниха усилилось, русский император находится в его руках. Так смотрели современники; так повторяется в сочинениях, описывающих эпоху конгрессов. Но мы не считаем согласным с исторической осторожностью и точностью представлять дело именно таким образом: мы не можем приписать Меттерниху такого сильного влияния на императора Александра, на перемену его образа мыслей; не можем допустить и резкости этой перемены. Не Меттерних, но революционные движения, обхватывавшие всю Европу, должны были производить сильное впечатление на императора Александра. Эти движения не могли заставить его переменить своего прежнего взгляда, но должны были, как обыкновенно бывает при столкновении известного взгляда с действительностью, повести к известным ограничениям, определениям, как, например: либеральные учреждения не должны быть добываемы революционным путем; не все народы в равной степени способны пользоваться одними и теми же учреждениями, при введении которых, следовательно, надобно наблюдать постепенность.

Эти определения, особенно второе, должны были очень нравиться, ибо успокаивали: основное направление оставалось нетронутым, только развивалось в подробностях, в приложении, согласно с событиями. Но Меттерних не мог приобретать влияния предложением таких успокоительных определений, ибо к ним можно было прийти, отправляясь от принципов, противоположных принципам австрийского министра. Поццо-ди-Борго мог утверждать, что итальянцы не способны к либеральным учреждениям, и производить своими словами сильное впечатление, ибо отправлялся от мысли, что другие народы, более зрелые, способны к либеральным

учреждениям, и император Александр, основываясь на словах Поццо, мог говорить французскому посланнику: «Что полезно вам, просвещенным французам, то вредно отсталым, невежественным итальянцам». Но Меттерних не мог отпавляться от мысли, от которой отпавлялся Поццо: его взгляд, его система были слишком хорошо известны; подчиняться влиянию Меттерниха могли только люди, или не имевшие собственных взглядов и убеждений, или издавна согласные с направлением австрийского канцлера и находившие в его системе и деятельности лучшее и полнейшее выражение своих убеждений; или, наконец, люди, из страха перед революционным движением круто повернувшие в противоположную сторону. Но император Александр не принадлежал ни к одному из этих разрядов людей; он не мог разорвать со своим прошедшим; он мог, в силу обстоятельств, из слов Поццо вывести известное ограничение или определение для своего взгляда, ибо этот взгляд был у него одинаков с Поццо, но не мог подчиниться влиянию Меттерниха, которого основной взгляд был совершенно иной и который с Венского конгресса не пользовался расположением русского императора. Вся сила, все значение Меттерниха основывались на благоприятных для него, для его системы обстоятельствах, которыми он умел пользоваться; то, что должно было преимущественно приписать силе обстоятельств, приписали личной нравственной силе Меттерниха, тем более что он употреблял все усилия овладеть вниманием и волей русского государя. Но успех австрийского канцлера на конгрессе не был полон уже и потому, что он должен был входить в сделку с прямо противоположным направлением, как то видно из его проекта, несравненно более либерального, чем проект, составленный Руффо.

7-го февраля приехал в Неаполь курьер с письмом от короля Фердинанда к герцогу Калабрийскому: старый король писал, что государи приняли неизменное решение не признавать порядка вещей, созданного в Неаполе революцией, и в случае необходимости сокрушить его силой оружия, следовательно, неотлагательная покорность есть единственное средство предохранить королевство от бедствий войны. Затем Фердинанд давал знать сыну, что государи и в этом случае требуют некоторых гарантий; что же касается до будущего, то указывал на основания, находившиеся в проекте Меттерниха — Руффо. 9-го числа русский, австрийский и прусский

посланники объявили регенту: что австрийская армия получила приказ выступить в поход; что она или займет королевство дружественным образом, или проникнет в него силой; что если австрийские войска будут отражены, то русские выступят вслед за ними; что союзные державы полагаются на благоразумие самого герцога, который сумел привести нацию к желаемому порядку вещей. Герцог отвечал, что если бы даже он имел в руках необходимую силу, то и тогда не употребил бы этой силы против нации, от которой никогда не отделится. 13-го числа лайбахские решения были объявлены парламенту; 15-го — парламент объявил их несовместными с достоинством, честью и независимостью неаполитанского народа. Герцог Калабрийский отвечал отцу, что он не может смотреть на его письмо как на свободное выражение его воли и что он решился разделить опасности и судьбу нации и пожертвовать своей жизнью и жизнью своего семейства для защиты прав, независимости и чести родной страны.

Посланники русский, австрийский и прусский выехали из Неаполя; поверенные в делах английский и французский остались. Нерешительные действия Франции, ее колебания между политикой континентальных великих держав и политикой Англии возбуждали неудовольствие императора Александра, который прямо высказал Ла-Ферроннэ, к чему повело такое поведение французского правительства: «Я не менее вашего огорчен в глубине сердца, что Неаполитанский вопрос не разрешился примирительным образом; но для этого было необходимо, чтоб верховное решение принадлежало России и Франции; Австрия и Пруссия всегда хотели войны. Так как Австрия в этом деле, естественно, призвана к главной роли, то я не мог отделиться от нее иначе как разрушивши великий союз, что повело бы к переворотам в Италии, быть может, и в Германии, и я счел своей обязанностью скорее пожертвовать своим личным взглядом, чем допустить до подобных явлений. Притом это верный способ по крайней мере на некоторое время сдержать революционеров и не дать свободы духу анархии и нечестия, представляемому тайными обществами, которые подрывают основания общественного порядка».

26-го февраля Лайбахский конгресс официально закрылся, причем положено было собраться на новый конгресс во Флоренции в сентябре будущего 1822 года. Неаполитанский король должен был отправиться во Флоренцию и там дожидаться, чем кончатся дела в его королевстве.

Фердинанда должны были сопровождать дипломатические агенты со стороны великих держав. Австрийский агент получил от своего двора инструкцию не позволять удаляться от оснований, изложенных в проекте Меттерниха — Руффо. Со стороны России отправлялся Поццо-ди-Борго, которого инструкция предоставляла ему только право совета, причем он должен был обращать внимание на мнения короля и нации. Меттерних понапрасну старался заставить зачеркнуть последнее слово. Прусский уполномоченный Бернсторф сказал по этому случаю: «Мы было думали, что император обяжет короля Фердинанда употребить несколько примеров строгости». «Значит, вы ошибаетесь относительно намерений императора, — отвечал Каподистрия. — Совет его величества королю Фердинанду может состоять только в том, чтоб оказывать наибольшую умеренность».

Несмотря на официальное закрытие конгресса, оба императора и министры разных дворов оставались в Лайбахе, дожидаясь успокоительных известий из Неаполя; но пришли тревожные вести из Северной Италии: в Пьемонте вспыхнула революция.

Давно уже политическая жизнь, иссякшая в других частях Италии, сохранялась только в Пьемонте, в значении которого для раздробленной и бессильной Италии нельзя не заметить сходства со значением Пруссии для раздробленной и бессильной Германии. Находясь постоянно между двух огней, между двумя великими державами — Францией и Австрией, стремившимися утвердить свое влияние и владычество в Италии, слабые владельцы Пьемонта герцоги Савойские умели держаться ловкой и далеко не безупречной политики, сходной с политикой великого курфюрста Бранденбургского в борьбе между Швецией и Польшей. Менять по обстоятельствам союз с одной соперничающей державой на союз с другой, выговаривая себе разные вознаграждения за эти союзы, — служило основанием пьемонтской политики. Как бранденбургские курфюрсты добились наконец королевского титула по освобождении из польского вассальства Пруссии, чем, по словам Фридриха II, заброшено было в гогенцоллернский дом семя честолюбия, которое рано или поздно должно было дать плод, так и герцоги Савойские добились королевского титула по островам, сначала Сицилии, потом Сардинии. И здесь этот титул был, как видно, семенем честолюбия. Сардинские

короли начали также хлопотать об усилении себя, об округлении своих владений в Италии, причем не спускали глаз с Миланской области.

«Сын! — говаривал король Карл-Эммануил своему наследнику. — Миланская область — это артишок, который надобно кушать листик за листиком». Еще в 1733 году между парижским и туринским дворами был заключен договор, по которому австрийцы должны были быть изгнаны из Италии; Милан присоединяется к Пьемонту и составляет Ломбардское королевство; Мантуя также присоединяется к Пьемонту, зато Савойя уступается Франции. Бурные движения революционной Франции смыли с карты континентальной Европы Сардинское королевство; после падения Наполеона королевство было восстановлено с придатком Генуи; но правительство и народ восстановленного королевства вынесли из эпохи испытания непримиримую ненависть к Австрии, которая своим поведением во время очищения Италии Суворовым доказала всю свою враждебность к Пьемонту, а теперь, с 1814 года, Австрия пользовалась в Италии самым могущественным влиянием. Знаменитый савояр Жозеф де-Местр писал в 1804 году: «Пока жив, не перестану повторять, что Австрия есть естественный и вечный враг короля (сардинского). Чего хочет король? — утверждения своей власти в Северной Италии. Чего боится Австрия? — этого самого утверждения. Итак...» Это «итак» очень хорошо понимали в Пьемонте.

Теперь Австрия распоряжается в Италии, хочет ввести свои войска в Неаполь, уничтожить там новый порядок вещей. А этот порядок имеет в Пьемонте многочисленных приверженцев; адвокаты, купцы, литераторы, студенты недовольны восстановлением привилегий, вспоминают с сожалением о равенстве, которое было у них во время французского владычества; карбонаризм пустил корни и в Пьемонте; соседство волнующейся Франции, революции испанская, неаполитанская оказывали сильное влияние. Гостиная французского посланника герцога Дальберга была местом свидания недовольных, которые из слов посланника имели право заключить, что в случае восстания они будут поддержаны Францией, 11-го января произошла в Турине студенческая вспышка; солдаты умирили студентов; но этим дело не кончилось, потому что обширный заговор зрел в войске и даже в высших слоях общества, где хотели французской партии. Молодой принц Кариньянский, глава младшей линии королевского дома и

ближайший наследник престола после герцога Генуезского, брата королевского, не имевшего, так же как и король, сыновей, не был чужд замыслам заговорщиков; мы видели, что существовало особое тайное общество «адельфов», действовавшее в пользу либерального герцога Кариньянского.

10-го марта часть Алессандрийского гарнизона с несколькими сотнями патриотов, или так называемых итальянских федератов, провозгласили конституцию, овладели крепостью и учредили временную юнту; в тот же день революция вспыхнула в Пиньероли и на другой день — в самом Турине; здесь революционеры овладели крепостью при криках: «Да здравствует король! Да здравствует испанская конституция! Война австрийцам!» Скоро эти крики раздалась по всему городу. Король Виктор-Эммануил, видя, с одной стороны, невозможность сладить с революцией, а с другой — не желая уступить ей, отрекся от престола; и так как брат его, герцог Генуезский, находился в это время у зятя своего, герцога Моденского, то регентом в Турине провозглашен был принц Кариньянский, который принужден был уступить требованиям народа и провозгласить испанскую конституцию. Сильное волнение обнаружилось и в Ломбардии, где также действовали карбонари.

Известия о событиях в Алессандрии и Турине произвели в Лайбахе такое же громовое впечатление, какое в 1815 г. было произведено в Вене известием о высадке Наполеона на берега Франции: смотрели друг на друга в немом ужасе. Боялись, что подобные же явления обнаружатся и в других частях полуострова; что народные массы, поддержанные войсками Неаполя и Сардинии, подавят ненавистную итальянцам австрийскую армию; опасались, что движение отзовется во Франции, в Германии, в Польше. Страх овладел Меттернихом, который вовсе не отличался твердостью духа в опасностях. Но как в 1815 году в Вене, так и теперь в Лайбахе император Александр положил конец этому всеобщему ужасу; он сказал императору Францу: «Мои войска в распоряжении вашего величества, если вы считаете их содействие полезным для себя». Австрийский император принял это предложение с благодарностью, и стотысячная русская армия получила приказ вступить в Галицию; прежде истечения двух месяцев она должна была явиться в Италии.

Сто тысяч русского войска! Да кроме этих ста тысяч русский император приказал готовить еще две другие армии! Значит, опять судьба Европы в руках русского государя, и, раз уничтоживши революционные движения своим войском, император Александр может распорядиться в Италии не так, как бы хотелось Австрии. Поццо-ди-Борго получил же инструкцию принимать в соображение мнение короля и нации! Меттерниху стало страшно; но когда австрийскому министру становилось страшно перед Россией, то он мог быть уверен, что найдет полное сочувствие в Англии. Сочувствие выразилось в том, что Меттерних и Гордон, оба ненавидевшие Францию, решились обратиться к этой державе, чтобы ее силами уравновесить силы России. Император Франц выразил Ла-Ферроннэ желание, чтобы Франция взялась потушить пьемонтскую революцию для отнятия у России предлога двигать свои войска. «Мы не можем, — говорил император, — действовать против Пьемонта, как действуем против Неаполя: австрийцы и пьемонтцы ненавидят друг друга; нас заподозрят в корыстных видах». Ла-Ферроннэ отвечал, что как в Неаполе, так и в Турине французское правительство не позволит себе вооруженного вмешательства и, сильно порицая возмущение пьемонтской армии, ограничится действием чисто нравственным. Делать нечего, надобно было ждать страшной русской помощи.

Но движение русских войск наводило страх не на одну Австрию и Англию; беспокойство овладело всей Европой: сомневались, чтобы такая огромная армия была нужна для потушения пьемонтской революции; подозревали, нет ли соглашения между неограниченными монархами уничтожить всюду либеральные учреждения и потушить самый очаг пожара — во Франции. Ла-Ферроннэ, отправляясь во Францию, счел своей обязанностью высказаться откровенно пред императором Александром насчет этих опасений. Император стал торопить его, чтобы поскорее ехал во Францию и старался там, с одной стороны, уничтожить ложные опасения, с другой — внушить своему кабинету более твердую политику. На прощании и император Франц старался разуверить Ла-Ферроннэ насчет враждебных намерений против французской конституции. «Признаюсь, — говорил Франц, — что я не люблю все эти новые конституции; но мне никогда не приходило в голову касаться существующих учреждений. И потом, относительно Франции, большая разница: эта страна так

просвещенна!» Император Александр сказал ему, что скорее пожертвует половиной своей армии, чем допустит какое-нибудь государство посягнуть на территорию или на учреждения Франции. «Столкновение, — сказал он, — может произойти только от вас. Мои войска пойдут медленно, и если в Пьемонте все уладится, то они получают приказ тотчас же остановиться».

Случилось последнее. Неаполитанцы остались верны своей истории, верны преданию не биться с чужими войсками, которым зачем бы то ни было вздумается войти в их владения. Сначала, впрочем, можно было подумать, что неаполитанский характер изменился: 7 марта карбонарский генерал Пепе напал на австрийцев при Риэти; но, убив у неприятеля человек 60, неаполитанцы сочли это совершенно достаточным — и обратились в бегство. Другая неаполитанская армия, стоявшая при Гирильяно под начальством генерала Караскозы, услышав о поражении Пепе, начала исчезать: волонтеры и старые солдаты толпами покидали знамена; не бежала одна гвардия королевская, но та стояла за короля Фердинанда, каким он был до революции. Герцог Калабрийский, приехавший было принять начальство над войском, счел за лучшее как можно скорее возвратиться в Неаполь. Австрийский генерал Фримон, как видно плохо знавший прежнюю неаполитанскую историю, растерялся при виде такого странного явления; сначала подумал было, что ему готовят западню, но скоро успокоился: дорога была совершенно чиста, никакой западни, никакого сопротивления. 12 марта собрался парламент и вотировал адрес королю Фердинанду: извиняясь в том, что было сделано до сих пор, парламент думал, что действовал согласно с королевским желанием. Парламент умолял Фердинанда явиться среди народа и высказать откровенно свои намерения, объявить как можно скорее улучшения, какие он признает нужными, но чтобы иностранцы, ультрамонтаны, не становились между народом и его главой. Король отвечал напоминанием о своем письме из Лайбаха: там сказано все, что нужно знать его подданным о его будущих намерениях. 24 марта австрийцы вступили в Неаполь при кликах народа: «Да здравствует король!»

Пьемонтская революция также скоро прекратилась; но при этом нельзя останавливаться на одном видимом сходстве явлений. В Пьемонте только половина войска была за революцию; в остальном

народонаселении — меньше половины; между людьми, желавшими перемены, образовались две партии — умеренная и крайняя. Умеренная партия, сильная в Турине, имела вождя в принце Кариньянском и хотела конституции с прекращением революционного движения; крайняя партия, господствовавшая в Александрии, хотела соединения всей Италии в одно государство, требовала немедленного объявления войны Австрии и нападения на Ломбардию для отвлечения австрийских сил от Неаполя. Крайняя партия брала явный перевес; тогда принц Кариньянский, принужденный каждый день соглашаться на меры, которых не одобрял, тайно ночью (с 21 на 22 марта) выехал из Турина в Наварру, где сосредоточивалось верное прежнему порядку войско, и объявил, что отказывается от должности регента; многие из умеренных либералов последовали его примеру и отказались от своих должностей.

Таким образом, направление движения сосредоточилось в крайней партии, слабой отпадением умеренных и не пользовавшейся сочувствием большинства. Для низложения этой крайней партии не стоило двигать ста тысяч войска, и император Александр выразил желание, чтобы Пьемонт был успокоен увещательными средствами. Русский посланник в Турине граф Мочениго предложил революционному правительству свое посредничество; французский посланник пристал к нему. Граф Мочениго требовал, чтобы революционное правительство оказало безусловную покорность новому королю, и в таком случае не только австрийцы не вступят в Пьемонт, но будет дана полная амнистия и сделаны будут улучшения, административные реформы. Туринская юнта согласилась бы на это охотно; но александрийская объявила, что не откажется от испанской конституции, — и революционная армия приняла наступательное движение против роялистской, сосредоточенной, как мы видели, в Наварре под начальством графа Латура. Но в самом начале битвы австрийский корпус явился на помощь роялистам; продержавшись несколько часов против сильнейшего вдвое неприятеля, конституционисты должны были отступить, и отступление скоро превратилось в бегство. Революция была сломлена; члены временного правительства ночью бежали из Турина, и на другой день граф Латур, приближавшийся к столице, встретил депутацию, которая просила его вступить в город только с сардинскими войсками. Латур согласился и

10-го апреля занял Турин; герцог Генуезский принял корону под именем Карла-Феликса.

Италия была успокоена, и Меттерних торжествовал, пел победную песнь, перемешанную с пророчествами о новых опасностях, с жалобами на слабость правительств: «Результаты мер, принятых монархами в Лайбахе, осязательны для всех, положительны, несомненны. Мы имели счастье атаковать машину, на сооружение которой наши противники употребили много иждивения, рассчитывая на непременно ее действие; но ни одно желание их не исполнилось, ни одно намерение их не осуществилось. Лагерь противников в полном разгроме, и хотите доказательств этого разгрома — вы их найдете в усилении радикализма; либеральные цвета почти всюду побледнели, роли обозначались яснее, желания высказались положительное, и с тем вместе число противников уменьшается. Правительства все без исключения отдают справедливость намерениям и поведению твердому, благородному и великодушному великих монархов. С 1814 года я не видал единодушия, так резко вызвавшегося. Люди благонамеренные довольны и позволяют себе это говорить. Идеалисты стыдятся того, что они перед тем проповедовали, и люди чистые между ними довольны; между ними господствует раздражение против малодушия итальянских реформаторов. Последовательные революционеры, то есть радикалы, признают себя побитыми, ибо они осмеливаются провозглашать, что одно проигранное сражение часто не решает еще судьбу войны. Они правы: одушевляемые этой надеждой, они находят средства изгладить память о своем поражении и вознаградить свои потери новыми победами. Я желал бы, чтобы мне доказали с другой стороны, что слабость правительств менее опасна, чем как мне кажется. Известия из Неаполя и Пьемонта сообщают много данных насчет неспособности обоих дворов. Мы идем по условленной дороге: как скоро узнаем о ложном шаге, так сейчас же высказываемся против него, и мы, надеюсь, кончим тем, что вытащим корабль, беспрестанно готовый утонуть. Представители дворов стоят прямо и твердо, ибо действуют согласно: громадное благодеяние и естественное последствие совершенного согласия между монархами. Мы сильно хлопчем около римского двора, чтоб вывести его из неподвижности; есть некоторая надежда, что успеем. Немного бодрости и смысла у итальянских

правительств — и Италия будет поставлена вне всякой опасности в настоящую минуту. Во Франции правительство могло бы сделать много, если бы было так сильно, как должно было бы быть. Великий революционный очаг постоянно там в наибольшей деятельности, и средства потушить его найти чрезвычайно трудно, потому что главные его агенты служат сами в полиции. Я сделал в этом отношении значительные открытия. Последние прения в палате депутатов отличаются большой горячностью; мне это нравится, ибо, чем более ожесточения, тем более спадает масок. Английское правительство отдает справедливость поведению монархов. После битв, которые оно дало против Троппау, борьба, кажется, не находит новой пищи в актах лайбахских. Британские агенты за границей сбиты с дороги, ибо они никогда не могли хорошо уяснить себе сущности вопроса. Шведский король Карл-Иоанн становится автоматом; кажется, он любит радикалов только на других полуостровах. Испания — эта бездна нечестия — стремится к неминуемой гибели, ибо неестественно, чтоб принципы, которые там проповедуются, не погубили государства. Эти принципы оттуда не выйдут. Португалия идет по той же дороге и будет иметь ту же участь».

Результаты деятельности тайных обществ, итальянские революции были уничтожены, но не уничтожены были тайные общества, распространившиеся по всей Европе и повсюду имевшие одинакие цели. Меттерних начертал их историю и придумал план действия против них со стороны правительств. В истории указаны были три главные эпохи, с которых идет чрезвычайное распространение тайных обществ в последнее время. «Французская революция, при начале своем, остановила их работу: когда арена была открыта для всех заблуждений человеческого разума и для всякого рода честолюбия, что могли выиграть агенты в таинственных сборищах? Они все бросились на поприще, которое, льстя мечтам их воображения, открывало им возможность блистательно устроить свою судьбу. Таким образом, революционные правительства во Франции набирались из членов тайных обществ, и масонские ложи опустели. Но во время империи, когда Бонапарт поочистил администрацию, тайные общества начали восстанавливаться. Падение Наполеона освободило мир от громадной тяжести; но так как эта тяжесть лежала одинаково на хорошем и на дурном, — хорошее и дурное

одновременно почувствовали себя освобожденными от нее, и скоро революционный дух приобретает новые силы. Организация тайных обществ во Франции в том виде, как они существуют теперь, не восходит далее 1820 года. С 1821 года прямые сношения устанавливаются между революционерами немецкими и французскими, и в челе первых находятся немецкие бонапартисты. Самые значительные теперь местности Германии, относительно сосредоточения революционных средств немецких и французских, суть королевство Виртембергское, город Франкфурт и некоторые города швейцарские. Люди, играющие в этих местностях главные роли, суть братья Мургард, некоторые франкфуртские литераторы и редакторы „Неккарской газеты“. Эта газета подчинена прямому влиянию главного комитета в Париже, и ее главный редактор доктор Линднер служил долгое время деятельным агентом Бонапарта в Германии. До 1820 г. французские радикалы имели образцом свою собственную революцию; но многие попытки поднять массы должны были доказать этим людям, что подобные предприятия теперь уже не представляют такой возможности успеха, как в 1789 году, — и вот их внимание обратилось на новое средство, употребленное с успехом в Испании; и когда то же самое средство в три дня ниспровергло законное правительство в Неаполе, то французские революционеры должны были усвоить его, как самое действительное и скорое. Из всех тайных обществ самое практическое — это карбонизм. Рожденный среди народа малоцивилизованного, но страстного, карбонизм носит отпечаток характера этого народа; отличаясь впечатлительностью, южный итальянец как легко воспринимает, так же легко и приводит в исполнение. Цель, ясно высказанная в высших степенях общества; средства к достижению цели — простые и свободные от метафизических бредней масонства; крепкое правление в руках у вождей; известное число степеней для классификации членов; кинжал — для наказания непослушных, нескромных или врагов — таков карбонизм, самая совершенная из политических сект по своей практической организации.

Но какие же средства могут правительства противопоставить этому злу? Есть два средства: во-первых, объединение интересов самосохранения; во-вторых, установление центра свиданий. Революционеры враждебны всем государствам, монархиям чистым,

монархиям конституционным, республикам: всем грозит одинакая опасность от уравнивателей (нивелёров). Никогда еще не было такого единства между великими телами политическими, какое существует в два последние года между Россией, Австрией и Пруссией. Заботливо отделяя интерес охранения от интересов обыкновенной политики и подчиняя общему интересу все интересы частные, три монарха нашли настоящее средство поддержать свой святой союз и совершить благое дело громадной важности. Франция теперь дорого платит за мечты, которым предавались ее последние правительства; настоящее министерство, кажется, следует по дороге, сближающей его с принципом союза. Англия по вопросу, нас занимающему, должна всегда стоять одиноко, ибо никогда ее политика не может совершенно отождествиться с политикой держав континентальных. При этом тождестве политики, существующем между тремя северными государствами, существенно важно присоединить к ним и правительство французское. Этого легче достигнуть путем фактическим, чем рассуждениями о необходимости этого тождества; а фактический путь должен состоять в образовании центра взаимных сообщений. Таким образом, пусть император Российский и король Прусский назначат от себя по доверенному лицу в Вену; император Австрийский назначит такое же лицо со своей стороны. Эти три доверенные лица составят секретный комитет, который составит центральный пункт, куда будут стекаться известия. Каждое правительство с этой целью примет меры для указания комитету следов всех заговоров, которые оно откроет. Центральная следственная комиссия, учрежденная в Майнце, будет продолжать свою деятельность согласно с единодушным почти желанием всех членов германской конфедерации. Работы этой комиссии будут сообщаемы центральному комитету. Австрийское правительство занято теперь составлением комиссии итальянской, похожей по цели на майнцскую, но совершенно различной по формам: та будет составлена из членов, назначенных всеми правительствами полуострова. Открытия, сделанные итальянской комиссией, будут представлены также центральному комитету. Будет полезно обратиться и к французскому правительству, чтоб оно назначило от себя доверенное лицо для принятия участия в этих занятиях». Изобретательность австрийского канцлера развивалась в борьбе с революционными движениями. До

сих пор эти движения выражались в известных, одинаких повсюду формах, и против них могли быть употребляемы известные, одинакие повсюду средства. Против революционных движений правительства могли высказать правила охранительной политики, как, например, правило, что известные учреждения не должны быть добываемы революционным путем; что не все народы одинаково способны к принятию тех или других учреждений и т. п. Но в то же самое время, как внимание правительств было обращено на революционные движения на Пиренейском и Апеннинском полуостровах, на Балканском полуострове обнаружилось явление, по-видимому сходное, — и австрийский канцлер старается именно заставить смотреть на него, как на обыкновенное революционное движение; но старания его остаются тщетными: несмотря на благоприятные обстоятельства, на сильную поддержку со стороны Англии, Меттерних не может приложить своих взглядов, своих мер к греческому восстанию.

VI. ГРЕЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ

Обозрев историю отношений между европейскими государствами в первые шесть лет после окончательного разрушения первой Французской империи, мы не могли не заметить в ней следующих самых видных явлений: революционное движение, по-видимому прекращенное в 1814–1815 году разного рода реставрациями и сделками старого с новым, снова начинается и обходит всю Европу. Во Франции поднимаются разные партии и начинают борьбу с восстановленными Бурбонами. Но среди подробностей этой борьбы нельзя не усмотреть главной причины движения, главной причины неудовольствия; воинственному, самолюбивому, привыкшему к игемонии в Европе народу было не по себе, не мог он ужиться с правительством, которое, в его глазах, не было способно исполнить свою главную обязанность — давать народу славу и величие; вопросы внутренние, вопрос конституционный не был на первом плане; они были только предлогом к движению, начало же и цель движения были другие. «Славы, игемонии!» — вот крики французского народа правительству, которое, если хочет удержаться, должно, по возможности, удовлетворять этим требованиям, как в старину властители Рима должны были удовлетворять народным крикам: «Зрелищ и хлеба!»

В Германии также обнаружилось революционное движение и прилило к самому чувствительному здесь месту — к университетам; но среди либеральных планов и мечтаний у стариков и молодых можно заметить также одну главную цель, одну главную потребность — единство Германии. В революционных судорогах Италии была явственна та же цель, но еще с большим освещением: со стремлением к единству страны соединялось стремление к освобождению от чужого ига. В Испании революционное движение присоединялось вследствие внешних причин к преобразовательному движению, которое началось для страны еще в XVIII веке, и нельзя было не заметить, что эти движения мешали друг другу, а разделить их или примирить не было ни силы, ни разума. Все эти движения застали европейские правительства в союзе, происшедшем вследствие общего действия

против Наполеона. Между союзниками сначала господствовали различные взгляды: император Русский отличался либеральным направлением: то есть он думал, что революции должны быть прекращены уступками новому на счет старого, уступками правительства известным законным требованиям народов. Революционные движения, начавшиеся в разных углах Европы, повели к ограничению, к определению этого взгляда: перемены в правительственных формах должны исходить от самих правительств, а не должны вымогаться народами у правительств путем возмущений; во-вторых, не все народы одинаково созрели для либеральных правительственных форм.

Либеральному взгляду русского императора противопоставлялся взгляд австрийского министра князя Меттерниха, не желавшего никаких сделок с революцией. Революционные движения Франции, Германии и южных полуостровов дали Меттерниху большую выгоду: либеральный взгляд определялся, ограничивался, и в этом ограничении уже заключалось важное обеспечение против революционных движений. Меттерних с уступками шел навстречу уступкам со стороны либерального направления (разумеется, не без надежды, что благоприятные обстоятельства освободят его от обязанности делать эти уступки), лишь бы только скрепить союз между государями, заставить их сообща действовать против революционных движений. Но союз правительств против революционных движений был уже не тот, какой образовался против Французской империи: Англия, провозгласив начала невмешательства, вышла из союза; с другой стороны, Франция должна была играть междуумочную, нерешительную роль: как державе конституционной, ей было неловко примкнуть прямо к тройному союзу неограниченных государей, направленному против движений, происходивших с целью получить либеральные правительственные формы.

С другой стороны, как держава континентальная, Франция не могла, подобно Англии, уединиться, не принимать деятельного участия в общих делах Европы. Наконец, зная свою слабость и вражду к Франции других держав, французское правительство видело единственного союзника и защитника в императоре Александре и потому должно было заботиться о поддержании его приязни, что могло быть достигнуто только сближением с русской политикой. Это

сближение было тем легче для Франции, что направление русского императора могло служить средним звеном между политикой Франции, условленной ее правительственными формами, и политикой союза неограниченных государей. Император Александр со своей стороны желал присоединения Франции к общему действию — и по сознанию важного значения этой державы, и по особенному расположению к французскому народу, и по той помощи, какую Франция должна была оказывать ему при общих действиях, становясь всегда на стороне более либеральных мер, в противоположность стремлениям Австрии и теперь сильно сочувствующей ей Пруссии.

Так образовались отношения между важнейшими державами Европы в 1821 году, когда пришло известие о греческом восстании. Это неожиданное событие если в первую минуту не поражало таким ужасом, как уход Наполеона с Эльбы во Францию или вспышка пьемонтской революции, то, по зрелом обсуждении, представляло страшные затруднения. Только что согласились считать непозволительным восстания подданных против правительств, согласились поддерживать в таких случаях правительства — и вдруг обнаруживается восстание, которое должно составить исключение из принятого правила; а известно, как ослабляется правило, из которого немедленно же должно допустить исключение. Была пора, когда интерес религиозный господствовал, когда европейское человечество признавало свое значение, свое единство в христианстве и борьбу с иноверцами считало своей самой священной обязанностью. Эта пора высказалась лучше всего в крестовых походах, самом блистательном подвиге героического периода европейской истории. Как героический период Древней Греции ознаменовался движением на восток, в Колхиду, под Троию, так и героический период христианской Европы — движением на Восток в больших размерах и под религиозным знаком. После господства религиозного интереса, которое кончилось реформой, рознью и злой усобицей в западном христианстве, наступает пора, когда господствуют чисто политические интересы: здесь видим стремление известных государств усилиться на счет других, распространить, округлить свою область и получить первенствующее влияние; с другой стороны, видим стремление сдержать подобное движение. В этой борьбе вместе с пугалом

всемирной монархии выставлено было знамя политического равновесия.

Под этим знаменем отношения христианских государств Европы к государству мусульманскому, занявшему Балканский полуостров, должны были, разумеется, измениться: христианские государи сочли возможным вступить в сношение, в союз с врагом Креста Христова, поднимать его против государств христианских; потом сочли необходимым поддерживать его существование для охранения политического равновесия. На то, что в Европейской Турции христианское большинство народонаселения находилось под варварским гнетом мусульманского меньшинства, не обращали внимания. Кроме общего направления эпохи этому способствовало еще то, что государства протестантские — Англия, Голландия — невнимательно относились к страданиям турецких христиан по обычной протестантской холодности к религиозным вопросам и по торгашеским взглядам. Державы же католические питали, кроме того, враждебное чувство к христианам восточного исповедания, и последние объявили, что им выгоднее оставаться под властью турок, не посягающих на их веру, чем перейти под власть западных христиан, которых первым делом будет религиозное преследование, насильное обращение к папе.

Западные державы обращали внимание на турецких христиан только по отношению к России: когда понадобилось поднимать Россию против турок, то царям указывали на их священную обязанность — освободить единоверных братии от варварского ига. Когда же Россия в XVIII веке получила возможность мало-помалу исполнять эту священную обязанность, то связь турецких христиан с Россией по единоверию и единоплеменности явилась пугалом для западных держав, явилась как лучшее средство для России разрушить турецкое владычество и вместе разрушить политическое равновесие Европы. Когда Россия громом «преславной виктории» известила Европу о своем вступлении в общую жизнь ее народов, то на Западе, привыкшем руководиться преданиями Рима, сейчас же представили себе, что подле Западной Римской империи должна вскоре явиться Восточная и восточным императором, «цесарем ориентальным», должен быть царь русский. И хотя Петр Великий порешил со всеми этими ветхостями, принял титул императора, но императора русского,

а не римского восточного; хотя Фридрих II, ближе других знавший Россию, прославлял Петра за мысль не расширять русские пределы, а сократить их, сосредоточив малочисленное по пространству народонаселение во внутренних губерниях, — однако на Западе постоянно подозревали Россию в намерении овладеть европейскими областями Турции, пользуясь сочувствием единоверного и единоплеменного народонаселения, и выдумывали завещание Петра Великого.

Это подозрение было перенесено из восемнадцатого века в девятнадцатый и продолжало служить основанием политического взгляда на Восточный вопрос. Но с конца XVIII века политическое направление, господствовавшее после религиозного, не могло проводиться во всей чистоте. Вследствие революционных движений оно должно было считаться с известными требованиями народов и с общим сочувствием к этим требованиям. Отсюда взгляд на Восточный вопрос должен был измениться: с одной стороны, правительствам было важно из страха пред Россией поддержать Турецкую империю, чтобы вследствие ее падения не усилить России новыми подданными или новыми естественными союзниками; но с другой стороны, правительства должны были считаться с сочувствием своих подданных к требованиям христианского народонаселения турецких областей, к освобождению народов, высших по христианской основе своей цивилизации, из-под ига варварского правительства. Таким образом, греческое восстание повело в Европе к новой, сильной борьбе между двумя направлениями — старым, чисто политическим и новым, которое назовем либеральным.

Мы видели, что в 1821 году на политическом горизонте Европы на первом плане обозначались два лица: русский император Александр и австрийский канцлер Меттерних, выдвинувшийся благодаря революционным движениям как представитель охранительной политики и торжествовавший уступки, сделанные в пользу охранительного начала русским императором. Оба эти лица поставлены были греческим восстанием в самое затруднительное положение. Только что было провозглашено: что восстание подданных против правительств непозволительно; что союз правительств должен вмешиваться в таких случаях и уничтожать революционное движение. Император Александр спасал свое либеральное направление в том

смысле, что стремился в Священном союзе создать общее европейское правительство, которому должно было принадлежать право устранять столкновения между частными правительствами и их подданными, утверждая всюду начала религии, нравственности и правосудия, вследствие чего вооруженное восстание подданных являлось самоуправством и не могло быть терпимо по отношению к Союзу; но это стремление русского императора не было достаточно уяснено и признано.

Греки восстали против своего правительства точно так, как испанцы и итальянцы восставали против своих правительств, и если Союз объявил себя против восставших, на стороне правительств, то и теперь должен был объявить себя против греков, на стороне султана: по крайней мере для избежания крайнего противоречия не должен был заступаться за бунтовщиков. Но с другой стороны, восстали христиане для свержения ига мусульманских поработителей. Отказаться от сочувствия этому явлению для России, для русского царя значило вступить в вопиющее противоречие с собственной историей: Россия также находилась под игом мусульманских варваров, освободилась от него с оружием в руках, и освобождение это прославлялось наукой и религией как великое дело народа и великое благодеяние Божие. Но противоречие не ограничивалось одной древней русской историей. Продолжая и после освобождения своего борьбу с мусульманскими варварами, Россия находилась в постоянно тесной связи с оставшимися в порабощении у них христианами, с этими греками, с которыми русские исповедовали одну греческую веру. Греки видели в русских царях своих естественных защитников и будущих освободителей; царскую казну они считали своей, потому что никогда им не было отказа в их просьбах; но одной денежной помощью дело не ограничивалось. Мысль об освобождении, которая никогда не покидала турецких христиан, была у них неразрывно соединена с мыслью о России, которая своей историей, своим политическим ростом воспитывала их для свободы. Как только начались у России непосредственные войны с Турцией, они были немислимы без восстания турецких христиан на помощь своим. Постепенное усиление русского влияния в Константинополе имело следствием постепенное облегчение участи турецких христиан, которые, благодаря русскому покровительству имея точку опоры, все более и

более воспитывались для свободы; мысль Екатерины II о необходимости постепенного образования из разлагавшейся Турции независимых христианских владений, — одна эта мысль сколько способствовала успехам этого воспитания! Екатерининская мысль не умерла вместе с великой императрицей: сознательно или бессознательно она осуществлялась постепенно, чему доказательством служила судьба Дунайских княжеств и Сербии.

Теперь, когда между греками явилась мысль, что пришло время освобождения, могли ли они подумать, что Россия будет равнодушна и даже враждебна их делу, станет в противоречие со всей своей древней и новой историей? Когда Россия вступала в войну с Турцией, то самым простым, естественным делом для нее было обращаться к турецким христианам, и эти считали своей обязанностью отзываться на ее призыв; а теперь, когда греки вступят в борьбу с турками и обратятся к России, то неужели это не будет сочтено самым простым и естественным делом и Россия откажет в помощи? И когда же? — когда Россия на вершине могущества; когда ее император бесспорно занимает первое место между европейскими государями и когда этот император поставил себе целью утверждение всюду начал религии, нравственности и правосудия! Стать в вопиющее противоречие со своим народом, с его историей! Но этого мало: в борьбе грека с турком какой порядочный человек в образованной Европе станет на стороне турка против грека? Чтобы по каким-нибудь особым соображениям и интересам дать себе право сочувствовать турку, для этого нужно придумать какой-нибудь длинный ряд политических и всяких хитросплетений. Но с другой стороны, помогать подданным в их восстании против правительства — значит стать в противоречие с только что объявленными решениями Союза и, кроме того, возбудить подозрение в честолюбивых замыслах — подозрение в том, что греки подняли восстание не без соглашения с русским правительством, тем более что грек Каподистрия, объявленный покровитель либеральных движений, — человек, близкий к русскому императору. Если дать усилиться этому подозрению, то Союз рухнет; нужно будет начать борьбу с прежними союзниками; а кто воспользуется этой борьбой? — революционеры!

Не одобрить восстания, остаться равнодушным к борьбе; но если турки станут тушить восстание варварскими средствами; если Порты,

сознавая очень ясно тесную связь между христианскими подданными и Россией, станет враждебно относиться и к последней? Тут выказалась вся тяжесть блистательного положения главы европейского Союза — положения, необходимо соединенного с ущербом в свободе действий императора Всероссийского. Благодаря этому положению надобно было избрать такой путь: не принимать участия в борьбе на Балканском полуострове; в случае же варварского поведения и враждебности турок к России требовать от европейских держав, чтобы они образумили Порту и не поставили Россию в необходимость взяться за оружие.

Затруднительное положение Меттерниха условливалось затруднительным положением императора Александра, потому что австрийский канцлер должен был трепетать при мысли, что глава охранительного Союза имеет могущественные побуждения изменить провозглашенным началам Союза. Меттерниху, разумеется, нужно было выставить с неблагоприятной стороны эту непоследовательность; но так как у сторонников греческого восстания был сильный аргумент, что это восстание не имеет ничего общего с революционными движениями в остальной Европе и потому во враждебных отношениях к испанской и итальянской революции и в сочувственных в то же время отношениях к греческому восстанию не будет непоследовательности, то Меттерниху нужно было настаивать, что греческое восстание есть явление, тождественное с революционными движениями, и произведено по общему революционному плану, чтобы повредить Союзу и его охранительным стремлениям.

Много было сказано о причинах греческого восстания, сказано с разных точек зрения. Мы в предшествовавших строках уже коснулись этого предмета. Причины восстания греков лежат в тех отношениях, которые вскрылись немедленно же после падения Восточной, или Греческой, империи, после взятия Константинополя турками. Какие явления видим мы на Балканском полуострове после знаменитого 1453 года? Покорители-турки в малом числе сравнительно с покоренными христианами, поддерживающие себя только материальной силой благодаря разрозненности покоренных племен, — турки малочисленны и не способны к развитию; кроме того, не могут получить материальной поддержки от своих, от народов единоверных и живущих с ними под одними формами быта, ибо магометанский

Восток в лице их сделал последнее наступательное движение: он выбросил турок на европейский берег и оставил их там без поддержки. Куда туркам обратиться на Восток с требованием помощи? К слабой и враждебной по расколу Персии? Малочисленные покорители могли бы получить силу и питание, слившись с покоренными; но это для них невозможно по религии, по основам их народной жизни. Подле этих беспомощных материально и нравственно покорителей — покоренные, имеющие средства постоянно расти, усиливаться и получать поддержку извне. Эти покоренные, по христианской основе своей цивилизации, способны сами к дальнейшему развитию; с первой минуты покорения для них уже начинается процесс восстановления сил, приготовление к освобождению. В своей религии, в Церкви они находят объединяющее начало, которое беспрестанно напоминает им, что у них нет ничего общего с покорителями; что они выше последних, что они временно могут быть только под варварским игом, но рано или поздно освободятся. Они живут будущим и работают для него; у них великая цель, которая бодрит их и дает им рост; они идут вперед, тогда как турки неподвижны; при своем движении, росте христиане пользуются всяким благоприятным обстоятельством, чтобы подниматься выше и выше, приобретать материальные средства, занимать правительственные должности.

Но кроме собственных сил христианские подданные Порты имели громадную выгоду в том, что опирались на Европу, на целое христианство, составляя нераздельную их часть, естественно и необходимо тянули к ним, получали от них питание, поддержку. Мы видели, как они это питание и поддержку находили в единой России, с которой, в известном отношении, жили одной жизнью, росли ее ростом. Новая жизнь, новое сильнейшее умственное движение начинается у них в то же время, в какое оно начинается и в России, именно с XVIII века; распространяются школы, переводятся книги; богачи не жалеют ничего для распространения просвещения между своими. Так дожили они до XIX века, постоянно идя вперед, постоянно приготовляясь к перемене своей участи, ибо, чем дальше они шли, тем тягостнее становилось варварское иго. Но, в то время как греки шли все дальше и дальше, турецкая правительственная машина, остановившись, подвергалась все более и более естественному следствию остановки — гниению, разложению; между пашами начали

являться люди, стремившиеся к самостоятельности. В султане Махмуде II судьба как бы нарочно дала Турции человека, который для борьбы с враждебными обстоятельствами способен был употребить все средства, какими может располагать восточный владыка, не дрожавший ни перед каким из этих средств; но деятельность Махмуда всего лучше показала несостоятельность этих азиатских средств, когда надобно спасать азиатское гниющее общество, которое находится в осадном положении, обхваченное европейским движением.

С 1815 года греки стали принимать особенное участие в этом движении; в Западной Европе, с одной стороны, исчезла прежняя католическая узкость взгляда на восточных христиан, с другой — могущественно было либеральное направление; грекам сильно сочувствовали не столько как христианам, но более как потомкам Мильтиадов, Эпаминондов, Сократов и еще более как народу, находящемуся под варварским игом и стремящемуся освободиться от него. Между Грецией и Западной Европой обнаружилась тесная связь, скрепляемая взаимными посещениями: если молодые греки являлись в западных университетах и здесь получали сильное возбуждение к освобождению своего славного отечества, то, с другой стороны, европейские путешественники стали толпами посещать Грецию и тем поднимали ее значение в глазах народа, возбуждая надежды на сочувствие и помощь; Европа видимо принимала Грецию во владение. Так в высшем слое греческого народонаселения выработалось сознание необходимости освобождения и вместе с тем сознание того, что условия для него благоприятны. Тайное общество, так называемая гетерия, основанное Николаем Скуфасом в Одессе с целью «дать торжество кресту над луной», сильно распространилось между греками. Подготовка была сделана; но для успеха восстания понадобились материалы особого рода, которые также были готовы. Такими материалами служила масса христианского народонаселения, которая в своем религиозном одушевлении, в своей ненависти к врагам креста должна была поддержать борьбу.

Борьба между двумя национальностями: одной — долго поработанной, но сознававшей свои жизненные силы, свои права на независимое существование и другой — поработившей, но которой грозила потеря господства, — борьба между двумя национальностями, поставленными в такие отношения, да еще при ненависти

религиозной, разумеется, должна была с самого начала принять характер самый ожесточенный, истребительный, не допускать соглашений и сделок. Такая борьба могла кончиться только истреблением одной национальности другою, и потому, чтобы не довести ее до такого исхода, необходимо было разнять борющихся, отделить их совершенно друг от друга. Но масса христианского народонаселения Греции, несмотря на все ее сочувствие к борьбе, не могла вести ее непосредственно: для этого нужна была вооруженная сила. Такую силу в Греции представляли арматоры, местная милиция, охранявшая порядок и спокойствие, сохранившаяся от времени падения Византийской империи по договорам некоторых областей (горных) с турецким правительством, и особенно клефты, имевшие одинакое происхождение и характер с нашими старинными казаками. Люди отважные, богатые физической силой и ловкостью, не способные к мирной работе при тяжелых рабских отношениях к туркам удалялись в горы, как наша удалая голутьба стремилась в степь, чтобы там гулять, вести свободную жизнь на счет чужих и своих. Когда вспыхнула борьба с турками, клефты явились на первом плане, дали войско. Таковы были побуждения и средства к восстанию.

Но при этом не надобно забывать и больших препятствий к успеху борьбы. Первое, и главное, препятствие заключалось в разрозненности сил и национальных интересов христианского народонаселения Турецкой империи; это народонаселение по национальностям делилось на три главные группы: греческую, славянскую и румынскую. Благодаря влиянию России, ее поддержке постепенное выделение из разлагавшейся Турции более или менее независимых от нее во внутреннем управлении владений началось с севера, по близости к русской границе. Самые энергические и храбрые из турецких славян, сербы, уже находились под управлением князя из своего народа, имели уже свой определенный круг отношений, интересов, причем их действия зависели от личных взглядов правителя, обязанного прежде всего заботиться о своем, о своих; обязанного осторожно и зорко смотреть во все стороны, преимущественно на север. Румынские княжества, составлявшие отдельное целое по своей национальности, давно уже привыкли жить в страдательном ожидании улучшения своей участи, своей независимости и свободы не от каких-либо внутренних движений, но

от военных и дипломатических успехов могущественного народа, у которого возникла мысль о Дакийском королевстве. Притом неправильные отношения высшего класса, бояр, к остальному народонаселению в Дунайских княжествах и вражда к грекам, которые являлись здесь со своими господами из фанариотов (знатных константинопольских греков) с целью высасывать деньги из страны, не могли побудить народонаселение Дунайских княжеств принять деятельное участие в греческом восстании. Таким образом, греки должны были бороться одни; но и между ними самими не было единства. Природные условия, которые в древности раздробили Грецию на множество мелких отдельных владений, действовали и теперь, заставляя отдельные области ее бороться в одиночку; арматоры и клефты не могли образовать единого войска, сколько-нибудь дисциплинированного, способного повиноваться единому вождю; да и такого вождя, человека, способного подняться над всеми и дать единство движением, — не было. При подобных препятствиях, несмотря на все одушевление, храбрость и выдержли-вость греков, дело их грозило кончиться неуспехом, если бы они не имели поддержки в Европе, и преимущественно — в России.

Понятно, что глаза всех людей, желавших освобождения Греции, всех членов гетерии были обращены на грека, который занимал важное место между тогдашними европейскими деятелями; который стоял подле Меттерниха в значении главного его соперника, — на графа Каподистриа. Если помощь Европы, и особенно России, была необходима для греков, то никто скорее Каподистриа не мог склонить русского императора к поданию этой помощи. Но никто лучше Каподистриа не понимал, что время, избираемое гетеристами для начала действия, неблагоприятно, и потому он находился в самом неловком положении относительно гетеристов, которые приступали к нему с представлениями, что пора начинать и что они не пропустят этой поры. Ему оставалось одно: отклонить от себя участие в деле; но он не мог поставить себя во враждебное к нему отношение, не мог открыть о нем, не мог не желать ему успеха; с этим желанием могло соединиться и другое, чтобы греческое восстание, будучи иного рода, чем революция испанская или итальянская революция, спутало установившиеся взгляды и отношения и нанесло удар врагу — Меттерниху.

Как бы то ни было, Каподистрия оставался в стороне, и гетеристы обратились к другому греку, находившемуся в русской службе. Храбрый генерал-майор, потерявший руку под Кульмом, князь Александр Ипсиланти, живой, сочувствующий всему хорошему и возбуждавший к себе сочувствие, был один из тех людей, которые считаются достойными власти до тех пор, пока не получают эту власть в свои руки. Гетеристы не могли не остановить своего выбора на Ипсиланти как на человеке, более других способном начать дело и с успехом вести его. Ипсиланти не мог не увлечься мыслью быть главным вождем греческого восстания. Ипсиланти, сын того валахского господаря Константина Ипсиланти, который сильнее других принимал к сердцу знаменитый проект образования Дакийского царства и, потеряв свое господарство в 1806 г., должен был спасаться бегством в Россию. Александр Ипсиланти, способный по природе своей к увлечениям, принимавший во внимание одно общее направление, не рассуждая частных условий, которые ускоряют или задерживают явление, рано или поздно необходимое, неспособный останавливаться на вопросе: пора или рано? — когда сильно желается, чтобы была пора, — Александр Ипсиланти, уверенный в том, что Россия по своим общим необходимым условиям должна немедленно же подать помощь восставшим грекам, уверял в этом других уже одним положением своим: генерал русской службы, друг Каподистрия, мог ли он решиться на действие без самых верных обнадеживаний со стороны России? Было увлечение; мог быть и расчет поднять греков и вообще турецких христиан именем России, а Россию заставить помогать восстанию именем греков и христиан.

Нельзя много упрекать Ипсиланти за то, что местом начального действия он выбрал Дунайские княжества: прежде всего, они были близки к России; во-вторых, они имели известную степень самостоятельности; в-третьих, что было всего важнее, Турция по трактатам не могла в них действовать свободно, без согласия России, которая, таким образом, волей-неволей втягивалась в дело, причем не могла действовать против своих. В Греции таких благоприятных условий не было: здесь турки могли действовать свободно, не спрашиваясь ни у кого, и могли скорее задавить восстание. Чтобы восстание в Греции могло быть успешно, нужно было отвлечь от нее

внимание и силы турок на север, туда, где они должны будут необходимо столкнуться с Россией.

В марте 1821 года в Лайбахе император Александр получил письмо из Ясс от Ипсиланти с уведомлением о восстании. «Благородные движения народов исходят от Бога, — писал Ипсиланти, — и, без сомнения, по Божию вдохновению поднимаются теперь греки свергнуть с себя четырехвековое иго. Долг в отношении к отечеству и последняя воля родительская побуждают меня посвятить себя этому делу. Более 200 адресов, подписанных более чем 600.000 имен лучших людей Греции, призвали меня стать в челе восстания. Несколько лет тому назад среди греков образовалось тайное общество, имеющее единственной целью освобождение Греции; оно выросло быстро, и его ветви распространяются повсюду, где только есть греки. Божественное Провидение, покровительствующее всегда правому делу, удостоило бросить взгляд сострадания на мое несчастное отечество и ослепить глаза его тиранов. Они остались в совершенном бездействии, несмотря на частые предостережения англичан и дух независимости, сильно обнаруживавшийся между греками. Государь! Неужели вы предоставите греков их собственной участи, когда одним словом можете освободить их от самого чудовищного тиранства и спасти их от ужасов долгой и страшной борьбы? Все говорит нам, что вас, государь, избрало Провидение, чтобы положить конец нашим вековым страданиям. Не презрите мольбы 10.000.000 христиан, которые возбуждают ненависть тиранов своей верностью нашему Божественному Искупителю. Спасите нас, государь, спасите религию от ее гонителей, возвратите нам наши храмы, наши алтари, откуда божественный свет Евангелия просветил великий народ, вами управляемый!» Впечатление, произведенное на императора этим письмом, и результаты его должны были отразить на себе условия, в каких Александр находился в Лайбахе. Император, по характеру своему, прежде всего был поражен благородством чувств Ипсиланти: у России и Турции шли переговоры о возвращении Ипсиланти имения, конфискованного Портой; дело шло о нескольких миллионах, и молодой человек, не думая об этих миллионах, повинувшись только внушениям долгу, становится в челе восстания против турок. «Я всегда говорил, что этот достойный молодой человек питает благородные чувства», — сказал император, прочтя письмо. Но после

оценки человека человеком должна была следовать оценка дела государем, главой европейского Союза государей в 1821 году. Неловкое указание на тайное общество способно было уничтожить все доброе впечатление трогательного письма. Император Александр только что высказал свою программу и в данном случае не хотел отступить от нее: народы должны приобретать известные степени свободы не революционным путем, но путем мирным, путем общего соглашения правительств, причем степень свободы должна соответствовать степени их развития. Ответ Ипсиланти, заключавшийся в письме Каподистрия, был составлен по этой программе: «Получив ваше письмо, император испытал тем более скорбное чувство, что всегда ценил благородство чувств, которое вы обнаруживали, находясь в его службе. Император был далек от опасения, что вы позволите увлечь себя духу времени, который побуждает людей в забвении своих главных обязанностей искать блага, достигаемого только точным исполнением обязанностей религии и нравственности. Без сомнения, человеку врождено желание улучшения своей участи; без сомнения, многие обстоятельства заставляют греков желать не всегда оставаться чуждыми своим собственным делам; но разве они могут надеяться достигнуть этой высокой цели путем возмущения и войны междоусобной? Разве какой-нибудь народ может подняться, воскреснуть и получить независимость темными путями заговора? Не таково мнение императора. Он старался обеспечить грекам свое покровительство договорами, заключенными между Россией и Портой. Теперь эти мирные выгоды не признаны, законные пути оставлены, и вы соединили свое имя с событиями, которых его императорское величество не одобряет. Как вы смели обещать жителям княжества поддержку великого государства? Если вы разумели здесь Россию, то ваши соотечественники увидят ее неподвижной, и скоро их справедливый упрек обрушится на вас; на вас всей своей тяжестью ляжет ответственность за предприятие, которое могли присоветовать только безумные страсти. Никакой помощи, ни прямой, ни косвенной, не получите вы от императора, ибо мы повторяем, что недостойно его подкапывать основания Турецкой империи постыдными и преступными действиями тайного общества. Если вы нам укажете средства прекратить смуту без малейшего нарушения договоров, существующих между Россией и Портой, то император не откажется

предложить турецкому правительству принять мудрые меры для восстановления спокойствия в Валахии и Молдавии. Во всяком другом случае Россия останется только зрительницей событий, и войска императора не тронутся. Ни вы, ни ваши братья не находятся более в русской службе, и вы никогда не получите позволения возвратиться в Россию». Чтобы отклонить всякое подозрение в участии со стороны России, император послал приказание русскому главнокомандующему в Бессарабии князю Витгенштейну соблюдать строгий нейтралитет и уволил Ипсиланти из русской службы.

Строгое соответствие этих решений уже прежде высказанной программе не дает нам права утверждать, что они состоялись под влиянием новых внушений Меттерниха, хотя австрийский канцлер, разумеется, должен был употреблять все усилия, чтобы удержать русского императора при его программе. Меттерних следующим образом изложил свой взгляд на греческое восстание: «Монархи, соединившиеся для поддержки принципа охранения всего законно существующего, не могут несколько колебаться в прямом приложении этого принципа к плачевным событиям, совершившимся недавно в Оттоманской империи. Приложение принципа требуется с наибольшей силой к этим важным событиям, ибо несомненно, что греческое восстание (как бы оно ни связывалось с общим движением умов в Европе; как бы ни приготавливалось в стремлении чисто национальном; как бы, наконец, ни естественно было восстание народа, страдающего под самым страшным гнетом), — греческое восстание есть непосредственное следствие плана, заранее составленного и прямо направленного против самого страшного для революционеров могущества, против союза двоих монархов с целью охраны и восстановления^[19]. Событие не одиночно: оно находится в связи с общим планом. Оно имеет не преходящее только значение; его следствия будут долго давать себя чувствовать. Настоящие виновники его задумали его не в интересе греческого народа; они не могут скрыть от себя того нравственного падения, до какого доведен этот народ веками. События задуманы с целью поссорить Россию с Австрией; они служат средством не дать потухнуть огню, поддержать либеральный пожар; средством поставить в затруднительное положение самого могущественного монарха греческого исповедания и всех его единоверцев, взволновать русский народ в смысле, противоположном

движению, какое его государь дает своей политике; заставить русского государя отвернуться от Запада и сосредоточить свое внимание на Востоке. Падет ли или освободится народ, в пользу которого, по-видимому, произведено движение, — до этого нет дела людям, назначившим день взрыва. Демагоги имеют в виду только свои собственные выгоды, и никакое пожертвование не кажется слишком велико человеку, который не значит ничего и хочет быть чем-нибудь! Все, что можно постановить в принципе, ограничивается тем, что ваше императорское величество удостоили сказать мне сами. Должно приложить к турецким делам, точно так же как и ко всем делам, могущим занимать нас теперь и в ближайшем будущем, консервативное начало. Это начало неразрывно со святостью договоров. С точки зрения политической нет нужды, кто управляет, турки или греки, лишь бы только не господствовала революция и неминуемое ее следствие — пропаганда».

Меттерних выставлял революцию, пропаганду и, наконец, разумеется, был доволен, что этими общими пугалами мог прикрыть другой страх, собственно австрийский. Мы уже видели, как давно Австрия сохранение целостности Турецкой империи считала необходимым для собственного существования, а Меттерних, как человек системы, возвел это сохранение в принцип, 5-го февраля 1814 года перед решением великого Западного вопроса Генц писал: «Поддержка равновесия между государствами будет постоянно основным принципом, компасом и полярной звездой австрийского правительства. Никогда не могло быть в планах этого двора променять одну опасность на другую и уничтожить преобладание Франции для того, чтоб приготовить преобладание России. Князь Меттерних смотрит теперь, и более чем когда-либо, на существование Оттоманской Порты как на необходимость в общем равновесии Европы. Его твердо принятое намерение — действовать постоянно в смысле этого принципа. Его предложения, планы, действия будут неизменно направлены к этой цели. Он будет защищать интересы Порты, как самые прямые и самые драгоценные интересы самой Австрии. Он никогда не потерпит, чтоб Россия хотя сколько-нибудь прикоснулась к ним, и, как ни сильно его желание поддержать мир в Европе, он не побоится борьбы с Россией, если кто-нибудь злоумышленно внушит этому государству подобный проект. В эту минуту все заставляет думать, что Россия очень далеко

от него; но ей постараются дать знать очень определенно на все будущее время о видах венского кабинета; дадут понять, что никакой другой интерес не отклонит самого серьезного внимания венского кабинета от благосостояния Порты и сохранения целости ее владений».

В то же время в Вене были убеждены, что есть еще страна, которая смотрит одинаково на дело, — эта страна Англия. Генц в 1816 году шлет совет, чтобы в Константинополе вошли с Австрией и Англией в самую тесную связь, относились к ним с полным доверием, советовались с ними обо всем и следовали их советам. Главный совет — чтобы Порта избегала всячески столкновения с Россией, ибо император Александр сам не начнет войны. Опасность столкновения существует: в Бухарестском договоре очень неопределенно выражена статья об азиатских границах; в Вене советуют Порте не спорить против русского толкования статьи. «Турецкая империя, — пишет Генц, — может существовать века, не имея границей реки Фазиса; но она готовит себе гибель неизбежную, не спеша окончанием своих споров с Россией».

Решимость императора Александра отстраниться от всякого участия в деле Ипсиланти ненадолго успокоила австрийского канцлера. Восстание, потухнувшее в Дунайских княжествах по недостатку материала и благоприятных условий, по отсутствию русской помощи, — восстание вспыхнуло в Греции, и турки позволили себе страшные неистовства против христиан, не разбирая правого и виноватого, причем правительство султана не только позволяло эти неистовства, но еще и подстрекало к ним своих подданных. Вследствие этого враждебное столкновение Турции с Россией было неминуемо, тем более что турки, привыкшие в продолжение веков признавать необходимую и страшную для себя связь христианского народонаселения своих областей с Россией, привыкшие слышать постоянные внушения от европейских кабинетов насчет опасности этой связи, не могли не отнестись подозрительно и враждебно к России, заслышав о восстании в Дунайских княжествах и Греции. Они понимали по-своему Священный союз: они видели в нем явное стремление христианских государей к уничтожению магометанства, а главой Союза был русский император; турки имели тем более права придавать такое значение Союзу, что и прежде союзы христианских

государств против них носили названия священных. Бухарестский мир, заключенный, по обстоятельствам, слишком поспешно, давал повод к спорам об определении границ; споры тянулись до сих пор; ничего не было решено, а между тем русское правительство возбудило сильное раздражение в Диване тем, что не позволяло туркам производить чрез Россию торговлю рабами, которых освобождали в Феодосии.

Туркам тем легче было верить в участие России в греческом восстании, что в христианской Европе так легко этому верили. Турки знали, как русское влияние распространено повсюду в их областях, и знали связь России с греками, с греческим духовенством; знали также, что все русские консулы из греков; что русская морская торговля на Черном море и в Леванте производится посредством греков — гидриотов, специотов, ипсариотов. Русский посланник в Константинополе барон Строганов был известен как друг греков; при нем находился Катакази, родственник Ипсиланти, брат бессарабского губернатора, у которого в Кишиневе Ипсиланти приготовил поход свой в Молдавию. Драгоман Порты Мурузи был совершенно предан Строганову. Спустя несколько дней после назначения Валахским господарем князя Каллимахи на место умершего Александра Сутцо в Константинополе получено было первое известие о восстании в Малой Валахии. Рейс-эфенди сделал русскому посланнику официальное сообщение, в котором говорилось, что хотя каймакамы нового господаря, которые должны немедленно отправиться, получили приказание употребить все средства для поддержания порядка в провинции и для обеспечения спокойствия жителей с помощью тамошнего гарнизона, чтобы не было нужды вводить в княжества мусульманские войска, однако Порта просит посланника написать со своей стороны к генеральному консулу русскому в Бухаресте, чтобы тот способствовал каймакамам в этом деле.

Барон Строганов не поколебался ни минуты удовлетворить требованиям Порты. Вечером 22 февраля (6-го марта) он получил из Бухареста донесение генерального консула Пини, что восстание усиливается. Строганов сейчас же сообщает Порте полученные им депеши и предлагает публиковать в Валахии прокламацию, чтобы именем покровительствующей державы вывести умы жителей из заблуждения и в самых сильных выражениях высказать неодобрение

людям, заведшим смуту в княжествах, одинаково виновным и против России, и против Порты. Рейс-эфенди обещал отвечать на это — и не отвечал. 24-го февраля рейс-эфенди сообщил Строганову официальную ноту, что Порта дала приказание комендантам дунайских крепостей держать свои войска наготове к походу при первом требовании валахских каймакамов. Посланник отвечал, что эта мера сама по себе не соответствует в принципе существующим договорам и даже как исключение может быть допущена только по предварительному согласию русского консула, причем призыв турецких войск должен быть сделан местными властями. Между тем Пини прислал новые вести о движениях Ипсиланти. Строганов сообщает Порте и консульские донесения, и письмо самого Ипсиланти, и письмо господаря молдавского и 9-го марта публикует декларацию купцам и подданным русским против внушений инсургентов; но в тот же день турки берут под арест архиепископа Эфесского, потом многих знатных греков.

12-го марта посланник имел свидание с рейс-эфенди, которому сообщил депеши из Лайбаха относительно валахских смут. Депеши показывали ясно охранительные принципы России; турок очень доволен: «уверения, которыми он отвечал на эти сообщения именем Порты, носили очень заметный характер теплого чувства и искренности». Но 17-го марта посланник узнал, что четверо знатных греков казнены, и на другой день, 18-го, вышел султанский манифест, имевший целью возбудить фанатизм турок. 20 марта происходило обезоружение всех греков и других христианских подданных султана при содействии константинопольского патриарха; 25 марта схвачены архиепископы Терапийский и Никомидийский; митрополиты Адрианопольский, Салоникский и Тарновский отданы под надзор, 29-го марта янычары, которым назначен поход в Валахию, начинают буйствовать против христиан, 1-го апреля Строганов имел свидание с рейс-эфенди по поводу новых депеш из Лайбаха: здесь он увидал, что Порта решилась свирепствовать против христиан, 4-го апреля посланник разослал циркуляр русским консулам в Леванте, что император не одобряет предприятия Ипсиланти, и сообщил копию Порте; но в тот же самый день пришло известие о восстании морейских греков. За это немедленно поплатились греки константинопольские: драгоман Порты князь Константин Мурузи был

схвачен в своем бюро и обезглавлен вместе со многими другими греками, а 5-го числа янычары разграбили греческие деревни по Босфору.

Самую важную жертву турки приберегали к 10-му апреля, к Светлому празднику христиан: в первый день Пасхи у патриаршей церкви был повешен цареградский патриарх Григорий вместе с тремя митрополитами; жида таскали за ноги тело патриарха по улицам со страшными ругательствами и бросили в море. Русский посланник протестовал; но буйства черни продолжались безнаказанно; нанесено было оскорбление русским судам, убиты русские матросы. На новые протесты Строганова Порты отвечала пустыми извинениями; преступление янычар оправдывалось радостью и сильной ревностью солдат, идущих на войну против мятежников. Тогда посланник объявил, что он испросит у императора вооруженное судно, которое будет стоять при входе из канала в Черное море и защищать русских, 19-го апреля новые казни: обезглавлено семеро греков, между ними два брата русского драгомана князя Ханджери и племянник их; кроме того, греческий епископ, 22-го числа толпа школьников и черни опустошила патриаршую церковь и церковь синайского епископа вместе с пятью другими церквами.

Строганов подал новую ноту, на которую рейс-эфенди объявил, что, во-первых, турецкие войска войдут в Молдавию и Валахию, несмотря на покорность тамошних бояр. Во-вторых, греки, спасшиеся в России, должны быть выданы. В-третьих, паши будут управлять княжествами до назначения господарей, а господа назначатся только тогда, когда беглые греки будут выданы Россией, наказаны, и спокойствие восстановится в княжествах. Строганов со своей стороны потребовал: 1) немедленного отправления господарей в княжества вместе с войсками; 2) приказа войскам действовать только против вооруженных инсургентов, а не против безоружных жителей, 1-го мая рейс-эфенди объявил, что всякий корабль с хлебом, идущий из Черного моря, должен отдавать свой груз в правительственные магазины. Строганов протестовал энергической нотой, а между тем буйство черни продолжалось, потому что само правительство подстрекало ее, объявив, чтобы мусульмане удваивали бдительность и деятельность, 17-го мая Порты отвергла приведенные выше предложения русского посланника относительно Дунайских княжеств

и настаивала на своих мерах. Строганов не согласился. 21-го мая пришел первый русский пакетбот: рейс-эфенди дал знать посланнику, чтобы пакетбот вышел немедленно из Босфора, иначе капитан-паша употребит силу; наконец, Порта запретила перевозить вещи посланника из Перы в летнее пребывание, в Буюкдере. Тогда Строганов объявил, что императорская миссия не может продолжать сношения с Портой, а пакетбот не выйдет до тех пор, пока не будут готовы депеши.

«Мой язык и особенно мои услуги, оказанные в начале восстания, казалось, тронули турок, — доносил Строганов. — Некоторое время турки думали, что я буду содействовать их кровавой и мстительной системе действия относительно греков. Но скоро потом Порта, убеждаясь, что Россия не смеет объявить ей войну, подумала, что мы тайком поджигаем возмущение. Она в этом смысле истолковала помощь, которую я оказал несчастным, и убежище, которое они нашли в русских владениях. Она с неудовольствием видела мои усилия предотвратить опустошение княжеств и убийства в столице; она с трудом принимала мои представления об оскорблениях, нанесенных христианской религии. Заявления России остановили, по возможности, общее восстание. Но это благодеяние было оплачено удвоенными жестокостями и преступлениями. Средства защиты у греков этим ослаблены, тогда как реакция стала кровожаднее прежнего. Кровь христианская льется повсюду, и невинный лишается жизни в видах отомщения некоторым виновным. Покровительственное вмешательство в дела княжеств, признанное за Россией трактатами, допущено, правда, по форме, но совершенно отстранено от дела. Я здесь игрушка коварной мстительности Порты, меня занимают пустыми переговорами, тогда как войска оттоманские действуют и предаются неистовствам. С презрением отвергают предложения справедливые и гораздо более полезные утеснителям, чем утесненным, ибо если бы они были приняты, то недоставали бы достаточного ручательства для великодушных видов императора. Услуги, оказанные императорским посольством, забыты. Каждое событие ведет к новому оскорблению, и мои старания удалить все то, что может оскорбить интересы турок, не производят на них никакого действия. Права русских подданных, интересы торговли явно нарушены. Наш флаг подвергся оскорблению, матросы убиты или ранены, и это

оправдывается радостью и жаром войск мусульманских! Меры произвольные, нарушающие наши привилегии, приняты, а мы не удостоены совещанием об них. Проход через Дарданеллы запрещен нашим судам, нагруженным хлебом. Велено осматривать корабли вопреки смыслу договоров».

Из донесений Строганова видно, что он считал войну необходимой и думал, что медленность со стороны России ведет только к большему кровопролитию. В ответ на свои донесения он получил следующую депешу: «Мы не можем скрыть от себя, что ход событий и особенно ошибки, которые Порты делает одну за другой с самой пагубной поспешностью, предвещают Турции близкую и неизбежную катастрофу. Вместо того, чтоб затушить революционный дух, Порты его распространяет; вместо того, чтоб погубить окончательно дело революции, она старается его облагородить; наконец, вместо того, чтоб доказать греческому народу, что заводчики смуты его обольщают и вводят в заблуждение, она всеми мерами доказывает ему, что ему больше ничего не остается, кроме отчаяния или смерти. Она вооружается не для собственной защиты и безопасности: она нападает на христианство. Она сама подает знак к беспорядку, призывая на помощь ярость слепого фанатизма; сама уничтожает для себя возможность существовать вместе с христианскими правительствами, как будто греческие революционеры заседают в ее советах и ведут ее к гибели. Если крайности, которым предаются турки, продолжатся; если в их владениях наша святая религия будет каждый день предметом новых оскорблений; если они будут стремиться к истреблению греческого народа — то понятно, что Россия, равно как и всякая другая европейская держава, не останется спокойной зрительницей такого нечестия и таких жестокостей. Мы не смешиваем заводчиков смуты и их приверженцев с людьми, которых турецкое правительство в своей беспокойной свирепости преследует с таким варварским ожесточением; мы не будем оспаривать у Порты права поставить первых в невозможность исполнить их планы; но Порты должна признать справедливым и необходимым успокоить вторых. Здесь вся трудность. Но Россия, сильная сознанием добра, которое она сделала грекам, и желанием доставить им спокойное пользование уступками, необходимыми для их гражданского существования и для их счастья, — Россия будет искренно трудиться

для получения этого полезного результата, если только турецкое министерство даст ей к тому средства. Если же турецкое правительство будет продолжать свою систему разрушения и нечестия, то вы должны оставить Константинополь со всеми чиновниками и людьми, принадлежащими к посольству».

Понятно, что эти события и вероятнейший исход их сильно беспокоили австрийское правительство, которое должно было отвратиться всеми силами не допускать до войны между Россией и Турцией: война с Россией отвлечет турецкие силы, поддержит восстание, необходимо поведет к связи между Россией и греками, тогда как сохранение дружественных отношений между Россией и Турцией отнимет у восставших всякую надежду, заставит их положить оружие и надолго уничтожит русское влияние на Востоке, ибо Россия оставит без помощи своих единоверцев. Узнавши о константинопольских кровавых сценах, о казни патриарха, Меттерних написал для австрийского интернунция в Константинополе графа Лютцова инструкцию, в которой говорилось: «Вся Европа исповедует христианство, империя Русская принадлежит к Греческой церкви; движение не замедлит сообщиться христианам, и правительства, самые приязненные султану, легко могут быть вовлечены в такие действия, которые по своим результатам будут гораздо опаснее для Порты, чем для государств христианских, взятых вместе». В то же время Меттерних написал графу Нессельроде: «Император приказал мне составить инструкцию для своего интернунция, которую я спешу сообщить вам. Вы убедитесь, что правота чувств моего августейшего государя нисколько не потерпит от разности исповеданий в религии истины и мира; казнь верховного пастыря Греческой церкви возбудила в императоре такое же чувство негодования, как если бы это преступление было совершено над верховным пастырем церкви Римской».

По поводу этого письма графу Головкину, русскому посланнику в Вене, поручено было представить австрийскому министерству, что турецкое правительство объявило войну религии, которую исповедует Россия, и предаст истреблению целый народ, в котором император принимает постоянное и искреннее участие по единству вероисповедания и по договорам. Император требует одного, чтобы Порта отказалась от системы, разрушающей ее собственное

владычество, и приняла другую систему, которая позволила бы ей существовать вместе с другими европейскими государствами. Император приглашает всех своих союзников соединить все свои усилия и дать почувствовать турецкому министерству необходимость такой перемены. Но каков бы ни был исход дела с турецкой стороны, император никогда не отступит от пути, им себе начертанного; его всегдашнее желание — поддерживать во всей неприкосновенности союз, столь счастливо установленный и наблюдаемый европейскими державами, следовательно, не иначе как по соглашению со всеми союзниками император желает видеть восстановление порядка на Востоке, чтобы обеспечить для Европы и с этой стороны консервативную систему. Император не думает, чтобы христианская Европа могла согласиться на истребление целого христианского народа, да и — оставя в стороне религию — одно человеколюбие не может допустить до такого печального снисхождения. Чем более император, по согласию со всеми союзниками, не одобряет предприятия зачинщиков греческой революции; чем прискорбнее для него мысль, что это событие, быть может, связывается с ненавистными происками заводчиков смуты в другом государстве, тем важнее, по его мнению, не дать людям преступным опасного торжества, или предоставив в их пользу последствия революции, если она получит успех, или позволив туркам истребить целый народ.

К этим общим рассуждениям присоединяются частные относительно России, ее положения, веры, ею исповедуемой, и договоров, заключенных ею с Оттоманской империей; но Россия никогда не будет действовать в своих исключительных видах и без соглашения с другими государствами. Россия требует от этих держав, чтобы они прямо сообщили ей свои намерения, свои желания, средства, по их мнению наилучшие для счастья Востока, если турецкое правительство, не приняв более благоразумных и умеренных мер, вызовет события, предупреждение которых для нее самой всего выгоднее; русское войско, готовое отразить всякое нападение с ее стороны, будет готово тогда осуществить план, который союзные дворы начертят по общему соглашению для отвращения несчастий, которыми турецкие смуты могут грозить другим государствам европейским. Но и в этом случае, как всегда, русское войско пойдет не для распространения границ империи, не для доставления ей перевеса,

которого она не желает, но для восстановления мира, для утверждения европейского равновесия, для доставления странам, из которых слагается Европейская Турция, благодеяний политического существования — счастливого и для других неопасного.

Смысл этих внушений был очень ясен. Турецкое правительство по своему характеру не может уладиться со своими христианскими подданными таким способом, какой может быть терпим христианской Европой вообще и Россией в особенности; следовательно, необходимо уладить дело вмешательством европейских держав по общему их соглашению. Порта не согласится допустить это вмешательство; надобно принудить ее к тому силой — и русское войско будет готово привести в исполнение приговор нового конгресса, причем русский император обязывается не думать о своих частных выгодах. Таким образом, Союз будет поддержан, и система, принятая Союзом, не будет нарушена; поход в Турцию будет предпринят также против революционеров, ибо если восставшие греки восторжествуют, то это будет торжество революции; если же восторжествуют турки, то известно, как они воспользуются своим торжеством, и это опозорит Союз, опозорит правительства перед народами. Император Александр писал к императору Францу: «Я не буду разбирать причин греческого восстания, но имею основание думать, что революционеры произвели революцию на Востоке с целью разобщить союзные державы. Я думаю также, что Союз, который победил их в Неаполе и Турине, предохраняя от заразы остальную Италию, победит их в Леванте, сопротивлением этому новому испытанию и свидетельствуя пред целым светом несокрушимость связей мира и дружбы, существующими между европейскими державами».

Европейские державы сочли опасным для себя принять русские предложения, к счастью для греков, разумеется, потому что в 1821 году конгресс, собравшийся по восточным делам, не мог бы постановить для греков таких выгодных условий, какие были постановлены в тридцатых годах. Не могли освободиться от страха пред могуществом России, предложения которой поэтому казались дарами данаев, и потеряли самое удобное время для решения Восточного вопроса наиболее сообразно со своими желаниями. Для Англии и Австрии была противна мысль о вмешательстве, и о вмешательстве под русским знаменем. Впустить русское войско в турецкие владения!

Русский император, правда, обязывается, что его войско будет только приводить в исполнение общие решения держав; но успехи этого войска (и как далеко будут простирались эти успехи?) разве останутся без влияния на будущие общие распоряжения? Турки будут противиться, и благодаря этому сопротивлению русское войско займет Константинополь; что тогда постановит конгресс для счастья жителей Балканского полуострова, — конгресс, на котором будет председательствовать владыка Византии? Во всяком случае, как бы в Петербурге ни золотили пиллюлю; как бы ни представляли, что поход будет направлен против революции, допустить этот поход — значит допустить противоречие принятой системе: в Италию войско ходило против возмущившихся подданных для восстановления законного правительства, а в Турцию войско пойдет против правительства, чтобы заставить его не очень строго поступать с возмущившимися подданными. Быть может, это все равно для людей, желающих установления общего европейского правительства, обязанного умерять движения и сверху и снизу, водворяя всюду правила человеколюбия, религии и нравственности, исполняя законные требования всех; но австрийский канцлер и английские министры вовсе не принадлежат к числу таких людей — для них это не все равно.

Как же быть? Надобно стараться протянуть время и не допустить до войны между Россией и Турцией. Средство к тому можно найти в самой сложности вопроса, в темноте, отсюда проистекающей. Вопрос представляет две стороны: общеевропейскую и частную — русскую; надобно сначала, для уяснения вопроса, разделить эти две стороны, заняться прежде требованиями России, которая считает себя оскорбленной, ищет удовлетворения; надобно уяснить, определить точнее эти требования. Они основываются на трактатах: надобно определить с точностью смысл трактатов — так ли толкуются известные статьи; можно начать длинные переговоры по этому случаю, а между тем султан покончит с греками; тогда можно будет уговорить его быть поспешнее, а Россию оставить в стороне, занять ее чем-нибудь на Западе.

В Вене было положено действовать осторожно, не раздражать русского императора, сдерживать султана. Лютцов, получивши инструкции в этом смысле, начал действовать ревностно, ревностнее, чем даже сколько желало его правительство, потому что был грекофил

и вполне сочувствовал русскому посланнику. Иначе поступал английский посланник в Константинополе лорд Странгфорд, который с островитянской бесцеремонностью выражал свое сочувствие к Турции и несочувствие к России. Граф Головкин должен был заявить австрийскому министерству, что в печальном положении барона Строганова в Константинополе единственным утешением были ему почти ежедневные знаки участия, оказываемые ему австрийским интернунцием; министры шведский и датский следуют благородному примеру графа Лютцова; но английский посланник не разделяет великодушных чувств своих товарищей. Вместо того чтобы поддерживать барона Строганова в печальной обязанности уяснять турецкому правительству его собственные интересы, лорд Странгфорд, наоборот, одобряет Порту в ее странных расположениях. Его постоянно холодное и не очень приличное обхождение с бароном Строгановым, возрастающая день ото дня приязнь к Дивану могли только усилить в турецком правительстве опасные надежды, что его ложные и жестокие меры найдут одобрение и поддержку в британском кабинете.

Действительно, между Диваном и представителем Англии была большая дружба. Порта с надеждой и сочувствием обращалась к Англии как к державе, не участвующей в Священном союзе, которого турки так боялись. Всевозможные, даже неслыханные почести были расточаемы лорду Странгфорду и его жене; предложен был и подарок — собрание медалей, конфискованных у казненного Ханджери, и благородный лорд принял его. За то Странгфорд признал за турецким правительством право забирать хлеб с иностранных судов в свои магазины, против чего протестовал Строганов; разумеется, при этом английский посланник определил цену, безобидную для своих купцов. Турецкие министры с восторгом выставляли разницу в поведении России и Англии: русский консул в Патрасе явился главным виновником восстания, английский консул там же первый предостерег Порту; Россия принимает к себе изменников. Ионическая республика отсылает их назад; английский флаг в Архипелаге будет защищать турецкие корабли против греческих разбойничьих судов, русский флаг развеивается на этих судах; они плавают с русскими паспортами, и русский консул в Хиосе, убежавши в Ипсару, вооружил там корабли, которые потом соединились с кораблями Гидры и Специи. Лорд

Странгфорд в своей речи уверял султана, что Англия никогда не допустит, чтобы кто-нибудь напал на турецкие владения; Строганов вопреки договорам отказывается возвратить азиатские крепости^[20] и хочет отнять у Порты право управлять провинциями, ей принадлежащими, и наказывать возмутившихся подданных.

Позволяя или предписывая своему посланнику такое поведение в Константинополе, английский кабинет старался убедить русское правительство, что оно должно терпеть все, что бы ни происходило в Турции, 16-го июля он сообщил в Петербург, что Англия оплакивает крайности, какие позволили себе турки, свирепствуя против греков; порицает поведение Порты относительно барона Строганова и дает своему посланнику приказание употребить все средства для обращения турецкого правительства к более умеренным принципам и к мерам, в которых русский император мог бы найти доказательство уважения к особе его представителя. В случае если Порта позволит себе какое-нибудь насилие против барона Строганова или кого-либо из его товарищей, лорд Странгфорд немедленно оставит Константинополь и объявит турецкому правительству, что английский король не может держать своего посольства в стране, где международное право и характер представителей иностранных государств более не уважаются. Если фанатизм и упорство турок сделают бесполезными все усилия лорда Странгфорда, Англия желает, чтобы Россия продолжала свою систему долготерпения, дабы дать туркам время успокоиться, покинуть свои заблуждения, перестать питать недоверчивость. Англия ласкает себя надеждой, что Россия продолжит свою систему долготерпения: во-первых, потому, что смуты турецкие нисколько не нарушают внутреннего спокойствия России; во-вторых, потому, что вооруженное вмешательство нарушит мир между Россией и Портой не только для настоящего времени, но и на будущее и, быть может, будет иметь печальные последствия для Европы; в-третьих, потому, что разрыв России с Портой будет торжеством для врагов порядка, ибо эти преступные люди были виновниками греческой революции и возбудили ее для того, чтобы занять Россию и воспрепятствовать ей следить за их пагубными заговорами и уничтожить их в других государствах европейских.

Графу Каподистриа поручено было написать замечания на эти странные сообщения. Относительно первой причины, почему Россия

должна была спокойно смотреть на турецкие события, он заметил: турецкие смуты сильно вредят самым существенным интересам южных областей России. Торговля черноморская остановилась. Княжества Валахия и Молдавия пользуются особенным покровительством России, и, несмотря на то, турки опустошают их, истребляют жителей. Относительно второй причины: если вооруженное вмешательство должно раздражать турок и увековечить вражду между двумя империями, то какие средства предложатся для того, чтобы успокоить Порту и восстановить между ней и Россией дружественные отношения? Умеренность одной стороны — это безнаказанность другой. С марта месяца какое вышло следствие нашей умеренности? Турки не откажутся добровольно от системы, которую преследуют, и нельзя их принудить к тому одними угрозами. Англия более всякого другого государства должна быть убеждена в этой истине. В 1807 году адмирал Дукварт грозил бомбардировать сераль и Константинополь, если Порты не порвет союза своего с Бонапартом. Порты осталась непоколебима. Халиб-эфенди, уполномоченный оттоманский, объяснил это явление одному из русских уполномоченных во время бухарестских переговоров: «Порты знала хорошо, что Англия не хотела ни овладеть сама Константинополем, ни отдать его России, и потому она знала, что ни сераль, ни столица не подвергаются никакой опасности». Турки таким же образом будут смотреть и теперь на угрозы разрыва. Относительно третьей причины: бездействием всего лучше помогать революционерам. Пока в Турции будет происходить резня, внимание России будет приковано здесь. Самое лучшее средство разрушить замыслы революционеров — это как можно скорее покончить греческую революцию.

И в Вене, и в Лондоне сильно желали покончить как можно скорее греческую революцию, но желали, чтобы она была покончена турками безо всякого вмешательства, тогда как в России считали турок неспособными покончить революцию и требовали вмешательства. В ответ на требование русского правительства переменить систему действия Порты отвечала, что эта система естественна и необходима; по объяснениям турецкого правительства, «греческий народ был осыпан благодеяниями Порты и за эти благодеяния отплатил гнусной неблагодарностью, вняв дьявольским внушениям. Порты, действуя по началам справедливости, ее характеризующим, и высокого

милосердия, которое постоянно испытывают ее подданные, вначале употребила только средства кротости и убеждения относительно изменников; она заставила патриарха проклясть заблудших членов греческой нации. Однако открылось, что этот самый патриарх, глава нации, был главой возмущения, ибо жители всех мест, куда были посланы грамоты с проклятиями, вместо того чтобы покориться, первые восстали. Жители области Калавраты, в Морее, родины патриарха, восстав первые, осмелились перебить попавшихся в их руки мусульман и наделали множество жестокостей всякого рода: отсюда ясно, что патриарх был главным виновником возмущения, и было доказано перехваченными письмами и документами некоторых верных подданных, что жители Морей, и особенно Калавраты, не могли бы начать возмущения, если бы не были в согласии и не были поддержаны патриархом. Каждое правительство имеет право брать и наказывать без милосердия подобных злодеев для поддержания доброго порядка и блага нации, и так как в подобных случаях не может быть вопроса о различии религии, исповедания, звания или характера, то высокая Порта, убедившись в виновности патриарха и его приближенных, свергла его с патриаршества, назначила другого на его место, и старый патриарх, ставший простым священником, понес заслуженное наказание. История Оттоманской империи представляет много примеров наказания патриархов по статусам империи, и хотя Порта не имеет нужды прибегать к статусам государств иностранных, однако при случае можно привести, что во время царя Петра I русский патриарх был наказан смертью за совершенное преступление, и потом патриарх был совершенно уничтожен. Удивительно, что такой образованный и ученый министр, как барон Строганов, мог не знать этого факта! По соглашению с русским двором Порта отправила войско в Дунайские княжества и успела истребить большое количество бунтовщиков; но всем известно, что княжества еще не совершенно очищены от них; следовательно, войска должны оставаться. Порта, согласно с договором, требовала выдачи бывшего господаря Михаила Сутцо и многих других беглецов, нашедших убежище в России. В одном из своих мемуаров русский посланник упомянул, что его двор принял беглецов под свое покровительство из великодушия. Высокая Порта не может не заметить, что договоры, устанавливающие взаимные отношения правительств, — одно, а личное великодушие — другое.

Между правительствами, связанными посредством договоров, нет большего великодушия, как исполнение этих самых договоров. Выдача этих беглецов особенно важна для Порты в настоящую минуту; в ней заключается самое верное средство к восстановлению порядка и спокойствия в княжествах, ибо страх, что беглецы могли найти убежище в России, особенно питал подозрение между победоносным народом магометанским. Высокая Порта сама не может избавиться от справедливого недоверия, пока эти беглецы находят покровительство. Но когда беглецы будут выданы на основании договоров, тогда будущие господа будут иметь поразительный пример перед глазами. Порта получит доверие и поспешит назначить и отправить господаря».

В конце июля барон Строганов уехал из Константинополя. В Вене нашли поведение Строганова сначала нерассудительным, потом страстным, наконец, вероломным и невыносимым. В Вене сочли нужным, чтобы сам император Франц в письме к императору Александру выразил порицание барону Строганову за его поспешный отъезд и торжественным тоном представил печальное состояние Европы, подкапываемой революцией, которая ожидает новой помощи — от войны России с Турцией: «Если общество обязано, быть может, своим сохранением нашему Союзу, то надежда, что оно может выдержать самый сильный кризис, может основываться только на этом же Союзе. Настоящий кризис превосходит все предшествовавшие, потому что мир в последние годы сделал огромные шаги к своей гибели и потому что настоящий кризис грозит подкопать самые могущественные основы и единственное средство спасения для Европы от нашествия самой неистовой демагогии. Все теперь поставлено на линию громаднейших рисков. Ваше величество и я, мы с первого раза угадали план дезорганизующей партии, мы до сих пор счастливо с ней боролись; наша обязанность — не заблудиться на дороге, которую мы проходим вместе, и доказать этой партии, что ее расчеты никогда не сделаются нашими и что сознание наших обязанностей сумеет всегда преодолеть ее хитрости и ее смелость. Я не могу выразить ту скорбь, которая объяла меня при известии об отъезде посланника вашего величества из Константинополя».

Высказывая порицание русскому посланнику за его нерасчетливость в таких важных обстоятельствах, император Франц продолжает: «Знаю, что отъезд русского министра не есть еще война

между вашим величеством и Портой; но Европа этого не знает, и зло, с которым мы должны бороться, более в Европе, чем в Турции. Вывод, который делает публика из событий, который революционеры внушат жертвам своего обмана, — этот вывод будет состоять в том, что между союзными дворами нет уже более солидарности. Я знаю личное положение вашего величества при нынешних жестоких обстоятельствах; потребна вся сила вашей души, чтобы эти обстоятельства не повели к великим несчастиям. Каждый день доставляет мне доказательства обширности и силы зла, произведшего катастрофу, которая нас теперь занимает; каждый день обнаруживает пружины, приводимые в движение для поддержания пожара, и силу, направляющую всецело машину. Верьте, государь, моим словам; я поставлен так, что часто могу предчувствовать истины, прикрытые обманчивой наружностью. Достаточно наблюдать за людьми, которые теперь с необыкновенным жаром защищают самозванные христианские интересы. В Германии, Италии, Франции и Англии — это те самые люди, которые не верят в Бога, не уважают ни Его заповедей, ни законов человеческих. Не думайте, государь, что я не разделяю ваших желаний и ваших забот о благе христианского угнетенного народа; но мы сделаем зло, если противопоставим одну религию другой и если, удалясь с политической почвы, мы поставим себя на почву борьбы, которая имеет мало границ и которой результаты трудно предвидеть».

Итак, не должно сходить с политической почвы. Но это чрезвычайно трудно в Восточном вопросе; трудно даже для князя Меттерниха, который в своих инструкциях графу Лютцову принужден был сойти с политической почвы и смотреть русским взглядом. «Порта, — писал австрийский канцлер, — имеет несомненное право требовать выдачи греков, бежавших в Россию; но в то же время мы видим невозможность исполнить эту статью договора, — невозможность, заключающуюся в общем положении дел европейских и в особенном положении русского императора. Султан не может отказаться от Корана, и русский император не может предать своих единоверцев мечу оттоманскому. Все сделано, чтоб бунт превратить в религиозную войну, — и цель, к несчастью, достигнута; таким образом, дело пойдет более о бунтовщиках, но о единоверцах, и не русский император установил это различие! Пусть султан поймет, что теперь государствам легче ввести в Турцию миллион солдат, чем

удержаться на линии, соответствующей их договорам и, признаемся откровенно, соответствующей интересу всех сторон. Если Дивану известно настоящее расположение умов в Европе, то он не усомнится, что страсть к приключениям двинет на азиатские поля целые народы, снабженные всеми средствами к войне, привыкшие к дисциплине, неизвестной в средние века, и которым тесно в пределах государств европейских. Итак, оттоманское правительство имеет неоспоримое право настаивать на выдаче своих бунтовщиков, убежавших в Россию; но этому праву мы противопоставляем наше чувство невозможности, в какой находится император Александр выполнить свой договор».

Князь Меттерних требовал от султана и Дивана, чтобы они вникнули в состояние умов в Европе и сошли с политической почвы в интересе России и Европы, тогда как султан, естественно и необходимо, давно уже сошел с политической почвы, только в собственном интересе, в интересе и духе своей религии. «Султан не может отказаться от Корана, и русский император не может выдать своих единоверцев» — этими словами высказывалась вся сущность Восточного вопроса, вся невозможность решить его теми средствами, которые хотел употребить австрийский канцлер, а именно — напугать Диван, заставить его отказаться от требования выдачи бежавших греков, быть податливей к требованиям России относительно частных русских интересов и обходить главный вопрос.

Россия продолжала предлагать другие средства; она говорила Австрии и Англии: «Вы сами убеждены, что теперь турецкое правительство „в безвыходном“ хаосе своих непоследовательностей», не имеет никаких средств быстрого и верного спасения и еще менее оно может найти эти средства, «когда будет истощено собственными конвульсиями»^[21]. В Молдавии и Валахии почти все начальственные лица и огромное большинство жителей остались верны султану, и, однако, мусульманские войска опустошили страну. В виду южных областей России турки совершают свои неистовства, подробности которых возмущают человеческое чувство. Разве такое поведение может внушать надежду, что турецкое правительство возвратится к принципам умеренности? Оно произведет то, что греки не поверят никаким обещаниям султана и откажутся навсегда подчиниться его власти. Опыт показывает, что и в странах цивилизованных революция есть продолжительное бедствие, от которого могут излечить только

медленное действие времени и мудрость просвещенного правительства. Чего же надобно ожидать от восточной революции и от турецкого правительства, которому будет предоставлено лечить от нее? Наконец, если борьба продолжится, здравая политика может ли позволить видеть равнодушно — здесь разрушение и мщение, там постоянную анархию? Русский император будет простирать свое долготерпение до крайней возможности; но всему есть пределы: обязанности религиозные и политические, заботы о благосостоянии самых прекрасных областей России, интересы торговли, честь флага полагают пределы его терпению. Нет сомнения, что одновременное действие держав, согласное с принципами Великого союза, возвратит Востоку спокойствие и счастье. Нет сомнения также, что успех их общего действия укрепит еще более европейскую систему. Никто более русского императора не желает мира; но он желает такого мира, какого должен желать, — мира, который позволил бы ему исполнить все его обязанности относительно своих единоверцев, — мира, какой был до марта месяца.

Австрия и Англия не хотели понять, что для России главное был Греческий вопрос. Меттерних и Касльри свиделись осенью в Ганновере и порешили, что греческое восстание гораздо более европейское, чем турецкое, дело; гораздо более дело революционной партии в образованных странах Европы, чем результат желания греков свергнуть турецкое иго. Порешили, что если революционная партия желает изгнания турок из Европы, то надобно желать противоположного, то есть сохранения Турецкой империи в Европе. Ибо что поставить на место Турции? И какими средствами действовать тут? Всякое крупное изменение на политическом поле они признали вредным; решили, что прежде всего надобно восстановить дипломатические сношения между Россией и Портой. «Можно ли думать о мире, — отвечало им русское министерство, — когда в Молдавии и Валахии турецкие войска увеличиваются, вместо того чтоб уменьшаться; укрепляются, вместо того чтоб очищать княжества? Военная и мусульманская администрация продолжает увеличивать здесь число бедствий. Турецкие солдаты беспрестанно производят новые беспорядки. Священники еще раз были истреблены, и монастыри превращены в пепел. Даже сцена неистовств и резни расширяется. Остров Кипр, который никогда не принимал участия в

восстании, залит христианской кровью; жители доведены до такого отчаяния, что многие из них отказались от христианства. Какую возможность имеет турецкое правительство удовлетворить нашим требованиям — видно из собственных ваших утверждений, что турецкое правительство слабо; что янычары наводят на него ужас; что Порты очень часто не бывает в состоянии прекратить беспорядки и заставить себя слушаться. Старайтесь всеми силами, чтобы турецкое правительство исполнило немедленно наши предварительные требования; но мы желаем не однодневного мира, а мира прочного. Повторяем, что, когда ничто не будет в состоянии открыть глаза Дивану насчет собственных его интересов, и тогда император, принужденный прибегнуть к оружию, употребит это оружие не для расширения русских пределов, не для усиления своего политического влияния, а только для того, чтобы выполнить свои обязанности к своему народу, с одной стороны, к своим единоверцам — с другой; от выполнения этих обязанностей он никогда не откажется. Император будет сражаться не за исключительные интересы России, но за интересы всех, и среди своей армии он будет действовать так, как бы был окружен представителями Австрии, Франции, Великобритании и Пруссии».

Но Австрия и Англия, продолжая обходить Греческий вопрос, старались всеми силами заключить мир между Россией и Турцией, хотя бы однодневный: и в один день известие об этом мире отнимет руки у греков и заставит их покориться Порте. Турецкое правительство уже объявило, что не будет требовать выдачи бежавших в Россию греков, но упорствовало в очищении княжеств и в назначении для них господарей. Лорд Странгфорд для прекращения этого упорства прибегнул было к подкупу: английское правительство предоставило в его распоряжение на этот случай 50.000 фунтов стерлингов; но попытка не удалась. Окончательный разрыв Порты с Россией пугал дипломатов еще в другом отношении; лорд Странгфорд писал Касльри в конце 1821 года: «Мои товарищи и я, зная обстоятельства страны и дух, развитый ими в народе, испытываем жестокое беспокойство, чтобы война не навлекла на греческий народ жесточайшие бедствия, хотя для своего оправдания и для своей цели и будет иметь интересы человечества. Ярость турок не сдержится мыслью о верном возмездии, и несчастный народ, в пользу которого война будет объявлена,

пострадает до последнего человека. Дней десятому назад янычарскому отряду было дано приказание готовиться к походу; начальники его отвечали, что готовы к выступлению, но двинутся не прежде, как все греки в Константинополе будут умерщвлены или изгнаны в Азию». Лорд Странгфорд по внушениям из Вены признал, что английские интересы не требуют при столкновении России с Турцией непременно, самым грубым образом, по душевному желанию, становиться сейчас же на сторону Турции; Меттерниху удалось убедить его, что в английских интересах играть примирительную роль, убеждать турок к уступчивости относительно России. По свидетельству Гёнца, Меттерних нашел в Странгфорде превосходное для себя орудие; что английский посланник в Константинополе действовал по внушениям из Вены, признавал и сам Странгфорд. Но лучше всех свидетельств Гёнца письма и разговоры Странгфорда показывают, что он переменял прежнее поведение и действовал в примирительном, меттерниховском духе.

В начале 1822 года в Константинополе между лордом Странгфордом и рейс-эфенди шли любопытные переговоры.

Рейс-эфенди: Мы уверены в ваших добрых намерениях; все, что вы ни скажете, не будет истолковано нами в дурном смысле. Вы наш друг, и мы вам верим.

Л. Странгфорд: Дай Бог, чтоб было так. Вопрос, который нас занимает, поставлен в самые узкие пределы. Очистите княжества, восстановите там прежнее управление, излечите зло, которое произведено в несчастных областях вашими войсками, не знающими дисциплины; назначьте господарей (если не из греков, то из тамошних бояр) и таким образом докажите нам, что вы не противны системе общего замирения, столь счастливо установленной в Европе. Сделайте это, и все европейские государства будут вашими друзьями, все будут помогать нам уладиться с Россией. Откажитесь это сделать или, что также плачевно, медлите этим, и через месяц вы увидите у себя громадную армию, какой еще никогда не выставляла Россия. Вы увидите русский флот в Архипелаге, готовый помогать вашим врагам; наконец, вы потеряете дружбу всех держав европейских, которые своими стараниями отклоняли войну до сих пор. Пришло время, когда вы должны отвечать: да или нет. Какой же из этих ответов я должен от вас услышать?

Рейс-эф.: Но с какой стати у нас будет война? Мы требуем только немного времени для улаживания наших внутренних дел. Русский император справедлив, он не может почитать наши требования несправедливыми. Он не желает войны, но есть люди подле него, которые ее желают.

Л. Странг.: Не давайте вводить себя в заблуждение мыслью, что европейские правительства завидуют друг другу и что они станут опасаться России, когда она будет в войне с вами. Напротив, они знают, что Россия заступается за их дело, защищая святость договоров.

Рейс-эф.: Но отчего вы не хотите дать нам немного времени? Зачем понуждать нас сейчас же очищать княжества? Мы вас уверяем, что сделаем это, как скоро греческий мятеж будет достаточно укрощен и мы будем в состоянии очистить княжества без опасности для себя.

Л. Странг.: Укрощение мятежа зависит существенно от мира с Россией, а последний не может состояться без очищения княжеств. Выполните ваши договоры с Россией, и главная надежда мятежников исчезнет. Во время войны у вас с Россией ваши настоящие враги сделаются друзьями, быть может, союзниками России, которой тогда уже нельзя будет их оставить. Греки получают время образовать что-нибудь похожее на правильное правительство, и когда вы будете принуждены заключить мир, то должны будете признать это правительство. Если бы какая-нибудь из дружественных держав предложила вам двенадцать линейных кораблей и 30 или 40.000 войска против мятежников, то вы сочли бы себя очень счастливыми и были бы очень признательны; мы вам предлагаем для укрощения мятежа средство равно действительное, да еще гораздо выгоднее, потому что не будет стоить Порте ни гроша, ни капли крови мусульманской. Объявите по всей империи возобновление ваших дружественных сношений с Россией, и вы увидите, что греки будут просить у вас помилования, ибо они смотрят на русскую войну и на сильное отвлечение, какое она производит в их пользу, как на последнее средство спасения.

Рейс-эф.: Но зачем Россия требует немедленного очищения княжеств? Какая выгода ей от этого немедленного очищения?

Л. Странг.: Выгода та, что она освободится от унижения в глазах целой Европы, от унижения оставаться спокойной зрительницей вопиющего нарушения своих договоров; выгода — успокоить

собственных подданных, недовольных тем, что правительство не защищает их единоверцев; наконец, выгода — освободиться от этого несносного междуумочного состояния, которое не есть ни мир, ни война.

Рейс-эф.: Но мы также должны уважать национальную волю. Если бы мы захотели вывести свои войска из княжеств, то народ скажет: «Вы теряете из виду очаг возмущения, оно возгорится там опять»; и если мы назначим господарей из греков, то каждый мусульманин завопит: «Вы ободряете и награждаете изменников, вместо того чтоб их наказывать».

Л. Странг.: Константинопольская чернь не знает, сколько у вас войска в княжествах — 500 человек или 50.000; и скажите, пожалуйста, как сведает константинопольская чернь о ваших нотах к вам и ваших обязательствах, например, если вы обяжетесь, что в определенное время в княжествах не будет ни одного турецкого солдата и господари будут назначены? Но я вам скажу, что чернь может узнать и что она поймет очень хорошо — это именно, должна ли она будет или нет умирать с голоду, — вопрос, который долго не останется нерешенным, если война возгорится. Точно так же народ поймет свое настоящее положение, когда узнает, что в одно прекрасное утро английское посольство и английские консулы выедут из Константинополя. Тот, кто возьмет на себя распространять эту новость, гораздо скорее произведет мятеж, чем тот, кто станет толковать о внутреннем устройстве двух отдаленных провинций, которых имя даже неизвестно половине константинопольского народонаселения.

Рейс-эф.: В Константинополе и других местах заметно неудовольствие; люди неблагонамеренные ждут только предлога, чтоб приступить к действию, и они получают предлог, когда узнают, что господари назначены из греков, из того народа, который положил уничтожить исламизм и имя мусульманское. Мы не можем вывести свои войска и послать их опять в случае нового мятежа в княжествах. Это было бы слишком жестоко относительно жителей, ибо тогда войска в слепой ярости опустошили бы вконец княжества.

Л. Странг.: Так вы опустошаете княжества теперь, чтоб не опустошать их потом; я не понимаю такого особого рода милосердия к жителям.

Рейс-эф.: Это неправда, мы не опустошаем княжеств, наши войска ведут себя хорошо.

Л. Странг.: Я могу вам доказать противное. Я видел официальные сообщения. Но чтоб возвратиться к нашему предмету, позвольте напомнить вам, что вы обещали очистить княжества в короткое время; не угодно ли точно определить это время, например в месяц, начиная с нынешнего дня?

Рейс-эф.: Мы не можем определить времени: может быть, меньше чем в месяц, может быть, меньше чем в неделю. Только мы одни можем судить о нашем внутреннем положении и решать, когда оно нам позволит исполнить требуемое вами. Будьте уверены, что мы его исполним скоро. Мы не хотим войны; мы не сделаем ничего, чтоб ее вызвать. Мы выполним наши договоры буквально, но имейте к нам доверие и позвольте нам управлять своим народом по-своему.

Турки никак не могли понять того, что так хорошо понимали в Вене и Лондоне, — что мир Порты с Россией убьет греческое восстание. Но как же в Вене и Лондоне могли надеяться, что в Петербурге позволят русским миром убить греческое дело? Если в Вене и Лондоне били на то, чтобы отделить русский мир от греческого замирения, то могли ли на это согласиться в Петербурге? В Вене и Лондоне ласкали себя надеждой, что это разделение может произойти вследствие предполагаемого разделения между русским императором и его кабинетом. Меттерних писал Лютцову: «Император Александр вполне убежден, что война будет бичом для него и для Европы... Он не желает ничего больше, как быть выведенным из ложного положения, в какое вовлечен своим кабинетом. Действия последнего рассчитаны на сопротивление Дивана всем русским требованиям; если Диван будет противиться немедленному очищению княжеств, то это будет торжеством для кабинета. Я вам представляюздесь вопрос во всей его простоте. Я понимаю, что Порта находит некоторое затруднение при переводе наших бумаг; но эти бумаги предназначаются не для одной Порты, а для других дворов, которые их понимают. Наши рассуждения — для Петербурга, наши простые требования — для Константинополя. Если бы мы могли составлять наши бумаги отдельно для обоих мест, то дело было бы легче. В таком случае наша последняя нота Дивану заключалась бы в следующем: «Ваше дело правое перед Богом и перед людьми. Интриги, которые все

сходятся в русском кабинете, приготовили, начали и поддерживают восстание ваших подданных. Однако вы должны были вести себя иначе, чем как вы вели себя; вы должны были нам верить и отделить намерение русского монарха от действий некоторых из его министров. Все это, впрочем, дело прошлое. Займемся настоящим. Хотите войны, так ведите ее. Не хотите войны, так не играйте игры ваших противников. Чем больше вы будете уступать их требованиям, тем меньше вы сделаете им удовольствия. Вы можете согласиться на все, чего от вас требуют, потому что требования справедливы; они не были бы справедливы, если бы люди, желающие смуты, не рассчитывали на то, что вы их отвергнете, и тогда они оснуют разрыв с вами на видимой умеренности со своей стороны. Следуйте нашим советам, потому что они подаются в вашем интересе, а не в интересе партии, которая рассчитывает на ваши ошибки гораздо более, чем на справедливость своего дела».

Граф Головкин был человеком кабинета в глазах Меттерниха, человеком, не имевшим достаточно доверия к Австрии, позволявшим себе не соглашаться с «дипломатическим гением» относительно Восточного вопроса. Меттерних старался показать ему, что в этом вопросе две части, то есть восстановление силы договоров — что предоставляется России и замирение греков — что может быть предметом коллективного действия. Головкин заметил на это, что, предоставляя первую часть одной России, союзники лишают ее средств помочь им во второй, ибо в таком случае должно произойти одно из двух: или война, или совершенный застой в отношениях России к Порте. В обоих случаях замирение греков становится невозможным для союзников; для достижения этого замирения единственное средство — присоединиться к России и заставить Порту восстановить силу договоров, ибо только в таком случае Россия может в свою очередь присоединиться к коллективному действию в пользу греков.

Канцлер настаивал на невозможности смешения обеих частей вопроса; признался, что провести демаркационную линию между ними чрезвычайно трудно, но при взаимном доверии трудности проблемы могут быть отстранены ко всеобщему удовольствию.

К несчастью, заметил Меттерних, этой взаимности нет; Австрия питает более доверия к России, чем Россия к Австрии. Головкин так

отзывался о ходе дел по Восточному вопросу: «Если проследить все бумаги, полученные нами от двух кабинетов, лондонского и венского, по поводу дел турецких, то непременно придем к заключению, что все они содержат в себе только следующие немногие слова: „Вы правы, а турки виноваты, если вы будете сохранять мир; если же возгорится война, то вы будете виноваты, а турки правы, что бы вы ни делали для избежания войны“. Интересы частной политики исключительно заменили обязанности политики общей».

В начале 1822 года в Вену приехал на помощь Головкину для ведения трудного дела по Восточному вопросу другой уполномоченный русского императора, сенатор Татищев, который получил такой рескрипт от своего государя: «Я не хочу войны. Я это доказал. Я это доказываю еще вашим отпращиванием и приказаниями, данными моим представителям у дворов лондонского, парижского и берлинского. Но предотвратить войну можно, только обратившись к туркам от имени Европы и говоря с ними языком, ее достойным. Дело пойдет о том, чтоб сделать из Турции державу европейскую: дело идет о том, чтоб заставить ее снова занять место, которое она занимала в политической системе в марте месяце прошлого года. Надобно спасти ее силой. Попытки, постоянно возобновляемые и всегда бесполезные, поведут к тому, что союз потеряет всякое уважение. Порта делается неисправимой, и, конечно, не такую соседку хотят завещать союзные дворы России для упрочения системы, на которой основывается спокойствие Европы».

Впечатление, произведенное Татищевым в Вене, было таково, что он приехал не только безо всякого определенного плана, но безо всякой ясной идеи о средствах прекратить настоящую запутанность в делах; подобно тем, которые его прислали, он единственно рассчитывал на дружественное расположение венского двора и на дипломатический гений князя Меттерниха. Не зная, что должно делать для избежания войны с честью и особенно для успокоения императора, он питал неопределенную надежду, что сыщет в Вене средство к решению этой проблемы. Впоследствии Меттерних хвалил Татищева за то, что он действовал согласно с желаниями венского кабинета. Если его объяснения и представляли оттенки, то они происходили от затруднительного положения посланника, у которого были две инструкции, не только различные, но даже противоположные

(инструкция императора и инструкция кабинета!). Со своей стороны Татищев убедился, что австрийский канцлер желает предложить систему обмана, которую он принял относительно России, и что он откажется от нее только тогда, когда увидит, что Россия его поняла и решила не даваться более в обман. Тогда он уступит России все, в чем не посмеет отказать.

Татищев приступил к Греческому вопросу. «Я думаю, — сказал он Меттерниху, — что греки скорее дадут себя истребить до одного человека, чем согласятся идти в прежнее рабство; с другой стороны, силы султана недостаточны для их порабощения; как же союзники могут смотреть равнодушно на продолжение подобной борьбы?» Меттерних заметил, что союзники должны согласиться насчет будущей участи греков. Татищев рассказал ему, что в Петербурге думают устроить эту участь высвобождением греков из непосредственных отношений к турецкому правительству. Меттерних отвечал, что невозможно получить от Дивана такие важные уступки под формой политической, но, быть может, можно доставить грекам те же выгоды мерами законодательными. Татищев объявил, что Россия согласится поручить ведение новых переговоров Австрии, если будет определено, какое положение примет Австрия относительно Порты, когда последняя не согласится на предложенные ею условия. «Чего же вы от нас хотите?» — спросил Меттерних. «Чтоб вы порвали с ней сношения», — отвечал Татищев. «Как, отозвать интернунция?» — «Без сомнения». — «Так вы хотите бросить Порту совершенно в объятия Англии? Английский посланник там останется, — и султан будет видеть в нем единственную опору!» — «Мы не завидуем доверию, какое Порта оказывает Англии, и в всяком случае мы примем последствия на свой счет. Но от вас мы потребуем этого доказательства согласия, царствующего между нашими двумя монархами». — «Но лучше, чтоб все согласились; надобно узнать мнение английского кабинета». — «Условимся вдвоем и потом вместе будем работать в Лондоне, чтоб и там принято было наше решение». — «Это значит все потерять, союз разрушится». — «Отчего же?» — «Увидят, что мы более связаны с вами, чем с другими». — «По моему мнению, ничто не может дать такой прочности союзу, какискреннее единение между двумя императорскими дворами». —

«Без сомнения; но не должно этого выказывать; впрочем, мы еще поговорим обо всем этом».

Из Константинополя пришли дурные вести. Диван, видя, с одной стороны, настойчивость Англии и Австрии, чтобы Порта удовлетворила русским требованиям, с другой — видя раздражение между мусульманами против христиан, не хотел взять дела на свою ответственность и созвал Совет из главных сановников государственных, членов администрации, янычарских депутатов и ремесленных старост в Константинополе. Число призванных было более двухсот. На другой день, после совещания, началось волнение в Константинополе, которое правительство утишило без труда; но интернунций получил извещение, что Порта отлагает на неопределенное время вывод войск своих из княжеств; что она не нарушила ни в чем договоры и требует, чтобы Россия очистила азиатские провинции, занимаемые ею с Бухарестского мира, и выдала бежавших греков. Меттерних именем императора Франца объявил Головкину и Татищеву, что нота турецкого правительства не может быть принята; что интернунцию послано приказание возвратить ее Порте с кратким заключением, что неприлично было поручать венскому кабинету подобную передачу союзному кабинету русскому. Меттерних объявил, что император Франц не только признает за императором Александром право принять все меры, какие он сочтет нужными, относительно Порты, но и не поколеблется присоединиться к инициативе, какую император Александр примет в этом случае, и поддерживать ее всеми зависящими от него средствами; что сообщения, составленные в этом смысле, будут отправлены ко всем союзным дворам для соглашения о том, какое положение принять относительно Порты, причем венский кабинет подаст мнение об отозвании из Константинополя посольств и об оставлении там только агентов для покровительства торговле. Но при этом Меттерних прочел несколько отрывков из журнала австрийской миссии в Константинополе, в которых указаны интриги греков в столице, чтобы заставлять Порту поступать вопреки ее интересам, также указаны интриги революционного комитета в Одессе. Цель всех этих интриг — заставить Порту думать, что настойчивые требования Англии и Австрии клонятся только к тому, чтобы напугать ее и склонить к уступкам.

В этом заявлении Меттерниха русским министрам выразился весь страх, нагнанный на него известиями из Константинополя: Турция отвергла решительно требования России; значит, последней ничего более не остается, как двинуть свои войска; какое торжество для бунтовщиков-греков, для воинственного русского кабинета, для Каподистрия; какое поражение и опасность для Австрии! Единственный выход для последней — не дать России действовать одной. Потом страх начал проходить, явилась надежда. Император Александр не хочет войны — это ясно; войны хочет только кабинет. Император Александр, по своей любимой мысли, не хочет действовать один, следовательно, можно протянуть время в переговорах с союзниками, а между тем можно заставить и турок переменить свое решение: их нота официальным образом не передана в Петербург, официально петербургский кабинет не знает об оскорбительном ответе Порты.

12-го апреля был составлен протокол конференции между Татищевым, Головкиным и Меттернихом: «Русские уполномоченные объявили, что е. в. император, питая искреннее желание доказать союзным монархам, как он дорожит сохранением мира с Оттоманской Портой, ограничил таким образом условия, на которых дружественные сношения между Россией и Турцией могут быть поддержаны: император удовольствуется заявлением, сделанным прямо его министерству Портой, что она признает право России на основании договоров требовать неприкосновенности греческой религии, возобновления разрушенных церквей и по отношению к восставшим грекам справедливого различия между невинными и виновными. Предварительно Порта очищает совершенно и немедленно княжества Молдавию и Валахию; временно поручает управление этих стран Диванам под председательством греческих каймакамов, избранных Портой по правилам, установленным для назначения господарей; высылает уполномоченных для соглашения с русскими уполномоченными о мерах, которые она соединенно с Россией примет для доставления мирного и счастливого существования своим христианским областям, договорами поставленным под покровительство России и плачевными событиями увлекающимся в бездну революции. Если Порта не согласится исполнить этих требований, император Австрийский объявит ей, что он не будет

помогать ей ни прямо, ни посредственно, и признает справедливым дело России. Для доказательства заводчикам смут европейских, что Союз между державами крепче прежнего, император Австрийский отзовет из Константинополя своего интернунция и порвет все сношения с Портой, по крайней мере ограничится оставлением в Турции дипломатических агентов для торговли. Относительно греков общие меры должны состоять в следующем: прекращается война в восставших областях; Порте обеспечивается спокойное обладание ими; постановляется, что мирные жители восставших областей и те, которые положат оружие, будут пользоваться религиозной свободой; их имущество, личность и жизнь будут находиться под постоянным и действительным обеспечением. Князь Меттерних, воздав хвалу чистоте намерений императора Всероссийского и умеренности предложений, сделанных его уполномоченными, объявил, что император, его государь, не может советовать своему августейшему другу и союзнику никакой перемены в своем ультиматуме; признает, что оттоманское правительство не сможет замирить восставшие греческие провинции без содействия России; что это замирение не будет прочно, если участь греков не будет решена на основаниях, предложенных русскими уполномоченными, и если их отношения к турецкому правительству не будут поставлены под могущественную гарантию Великого союза. Несмотря на то, так как предложение русского вмешательства не основывается ни на каком предшествующем договоре и Порта может отвергнуть его, а союзники не будут в состоянии его поддержать, то необходимо основать переговоры на другом принципе. Для достижения этой цели император Австрийский готов совещаться с союзниками относительно основания и способа негоциации. Но, желая дать своему августейшему другу и союзнику самое сильное доказательство своего безграничного доверия к его правосудию, умеренности и мудрости, император Австрийский объявляет, что за одним русским императором остается право решить: настоящее положение его империи относительно Порты может ли быть продолжено, или необходимо прибегнуть к оружию. В последнем случае император Австрийский не только не окажет Порте никакой помощи, ни прямой, ни посредственной, но признает обязательным для себя и для своих союзников отозвание из Константинополя их представителей и будет с новой силой настаивать у кабинетов на

принятии этой меры. Русские министры, приняв объявление господина канцлера относительно отозвания миссий, предоставили себе повергнуть на решение императора, своего государя, предложения насчет греческих восставших провинций».

Меттерних отказался подписать этот протокол, настаивая на том, что Россия по договорам не имеет права покровительства над христианскими областями Турции, которые теперь восстали против власти султана. Вместо подписания протокола канцлер прислал ноту, сущность которой состояла в следующем: «Столкновение между Россией и Турцией должно решиться или путем переговоров, или оружием. В первом случае необходимо соглашение с союзниками относительно основания и способа, как начать переговоры с Портой. В плачевном случае разрыва император не поколеблется отозвать из Константинополя своего представителя и прекратить дипломатические сношения с Портой; но он убежден, что такое решение должно быть общее для всех союзников, для чего уже и сделаны надлежащие сообщения кабинетам французскому, великобританскому и прусскому». Одновременно с этой нотой Меттерних составил следующий меморандум, который Татищев должен был взять с собой в Петербург для представления императору Александру: «Е. в. император Русский заявил неизменное решение в своих действиях по Восточному вопросу — не нарушать политической системы, которая теперь служит основанием спокойствия Европы и сохранения общественного порядка. Это решение обязывает кабинеты соединить все свои силы для такого решения вопроса, которое соответствовало бы и справедливым желаниям его величества и охранило бы Европу от опасностей, какие могут произойти для нее из восточных беспорядков. Перед нами двоякого рода вопросы: юридический, касающийся исполнения договоров, и вопрос общего интереса. Исполнение договоров не может встретить никакого затруднения: уважение к договорам есть основа народного права в Европе. Вопросы общего интереса должны иметь свой источник в желаниях, одобренных пред трибуналом благоразумной политики и человеколюбия. Они должны соединять интересы тех, к которым обращены требования, с интересами тех, в пользу которых делаются уступки. Так как дело пойдет об ограничении верховной власти султана, то желания кабинетов не выйдут из круга законов и управления. Австрия наравне

с другими державами не признает права вмешательства во внутренние дела государства, если перемены, в нем происходящие, не угрожают непосредственно безопасности соседних держав. Но в настоящем положении Турецкой империи существуют отношения, которые заставляют державы искать способ успокоить Турцию не посредством утишения смуты, купленного потоками крови, но посредством прочного мира, без которого нет обеспечения для существования Турецкой империи и для спокойствия Европы. Эта необходимость есть единственное основание права и единственное средство относительно Порты. Чтоб работать на этом основании, прежде всего необходимо, чтоб Порта объявила действительную амнистию, и необходимо, чтоб инсургенты подчинились ей. Что касается княжеств, то достаточно их очищения восстановлениями прежнего порядка и сохранения прав, выговоренных трактатами. Морея и острова имеют многообразное управление; разумные, с верховной властью Порты удобосоединимые желания христианского народонаселения этих стран могут быть выражены в следующих условиях: свободное исповедание религии; юридические определения для безопасности личной и собственности; правильное судопроизводство. Так как Диван готов выполнить трактаты и спор идет только о времени и способе исполнения, то надобно требовать от Дивана немедленного очищения княжеств и восстановления в них прежнего порядка; надобно настоять, чтоб Порта в известный срок дала амнистию, и уверить ее, что союзники готовы всеми силами понуждать инсургентов к ее принятию; надобно требовать назначения уполномоченных, которые с уполномоченными России и союзных держав должны совещаться о средствах доставить Турецкой империи скорый и продолжительный мир».

Император Александр, желая прежде всего скорого разрешения Восточного вопроса по той связи, в какой он представлялся ему с общим положением Европы, принял австрийский меморандум в основание этого решения, и Татищев возвратился в Вену, чтобы здесь вместе с представителями других четырех великих держав участвовать в конференциях, которые должны были подготовить дело для конгресса, назначенного осенью 1822 года в Вероне.

Таково было решение Восточного вопроса, выработавшееся в австрийских или англо-австрийских руках в первый год греческого восстания. По-видимому, австрийский канцлер торжествовал: дело

было в его руках, воинственная, грекофильская партия в России была поражена, Каподистриа признал нужным выйти в отставку. Несмотря, однако, на эту наружность явлений, «дипломатический гений» потерпел сильное поражение. Он хлопотал изо всех сил о том, чтобы не допустить до войны между Россией и Турцией, будучи уверен, что известие о восстановлении между ними дружественных сношений отнимет руки у восставших греков и заставит их безусловно покориться султану. Но, удерживая Россию от войны, Меттерних этим самым придавал дух Порте, которая считала неопасным для себя упорствовать в неисполнении русских требований, считая настаивания английского посланника и австрийского интернунция только пустыми угрозами. Греки, одушевляемые надеждой, что не нынче, так завтра война возгорится, продолжали борьбу, и дело пришло к тому, что для избежания войны вопрос был передан на общее решение великих держав, причем надобно было определить и уступки восставшим грекам. Как бы ни были умеренны эти уступки, но Австрия признала необходимость их сделать; скрепя сердце, с оговорками, ничего не выражающими, признала необходимость вмешательства во внутренние дела Турции, и не с тем, чтобы поддержать султана против бунтующих греков, но чтобы заставить его сделать уступки мятежным подданным. Но это еще только первая неудача «дипломатического гения» в его борьбе против истории.

Второго поражения для австрийского канцлера нельзя было ожидать на новом конгрессе, который собирался при обстоятельствах, чрезвычайно благоприятных для системы венского кабинета. Тайные общества продолжали действовать. Испанская революция доходила до крайностей, напоминая исход французской революции. 1 января 1822 года Меттерних писал императору Александру: «Для Испании наступил кризис. Судьба, ожидающая эту страну, поставлена вне всяких расчетов, 1793-й год был для Франции естественным, необходимым и полезным результатом 1789 года. 1822-й год будет для Испании результатом 1820 года. Пример Франции забыт в Европе и, таким образом, потерян для нее. Провидение в своих тайных намерениях поставило пред очами людей второй пример. Оно напоминает людям простой и верный факт, что одно и то же зло должно всегда вести к одним и тем же последствиям. Философы, идеологи и доктринеры снова провели целые годы в доказывании

неверности этого принципа. Вечный разум будет сильнее их софизмов, а факты заговорят громче их тезисов».

Из Англии от Касльри те же внушения: «Первое, что заслуживает полного внимания императора, — это широкое и усиливающееся распространение революционного движения по Американскому и Европейскому континенту. Последние события в Мексике, Перу, Каракасе, Бразилии решили, что обе Америки увеличат каталог государств, управляемых на основании республиканском или демократическом. Тот же дух быстро распространяется и по Европе: Испания и Португалия испытывают те же волнения. Франция носится между противоположными видами и интересами, серьезно и, быть может, равно опасными для ее внутреннего спокойствия. Италия хотя на время и вырвана из когтей революционеров, однако сдерживается только австрийскими оккупационными войсками. Тот же дух глубоко проник в Грецию. Восстание в Европейской Турции в своей организации, целях, действиях и внешних отношениях ничем не отличается от движений в Испании, Португалии и Италии, кроме прибавочных затруднений, происходящих от связи восстания с безобразной системой турецкого управления, ненавистью к которому восстание прикрывает свое настоящее стремление, возбуждает интерес и таким образом достигает своей цели. Император должен видеть, что начало революционного потока — в Греции и оттуда распространяется по его южным областям в неразрывной связи с потоком, стремящимся из-за Атлантического океана, и я не сомневаюсь, что е. и. в. будет основывать свои действия на этом принципе, а не на местных видах политики. Принцип, на котором должно действовать британское правительство, есть принцип невмешательства, доведенный до последней крайности; но я уверен, что если бы то, что происходит теперь в Греции, преимущественно в Морее, под влиянием иностранных искателей приключений, оказалось в какой-нибудь другой, соседней с Россией стране, то император стал бы действовать, как в Лайбахе, и никакой спор с турками не удержал бы его выставить сопротивление общему и более опасному врагу. Русская армия не может двинуться в Турцию против революционеров, как австрийская армия в Неаполитанское королевство, не столкнувшись враждебно и с турками, и с греками. Но если император не может уничтожить зла собственными средствами, то тем более он не должен мешать

оттоманскому правительству в истреблении мятежа, который грозит и общему спокойствию, и его собственной власти. Сравнивая обе борющиеся стороны, мы видим, что Турция не представляет революционной опасности; греческое дело глубоко проникнуто ею и не может, по крайней мере теперь, быть отделено от нее. Русский император должен отстать от греческого дела как существенно революционного. Он должен скорее благоприятствовать, чем отвлекать оттоманское правительство от его уничтожения; должен смотреть на свое столкновение с Портой как на дело второстепенное, пока мятеж не будет укрощен».

Внушения из Австрии и Англии могли быть заподозрены. Но были внушения и из любимой страны. Бергасс, один из видных членов роялистской партии во Франции, сблизившийся с императором Александром по единству религиозного взгляда, писал ему: «Швейцария, которую волнуют, более чем когда-либо, искусные и неутомимые революционеры, требует теперь особенного внимания государей. Недавно здесь произошло соединение многих масонских лож самого дурного рода, где догмат народного господства, разрушающий всякую нравственность, всякое правительство и всякую религию, составляет первый член исповедания веры адептов. В Испании, как небезызвестно в. в-ству, солдатское восстание вспыхнуло благодаря французским революционерам и значительной сумме денег, отправленной одной из наших главных масонских лож. На предстоящем конгрессе не только должно заняться истреблением адской секты, грозящей цивилизованному миру, но и учения этой секты, ибо секта не истребится, если не докажется торжественно ложность ее учения. Чего хочет нечестивая секта, которую пора наконец уничтожить? Она хочет, чтоб на конгрессе, возвещенном с такой торжественностью и от которого зависит судьба общественного порядка, государи, сдержанные преувеличенными препятствиями и на самом деле ничтожными, если сравнить их с высокой обязанностью, возложенной на них Божеством, — чтоб государи запутались в сетях ложного благоразумия и представили изумленному миру зрелище своей нерешительности, тогда как люди с помыслами возвышенными ждут от них блестящего заявления могущества. Что читается в журналах защитников королевской власти? — что дело Фердинанда есть дело всех государей; что дело испанское есть дело всех народов,

желающих сохранить у себя религию и нравственность; что есть высшее международное право — право обеспечивать себя от нравственной заразы, которая уже произвела в Европе такие опустошения. Почему либеральные журналы так пламенно желают, чтоб нам загражден был путь в Испанию? — потому, что они хорошо видят, что восстановление порядка в этой монархии нанесет их партии неизбежный удар; тогда как защитники королевской власти понимают, что уничтожить в Испании либеральную партию — значит приготовить ее будущее уничтожение и во Франции и ускорить минуту, когда общественный порядок найдет свои вечные основания».

При таких внушениях собрался Веронский конгресс.

VII. ПОСЛЕДНИЙ КОНГРЕСС — КОНЕЦ ЭПОХИ

Опасным состоянием всех трех южных полуостровов Европы должны были заняться государи, положившие съехаться на конгресс в Верону; но испанская революция составляла главную их заботу. Итальянская революция была прекращена австрийскими войсками; испанская могла быть прекращена только французскими, и император Александр уже давно указывал Франции на эту обязанность ее. Но согласится ли и сможет ли Франция сделать то в Испании, что сделала Австрия в Италии? Решение этого вопроса зависело от внутреннего состояния Франции, от положения и силы ее правительства.

Мы оставили Францию после Ахенского конгресса, когда правительство Людовика XVIII в борьбе с ультрароялистами оперлось на либералов, но тем самым подняло и враждебные себе партии, дало им возможность открытого действия. Положение умеренных либералов, приверженцев конституционной монархии Бурбонов, было самое затруднительное: они должны были защищать конституцию против ультрароялистов и защищать династию против враждебных ей партий, популяризировать и национализировать ее, представлять необходимой для конституционной свободы такую династию, которой глава был умирающий старик, а наследник — глава приверженцев старой Франции, глава ультрароялистов! Естественно, приверженцы конституции делились и тем обессиливали себя: одни из них, видя опасность от поднятия антидинастических партий, выбирали из двух зол, по их мнению, меньшее, требовали сближения с ультрароялистами, уступки им, не определяя, как далеко должно идти сближение, уступчивость, боясь этого определения, предчувствуя, что оно укажет им опасность или тщету их стремлений. Другие из двух зол также выбирали, по их мнению и отношениям, меньшее, требовали сближения с людьми революции и империи, уступчивости им, опять не определяя, как далеко должно идти сближение и уступчивость, боясь этого определения. Так, вследствие этого различия во взглядах и отношениях порознились два министра Людовика XVIII, Ришелье и Деказ, и первый должен был оставить министерство. Министерство

Дессоля, самым видным членом которого был Деказ, указывало на торжество второго направления между приверженцами конституции, — торжество, которое условливалось и личным неограниченным влиянием Деказа на короля.

Разумеется, люди, стоявшие между двух огней, изменяли свои взгляды, свое положение, смотря по степени давления, какое испытывали они от той или другой стороны. Деказ, разорвавший с ультрароялистами и сближавшийся потому с ультралибералами, должен был разорвать и с последними, когда увидел крайность их требований и стремлений. Таким образом, либеральное министерство потеряло свою популярность и между либералами, не уменьшивши нисколько ненависти к себе ультрароялистов. Наступили выборы в палату 1819 года. Ультрароялисты, зная, что не получают большинства, не хотели дать большинства умеренным либералам, которые должны были поддерживать министерство, но придумали дать большинство революционерам, чтобы этим средством свергнуть ненавистное министерство и произвести реакцию.

Газета «Белое знамя», орган ультрароялистов, выражалась таким образом: «Министерство — самый опасный враг роялистов, так его нужно бить прежде всего и постоянно; выбор якобинских кандидатов менее гибелен, чем выбор министерских, потому что первый ускорит спасительный кризис». Они достигли своей цели, и люди, боявшиеся революции и из страха перед ней прятавшиеся под «Белое знамя», были страшно напуганы избранием ультралиберальных кандидатов, особенно аббата Грегуара, который во время революции, будучи членом конвента, один из первых требовал провозглашения республики и суда над Людовиком XVI и потом, будучи в отсутствии во время приговора, письменно заявлял, что одобряет осуждение короля на смерть. Демократическая партия была в восторге от этого выбора; не скрывали своего злорадства и ультрароялисты, указывая на исполнение своего пророчества, что «кровавая дочь конвента» (ультралиберальная палата) явится как необходимое следствие 5-го сентября, утверждали, что волнения и беспорядки, обнаружившиеся в это время и в других странах Европы, были следствием системы, которой держалось французское министерство.

Виновник 5-го сентября, Деказ, испугался торжества ультралиберальной партии и начал внушать своим товарищам о

необходимости переделать дело 5-го сентября, изменить избирательный закон. Но три министра — Дессоль, Гувийон де-Сен-Сир и барон Люи — не согласились на перемену политики и вышли из министерства; Деказ обратился к Ришелье с просьбой составить новое министерство; но тот отказался, выставляя недостаточность своих средств вести правительственное дело в такое бурное время. Тогда Деказ сам сделался президентом Совета нового министерства, сохраняя свой прежний портфель внутренних дел; Пакье взял министерство иностранных дел, Руа — финансов, генерал Латур-Мобур — военное, Де-Серр, решительно разорвавший с ультралибералами, остался хранителем печати (министром юстиции).

Деказ и Де-Серр задали себе трудную задачу: отстать от ультралибералов, противодействовать их стремлениям, не сближаясь с ультрароялистами. От нападения левой стороны в палате они не находили защиты в правой, которая в начале 1820 года дождалась наконец желанной реакции, вызванной поступком одного безумца. 1(13) февраля, во время масленицы, второй сын графа Артуа герцог Беррийский был поражен у дверей театра седельным подмастерьем Лувелем, который наслушался толков, что Бурбоны — виновники всех бедствий Франции. Герцог умер на другой день, оставив пятимесячную дочь и беременную жену. Большинство парижского народонаселения было ошеломлено этим событием; революционная партия, по отзывам очевидцев, обнаруживала варварское удовольствие; в палате началась усиленная борьба партий. «Палата должна обратить внимание на источник зла, — говорилось справа. — Надобно уничтожить все козни фанатизма, который ведет к таким гибельным результатам. Остановить позорные и гибельные движения, которыми начинаются революции, можно, только сковавши снова революционный дух, вооружившись против безрассудных писателей, дерзких вследствие безнаказанности». Справа требовалось, чтобы в адресе, который должно было подать королю по поводу печального события, было сильно выражено желание палаты энергически содействовать всем мерам, которые будут приняты для истребления гибельных учений, подкапывающих троны и все авторитеты и грозящих цивилизации поднятием новых революций. «В адресе, — говорилось слева, — должна идти речь только о слезах, проливаемых над принцем, о котором сожалеют все французы, о котором особенно

сожалуют друзья свободы, ибо они знают, что гнусным преступлением воспользуются для того, чтобы уничтожить свободу и права, признанные мудростью монарха».

Даже в палате один из депутатов решился выставить Деказа как соучастника в преступлении Лувеля. Здесь чувство приличия удержало от выражения сочувствия этой выходке; но не удерживались в гостиных, где ожесточение против Деказа не знало пределов; особенно отличались женщины. Громко высказывалось сожаление, что уголовные законы стали слишком мягки; что не употребляется более пытка, которая заставила бы преступника выдать своих сообщников. С 3(15) числа ультрароялистские журналы вдруг, по данному знаку, повели атаку против министра внутренних дел. В преступлении Лувеля они указывали следствие гибельных учений, которые высказывались под покровительством правительства; провозглашали, что нельзя в челе правительства оставлять министров, которых нравственное участие в преступлении Лувеля неоспоримо. Деказ выставлялся человеком, который воспитал, ласкал и спустил с цепи революционного тигра. Мы видели, что Деказ еще до убиения герцога Беррийского начал удаляться от ультралибералов и, напуганный результатами последних выборов, стал думать о необходимости изменения избирательного закона. Теперь, действительно встревоженный опасным общественным настроением, признаком которого служило преступление Лувеля, и желая избавиться от ультрароялистских нареканий, он приготовил проекты двух законов — об ограничении личной свободы и об ограничении свободы печати. Тогда ультрароялисты соединились с ультралибералами, чтобы не дать министерству провести эти законы и поразить его бессилием; с другой стороны, и умеренные либералы объявили Деказу, что они готовы поддерживать его два проекта только с тем условием, чтобы он отказался от изменения избирательного закона. За исключением английского посланника, дипломатический корпус был также враждебен Деказу, в котором представители иностранных дворов видели безрассудного либерала, подвергнувшего Францию и чрез нее и всю Европу большим опасностям. Наконец, герцогиня Беррийская, удалившаяся в С.-Клу, говорила, что не переедет в Тюльери, если будет обязана встречаться там с Деказом, и прямо объявила королю, что никогда не пустит к себе на глаза министра внутренних дел. Деказ

представил королю необходимость для себя выйти из министерства и указал на герцога Ришелье как на единственного человека, способного быть главою министерства при тогдашних обстоятельствах: отвращение Ришелье от ультралибералов и желание сблизиться с ультрароялистами были известны, и все же Ришелье не был ультрароялист. Но королю было очень тяжело решиться на перемену министерства: во-первых, ему должно было расстаться с любимцем; оскорбления, которым подвергался любимец, он считал своими собственными оскорблениями; во-вторых, любимца выживала ультрароялистская партия, противная Людовику XVIII, — партия, имевшая во главе наследника графа Артуа. Уступить этой партии, пожертвовать ей любимцем, было крайне тяжело. Наконец, король предвидел (и для этого не нужно было иметь очень большой проницательности), что ультрароялисты не удовольствуются этой уступкой, не успокоятся на министерстве Ришелье; при их стремлении овладеть всем это министерство будет только переходное к чистому ультрароялистскому министерству. «Волки требуют у пастуха одного, чтоб он пожертвовал им собакою», — отвечал король Деказу, когда тот доказывал ему необходимость уступить ультрароялистам и переменить министерство Деказа на министерство Ришелье. Пастух видел всю опасность для себя в исполнении требования волков, но не имел силы отказать им. Ультрароялистские журналы удваивают ярость своих нападений на колеблющегося министра, называют его «Бонапартом передней», человеком, которого политика устрашает царей и народы; министром, всемогущим против верности, бессильным против измены и убийства. Уже идут слухи, что некоторые из отчаянных ультрароялистов решились убить Деказа; графу Артуа внушают необходимость обратиться к королю с настоятельными требованиями удалить Деказа. Вечером 6(18) февраля граф Артуа и герцогиня Ангулемская бросаются на колени перед Людовиком XVIII и умоляют уступить требованию обстоятельств, указывают на опасность, которая грозит любимцу, если он будет оставаться министром. Вечером 20-го числа король подписывает приказ, назначающий герцога Ришелье президентом Совета министров; Деказ увольняется по нездоровью, возводится в герцоги и назначается посланником в Англию; король был в отчаянии. «Все теперь для меня кончено», — сказал он испанскому посланнику.

Законы об ограничении личной свободы и свободы печати прошли в палатах; некоторые журналы должны были прекратиться; новый избирательный закон усилил влияние избирателей, платящих высшие подати. Правительственная реакция была в ходу; ультрароялисты видимо торжествовали; министерство все более и более сближалось с ними. Но ясно было и то, что дела находились далеко не в том положении, в каком были они десять лет тому назад, после Ста дней. Революционная партия была теперь на ногах, сдерживающие действия правительства только раздражали ее и содействовали развитию ее средств. Споры в палате о новых законах подавали повод к сильным волнениям в Париже, в провинциях. Закон дал министерству право заключать опасные для государства лица без суда и следствия; сейчас же составилось общество с целью покровительствовать лицам, захваченным правительством, и заботиться об их семействах. Общество было закрыто правительством: на его место явился тайный распорядительный комитет, во главе которого стал Лафайет. Герцогиня Беррийская разрешилась от бремени сыном (герцогом Бордосским); ультрароялисты были в восторге; но тем решительнее действовали люди, которые утверждение старшей Бурбонской линии на французском престоле считали несовместным с утверждением конституционного порядка во Франции. К ним примыкали люди, которые хотели и другого, но сходились в одном стремлении — освободиться от старой Франции с ее старшими Бурбонами и ультрароялистами.

Это стремление, естественно, выдвигало герцога Орлеанского: приверженцы конституции видели в нем ближайшего и способнейшего кандидата на трон по удалении старшей Бурбонской линии; республиканцы и бонапартисты готовы были употребить его своим орудием для произведения революции и для сокрушения принципа легитимности, соглашались принять его царствование как переходное к желанному ими порядку вещей. Если ультралибералы старались выдвинуть герцога Орлеанского, говорили о нем как о главе государства, способном примирить все революционные интересы, то герцог со своей стороны употреблял все средства, совместные с его положением, чтобы заискивать расположение представителей новой Франции; он оказывал явное предпочтение лицам, которые были известны своим нерасположением к королю и его фамилии; старший

сын его посещал публичную школу наравне с детьми частных людей. Такое поведение раздражало короля и членов старшей линии и вместе с вопросами этикета удаляло все более и более от них герцога. Он постоянно требовал титула королевского высочества и постоянно получал отказ; он требовал себе подушки во время публичных церемоний, и ему отвечали, что старые обычаи не допускают этого. Когда крестили дочь герцога Беррийского и присутствовавшие должны были подписать акт, то король сам запретил кардиналу Перигору подать перо герцогу Орлеанскому, велел это сделать простому священнику. Герцог не присутствовал на фамильном обеде, не присутствовал и на придворном спектакле, потому что не получил приглашения в королевскую ложу. Некоторые думали, что французская революция должна была кончиться так же, как английская: как в Англии утвердился конституционный порядок с изгнанием мужской линии Стюартов и с возведением на престол женской линии, так, думали, и во Франции новый порядок утвердится с изгнанием старшей линии Бурбонов и с возведением на престол младшей, Орлеанской.

Но внимательные наблюдатели замечали, что «герцог Орлеанский менее всего способен покончить революцию: не имея личного мужества, великодушия и таланта править и заставлять людей уважать свое правительство, герцог не в состоянии распоряжаться партиями, но партии будут им распоряжаться, увлекать его. Похищение им престола будет торжеством демагогии и, следовательно, началом новых революций. От природы герцог не получил благородных и возвышенных чувств, а воспитание к посредственности его нравственной природы прибавило еще ложное и мелочное направление. Он стремится овладеть престолом и в то же время отличается скупостью и робостью; он заискивает у недовольных военных; но военные никогда не увидят его в челе войск. Бонапартовские военные обращаются к принцу Евгению, который то их выслушивает, то клянется, что не променяет ни на что своего спокойного и счастливого существования, не хочет добиваться ничего путем преступлений и опасностей. Сестра его, мадам Лё (королева Гортензия), не одобряет этих колебаний и всеми силами поддерживает интриги и надежды революционеров. Герцог Орлеанский проповедует крайний либерализм и хочет быть королем милостью демократов и идеологов революции. Его преждевременное возвышение будет

началом смуты, которую он не будет в силах прекратить и остановить движение, ибо он не будет творцом, а только рабским орудием. Герцог день ото дня все более и более погружается в вульгаризм своими речами и манерами».

Посторонние наблюдатели отыскивали источник зла не во внешней только борьбе партий. «Революционное воспитание уничтожило границы добра и зла. Почти все должностные лица видят в самых радикальных переменах только влияние, какое эти перемены будут иметь на их личное существование. Когда существует такое направление, первым правилом жизни становится — не повредить себе, то есть не исполнять своих обязанностей как должно. Эта всеобщая шаткость ослабляет власть и дает заводчикам смуты важное преимущество. Множество причин увлекает Францию к демократии, и, быть может, самая главная из них заключается в необычайном самолюбии, которое считает скромность — слабостью и уважение к чужим достоинствам — унижением. Как только раздастся голос, возбуждающий недоверие к авторитетам самым естественным в общественном порядке, тысячи других голосов отзываются на него с сочувствием. Самую слабую сторону правительства составляют второстепенные чиновники. Значительное число их ведется от времен республики, прошло директорию и империю. Деказ прибавил сюда своих шпионов и своих темных креатур, и из этого вышла такая амальгама, которая больше всего способствует извращению идей в среднем классе народа. Направление народного просвещения так опасно и так ошибочно, как только можно себе представить; в школах проповедуется нечестие и возмущение; они стали аренами безбородых гладиаторов».

Когда вскрывались такие причины нравственных беспорядков, с которыми нельзя было бороться одними внешними средствами, престарелый король, уже отказавшийся от движения, не сходявший со своих кресел все лето 1820 года, жил одним воспоминанием о своем удалившемся любимце Деказе. Беспреданно говорил он о нем, о его семействе, о его делах и о всех мелочах, его касавшихся. Однажды Людовик XVIII распространился о Деказе в присутствии Ришелье; тот не умел скрыть своего удивления и нетерпения; король, заметив это, сказал: «Я понимаю, что это должно вас удивлять: но если б вы могли

знать, что я чувствую в моем сердце к этому человеку, то вы первый оправдали бы выражения моей нежности к нему».

Если Францию считали очагом революции, то теперь этот очаг получал топливо от революций в соседних странах, Испании и Италии. Летом 1820 года и во Франции составлен был план обширного военного восстания с целью низвержения старшей Бурбонской линии; но заговор не удался и дал новое торжество ультрароялистам, новое оправдание борьбы, которую вели они с революцией. Революционные движения в разных странах Европы, с оказавшимся влиянием их на Францию, заставляли многих людей, и не сочувствовавших стремлениям ультрароялистов, становиться, однако, на их сторону для избежания большего зла — революции. Министерство явно держалось правой стороны, на выборах 1820 года поддерживало ее кандидатов и дало ей здесь блистательную победу, так что некоторые ультрароялистские журналы уже стали предсказывать в близком будущем уничтожение пагубных учреждений, которые Франция в припадке безумия заимствовала от Англии. Людовик XVIII-й, не пропускавший случая поострить, говорил: «Вот мы теперь в положении того всадника, который, не будучи в состоянии сесть на лошадь, так усердно начал молиться Св. Георгию, что тот дал ему больше сил, чем сколько нужно было, и всадник перескочил через седло». Для большего сближения правительства с победоносной стороной двое самых видных членов ультрароялистской партии, Виллель и Корбьер, вошли в кабинет министрами без портфелей. Министерство искало опоры у сильной ультрароялистской партии; но скоро пришла проверка, и оказалось, что эта сила была только видимая, оказалась и главная причина слабости приверженцев старой Франции — отсутствие нравственно сильных людей. Когда в 1821 году пьемонтская революция отозвалась немедленно же во Франции; когда вспыхнуло волнение в Гренобле, Лионе; когда во всех городах толковали об отречении короля, о регентстве герцога Орлеанского, о принятии конституции 1791 года и трехцветной кокарды; когда ультралиберальная партия предавалась шумной радости — ужас напал на ультрароялистов, никто не думал о сопротивлении, и те, которые громче других кричали в палате против революции, когда, по-видимому, настало время действовать против нее, оказались самыми робкими. Они осаждали биржу, чтобы продать там свои бумаги за

какую угодно низкую цену; говорили, что все пропало. В подобные минуты ищут обыкновенно сильного человека; граф Артуа не нашел ни одного между своими — и стал советовать брату возвратить Деказа!

Эта мера оказалась ненужной вследствие быстрого прекращения итальянских революций, которое отняло руки у французских революционеров и снова подняло их противников; ультрароялисты стали громко говорить, что стоит только захотеть — и французские революционеры исчезнут точно так же, как итальянские; стали обвинять министерство в трусости, даже в измене. Господствующая партия не довольствовалась уступками, какие ей делало министерство; она хотела, чтобы министерство совершенно принадлежало ей, отказалось совершенно от всякой самостоятельности в отношении к ней; господствующая партия видела, что если министерство делает ей уступки, то делает это неохотно, принуждаемое обстоятельствами, и потому не могла положиться на него, упрекала его в недостатке прямоты, в желании ходить извилистыми путями. Виллель и Корбьер, которые вошли в кабинет как представители ультрароялистов, в знамение сближения правительства с последними не считали своей обязанностью посредничать между партией, к которой принадлежали, и кабинетом, в который вошли, склоняя их к уступкам взаимным; им гораздо приятнее и легче было играть в кабинете роль представителей господствующей партии, наблюдать за ее интересами, заставляя своих товарищей по кабинету подчиняться этим интересам. Отношения Виллеля и Корбьера к министерству всего лучше уясняются следующими двумя случаями. Двое из министров в Совете предложили открыть Гренобльскую юридическую школу, закрытую несколько месяцев тому назад по поводу революционных движений в Гренобле. Корбьер, как председатель Совета народного просвещения, сильно восстал против этого, говоря, что надобно показать твердость и этим успокоить роялистов. Школа осталась закрытой. В другом заседании Совета министров Корбьер вдруг объявил, что надобно переменить нескольких префектов. Министр иностранных дел Пакье спросил: «За что их переменять?» «Я не знаю за ними никакой вины, — отвечал Корбьер. — Я даже их вовсе не знаю; но между нами есть люди, которые нуждаются, и пора сделать что-нибудь для роялистов». Тут Ришелье сказал, что никогда не согласится отставить чиновника без вины; в случае же виновности рад будет заменить

дурных префектов означенными роялистами. Ультрароялисты пришли в сильное негодование, узнавши, что требование Корбьера было отвергнуто. После этого Виллель и Корбьер объявили Ришелье, что если правительству угодно в своих интересах пользоваться их влиянием на их политических друзей, то пусть сделает их настоящими министрами, с портфелями. Ришелье уступил требованию, предложил Виллелю министерство морское, от которого старый министр отказывался, а для Корбьера образовал новое министерство — народного просвещения. Но Виллель требовал для себя министерства внутренних дел, министр которого, Симеон, был особенно неприятен ультрароялистам; потом Виллель согласился принять министерство морское, но потребовал, чтобы военное отдано было одному из ультрароялистов. Ришелье соглашался на это в случае, если настоящий военный министр (Латур-Мобур) подаст в отставку; но Виллель и Корбьер требовали, чтобы эти перемены в министерстве последовали немедленно же. Ришелье не согласился; Виллель и Корбьер вышли из кабинета. А между тем как роялисты ссорились таким образом между собой, двое молодых людей (Dugied и Joubert) распространили во Франции итальянский карбонаризм с некоторыми изменениями. Почва была приготовлена, и число членов общества быстро увеличивалось; между ними были приобретшие впоследствии известность Августин Тьерри, Пьер Леру и другие. Без Лафайета, разумеется, дело обойтись не могло, и он записался в карбонари, стал президентом высокой венты; за ним пошли и его друзья: Дюпон-де-Лер, Манюель, Кехлин, богатый фабрикант мюльгаузенский, Могэн, Мериу. В три месяца в одном Париже уже было 50 вент, весь Эльзас скоро был покрыт ими. Навстречу карбонари шло другое тайное общество — «Рыцарей свободы». Карбонари искали себе сочленов в образованных классах, но «Рыцари свободы» обратили внимание на работников и старых солдат, рассеянных по деревням. В 1831 году оба общества слились в одно.

Для противодействия этим революционным машинам с противоположной стороны была выставлена также огромная стенобитная машина, знаменитая конгрегация. В последнее время империи, во время плена папы Пия VII, во Франции составилось тайное общество с целью облегчения сношений ревностных католиков с папой. После реставрации главы общества — Монморанси (Матвей),

Полиньяк, Ривьер и Руже — начали употреблять общество как средство для поддержания католицизма и ультрароялизма, и главою общества стал граф Артуа. Скоро после этого политического общества стали образовываться общества религиозные, тоже с ним связанные: собственно так называемая конгрегация, составленная из лиц значительных; Общество Св. Николая — из мелких промышленников и рабочих; Общество добрых дел, занимавшееся тюрьмами и школами. Иезуиты, по единству целей, присоединились к конгрегации, так что иезуит и конгреганист сделались синонимами; с другой стороны, под именем конгрегации начали разуметь и политическое и религиозное общество вместе. Как скоро в противоположном лагере увидели, что религия употребляется как средство для возвращения народа к старой Франции, то стали вооружаться против религии, стали в большом количестве издавать антирелигиозные сочинения философов XVIII века. Чтобы противодействовать этой пропаганде, конгрегация основала несколько обществ — Общество хороших книг, Общество доброй школы, Общество для защиты католической религии и т. п. — для чтения публичных лекций и издания книг, соответствующих своим содержанием целям конгрегации. Старые сочинения, латинские и французские, исправлялись в изданиях Общества хороших книг соответственно тем же целям. В департаменты посылались миссионеры с целью возбуждать религиозное чувство проповедями и разными церемониями; в Реймсе, например, устроено было 14 триумфальных ворот, в которые шли миссионеры с военной музыкой, в сопровождении духовенства, национальной гвардии и огромной толпы народа, которая кричала: «Да здравствует крест! Да здравствует религия! Да здравствуют Бурбоны!» Шли к искусственно устроенной горе (Голгофе), на которой и водрузили огромный крест. Ультрароялистские журналы объявляли о многочисленных обращениях, совершаемых миссионерами; но люди беспристрастные и далеко не сочувствующие революционным стремлениям замечали вред, наносимый религии миссионерами. Главная беда конгрегации состояла в том, что между ее членами не было людей с высоким нравственным и умственным авторитетом, которые могли бы вести святое дело достойным его образом; конгрегация не понимала, что христианство может быть восстановлено и поддержано теми же средствами, какими было распространено, а распространено оно было

не процессиями с военной музыкой. Противники конгрегации говорили в палате устами Бенжамен-Констана: «Кто не знает, что религия есть благодеяние! Кто не знает, что человек счастлив, когда верит. Передайте религию человеческому сердцу, которое не перестанет никогда иметь в ней надобность; пусть ее служители, не прибегая к опоре светской власти, заставляют уважать ее, внушая уважение к себе; пусть они будут сами религиозны, кротки; пусть будут отличаться терпимостью, пусть остаются в своей сфере, делают добро у себя; пусть не возбуждают угасшие ненависти, не воскрешают исчезнувшие суеверия; пусть не ведут они жизни бродяжнической и неправильной, не бегают по селам, не обманывают легковерных, не пугают слабых и не вносят раздор в семейства, скандал в хижины, невежество в школы, смуты в города; тогда религия укрепитя и без помощи уголовных законов». Бенжамен-Констану мы и не поверили бы; но есть другие свидетели, более беспристрастные: Поццо-ди-Борго, например, никак нельзя заподозрить в ультралиберализме; но он впоследствии, в 1826 году, говорил о короле Карле X-м, главе конгрегации: «Если бы король не считал преобладания духовенства и иезуитов необходимым для сохранения своей династии, то народ был бы более религиозен и более предан его особе и его фамилии». Тот же государственный человек указывал в 1828 году главную причину неуспеха охранительных стремлений правительства во Франции: «Эта монархия богата всеми дарами Провидения, кроме людей, которые или были бы способны, или при способности получили бы возможность хорошо управлять ею».

Герцог Ришелье, несмотря на всю свою благонамеренность, не был способен управлять Францией: держаться между ультрароялистами и ультралибералами; не находя поддержки в большинстве палаты, он потерял поддержку и в короле. Людовик XVIII не мог долго жить одними воспоминаниями о Деказе; ему нужно было человека, который был бы при нем, ухаживал за ним нравственно; такой человек нашелся. Графиня Кайла, ведя процесс со своим мужем и зная, что король предубежден против нее, домогалась свидания с ним, чтобы уничтожить в нем это предубеждение. Она была введена в королевский кабинет и успела внушить Людовику XVIII сильную привязанность. Старый король не довольствовался тем, что принимал ее три раза в неделю, стал переписываться с ней каждый

день. Ультрароялисты спешили употребить графиню Кайлу орудием для своих целей: если она умела уничтожить в короле предубеждение против себя, то теперь должна была уничтожить в нем предубеждение против ультрароялистов, или, как они выражались, «отнять у Людовика XVIII его собственные идеи, переделать его мозг, его память, его сердце, все его способности и страсти». Графиня повела дело с большим успехом, и граф Артуа велел благодарить ее, причем просил не беспокоиться слухами, которые могут распространять против нее глупость и злоба, и спокойно пользоваться благородным употреблением, какое она делала из привязанности и доверия к себе короля. Граф Артуа, видя, что власть идет к нему в руки, переменил тон с Ришелье; он потребовал от него отставки ста пятидесяти генералов, чтобы отдать их места ультрароялистам. Герцог не согласился, и Артуа сказал ему: «Ясно, что не хотят ничего сделать против дурных людей, ничего в пользу хороших». Несмотря на это, Ришелье не боялся ничего со стороны Артуа, потому что пред вступлением Ришелье в министерство тот дал ему честное слово поддерживать его. Ришелье был слишком слаб, чтобы сдерживать принцев и вельмож железной рукой, как знаменитый предок его, кардинал, и в то же время слишком честен, чтобы заискивать в сильных людях, отказывал им в выгодных местах, титулах и чрез это приобретал в них для себя врагов. Решено было покончить с главою министерства, который не хотел ничего делать для «порядочных» людей. Яростные нападения на министерство с правой стороны палаты достигли высшей степени, причем последовало соединение правой стороны с левою, и проведен был адрес королю, враждебный министерству. Талейран, с нетерпением следивший за борьбой и ждавший своего времени, не упускал случая бросать камни в ненавистного Ришелье. «Чего ждать, — говорил он, — от министра, который, чтоб решиться на что-нибудь, обязан ждать курьера из Петербурга». Ришелье не дожидаясь курьера из Петербурга, чтобы решительно объясниться с графом Артуа, напомнил ему честное слово его насчет поддержки. «Ах, любезный герцог! — отвечал Артуа. — Вы приняли мои слова слишком буквально, и потом обстоятельства были такие трудные!» Ришелье посмотрел на него пристально, обернулся-и вышел, не говоря ни слова, только сильно хлопнувши дверь. Он отправился после этого к самому близкому к

себе из товарищей по министерству, Пакье (министру иностранных дел), и там, бросившись в кресло, сказал плачевным голосом: «Он изменяет своему слову, своему дворянскому слову!» Когда он потом рассказал о своем разговоре с Артуа королю, тот отвечал: «Чего же хотеть: он составлял заговоры против Людовика XVI, составлял заговоры против меня, будет составлять заговоры против самого себя».

Министерство Ришелье кончилось; его место заняло министерство ультрароялистское, в котором главную роль играл Виллель, министр финансов, хотя собственно президента не было назначено. Но это торжество приверженцев старой Франции совершалось, по мнению Поццо-ди-Борго, в присутствии врагов, сильных и ожесточенных, в стране, уравненной демократией и деспотизмом власти, в стране хотя представляющей множество политических оттенков, но представляющей в то же время громадную и страшную массу людей, которых интересы и мнения диаметрально противоположны людям и мнениям, стремившимся к исключительному господству. Принимая такое положение дел отвлеченно, надобно ожидать неизбежного и скорого разложения; но агония может быть продолжительна. Франция привыкла к повиновению вследствие силы и блеска наполеоновского царствования. Если возвышение и падение Наполеона завещали стране большие запасы смут, то его могущество создало охранительные средства, создало администрацию, при которой народ на всем пространстве монархии находится под наблюдением огромного числа агентов, точно солдаты в казарме. Министерство располагает по произволу судьбой этих самых агентов, может платить им исправно и может прогнать их безответственно, в его руках около миллиарда денег для ежегодной раздачи; этим золотым дождем оно возбуждает одних, льстит надеждам других, держит их в возбужденном состоянии, утомляет, не приводя в отчаяние. Кажется, новое министерство понимает эту тактику лучше прежнего, и так как оно поддерживается в одно время королем и наследником, чего не бывало со времени реставрации, то оно может просуществовать долго.

Конец 1821 и начало 1822 года ознаменовались карбонарскими заговорами. Заговоры не удавались. Но, по мнению Поццо, ошибся бы тот, кто подумал бы, что число недовольных ограничивается людьми, которые осмелились выставить себя перед правительством: быть

может, большинство французского народонаселения втайне желало успеха заговорщикам. Это печальное расположение умов, без сомнения, имеет свое начало в революции; но революционные влияния чрезвычайно усилились с тех пор, как правительство приняло характер партии, и партии далеко не популярной.

В таком положении находились дела во Франции пред открытием последнего конгресса. В октябре 1822 года в Верону съехались: император Австрийский с Меттернихом и Гёнцем, с князем Эстергази, графом Зиши и бароном Лебцельтерном (посланниками в Лондоне, Берлине и Петербурге); император Русский с Нессельроде, Ливеном и Поццо-ди-Борго; король Прусский с двумя принцами, Вильгельмом и Карлом, с графом Бернсторфом и бароном Тумбольдтом; представителем Англии явился герцог Веллингтон; Франция прислала министра иностранных дел Монморанси и Шатобриана, посланника в Лондоне (который сменил здесь Деказа). Ультрароялистское французское министерство, разумеется, должно было больше всего и прежде всего желать прекращения революции в Испании восстановлением королевской власти; но это могло произойти не иначе как посредством вооруженного вмешательства других держав, и прежде всего Франции по ее географическому положению. Относительно этого вооруженного вмешательства члены кабинета делились: Виллель по своему характеру и всей прежней деятельности был представителем той робкой, расчетливой, можно сказать мещанской, противной духу французского народа политики, которая после господствовала в царствование Людовика-Филиппа и была одной из главных причин падения Орлеанской династии. Виллель боялся и неуспеха французских войск в Испании, и дурного расположения этих войск, и нерасположения в остальных частях французского народонаселения к подобной войне, и траты денег. Но другие члены кабинета, члены ультрароялистской партии вообще и члены конгрегации особенно, были за войну, смотрели на дело более по-французски, чем Виллель. Шатобриан очень хорошо изложил этот французский взгляд. «Виллель не замечал, — говорил он, — что легитимность умирала по недостатку побед после торжеств Наполеона, и особенно после опозоривших ее дипломатических сделок. Идея свободы в голове французов, которые никогда не поймут хорошо этой свободы, не заменит никогда идеи славы, их естественной

идеи. Почему век Людовика XV упал так низко во мнении современников? Почему он породил эти философские системы, погубившие королевскую власть? Потому, что кроме битвы при Фонтенуа и нескольких подвигов в Квебеке Франция находилась в постоянном унижении. Если робость Людовика XV пала на голову Людовика XVI, то чего нельзя было опасаться для Людовика XVIII или для Карла X-го после унижений, которым подверглась Франция по венским договорам. Эта мысль давила нас, как кошмар, в продолжение первых восьми лет реставрации, и мы вздохнули только после успехов войны испанской». Под давлением такого же кошмара находился вместе с Шатобрианом и Монморанси, и потому они оба в Вероне уклонились от осторожной политики Виллеля, в инструкциях которого говорилось: «Франция, будучи единственною державою, которая должна действовать вооруженною силою в Испании, одна имеет право определить, когда должна наступить необходимость действовать. Французские уполномоченные не должны соглашаться на то, чтоб конгресс предписал Франции, как она должна вести себя относительно Испании». Монморанси предложил конгрессу вопросы: 1) В случае если Франция принуждена будет порвать дипломатические сношения с Испанией, союзные державы сделают ли то же самое? 2) Если война возгорится между Францией и Испанией, в какой форме союзники дадут первой нравственную опору, которая должна сообщить ее действиям силу союза и внушить спасительный страх революционерам всех стран? 3) Если окажется необходимым деятельное вмешательство союзников, то какую материальную помощь намерены они оказать Франции?

Пруссия и Австрия отвечали, что они согласны отозвать своих министров из Мадрида и доставить Франции всякую нравственную опору; что же касается материальной помощи, то король Прусский объявил, что он готов подать ее, сколько позволит его положение и заботы о внутреннем состоянии Пруссии; австрийский же император объявил, что необходимо будет новое общее совещание союзных дворов для определения количества, качества и направления материальной помощи. Один русский император объявил, что он подаст Франции и нравственную и материальную помощь, в какой она будет нуждаться, без всяких ограничений и условий. Наоборот, герцог Веллингтон вооружился против всякого вмешательства посторонних

держав во внутренние дела Испании, объявил, что решения России, Австрии и Пруссии противны цели, желаемой союзниками; опыт показал, что вооруженное вмешательство чужих держав всегда ослабляет и подвергает опасности сторону, в интересах которой оно происходит, и всего более этого надобно бояться в Испании. Мы видели, что и в итальянских делах Англия провозглашала принцип невмешательства; но там она соглашалась, чтобы одна Австрия потушила революцию на полуострове, потому что ей выгодно было охранять Австрию, нужную ей против России и Франции; теперь же вооруженное вмешательство Франции в испанские дела было совершенно противно интересам Англии, и она не хочет допустить никакого ограничения принципа. Испанская революция должна была обеспечить отделение и независимость американских колоний, что было именно нужно Англии, и потому она не хотела скорого прекращения революции.

17-го ноября на конгрессе было решено отправить от союзных дворов к испанскому правительству ноты с требованием перемены политической системы; в противном случае французское войско должно вступить в Испанию. Веллингтон не подписал протокола. Во французском кабинете поведение Монморанси в Вероне не было одобрено; Монморанси вследствие этого счел невозможным для себя долее оставаться в министерстве; но Шатобриан счел возможным для себя занять его место. Англия употребляла всевозможные усилия, угрозы, интриги, чтобы отвратить Францию от вмешательства. Каннинг, заведовавший иностранными делами в Англии по смерти Касльри, так объяснял поведение Англии пред континентальными дипломатами: «Вмешательство Франции в испанские дела заключает в себе гораздо более опасности, чем самая революция, если ее предоставить естественному ходу; мы боимся, что столкновение Франции с Испанией не спасет последнюю, но ввергнет обе державы в одну бездну. Революционное пламя не потушится на полуострове, но искры посыплются на Францию; а когда здесь сделается пожар, то он будет всеобщим». Ему возражали, что революционное пламя не потухнет в Испании, если его не станут тушить со стороны; союзные государи имеют в виду спокойствие не одной Франции, но безопасность всех тронов европейских; они признали, что пришло время поразить революцию анафемой в глазах всех народов. Каннинг

отвечал: «Правда, что английское правительство не имеет столько причин бояться революционного духа, сколько их имеют другие правительства, и потому оно далеко от того, чтобы оспаривать у них право принимать меры для своей безопасности; впрочем, между Англией и Испанией существует complication особенных интересов, которая не дает британскому кабинету такой свободы действия, какая возможна для других кабинетов. Уже 8 лет мы требуем у Испании вознаграждения за убытки, понесенные нашей торговлей, но вместо удовлетворения терпим новые убытки. Чтоб доставить себе управу, мы отправили эскадру в Западную Индию». Но объяснение, разумеется, не могло никого удовлетворить. Гораздо откровеннее высказался глава кабинета лорд Ливерпуль: «Во всех вопросах, касающихся существования Испании, Португалии или Нидерландов, Англия считает своей обязанностью выступить на первый план. Она не может допустить действия французского правительства, особенно когда оно громко объявляет намерение восстановить в Испании фамильное влияние, которому Англия противоборствовала всеми силами более века». Англия старалась помешать вооруженному вмешательству Франции в испанские дела; Поццо-ди-Борго требовал именем своего государя, чтобы французское министерство шло прямою, открытою дорогою, какою обыкновенно шли союзники его христианнейшего величества во всех делах общего интереса. Поццо должен был внушить, что со степенью прямоты, с какою тюльерийский кабинет будет поступать с союзниками, будет соразмерена помощь, какую союзники подадут Франции как против испанских революционеров, так и против самой Англии, если, по несчастью, это будет нужно. Виллель, желая избежать войны, начал склонять испанское правительство к уступкам требованию союзников; но дружественные советы французского кабинета были отвергнуты точно так же, как и грозные требования России, Австрии и Пруссии. Весною 1823 года французская армия под начальством герцога Ангулемского вступила в Испанию, и революция была уничтожена в последнем своем убежище, как тогда выражались. Причиною успеха было то, что низшие слои народные не выставили сопротивления, будучи против революции, оскорблявшей их религиозное чувство, а войска не могли держаться против французов также по недостатку горячего сочувствия к новому порядку вещей, кроме того, вследствие недостатка дисциплины и

вследствие плохого вооружения. Но когда после прекращения революционного движения в Испании обнаружилась реакция, то император Александр, согласно своей системе, отправил в Мадрид Поццо-ди-Борго остановить своими внушениями реакцию: образование нового, лучшего министерства было следствием поездки Поццо.

Покончили с революциями итальянской и испанской; но с греческим восстанием покончить было трудно. Император Александр говорил в Вероне Шатобриану: «Не может быть более политики английской, французской, русской, австрийской; существует только одна политика — общая, которая должна быть принята и народами и государями для общего счастья. Я первый должен показать верность принципам, на которых я основал союз. Представилось испытание — восстание Греции; религиозная война против Турции была в моих интересах, в интересах моего народа, требовалась общественным мнением моей страны. Но в волнениях Пелопоннеза мне показались признаки революционные, и я удержался. Чего только ни делали, чтоб разорвать союз? Старались внушить мне предубеждения, уязвить мое самолюбие, — меня открыто оскорбляли. Очень дурно меня знали, если думали, что мои принципы проистекали из тщеславия, могли уступить желанию мщениия. Нет, я никогда не отделюсь от монархов, с которыми нахожусь в Союзе. Должно позволить государям заключить явные союзы для защиты от тайных обществ. На какую приманку я могу пойти? Нуждаюсь ли я в увеличении моей империи? Провидение дало в мое распоряжение 800.000 солдат не для удовлетворения моего честолюбия, но чтоб я покровительствовал религии, нравственности и правосудию; чтоб дал господство этим началам порядка, на которых зиждется общество человеческое».

Под влиянием этих же мыслей была написана русская декларация, которую Татищев прочел в конференции уполномоченных 9-го ноября: «Порта старается выставить петербургский кабинет и его агентов участниками в греческом восстании; но как же она не хочет обращать внимания на ясные доказательства, что это несчастное восстание есть дело сект, навлекших то же бедствие на Испанию, Португалию, Италию и готовых возбудить волнение всюду, где появится хотя малая надежда на успех. Диван может ли забыть, что его императорское величество приказал двинуться своим войскам против

революционеров неаполитанских и пьемонтских, когда волнения в княжествах дали ему знать, что революционеры перенесли свою деятельность на восток. Разве министры оттоманские забыли русскую декларацию относительно этих волнений и их виновников? Разве они не знают о предложениях, сделанных в это время бароном Строгановым, и о благодарности, выраженной за них Портою? Разве они не знают, что с этих пор император не переставал относиться враждебно к революционному делу, что он пламенно желает восстановления спокойствия в Греции; что он продолжал содействовать тому вместе со своими союзниками и что многие из русских агентов получили от турецких чиновников признательность за их поведение в начале той революции, которая теперь выставляется как следствие их происков? Если будут приведены неоспоримые доказательства, что хотя один из русских агентов позволил себе быть слепым орудием сектаторов и послушаться повелений императора, то виновный подвергнется должному наказанию. Русский уполномоченный имеет приказание настаивать на этом пункте, ибо существенно важно, чтобы Порта знала полную истину. Также важно, чтоб она знала условия, на которых могут быть восстановлены ее дипломатические сношения с Россией: 1) Умирение Греции, — или Порта должна согласиться на переговоры между уполномоченными русскими, союзными и оттоманскими относительно гарантий, какие должны получить греки, возвращаясь под власть султана; или надобно, чтоб целый ряд фактов доказал, что Порта уважает религию, поставленную договорами под покровительство России, и что она старается восстановить внутреннее спокойствие в Греции таким образом, чтоб Россия могла получить надежду на прочный мир, могла бы быть довольна участью своих единоверцев, видя, что они получили верные залогов счастья и безопасности. 2) Относительно Валахии и Молдавии Порта должна непосредственно объявить России о совершенном очищении княжеств от турецких войск и о назначении господарей. После этого объявления русские агенты возвратятся в княжества для исполнения обязанностей, определенных договорами, и для удостоверения в том, — меры, принятые Портою и новыми господарями, соответствуют ли статьям договоров. 3) Торговля и мореплавание: Порта отменит все меры, принятые против торговли и свободного плавания по Черному морю. В этом отношении она должна

выбрать одно из двух: или допускать корабли испанские, португальские, сицилийские и другие, или уважать флаг, которым эти корабли прикрывались прежде. Этот обычай освящен долговременною практикою, и Порта нарушила его теперь в первый раз».

Уполномоченные других держав признали умеренность этих требований и обещали всеми силами содействовать тому, чтобы Порта удовлетворила им. Венский кабинет был очень доволен решением восточного дела в Вероне и надеялся, что оно скоро кончится, Россия помирится с Турцией, греки, лишившись надежды на войну между этими державами, должны будут удовольствоваться тем, что выговорят в их пользу христианские государства, причем значение России сильно упадет на Востоке. Но скоро последовало жестокое разочарование. Турки, узнав о расположении государей, собиравшихся в Вероне; узнав, что депутат греческого народа не был допущен на конгресс, — турки не хотели удовлетворять русским требованиям, а между тем политике австрийского канцлера готовился неожиданный и страшный удар. До сих пор в греческом деле Англия шла рука об руку с Австрией по единству интересов, требовавших, чтобы Россия была отстранена от вмешательства и дело было покончено турецким правительством; отсюда Касльри, точно так же как и Меттерних, старался представить русскому императору греческое дело с его революционной стороны. Но в 1822 году английское правительство должно было заметить, что средства такой политики истощаются, что греки держатся против турок и сочувствие к ним усиливается как в Англии, так и на континенте. С другой стороны, Россия достигает своей цели: вследствие революционных движений Союз между континентальными государями крепнет, и русский император — глава этого Союза; Англия проиграла свое дело, принцип вмешательства восторжествовал; Англия со своим принципом невмешательства исключена из участия в континентальных делах — она одинока, поражена бессилием. Как же ей выйти из такого тяжкого, унижительного положения? Средство одно: идти наперекор политике Союза; Союз консервативен, его главная задача — тушить революционные пожары во всех углах; английская политика, следовательно, должна стать либеральной, поддерживать народные движения, и прежде всего поддерживать греков, тем более что они обманулись в своих надеждах на Россию, и потому легко у них

заменить русское влияние английским. Крутые повороты политики в вопросах внутренних и внешних, смотря по обстоятельствам, — дело обычное и легкое на острове: глава государства не заручается ничем; если средства одного направления истощаются, другое берет верх, то сменяются лица в кабинете и политика бесцеремонно берет противоположное направление. Касльри лишил себя жизни; его место занял Каннинг, и в апреле 1823 года лорд Странгфорд получает от нового министра внушения, из которых видит, что должен переменить свой образ действий. Внушения начинались тем, что благодаря умеренности русского кабинета несогласия между Россией и Портой должны скоро прекратиться окончательно. Россия покидает свое передовое место; Англия должна воспользоваться этим и занять ее место, тем более что человечество этого требует. «К положению этого христианского народа (греков), который в продолжение веков стонал под игом варварства, Англия не может быть равнодушна. Королю угодно, чтоб великобританский посланник сделал Порте представление в пользу греков как христиан; требовал у Порты исполнения обещаний, данных ею министрам союзных держав, и пригрозил, что если эти требования не будут исполнены, то дружественные отношения между Турцией и Англией продолжаться не могут».

Уверенность в помощи Англии дала грекам новые силы. Еще в конце 1821 года многие вожди из Морей и Западной Греции обращались к Англии с просьбой принять Грецию в свое покровительство на условиях Ионических островов. Теперь это предложение было возобновлено. Английские агенты распространили в Греции слухи, что союзные государи высказали в Вероне свое нежелание вмешиваться в греческие дела и приравниали греков к неаполитанским и пьемонтским революционерам; что один герцог Веллингтон имел инструкции, благоприятные грекам. Как прежде, так и теперь Англия не хотела допускать до войны между Россией и Турцией, ибо в торжестве первой не могло быть сомнения. Англия хотела отделить русское дело от греческого, уладить первое, чтобы тем свободнее действовать на главном плане — во втором. Для этого лорд Странгфорд угрозами заставлял Порту уступить русским требованиям; он говорил рейс-эфенди: «Война между Россией и Портою должна вести к нарушению европейского равновесия: Порта должна будет

уступить многие области России; для восстановления равновесия Англия должна будет стараться об увеличении своей силы и своих владений, ей не у кого взять, кроме Порты, которая сама виновата своим вредным упрямством». Устрашенная Порта согласилась уступить русским требованиям, кроме относящихся к грекам; об этих последних требованиях Странгфорд молчал. Но в Петербурге не молчали. Вследствие готовности Порты выполнить русские требования в январе 1824 года приехал в Константинополь русский дипломатический агент Минчаки и был принят с честью; но он тотчас же объявил, что не имеет полномочия касаться политических вопросов, круг действий его должен ограничиться одними торговыми отношениями. Присылку настоящего министра в Константинополь петербургский кабинет ставил в зависимость от исполнения всех требований по греческому делу. В мемуаре своем об умиротворении Греции (9-го января 1824 года) русский кабинет спрашивал: «Если во время прибытия императорского министра в Константинополь не будет еще никакого соглашения насчет греческих дел, то не будет ли он поставлен в крайне затруднительное положение? Он будет свидетелем борьбы между турками и греками, и борьба эта может иметь один из двух результатов: или греки и в этом году удержат приобретенную ими независимость, или будут низложены силою оружия. В первом случае турки могут приписать свою неудачу тайным проискам и сношениям императорского министра, как было при бароне Строганове, который и принужден был оставить Константинополь. Во втором случае русские посланники и министры союзных дворов могут ли оставаться неподвижными и немыми свидетелями беспорядков, которые всегда сопровождают победы оттоманских войск и которые еще более увеличат жажду мщения? И способна ли будет Порта в минуту победы выслушивать представления самые основательные? И однако, будет ли возможно не делать ей никаких представлений? По веронским протоколам греческие дела касаются всех членов Союза: и было постановлено, что все члены Союза коллективно будут принимать участие в их решении; следовательно, их министры вместе с русским министром будут находиться в одинаковом положении: отказываясь действовать, они не будут исполнять своих обязанностей; действуя, они должны будут бояться, что их требования будут отвергнуты, и это поведет к нарушению добрых отношений их к Порте. Россия не может

равнодушно видеть продолжения порядка вещей, который парализует ее торговлю и вредит самым дорогим ее интересам. Другие союзные государства, конечно, не имеют таких важных побуждений; но будет ли и с их стороны политично и великодушно не положить конца бедствиям Греции и Турции? Союзники считают священною обязанностью содействовать сохранению общего мира; но этого мира не будет, пока идет борьба у Порты с Мореею и островами Архипелагскими, пока здесь господствует революция и анархия. Не будет мира материально, потому что далеко еще до окончания борьбы; не будет мира и нравственного, потому что борьба эта порождает в Европе во всех умах беспокойство, которое грозит опасностью. Союзные дворы одним своим единодушием придавили препятствия, без того неодолимые, свергли с престола похитителя и разрушительного гения завоеваний, удержали бич военных революций, восстановили общественный порядок на его древних основаниях; так неужели теперь они откажутся от одного из естественных следствий своей системы и не увенчают своих успехов, которыми стяжали себе признательность настоящего и будущего? Люди благонамеренные поражены будут такою переменою и должны будут упрекать союзников в недостатке постоянства и мужества. С другой стороны, революционеры, изгнанные из государств, где они сумели соединить слабость с изменою, перенесут всю свою губительную деятельность в Грецию, дадут здесь торжество своим разрушительным учениям и, быть может, успеют ввести в заблуждение народы, обвиняя Союз в стремлении отдать Грецию под власть анархическую и варварскую и поставить на одну линию магометанство и религию христианскую. Излишне исчислять все вредные последствия таких заблуждений. Они отнимут дух у друзей добра и наполнят радостию сердца заводчиков смуты, которые рассчитывают на бедствия человечества. Союзу необходимо, следовательно: уяснить свои истинные намерения; показать, что всюду он успел установить мир; для этого он должен спешить приведением к счастливому концу переговоров, иначе часть Европы будет страдать от продолжительного кровопролития и нельзя будет установить прочных отношений между Россией и Портою. Желая содействовать счастливому исходу дела, русский кабинет укажет средства для этого, по его мнению, самые верные, причем ограничится одними общими, взглядами. Очевидно,

что турки не согласятся никогда признать политическую независимость Греции под какими бы то ни было формами. Не менее очевидно, что греки со своей стороны не согласятся никогда войти относительно Порты в положение, бывшее до войны. Надобно найти, следовательно, среднее положение, именно — установить в континентальной Греции княжества, подобные Дунайским. Таких княжеств будет три, по географическому положению Греции: в состав первого войдут Фессалия, Беотия, Аттика, или Греция Восточная; в состав второго — прежний Венецианский берег, Энир, Акарнания, или Греция Западная; третье княжество будет состоять из Морей, или Южной Греции, к которой можно присоединить остров Кандию. Что касается до островов Архипелага, то им можно дать муниципальное управление. Порта сохранит верховную власть над страной; она не будет посылать туда ни пашей, ни губернаторов, но будет получать ежегодную дань — одним словом, отношения будут те же самые, в каких Порта находится к Валахии и Молдавии. Представителем греческих княжеств и островов в Константинополе будет тамошний патриарх, который будет пользоваться покровительством международного права».

Новая причина сильного беспокойства в Вене! Россия прямо высказывает, как, по ее мнению, всего лучше должны определиться отношения между Грецией и Турцией; но здесь высказывается основная мысль русского кабинета: он не хочет независимой Греции, но княжеств, которых представителем будет константинопольский патриарх, которые, следовательно, подпадут русскому влиянию. Как тут быть? Другие державы не могут не принять в основе петербургского предложения. Единственное средство — замедлить дело. Австрийский посланник в Петербурге предлагает отложить его до конца кампании 1824 года. Турки наверно потерпят неудачу и потому должны будут согласиться на предложение держав, сделанное в смысле русского плана. Но петербургский кабинет не хочет медлить, требуя, чтобы тотчас же было приступлено к делу. В июне начались в Петербурге конференции по греческим делам. Дело трудное; и на этой трудности Меттерних основывал свои расчеты. «Вопрос о вмешательстве, — писал он интернунцию, — принадлежит к вопросам неразрешимым. Хорошо, если б можно было его избежать; но если нельзя, то надобно распорядиться так, чтобы доказательства

неразрешимости вопроса были очевидны. В этом состоит вся моя тайна. Турки не хотят, греки также не хотят: этого с меня довольно, чтобы идти дальше». Турки действительно не хотели; когда они узнали из газет о содержании русского мемуара 9 января, то рейс-эфенди сильно против него высказался: «В каком договоре написано, что европейские государи имеют право распоряжаться в Турции, когда христианским подданным Порты угодно будет возмутиться? Чем может быть оправдана такая претензия: тем, что наше оружие не принудило бунтовщиков к покорности? Но кто в этом виноват? Кроме явных врагов, греков, мы должны бороться еще с тайными, которые нам подносят только дружественные слова, а бунтовщикам дают оружие, деньги, советы и помощь всякого рода. Мы не требуем ничего, кроме уважения к нашей независимости; мы не вмешиваемся в чужие дела и решились не позволять, чтобы другие вмешивались в наши». Когда и в Греции узнали о русском плане 9 января, то газета временного правительства «Гидрейские Ведомости» высказалась против него; греки требовали у Каннинга, чтобы Англия помогла им точно так же, как помогла испанским колониям в Америке. Каннинг был в затруднительном положении; поспешность России сбивала его; ему нужно было подумать, как бы выиграть ход перед Россией. Он замедлил посылкой в Петербург обещанного уполномоченного по греческим делам, племянника своего лорда Стратфорда Каннинга, и этот уполномоченный должен был приехать в Петербург — через Вену! А в Вене между тем хлопотали о том, как бы усилить несогласие между Россией и Англией, посылали в Петербург внушения, что Каннинг руководствуется представлениями революционного греческого правительства; такие же внушения посылались из Вены и в Константинополь.

Каннинг не руководился представлениями греческого правительства. Он это ясно показал в своем ответе ему (1 декабря 1824 г.). Каннинг писал, что в Греции напрасно так вооружаются против русского проекта 9 января; если нужно посредничество держав для прекращения борьбы, то посредничество немыслимо без сделки, в которой бы, с одной стороны, была ограничена верховная власть Порты, а с другой — независимость греков; если же обе стороны отвергают всякую сделку, то нечего думать о посредничестве. Греки требуют у британского правительства помощи, сравнивая свои права

на эту помощь с правами американских испанских колоний, отделившихся от метрополии; но в борьбе между Испанией и ее колониями Великобритания держалась строгого нейтралитета; такой же нейтралитет соблюден Англией и в войне, опустошающей Грецию. Временное правительство Греции может рассчитывать на неизменное продолжение этого нейтралитета. Оно может быть уверено, что Великобритания не примет участия ни в какой попытке заставить греков помириться на условиях, противных их желаниям; и если греки рано или поздно сочтут нужным для себя просить посредничества

Англии, последняя предложит его Порте и употребит все усилия, чтобы сделать его действительным, вместе с другими державами, которых содействие облегчит дело и даст ему прочность.

В Вене были уверены, что Каннинг не думает о независимости Греции, хочет принять русский план, но не с тем, чтобы отдавать Грецию русскому влиянию, а чтобы поделиться на Балканском полуострове влиянием с Россией: как Россия оторвала от Турции Сербию и Дунайские княжества, так Англия хотела оторвать Грецию и утвердить здесь свое влияние, подобное русскому влиянию в Сербии, Молдавии и Валахии. В Греции очень обрадовались ответу Каннинга, хотя в действительности радоваться было нечему; схватились преимущественно за ту часть его письма, где он обещал, что Англия не соединится с другими державами, чтобы заставить греков помириться с Портой на невыгодных для них условиях; заключили из этого, что нечего бояться вмешательства других держав; что Англия заступится за греков и перед союзниками точно так же, как перед Портой; что, одним словом, надобно ждать спасения от одной Англии! Но некоторые попытались присоединить к Англии и Австрию, заставить последнюю предпочесть независимость Греции русскому плану. Гёниц получил письмо от Александра Маврокордато, главы английской партии в Греции. «Если Порта, — писал Маврокордато, — находит до известной степени поддержку в кабинетах европейских; если существование Порты желательно для них, то, конечно, они имеют при этом одну цель — сохранить оплот против будущего усиления России. Факты доказали, что Порта неспособна служить этой цели. Представляется, однако, возможность, чтоб она служила ей в будущем. Отделение собственной Греции не ослабит Турцию, но усилит ее, сделает ее способною противиться честолюбивым замыслам России.

Обязанная держать значительные гарнизоны в крепостях греческих, Турция теряет часть своих средств, которые могла бы употребить против своих неприятелей; турецкое народонаселение, рассеянное в греческих областях, не может содействовать всеобщему вооружению, какое султан обыкновенно назначает в самое опасное время. В случае отделения Греции все эти силы будут под руками у султана. Греки самые злые враги турок и имеют причину враждовать к ним; но как скоро независимость Греции будет признана и границы определены, греки обязаны будут поддерживать существование Турции, не имея причины бояться ее и, наоборот, имея важные причины опасаться России. Естественные враги турок, греки, превратятся в самых верных союзников их, когда Россия вздумает выгнать турок из Европы».

Гёниц отвечал, что Маврокордато исключительно занимается вопросом об интересе; но есть высший вопрос — о принципах. Борьба между турками и греками не есть тяжба, которую европейские державы призваны судить, ибо одна из тяжущихся сторон постоянно отстраняет их вмешательство. Признать независимость греков — это значит, со стороны европейских держав, произнести без апелляции приговор в деле, им чуждом. По какому праву державы поступят таким образом? В их кодексе, кодексе трактатов, нет оружия для борьбы с правами империи Оттоманской. Несмотря на то, в Вене приняли к сведению вопрос о выгодах признания независимости Греции, чтобы в крайности выставить его против России.

Между тем в Англии, переменяя политику относительно Греческого вопроса, затеяв новое дело, не знали, как вести его, и решились, как обыкновенно бывает в подобных положениях, ничего не делать, ждать и смотреть, что другие будут делать, и всего лучше, если можно помешать и другим что-нибудь сделать. 1824-й год проходил, а племянник Каннинга Стратфорд Каннинг не являлся в Петербург с полномочиями. 21 декабря Стратфорд Каннинг приехал в Вену и объявил, что он не может быть свидетелем, даже и немым, петербургских конференций и что он едет в Петербург только затем, чтобы предложить отсрочить конференцию до того времени, когда греки или турки или те и другие вместе, усталые, истощенные, обратятся к европейским державам с просьбой о посредничестве; при этом Стратфорд Каннинг приглашал Меттерниха действовать заодно против России. Но Меттерних не поддавался этим внушениям: Англия

отказывается от участия в решении Греческого вопроса, но Россия не откажется и тем сильнее будет действовать; как Англия тут будет ей мешать — неизвестно. Гёнц, конечно, выражал мысль своего патрона, когда писал: «Турецкая империя должна бояться государств одиночных, а вовсе не государств соединенных; ибо никогда не будет двух, которые соединятся на ее погибель, тогда как их разделение может дать тому или другому интересы, противоположные интересам Порты. По этому принципу, который должен быть начертан золотыми буквами над дверями Дивана, опасность заключается в отделении Англии: средства спасения сосредоточены в Союзе держав континентальных. Нет нужды, что между членами этого Союза находится исконный враг Турции; надобно иметь в виду не Россию как таковую, но Россию, составляющую нераздельную часть Союза, которому она больше предана, чем какому-нибудь из своих частных интересов». Таким образом, в Вене никак не хотели оставить Россию одну, и Меттерних отвечал Стратфорду Каннингу, что Австрия будет довольна, если Россия откажется от петербургских конференций, но примет в них участие, как скоро Россия, несмотря на отпадение Англии, пожелает их. В Петербурге, узнав о предложениях племянника в Вене, высказали свое удивление насчет поведения дяди, который прежде заявлял совершенно другое, и покончили тем, что объявили прекращение сношений между Россией и Англией по поводу дел турецких и греческих. В Вене совершенно верно оценили беспринципное, руководящееся случайностями и ближайшими выгодами поведение Каннинга. в котором олицетворилась национальная английская политика. тогда как предшествовавшая политика Касльри вследствие продолжительного общего действия со всей Европой много теряла из этого островного, особого характера английской политики. Генц писал: «Что касается английского правительства, то не думаю, чтоб оно приняло какое-нибудь решение относительно дел турецкого и греческого. Каннинг не хотел вдаваться в обсуждение этих дел, что могло бы поставить его в разлад с общественным мнением страны или увлечь в поступки, могущие стеснить полную свободу его движений в различных фазах, какие представят события. Вот секрет его протеста против конференций. Он не выскажется зря по такому сложному вопросу. Он хочет выиграть время, наблюдая за оборотом, какой примет вопрос; а между тем он

будет избегать и открытой ссоры с Портою и не выскажется прямо против греческих претензий».

При таком поведении Англии тем желательнее было для России сближение с Францией. Здесь в сентябре 1824 года умер король Людовик XVIII-й, и ему наследовал брат, граф Артуа, под именем Карла X-го. На представлении Поццо-ди-Борго, что Франция в Восточном вопросе должна действовать диаметрально противоположно Англии, то есть не уклоняться от решения дел сообща, но тесно примкнуть к Союзу, новый король отвечал, что и до вступления своего на престол, и теперь он видел и видит спасение Франции и Европы вообще в принципах Союза и в поддержке его; что он сожалеет об удалении Англии, ибо ее равнодушие или противодействие умножат трудности и осложнят положение; но эта неприятность должна только усилить континентальный Союз. Не обманывая себя насчет препятствий, которые будут встречены союзниками и со стороны турок, и со стороны греков, надобно по требованию общего интереса испытать все средства, чтобы мудрые и великодушные предложения русского императора были приняты. Граф Ла-Ферроннэ немедленно отправится в Петербург с инструкциями, уполномоченный участвовать в конференциях и других действиях, какие сочтутся нужными для достижения спасительной цели. Король прибавил, что он знает все добро, какое император Александр сделал миру в прошедшем, и что его доверенность к нему относительно будущего безгранична; что со своей стороны он будет содействовать этому добру, управляя Францией по возможности правосудно и благоразумно и оставаясь в неразрывной связи с политической федерацией, которая составляет источник нашей силы и ручательство за общую безопасность.

Итак, несмотря на удаление Англии, в 1825 году в Петербурге будут конференции по греческим делам. Венский двор уполномочил своего посланника графа Лебцельтерна участвовать в них, причем ему было предписано: если не согласятся на совершенное покорение греков султану с некоторыми уступками в пользу улучшения гражданского быта покорившихся, то соглашаться только на совершенную независимость греков, Лебцельтерн не замедлил пустить предложение о независимости. Когда в конференциях пошла речь о том, что в случае отказа со стороны Порты допустить вмешательство

союзных дворов надобно употребить против нее принудительные средства — или начать прямо неприятельские действия, или занять некоторые турецкие провинции, Лебцельтерн объявил, что его двор не согласится на это и гораздо лучше признать независимость Греции, что послужит вместо оружия принудительным средством и внушит спасительный страх Дивану. Странность этого предложения была очевидна: Россия требовала у союзных дворов, чтобы они вместе с ней употребили свое посредничество для немедленного прекращения борьбы между турками и греками, тем более что греки, как было видно, не смели надеяться на успех, а венский двор для избежания принудительных средств предлагает признать независимость Греции, что одно, без подания помощи грекам, нисколько не могло содействовать прекращению кровопролития. Это объявление могло быть неприятно, оскорбительно для Порты — и только, она боялась больше всего вмешательства; объявление же независимости одно, при нейтралитете европейских держав, было неопасно туркам: они свободно продолжали бы истребительную войну и покорили бы народ, провозглашенный независимым. С русской стороны предложение Лебцельтерна было отвергнуто; но венский двор считал себя при этом в большом выигрыше: по его мнению, Россия, отвергнув австрийское предложение, обнаружила себя пред союзниками, показав, что она никогда не имела в виду освобождения Греции, но, требуя вмешательства, преследовала свои честолюбивые виды. При таких условиях, когда Англия отказалась от участия в конференциях, Австрия приняла в них участие с явной целью мешать делу, когда две другие державы, участвовавшие в конференциях, Франция и особенно Пруссия, боялись решительных мер, могших вести к войне, — при таких условиях понятно, что конференции 1825 года могли иметь самый незначительный результат. Было определено, что представители союзных дворов в Константинополе попытаются убедить Порту в необходимости допустить принцип вмешательства великих континентальных государств для прекращения смуты на Востоке, сделают с этою целью устные и конфиденциальные представления рейс-эфенди, докажут ему необходимость и выгоды этого вмешательства.

Попытка уполномоченных, как легко было предвидеть, не удалась. Еще прежде получения известия об этой неудаче петербургский

кабинет обратился к венскому, парижскому и берлинскому кабинетам с вопросом: что они намерены делать в случае, если Порты отвергнет вмешательство? Кабинеты отвечали, что они будут несогласны на употребление какого-нибудь принудительного средства. Союзники отказывались действовать; а между тем в Греции потеряли надежду продолжать с успехом борьбу одними собственными средствами, и в июле месяце составлен был акт, которым греческий народ предавал неограниченному покровительству Великобритании свою национальную независимость и свое политическое существование. С другой стороны, Порты остановилась в удовлетворении русским требованиям. В Дунайских княжествах существовали особые полицейские отряды (бешли) для защиты жителей от турок и для высылки последних за Дунай; эти отряды находились в полной зависимости от господарей, без позволения которых офицеры их (башбеш-ли) не могли сноситься с турецкими пашами. Но теперь из бешли Порты образовала особое войско, совершенно независимое от господарей, и тогда как до 1821 года содержание бешли стоило Валахии ежегодно 125.000 пиастров, теперь стоило 880.000. В сентябре Минчаки получил из Петербурга бумагу, в которой ясно выражалось, как теперь императорское правительство относилось к союзникам. «Упорство Порты по вопросу о бешли, — говорилось в этой бумаге, — возбудило в высшей степени справедливое негодование императора и открыло ему глаза относительно той роли, какую играют в Константинополе посланники австрийский, французский и прусский. С этих пор императору неуютно в Восточном вопросе обращать внимание на союзников: он будет здесь идти путем, который соответствует истинным интересам России и его достоинству». В Вене, где с таким напряженным вниманием следили за Восточным вопросом, почувствовали, что Россия не хочет долее оставаться на колеблющейся почве, на какой стояла она до сих пор. Меттерних сильно тревожился: ему давали знать, что император Александр в высшей степени недоволен и склонен к перемене политики; австрийского канцлера сильно тревожило то, что император отправился на юг, где работали гетеристы, отправился в сопровождении генерала Дибича и других желающих войны людей. Главнокомандующий Южной армией граф Витгенштейн незадолго перед тем был вызван в Петербург и оттуда опять поехал к армии.

Меттерних писал интернунцию: «Император Александр хочет выйти из своего, конечно, ложного положения. Предоставленный самому себе, он может принять решение, которое может быть опять неверным средством; но если Порте нанесен удар, то все равно, как он нанесен. Если Диван не совсем ослеп, то должен нас понять. Неужели для Порты существование башбешли так же важно, как и существование Оттоманской империи в Европе? Если Порта так ослеплена, что оба вопроса для нее равносильны, то мы принуждены будем поставить себя на более благодарную почву и не будем хлопотать за державу, которая сама не в состоянии стоять прямо».

Порта послушалась и объявила, что башбешли будут выведены из княжеств и все будет по-старому. Когда австрийский посланник сообщил об этом графу Нессельроде, то получил ответ: «Настоящий узел затруднений находится не в побочных столкновениях, а в несчастном Греческом вопросе, вопросе основном. Союзники не хотят принять русских предложений, а между тем не указывают других средств, способных вести к умиротворению, с которым, по убеждению императора Александра, тесно связана его честь, его слава. Где найти эти другие средства, кроме употребления силы?»

Россия хочет употребить силу против Турции; до этого допускать нельзя; но как же не допустить? Австрии одной нельзя воевать против России, за Турцию, надобно приобрести союзников, и Меттерних едет в Париж под предлогом опасной болезни жившей там жены; во Франции надобно прежде всего повредить влиянию России, влиянию Поццо-ди-Борго, и Меттерних говорит Виллелю: «Давно я не был в Париже; естественно, что я нашел много перемен; но всего больше меня поразило то, что Поццо-ди-Борго теперь не больше как русский посол». Виллель начал говорить о Восточном вопросе; Меттерних притворился спокойным и равнодушным. Виллель для указания важности вопроса привел слова императора Александра Ла-Ферроннэ: «Помогите мне уладить это греческое дело; знайте, что я один в целой моей империи хочу мира для обращения всех моих сил против революционеров Южной и Западной Европы; но я могу умереть, и вы останетесь тогда в страшной опасности». Меттерних отвечал: «Эта опасность меня не пугает, я берусь предохранить от нее Европу». Виллель не знал, что Меттерних в 1812 году точно так же брался спасти Европу — посредничеством Австрии в мирных переговорах и

установлением равновесия между Россией и Францией посредством сохранения Наполеона.

Меттерних не нашел во Франции того, чего хотел; и чтобы напугать Россию ее одиночеством, поколебать ее надежду на Францию как на ее естественную тогда союзницу, Меттерних распустил всюду слухи, что чрезвычайно доволен своим пребыванием во Франции и нашел в Виллеле виды и намерения, совершенно сходные со своими. По этим слухам начали уже толковать, что Меттерних заключил в Париже секретный договор с французским правительством. Из Парижа Меттерних хотел пробраться в Лондон; но Каннинг поручил лорду Гренвилю, английскому посланнику в Париже, внушить австрийскому канцлеру, чтобы он не ездил в Лондон. Ему, Каннингу, известно, как он, Меттерних, вредил ему у короля; пусть не надеется иметь с королем тайных разговоров: по английским обычаям, он, Каннинг, должен присутствовать при всех объяснениях иностранных министров с королем. Меттерних ненавидел Каннинга за то, что последний нанес страшный удар его системе, отлучив Англию от совместных действий с Австрией в пользу Турции против греков. Каннинг платил ему тою же монетой; он писал Гренвилю: «Вы должны прежде всего знать, что я думаю о Меттернихе: это величайший мошенник и наглейший лжец на всем континенте и, быть может, в целом цивилизованном мире». Император Александр говорил Ла-Ферроннэ: «Каннинг и Меттерних не могут терпеть друг друга, — это личная вражда; но вы хорошо знаете дела; знаете, что без больших неудобств Каннинг может говорить дурно о Меттернихе, а Меттерних о Каннинге, — это дальше не пойдет. Но мы с вами обязаны соблюдать большую умеренность».

Перемена русской политики в Восточном вопросе произвела такую же тревогу и в Лондоне, как в Вене. Каннинг объявил Меттерниху, что оставит без ответа просьбу греков о принятии их в английское подданство; объявил всем, что Великобритания держится строгого нейтралитета, и между тем все знали, что преимущественно из Англии идут средства для поддержания греческого восстания; но в Греции Франция начинает соперничать с Англией; французские агенты хлопочут, чтобы греки образовали особое королевство под властью одного из французских принцев (орлеанского дома). Можно было дожидаться и ничего не делать, пока Россия вела со своими союзниками бесплодные переговоры в Петербурге, но теперь нельзя

долее оставаться в бездействии: Россия увидела бесплодность переговоров, бесплодность союзного действия и хочет действовать решительно. Дело идет о войне между Россией и Турцией — значит, дело идет о существовании Турции в Европе, о Константинополе. Каннинг послал лорда Странгфорда в Петербург, а племянника своего, Стратфорда Каннинга, в Константинополь. Вследствие этого осенью 1825 года дело пошло живее в Петербурге. В ноябре французский посланник граф Ла-Ферроннэ первый выступил с предложением объявить Порте от имени пяти держав, что они считают войну между турками и греками конченною, вследствие чего требуют от Порты, чтобы она объявила, какие выгоды и ручательства намерена она дать своим греческим подданным, а державы обязываются заставить греков принять предложения Порты. Новый порядок вещей, который имеет произойти из этого соглашения, пребудет под покровительством пяти держав. Странгфорд объявил со своей стороны, что средства, употребленные до сих пор для прекращения печального состояния дел на Востоке, оказались недействительными; нужно употребить другие, посильнее, но не так, однако, которые бы могли вывести за линию нейтралитета и исключить надежду на сохранение мира между Россией и Турцией. Для этого Россия должна оставить в стороне все второстепенные вопросы и отправить в Константинополь министра, который действовал бы совершенно согласно с министрами других держав. Все они должны внушить Порте, чтобы она послушалась представлений пяти держав в греческом деле и не обманывала себя надеждой, что между ними господствует несогласие. Если предложения пяти держав, сделанные таким путем, будут приняты Портой, союзники употребят свое влияние, чтобы они могли быть приняты греками, не прибегая ни в отношении к грекам, ни в отношении к туркам к принудительным мерам. Если Порта отвергнет предложения, русский министр оставит Константинополь, и министры других четырех держав объявят, что они предоставляют Порту ее участи.

В таком положении находились дела, когда в Европе узнали о кончине главного деятеля эпохи — императора Александра I. Время Александра I-го делится на две половины 1814 годом: в первой — на первом плане борьба с Наполеоном; во второй — установление внешних и внутренних отношений у европейских народов

посредством общих советов между их правительствами, или конгрессов. Но это различие, вызванное переменой в характере событий, нисколько не нарушает цельности духовной природы Александра I-го и ее проявлений. В первых действиях и словах молодого государя уже можно было заметить основы той политики, которой он оставался верен до конца и которая дала ему его историческое значение. Эти основы заключались в свободе и широте взгляда, его многосторонности, которые дают способность признавать право на бытие за многоразличными явлениями и интересами и отношениями и чрез это дают силу стремиться к их соглашению. Эти основы, дар природы, рано получили развитие вследствие благоприятных условий: молодой человек на высоте своего положения воспитывался под влиянием чрезвычайных движений, вызывавших своими крайностями движения противоположные, которые также доходили до крайностей и давали этим оправдание первым явлениям. Эти крайности направлений, быстро сменявших друг друга, одинаково не пришлись ни по уму, ни по сердцу Александра и закрепили в нем убеждение, что, удерживая направления от крайностей, можно заставить их существовать друг подле друга, не сталкиваясь и не сталкивая народы в кровавые борьбы, внутренние и внешние.

Задача, принятая на себя Александром, была самая трудная, самая неблагодарная из задач. Неистощимы похвалы, расточаемые беспристрастию, широте, многосторонности взгляда; но жестоко ошибется тот, кто в своих действиях будет иметь в виду эти похвалы. Человек, отвергающий односторонности, крайности направлений, становится чужд и враждебен людям, которые стремятся во что бы то ни стало дать торжество своему направлению безо всяких сделок, требуемых естественным ходом жизни, развития, без мира и даже без перемирия; они хотят иметь друзей для удачной борьбы с врагами и не любят посредников. И вот, для одних Александр является опасным либералом, возмутителем народов, ибо считает необходимым признать законными известные формы, выработанные тем или другим народом на пути своего исторического развития. Александр является опасным либералом за то, что первым условием успеха в борьбе с революцией поставлял избегание реакций, избегание того поведения со стороны правительств, которое вызывает революцию. Для других Александр являлся главою Союза, направленного против свободы народов,

потому что не считал согласным с интересами народов и их свободы благоприятствовать подземной деятельности тайных обществ и солдатским революциям. Ни одно из направлений, боровшихся за господство после падения Наполеона, не было довольно Александром; каждое высказало свое неодобрение его деятельности, и эти отзывы перешли к последующим поколениям, легли в основу обсуждения характера одного из самых знаменитых исторических деятелей. Умеренный, снисходительный отзыв заключался в том, что характер Александра представлял загадку, — отзыв легкий: не хочу дать себе труд изучить, объяснить явление — и объявляю его загадочным. Если убеждения меттерниховские, убеждения французской конгрегации не заключали в себе ничего загадочного; если такой же ясностью отличались убеждения карбонарские и другие, более или менее к ним подходящие, — то так же ясно было убеждение Александра, что ни те, ни другие не представляют ручательства за благосостояние народной жизни, за ее правильное и спокойное развитие. Что всякое одностороннее направление доступнее для толпы, — из этого не следует, чтобы направление неодностороннее было загадочным. Другие не останавливались на приведенном отзыве. Положение между крайностями, положение срединное, примиряющее, для толпы, для людей, не одаренных тонкой наблюдательностью, всегда или по крайней мере очень часто является чем-то двойственным: человек для соглашения постоянно обращается и к той и другой стороне, говорит языком, ей доступным; выражает свое сочувствие к известной доле ее интересов и убеждений, но в заключение требует уступки явлению, началу неприятному, враждебному. Человек, сочувствующий соглашению, понимает всю естественность, необходимость и правду такого поведения; но человек, отвергающий соглашение как невыгодное для себя, раздражается, и у него готовы слова для клеймения примирительного поведения: «двоедушие», «лукавство»; «он только притворяется мне сочувствующим, ибо в то же время выражает свое сочувствие другому; он нынче говорит и делает одно, завтра — другое; на него полагаться нельзя: изменчивый характер»; самый снисходительный отзыв выразится тут словами «слабость», «колебание».

Отзывы партий крайних направлений закрепляются в книгах, написанных людьми партий, и повторяются в сочинениях позднейших

без исследования правды. Некоторые очень хорошо понимали, в чем дело; понимали, что в характере Александра не было ничего загадочного; для них было ясно его направление — направление примирительное. Они не видали никакой слабости, колебания, подчинения то тому, то другому чуждому влиянию; но, преследуя сами крайнее направление, полагая в нем спасение если не для всех, то для себя, они враждебно относились к примирителю, мешавшему успеху их направления; недобросовестно твердили о слабости характера Александра, его увлечении и, желая показать, что могущественный император на их стороне, придумали нелепость, что его направлению противодействуют его же министры. Но эти люди не умели выдерживать, проговаривались: прямо указывали, что у Александра есть своя система, свое направление, которому он неуклонно следует; но, по их мнению, это направление не поведет ни к чему: примирение начал, равновесие между ними — дело несбыточное, мечта; направление Александра есть направление романическое. Когда пришло известие о кончине Александра, то Меттерних писал: «История России должна начаться там, где окончился роман». Но прошло 22 года, и в ту роковую минуту, когда Меттерних при виде разрушения построенного им на песке здания принужден был бежать из Вены, представился ли ему величественный, приветливый и скорбный образ государя с романическим направлением? Признался ли «дипломатический гений», что в романе было гораздо больше прочной действительности, чем в реальном направлении венских мудрецов?

Прошло сто лет со дня рождения знаменитого исторического деятеля, с лишком полвека после его кончины, и пора отозваться о его деятельности исторически, научно. Всякий исторический деятель в известной степени есть произведение своего века, и значение его деятельности определяется тем, как он содействовал решению задач своего времени относительно своего народа и относительно других народов, в обществе которых его народ живет, ибо эти две стороны неразрывно связаны. Мы видели, что духовный организм Александра I-го сложился под влиянием страшной политической бури, страшной борьбы между старым и новым, между разрушением и охранением. Обязанный, по своему положению, принять самое деятельное участие в событиях, Александр по свойствам своей личной природы,

воспитания и положения явился на поприще с требованиями соглашения, примирения, и здесь высказался деятель времени, ибо время требовало покоя, отдохновения после борьбы, возможности разобраться в развалинах и материалах, нагроможденных сильным движением. Спокойное, равноправное соглашение правительств касательно установления внешних отношений между народами, спокойное и свободное, независимое установление внутренних отношений в каждом народе — вот основание системы молодого русского государя. Но пред ним предстал Наполеон, и прежде всего нужно было вступить в страшную борьбу с гением войны, с гением революции, стремившимся посредством насилия переменить вид Европы. Александр принял борьбу, которая представила небывалое в истории явление. С одной стороны, необыкновенный военный гений и необыкновенные боевые средства, необыкновенное приготовление к бою; с другой — сознание, полученное жестоким опытом, что ничего этого нет в равной степени, и вместе с тем решение принять борьбу и вести ее до конца, не отступая ни перед какими жертвами, — решение, показывающее силу нравственных средств, давшую торжество в этой, по-видимому, столь неравной борьбе. В историю человечества было вписано небывалое по своему величию явление. Военный гений дорог для народов, когда он служит их защите, утверждению необходимого для них значения, места среди других народов; но военный гений, поставивший себе задачей постоянным упражнением порабощение других народов, есть явление, вовсе не идущее к новой европейской истории, есть явление из мира древнего, языческого, и соперник этого военного гения, уничтоживший его темную деятельность, не пощадивший для этого никаких усилий и жертв, ведший неутомимо войну не для войны, не для покорения, а для освобождения народов, есть деятель по преимуществу новой европейской истории, деятель истории христианской.

Россия имеет полное право гордиться такой деятельностью своего государя и видит в ней деятельность свою, народную. Вошедши в общую жизнь европейских народов с большой силой, с большим значением, Россия по поводу важнейших событий этой жизни должна была высказаться, выразить характер своих стремлений. Народ, чуждый завоевательных стремлений по природе и по отсутствию побуждений искать чужого хлеба; страна, по своей чрезвычайной

обширности довлеющая сама себе, — не могли явиться с завоевательными стремлениями; они высказались в защите народов от насилий сильного. Этот характер России выразился в XVIII-м веке в Семилетней войне; в XIX-м — в более обширных размерах в борьбе Александра с Наполеоном. Народное слово было сказано, задача народной деятельности уяснена.

После свержения Наполеона Александр приступил к исполнению своей задачи, которую сознавал в начале царствования, о которой заявлял при каждом удобном случае. Мы видели, как трудна была эта задача — задача примирения и соглашения противоположных направлений и беспрестанно сталкивающихся многообразных интересов. Александр и здесь в борьбе с препятствиями обнаружил ту же твердость и выдержливость, какие показал и в борьбе с Наполеоном; он явился неутомимым политическим бойцом, героем конгрессов, как Наполеон был героем битв. Европа после революционных бурь и военных погромов требовала прежде всего мира, спокойного улажения хотя на первое время всего перевернутого, переломанного во время этих бурь и погромов. Отсутствие возможности общих мирных совещаний и отсутствие на этих совещаниях могущественного авторитета, примиряющего и соглашающего интересы, охраняющего все, что нуждалось в защите, в подпоре для существования и развития, — отсутствие таких совещаний и такого авторитета на них повело бы к страшной смуте, к кровавым поминкам по революции и Наполеону, к господству силы и насилия. От этого Европа была спасена неутомимой деятельностью Александра, Агамемнона среди царей, пастыря народов: названия эти сохраняются за ним в истории, в истории эпохи, знаменитой самой сильной совокупною деятельностью народов.

1877

notes

Примечания

1

22-го марта (3-го апреля) 1801 года.

Речи лорда Гренвиля и Виндгама.

Филипп Кобенцль, австрийский посланник при французском дворе.

4

Так называли обыкновенно знаменитого курфюрста Бранденбургского Фридриха-Вильгельма.

Этими именами Александр колет Чарторыйского, который ненавидел Панина за привязанность к Пруссии, а Моркова — за деятельное участие в последних екатерининских распоряжениях насчет Польши.

Французским послом, приехавшим в Петербург на постоянное пребывание, тогда как Савари приезжего только временно.

7

То есть в системе франко-русского союза.

Граф Петр Александрович — русский посол во Франции, отправленный после Тильзита.

Мы не считаем Убри, который не был посланником.

Письмо 1-го апреля 1812 года. «On est resol ici a ne plus poser les armes».

На слова Шишкова, зачем он, Кутузов, будучи того мнения, что не должно переходить за границу, не представляет о том государю, Кутузов отвечал: «Я представлял ему об этом; но — первое, он смотрит на это с другой стороны, которую также совсем опровергнуть невозможно; и другое, скажу тебе про себя откровенно и чистосердечно: когда он доказательств моих оспорить не может, то обнимет меня и поцелует; тут я заплачу и соглашусь с ним». И перед Аустерлицем Александр смотрел с другой стороны, которой Кутузову совсем опровергнуть было невозможно.

«A l'empereur de Moscou» — подчеркнуто. Понятна вся злость этого выражения после сожжения Москвы.

Старый титул Людовика — граф Прованский.

Подробности этого противодействия см. в моей «Истории падения Польши».

Здесь разумеется сближение императора с некоторыми членами оппозиции.

Она должна была уступить Нидерландам: Конде, Филиппевиль, Мариенбург, Живе; Германии — Саррлуи и Ландау; Швейцарии — форт Жу; Сардинии — форт Эклюз, Шамбери и часть Савойи, удержанную в 1814 году.

Увоз произведений искусства.

Frage-und-Antwort. Buchlein uber allerlei was in Deutschland besonders Norh thut.

Подчеркнуто в подлиннике

То есть не хотел истолковать Бухарестского договора об азиатских границах в пользу Турции.

Подчеркнутые строки заимствованы из письма Касльри к императору Александру. Оставить комментарий